ФЕДОР АБРАМОВ

избранное

БИБЛИОТЕКА
ДН
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ФЕДОР АБРАМОВ

избранное

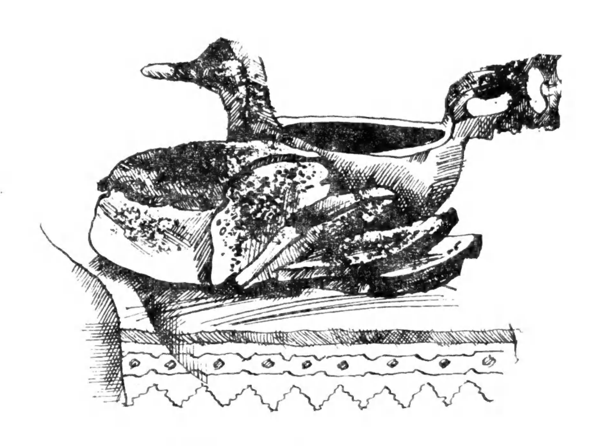
ТОМ 2

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» • МОСКВА • 1976

Р2
А16

Художник В. КАРАСЕВ

А $\frac{70302-024}{074(02)-76}$ 77-76 подписное



пути-перепутья

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Все, все было как наяву, все до последнего скрипа, до последнего шороха в заулке врезалось в память...

Ночью они с Иваном спали крепким, спокойным сном натрудившихся за день людей, и вдруг топот и грохот в сенях, будто стадо диких лошадей ворвалось туда с улицы, потом с треском распахнулась дверь, и на пороге — Григорий, бледный-бледный, с наганом в руке. «Вот он, вот он! — закричал Григорий.— Хватайте его!» И Ивана схватили. Петр Житов (так и заверещал немазаный протез), Федор Капитонович, Михаил Пряслин... А она, жена родная, не то чтобы кинуться на защиту мужа — слова выговорить не могла...

— Ну и приснится же такое, господи! — Анфиса перевела дух и первым делом заглянула в кроватку сына: у Родьки прорезывались зубы и он уже который день был в жару.

В мутном утреннем свете — в окна барабанил дождь — она увидела долгожданную улыбку на лице спящего сына, услыхала его ровное дыхание, и блаженная материнская радость залила ее сердце.

Но радость эта продолжалась недолго, считанные секунды, а потом ее снова сдавила тоска, страх за мужа.

Иван вызвали в райком на совещание три дня назад,

и вот — небывалое дело — не то что его самого, весточки никакой нет.

Она все передумала за это время: заболел, уехал в показательный колхоз (есть такой возле райцентра, возят туда председателей), укатил на рыбалку с Подрезовым (второй год у Ивана какая-то непонятная дружба с первым секретарем)... Но сейчас на все это она поставила крест. Сейчас, после того как ей приснился этот страшный сон, она была уверена: с Григорием поцапался Иван.

— О, господи, господи,— расплакалась вдруг Анфиса,— да кончится ли это когда-нибудь?

Шестой год они живут с Иваном, Родька скоро на ноги встанет, а она все еще Ми́нина и Родька Минин...

Она еще как-то понимала Григория, когда тот отказывал ей в разводе попервости,— где сразу обуздаешь свое самолюбие? Но теперь-то, теперь-то чего вставать на дыбы?

И вот они с Иваном порешили: еще раз по-хорошему поговорить с Григорием, а ежели он и на этот раз заупрямится, подать в суд. И пускай Григорий срамит ее на весь район, пускай на всех перекрестках чешут языками...

Покормив проснувшегося сына, Анфиса встала, затопила печь и, посмотрев на часы, дала себе слово: ежели Ивана не будет до двух часов, она позвонит в райком.

2

Стук копыт под окошками раздался в третьем часу (у нее не хватило духу позвонить в райком), и Анфиса не помня себя выскочила на улицу — босиком, без платка, как молодка.

Мимо проходила старая Терентьевна — подивилась такой горячности. Но Анфиса и не думала обуздывать себя. Она так истомилась да исстрадалась за эти дни — обеими руками обняла, обвила мужа.

— С ума сошла! Грудницу схватить захотела? — заорал Иван и даже оттолкнул ее: стужей, осенней сыростью несло от его намокшего, колом стоявшего дождевика. И эта забота, эта любовь, выраженная чисто по-мужицки, грубо, откровенно, дороже всякой ласки была для Анфисы.

Прикрывая руками полуголую грудь, она одним махом взлетела на крыльцо.

— Родька, Родька! Папа приехал...

Она быстро вынесла в сени деревянное корыто и короб с настиранным бельем, подтерла вехтем пол (первое это дело — порядок в избе), собрала на стол, а потом и сама заглянула в зеркало — нельзя ей растрепой, хватит с нее и того, что Родька высушил.

Иван вошел в избу в одних — шерстяных — носках, без дождевика, даже ватник в сенях снял. Но от него все еще несло холодом, и он, прежде чем подойти к кроватке сына, растер руки, размял плечи.

— Ну, как он без меня? Не получше?

— Получше, получше. Только вот только заснул — все жил, отца дожидался. Зуб хотел показать. Хорошая кусачка выросла. Матерь давеча за грудь цапнул — я едва не взревела.

— Постой-ко, у меня ведь что-то для него есть.

Лукашин на носках вышел в сени и, к великому удивлению Анфисы, вернулся оттуда с шаркунком — маленькой берестяной игрушкой в виде кубика с камешком внутри.

— На, господи,— развела она руками,— люди с пожни привозят шаркунки, а ты с района? — И пошутила:— На совещаниях, что ли, нынче игрушки делают?

— Почему на совещаниях? Я тоже на пожне был. Всю Синельгу объехал. От устья до вершины...

Теперь ей понятно стало, отчего Иван весь в колючей щетине и раскусан комарами.

— Представляешь, с полубуханкой на Синельгу? — начал рассказывать он, присаживаясь к столу.— Два с лишним дня на таком пайке...

Анфиса не выказала ни удивления, ни сочувствия. Она не любила этих мальчишеских выходок мужа. Его ждут-ждут дома, убиваются, места себе не находят, а он, на-ко, ехал-ехал, да пришла в голову Синельга — и поскакал. Как будто сквозь землю провалится эта самая Синельга, ежели туда на день позже выехать.

— Нельзя,— неохотно буркнул Иван, перехватив ее сердитый взгляд.— Подрезов на всех страху нагнал. Установка такая — заприходовать все частные сена...

— Колхозников? — выдохнула Анфиса.

Лукашин ничего не ответил. Он ел. Ел жадно, с ужасающей прожорливостью. Тарелку грибного супа, полнехонькую, вровень с краями, выхлебал, крынку пшенной каши, какую они и вдвоем не съедают, опорож-

нил, молока холодного, с надворья, литровую банку выпил, и все мало — кусок житника[1] отвернул.

— Да, вот что! Знаешь, кого я в районе видел? Илью Нетесова.

— Ну как он? Держится? — Анфиса ширнула носом и по-бабьи сглотнула слезу: у Ильи Нетесова на одном году смерть дважды побывала в дому. Сперва умерла дочь Валя, которую отец больше всего на свете любил, а потом — не прошло и полугода — отправилась на погост Марья: тоской изошла по дочери.

— Держится. Только на уши жалуется. Плохо слышать, говорит, стал.

— Это смерть Валина да Марьина у него на уши пала,— по-своему рассудила Анфиса.— Бабу бы ему какую надо... Где уж одному с ребятами маяться...

— Насчет бабы разговору не было. А вот насчет дома был. Подумывает возвращаться...

— Куда возвращаться? В колхоз?

— А что? В колхозе не люди живут? — Иван даже банкой стеклянной пристукнул по столу. И она уж молчала, не перечила, хотя что же сказала такого? Разве ему объяснять, как нынче живут в колхозе?

Иван первый пошел на попятный, с испугом взглянул на кроватку:

— Ладно, выкладывай, что тут у вас. Жать начали?

— Нет кабыть.

— Почему?

— Да все потому. Погодка-то, сам видишь, какая.

— Погодка, между прочим, вчера стояла подходящая. Весь день на Синельге было сухо. Или тут у вас, в Пекашине, другой бог? А как те? — Иван круто кивнул в сторону заднего окошка. Но она и так, без этого кивка, понимала, кого имеет в виду муж. Плотников. Бригаду Петра Житова, которая на задворках, у болота, строит новый скотный двор.— Чего молчишь? Я ехал по деревне — что-то не больно слыхать ихние топоры.

Анфиса решила ничего не утаивать: все равно узнает.

— Пароходы вечор пришли...

— Ну и что? — опять зло спросил Иван. Спросил так, будто она-то и есть главный ответчик за все.

А кто она такая? Какая у нее власть? Разве не по его милости она, бывшая председательница, стала рядовой

[1] Домашний хлеб из ячменной муки с примесью ржаной.

колхозницей? Чтобы не кивали люди при случае — вот, мол, семейственность в колхозе развели.

И она, с трудом сдерживая себя, ответила:

— Ну и то. Грузы привезли...

— Так,— сказал Иван,— все ясно. На выгрузку укатили...

Он посидел сколько-то молча, неподвижно, все больше и больше распаляя себя, и вдруг встал — решился. И бесполезно было сейчас говорить ему: постой, Иван, одумайся! Это все равно что в огонь дрова подбрасывать. Но, с другой стороны, очень уж это серьезное дело — сено колхозников. Отнять, заприходовать его нетрудно. А что же дальше? Как же дальше-то он будет ладить с людьми?

И Анфиса, подавая мужу сухой ватник — наконец-то на улице проглянуло солнышко,— сказала осторожно:

— Сено у нас и раньше подкашивали для себя. Ведь уж как, чем-то свою корову кормить надо.

— А колхозных не надо? Колхозные воздухом сыты будут, да? Сколько каждую весну падает от бескормья? Нет, я не я буду, ежели не обломаю им рога. Ха! Они веревки из меня вить будут... Наставили себе сена и плевать на все, что хочу делаю. Видел я на Синельге — под каждым кустом стожки...

— Ну, смотри, Иван,— уже прямо сказала Анфиса,— дерево срубить недолго, да как поставить обратно. Кабы у того же Ильи Нетесова своя корова была, да разве он уехал бы на лесопункт?

Иван, чего с ним никогда не бывало раньше, с размаху хлопнул дверью.

3

От шума проснулся и заплакал в кроватке Родька. Анфиса подхватила сына на руки и быстро подбежала к окну.

Иван отвязывал от изгороди Мальчика. Передохнувший жеребец начал было игриво перебирать густо забрызганными грязью ногами, задирать оскаленную морду, но Иван — все еще не остыл — наотмашь ударил жеребца кулаком по храпу, и тот сразу успокоился.

Дальше все было знакомо. Старые визгливые воротца на задворках, тропинка вдоль картофельника, баевская баня — тут муж отпустит жеребца. Намотает на голову

повод, даст легкий пинок под зад, и трясись себе на конюшню...

И тем не менее Анфиса глаз не спускала с мужа. Она ждала, куда пойдет Иван от баевской бани. Ежели повернет назад, домой, то, считай, на этом и кончится ихняя размолвка — сын примирит отца с матерью, а ежели повернет на дорогу...

Никогда сроду не отличалась набожностью Анфиса, но тут начала шептать про себя молитву — до того ей хотелось, чтобы муж повернул домой. И в конце концов даже не ради того, чтобы водворился мир в ихнем доме. Бог уж с ним, с этим миром. Не впервой они ссорятся. Ей хотелось этого ради самого Ивана. Потому что поверни Иван на дорогу, куда же он сейчас пошастает, как не под гору — к баржам, к мужикам? А из этого такое может выйти, что и не расхлебать потом.

Иван повернул на дорогу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Новый коровник в Пекашине заложили два года назад, и ох какая радость была у людей! К новостройке у болота пролегли тропы чуть ли не от каждого двора, ребятишки перенесли туда свои шумные игры, прохожие и проезжие приворачивали. В общем, все, все истосковались за эти годы по звону топора да по щепяному духу.

Стены поставили быстро, за весну и осень. А дальше — стоп. Дальше заколодило. Сперва из-за плах для пола и потолка — в Пекашине все еще не было своей пилорамы, потом из-за гвоздей — нет в продаже, хоть пальцы свои забивай, а потом вот из-за нынешней страды. Мокрядь. Сеногной. Сухие ведреные деньки наперечет. А обычно так: с утра жара, рубаха мешает — золото день, а только за грабли взялся — и потянуло из сырого угла. Ну и что было делать? Пришлось плотников бросить на сенокос.

Но, конечно, все эти помехи и задержки — и плахи, и гвозди, и нынешняя погода,— все это больше для районного начальства, для отчетов. А сам-то Лукашин понимал, в чем главная загвоздка. В мужиках.

Когда, с какого времени сели топоры у мужиков? А с прошлой осени, с той самой поры, когда в Пекаши-

не — который уж раз — до зернышка выгребли хлебные сусеки.

И все же, говорил себе Лукашин, выходя на деревенский угор, такого еще не бывало. Первый раз плотники не вышли на стройку днем...

Орсовский склад у реки, огромная хоромина под светлой, еще не успевшей почернеть крышей, походил на крепость, окруженную белыми валами из мешков с мукой, из ящиков со сладостями и чаем, из бочек с рыбой-морянкой.

Все это добро было предназначено для рабочих Сотюжского леспромхоза (в Пекашине у него перевалочная база, выстроенная в прошлом году), а колхозникам — ни-ни, килограмма не достанется. Ибо у колхозников своя снабженческая сеть — сельпо, а сельповская сеть известно — всегда пуста. Вот мужики и стараются урвать из орсовских богатств хоть малую толику во время выгрузки. Тут уж орс не жмется, щедро платит и натурой и деньгами.

Судя по тому, что под складом не было видно ни одного буксира, разгрузка сегодня всего скорее была закончена, и поостывший немного Лукашин начал было подумывать, а не повернуть ли ему назад. Мужики сейчас по случаю завершения работы наверняка пьяны, а с пьяными мужиками какой разговор? А потом, уж если на то пошло, он не хуже своей многомудрой женушки понимает, из-за чего удрали мужики на выгрузку. Когда, в каком месяце он выдавал колхозникам хлеб? В июне, перед страдой. А сегодня какое у них число?

Нет, приказал себе Лукашин, надо все-таки спуститься, а то, чего доброго, они и завтра удерут. У нынешнего мужика совести хватит...

2

Лукашин не ошибся: грузчики выпивали. На вольном воздухе, возле костерка, а чтобы огонь не мозолил глаза их женам (те под вечер каждый раз высматривают своих пьяниц с деревенской горы), прикрылись сверху брезентом. Сообразили! А у скотного двора два года не могут поставить самого ерундового навесишка, от каждой тучи к кузнице бегают...

Ефимко-торгаш, зав. перевалочной базой, с ног до головы перепачканный мукой (так сказать, из самого пекла

хлебной битвы вышел), заплясал перед Лукашиным как черт: чует свою вину. И у Михаила Пряслина с Борисом Саловым, молодым парнем из вербованных, которого в прошлом году привела в колхоз с лесопункта доярка Маня Иняхина, совесть заговорила: оба взгляд отвели на реку.

Ну а Петр Житов не смутился. Лихо, в упор глянул на председателя своим рыжим, уже хмельным глазом и для полной ясности смачно хлопнул по протезу — с меня-де взятки гладки.

На остальных можно было не смотреть: что Петр Житов скажет, то и они. Да и какой от них толк вообще? Самая что ни на есть нéроботь: один кривой, другой хромой, третий еле видит... Даже в лес им ходу нету — вот и околачиваются в колхозе, пьют да делают бабам ребятишек.

По распоряжению Ефимка для Лукашина быстро раздобыли граненый стакан, поставили ящик из-под конфет (Петр Житов и сам Ефимко сидели на таких ящиках), и пришлось сесть. Не будешь же рубить с ходу!

— Чугаретти, а ты какого хрена? Особое приглашение надо?

Только теперь Лукашин заметил своего шофера Анатолия Чугаева, прозванного так с нынешней весны. Правда, попервости его окрестили было Тольятти, и простодушный и простоватый Чугаев, когда ему растолковали, кто такой его знаменитый тезка, от радости был на седьмом небе. Но Петр Житов, человек, по местным масштабам весьма искушенный в политике, сказал:

— Не. Не пойдет. И рылом не вышел, и автобиография не та.

— Ну тогда пущай хоть Чугаретти, что ли,— предложил Аркадий Яковлев.— А то вознесли человека на колокольню и хряп вниз башкой.

— А это можно,— милостиво разрешил Петр Житов.

Так вот, Чугаретти, которому Лукашин строго-настрого, уезжая в район, наказал день и ночь возить траву на силос, сейчас в своем диковинно красном берете стоял возле полуторки у ворот склада и искоса, воровато, что-то ковыряя сапогом, поглядывал на своего хозяина.

В один миг с Лукашина слетели все обручи, которые он с таким трудом набивал на себя, шагая сюда.

— Я тебе что, что говорил? Калымить?

— Да ты что, понимаешь, товарищ Лукашин,— обиженно забухал Ефимко.— Что значит калымить? Должна же быть у советского человека сознательность...

— Заткнись со своей сознательностью! Сознательность... Я сознательностью твоей коров зимой кормить буду, да?

Чугаретти, виновато горбясь, начал заводить железной рукояткой мотор грузовика. Но тут уж за обиженного вступилась вся шарага: дескать, как же это так? Человек ишачил-ишачил как проклятый, а тут, выходит, напоследок и душу согреть нельзя. Да стограммовка еще в войну прописана нашему брату. Самим наркомом...

Заступничество товарищей едва не довело чувствительного Чугаретти до слез: толстые губы у него завздрагивали, а большие коровьи глаза навыкате налились такой тоской и печалью, что, казалось, во всем мире не было сейчас человека несчастнее его.

— Ладно,— буркнул Лукашин в сторону покорно выжидающего Чугаретти,— заправляйся да уматывай поскорей, чтобы глаза мои на тебя не смотрели.

Выпили. Кто крякнул, кто сплюнул, кто полез ложкой или прямо своей пятерней в котелок со свиной тушенкой...

Веревочку-выручалочку бросил Филя-петух, щупленький, услужливый мужичонко со светлым начесом над бельмастым глазом, но очень цепкий и тягловый, как говорят на Пинеге, и страшный бабник. Филя, явно тяготясь молчанием, сказал:

— Иван Дмитриевич, а чего это, говорят, у нас опять вредители завелись?

— Какие вредители?

— Академики какие-то. Русский язык, говорят, вроде хотели изничтожить...

— Язык? — страшно удивился Аркадий Яковлев.— Это как язык?

— Да, да,— живо подтвердил Игнатий Баев,— я тоже слышал. Сам Иосиф Виссарионович, говорят, им мозги вправлял. В газете «Правда»...

— Ну вот,— вздохнул старый караульщик,— заживем. В прошлом году какие-то космолиты заграничным капиталистам продали, в этом году академики... Я не знаю, куда у нас и смотрят-то. Как их, сволочей, извести-то не могут...

— А ты думаешь, всякие черчилли зря хлеб жуют...

— Обруби концы! Кончай разговорчики! — вдруг заорал как под ножом Ефимко-торгаш и встал.

— Ты чего? — Петр Житов повел своим грозным оком. Ни дать ни взять Стенька Разин. Да для пекашинских мужиков он, по существу, и был Стенькой. Потому как умен, мастер на все руки и характер — каждого под себя подомнет.— Ты чего? — грозно вопросил Петр Житов.

— А то! На моем объекте политику не трожь, ясно? Чтобы никаких разговоров про политику...

— Мишка, своди-ко его на водные процедуры.— Петр Житов вытянул руку в сторону реки.

— Можно,— ответил, усмехаясь, Михаил и с радостью начал расправлять свои широченные плечища.

Ефимко — недаром торгашом прозвали — не стал дожидаться, пока Михаил встанет на ноги да примется за него, а живехонько с ловкостью фокусника извлек откуда-то новую бутылку и поставил перед Петром Житовым.

После повторной стограммовки всех потянуло на веселье. Караульщик Павел, постукивая березовой деревягой, притащил из своей избушки обшарпанный голубой патефон. Но завести его не удалось: куда-то запропала ручка.

Тогда Петр Житов, скаля свои желтые, прокуренные зубы, сказал:

— Чугаретти, ты чего притих? Валяй хоша про то, как спасал Север. В разрезе патриотизма...

— Ты разве не слыхал? — удивленно спросил Чугаретти и покосился на Лукашина.

— Я не слыхал! — воскликнул Филя-петух. Разудало, с притопом, исключительно в угоду Петру Житову, потому как в Пекашине все — и старый и малый — знали про подвиги Чугаретти в минувшей войне.

— Давай, давай! — по-жеребячьи загоготал Петр Житов.— Где ты оказался на двадцать второе июня одна тысяча девятьсот сорок первого?..

Чугаретти вытолкали вперед, Ефимко-торгаш уступил ему свое место, и Лукашину — дьявол бы их всех забрал! — пришлось еще раз выслушать хорошо знакомую небывальщину.

— Значит, так,— заученно начал Чугаретти,— на двадцать второе июня одна тысяча девятьсот сорок первого я оказался не так чтобы близко от родных мест,

но не так чтобы и далеко. На энском объекте в районе железной дороги Мурманск — Петрозаводск...

— В лагере? — уточнил Филя.

— Ну,— неохотно кивнул Чугаретти.

Все знали — опять же по рассказам самого Чугаретти,— за что он попал за колючую проволоку. За лихачество. За то, что перед войной две машины угробил за год: одну утопил, переезжая осенью за речку по первому, еще не окрепшему льду, а другую разнес по пьянке — не понравилась изба, которая не захотела свернуть в сторону. И вот, хотя ни для кого не было тайн в биографии Чугаретти, ему под ухмылки и веселые перегляды товарищей пришлось рассказать и про это.

— ...Ну, сидим, значит, у себя, загорам,— только что Беломор-канал отгрохали, имеем право? Радуемся, однем словом, солнышко пригревать стало. А то, что кругом война, немцы да финны на нас прут, мы и понятия не имеем... Ладно, сидим греемся на солнышке — выходной день дали. И вдруг в один прекрасный момент видим: начальство едет. Не наше, не лагерное, а сам командующий Севером генерал Фролов. Вот так... Ну, нас, зэков, понятно, сразу по баракам — не порть картину. «Стой! — кричит Фролов. Это нашим-то фараонам.— Стой, так вашу мать. Я с ними говорить буду...»

— С характером дядя,— заметил кто-то с усмешкой, но Чугаретти, только что начавший входить в раж, даже бровью не повел.

— Да-а, сказанул нам Фролов — вывернул и потроха и мозги наизнанку. «Ребята, говорит, в доме у нас воры́». Мы глаза на потолок — какие еще воры, когда тут самое-распросамое жулье собралось. Со всего Советского Союзу. «Чужие воры́. Немцы. Их выкуривать надо, поскольку внезапно залезли в наш священный огород...» Понятно... Выходи на рубежи и спасай Россию, поскольку, значит, армия еще не подошла. Ну, ребятки у нас быстренько шариками крутанули: «Чего дашь?»

— Торговаться, сволочи, да? — устрашающе заскрежетал зубами Ефимко-торгаш. Он был уже вдребезги пьян, но насчет бдительности не забывал. Сработал моментально.

Ефимка быстро успокоили, потому как здесь-то и начинался самый гвоздь рассказа.

— «Да, чего дашь?» — спрашивают Фролова зэки.— Тут Чугаретти даже привстал немного, чтобы с большей впечатляемостью передать решающий разговор генерала с зэками.— «А перво-наперво, говорит Фролов, дам хлеба». И достает вот такой караваище.

— Не худо,— хмыкнул Аркадий Яковлев.

— «А еще чего?» — еще больше возвысил свой голос Чугаретти.— «А еще, говорит, дам сала». И вот такую белую кусину достает. Ну и в третий раз спрашивают зэки: «Чего дашь?» И тут Фролов помолчал-помолчал

да и говорит: «А еще, говорит, дам вам, ребята, нож». И вот такую филяжину достает из-за голенища.

Развеселившийся Филя-петух заметил:

— У тебя, Чугаретти, генерал-от как урка. С ножом за голенищем ходит...

— Ладно,— продолжал Чугаретти. На комариный укус Фили он, конечно, и внимания не обратил.— Ладно, харчи в брюхе, перо за голенищем — вперед на воров и смерть фашизму! Немцы, понятно, думают — мы от большевиков драпаем как пострадавши. Приняли. Жрат-

вы дали, шнапсу этого ихнего дали, по плечу похлопывают: «Гут, гут, рус». Хорошо, значит. А мы что же, едим да пьем: у зэка брюхо дна не имеет. А потом команда: в ножи!.. Н-да-а, чистенько сработали. Своих пять убитых да два раненых, а ихних набили — как баранов по всему полю. Ну дак уж Фролов потом не знает, как нас и благодарить. Каждого обнимает, у самого слезы. «Ну, говорит, ребята, спасибо. Родина вас не забудет...»

Последние слова Чугаретти произнес со всхлипом, вытирая своей черной ручищей мокрые глаза. Но это на мужиков не произвело решительно никакого впечатления, ибо все они за исключением разве Михаила Пряслина сами побывали на войне. Наоборот, Чугаретти — так это кончалось всегда — дружно стали уличать во вранье, требуя разных уточнений вроде того, например, где располагался ихний лагерь, далеко ли от границы? Или какие такие чудодейственные ножи были у зэков, что им и немецкий автомат нипочем?

Лукашин — он не забыл, зачем пришел,— одним дыхом выпалил:

— А у нас тоже воры завелись.— При этом слово «воры» он произнес точь-в-точь как Чугаретти, с ударением на последнем слоге.

Петр Житов вопросительно поднял бровь:

— У нас воры? Где у нас воры?

— В колхозе. Я вот только что по Синельге проехал — кто-то в колхозные сена к нам залез.

Лукашину нелегко дались эти слова, ибо он знал, не хуже своей жены знал, что колхозники на дальних сенокосах всегда подкашивают для себя. И так делается во всех колхозах. Но раз уж замахнулся — бей. И он закончил:

— Чуть ли не под каждой елью стожок...

Петр Житов — совсем не похоже на него — как-то неуверенно поглядел на своих притихших мальчиков, как он часто называл своих работяг, затем примирительно сказал:

— Что-то путаешь, товарищ Лукашин. Кто полезет в колхозные сена...

Мстительная, прямо-таки головокружительная радость охватила Лукашина — настала его пора торжествовать. Хватит, помотали они ему нервы, посмотрим, какие нервы у вас.

Он поднял высоко голову, сказал:

— Ничего не путаю, товарищ Житов. На днях пошлем специальную комиссию...

Сзади, за спиной Лукашина, громко всхрапывал, булькая горлом, вконец упившийся Ефимко — всегда одним у него кончается,— и Лукашин не к его храпу прислушивался вдруг каким-то обострившимся в эту минуту слухом. Он прислушивался к реке, к ее спокойным, затихающим всплескам внизу, за увалом,— кажется, хороший день будет завтра,— прислушивался к ровному гудению костра, на который караульщик только что бросил несколько жарких сосновых полешек, и еще он прислушивался к шагам на лугу. Кто-то — скорее всего жена одного из этих мужиков — шел сюда. И мысленно он уже представлял себе, какой сейчас концерт у них начнется,— крепко выдают бабы своим мужьям за эти выпивки на берегу. Потому что иной раз мужиков так закрутит, что не то чтобы домой какой рубль принести, а еще в долг залезают.

Из-за штабеля мешков с мукой вышла Анфиса.

3

Лукашин понимал, зачем притащилась его благоверная: ради него. Ради того, чтобы он не наломал дров, не разругался совсем с мужиками. И вообще, все эти пять лет, что они живут вместе, он только и слышит дома: «Иван, полегче! Иван, потише! Иван, не наступай, бога ради, на больные мозоли людям...»

Но дома — пускай: жена. Да еще и жена неглупая — сама сколько лет колхозом правила. Но она ведь и на людях стала наставлять его.

В прошлом году он застукал на молотилке двух баб — в валенки жита насыпали. ЧП. По существу, под суд надо отдавать, а она, только начал он их пушить, тут как тут со своей заступой: «Давай дак, председатель, зерно не солома. Большую ли ему щель надо, чтобы закатиться». В общем, подсказала бабам, как вывернуться, а его самого просто в дураках оставила.

То же самое в этом году. Пустяк, конечно,— рукавица семян, которую Клавдия Лобанова отсыпала на поле во время сева. Но ведь не прижать как следует Клавдию — весь колхоз растащат! Не дала. Запричитала насчет голодных ребятишек — вой кругом поднялся. «Да

пойми ты раз навсегда,— втолковывал он ей дома,— в какое ты меня положение ставишь! Ведь я в глазах колхозников зверем выгляжу — этого тебе надо?» — «Что ты, что ты, Иван! Да я ни в жисть больше ничего не скажу».

И вот пожалуйста — явилась. С приветливой улыбочкой — никаких свар там, где я,— а чтобы он не мог придраться к ней, на руке короб с бельем. Полоскать иду.

И именно эта-то неуклюжая хитрость — нитками же белыми шита! — больше всего взбесила его сейчас. Так взбесила, что в кармане ватника карандаш попался — в куски изломал. Ну а для житовской шараги ее приход — праздник. Все вскочили разом на ноги, заорали:

— Анфиса, Анфиса Петровна!..— Как будто для них и человека дороже ее на всем свете нету.

Петр Житов — тот еще артист! — широким, прямо-таки княжеским жестом указал на ящики справа от себя: любой выбирай. Так-то мы почитаем тебя!

— Нет, нет, Петя, не буду. Какое мне сидение — полоскать иду. Я это нарочно крюк дала, думаю: мужик-то у меня где?

— Да, дело к вечеру,— игриво ухмыльнулся Петр Житов.

— Да не мели ты чего не надо,— в том же игривом духе ответила Анфиса и даже хлопнула его по спине.— Вы мне председателя-то испортите — все с вином да с вином...

— Ладно, иди куда пошла,— как можно спокойнее сказал Лукашин и, тоже невольно переходя на язык игры, добавил: — А насчет вина мы уж сами как-нибудь разберемся.

Анфиса тут так вся и просияла, с резвостью молодой девки подняла с земли короб с бельем.

— Постой,— сказал Петр Житов.— Раз посидеть не хочешь, выпей на прощанье.

— Нет, нет, не буду. Какое мне питье — ребенка кормлю.

— Ясно. Пить с ворами не хочу...

— Чего, чего, Петя? С ворами? С какими ворами?

Анфиса медленно огляделась вокруг, пытливо посмотрела на мужа.

— В газетке одной недавно вычитал. Один руководящий товарищ колхозников так назвал...

Лукашин не успел ответить Петру Житову — его опередил Михаил Пряслин. Михаил заорал вне себя:

— Чего тут в прятки играть? Руководящий товарищ... В газетке вычитал... Председатель свой так сказал.- И то ли совесть заговорила в нем вдруг, то ли Анфису ему жалко стало, добавил: — Ладно, заводи, Чугаретти, своего рысака. В гору попадать надо.

Петр Житов — камень человек! — не пощадил Анфису. Требовательно глядя ей в глаза, спросил:

— Хочу знать твое мнение на этот вопрос... Как бывшего председателя. В разрезе какой нынче линии колхозники: хозяева или воры?..

Все примолкли — нешуточно спросил Петр Житов.

Лукашин не глядел на жену. Он зажал себя — кажется, под пыткой не проронил бы ни единого слова. Пускай, пускай повертится! Его проучил Петр Житов, так проучил, что до гробовой доски помнить будешь, но пускай и она сполна почувствует, как мужики умеют приголубить.

Анфиса усталым голосом замученной, заезженной бабы сказала:

— Какие вы воры... Воры чужое тащат, в чужой дом залезают, а вы хоть и возьмете когда чего, дак свое.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

У колхозной конторы Михаил спрыгнул с машины вместе с нижноконами [1].

Петр Житов — он сидел, развалясь в кабине,— зарычал:

— Мишка, а ты куды от дома на ночь глядя?

Михаил даже не оглянулся — только покрепче зажал под мышками ржаные буханки. А чего, в самом деле? Разве Петр Житов не знает, куда он идет? Первый раз, что ли, с буханкой к Ставровым тащится?

Было еще довольно светло, когда он вошел в ставровкий заулок, и высокая сосновая жердь торжественно, как свеча, горела в вечернем небе.

У Михаила эта жердь, торчавшая посреди заулка,

[1] Жители нижнего конца деревни.

каждый раз вызывала ярость. В темное время тут не пройдешь — того и гляди лоб раскроишь, а когда ветер на улице — опять скрип и стон, хоть из дому беги. В общем, будь его воля, он давно бы уже свалил ее ко всем чертям. Но Лизка уперлась — ни в какую! «Егорша вернется из армии — разве захочет без радио? Нет, нет, хозяин поставил, хозяин и уберет, коли надо».

Но если в этой проклятой жердине был хоть какой-то резон (пищали после войны кое у кого трофейные приемники), то в затее свата Степана, кроме старческой дури, он ничего не видел.

Всю жизнь, четверть века, стоял ставровский дом под простым охлупнем [1] без конька и так мог бы стоять до скончания века: крыша хорошая, плотная, в позапрошлом году перебирали, охлупень тоже от гнили не крошится — чего надо по нынешним временам? До конька ли сейчас? А главное — ему ли, дряхлому старику, разбираться с такими делами?

Не послушался. Весной, едва подсохло в заулке, взялся за топор. Самого коня из толстенной сосны с корнем — с ним, с Михаилом, зимой добывали из лесу — вытесал быстро, за одну неделю. И какой конь получился! С ушами, с гривой, грудь колесом — вся деревня смотреть бегала. Ну а с охлупнем дело не пошло. Отесал бревно с боков, погрыз сколько-то теслом снизу и выдохся.

И вот сколько уж времени с той поры прошло, месяца три, наверно, а новой щепы вокруг бревна по-прежнему не видать. Только свежие следы. Топтался, значит, старик и сегодня.

Степана Андреяновича он застал — небывалое дело! — на кровати. За лежкой.

— Чего лежишь? — по привычке пошутил Михаил.— А мне сказали, сват у тебя накопил силы, к сену [2] укатил.

— Нет, не укатил.— Степан Андреянович сел, опустил ноги в низких валенках с суконными голяшками.— Помирать скоро надо.

— Давай помирать! Ничего-то выдумал. Пятнадцать лет до коммунизма осталось.

Старик многозначительно вздохнул.

— Точно, точно говорю. Сталин это дело еще в сорок

---

[1] У старинных домов массивное бревно на крыше, которым пригнетаются концы тесниц обоих скатов.

[2] На сенокос.

шестом подсчитал. Я, говорит, еще при коммунизме пожить хочу, а ты на много ли его старше?

— Нет, Миша, не знаю как где, а у нас моя пороща не заживается. Смотри, кто из моей ровни остался. Трофим помер, Олексей Иванович, уж на что сила мужик был, двухпудовкой, помню, крестился, помер...

— Ерунда! — Михаил положил буханки на стол и сел на прилавок к печи, напротив света.— Я недавно ро́ман один читал — «Кавалер Золотой Звезды» называется. Ну дак там старик не ты. По-боевому настроен. Сейчас, говорит, мне только и пожить. Правда, у них в колхозе — охо-хо-хо! — насчет жратвы там или в смысле обутки с одеждой, у них об этом и думушки нету. Скажи, как в раю живут...

С улицы в избу вползла вечерняя синь. От печного тепла, от однообразного постукиванья ходиков Михаила стало клонить ко сну — две ночи не спали на выгрузке, да и выпивка сказывалась,— и он, широко зевая и потягиваясь, пересел на порог, приоткрыл немного двери, закурил.

Разговор, как и в прошлый и в позапрошлый раз, в конце концов перешел к сену — о чем же еще нынче говорят в деревне? Лето сырое, дождливое, сена́ в колхозе выставлены наполовину — достанется ли сколько на трудодень?

Тут, кстати, Михаил рассказал о недавней стычке мужиков с Лукашиным, о том, как председатель назвал их ворами и как грозился забрать у них сено на Синельге.

— Так что дожили,— невесело заключил он.— Может, сейгод и рогатку под нож. В войну я, парнишко, вдвоем с матерью Звездоню кормил, а теперь сам мужик, Лизка баба да вы с матерью как-никак граблями скребете — и все равно не можем вытянуть четыре копыта...

Старик все эти сетования принял на свой счет, что вот, дескать, он виноват, он в этом году ни разу на пожню не вышел, и Михаил не рад был, что и разговор завел. Поди докажи старому да больному человеку, что ты и в мыслях не имел его.

На его счастье, со скотного двора вернулась сестра.

Весть о своем возвращении Лиза подала еще с улицы — пальцами прошлась по низу рамы. И что тут поделалось в избе!

Степан Андреянович, еще недавно собиравшийся умирать, живехонько соскочил с кровати, кинулся в задоски наставлять самовар. Загукал в чулане Вася — этот точно, как по команде, просыпается вечером в ту минуту, когда забарабанит в окошко мать. Мурка спрыгнула с печи — и она, тварь, обрадовалась приходу хозяйки.

Все это давно и хорошо было знакомо Михаилу, и если он кому и удивлялся сейчас, так это себе. Тоже вдруг встряхнулся. Во всяком случае, сонливости у него как не бывало, а руки те просто сами зашарили по столу, разыскивая лампешку.

Спичка вспыхнула как раз в ту минуту, когда Лиза появилась на пороге. И неизвестно еще, от чего больше посветлело в избе — то ли от пятилинейки, то ли от ее сверкающих зеленых глаз.

— Ну-ну, кто у нас в гостях-то! Не зря я сегодня торопилась домой. Чуяло мое сердце.

За одну минуту все сделала: разулась, разделась, сполоснула руки под рукомойником, вынесла из чулана ребенка.

Вася к дяде не пошел, заплакал, закапризничал, и это немало огорчило Михаила, потому что, по правде говоря, он и сестру-то дожидался, чтобы племянника на руках подержать.

— Дядя, ты нас порато-то не ругай,— как бы извиняясь за сына, сказала Лиза.— Нам тоже нелегко. Мы ведь теперь материного молока не едим, да, Васенька?

Она походила-походила по избе, убаюкивая ребенка, и так как тот не успокаивался, села на переднюю лавку и дала ему грудь. На виду у брата и свекра. Чего стесняться — свои.

Степан Андреянович неодобрительно покачал головой: не дело, мол, это. С таким трудом отнимала ребенка от груди, а теперь сама приучаешь. Да разве против Лизки устоишь?

— Что ведь,— сказала она на замечание деда,— пускай уж лучше матери худо, чем ребенку.

А матери было-таки и в самом деле худо. Она морщилась от боли, закусывала сухие, обветренные губы и под конец, когда явилась с вечерним молоком Татьянка, накинулась на брата. Из-за коровника. Из-за того, что Петр Житов с Игнашкой Баевым, как сообщила Татьянка, распьянехонькие бродят по улице. А раз распьянехонькие — какая завтра работа?

И вот не успел он и рта раскрыть, как Лизка начала выдавать и строителям, а заодно с ними и ему:

— Пьяницы окаянные! Сколько еще пить будете? Есть ли у вас совесть-та? Коровы опять зимой будут замерзать, а у вас только одно вино и на уме. С коровника на выгрузку удрали — где это слыхано?

Михаил сперва отшучивался, ему всегда забавно было, когда Лизка за колхозных коров заступалась — просто на глазах сатанела, дуреха,— а потом, когда в разговор встрял старик, начал понемногу и сам заводиться.

Степан Андреянович, давно ли еще вместе с ним судачивший о сене, принял сторону невестки (что бы та ни сказала, всегда заодно с ней), и Михаил почувствовал, что должен, обязан разъяснить им что и как. Ведь легче всего попрекать мужиков стопкой. А разве за стопкой бегут на выгрузку? Вот за этой самой буханкой, которую они сейчас кромсают. Может, врет он, неправду говорит?

Конечно, он, Михаил, немного хватил через край — сестру и свата вроде как попрекнул: не забывайте, мол, чей хлеб едите,— а на самом-то деле у него этого и в мыслях не было. Просто допекли его, вот он и брякнул не подумавши.

Шумно, с излишним усердием пили чай и молчали. У Васи, все еще терзавшего грудь матери, один глаз уже закатился, а другой устало, с прижмуром, как у отца, смотрел на дядю.

Михаил кое-как допил стакан и опрокинул кверху дном: все, домой пора. Но разве Лизка отпустит брата вот так, со сдвинутыми бровями?

— Давай дак, дядя, посиди с нами,— заговорила она нараспев от имени сына.— Успеешь домой. Покури. Нам, скажи, все равно надо привыкать к дыму. Скоро папа вернется — ведь уж не будет выходить из избы. Есть ли у нас, татя, сколько табаку-то? — обратилась Лиза к свекру. Она почитала старика за отца.— Может, безо всего, с голыми руками приедет. Да и вина бы бутылки две не мешало раздобыть. Ведь уж нашего папу не переделаешь, да, Васенька? С мокрым рылом родился.

Сколько раз Михаил наблюдал за сестрой, когда та начинала говорить о Егорше, а все равно не мог привыкнуть! Лицо вмиг разгорится, разалеется, глаза за-

блестят, а про голос и говорить нечего — соловей запел в избе.

Он тысячу раз задавал себе вопрос: чем взял ее этот кобель? За что она его так любит? Неужели за то, что предал ее на другой же день после свадьбы?

Да, послушать Егоршу, так в армию его взяли потому, что у него льгота перестала действовать. Из-за женитьбы. Поскольку новый человек в семье появился. А при чем тут женитьба? Лизка была не в летах, не было ей еще восемнадцати, когда он ее захомутал, так что годик-то наверняка можно было покантоваться дома.

Михаил щадил сестру и никогда не говорил с ней об этом, но сам-то он знал, ради чего женился Егорша. Ради того, чтобы взвалить на нее, дуреху, старика. Чтобы самому быть вольным казаком...

У Васи уже закатился и второй глазок — запьянел, видно, с непривычки от материного молока, а сама матерь все еще мыслями со своим разлюбезным, и Михаил, еще минуту назад радовавшийся отходчивому сердцу сестры, вдруг ужасно разозлился на нее.

Он круто вскочил на ноги и, не сказав никому ни слова, выбежал из избы.

2

...Вот и первая звезда заблестела в луже — кончается лето. И под горой, у реки, не белеет больше рожь — августовская темень задавила хлебный свет в поле.

Осень, осень подходит к Пекашину. Самое распоганое время, ежели разобраться. Налоги всякие — раз, обутка да одежонка — два (то ли дело летом: ребята босиком и сам что ни надел — лишь бы ногу не кололо). Потом это сено распроклятое, корова... Эх, да мало ли еще каких забот разом обрушивается на тебя осенью!

А ведь была, была у него возможность на всем этом поставить крест. Давалась в руки и ему большая жизнь.

Главврач районной больницы как увидел его во всей живой натуре, без прикрытий, даже привстал. Мелкий худосочный народишко собрался на призывном пункте — война пестовала. Ну и, конечно, не мудрено в таком лесу сойти за дерево. И уж он, главврач, повертел его! И так и эдак поставит, в грудь постукает, в рот заглянет, пробежку даст — ни одного изъяна. Даже скрип в коленях куда-то пропал.

— Редкий экземпляр! В любой род войск. Ну, говори, куда хочешь. Во флот? В авиацию?

— Льгота у него,— сказал райвоенком, а сам глазом так и буравит его, Михаила: «Ну, Пряслин, решайся!» (Два часа перед этим уламывал: не беспокойся, семья не пропадет.) И как же ему хотелось сказать: да!

Но глупая — пряслинская — шея сработала раньше, чем губы: нет...

Что ж, вот и ишачь себе на здоровье, думал Михаил, шагая по вечерней деревне. Дураков работа любит — не теперь сказано. И он уже не осуждал сейчас с прежней решительностью и беспощадностью Егоршу. Черт его знает, может, тот и прав. Будет хоть по крайности чем вспомнить свою жизнь. А он, Михаил? Чем вспомянет потом свою молодость? Как корову кормил? Как кусок хлеба добывал?

В школе у Якова Никифоровича был свет — единственный огонек на весь околоток. И кто-то шел оттуда — похрустывал мокрый песок на тропинке и что-то яркое и блестящее вспыхивало в желтых отблесках.

Михаил, заинтересованный (кто с таким блеском ходит в Пекашине?), остановился.

Раечка Клевакина — у нее резиновые сапожки с радугой.

— Рай, здравствуй!

Встала, замерла. Просто как диверсант какой затаилась в темени. А чего таиться, когда от самой так и шибает духами?

— Здорово, говорю.

Раечка сделала шаг в сторону.

Ого! Райка от него рыло воротит. Так это правда, что у нее шуры-муры с учителем?

Он решительно загородил ей дорогу, чиркнул спичку.

Холодно, по-зимнему глядели на него большие серые глаза. Губы сжаты — проходи!

Да, вот когда он понял, что она дочь Федора Капитоновича.

Он выждал, пока спичка в его пальцах не превратилась в красный прямой стерженек (хорошая погода завтра будет), усмехнулся:

— Дак вы теперь на пару сырую картошку лопаете?

Яков Никифорович, как человек приезжий, ужасно боялся северной цинги и все ел в сыром виде. Он даже воды простой не пил — только хвойный настой.

Раечка вильнула в сторону, но Михаил вовремя выставил вперед ногу, и она вмиг забилась у него в руках.

Нет, врешь, голубушка! С сорок третьего каждую молодягу в колхозе обламываю, так неужели тебя не обломать? И он резко, с силой тряхнул Раечку, так что она охнула, потом поставил на ноги, притянул к себе и долго и упрямо терзал своими сухими и жесткими губами ее стиснутый рот.

Выпуская из рук, сказал:

— Через два часа выйдешь на задворки против себя. К соломенным ометам...

— Зачем? Чего я там не видела?

— Затем, что я приду. Потолковать надо...

3

Хорошо тому живется,
У кого одна нога:
Сапогов-то мало надо
И портяночка одна.

Петр Житов хвастался своим житьем. Ему, дурачась, тоненьким бабьим голоском подпевал Игнашка Баев, и, судя по малиновым огонькам, которые то и дело вспыхивали возле бани Житовых, там был и еще кое-кто.

Решили добавить, догадался Михаил, всматриваясь в темноту житовского огородца с дороги. Это всегда так бывает, когда мужики заведутся. Обязательно прут к Петру Житову. Олена, жена Петра Житова, терпеть не может этих пьяных сборищ в своем доме, и вот придумали: с осени прошлого года обосновались в бане. Стены да крыша есть, коптилку соорудили, а больше что же надо?

Михаил, не очень-то охочий в другое время до мужичьих утех (карты, анекдоты, трепотня), сейчас вдруг пожалел, что он не может сегодня присоединиться к своим товарищам. Нельзя. Сам же сказал Райке: выйди к ометам на задворках.

Он встряхнулся, пошагал домой. Однако, пройдя дома три, он опять остановился. Постоял, поглядел вокруг, словно бы заблудился, и подошел к полевым воротам с новым белым столбом, который сам же на днях и ставил,— по нему-то он и узнал в темноте ворота.

Нет, ерунда все-таки получается, думал Михаил, наваливаясь грудью на изгородь возле ворот. Покуда он

был с Райкой,— ух как лихорадило! А только отвернулся — и хоть бы и вовсе ее не было. Не то, не то. Совсем не то, что было с Варварой.

Сколько пережито за эти пять лет, что они в разлуке, сколько бабья всякого побывало у него в руках — сами лезом лезут,— а увидал нынешним летом Варвару в районе, не говорил, не стоял рядом, только увидел издали, как она по деревянным місткам идет,— и шабаш: никого не знал, никого не любил...

В клубе произносили речи — на совещание механизаторов приезжал,— потом было кино, потом выпивка была в чайной, а спроси его, кто выступал, какое было кино, с кем сидел за столом в чайной,— не сказать. Вот какая отрава эта Варвара...

На лугу, под горой, пофыркивали, хрустя свежей отавой, лошади, мигал солнечный огонек у склада, где хозяйничал теперь караульщик, и там же бледными зарницами отливала река. А вот хлебного света, сколько он ни вглядывался туда, в подгорье, не увидел. Задавила темень...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Утро было росистое, звонкое, и коровы, только что выпущенные из двора, трубили на всю деревню.

Проводы скота в поскотину Лиза любила превыше всего. Ну-ко, семьдесят коров забазанят в одну глотку — где еще услышишь такую музыку? А потом, чего скрывать, была и гордость: выделялись ее коровки. Чистенькие, ухоженные, бок лоснится да переливается — хоть заместо зеркала смотрись.

— Ну уж, ну уж, Лизка,— качали головой бабы,— не иначе как ты какой-то коровий секрет знаешь.

Знает, знает она коровий секрет, и не один. Утром встать ни свет ни заря, да первой прибежать на скотный двор, да наносить воды вдоволь, чтобы было чем и напоить скотинку и вымыть, да днем раза два съездить за подкормкой на луг, а не дрыхнуть дома, как некоторые, да помыть, поскоблить стойла, чтобы они, коровушки-то, как в родной дом с поскотины возвращались... Вот сколько у нее всяких секретов! Надо ли еще сказывать?

В это утро Лиза не успела насладиться проводами коров. Ибо в то самое время, когда только что выпустили их из двора, прибежала Татьяна.

— Иди скореича... Михаил велел...

— Зачем? Очумели вы — такую рань! Я ведь не у Шаталова на бирже работаю...

— Иди, говорят. Те прибежали...

— Кто — те? Ребята?! — ахнула Лиза.

Петьку и Гришку нынешней весной с великим трудом удалось запихать в ремесленное училище — Михаил из-за них только в городе больше недели жил. Сперва придрались к годам — семи месяцев не хватает до шестнадцати, а потом годы уладили (Лукашин без слова выписал новую справку) — в здоровье дело уперлось. Не подходят. Больно тощие. А с чего они будут не тощие-то...

И вот, рассказывал Михаил, пообивал он пороги. Туда, сюда, к одному начальнику, к другому, к третьему — в городе, не у себя в районе: нет и нет. Рабочий класс... Надо, чтобы была сила...

Спас Пряслиных Подрезов. Сам окликнул на улице, когда Михаил с ребятами уже на пристань шел. Просто как с неба пал. «Пряслин, ты чего здесь околачиваешься?»

И вот, рассказывал Михаил, никогда в жизни не плакал от радости, а тут заплакал. Прямо в городе, среди бела дня. И Лиза тоже каждый раз плакала, когда, при случае вспоминая городские мытарства старшего брата, доходила до этого места.

Всплакнула она и сейчас, хотя тотчас же вытерла глаза: не за тем, не слезы лить зовет ее брат.

Голос Михаила она услыхала еще с крыльца. Шумно, на выкрике пушил двойнят. И еще из избы доносился лай Тузика. Неужели и он, бестолковый, на ребят навалился?

Лиза быстро поправила на голове платок, взялась за железное кольцо в воротах.

Так оно и есть: хозяин летает по избе, как бык разъяренный, и собачонка неотступно за ним. Хозяин кричать на ребят, и она на них лаять. А те, несчастные, ни живы ни мертвы. Сидят на прилавочке у печи, возле рукомойника, как будто они и не дома — глаз не смеют поднять от пола. И хоть бы кто-нибудь за них, за бедняг, заступился! Матерь, правда, та не в счет — та век старшему сыну слово поперек не скажет. Да Татьянка-то что в рот воды набрала? Сидит, в окошечко поглядывает, будто

так и надо. Да и Федька, на худой конец, мог бы что-нибудь промычать, а не брюхо гладить: немало его братья выручали.

Лиза сказала:

— Давай дак ладно. Что поделаешь, раз у них счастья нету...

— Счастья? — Михаил выпрямился — полатница над головой подскочила.— Какое им еще счастье-то надо? Худо им было на всем на готовеньком, да? Вишь, домой захотели... По дому соскучились...

— Дак вы это сами? Вас не выгнали? — Кровь отхлынула от лица Лизы. Жалости к братьям как не бывало.— Да вы что, еретики, с ума посходили?!

Михаил снял с вешалки свой рабочий ремень с ножом на медной цепочке, опоясался.

— Возьмешь к себе. Чтобы духу ихнего здесь не было. Да сегодня же отправь обратно. И не вздумай денег давать. Раз домой дорогу нашли, найдут и из дому.

— Может, хоть денек-то им можно пожить дома? — подала наконец свой голос мать. И то невпопад: разве об этом теперь надо думать?

Дверь хлопнула. Михаил ушел на работу, даже не попрощавшись с ребятами. Те заплакали.

— Ну еще! — прикрикнула на них Лиза и даже ногой притопнула.— Сами виноваты, да еще и плачете... Одевайтесь! Живо у меня.

Чтобы не мозолить людям глаза (никогда не лишня осторожность), она повела братьев подгорьем.

— Ну вот,— заговорила, когда спустились косиком к озеру.— Смотрите, раз по дому соскучились. А чего скучать-то? Всё тут — и поля и огороды, никуда не убежали. Нет, я бы на вашем месте не скучала. Вон ведь как вас одели да обули. Па́льта матерчатые, башмаки, фуражки со светлым козырьком... Да вы как буржуи. Кто у нас, в Пекашине, так ходит? И кормили, наверно,— не помирали с голоду?

— Нет.

— Грамм-то пятьсот, всяко, думаю, давали.

— Восемьсот.

— Чего? — Лиза остановилась пораженная.— Восемьсот грамм хлеба на день? Вам? На каждого? Ну вот Михаил-то и выходит из себя. Устраивал-устраивал вас, сколько времени потратил, а вы на-ко что надумали — домой. Да где у вас голова-то? Ведь уж надо потер-

петь — попервости завсегда человеку на новом месте муторно, а потом привыкает. Я бы еще не удивилась, кабы Федька деру дал, а то вы...

Лиза нагнулась, подняла с земли хворостину, погрозила Тузику — тот с самого начала, едва они вышли из дому, провожал их лаем, а теперь надрывался где-то на угоре, возле амбара, там так и перекатывался черно-белый клок шерсти. Нет, хоть и хвалят у них этого псишку, а бестолковый, не будет из него дельной собаки. Потому что разве дело это — на своих лаять?

— Вон ведь вы что натворили! — принялась опять совестить братьев Лиза.— Тузко и тот дивится...

— А он и вчерась на нас лаял... Мы это подходим вечор с задворья к дому, а он нас не пускает...— И Петька и Гришка вдруг горько разрыдались.

— На вот! Нашли из-за кого убиваться. Маленькие! Тузко их не пускает...

— А мы его еще и не видели... Нам Таня написала — у нас собачка хорошенькая есть...

— Дак вы, может, из-за этой собачки хорошенькой и домой-то прибежали?

Ребята еще пуще разрыдались. И Лиза больше уже не распекала и не стыдила их. Она вдруг поняла, что они ведь еще дети.

2

— Татя, смотри-ко, каких гостей веду. Узнаешь ли?

— О, о! — неподдельно удивился Степан Андреянович.— Петр да Григорий. Сватушки...

— Домой вот прибежали,— сказала Лиза, прикрывая дверь за братьями.— А знаешь, зачем прибежали? — Она рассмеялась.— Тузка смотреть. На-ко, из города, за четыреста верст Тузка смотреть.— Она опять рассмеялась.— А Тузко, глупый, и к дому их не подпустил, лай на весь заулок поднял.

— Ничего,— сказал старик ребятам.— Не вы одни из-за собаки бегали. Я, бывало, постарше вас был, в работниках уж жил, а до того скучал по собачонке прежнего хозяина — Жулькой звали,— что хоть плачь...

— Неуж, татя? — страшно удивилась Лиза.

— Да, да, было такое дело.

— Ну, ребята, тогда не расстраивайтесь. Не у вас одних заворот в мозгах вышел.

Двойнята пробыли у сестры почти целый день, и Лиза

все сделала, чтобы скрасить им неласковый прием дома. Первым делом она накопала молодой розовой картошки, целый чугун наварила — ешьте досыта! Почему вы такие-то худющие — ведь когда война кончилась! Потом вымыла их в бане — что и за дом, когда в бане не побывал? Потом — не поленилась — сбегала к своим за Тузиком: Вася, мол, шибко капризит, может, с собачонкой успокоится.

Принесла в кузове за спиной, на пол вывалила — вот вам тот, по ком скучали!

В общем, не худо двойнята погостили у сестры, а уж с Тузиком-то наползались да наигрались сколько хотели.

Единственно с чем плохо в этот день было — с попутной машиной. Так этих попуток сколько хочешь ныне — леспромхозовских, колхозных, каждый час мимо ставровского дома катят то в район, то из района. А сегодня Степан Андреянович часами дозорил возле дороги — и ни единого колеса.

В конце концов Лиза решила до Нижней Синельги подбросить братьев на лошади — благо ей за подкормкой ехать надо,— а там, может, попадется какая машина, а ежели нет, то до Сыломы, большой деревни, где теперь стоит пароход, добегут и сами: недалеко — одиннадцать-двенадцать верст.

Степан Андреянович стал было уговаривать ее оставить ребят до утра — ничего, мол, не случится, ежели и позже на день прибудут в свое училище,— но она и слышать об этом не хотела. Что она скажет в ответ Михаилу, как поглядит ему в глаза, ежели тот узнает о самоуправстве? Не посчиталась она со старшим братом только в одном — насчет денег. Дала по двадцатке каждому на дорогу, потому что на попутке поедут и бесплатно, а на пароходе как? Хватит, натерпелись они страху, когда вперед попадали с пятеркой в кармане на двоих.

Ехали неторопко, Мазурик был в оглоблях — самая распоследняя коняга в колхозе.

У болота, в сосняке, кричали и улюлюкали ребятишки — не иначе как за молодой белкой гонялись, а со стороны новостройки, как на грех, тоже ребячий крик, да со смехом, с визгом,— похоже, Петр Житов шуганул бездельников. И, видно, очень уж горько от всего этого стало двойнятам — затаились позади сестры на телеге и ни слова.

Лиза попыталась развеселить их, вызвать на разговор об ученье, об их будущей жизни — раньше двойнята любили такие разговоры.

— Смотрите-ко, ребята, как вам повезло,— говорила она.— Во всей семье у нас ни у кого сроду не было паспорта, а у вас скоро целых два будет. Краса! Потом где захотел, там и живи — хоть в деревне-матушке, хоть на городах. Не зазнавайтесь только. Меня, может, потом и признавать не захочете, да?

Ребята не откликались.

Мазурик тащился еле-еле. Он и в молодости-то резвостью не отличался — бывало, навоз возишь, не одну вицу обломаешь, а теперь, в старости, и вовсе от рук отбился. И особенно трудно было сладить с ним под вечер, да еще когда надо от дому ехать. И Лиза невольно подумала: вот лошадь, тварь бессловесная, к своей конюшне привязана, а что же говорить о Петьке да Гришке? Уж кто-кто, а она-то знает, как с родным домом расставаться. Не забыла еще, как отвозил ее брат в лес, на Ручьи.

Наконец добрались до Синельги.

Лиза торопливо, не глядя в глаза, обняла братьев — одного, другого, подтолкнула сзади:

— Чёсайте.

И не выдержала — расплакалась, когда двойнята, перебежав мост, вдруг оглянулись и замахали ей руками.

С запада надвигалась туча, темная, лохматая, откуда только и взялась — всю дорогу было светло. Осинки у моста залопотали, задрожали на ветру, серая россыпь прошлогодних листьев полетела по песчаной дороге... Да что же это такое? Кто же глядя на ночь отсылает ребят в дорогу?

— Стойте, окаянные! Куда это полетели?

Двойнята остановились, затем нерешительно вернулись к сестре.

— Из училища-то не выгонят, ежели ночь переночуете у меня?

— Не...

— Не! Как — не? Кто вас, летунов малых, держать будет? Кому вы такие нужны?

— Не, мы ведь не сами... Нам на неделю разрешено...

— Вы опять за свое! — Лиза уже слышала это от братьев. Рассказывали ей эту сказку еще днем: будто не самовольно убежали, а воспитатель отпустил.— Чего из

вас выйдет-то — с таких годов врете? На вот — опять в слезы... Плакать-то раньше надо было... Ладно, возьму грех на душу. Бежите ко мне обратно. Да о реку, а не дорогой. И дома у меня, как мыши, замрите, чтобы никто не видел. А то Михаил узнает — голову с меня снимет...

3

Был поздний вечер. Луна, которая еще недавно помогала ей управляться в потемках с коровами, скрылась за облаками, и темень стояла кромешная, августовская — Лиза два раза натыкалась на изгородь.

И вдруг, когда она подошла к своему дому, увидела в заулке свет, да такой яркий, что двойнят, сидевших за столом, хоть на карточку снимай.

Да что же это такое? Мало она натерпелась страхов за сегодняшний вечер — это ведь не шутка, ежели из-за тебя ребят выгонят из училища! — так еще свекор огонька подкидывает...

Все разъяснилось мигом, когда она вбежала в избу. Письмо, письмо от Егорши!

— Когда пришло? Не в сутеменках?

— В сутеменках, в сутеменках,— живо закивал Степан Андреянович. Тоже и он весь рад.— Я как раз с лучиной вышел овцам подать — Окся-почтальонша воротца открывает...

И тут Лиза подивилась верности примет. Ведь именно в то самое время, когда начало темнеть (она как раз доить собралась), у нее зачесался нос. Правда, по этой примете ей выходило пить вино, но раз она вина не пьет, должна же быть замена! И такую замену она с радостью принимала: больше двух месяцев не было от Егорши письма.

К столу села чистая, намытая, гладко причесанная, с пылающими щеками — письма Егорши всегда зажигали у нее кровь, с сыном на руке — это уж обязательно.

«Здравствуй, дорогой и многоуважаемый дед Степан Андреянович, а также жена Лиза, С боевым солдатским приветом к вам ваш внук и муж Георгий Суханов...»

— А Васе опять привет написать забыл,— заметила, хмурясь, Лиза.— Не знаю, что за отец такой — про сына забывает.— Она перевернула листок, заглянула в конец письма.— Ну да, опять как нищему через заднее окошко: «Привет сыну Васе...»

«Во первых строках сообщаю, что наша.., энская часть...— Лиза посмотрела на свекра, на ребят: это еще что? — ...наша энская часть была на боевых ученьях, то есть на маневрах, а поэтому письма написать не имел, ибо международный накал и обстановка такая, что, пожалуй, нашему брату не до писем. Данное международное положение происходит потому, что империалисты всех мастей и международный жандарм Америка...»

Лиза покачала головой, усмехнулась:

— Вот как он у нас, татя, высказывается. Как с трибуны. В котором письме уж про эту международную обстановку... Приедет домой, может, и на тракторе работать не захочет, портфельщиком станет... Ну, почитаем дальше.

«Боевые ученья прошли успешно, то есть на большой, дали, как говорится, кое-кому прикурить, на всю катушку развернули огневую мощь Советской Армии, и я за это от лица командования имею благодарность. А кроме того, на днях меня вызывали к начальству, и был разговор в части сверхсрочной. Обещают сразу же присвоить воинское звание старшины, а также хорошее довольствие и жилищные условия...»

Лиза всхлипнула, посмотрела растерянно на улыбающихся двойнят, на свекра и вдруг по-бабьи заголосила:

— Татя, да он ведь не приедет к нам... Там останется... В армии...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Лукашин вышел из правления на крыльцо и заслушался. Бах, бух, бах...— топоры пели у болота. Вот песня, которую он готов слушать сутками напролет.

Потом, когда он выбежал к амбарам на задворках, увидел и самое стройку.

Не ахти какое сооружение колхозный коровник, не из-за чего тут приходить в телячий восторг, но ежели каждое дерево ты добывал с бою, ежели для того, чтобы зимой выкроить лошадь для вывозки леса, ты всякий раз до хрипоты ругался с районом — лесозаготовки же! —

ежели плотничья бригада у тебя полтора мужика, а остальные так себе, для счету, можно сказать, тогда, пожалуй, и на колхозный коровник станешь молиться.

Плотники, завидев, верно, председателя, поживее задвигали руками, и вот как он въелся в стройку — издали, на слух начал угадывать, кто как работает.

С ревом, с рыком врубается в дерево Михаил Пряслин — не щадит себя парень, не умеет работать вполсилы. Старается сегодня Филя-петух. Трень-звень — как на балалайке наигрывает. А вот Игнатия Баева не мешало бы при случае почесать против шерсти. Стук-стук — и встали. Инвалид — кто отрицает? — но ведь топор-то не в больной ноге держит, а ручищи у него — дай бог каждому.

Волнами накатывался смоляной настой. Свежая щепа, напоминавшая больших белых рыб, плавающих вокруг желтого бревенчатого сруба, сверкала на солнце...

Да, подействовал все-таки позавчерашний прижим с сеном, думал Лукашин, а вот теперь ему надо своими руками прикрывать стройку. Ничего не поделаешь: жатва подошла, первую заповедь выполняй, а кроме того, снова берись за косу, раз вёдро началось.

Плотники один за другим спустились с лесов, подошел, громко визжа своим протезом, Петр Житов — он сколачивал крестовину стропил на задах, и теперь Лукашину понятно стало, почему он не расслышал голоса его топора.

— Ну дак что будем делать-то, мужики? — заговорил Лукашин по-свойски, хотя и не совсем своим голосом, когда уселись на бревна и закурили.— Первая заповедь подошла. Придется нам эту стройку коммунизма на время прикрыть, а?

— А энто уж дело хозяйское,— сказал Петр Житов.

— Хозяйское? А я думал, вы хозяева.

— Один баран тоже думал, что зимой в шубе ходить будет, а его взяли да и остригли...

Так, поговорили по душам, обсудили всем коллективом, как жить и что делать.

Лукашин подождал, пока не затих смешок, сказал:

— Ну, раз вы бараны, тогда верно — баранов не спрашивают.— И уже совсем голосом команды: — Яковлев Аркадий — на сенокос. Филипп, ты около дома жать будешь. Пряслин — на Копанец...

— А мне и здесь не худо — огрызнулся Михаил, и

взгляд исподлобья, как будто он, Лукашин, его первый враг.

Пришлось поднять все ту же незримую председательскую палку — ничего другого не оставалось:

— К обеду чтобы был там. Понял?

— И не подумаю.

— Тогда за тебя подумают.

— Кто? Может, в дальние края, на выселку?

Вопрос звучал вызовом. В соседних колхозах за невыработку минимума трудодней и нарушение колхозной дисциплины кое-кого ставили на место.

У Лукашина, однако, хватило выдержки. Он пощадил самолюбие парня, тем более что в это время к коровнику подъехал на полуторке Чугаретти, и ему вдруг пришла в голову одна мысль.

— Житов, Аркадий,— он с треском оторвал штаны, вставая (опять, черт подери, на смолистое бревно сел!),— вы останетесь на новостройке. Вас не будем трогать.— И крикнул вылезавшему из кабины шоферу: — Заправься поскорей. В район поедем. Живо!

2

Подрезова в райкоме не было — с утра уехал в Саровский леспромхоз.

— Неважно у нас нынче с зеленым золотом, Иван Дмитриевич. Опять много недодали родине...

Помощник секретаря мог бы и не говорить об этом — кто не знает, что район уже третий год лихорадит с лесозаготовками. Но разве ему, Лукашину, от этого легче?

— Какой у вас вопрос, Иван Дмитриевич? Может, Милий Петрович поможет?

Лукашин посмотрел на дверь третьего секретаря райкома, тощую, обитую дешевенькой клеенкой, да и то полинялой, и невольно перевел взгляд налево, туда, где, затянутая в черный дерматин, пухлая, как стеганое одеяло, жарко сверкала медными шляпками дверь подрезовского кабинета. Но он все же решил зайти.

О Фокине, вернее о том, как тот стал секретарем райкома, ходили самые невероятные слухи — больно уж круто взмыл человек. Прямо из курсантов областной партшколы да в секретари!

Одни говорили, что Фокину просто повезло — на какой-то экзамен в партийную школу вдруг заявился сам

хозяин области и будто бы ему так понравился ответ Фокина, что он сказал: «Нечего тут штаны протирать. В район».

По другим рассказам, Фокина подняли за его выступление на каком-то теоретическом совещании в области — всех покрыл, всех посадил в лужу, даже преподавателей, у которых учился.

Лично Лукашину более правдоподобной казалась третья история, та, которую он сам слышал от Митягина, заместителя председателя райисполкома.

По словам Митягина, все началось с болезни жены Фокина, у которой неожиданно открылся туберкулез легких. В городе оставаться нельзя — врачи категорически запретили. Что делать? Куда податься? И вдруг, на счастье Фокина, в область приезжает Подрезов. На какое-то совещание.

Фокин к нему в гостиницу: так и так, Евдоким Поликарпович, выручай крестника! А Фокин действительно у Подрезова в районе боевое крещение получил: одно время комсомолом командовал, потом начальником лесопункта был и особенно отличился на сплаве — по суткам мог вместе с мужиками не спать.

— Да,— говорит Подрезов,— крестника выручить надо. А какую бы ты работенку хотел? Ну-ка, дорогие товарищи, подскажите.

Это Подрезов к секретарям райкомов обращается, которые в ту пору в номере у него сидели. А секретарям — что? Какое им дело до какого-то Фокина? Слава богу, своих забот хватает.

— Ну, а язык как у тебя? Подвострил тут в школе? — спрашивает Подрезов.

— Да вроде бы ничего,— отвечает Фокин.— Кроме пятерок, других оценок покамест не имею.

— А мне не оценки твои нужны, а то, как ты с народом будешь разговаривать. Секретарь тебя устраивает?

Фокин, понятно, сразу скис — невелика должность быть партийным вожаком в каком-нибудь колхозе или лесопункте. Какие это масштабы для человека, который в партийной школе учился?

— Охота бы,— говорит,— Евдоким Поликарпович, поближе к районной больнице, поскольку у меня жена больна...

— Да уж куда ближе,— говорит Подрезов,— от райкома до районной больницы. Непонятно? Секретарем по пропаганде будешь.

Тут, конечно, все секретари за столом так и подскочили:

— Как, Евдоким Поликарпович, ты серьезно это? Да кто тебе позволит в области шуровать как у себя в районе?

— А это уж моя забота,— отвечает Подрезов.— Неделю на сборы хватит? — Это опять Фокину.— Ну, а насчет всяких бумажек и прочих формализмов не беспокойся. Я завтра же договорюсь с кем надо.

Вот так и стал Фокин третьим секретарем райкома, если верить, конечно, Митягину. А Лукашин верил: больно уж все это походило на Подрезова. Любил Подрезов показать себя, свою силу, особенно на людях. А кроме того, ему в то время действительно нужен был третий секретарь (прежнего забрали на повышение), и мог, мог он сам подыскивать для себя подходящего человека. Потому что с кем, с кем, а уж с ним-то, чуть ли не первым лесным тузом в области, наверху считались.

Лукашину за эти два с лишним года, что работает в райкоме Фокин, не раз приходилось слушать его выступления и на районных совещаниях и у себя в колхозе, и, в общем-то, ничего плохого о третьем секретаре он сказать не мог. Речист. Людей не боится — сам прет на них. И ловок, конечно,— знает, где можно прижать человека, а где надо приласкать. Но на этом его знакомство с Фокиным, пожалуй, и кончалось, ибо по всем сколько-нибудь серьезным делам председатели колхозов шли к Подрезову — он был всему голова в районе.

В то время, когда Лукашин переступил за порог кабинета, жаркого, душного, выходящего окнами на юг, Фокин разговаривал по телефону.

На мгновенье вскинул черные прямые брови — не ожидал такого гостя! — но тут же заулыбался, закивал на стул возле стола и даже подтолкнул свободной рукой пачку «Беломора»: кури. Это уже совсем по-подрезовски. Подрезов любил угощать своих подчиненных табачком, особенно в командировках — специально возил с собой курево, хотя сам и не курил.

Разговор у Фокина был с областью — Лукашин сразу это понял по той особой, можно сказать, государственной озабоченности на его молодом румяном лице и по тем

особым словечкам, которые употребляют лишь в разговоре с высоким начальством: «Так, так... вас понял... будет сделано... не подведем...» Зато уж когда повесил трубку, дал себе волю: наверно, с минуту прочищал легкие — шумно, как конь после тяжелой пробежки.

— Первый мылил,— с улыбкой сообщил Фокин.— Насчет первой заповеди... А как у тебя? Начал жать?

— Начал.

— И сенокос не забываешь?

— Кое-кого отправил на Синельгу.

Фокин кивнул за окно на солнце.

— Надо не кое-кого. Не прозевай. Бог для тебя специально не будет это колесо выкатывать. А как коровник? Покрыл?

До сих пор Лукашин отвечал и слушал как бы по обязанности: секретарь. Положено интересоваться. А тут вскинул голову: откуда Фокин такие подробности знает про ихний коровник? Вспомнил, как его, Лукашина, в прошлом году на бюро райкома песочили за то, что он сорвал обязательство, не закончил коровник к сроку?

— Ну-ну, по глазам вижу,— подмигнул Фокин своим черным хитроватым глазом.— Приехал насчет техники клянчить, так?

Лукашин только плечами пожал: Фокин ну просто читал его мысли! Именно за этим, насчет жатки, тащился он в райком, ибо раздобудь он эту самую жатку, меньше людей потребуется на поля, а раз меньше — значит, можно не прерывать работы на коровнике...

— Смотри, смотри, товарищ Лукашин,— сказал Фокин и кивнул на дверь, в сторону кабинета Подрезова,— с огнем играешь. До самого дойдет, какие ты художества в период уборочной вытворяешь, не поздоровится. В деле Евдоким Поликарпович отца родного не пощадит.— Это уже намек на его, Лукашина, близость с первым секретарем.

Солнце било Фокину в глаза, жарило черноволосую голову, синий китель застегнут на все пуговицы, да еще от раскаленного стекла на столе поддавало, а он только зубы скалил от удовольствия — белые, крепкие, какие не то что на севере, а и на юге не часто встретишь.

— Мне бы жатку, Милий Петрович, раздобыть,— вдруг заговорил напрямик Лукашин.— Вот бы что меня выручило.

Фокин ухмыльнулся:

— У тебя губа не дура, товарищ Лукашин. Только где же сейчас жатку возьмешь?

— Я думал, что, поскольку у меня строительство, райком пойдет навстречу...

— Ты думал!.. Сколько этой весной нам жаток завезли, знаешь? Пять. Из них четыре мы дали самым отстающим, а одну нашему показательному...

— Вот показательному-то можно было не давать. И так все добро туда валят...

— Ну, это ты с Евдокимом Поликарповичем толкуй, ежели такой смелый...— Опять намек на его близость с Подрезовым.

Фокин прошелся по кабинету, тяжело, по-подрезовски ставя ногу в ярко начищенном хромовом сапоге, затем решительно взял телефонную трубку:

— Барышня, дай-ко мне «Красный партизан». Да побыстрее... Товарищ Худяков? Здравствуй. Вот не думал, что ты в правлении загораешь.— Фокин по-свойски подмигнул Лукашину.— Почему не думал-то? Да погодка-то, видишь, не конторская вроде. Косой надо махать... Чего-чего? Все давно смахал? Верно, верно, я и забыл. Слушай-ко, Аверьян Павлович, пожурить тебя хочу... За что? — Фокин опять подмигнул Лукашину.— А за то, что ты соседа своего обижаешь... Какого? Соседа-то какого? А того, у которого великая стройка... Да, да, у болота,— захохотал Фокин.— Ладно, ладно, не прибедняйся. Жатку ему надо. Да, да... Нету? Брось, брось — нету... Откуда? А оттуда, что у тебя все косилки на полях. Правильно? А у него сенокос, сенокос в разгаре... Понял?

Фокин еще несколько минут, то весело похохатывая, то наседая на Худякова, разговаривал по телефону, а когда кончил, сказал:

— Поезжай. У твоего соседушки всякой всячины толсто. Да присмотрись хорошенько. Худяков — замок с секретами...

Лукашин крепко, с чувством пожал протянутую коротконалую руку в черном волосе. Все-таки это была помощь.

— Да,— окликнул его Фокин, когда он был уже у дверей,— с осени тебе дадим комиссара...

— Парторга?

— Да. Негоже приход без попа. Есть решение райкома: у вас теперь будет освобожденный парторг.

— А кто он?

— Парторг-то? А вот это покамест секретец.— У Фокина во все полное румяное лицо просияли белые, молочные зубы.— А в общем, пройдись по райкому — он тутошний...

3

Чугаретти просто взвыл от радости, когда узнал, что они едут к Худякову:

— Вот это путевочка!

Затем, когда сели в кабину, пояснил:

— У меня там шуряга проживает, муж сестры моей женки, значит. Давно в гости зовет. А второе, конечно, Худяков...

— Тоже родня? — спросил Лукашин.

— Почему родня? Никакая не родня. Разве что на одном солнышке портянки сушили. А поглядеть на Худякова кто же откажется? Ведь этого Худякова, я так понимаю, и человека на свете хитрее нету.

— А чем же он так хитер?

— Чем? — Чугаретти страшно удивился. Он даже на какое-то мгновенье баранку выпустил из рук, так что машина круто вильнула в сторону и впритык прошла рядом с жердяной изгородью на выезде из райцентра.— Ну, Иван Дмитриевич... Чем Худяков хитер? А цыгана кто облапошил? Не Худяков? Не слыхали? Ну, после войны дело было. Цыган, вишь, вздумал поживиться за счет «Красного партизана». «Давай, говорит, лошадями меняться, хозяин». А Худяков — чего же? «Давай». Ну, сменялись. Цыган пять верст от деревни отъехал — подохла кобыла, а у Худякова коняга тот и сейчас жив. Во как! Да чего там,— Чугаретти коротко махнул рукой,— у него даже сусеки в амбарах не как у всех. С двойным дном.

— Какие, какие? — живо спросил Лукашин.

— С двойным дном, говорю.

— Это зачем же?

— А уж не знаю зачем. Затем, наверно, чтобы на зуб себе завсегда было. Их доят, доят, а они все с хлебом...

Лукашин захохотал: нет, неисправим все-таки этот Чугаретти. Начнет вроде бы здраво, а кончит обязательно брехней и выдумкой. А жаль. Хотелось бы ему погово-

рить об Аверьяне Худякове. Сосед. Да и мужик больно занятный. По сводкам — сдача мяса, молока, хлеба — всегда впереди, а не любит языком трепать. На районных совещаниях его не увидишь на трибуне, только разве вытащат когда, пробубнит несколько слов, а так все помалкивает и сидит не на виду, а где-нибудь в сторонке, сзади.

Лукашин давно уже хотел познакомиться с этим человеком поближе. Да, оказывается, не так-то просто это сделать, хоть он и твой сосед. Летом с ходу к нему не попадешь — за рекой живет,— а на председательских «собраниях», которые иногда бывают в районе после совещаний, его тоже не увидишь: то ли потому, что расходов лишних избегает, то ли оттого, что не пьет.

— Так, говоришь, сусеки у Худякова с двойным дном? — развеселился вдруг Лукашин.

Чугаретти — коровьи глаза навыкате, ноздри в гривенник — яростно накручивал баранку.

Машина подпрыгивала как шальная, ветер завывал в кабине, но Лукашин ничего не говорил — пускай порезвится, дурь свою повытрясет: они теперь лугом ехали.

Благоразумие к Чугаретти вернулось за мостом — с грохотом пролетели. Он задвигал дегтярной кожей на лбу, захлопал глазами, а потом начал виновато поглядывать на своего хозяина.

— В следующий раз за такие фокусы выгоню,— предупредил Лукашин.

— А чего и не верите.— Чугаретти по-ребячьи, с обидой ширнул носом.— Я, что ли, выдумал про эти сусеки? Поди-ко послушай, что говорят про этого Худякова.

— Кто говорит?

— Народ. У них ведь, в «Красном партизане», что было до Худякова? А такой же бардак, как у всех протчих. А Худяков пришел — ша! Дисциплинка — раз и два — на лапу. «Я, говорит, научу вас землю рыть носом, но что полагается — дам, голодом у меня сидеть не будете...» Во как сказал Худяков на собранье, когда его в головки ставили.

— Ну и дал? — спросил Лукашин.

— А то! Худяков да не дал. Его, бывало, твердым заданием обложили — смолокурня у отца была: врете, поклонитесь еще Аверьяну Худякову! Ну и поклонились. На лесозаготовки загнали в Вырвей, в самую глухоту, а

он и оттуда на свет вырубился. Первым стахановцем стал — во как! Правда,— сказал Чугаретти, подумав,— народишко в Шайволе не как у всех протчих. Дружный. Горой друг за друга. И вообще у Худякова такой порядочек: что народ решит, так тому и быть. Про Манечку-то небось слыхали? Ну, как он с дочерью родной разговаривал... Нет? Да это ж у нас ребенка малого спроси — знает!

Чугаретти опять начал горячиться. Это не по нему — рассказывать вполголоса. Он уж так: ежели возносить человека, то возносить до небес.

— Ну и ну! — воскликнул Чугаретти и помотал головой.— Да вы, я вижу, про Худякова ни бум-бум. Ну а насчет того, как в город веники возил продавать... Чтобы пятаками разжиться?

У Лукашина вдруг что-то вроде ревнивой зависти шевельнулось в груди, и он сказал:

— Ты давай сперва про эту самую... Манечку...

— А-а, это насчет дочери-то. Ну, так, значит, было. Приходит Манечка, младшая дочь, к отцу: «Папа, дай справку. Я учиться поеду».— «А ты разве не знаешь, дочи, какой у нас порядок?» Это отец, Худяков, значит, спрашивает. А порядок у них такой: никого из колхозу. До семилетки учись, не препятствуем, а дальше — стоп. Работай. Вот такой порядочек. Сам Худяков завел. Ну, а девка у Худякова отличница круглая да и не робкого, видать, десятка — заявление. Прямо на общее собрание адресовалась: так и так, хочу учиться. Отпустите.

Тут Чугаретти сделал небольшую передышку — специально, конечно, для того, чтобы дать Лукашину все как следует прочувствовать.

— Ладно. Собралось в назначенный час собранье. Вопросы: итоги на посевной, а также протчее в разном. Ладно. Дал Худяков картину по первому вопросу, все как полагается. «А сейчас, говорит, дело такое, что мне, говорит, лучше в сторону. Однем словом, семейный вопрос, передаю собрание своему заместителю». Ну, выслушали заявление. Сколько-то, может, помялись, потужились, а решение вынесли единогласно: разрешить ученье Марии Аверьяновне Худяковой, как отлично окончила школу. Первое, конечно, то, что дочь председателя — надо же уважить человека, раз столько для колхоза сделал, а второе — пятерки Манечкины. Кому охота талант живьем зарывать. Не звери же — люди сидят...

И вот тут-то в это самое времечко поднимается Худяков.— Чугаретти аж всхлипнул — до того расчувствовался.— «Никакой учебы для Худяковой. Как отец — за, а как председатель — нет». То есть вето. Как в Объединенной Нации. Однем словом, запрягайся, Манечка, в колхозные сани. Все у нас одинаковы...

За открытым окном кабины косматился иссиня-зеленый рослый ельник, белые березки вспыхивали на солнце. Потом Лукашин увидел ягодниц — двух беленьких девчушек с берестяными коробками — и сразу понял, что они подъезжают к Шайволе.

— Ну и чем кончилась эта история? Так и не отпустил Худяков дочку?

Чугаретти удивленно вытаращил глаза: какое, мол, это имеет значение?

Лукашин не настаивал. Ведь то, что рассказывал Чугаретти про Худякова, скорей похоже на легенду, чем на житейскую историю, а легенде разве до подробностей и до мелочей всяких?

4

Пинега под Шайволой не у́же и не мельче, чем под Пекашином, но перевоза нет, и Чугаретти увидел в этом еще одно подтверждение мудрости Худякова.

— Вот так,— сказал он многозначительно.— Мало того что он рекой от начальства отгородился, дак еще и всю связь ликвидировал.

Однако связь была. Не успели они спуститься с крутого увала к воде, как с той стороны, из-за острова, выскочила длинная узконосая осиновка с белоголовым подростком, который, как выяснилось, уже с полчаса поджидал Лукашина.

— К правленью-то дорогу без меня найдете? — спросил парень, когда они переехали за реку.— А то бы мне за травой надо съездить.

— Мотай,— сказал Чугаретти и вдруг страшно обиделся: — Да ты что, понимаешь, Чугаретти не знаешь? Чей будешь?

— Ивана Канашева.

— Чувак! А за дорогой от вас кто проживает? Кого ты видишь каждое утро из своего окошка в белых подштанниках?

Парень захохотал:

— Олексея Туголукова.

— Олексея Туголукова...— передразнил Чугаретти.— Шуряга мой. Где он сейчас? На Богатке?

— Не, дома кабысь. Ногу порубал — к фершалице ходит.

Чугаретти пришел в восторг:

— Вот это да! Везуха! С моим шурягой можно кашу сварить.

Шайвола раскинулась на пологой зеленой горушке, примерно в полуверсте от реки, и Лукашину с Чугаретти пришлось сперва идти лугом, на котором уже стояли зароды, а затем полями.

Луг был небольшой, гектаров восемь от силы, и Лукашин спросил у Чугаретти, есть ли еще домашние покосы у шайволян, то есть покосы возле деревни.

— Нету. Всё тут. О, кабы у них были такие сена, к примеру, как у нас, Худяков раздул бы кадило. А то у них за пятьдесят верст ехать надо, да и то какие это сена́ — кот наплакал. Ну, Худяков нашел выход. Раньше у них сено гужом добывали да зимой — чистый разор. Просто съедали лошади колхоз. А Худяков пришел: «Не будем возить сено к скоту. Скот погоним к сену». Мой-от шуряга круглый год живет на Богатке, телят кормит. Там у них дело поставлено...

За лугом, при выходе с поля, Чугаретти свернул налево — шурин его жил в нижнем конце деревни,— и Лукашин вздохнул с облегчением. Он любил ездить с Чугаретти — не соскучишься, но сколько же можно — Худяков, Худяков...

День был теплый, безветренный, душно и сытно пахло нагретой на солнце рожью, через которую шла дорога.

Рожь была неплохая, но и не лучше, чем у них в Пекашине. Капустник под самой горушкой тоже не удивил Лукашина — кочаны как кочаны,— а вот деревня его поразила.

Ни одного заколоченного дома (по крайней мере в середке, которой он проходил), а главное, и жилые-то дома выглядят как-то иначе, чем в других деревнях. У них, к примеру, в Пекашине какие дома уделаны? Те, где живет мужик. А на вдовьи хоромы, а их большинство, и смотреть страшно: как Мамай проехал.

Тут же вдовья нищета и обездоленность не бросались в глаза, и Лукашин, хоть и не без некоторой ревнивости, должен был признать, что это дело рук председателя. Его, Худякова, заслуга.

Присмотрелся Лукашин и к конюшне, которая встретилась на пути. Сперва показалось диким — грязь и базар посреди деревни, чуть ли не под самыми окнами правления (спокон веку хозяйственные постройки в колхозах на задворках), а потом подумал и решил: здорово! Лошадь зимой, когда все тягло на лесозаготовки забирают, на части рвут, нигде не бывает столько ругани и скандалов, как на конюшне. А тут, когда председатель под боком, много не поскандалишь, не покричишь. Да и конюх всегда на прицеле — поопасется самоуправничать.

Худяков встретил его у колхозной конторы.

— Долгонько, долгонько, товарищ Лукашин, попадаешь, я уж, грешным делом, едва не маханул в поле.— Худяков указал рукой куда-то на задворки, очевидно, там были тоже поля.— Как насчет чаишка? Не возражаешь? Солнце-то, вишь, где — на обед сворачивает.

Лукашин не стал возражать — он теперь, как истый северянин, не меньше трех раз на дню пил чай — и Худяков повел его домой.

Ничего особенного Лукашин как раньше не находил в Худякове, так не нашел и сейчас. Мужик как мужик. Правда, сколочен крепко и надолго. Ему уж было за пятьдесят, а в чем возраст? В глазах? В походке? Ногу в кирзовом сапоге ставит неторопко, твердо — хозяин идет. Да и вообще по всему чувствовалось — корневой человек. Вагами выворачивать — не вывернуть... Глубоко, как сосна, в земле сидит.

Лукашин все время думал, кого же напоминает ему Худяков, и только когда тот стал расспрашивать его о райкоме, решил — Подрезова. Вот у кого еще самочувствие и хватка хозяина.

Раскаленный самовар стоял уже на столе, когда они вошли в избу.

Лукашин поздоровался со старухой, сидевшей за зыбкой, и посмотрел на хозяина. Тот отвел глаза в сторону, и Лукашин понял: его ребенок, а не дочери или сына, который был в армии.

М-да, с новым удивлением посмотрел Лукашин на хозяина, у него везде жизнь на полном ходу...

Закуска к водке (Худяков выставил непочатую бу-

тылку) оказалась самой обычной, по сезону: молодые соленые грибы и лук — свежие головки с пером, только что выдернутые из грядки,— зато житник, пестрый, мягкий, хорошо пропеченный, был на славу.

Лукашин, с аппетитом уминая его за обе щеки, подмигнул:

— Поучил бы, Аверьян Павлович, как такой хлеб делать.

— А это уж к хозяйке надо адресоваться. Она у меня мастерица.

— Да хозяйка и у меня не без рук,— сказал Лукашин.— С хозяином загвоздка.

— У нас на Севере, товарищ Лукашин, всему голова — навоз. Наши пески да подзолы без навоза не родят... И я первым делом, когда встал на колхоз, взялся за навоз...

— Ну, у меня навоз тоже не валяется. Но живем вприглядку. Хлеб видим, покуда он на корню...

— Везде порядки одинаковы,— уклончиво ответил Худяков и посмотрел на старинные ходики, висевшие на печном стояке, за зыбкой, потом для полной ясности взглянул за окошко, в поле.

Лукашин нисколько не обиделся: к делу так к делу — он и сам был не очень-то рад, что в такой день сидит за рюмкой. И потому начал прямо, без всяких подходов: выручай, мол, Аверьян Павлович, соседа. У тебя сенокос закончен, вся техника брошена на поля — чего тебе стоит дать одну жатку хоть на недельку.

Худяков махнул рукой:

— Ну, это пустое дело. Давай об чем-нибудь об другом.

— Да почему пустое? — загорячился Лукашин.

— А потому. Коня отдай соседу, а сам пешком — так, что ли? Да меня за такие дела колхозники со свету сживут. Скажут: из ума выжил старый дурак...

Лукашин попробовал припугнуть райкомом — разве не звонил ему только что Фокин? Получилось еще хуже: Худяков посмотрел на него с откровенной усмешкой: неужели, мол, ты это всерьез?

— Не по-соседски, не по-соседски, Аверьян Павлович,— заговорил другим голосом Лукашин.— Вон я недавно кино видел — «Кубанские казаки» называется. Так там, понимаешь, дружба у председателей — не разлей водой.

Худяков рассмеялся:

— А председатели-то кто там — забыл? Мужик да баба...

Шутка, видно, размягчила немного прижимистого хозяина. Он стал разговорчивее и даже раза два выразился в том смысле, что помогать надо, без подмоги не прожить, а после того как Лукашин сказал, что он не задаром просит жатку, заплатит, что положено, Худяков и вовсе запоглядывал весело.

— Ну, а что бы ты, к примеру, мне отвалил, а? — спросил он.— Я ведь такой купец: деньгами не беру.

— А чем же берешь? Натурой?

Худяков кивнул.

— Ну, насчет натуры извини. Сами вприглядку живем.

— Есть у тебя натура,— сказал Худяков.— Та, которая на лугах да на пожнях растет.

— Сено? — удивился Лукашин.— Нет, Аверьян Павлович, плохо ты районку читаешь. У меня сенокос, знаешь, на сколько выполнен. На шестьдесят пять процентов.

— Знаю. Да я не сено у тебя прошу. Ты мне покосишко какой уступи. К примеру, озадки на Марьюше. У вас они все равно под снег уйдут.

В общем-то, это верно — невпроворот у пекашинцев всяких сенокосов, в то время как Шайвола испокон веку обделена ими. Но легко сказать — уступи. А что скажет райком? Разбазаривание колхозных земель — так это называется?

— Ты бывал на войне? — спросил Худяков, глядя прямо в глаза.— Забыл, что там без риска не только дня, а и часу одного не проживешь?

— То на войне.

— Ну, как хочешь.— Худяков опять посмотрел на ходики.— А я тебе вот что скажу: чистеньким на нашем месте — не выйдет. А что касаемо этих самых покосов, то я их каждый год покупаю у соседей. И в районе, кому положено, знают это...

В конце концов Лукашин принял условия Худякова — другого выхода у него не было.

— Жатка у меня на той стороне, на вашей,— сказал Худяков,— хоть сегодня забирай. Только без шуму. Не к чему на весь район звонить.

● ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Августовский день был на исходе. Над главной улицей райцентра из конца в конец стояло красное облако пыли, поднятое возвращающимися из поскотины коровами, овцами и главной скотинкой районного люда — козами.

Лукашину с Чугаретти пришлось остановиться возле школы.

— У нас мужики тоже подумывают об этих бородатых коровках,— заговорил Чугаретти.— Петр Житов подсчитал это дело: кругом выгода. Корму в обрез — раз, и два — никаких налогов...

Лукашин вылез из кабины.

— Жди меня у Ступиных.

Это дом, где он обычно останавливался.

Чугаретти закивал головой — даже он понимал, что к райкому лучше не подъезжать на машине. Да и чего тут мудреного! Страда, председатели вкалывают на поле да пожне за первого мужика, а тут на-ко, второй раз на дню в райком. Уборщица увидит и та руками разведет.

Гулко запели деревянные мостки под ногами, потянулись знакомые дома, конторы, потом впереди на повороте замаячил райком — пожар в окнах от вечернего солнца, а Лукашин все еще не решил, говорить ли ему с Фокиным о том, что рассказал Чугаретти,— на тот случай, конечно, если нет в райкоме Подрезова.

Чугаретти — дьявол его задери! — довел Лукашина до белого каления. Ему было строго-настрого сказано: не напивайся у шурина, не забывай, что тебе за рулем сидеть,— а он явился к реке — еле на ногах держится. Ну и что было делать? Лукашин загнал его в воду и до тех пор полоскал, пока тот не посинел от холода.

За реку ехали молча — Чугаретти дулся и чуть не плакал от обиды. Но разве он может долго молчать?

Только сели в машину — заскулил, как малый ребенок:

— Вот и служи вам после этого. Я, понимаешь, все секреты про Худякова вызнал, а вы меня как последнюю падлу...

— Ладно,— сказал Лукашин,— можешь оставить

свои секреты при себе, а я тебя последний раз предупреждаю, Чугаев. Понял?

Чугаретти не унимался. Он опять стал пенять и выговаривать, а потом вдруг бухнул такое, что у Лукашина буквально глаза на лоб полезли: у Худякова на бывшем выселке по названию Богатка, где работает его шурин, не только телят откармливают, но и сеют тайные хлеба...

— Какие, какие хлеба? — переспросил Лукашин.

— Потайные. Которые налогом не облагают...

— Как не облагают?

— А как их обложишь? Какой уполномоченный пойдет на ту Богатку — за восемьдесят верст, к черту на рога? Нет,— сказал убежденно Чугаретти,— люди зря не будут говорить про сусеки с двойным дном...

Лукашин, никогда до этого не принимавший всерьез россказни своего шофера, тут поверил сразу. Каждому слову.

«М-да,— думал он,— вот так Худяков!.. А я-то еще час назад ломал голову, как он умудряется концы с концами сводить. А оказывается вон что — потайные хлеба...»

Лукашин высунул голову из кабины. Они сворачивали к шайвольской мызе, где по записке Худякова он должен был получить у бригадира жатку.

— Поворачивай обратно! — вдруг распорядился он.— В район поедем.

Чугаретти всполошился:

— Только, чур, Иван Дмитриевич, меня не выдавать. Хо-хо?

— Хо-хо, хо-хо,— сказал Лукашин.

Вот так он и оказался второй раз на дню в райкоме.

Сперва, когда он услыхал про тайные хлеба, он так вскипел, что на все махнул — и на жатку, и на коровник, и на дом (только бы на чистую воду вывести этого ловкача Худякова!), а сейчас, подходя к райкому, он уже не ощущал в себе первоначального мстительного запала. И даже больше того: глядя на чистое, в вечернем закате небо, он жалел о потерянном дне.

2

Подрезов был у себя, к нему была очередь: зам. предрика, редактор районной газеты, директор средней школы — все народ крупный, не обойдешь, и Лукашин, что-

бы не терять понапрасну времени, побежал цыганить, то есть клянчить по учреждениям и магазинам всякие строительные материалы — гвозди, олифу, стекло, замазку — и, конечно же, курево.

С куревом с этим была беда, в сельпо не купишь — только на яйца да на шерсть, и вот приходится председателю добывать не только для себя, но и для мужиков — иначе и на работу не дождешься. Теперь, правда, после выгрузки у пекашинцев было что дымить, но раз уж оказался в райцентре, надо побегать: кое-какой НЗ завести разве плохо?

В последнее время Лукашина частенько выручал председатель райпотребсоюза, с которым он познакомился близко на сплаве, но сегодня ничего не вышло — все служащие райпотребсоюза, в том числе председатель, были на уборочной в показательном колхозе.

Лукашин думал-думал, ломал-ломал голову и вдруг кинулся за дорогу, в орс леспромхоза. Не важно, что не Сотюжский леспромхоз,— система та же. И ему по всем статьям обязаны выплачивать калым. Во-первых, за землю — разве не на пекашинской земле стоит орсовский склад? А во-вторых, кто разгружает орсовские баржи?

И вот выгорело. Сорок пачек махры отвалил начальник орса да потом еще по собственной доброй воле накинул десять пачек «Звездочки». Это уж исключительно для него, Лукашина, чтобы он, как добавил, смеясь, начальник, не слишком притеснял Ефимка-торгаша...

В общем, через каких-нибудь полчаса Лукашин притащил к Ступиным, где его поджидал с машиной Чугаретти, целую охапку разного курева. А кроме того, в кармане у него лежала еще накладная на десять килограммов гвоздей — тоже из начальника орса выбил.

Гвозди нужны были позарез — вот-вот начнут крыть коровник, и потому Лукашин тотчас же послал Чугаретти на базу к реке — авось еще застанет там кладовщика.

— Я, кажется, задержусь немного,— сказал на прощанье Лукашин.— А ты на всех парах домой да по дороге, ежели не совсем темень будет, прихвати жатку. А то утром за ней скатайся, пока то да се...

Окрыленный удачей, Лукашин от Ступиных направился в милицию, вернее, к Григорию. Рубить ихний узел.

Григорий замучил их до смерти. На развод с Анфисой не соглашается — хоть ты башку ему руби. Это мили-

ционер-то, страж законности! Затем — сколько еще разводить канитель вокруг дома? Ни тебе, ни мне. Ни я вам свою половину не продам, ни вашу не куплю. Живите в полузаколоченном доме! Давитесь от тесени в одной избе...

Как все-таки это хорошо, что на свете есть показательные колхозы! Всю жизнь клял их за иждивенчество, за то, что на чужом горбу едут, а сейчас, когда ему в милиции сказали, что Григорий с Варварой и двумя милиционерами на уборочной в показательном колхозе, он чуть не подпрыгнул от радости. Надо, вот как надо покончить с этим делом, но если можно отложить хотя бы на недельку разговор с Григорием, то он за то, чтобы отложить...

В приемной Подрезова, куда впопыхах примчался Лукашин — он все боялся опоздать,— по-прежнему томились редактор районки и директор средней школы.

— Евдоким Поликарпович знает, что вы здесь,— тихо и вежливо сказал помощник.

Лукашин поблагодарил и подсел к редактору — у того в руках был «Крокодил».

Редактор знал его — раза два был в Пекашине по поводу строительства коровника и даже чай пил у него,— но тут, в райкоме, на виду у портретов, которые взирали на них с двух стен, счел невозможным такое занятие, как совместное разглядывание веселых картинок в журнале, и, отложив его в сторону, стал расспрашивать, как поставлена в колхозе политико-воспитательная работа в связи с развертыванием уборочных работ на полях.

Лукашин отвечал в том же духе, в каком спрашивал редактор: политико-воспитательная работа поставлена во главу угла... политико-воспитательной работе уделяется большое внимание... политико-воспитательная работа — основа основ успеха,— а потом вдруг встал: вспомнил давешний разговор с Фокиным про парторга.

Интересно, интересно... Кого Фокин решил дать ему в комиссары?

Лукашин прямо прошел в инструкторскую — не пошлют же в колхоз кого-нибудь из завотделами!

Тут было людно, в инструкторской: целая бригада сидела молодых здоровых мужиков, каких сейчас — по всей Пинеге проехать — ни в одном колхозе не найти. Одеты все одинаково — полувоенный китель из чертовой кожи

и такие же галифе. Крепкая материя. Один раз схлопотал — и лет десять никаких забот...

Лукашин поздоровался, вытащил начатую пачку «Звездочки» — мигом ополовинили. Тоже и они, низовые работники райкома, до сих пор ударяют по «стрелковой».

Лукашин курил, перекидывался шутками — тут никто из себя номенклатуру не корчил,— присматривался потихоньку, но так и не решил, кого из этих молодцов прочит ему в комиссары Фокин. Народ все был малознакомый, новый, подобранный Фокиным: тот как-то на районном активе заявил, что все парторги на местах должны пройти выучку в райкоме.

— А где у вас Ганичев? — спросил Лукашин.— В командировке?

— Нет, собирается еще только.

Лукашин пошагал в парткабинет: где же еще искать Ганичева, раз на носу у него командировка?

Ганичев на этот счет придерживался железного правила: прежде чем заряжать других, зарядись сам.

«А как же иначе? — делился он своим опытом с Лукашиным, когда тот еще работал в райкоме.— Не подработаешь над собой — всю кампанию можно коту под хвост. Так-то я приехал однажды в колхоз. Бабы плачут, председатель плачет — тоже баба. У меня и получилось раскисание да благодушие... А ежели, бывало, подработаешь над собой, подзаправишься идейно как следует, все нипочем. Плачь не плачь, реви не реви, а Ганичев свою линию ведет».

Память у Ганичева была редкая. Он назубок знал все партийные съезды, все постановления ЦК, он мог свободно перечислить всех сталинских лауреатов в литературе, сказать, сколько у кого золотых медалей, и, само собой, чуть ли не наизусть выдавал «Краткий курс». С ним он не расставался, всегда носил в полувоенной кожимитовой сумке на боку, и, смотришь, чуть какая минутка выдалась — присел в сторонку, и началась работа над собой.

Сейчас Ганичев один сидел в парткабинете, склонившись над столом с керосиновой лампой под зеленым абажуром, а что делал, не надо спрашивать: штурмовал труды товарища Сталина по языку.

Все теперь были заняты изучением этих трудов. Они появились в «Правде» как раз в сенокос — Лукашин в то

время был на Верхней Синельге. И вот вызвали на районное совещание.

Сорок семь верст он проехал верхом почти без передышки, сменил двух коней, в районный клуб вошел, хватаясь руками за стены,— до того отхлопал зад.

Зал был забит до отказа, некуда сесть. И он уцепился обеими руками за спинку задней скамейки, на которой сидели такие же, как он, запоздавшие работяги, да так и стоял, пока Фокин кончил свой доклад.

А Фокин хоть по бумажке читал, но читал зажигающе:

— Товарищи! Труды товарища Сталина... мощным светом озаряют наш путь... идейно вооружают весь наш советский народ...

Последние слова докладчика Лукашин расслышал с трудом — они потонули в шквале аплодисментов,— да ему теперь было и не до них. Хотелось поскорее в парткабинет, хотелось самому своими глазами почитать.

Прочитал. Посмотрел в окно — там шел дождь, посмотрел на Сталина в мундире генералиссимуса и начал читать снова: раз это программа партии и народа на ближайшие годы, то должен же он хоть что-то понять в этой программе.

Несколько успокоился Лукашин лишь после того, как поговорил с Подрезовым.

Подрезов словами не играл. И на его вопрос, какие же выводы из трудов товарища Сталина по языку нужно сделать практикам, скажем, им, председателям колхозов, ответил прямо: «Вкалывать». И добавил самокритично, нисколько не щадя себя: «Ну, а насчет всех этих премудростей с языком я и сам не очень разбираюсь. К Фокину иди».

К Фокину, третьему секретарю райкома, Лукашин, однако, не пошел — страда на дворе, да и самолюбие удерживало,— а вот сейчас, когда он увидел за сталинскими работами Ганичева, решил поговорить: Ганичев — свой человек.

— Ну что, Гаврило, грызем? — сказал он.

Ганичев поднял высоко на лоб железные очки, блаженно заморгал натруженными голубенькими, как полинялый ситчик, глазами:

— Да, задал задачку Иосиф Виссарионович. Я попервости, когда в «Правде» все эти академики в кавычках стали печататься, трухнул маленько. Думаю, все, капут

мне — уходить надо. Ни черта не понимаю. А вот когда Иосиф Виссарионович выступил, все ясно стало! Нечего и понимать этих так называемых академиков. Оказывается, вся эта писанина ихняя — лженаука, сплошное затемнение мозгов...

— А как же допустили до этого, чтобы они затемняли мозги?

— Как? А вот так. Сволочи всякой у нас много развелось, везде палки в колеса суют...

Лукашин вспомнил, как мужики на выгрузке толковали про сталинские труды.

— Слушай, Гаврило, а у нас поговаривают: вроде как диверсия это. Вредительство...

— А чего же больше? Ожесточение классовой борьбы. Товарищ Сталин на этот счет ясно высказался: чем больше наши успехи, тем больше ожесточается классовый враг. Смотри, что у нас делается. Даже в естествознании вылазку сделали, против самого Лысенко пошли...

Тут зазвонил телефон — Лукашина вызывали к Подрезову,— и разговор у них оборвался.

Ганичев сразу же, не теряя ни минуты, опустил со лба на глаза свои железные очки, и больше для него никого и ничего не существовало — он весь, как глухарь на току, ушел в свою зубрежку. И Лукашин с каким-то изумлением и даже испугом посмотрел на него.

Все в том же неизменном кителе из чертовой кожи, как четыре и восемь лет назад, когда Лукашин впервые увидел его, и дома у него худосочные, полуголодные ребятишки — все шестеро в железных очках, и сам он тоже в прошлом не от хорошей жизни маялся куриной слепотой. Но какой дух! Какая упрямая пружина заведена в нем!

Эта самая куриная слепота на Ганичева обрушилась летом в пяти километрах от Пекашина, на Марьиных лугах. И он всю ночь пробродил по росяным лугам, пока, мокрый, начисто выбившись из сил, не натолкнулся на колхозный стан. Но что сделал Ганичев после того, как взошло солнце и он снова прозрел глазами? Приказал скорей отвезти его в районную больницу? Нет, пошагал дальше, в дальний колхоз, где создалось критическое положение с сенокосом.

Над Ганичевым смеялись и потешались кому не лень, и сам Лукашин тоже не помнит случая, чтобы он расстался с ним без улыбки. А сейчас, в эту минуту, когда

он смотрел на Ганичева, занятого самонакачкой, как шутили в райкоме, он не улыбался. Сейчас непонятная тоска, щемящее беспокойство поднялось в нем.

3

Подрезов стоял у бокового итальянского окна, как бык, упершись своим крепким широким лбом в переплет рамы,— верный признак того, что не в духе. А почему не в духе — гадать не приходилось.

С заготовкой кормов в районе плохо, строительство скотных помещений сорвано, план летних лесозаготовок завален. По всем основным показателям прорыв! А раз прорыв — значит, тебя лопатят на всех областных совещаниях и даже в печати расчесывают твои кудри. Каково? Это при его-то гордости да самолюбии!

Правда, в самом главном — в лесном деле — у Подрезова было оправдание: район переживал период реорганизации — от лошади переходили к трактору, от «лучка» к электрической пиле, словом, внедряли механизацию по всему фронту работ.

Но реорганизация реорганизацией — об этом можно иногда напомнить первому секретарю обкома, да и то когда он в хорошем настроении,— а срыв государственного плана есть срыв. И когда? В какое время? Два года подряд...

— Что скажешь?

То есть какого дьявола разъезжаешь по району, когда дорог каждый час? Вот как надо было понимать вопрос Подрезова.

— Насчет жатки хлопочу.

— А Худяков что? Не дал? — Подрезов уже знал про поездку Лукашина в Шайволу.

— Худяков вроде дает, да только за калым.

— Ну насчет калыма говорить не будем. Здесь райком, а не базар,— отрезал Подрезов. Это означало: договаривайтесь сами, а меня не вмешивать.

Ладно, подумал Лукашин, и на том спасибо.

— Сенокос гонишь? — Подрезов уже отошел от окна и, твердо ставя массивную ногу в запыленном, туго натянутом на мясистых икрах сапоге, зашагал по кабинету, красному от вечерней зари.

Лукашин доложил коротко, как обстоят у него дела, и вдруг ужасно разозлился. И на себя и на Подрезова.

Его не первый раз вот так принимает Подрезов, и благо бы на народе — тогда чего обижаться. Секретарь. Надо вожжи в руках держать. А то ведь он и наедине удилами рот рвет.

И вообще, что у них за отношения? Приятелями их не назовешь — Подрезов всегда стену ставит,— но и делать вид, что он, Лукашин, для Подрезова только председатель колхоза, тоже нельзя. Не каждому председателю позвонит первый секретарь: «Ну, как живешь-то? Заглянул бы, что ли...»

Лукашин заглядывал, они целую ночь пропадали на рыбалке, ели из одного котелка — казалось бы, свои в доску.

Черта лысого!

Через неделю, через две, когда Лукашин приезжал в райком на очередное совещание, Подрезов едва узнавал его, а уж колхоз пекашинский разделывал под орех...

Однажды после такого разделывания Лукашин месяца три не заходил к Подрезову в кабинет. И не только не заходил, но и всячески избегал прямых встреч с ним вплоть до того, что, завидев на улице хозяина района, демонстративно сворачивал на другую сторону.

Подрезов первый пошел на примирение. Да как!

Раз вышел из райкома со своей свитой — кто там такой храбрый шагает по мосткам на той стороне и не здоровается?

— Лукашин, ты?

— Я.

— А чего не подходишь?

— А чтобы не подумали, что подхалимничаю.

— Хорошо,— сказал Подрезов.— Раз ты не подходишь, я подойду.

И что же? Пошлепал через грязную дорогу на виду у всей свиты — здороваться с председателем колхоза...

— Ну, как Худяков? Видел хозяйство? — спросил Подрезов.

Лукашин молчал, хотя об этом-то он и собирался говорить. Не сплетничать, не доносить — это попервости только ему хотелось как следует причесать своего соседа,— а разобраться прежде всего самому: как хозяйничает шайвольский председатель? Насколько верны эти россказни насчет тайных полей?

В кабинет вошел сияющий помощник Подрезова.

— Телеграмма, Евдоким Поликарпович. Приятная.

Подрезов быстро развернул протянутый листок, пробежал глазами.

— М-да, род Подрезовых пошел в гору. У сына дочь родилась, так что я теперь дважды дед.— Он горделиво, по-молодецки вскинул свою большую умную голову и кивнул Лукашину: — Есть предложение двинуть ко мне. Как ты на это смотришь?

Лукашин замотал головой: нет. Он по всем статьям должен ехать домой, да и надоели ему эти перепады в подрезовском настроении. Но разве Подрезов отступится от своего?

— Нет, нет, пойдем. Да ты у меня еще и не бывал, так?

Потом вдруг снял трубку, сам позвонил в Пекашино: передайте Мининой — муж задерживается на совещании...

4

Подрезов жил недалеко от райкома в небольшом желтом домике с красивым, пестро разрисованным мезонинчиком.

Кроме этого мезонинчика, у дома была еще одна достопримечательность — кусты черемухи и рябины, посаженные тут еще старым хозяином, доверенным знаменитых пинежских купцов Володиных. Но Подрезов кусты эти основательно поукоротил — он любил, чтобы жизнь била в его окна.

Света в верхнем этаже, где жил Подрезов, несмотря на поздний час, не было, но сам Подрезов нисколько не удивился этому.

По крутой лестнице высокого, на столбах, крыльца они поднялись наверх, вошли в сени.

Подрезов чиркнул спичку. На той стороне длинных сеней обозначились зыбкие переплеты черной рамы, дверь сбоку с большим висячим замком.

— Иди туда. Замок это так, вроде пугала. А я сейчас.

Лукашин по-ребячьи, совсем как в далеком детстве, вытянул вперед руки с растопыренными пальцами, пошагал в темноту, потом долго шарил по стене, отыскивая замок.

Яркий свет ударил ему в глаза, когда он наконец открыл дверь: Подрезов с лампой в руке встречал гостя у порога.

— Устраивайся. А я буду хозяйничать. Женку не трогаю. Она у меня нездорова.

Запели, заходили половицы под ногами увесистого хозяина, захлопали двери — Подрезов раза три выходил в сени. На столе, накрытом старенькой клеенкой, появилась квашеная капуста, соленые грибы, редька.

— Тебя упрекал как-то — без рыбы живешь, а у меня тоже небогато. Тоже на лешье мясо [1] больше нажимаю. А надо бы рыбки-то достать... Чего все глазами водишь? Непривычно?

Лукашину действительно было непривычно. Столярный верстак, рубанки, фуганки, стамески, долота... Самая настоящая столярка! И у кого? У первого секретаря райкома.

— Не удивляйся,— сказал Подрезов,— я ведь, брат, по специальности столяр. Не слыхал? Да и столяр-то, говорят, неплохой. Поезжай в верховье района — там и теперь шкафы моей работы кое у кого стоят. Мне двенадцать, что ли, было, когда меня отец стал с собой по деревням таскать... И вот когда в райком запрягли, специально это хозяйство завел. Хоть для разминки, думаю. Черта лысого! Забыл, как и дерево-то под рубанком поет. А ведь когда-то я с закрытыми глазами на спор мог сказать, что́ в работе — елка там, сосна или береза... По звуку...

Подрезов налил гостю, себе, чокнулся, выпил. Потом, смачно хрустя капустой, смущенно подмигнул:

— Ну, еще какие вопросы будут? В разрезе автобиографии первого? Образование — начальное, семейное положение — женат. Старший сын — техник. Ребенком вот обзавелся. Дочь — учительница. Замужем. И тоже с приплодом. Так что я по всем статьям дед.

— А сколько же этому деду лет?

— Мне-то? А как ты думаешь?

— Ну, думаю, лет на пять, на шесть меня старше, не больше.

Подрезов довольно захохотал, слезы навернулись на его голубых, с бирюзовым отливом глазах.

— Ты с какого? С девятьсот шестого? Так? Так. Подрезова, брат, не надуешь. Всех своих коммунистов знаю. А в войну и лошадей по кличкам знал. По всему району, во всех колхозах. Бывало, к примеру, твоей Анфисе

[1] Грибы.

звонишь. «Нету, нету лошадей, Евдоким Поликарпович!» Как так нету? А Туча где у тебя? А Партизан? А Гром? Мининой и крыть нечем.

— А все-таки сколько же тебе лет? — спросил Лукашин.

— Хм... Нет, я тебя маленько помоложе. По годам,— как бы мимоходом бросил Подрезов.— С девятьсот седьмого. Знаю, знаю — старше выгляжу. Не ты первый удивляешься. Я, брат, рано жить начал — в этом все дело. Знаешь, сколько мне было, когда я первый раз женился? Семнадцать.— Подрезов смущенно заулыбался.— А жене моей двадцать один, и я ее ученик...

Заметив недоверчивый взгляд Лукашина, ухмыльнулся:

— Думаешь, сказки рассказывает Подрезов? Нет, правды не пересказать. Выру, речку, знаешь? Приток Пинеги? Ну дак я белый свет, а вернее, ели да сосны на этой самой Выре впервой увидел. Там моя родина. Выселок. За девяносто верст от ближайшей деревни. Беглые солдаты когда-то, говорят, скрывались. Школы до революции, понятно, не было — двадцать домов население. И вся твоя академия — Псалтырь да Библия, да и то по вечерам, когда ты уж лыка не вяжешь. Я с восьми лет стал за верстак, а в десять-то я уж рамы колотил... И вот когда мне повернуло уж на семнадцать, приезжает к нам учительница. Первая. Культурную революцию делать. В одна тысяча девятьсот двадцать четвертом году...

— Памятный год,— сказал Лукашин.

— Слушай дальше! — нетерпеливо перебил Подрезов и так разошелся, что даже кулаком по столу трахнул. Как на заседании.— Ты когда город впервые увидел? Не помнишь, поди, такого? Ни к чему. А я до шестнадцати лет не то что города, а и человека-то городского не видел. Понимаешь, что такое был для меня приезд Елены? — Подрезов налил в стакан водки, жадно выпил.— Да-а... А школы-то в Выре нету — где делать культурную революцию? Ну, я ребят кликнул — с этого и началась моя общественная деятельность: построили к осени школу. И вот где пригодилось мое столярство! Старики на дыбы — не надо школы, под старину подкоп, зараза мирская: староверы все у нас были... Меня дома братья да отец дубасят — из синяков не вылезаю. Но и я упрямый.

Даром что пенек лесной, а сообразил: нельзя без школы. В общем, построили школу — пятистенок на два класса да еще горенка для учительницы. Да-а...— Подрезов широко улыбнулся.— Школу-то мы построили, а первое сентября подошло — ни одного ученика. Не пустили родители: «Мы без школы жили, и дети проживут». Ну, я опять пример подал: пришел, сел за парту — учи. В общем, весной результаты такие: у меня на руках свидетельство за начальную школу, а у Елены брюхо...

— Способный ученик!

— Ну, ты! — Подрезов свирепым взглядом полоснул улыбнувшегося Лукашина.— Знай, где губы распускать. Девка одна-одинешенька. Как среди волков... Матрена у нас была. Старуха. Ни разу в мир за свою жизнь не выезжала. Чтобы святость соблюсти, с никонианами не опоганиться. Дак эта Матрена, знаешь, что сделала? Ночью школу соломкой обложила да жаровню живых угольков притащила... Ладно, не сердись. Когда человека топят, разве он разглядывает, какое бревно под руку попало? Да я, уж если на то пошло, и бревно-то не последнее был. Лес на школу под выселок приплавил — никто лошади не дает. И помощнички у меня — соплей перешибешь. Я один среди них жернов. В дедка. Тот у нас в восемьдесят лет изгонял дьявола из плоти. Дак что я сделал? На себе, вот на этом самом горбу, перетаскал от реки бревна. Она, Елена, в жизни своей такого не видала. А история со стеклом была! Охо-хо!.. Все готово: пол набран, потолок набран, окна окосячены, рамы сделаны, одного не хватает — стекла. А стекло за девяносто верст, в деревне, и навигация на нашей Выре только ранней весной да поздней осенью, когда паводки. А так порог на пороге — в лодке не проехать. И вот я ждал-ждал дождей да и пошел камни в порогах пересчитывать. Привез стекло. Через сто десять порогов и отмелей протащил лодку. Вот какая у меня любовь была! Дак разве она могла устоять перед такой силой?

Подрезов взялся рукой за свой тяжелый, круто выдвинутый вперед подбородок, мрачно уставился в стол.

Ничего-то мы друг про друга не знаем, подумал Лукашин и, прислушиваясь к шумно прогрохотавшей под окном машине (не Чугаретти ли опять загулял?), спросил:

— А Елена твоя... Что с ней?

— Нету. В тридцать первом отдала концы...— Подрезов помолчал, махнул рукой: — Ладно, кончили вечер воспоминаний...

Однако Лукашина так взволновал подрезовский рассказ, что он не мог не спросить, отчего умерла Елена.

— От хорошей жизни,— буркнул Подрезов.— Можно сказать, я сам ее зашиб. Ты знаешь, сколько во мне тогда этой силы лесной, окаянной было? Жуть! Я как вырвался на просторы из своей берлоги — мир, думаю, переверну. В восемнадцать председатель сельсовета — нуко, поставь нынешнего сосунка на такое дело! В двадцать председатель коммуны... Потом дальше — больше. Первая пятилетка, коллективизация — вся жизнь на дыбы. Меня как бревно в пороге швыряло. Сегодня в лесу, завтра на сплаве, послезавтра в колхозе... По трем суткам мог не смыкать глаза. Лошади подо мной спотыкались да падали, а тут городская девчонка... Пушинка... Да чего там — дубы пополам ломались, а она уж что...

— Да, было времечко,— с раздумьем сказал Лукашин.— Ух, работали!

— Еще бы! — подхватил Подрезов.— Мир воздвигался новый. Социализм строили. Сейчас сколько у нас в лесу техники, тракторов, узкоколейку делаем... А ты знаешь, что в начале тридцатых годов мы лошадкой да дедовским топором миллион кубиков давали! Миллион! Одним районом. Вот ты у Худякова сегодня был. Какой, думаешь, у него рекорд в тридцатые годы был? Сто двадцать кубов в день при норме в три... Вася Дурынин с ним соревновался — на войне мужика убили. Прочитал это в районке, аж заплакал от расстройства. «Ну, говорит, черёва из меня вон, а достану Худякова...»

— Кстати, насчет Худякова,— сказал Лукашин.— Что это у него за тайные поля?

Подрезов рывком поднял свою гривастую голову, посекретарски сдвинул брови:

— Это еще что такое?

— Говорят. На Богатке телят откармливает и хлеб сеет. А налоги с того хлеба не платит...

— Ерунда!

— Ничего не ерунда.

— А я говорю, ерунда! — рявкнул Подрезов.

Лукашина начала разбирать злость. Чего глотку показывать? Где они? На бюро райкома? Он вовсе не хотел бы наговаривать на Худякова (избави боже!), но раз

Подрезов делает вид, что ему ничего не известно,— молчать?

— А откуда же у него, по-твоему, хлеб в колхозе, а?

— Откуда?

— Да, откуда?

— А оттуда, что он работать умеет. Хозяин!

— Ах вот как! Хозяин. Работать умеет. А другие не работают, другие баклуши бьют. Так?

— Да! — рубанул Подрезов.— Ты который год свой коровник строишь?

Это был удар ниже пояса. Лукашин вскочил на ноги, выпалил:

— А ежели так будет дальше... ежели так выгребать будут... еще десять лет не построю!

— Ты думаешь, что говоришь? Кто это у тебя выгребает?

— А ты не знаешь кто? За границей живешь?

— Советую: не распускай сопли! — опять с угрозой в голосе сказал Подрезов.— А то смотри — схлопочешь...

— Когда печать колхозную сдавать? Сейчас? Или на бюро райкома на ковер сперва вызовешь?

Подрезов медленно отвел голову назад, наверняка для того, чтобы получше разглядеть своего гостя. Но разглядеть его он не успел — Лукашин уже громыхал половицами в коридоре.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Вышли из дому рано — ни одного дымка еще не вилось над крышами, серебряными от росы. И было прохладно, даже зябко. А когда добрались до болотницы да начали в тумане пересчитывать ногами старые мостовины, Лизе и вовсе стало не по себе.

Но Степан Андреянович был весь в испарине, как если бы они шли в знойный полдень, и шагал тяжело, шаркая ногами, с припадом.

И Лиза опять в который уже раз сегодня спрашивала себя: а правильно ли она делает, что больного старика одного отпускает на пожню?

Степан Андреянович первый заговорил с ней о дальнейшей жизни. Так и спросил вечор, когда она вернулась с коровника: как жить думаешь, Лизавета?

Она заплакала:

— Какая у меня теперь жизнь...

— А я твердо порешил: как ни вздумаешь жить, а передние избы твои. Я и бумагу велю составить...

Вот тут-то она и разглядела своего свекра, поняла, каково ему. Ведь не только ее переехал Егорша — переехал и деда своего. На-ко, ждал-ждал внука домой, думал — хоть последние-то годы во счастье поживу, а тот взял да как обухом по старой голове: на сверхсрочной остаюсь...

— Татя, да ты с ума сошел! Какие мне передние избы? Ты что — порознь со мной хочешь?

— Да я-то что...

— Ну и я что... Вот чего выдумал: передние избы тебе... Да у нас Вася есть... Васю ростить надо... Нет уж, как жили с тобой раньше, так и дальше жить будем...

Степан Андреянович слезами умывался от радости: нет, нет, не хочу заедать твою молодую жизнь. А сегодня встал как до болезни — о восходе солнца — и на Синельгу. На пожню. Нельзя, чтобы Вася без молока остался!

И Лиза сама помогала старику собираться, сама укладывала хлебы в котомку...

— Ты, татя, почаще отдыхай,— наставляла она сейчас шагавшего сзади нее свекра.— Никуда твоя Синельга не убежит. Всяко, думаю, к полудню-то попадешь. Да сегодня не робь — передохни. Ведь не прежние годы...

Через некоторое время, когда стали подходить к Терехину полю — тут век прощаются, когда на Синельгу провожают,— она опять заговорила:

— Да Васе-то какой-никакой шаркунок сделай. А время будет, и коробку из береста загни. Побольше, чтобы солехи с бору носить. Нету у нас коробки-то — та, старая, лопнула... А я все ладно скоро проведаю тебя. Да не убивайся, смотри у меня. Иной раз и днем полежи на пожне. Хорошо на вольном-то воздухе, полезно... А без коровы не́ жили — как-нибудь и вперед прокормим. Ведь уж Михаил не допустит, чтобы Вася без молока остался...

Она передала старику ушатик, котомку, бегло обняла его и, не оглядываясь, побежала домой: боялась, что расплачется...

2

От завор[1] Лиза пошла было болотницей, той самой дорогой, которой шла со свекром вперед, да вдруг увидела на новом коровнике плотников — как самовары по стенам наставлены — и круто повернула налево: сколько еще избегать людей? Ведь уж как ни таись, ни скрытничай, а рано или поздно придется выходить на народ.

И вот заставила себя пройти мимо всех бойких мест — мимо колодцев, мимо конюшни (тут даже с конюхом словцом перекинулась: когда, мол, лошадь дашь за дровами съездить?), а дальше и того больше — подошла к новому коровнику да начала на глазах у мужиков собирать свежую щепу.

Петр Житов жеребцом заржал со стены:

— Лизка, мы с тебя за эту щепу натурой потребуем...

И она еще игриво, совсем как прежде, спросила:

— Какой, какой натурой?

Все-таки щепу она не донесла до дому — рассыпала возле большой дороги у колхозного склада. Потому что как раз в ту минуту, когда она задворками вышла к складу, из-за угла выскочила легковушка с брезентовым верхом, точь-в-точь такая же, на какой, бывало, шоферил Егорша, и, не останавливаясь, шумно, с посвистами прокатила мимо, а она так и осталась стоять возле дороги, накрытая вонючим облаком пыли и гари.

После этого Лиза уже не храбрилась. Шла от склада к дому и глаз не вытирала. Только когда вошла к себе в заулок да увидела Раечку Клевакину, начала торопливо заглатывать слезы.

Не любила она при Раечке выказывать свою слабость. При ком угодно могла, только не при Раечке. И дело тут не в том, что та дочь Федора Капитоновича, которого Пряслины с войны терпеть не могут. Дело в самой Раечке, в ее изменчивом характере.

Сохла-сохла всю жизнь по Михаилу, вешалась-вешалась на шею, а тут подвернулся новый учитель — и про все забыла, за легкой жизнью погналась. Вот за это и невзлюбила Лиза Раечку. Невзлюбила круто, исступленно, потому что нравилась она ей, и уж если на то пошло, так лучшей жены для брата Лиза и не желала.

---

[1] Проезд в изгороди.

— Что, невеста? Скоро свадьба? — спросила Лиза, подходя к крыльцу, возле которого стояла Раечка. (Только о свадьбе ей и спрашивать теперь!)

Раечка полной босой ногой ковыряла песок под углом — для Васи насыпан. Большую ямку проковыряла. Да и вообще вид у Раечки был несвадебный. Хмуро, с затаенной тоской глянула ей в лицо.

— Зайдем в избу,— предложила Лиза.— Чего тут под углом стоять?

Зашли. А лучше бы не заходить, лучше бы оставаться на улице. Все разбросано, все расхристано — на столе, на полу (сразу двоих собирала — и старого и малого),— неужели и у нее теперь такая же жизнь будет, как эта неприбранная изба?

— Райка, у тебя глаз вострый. Посмотри-ко, нет ли у меня какой сорины в глазу? — схитрила Лиза.

Она потянула Раечку к окошку, к свету, а у той, оказывается, у самой на глазах пузыри.

— Вот тебе на! Да у тебя сорина-то, пожалуй, еще больше, чем у меня.

Раечка ткнулась мокрым лицом ей в грудь, глухо застонала:

— Меня тот до смерти замучил...

— Кто — тот? Учитель?

— Ми-и-ишка-а-а...

— Михаил? — удивилась Лиза.— Наш Михаил?

— Да...

— Ври-ко давай...

— Он... Тут который раз встретил вечером... Выйди, говорит, к ометам соломы...

— Ну и что?

Раечка жгла ей своими слезами голую шею, грудь, но молчала. Котлом кипела, а молчала. Потому что дочь Федора Капитоновича. Гордость. И Лиза, уже сердясь, тряхнула ее за плечи:

— Ну и что? Чего у вас было-то?

— Он не пришел...

— Куда не пришел? К ометам, что ли?..

— Да...

— И только-то всего? Постой-постой! — вдруг вся оживилась Лиза.— А когда это было-то? Не в тот ли вечер, когда он с мужиками на выгрузке был? Вином-то от него пахло?

— Пахло...

Лиза с облегчением улыбнулась — наконец-то распутался узелок:

— Ну дак он не мог прийти в тот вечер. Никак ему нельзя было.

Раечка недоверчиво подняла голову.

— Правда, правда! У нас в тот вечер ребята прикатили — Петька да Гришка... Подумай-ко, устраивал, устраивал их Михаил в училище, а они взяли да домой. По Тузку соскучились... Что ты, было у нас тогда делов. И теперь еще не знаем, что с ними. Как на раскаленных угольях живем...

У Раечки моментально высохли глаза, она стала еще красивее, а Лиза смотрела-смотрела на нее и вдруг ужасно рассердилась на себя: зачем, кого она утешает? Какое горе у этой раскормленной кобылы?

Она резко встала и сама удивилась жестокости своих слов:

— Худо тебе припекло, за жабры не взяло. Скажите на милость, как ее обидели! Час у омета вечером выстояла. Да когда любят по-настоящему-то, знаешь, что делают? Соломкой стелются, веником под ноги ложатся... А ты торгуешься, как на базаре, все у тебя расчеты... Насыто, насыто плачешь — вот что я тебе скажу... Михаила она испугалась! Да Михаил-то у нас на копейку возьмет, а на рубль вернет... Слыхала это?

Раечка мигом просияла. На улицу выбежала — и горя и слез как не бывало.

Лиза сняла со стены зеркало, присела к столу. Не красавица — это верно. Не Раечка Клевакина. И скулья выпирают, и глаза зеленые, как у кошки. Да разве только красивым жить на этом свете? А то, что она три года, три года, как собака верная, ждет его, служит ему,— это уж ничего, это не в счет? А в прошлом году приехал на побывку на два дня, потому что, видите ли, дружков-приятелей в городе и в районе встретил,— сказала она ему хоть словечушко поперек? Наоборот, стала еще от деда и брата защищать: хватит, мол, вам человека мылить. Хоть и погуляет сколько — не беда, солдатскую службу ломает...

В избе она не стала прибирать — первый раз в жизни махнула на все рукой. Да, по правде сказать, и некогда было — на коровник пора бежать.

3

Никогда в жизни не ездила Лиза больше трех раз за травой на дню, а сегодня съездила четыре и поехала еще — пятый. Поехала для того, чтобы выреветься.

И она ревела.

По лугу ходил вечерний туман, яркая звезда смотрела на нее с неба, а она каталась по мокрой некошеной траве, снова и снова терзала себя:

— За что? За что? За какую такую провинность?

За эти два дня и две ночи она перебрала все, припомнила всю свою жизнь с Егоршей — как и что делала, когда и какие слова говорила (можно было припомнить, немного они и жили — две недели) — и нет, не находила за собой вины. Не в чем ей было каяться. А уж если и винить ее в чем, так разве только в молодости. Тут она виновата. Выскочила семнадцати лет, зелень зеленью — какая же из нее жена?

В кустах жалобно горевала какая-то птаха (тоже, может, брошенка?), а на деревне кто-то веселился — лихо наяривал на гармошке...

Лиза села, начала перевязывать намокший от травы платок.

Никто еще не знал, не ведал о ее беде. Она даже брату слова не сказала. А ведь узнают, придет такой день — начнут перемывать косточки.

— Слыхала, страсти-то у нас какие?

— Какие?

— Лизку Пряслину Егорша бросил.

—Ври-ко?

— А чего врать-то? Правды не пересказать.

— Да за что бросил-то? Месяца не жили...

— А уж это ты у его спроси. Ему лучше знать...

И Лиза мысленно уже представляла себе, с каким пакостным любопытством присматриваются к ней при встречах бабы: есть, есть какой-то изъян, раз муж бросил...

Нет, нет! Не будет этого. Не будет!

Она решительно вскочила на ноги, без тропинки, напрямик побежала к Дуниной яме.

Об этой Дуне, какой-то разнесчастной пекашинской бабе или девке, утопившейся в застойном омуте возле берега, Лиза думала еще днем. Кто она такая? Из-за чего нарушила себя? Может, и ее муж кинул?

Мокрая трава била ее по коленям, мокрые кусты хлестали ее по лицу, по глазам... Остановилась, когда из-под ног комьями посыпалась в воду глина.

Густой белый туман косматился над Дуниной ямой, и холодом, ледяным холодом несло из ее черных непроглядных глубин...

Господи, да как же она, окаянная, о своем Васе-то забыла? С ребенком-то что будет? А свекор? Он-то как, старый старик, будет один маяться без нее?

Лиза пошла назад. Сперва тихонько, еле переставляя ноги, а потом побежала бегом: коровы уж час добрый как пришли из поскотины — чем они-то виноваты?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Анфиса торопилась. Солнышко сворачивало на обед, и вот-вот должен явиться Иван с Подрезовым, а у нее еще и пол не мыт.

Подрезов задал им сегодня работы. Ввалился утром с шумом, с грохотом:

— Встречайте гостя!

Ну и как было не встречать. Барана зарезали (ох, вспомнят они про этого барана, когда время подойдет мясной налог платить!), мукой белой разжились — она нарочно к реке, на склад к Ефимку-торгашу, бегала. А как же иначе? Не простой гость, не деревенский — чего сунул, и ладно. Хозяин района. Хоть разорвись, хоть наизнанку вывернись, а сделай стол.

И она делала. Варила свежие щи, тушила баранину с молодой картошкой, опару для блинов заранее растворила — чтобы без задержки, с жару, с пылу подать на стол.

Но надо правду говорить: без радости все это делала. Не нравилась ей эта дружба Ивана — ни раньше не нравилась, ни теперь. Она еще как-то понимала — съездить вместе на рыбалку, при случае посидеть вдвоем за бутылкой, а как понять, к примеру, сегодняшний фокус Подрезова? Пяти часов не прошло, как расстались, а он уж катит к ним. Дети, что ли, они — друг без дружки жить не могут? А потом, как же это председателю с первым секретарем дружить? А ежели у тебя в колхозе

завал, а ежели ты своим колхозом весь район назад тянешь — тогда как?

Нет, она на этот счет думала без затей: секретарь к председателю зашел чаю выпить, пообедать — это нормально, это спокон веку заведено, а председателю ходить на дом к секретарю незачем. И даже нельзя. Потому что слух разнесется — ты любимчик у секретаря, ох, нелегко жить будет.

Обо всем этом Анфиса хотела поговорить с мужем сразу же, как только тот на рассвете приехал от Подрезова, но не решилась. Надо сперва хорошенько подумать, прежде чем со своим мужем разговаривать,— вот до чего у них дошло.

Размолвки меж ними, само собой, случались и раньше — как же без этого в семье? — но размолвки только до ночи. А ночь примиряла их. Ночь сводила их воедино и душой и телом — они любили друг друга со всем пылом людей, не успевших израсходовать себя в молодости.

Теперь они спали врозь.

Первый раз Иван лег от нее отдельно в тот вечер, когда вышла эта история у орсовского склада.

Она знала: нельзя ей туда ходить. Ивану и без того на каждом шагу чудится, что она в его дела вмешивается, его наставляет. И все-таки пошла. Пошла ради самого же Ивана. Думала: мужики пьяные, Иван в судорогах — долго ли разругаться в пух и в прах? А вышло так, что хуже и придумать нельзя... А через день у них с Иваном опять была ссора. И ссора снова из-за того же Петра Житова.

Петр Житов приперся к ним на дом: нельзя ли, дескать, травы за болотом, напротив молотилки, пособирать — женка присмотрела?

— Нет,— буркнул Иван,— ты и так пособирал.

Это верно, поставили Житовы стожок на Синельге воза на два, да разве это сено для коровы на зиму?

Она решила замолвить за Петра словечко — как не замолвишь, когда тот глазами тебя ест?

— Давай дак, председатель, не жмись. Не все у нас с одной ногой.

Сказала мягко, необидно, а главное с умом: любой поймет, почему Петру Житову разрешено.

Нет, глазами завзводил, как будто она первый враг его. А Петр Житов тоже кремешок: раз ты так, то и

я так. Ищи себе другого бригадира на коровник, а я отдохну.

— Смотри только где отдохнешь,— припугнул Иван.

Анфиса только руками всплеснула: ну разве можно так разговаривать с человеком?

— Ну, довольна? — заорал на нее Иван, когда Петр Житов ушел от них.— Опять мужа на позор выставила? Вот, мол, какая я, мужики, заступница ваша, а то, что мой муж делает, это не моя вина...

Она смолчала, задавила в себе обиду.

2

Хозяин с гостем пришли не рано, во втором часу, так что Анфиса все успела сделать: и обед приготовить, и пол подмыть — праздником сияла изба,— и даже над собой малость поколдовать.

Платье надела новое, любимое (муж купил!) — зеленая травка по белому полю, волосы на висках взбила по-городскому и сверх того еще ногу поставила на каблук: наряжаться так наряжаться.

В общем, распустила перья. Подрезов, привыкший видеть ее либо на работе, либо за домашними хлопотами, не сразу нашелся что и сказать:

— Фу ты черт! Ты не опять взамуж собралась?

Но Подрезов — бог с ним: посидел, уехал, и все. Муж доволен был. Вошел в избу туча тучей — не иначе как Подрезов только что мылил (вот ведь как дружбу-то с таким человеком водить), а тут увидел ее — заулыбался.

Анфиса сразу повеселела, молодкой забегала от печи к столу.

— Ну как, Евдоким Поликарпович, наше хозяйство? — завела разговор, когда сели за стол.— Где побывали, чего повидали?

— Хозяйство у вас незавидное. А знаешь, почему?

— Почему?

Она ждала какого-нибудь подвоха — уж больно не по-секретарски заиграли у Подрезова глаза,— но поди угадай, что у него на уме!

А Подрезов, шумно, с удовольствием втягивая в себя носом душистый наваристый пар от щей — она только

что поставила перед ним большую тарелку,— подмигнул, кивая на Ивана:

— А потому что больно часто его мясом кормишь. Не в ту сторону настраиваешь.

Шутка была обычная, мужская, и ей бы тоже надо от себя подбросить огонька — вот бы и веселье получилось за столом, а ее бог знает почему повело на серьезность.

— Нет, Евдоким Поликарпович,— сказала она,— не часто нынче едят мясо в деревне. В налог сдают. И мы не едим.

— А это что? Из бревна варено? — Подрезов размашисто ткнул пальцем в свою тарелку. Он все еще шутил.

— А это я овцу свою недавно зарезала.

— Для меня? — Подрезов сразу весь побагровел.

Иван стриганул ее глазами: ты в своем уме, нет? А ее как нечистая сила подхватила — не могла остановиться:

— Да чего на меня зыркать-то? Евдоким Поликарпович без меня знает, как в деревне живут. А ежели не знает, то сам глаза завесил.

— Кто завесил? Я?

— А то нет? — Поздно было уже отступать. Разве закроешь сразу плотину, когда вода хлынула? — Я-то не забыла еще, как ты в сорок втором году к нам приехал. Помнишь, Новожилов помер и тебя первым назначили? Ну-ко, вспомни, что ты тогда нам говорил?

— Есть предложение выпить,— сказал, чеканя каждую букву, Иван. Специально для нее, чтобы одумалась.

— Нет, обожди,— сказал Подрезов.— Пускай уж до конца говорит.

— А чего говорить-то? — Анфиса тоже начинала горячиться: муж рот затыкает, словно она невесть что мелёт, гость набычился — вот-вот рявкнет.— Разве сам-то не помнишь? «Бабы, потерпите! Бабы, после войны будем досыта исть...» Говорил? А сколько годов после войны-то прошло? Шесть! А бабы все еще терпят, бабы все досыта куска не видели...

Анфиса, покамест говорила, нарочно не глядела в сторону мужа, чтобы все высказать, что на сердце накипело, зато когда отбарабанила — озноб пошел по спине. Нехорошо, ох, нехорошо получилось. Подрезов у них гость, и разве такими речами гостя угощают? А насчет мяса так она и вообще зря разговор завела. Кто поймет ее как надо?

Подрезов не ел, муж не ел — она не глазами, ушами

видела это. И она кусала-кусала свои губы, ширкала-ширкала носом, как простуженная, и — только этого и недоставало — вдруг расплакалась.

— Ты уж не сердись на меня, Евдоким Поликарпович. Сама не знаю, как все сказала. Может, оттого, что я ведь тоже не со стороны на все это глядела... Я ведь тоже бабам так говорила...

— Но здесь не бабы! — отрезал Иван.

Она хотела встать — чего давиться слезами за столом,— но рука Подрезова властно удержала ее.

— Анфиса, мы с тобой когда-нибудь пили?

— Вино?

— Да.

— С чего? Я ведь у тебя в любимчиках не ходила. Ты меня все годы в черном теле держал...

— Так уж и держал?

— Держал,— сказала Анфиса.— Чего мне врать?

Подрезов налил граненый стакан водки. Полнехонький, с краями, воплавь, как говорят в Пекашине. Поставил перед ней.

— Выпей, Анфиса, со мной. Только не отказывайся, ладно?

Вот так именитого-то гостя принимать: то сивер на тебя нагонит, то жар. Ну а как своя, домашняя гроза? Выпей! — приказал глазами Иван.

Анфиса голову вскинула по-удалому, по-бесшабашному: сама коней в топь завела, сама и на зелен луг выводи.

— За такого гостя можно выпить.

— Нет, не за гостя,— сказал Подрезов.

— А за кого же?

— За кого? А ни за кого. За то, что мы с тобой тут, на Пинеге, фронт в войну держали...

Выпила. По уму сказал слова Подрезов. Чуть не половину стакана опорожнила, а потом и того хлестче: дно показала. Иван виноват. Сказал бы — стоп, и все. А то не поймешь, чего и хочет. Выпей, а как выпей — все или только пригуби? А Подрезов — известно: покуда на своем не поставит, не слезет. «Выпей! Докажи, что зла на меня не держишь...»

И вот Анфиса глубоко вздохнула, набрала в себя воздуха, как будто в воду нырнуть хотела, прислушалась (как там сын в задосках?) и — будем здоровы.

Минуты две, а то и больше никто не говорил — не

ждали такого, и в избе до того тихо стало, что она услышала, как в своей кроватке зевнул во сне Родька.

Первым заговорил Подрезов:

— Дак, значит, я обманщик, по-твоему, Анфиса? Да?

«Так вот ты зачем меня вином накачивал! Чтобы выпытать, что о тебе думают. А я-то, дура, уши развесила, думала — он труды мои вспомнил».

— А сам-то ты не знаешь! — сказала Анфиса и прямо, без всякой боязни глянула в светлые пронзительные глаза Подрезова.— А по мне дак человек, который слова не держит, обманщик. Вот ты по колхозам ездишь. Не стыдно в глаза-то людям глядеть? А мне дак стыдно...

— Ты опять про свое? — цыкнул Иван.

— А про чье же еще? — Она и на него глянула во все глаза.

— Да пойми ты, дурья голова, от секретаря все зависит? Думаешь, он всему голова?

— А кто же? Разве помимо евонной воли каждый год у нас выгребаловку делают? Чьи — не его уполномоченные с утра до ночи возле молотилок стоят?

— Правильно, Анфиса, мои,— сказал Подрезов.— Только покамест без этой выгребаловки, видно, не обойтись. Про войну забываешь.

— Ничего не забываю. А только докуда все на войну валить? Чуть кто вашего брата против шерсти погладил — и сразу война. Да ведь войны-то и раньше бывали. После той, гражданской, уж на что худо было! Гвоздя не достанешь, соли не было — кислое молоко в похлебку клали. А года два-три прошло — ожили. А теперь карточки уж который год отменили, а деревенскому человеку все в лавке хлеба нету, только одним служащим по спискам дают. Долго это будет? А скажи-ко на милость, трава каждый год под снег уходит, а колхознику нельзя для коровенки подкосить — тоже война виновата?

— Ну, села на любимого конька...

— Села! — с запалом ответила мужу Анфиса.— И тебе это говорю: не умеешь с народом жить, все войной, все войной на людей, за каждую охапку сена калишь...

— Да если их не калить, они колхозное стадо без кормов оставят! И так ни черта не работают.

— А по мне дак больно еще хорошо работают. За такую плату...

Иван выскочил из-за стола, забегал по избе, а она, Анфиса, и глазом не повела. Бегай!

Как-то она стала Петра Житова совестить (Олена попросила): зачем, мол, ты, Петя, все пьешь? «А затем, чтобы человеком себя чувствовать,— ответил ей Петр Житов.— Я, когда выпью, ужасно смелый делаюсь. Никого не боюсь». И вот, наверно, вино и в самом деле смелости прибавляет. Сейчас она тоже никого не боялась — ни мужа, ни Подрезова.

Правда, Подрезов сегодня вроде и не Подрезов вовсе. У нее крепы в голове и в горле лопнули — чего ни наговорила, как его ни разделала, в другой раз и подумать страшно, что было бы. А сегодня сидит, слушает и чуть ли еще не оправдывается.

— Я тебе только одно скажу, Анфиса,— заговорил Подрезов, когда Иван снова сел за стол.— Не у нас одних трудно. В других краях и областях не лучше живут. Это я тебе точно говорю.

— Больному не большая радость от того, что его сосед болен,— сказала Анфиса.

И опять ее стало подмывать, опять потянуло на разговор — вот сколько накопилось всего за эти годы!

Но тут Иван напомнил Подрезову, что им пора ехать.

— Куда? — удивилась Анфиса.

— На Сотюгу думаем,— сказал Подрезов.— Надо сено там у вас и у водян посмотреть, а заодно и рыбешки пошуровать.— Покосился на нее мужским взглядом и весело добавил: — Чтобы ты его посильнее любила.

— А я и так мужа своего люблю. Без рыбы! — с вызовом ответила Анфиса и, чего никогда не бывало с ней на людях, потянулась целовать его.

Иван, конечно, осадил ее — нож по сердцу ему всякие нежности на виду у других,— но она выдержала характер, чмокнула в нос, а потом запела: вот когда по-настоящему вино заходило.

— Чем людей-то пугать, сходила бы лучше за лошадями.

— Нет, давай уж сами! — захохотал Подрезов.— Ей сейчас и конюшни не найти.

— Мне не найти? — Анфиса вскочила на ноги, лихо стукнула кулаком по столу — только стаканы звякнули.— Нет, врешь! Найду!

Ее качнуло, она ухватилась за спинку кровати, но у порога выровнялась и на улицу вышла с песней.

3

Когда в прошлом году Анфиса смотрела кино под названием «Кубанские казаки», она плакала. Плакала от счастья, от зависти — есть же на свете такая жизнь, где всего вдоволь!

А еще она плакала из-за песни. Просто залилась слезами, когда тамошняя председательница колхоза запела:

Но я жила, жила одним тобою,
Я всю войну тебя ждала...

Это про нее, про Анфису, была песня. Про ее любовь и тоску. Про то, как она целых три долгих военных года и еще почти год после войны ждала своего казака...

И вот сейчас она шла, пошатываясь, по дороге и выводила свою любимую. Во весь голос.

Из коровника выбежали скотницы — кто поет-гуляет? Строители перестали топорами махать, тоже вкогтились в нее глазами, ребятишки откуда-то налетели видимо-невидимо...

А, ладно, смотрите на здоровье. Не часто Анфиса гуляет. Кто видал ее хоть раз пьяной после войны?

Конюха на месте не оказалось — за травой уехал или лошадей под горой перевязывает, но кто сказал, что ей помощник нужен? Всю войну по целым страдам с кобылы не слезала, так уж заседлать-то двух лошадей как-нибудь сумеет!

Она широко распахнула ворота конюшни, смело прошла к стойлам — лошадь любит, когда с ней уверенно обращаются,— вывела сперва Мальчика, затем Тучу.

Туча — смирная, сознательная кобыла, и она быстро ее оседлала, а Мальчик как черт: крутится, вертится, зубами лязгает — не дает надеть на себя седло.

— Стой, дьявол! Стой, сатана!

Она взмокла, употела и ужарела, пока подпругу под брюхом затянула, а потом конь вдруг взвился на задние ноги — все полетело: и привязь Ефимова полетела — чего со старичонки требовать? — и она сама полетела. Прямо в песок перед воротами конюшни, в пыль истолченный конскими копытами.

— Мальчик, Мальчик, куда?

Она вскочила, побежала вслед за конем туда, к старому коровнику, где громом небесным стонала земля.

Только добежала до коровника — Мальчик обратно:

тра-та- та-та... Чуть не растоптал. Пролетел, мало сказать, рядом — брызгами залепил лицо.

Сколько заворотов он сделал от конюшни до скотного двора? Может, десять, а может, двадцать. Седло съехало под брюхо, сам от пыли гнедой стал (это Мальчик-то, черный как смола!), а она все бегала, месила горячий песок между конюшней и коровником. До тех пор, пока его, окаянного, не перехватила Лизка. У колоды с водой возле колодца.

Анфиса кое-как подняла с брюха на спину седло, затянула подпругу, попросила Лизу:

— Отведи его, бога ради, лешего, к нам, а я сейчас.

Она стряхнула с себя пыль — до слез жалко было нового платья,— заправила назад потные, растрепавшиеся волосы, пошагала к коровнику — к мужикам. Напрямик, не дорогой, по свежераспаханному песку.

Подошла к стене, задрала кверху голову, бросила:

— Сволочи, нелюди вы! Вот кто вы такие!

А кто же как не сволочи? Самые разнастоящие сволочи! Она, баба, целый час моталась за конем по жаре, по песку, и хоть бы один из них пошевелился. Расселись по стене туесами да знай ржут, скалят зубы — весело!

Петр Житов закричал:

— Лукашина! — Знает, когда как называть.— Остановись! Дай тормоза...

Не остановилась. И не оглянулась даже.

Всю жизнь она за людей своих горой стояла. С начальством из-за них всегда лаялась, мужа постоянно пилит из-за них: «Иван, полегче! Иван, дай людям жить!» А они-то сами дают Ивану жить?

Нет, худо еще давит вас Иван. Худо. Нынешний мужик без погоняла палец о палец не ударит. А как же председателю-то быть? Председатель-то не может, как они, плюнуть да махнуть на все рукой.

Хмель совсем вышел из головы. Она заторопилась, побежала домой. Где Родька? Как Иван уедет без нее?

● ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

За Пекашином, как только спустишься с красной глиняной горы да переедешь Синельгу, начинаются мызы и поскотина.

Поскотина — еловая сырь, заболоть с проклятой ольхой да кочкарником, где все лето изнывает комар,— справа, вдоль Пинеги. А мызы — по левую руку, на мохнатых лесистых угорах.

Мыз в Пекашине десятки — они тянутся чуть ли не на пять верст, вплоть до Копанца, и у каждой мызы свое название: по хозяину, по местности, по преданию — поди-ко запомни все.

Местному жителю легче. Местный житель с детства незаметно для себя постигает эту лесную грамоту. А каково приезжему? Как запомнить названия навин[1] — там на сотни счет? Как разобраться с покосами? Синельга Верхняя, Синельга Нижняя, Сотюга, Вырда, Нырза, Марьюша... Одиннадцать речек! И по каждой речке пожни: иссады, бережины, мысы, наволоки, чищанины, ламы...— сам черт ногу сломит.

Лукашин за пять лет овладел этой лесной грамотой вполне. Он знал почти все названия на очень сложной и путаной пекашинской карте. И вздумай, к примеру, сейчас Подрезов устроить ему экзамен, он бы запросто перечислил и самые мызы, мимо которых они проезжали, и те предания, которые у пекашинцев связаны с ними.

Но Подрезов молчал. Сидел в седле, покачивал своей крупной головой в такт поступи коня и изредка посматривал по сторонам — то на Пинегу, серебряно вспыхивающую справа в просветах между елей, то на угоры, щедро расшитые красными узорами поспевающей брусники.

Мальчик — а Лукашин уступил ему своего коня — был уже в испарине. Нелегко, видно, привыкать к новому седоку, да Подрезов по сравнению с ним и грузен был. Жиру лишнего вроде нету, а увесистый — то и дело всхрапывает конь от натуги.

Заговорил Подрезов, когда поравнялись с высоким старым пнем, на который гордо, как петух, вылез ярко-оранжевый, в белую крапину мухомор.

— Грибов много наносил?

— Раза два ходил с женой.

— А я ни разу. Не ел еще в этом году лесовины от своих рук.

За Согрой, узеньким, но беспокойным ручьем, стало светло и весело: пошли легкие, лопочущие осинники по

---

[1] Нáвины, или новины — поля, отвоеванные у леса. Во многих северных колхозах они составляют большую часть пахотного массива.

угорам, березовые рощицы с зелеными лужайками справа, за дорогой. Лошади сами, без всякого понукания перешли на рысь.

Стали попадаться кое-где пустоши — заброшенные поля.

Дико: в войну бабы да ребятишки распахивали эти поля, а после войны забросили. И так было не в одной только «Новой жизни». Так было и в других колхозах. Председателей мылили, песочили, отдавали под суд — ничего не помогало: пустошей становилось больше год от году.

Копанец начался полевыми воротами с засекой, или, по-местному, осеком, который отгораживает его от поскотины.

Но была у Копанца сейчас и еще одна примета — грохот жатки, который Лукашин услыхал за километр, а может, и за два.

— Ты езжай, Евдоким Поликарпович, я догоню. Мне к Пряслину надо заглянуть.

— К Михаилу? Это он наяривает? — Подрезов указал на рослый березняк, из-за которого доносился шум.

— Он.

— Валяй. Я тоже гляну.

Росстань на Копанец — торная, широкая, но только до Михейкиной избы, вернее, до старого пепелища, до груды камней и чащобы крапивника, где стояла когда-то изба.

Михей Харин, хозяин этой избы, первый из пекашинцев раскопал поля на Копанце и лет за пять стал самым богатым человеком в деревне — вот какая тут земля. Черная, жирная, без навоза родит.

Зато уж попадать на этот Копанец с машиной — всю матушку со всей России соберешь, как говорят в Пекашине. И небольшая бы канава, в засушливое лето даже не напьешься, да грунт тут такой, что не только лошадь — человека не держит.

В первые годы после войны пекашинцы каждый год строили мост, а потом отступились. Потому что вороватые водяне (они тут рядом, за рекой) все, что ни построй, разберут и увезут на дрова.

И вот единственный выход — крепкий мужик.

У Михаила Пряслина на берегах Копанца произошла целая битва: кустарник, жерди, кряжи, наваленные в канаву, измочалены до белого мяса.

Лукашин и Подрезов спешились у канавы, привязали к кустам лошадей и пошли пешком на треск и грохот жатки, которая как раз в это время появилась на закрайке поля, возле канавы.

Михаил спокойно, даже равнодушно смотрел на выходившего из кустов Лукашина, но когда увидел сзади него Подрезова, мигом вытянул шею, привстал, а потом бух-бух — напрямик через несжатый ячмень навстречу.

Сперва поздоровался с ним, с Лукашиным, но бегло, на ходу и без всякой радости, зато уж с Подрезовым — снимай кино: руки вытер о штаны, рот до ушей и куда девалась всегдашняя хмурь!

Лукашин понимал: кому не лестно — первый секретарь райкома на поле к тебе пожаловал! Рассказов и воспоминаний хватит на год. Но было обидно. Он вчера специально гонял на Копанец Чугаретти — отвези табак Михаилу, и даже пачку «Звездочки» накинул, от себя урвал, а Михаил даже спасибо не сказал.

— Ты совсем как отец стал. Понял? — сказал Подрезов.— Только у того волос посветлее был. А насчет этого ящика,— Подрезов крепко, кулаком стукнул парня по смуглой, мокрой от пота груди, внушительно проглядывавшей из расстегнутого ворота старой солдатской гимнастерки, так что звон пошел,— а насчет этого ящика ты, пожалуй, даже перещеголял отца.

Михаил заулыбался, закрутил запотевшей на солнце головой.

— Учти, председатель, такого богатыря в других колхозах у нас нема.

Подрезов сказал это не без умысла, он любил и умел похвалить нужного человека. Молодежь в колхозах после войны не держалась, а если и попадались где изредка парни, то их не скоро и от подростков отличишь: худосочные, мелкорослые, беззубые — одним словом, военное поколение.

Михаил Пряслин тоже был с военными отметинами. Лоб в морщинах-поперечинах — поле распаханное, не лоб. Карий глаз угрюмый, неулыбчивый — видал виды... Но все это замечаешь, когда хорошенько всмотришься. А так — залюбуешься: дерево ходячее! И сила — жуть. Весной на выгрузке по два мешка муки таскал, а один раз, на похвас,— Лукашин сам видел — даже три поднял.

Подбодрив Михаила словом, Подрезов пошел к жатке, чтобы самому сделать круг. Это уже обязательно, это его правило: не только перекинуться словом с рабочим человеком, но и залезть в его, так сказать, рабочую шкуру. Хотя бы на несколько минут. Тем более что Подрезов все умел сам делать: пахать, сеять, косить, молотить, рубить лес, орудовать багром, строить дома, ходить на медведя, закидывать невод. И надо сказать, людей это завораживало. Лучше всякой агитации действовало.

Так было и сейчас.

Объехав два раза поле, Подрезов остановил лошадей возле Лукашина и Михаила, слез с жатки, растер руки — надергало с непривычки вожжами.

— Ничего колымага идёт,— сказал он, кивая на жатку.— Сколько даешь?

— В день? — спросил Михаил.— Гектара три.

— Мало,— сказал Подрезов.— Четыре можно.

— Ну да, четыре,— недовольно фыркнул Михаил и заговорил с секретарем как равный с равным.— Больно жирно! Сколько тут одних переездов, поломок!..

Подрезов и не подумал обижаться. Когда речь заходила о работе, он не чинился. Наоборот, любил, чтобы с ним спорили, возражали, доказывали свою правоту.

— Ты знаешь, на чем проигрываешь? Круги маленькие делаешь. Заворотов много.

— Ерунда! Как большие-то круги делать, когда тут кругом межи да пни?

— А вот это уж председателя надо за штаны брать. Долго ваши пни выкорчевать? Видимость одна. Когда тут расчистки делали? Лет тридцать — сорок?

Лукашин мог на это возразить: до корчевки ли теперь здесь, на Копанце, когда у них рядом, под боком, зарастают кустарником поля? Но Подрезов уже пошагал к шалашу.

Шалаш стоял на открытой веселой поляне, под пушистой елью, густо осыпанной розовой, налитой смолой шишкой. Крыша двойная: и собственное перекрытие, и сверху еще навес из еловых лап. Никакой дождь не страшен.

Отмахиваясь от комарья, Подрезов заглянул в шалаш, выстланный свежим сеном.

— Тут ночуешь?

— Иной раз тут,— ответил Михаил.— Коней-то не все равно за пять верст гонять.

Подрезов кивнул на Тузика, не спускавшего с него глаз,— казалось, и тот разбирался, кто тут главный.

— Ну, с таким зверюгой не страшно. У тебя все в порядке? — И сразу же предупредил: — Насчет фуража не говори. Мне и Анфиса всю плешь переела. Да и вообще сам знаешь: пока первую заповедь не выполним, никакой речи быть не может.

Михаил, казалось, проникся государственной озабоченностью хозяина района — по крайней мере, принял его слова как должное.

— Ну так что же? Есть ко мне вопросы? — повторил Подрезов.

Михаил поглядел на Тузика, зажавшего меж лап берестяное корытце, из которого его кормили, покусал губы: что бы такое спросить, чтобы и Подрезова не поставить в неловкое положение и чтобы в то же время было важно для него, Михаила?

Вспомнил!

— Да, вот что, Евдоким Поликарпович! У меня тут сопленосые — братишки, значит, натворили... Помните, еще в училище ремесленное помогали мне их устраивать?

— Помню. Как же!

— Ну дак не знаю, что теперь с ними. Тут недавно домой прибежали. Вишь, по этому шпингалету соскучились...— Михаил кивнул на Тузика.— Не видали, без них завел. Ну, я, конечно, дал им задний ход, сразу отправил. А вот письма нету больше недели. Может, уже отчислили?

— Ладно, вернусь с Сотюги — позвоню в обком. Там поговорят с кем надо. Думаю, все будет в порядке.— И Подрезов крепко, по-бульдожьи сомкнул челюсти, словно зарубку у себя в голове сделал.

Михаил до самой канавы провожал их.

Уже выехав на дорогу, Лукашин оглянулся назад. Михаил все еще стоял на берегу Копанца, высокий, широкоплечий, с ног до головы вызолоченный мягким августовским солнцем, и улыбался.

2

Самый красивый бор, какой знал Лукашин на Пинеге, это Красный бор. Между Копанцем и Сотюгой.

Лес — загляденье: сосняк да лиственница. Это со сто-

роны Пинеги. А на север от дороги, там, где посырее,— ельник, пекашинский кормилец.

Всего полно в этом ельнике. В урожайные годы грибов да ягод — лопатой греби. В прошлом году, например, Лукашин с Анфисой на каких-нибудь пять-шесть часов выезжали, а привезли домой ушат солех, ушат брусники да корзину обабков [1].

Само собой, была на этом бору и дичь. Осенью, когда по первому морозцу едешь, то и дело вспархивают стайки пугливых рябчиков, а иногда, случается, и самого батюшку глухаря поднимешь — просто пушечный выстрел раскатится по гулкому лесу.

Но самое удивительное, самое незабываемое, что видел на этом бору Лукашин,— олени.

Было это два года назад. Он возвращался домой. с Сотюги, с покосов, рано утром, когда только-только поднималось над лесом солнце. Спал он в ту ночь мало, от силы часа три, и ехал шагом, дремля в седле. И вдруг какой-то шорох и треск в стороне от дороги.

Он поднял отяжелевшую ото сна голову, и у него перехватило дух — алые олени. Летят во весь мах к нему по белой поляне и солнце, само солнце несут на своих ветвистых рогах...

Олени эти оказались вещими. Дома, когда он подъехал к крыльцу, его встретила Анфиса неслыханной радостью: у них будет ребенок.

До войны такие боры, как Красный, шумели по всей Пинеге. А война и послевоенная разруха смерчем, ветровалом прошлись по ним. Стране позарез нужен лес, план год от году больше, ну и что делать? Как не залезть с топором в приречные боры, когда и древесина тут отборная и вывозка — прямо катай в реку?

Выжить Красноборью в эти тяжкие времена, как это ни странно, помогла его бесхозность и ничейность. Дело в том, что на Красный бор издавна претендовали две деревни — Пекашино и Водяны. Одно время, чуть ли не сразу после революции, бор принадлежал водянам — деревня их тут рядом, за рекой. Потом Красноборьем снова сумели завладеть пекашинцы. Да не просто завладеть, а на этот раз закрепить свои права в государственном акте о колхозных землях.

---

[1] Грибы для сушки.

«Не согласны!» — сказали несговорчивые водяне и недолго думая послали бумагу прямо в Москву.

И вот это-то бесхозное положение Красного бора и отводило от него до сих пор топор. Иной раз, кажется, уже всё — капут красноборскому сосняку, а потом вдруг вспомнят про бумагу, которая где-то по Москве гуляет,— и ладно, давай поищем что-нибудь другое.

У Лукашина улыбка заиграла, как только они въехали в бор: сразу два белых гриба. Красавцы такие в беломошнике возле самой дороги стоят, что хоть с лошади слезай.

— Надо будет на обратном пути прочесать немножко этот лес,— кивнул он Подрезову.

Подрезов не ответил. Его тяжелое, массивное лицо, еще недавно такое живое и веселое, сейчас было хмуро и мрачно, как озеро, на которое вдруг налетел сиверко.

Что ж, подумал Лукашин, Сотюжский леспромхоз (а он был не за горами) — это и есть для первого секретаря сиверко. План по лесозаготовкам не выполняется второй год, рабочая сила не задерживается, строительство железной дороги — сам черт не поймет, что там делается... А кто в ответе за все? Первый секретарь.

Когда за рекой на угоре засверкали белые крыши новых построек сотюжского поселка, Подрезов не оборачиваясь (он ехал впереди) направил своего коня к перевозу, и в этом, конечно, ничего особенного не было: как же хозяину не заскочить на такой объект? Ведь и он, Лукашин, не проехал мимо Копанца. Но почему не сказать, не предупредить его, как это водится между товарищами? В конце-то концов не на бюро же райкома они! И Лукашин, сразу весь внутренне ощетинившись, съязвил:

— Показательные работы здесь тоже будут?

Подрезов покачал головой:

— Нет, показательных работ здесь не будет.— Потом помолчал и со свойственной ему прямотой признался: — В этом-то вся и штука, что я не могу здесь показательные работы развернуть. Там, где бензин, я пасую. Я только в тех машинах разбираюсь, которые от копыта заводятся. Понял?

Они переехали вброд за Сотюгу, медленно поднялись в гору.

Бывало, когда тут заправлял еще Кузьма Кузьмич, у самой речки встречали самого — каким-то нюхом угадывали приезд. А сейчас директор леспромхоза вышел к ним только тогда, когда они подъехали к конторе и слезли с лошадей.

Вышел молодой, самоуверенный светловолосый, и никакого заискиванья, никакой суеты. Лукашин оказался к нему ближе, чем Подрезов, и что же — обошел его, к первому секретарю кинулся? Ничего подобного! Сперва его руку тиснул, а потом уже протянул хозяину.

Инженер Зарудный сейчас был самым популярным человеком в районе. О нем говорили повсюду — на лесопунктах, в райцентре, в колхозах. Во-первых, должность. Шутка сказать — директор первого механизированного леспромхоза в районе, предприятия, с которым связано будущее всей Пинеги. А во-вторых, он и сам по себе был камешек, из которого искры сыплются.

Три директора было на Сотюге до Зарудного, и все три ходили навытяжку перед Подрезовым. А этот сосунок по годам, два года как институт окончил — и сразу зубы свои показал.

Вызвал его однажды Подрезов к себе на доклад да возьми и уйди на заседание райисполкома. И вот Зарудный посидел каких-то полчаса-час в приемной, а потом вырвал листок из блокнота, написал: «Товарищ первый секретарь! У меня, между прочим, тоже государственная работа. А потому прошу в следующий раз назначать время точно».

Записку передал помощнику Подрезова, а сам, ни слова не говоря, обратно. На Сотюгу.

Конечно, выкинь такой номер кто-нибудь другой, из своих, местных, Подрезов устроил бы ему сладкую жизнь. Но что сделаешь с человеком, которого прислали из треста? Прислали специально для того, чтобы поставить на ноги Сотюжский леспромхоз.

— Ну как ты, со мной пойдешь или к своим заглянешь? — спросил Подрезов Лукашина.

Судя по тону, Подрезову явно не хотелось, чтобы он присутствовал при его разговоре с директором леспромхоза.

И Лукашин сказал:

— Пожалуй, к своим.

— Добре. Тогда в твоем распоряжении полтора часа.

3

Лукашин не был в поселке на Сотюге больше года и теперь, идя по нему с лошадью в поводу, просто не узнавал его. Развороченный муравейник! Все разрыто, везде возводятся новые дома, ремонтируются и отстраиваются старые. Стук и грохот топоров, десятков четырех, не меньше (не то что в Пекашине!), заглушал даже звон молотков и наковален в кузнице, а она стояла сразу за поселком, возле ям с водой, из которых когда-то брали глину.

Илья Нетесов выбежал из кузницы, когда Лукашин еще и людей-то в ее багряных недрах как следует не разглядел. Выбежал в парусиновом, до блеска залощенном фартуке — и с ходу обнимать.

Раньше Илья жил неподалеку от кузницы в просторном брусчатом домике, а сейчас привел его в какую-то живопырку, где размещалась не то кладовка, не то сушилка.

Тесень была страшная, и, наверно, поэтому ребята — два диковатых черноглазых мальчика и девочка — кувыркались на широкой железной кровати, которая занимала почти всю комнату.

Лукашин полюбопытствовал:

— За какие это грехи ты в немилость попал?

Илья заморгал своими добрыми голубоватыми глазами — не расслышал.

— За что, говорю, тебя в такую каталажку закатали?

— А-а, нет, не закатали. Это у нас уплотнение теперь по всем линиям. Я-то еще хорошо. А есть по две, по три семьи вместях. Сам директор в конторе живет.

— Да ну?!

— Так, так. Видишь, навербовали людей отовсюду — с Белоруссии, с Украины, со Смоленщины, а жилья не подготовили. Сам знаешь, много ли у нас бараков. Тесень, тесень... В бане уж которую неделю не моемся — и там люди живут. А многие в соседних деревнях приютились — мотаются взад-вперед. Не продумали. С самого начала леспромхоз на живу нитку тачали...

— А почему? — Лукашину давно хотелось хоть немного разобраться в сотюжских делах, о которых теперь даже в областной газете пишут.

— А потому перво-наперво,— начал с обычной своей рассудительностью объяснять Илья,— что леспромхоз

затеяли, а леса вокруг вырублены. Значит, выход какой — железная дорога. А она у нас все еще на десятой версте...

— Ну, а какой новый директор?

— Евгений-то Васильевич?

Илья и тут подумал — не из тех, кто попусту сорит словами.

— Характеристику со всех сторон не дам, меньше году человек работает. Да и часто ли его я вижу из своей кузницы? Ну, а против прежних директоров — чего говорить? Голова. Все знает, во всем разбирается. Трактор, к примеру, поломался — механики копаются-копаются, все ничего, покуда директор сам не возьмется. Ну и об людях заботу имеет. Мы тут до него месяцами зарплату не получали, банк все какие-то тормоза ставил как предприятие, не выполнявши план, а Евгений Васильевич живо порядок навел. И в столовой с кормежкой получше стало...

С улицы донеслось тревожное ржанье и перебор копыт. Лукашин высунулся из открытого окошка, погрозил неуемным бесенятам Ильи, которые, конечно же, вились вокруг Тучи, привязанной к сосне.

— А я про самовар-то и забыл,— спохватился вдруг Илья, но Лукашин наотрез отказался от чая и снова стал пытать Илью про сотюжское житье-бытье.

— А я думаю, ежели Евгений Васильевич по молодости не сорвется да кое-кто не обломает ему рога, дело будет.

Лукашин вопросительно скосил глаз:

— А кто ему может обломать рога? Подрезов? Да, скучать нам, кажется, не придется. Два медведя в одной берлоге... Ну а сам-то ты как, Илья Максимович? Не раздумал насчет переезда?

— Нет, решено — на зиму домой. В думках-то хотел еще к уборочной, да, вишь, Зарудный, Евгений Васильевич, стал упрашивать: постучи, говорит, еще недельки две в кузнице...

Лукашин, кажется, впервые за все время, что сидел у Ильи, вздохнул полной грудью. Его всегда занимали сотюжские дела, он с неподдельным интересом расспрашивал Илью про молодого директора, но если говорить начистоту, то затаенная мысль его все время, пока они разговаривали, вертелась вокруг самого Ильи: не передумал ли? Вернется ли в Пекашино? И дело было не

только в том, что Илья — кузнец каких поискать. У Лукашина во всем Пекашине не было человека ближе его. Первая опора во всяком деле. Уж на него-то можно положиться. Не за Петром Житовым пойдем — за ним.

Все же Лукашин решил честно предупредить Илью:

— Не знаю, Илья Максимович, может, тебе и не стоит спешить. Леспромхоз против колхоза — сам знаешь...

Илья ничего не ответил. Он только тяжело вздохнул и посмотрел в красный угол, туда где у верующих висят иконы. У него там висела увеличенная фотография покойной дочери. Под стеклом, в еловом веночке, перевитом красной лентой.

Лукашин обвел глазами другие стены.

— Нету Марьиной карточки,— сказал Илья.— Всю жизнь прожила, а так ни разу и не снялась...

Да, подумал Лукашин, вот она, жизнь человеческая. Будет, будет сытно в Пекашине, обязательно будет, может, рай даже будет. А только будет ли счастлив в этом раю Илья Нетесов? Без Вали, без жены...

— Ну, ладно, Илья Максимович, завтра к вечеру буду в Пекашине, зайду к твоим на могилы. Что передать?

Илья опять ничего не ответил.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Веселая, речистая река Сотюга.

Ясным страдным вечером едешь — заслушаешься: на все лады поют, заливаются пороги. А сегодня сколько километров отмахали — и полная немота. Захлебнулись пороги. Начисто. Как в половодье.

— Может, повернем обратно? — сказал Лукашин.— Какая уж рыбалка в такую воду...

Подрезов вместо ответа огрел коня плеткой.

Они гнали вовсю. До Рóгова, старых лесных бараков, где их ждали лодка и сети, оставалось еще километров восемь, а солнце уже садилось — красной стеной возвышался на той стороне ельник.

— Поедем мысами,— предложил Подрезов, когда впереди на голой щелье[1] замаячила сенная избушка. То

[1] Приречный крутой берег.

есть той дорогой, которой в страду ездят косари,— вдвое ближе.

Лукашин махнул рукой: согласен. Правда, ехать мысами — значит, раз десять пропахивать вброд Сотюгу, но что делать? Ведь если они и смогут добраться до Рогова засветло (а в темноте там и лодки не найти), то только этим путем.

Первый брод — под Еськиной избой — проскочили легко, только воду взбурлили, за второй тоже не плавали, а под Лысой горой едва не утонули. И все, конечно, из-за упрямства Подрезова.

Лукашин ему доказывал: выше брод, у черемушника, там, где две колеи сползают в речку, а Подрезов — нет и нет, везде под Лысой горой брод.

Коня вздыбил, на стремена привстал — Чапай, да и только,— а через минуту пошел пускать пузыри, в самую яму втяпался.

— Ноги, ноги высвобождай! — заорал что есть силы Лукашин и, ни секунды не раздумывая, кинулся на помощь.

Деликатничать было некогда — он схватил первого секретаря за шиворот и просто стащил с коня.

После этого Мальчик быстро выбрался из пучины, а кобыле Лукашина пришлось туго: двух человек вытаскивала одна.

О том, чтобы ехать дальше, не могло быть и речи: вымокли до нитки и надо было немедля разводить костер.

На их счастье, дрова разыскивать не пришлось: березовый сушняк белым частоколом стоял в пóкати холма, напротив брода. А вот насчет огня хоть караул кричи. Спички у обоих превратились в кашу, изба сенная, где наверняка последними ночлежниками по обычаю Севера оставлен коробок со спичками, за рекой.

Снова стали перебирать и выворачивать карманы, и вот повезло — у Подрезова в пиджаке оказалась светленькая зажигалка: давеча, когда ехал в Пекашино, взял у шофера из любопытства — новая,— да и сунул по рассеянности к себе в карман.

Руки у обоих ходили ходуном, стучали зубы — от сырости, от вечернего холода, а еще больше от страха: а вдруг и зажигалка подведет.

Нет, есть, есть бог на свете: проклюнулся огонек. С первого щелчка.

Подрезов прямо в руки Лукашина — он пытал счастье — начал совать берестяные ленточки, и скоро забушевал огонь.

Первым делом они просушили одежду — наверно, целый час два голых мужика скакали вокруг жаркого костра в алом березовом сушняке,— потом принялись за обогрев изнутри. Крутым пуншем — полкружки горячего, с огня, чая и полкружки водки.

Подрезов мало-помалу стал приходить в себя. Еще недавно белое, как береста, лицо его раскалилось докрасна. Громовые раскаты появились в голосе.

— Жалко, что здесь застряли,— сказал он.— А то бы мы сегодня с рыбой были.

— А по-моему, нечего жалеть,— возразил Лукашин.— Кто по такой воде за рыбой ездит?

— Вот именно что по такой. Курью под Роговом знаешь? Старое речище? Ну дак в такую воду, как нынешняя, рыба просто лезом лезет в эту курью. На зеленку. Только сетью горло перегороди — и вся с тебя забота.

В вечернем тумане по мысу задорно и чисто вызванивал подзвонок, который Лукашин перед выездом из поселка повязал своей кобыле, урчала и причмокивала вода в Сотюге, потом вдруг над их головой со свистом разорвался воздух — похоже, утиная стая пронеслась мимо.

Лукашин с живостью поднял голову, посмотрел на розовый от костра круг в черном небе, а Подрезов не пошевелился. Сидел грузно на коряге, помешивал палкой в огне: должно быть, все еще не мог примириться с постигшей их неудачей.

Лукашин дососал подсушенную на огне папироску, встал. Ночь предстояла длинная, холодная, и надо было сходить за сеном: рискованно в такое время на голой земле лежать.

2

Стог был поблизости, за кустарником справа (тут, на Сотюге, Лукашин был как у себя дома), и он быстро обернулся.

Подрезов все так же сидел, склонившись над огнем, но без рубахи, точь-в-точь как солдат на фронте, когда того донимала шестиногая скотинка.

Лукашин пошутил, бросая на землю охапку сена:

— У нас сегодня по всем линиям война...

— Тебе весело, да? А у меня по всему телу красные пятна.— Подрезов вдруг смутился и начал натягивать на себя рубаху.— Иной раз бюро, пленум, надо мозгами ворочать, а я как в огне. Мне кричать, драться хочется, все крушить к чертовой матери...

— А медицина что?

— Медицина... Медицина известно: надо солнце, надо морские купанья, спокойную жизнь... В позапрошлом году я был на курорте — год человеком жил, а нынче разве выберешься...

Над костром огромным снопом взметнулись искры — это Подрезов сгоряча бросил в огонь целый березовый кряж.

После молчания он вдруг сказал:

— А в общем-то я обманщик... Права твоя Анфиса...

— Чего права? Это ты все насчет того давешнего разговора? Брось! Мало ли чего наскажет пьяная баба...

— Нет,— покачал головой Подрезов,— правильно она сказала. Накормить людей досыта — это всем задачам задача. Посмотри ведь, что у нас делается.— Подрезов начал загибать пальцы.— Сорок первый, сорок второй, сорок третий, сорок четвертый, сорок пятый... Четыре года войны... да шесть после войны... Итого десять лет. Десять лет у людей на уме один кусок хлеба...

Лукашину теперь понятно стало, почему так мрачен сегодня первый секретарь. Не только, оказывается, из-за Сотюжского леспромхоза, который камнем висит у него на шее, но и из-за того разговора, который у них был перед поездкой на Сотюгу.

Он подбросил сена Подрезову — садись по-человечески! — сказал:

— Так будем хозяйничать, еще десять лет не накормим.

— А ты, между прочим, тоже хозяин. Почему плохо хозяйничаешь?

— Я хозяин? Ну-ну! Видал ты такого хозяина, который за одиннадцать копеек валенки продает, а они ему, эти валенки, обошлись в рубль двадцать? А у меня молоко забирают так — за одиннадцать копеек, а мне оно стоит все два рубля.

— А кто у тебя забирает-то? Государство?

— Ты меня на слове не имай! — Лукашин рывком вскинул голову.— Ну и государство. А что? Ленин после

той, гражданской, войны как сказал? Надо, говорит, правильные отношения с деревней установить, не забирать у крестьянина все подряд...

— Так,— сказал сквозь зубы Подрезов.— Еще что?

— А уж не знаю что,— отрезал Лукашин.— Только по-старому нельзя. К примеру, меня взять... хозяина...— Лукашин натянуто усмехнулся.— Я ведь только и знаю что кнутом размахиваю. Потому что, кроме кнута да глотки, у меня ничего нет. А надо бы овсецом, овсецом лошадку подгонять...

— Да так-то оно так,—промычал неопределенно Подрезов и поглядел по сторонам.

И Лукашин поглядел. Жутковато было — непривычные речи говорили они. А с другой стороны, думал Лукашин, кого бояться? Ночного ельника, лошадей, которые то и дело пучили на них из розового тумана свой огромный лошадиный глаз, костра?

Костер пылал жарко. Он заражал своей яростью. А потом, полезно, черт побери, первому секретарю знать, о чем думает народ. В Пекашине уж который год про

это говорят. И тут хочешь не хочешь, а закрутишь шариками, полезешь в красные книжки сверять сегодняшнюю жизнь с Лениным...

— На брюхе плохая экономия,— сказал Лукашин.— Да и какой, к дьяволу, голодный — работник! У нас, бывало, в деревне Иван Кропотов... Кулак... Но в экономике толк понимал будь здоров! Так он что говорил своей женке, когда утром вставал? Скупая, жадная была баба. «Корми работников досыта». Это у него первый наказ с утра был. Потому как понимал: сытый работник горы своротит, а от голодного один убыток...

— Все правильно,— сказал Подрезов,— но ты не забывай, что у нас война была.

— Ну, войну не забудешь, даже если бы захотел. Об этом, по-моему, нечего беспокоиться.

Лошади подошли к самому огню.

Лукашин схватил какую-то хворостину, замахнулся на них.

— Медведя, наверно, чуют,— сказал Подрезов.— Тут, на Сотюге, их полно, а теперь темные ночи пошли — самое им раздолье. А я, знаешь, первого медведя когда убил? В двенадцать лет. Вернее, не я убил, а дедко меня капкан взял смотреть...

На Севере любят рассказывать всякие были и небывальщины про медведей, и Лукашин любил их слушать, но сейчас он не поддержал Подрезова. Сейчас ему было не до медведей. У него все так и ходило и кипело внутри. Шутка сказать — такой разговор завели!

Они долго молчали, оба уставившись глазами в костер.

Наконец Подрезов сказал:

— М-да-а... Разговорчики у нас... Ели и те, наверно, головой качают...— Потом встал, секретарским голосом подвел черту: — Ладно, хватит ели да березы пугать. Давай лучше еще по кружечке чайку дернем — и спать, раз уж мы здесь застряли.

3

Утром встали на рассвете.

Туман. Костерик чадит еле-еле. Лошадиные морды устало смотрят на них из тумана — должно быть, и в самом деле где-то поблизости разгуливал ночью медведь.

Сходили на речку, сполоснули лицо, навесили чайник.

Все время молчавший Подрезов заговорил после выпитой кружки чая:

— Есть предложение заняться делом, а свидание с рыбой отложить до следующего раза. Не возражаешь?

— Нет,— сказал Лукашин.

— Тогда я поеду в леспромхоз. Этому молокососу пора дать по рукам.

— Кому? Зарудному?

Подрезов вместо ответа спросил:

— А ты что намерен делать?

— Мне на Синельгу надо. К сеноставам.

— Добре.— Подрезов помолчал немного, посмотрел на Сотюгу, где в белесой толще тумана всходило багряное солнце.— А на то, что говорили ночью, наплевать. Понятно? А то с этой мутью в голове далеко не уедешь...

Тут он первый раз за утро взглянул прямо в глаза Лукашину. Потом покусал-покусал губы и начал топтать мокрыми сапогами костерик, который и без того дышал на ладан. Мало этого. Будь его воля, он наверняка бы и ели и березовый сушняк, свидетелей ихнего ночного разговора, растоптал. Во всяком случае, так подумалось Лукашину, когда он увидел, как Подрезов, тяжело, со свистом дыша, своим разгневанным оком водит по сторонам.

Он уехал не попрощавшись. В утренней росяной тиши гулко рассыпалась дробь лошадиных копыт, а Лукашин, опустив голову, еще долго смотрел на чадившие у его ног головешки — остатки ночного костра.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Тузик извел его за эти дни — с раннего утра до позднего вечера надрывается в кустарнике, в озеринах.

Поначалу Михаила это забавляло и даже радовало: хорошая собака будет, а он, Михаил, с детства мечтал об охоте...

Однако вскоре это безмерное усердие щенка встало ему поперек горла. Никакой работы! Только сядешь на жатку, только приладишься, лошадей направишь — слезай. Тузик залаял. И бесполезно звать, подавать свист: до тех пор будет глотку драть — все равно на

кого: на ворону, на корову, случайно забредшую на Копанец, на лося, вышедшего на водопой,— пока хозяин не подойдет.

Вот и сегодня раз пять Михаил шлепал к дуралею, делал внушения — не помогло: опять принялся за свое.

— Тузко, Тузко, ко мне!

Лай в ольшанике, там, где были остатки старых переходов за канаву, не смолк. Наоборот, он разгорелся еще пуще.

Михаил, зверея, соскочил с жатки, на ходу выломал здоровенную черемуховую вицу — ну, задам я тебе сейчас, гаденыш! А когда подошел совсем близко, вдруг почувствовал себя охотником. Пригнулся, ногу на носок, а потом и того больше: затаил дыхание, осторожно раздвинул кусты, скользнул прищуренным глазом по прыгающему внизу черно-белому клоку шерсти, зыркнул туда-сюда и едва не расхохотался: Райка.

Стоит на той стороне у переходов, смотрит как завороженная на скачущую у своих ног собачонку, и ни с места.

— Рай, какими судьбами? А ну, брысь ты, окаянный! Перейдешь сама?

Раечка в один миг перемахнула к нему, вспыхнуло на солнце красное, в белую полоску платье. И духами вокруг запахло. Это уж завсегда. Бывало, зимой встретишь — вкусно, будто первым июльским сенцом тебя опахнет.

Михаил заглянул в берестяную коробку на ее полной загорелой руке — ни одного гриба, посмотрел на босые ноги — так не приходят на поле снопы вязать.

Раечка сама объяснила причину своего внезапного появления в его лесном царстве:

— Пестроху ищу... Где-то корова у нас запропала...

— А-а, то-то же! — улыбнулся Михаил.— А я уж было подумал, не рыжики ли солить пришла? — На местном языке это означало целоваться.

Он был доволен собой: ловко сострил.

— Ну что — в гости ко мне пойдем, так?

Тузик первый построчил к шалашу, а Михаил за ним. И вот пока одолел пеструю, в белой ромашке полянку, спустил с себя семь потов. И не от жары, нет. А оттого, что какая-то муха укусила его — начал для Раечки торить дорогу. Шел и старательно уминал своими тяжелыми кирзовыми сапогами траву на тропинке, как будто

и в самом деле не деревенская девка к нему в гости идет, а какое-то неземное, сказочное диво.

Чайник с водой стоял у него в холодке за шалашом, под ватником, и он осушил его наполовину — до того у него вдруг пересохло в горле.

— Не хошь? — предложил своей гостье.

Раечка покачала головой.

— Верно. Вода не вино — много не напьешь... А Пестроха-то у вас когда потерялась? Такая смирная корова...

— Вчерась...

— А отец тоже ищет?

— Ищет...

— А у пастухов-то спрашивали?

— Спрашивали...

— И поля перед Копанцем обшарили? Там коровы любят шлендрать...

Тьфу! — вдруг выругался про себя Михаил. Он старается, старается, с той стороны зайдет, с другой, а она все да да нет. Уж ежели не о чем говорить, то хотя бы рассказала, что в деревне делается. Он два дня не выезжал с Копанца.

Нащупав рукой пачку «Звездочки» в кармане, он вытащил папиросу, сел в тень возле шалаша, стал разминать ее пальцами.

— Садись. Я еще не медведь — не ем заживо.

Раечка не села — только с ноги на ногу переступила.

Он скошенным взглядом обежал ее полные красивые ноги с налипшими мокрыми травинками, воровато, ящерицей юркнул под подол.

Захмелевшее воображение живо дорисовало то, что скрывал от глаза ярко-красный ситец, но он владел собою. До тех пор владел, покуда не напоролся взглядом на крутые, торчмя торчавшие груди. А тут обвал произошел, все запруды и плотины лопнули в нем, и он с быстротой зверя вскочил на ноги.

Раечка не сопротивлялась, и даже когда он опрокинул ее на землю, не стала отпихивать его — только отворачивала от него лицо, как будто и в самом деле что-то решал сейчас поцелуй.

Он выпустил ее из рук — какого дьявола обнимать мертвую колоду! И к тому же запрыгал и забесился Тузик — нашел время свое усердие хозяину выказывать.

— Вставай! — зло прохрипел Михаил.— Я еще в жизни никого нахрапом не брал.

Раечка встала, пошла, как большая побитая собака. Даже не отряхнулась и ворот платья не застегнула.

— Коробку-то забыла!

Раечка обернулась, слезы светлыми ручьями катились по ее побледневшим щекам — только этого и не хватало,— потом вдруг схватилась руками за голову и побежала. По той самой тропинке, которую он еще каких-нибудь полчаса назад старательно мял для нее.

Тузик с лаем бросился за ней.

— Тузко, Тузко, не смей!

Тузик нехотя повернул назад, а он смотрел-смотрел на большое мотающееся тело на тропинке, на алую ленту в темно-русых волосах и вдруг все понял: да ведь это для него, болвана, надела она и праздничное красивое платье, и вплела алую ленту в волосы — кто же в таком наряде ищет корову в лесу!

— Рай, Рай, постой!

Он догнал ее уже у переходов, крепко обнял и тотчас же почувствовал увесистую пощечину.

— Рай, Рай...

А может, и в самом деле это его рай? — пришло ему в голову. Чем худа девка!

— Рай, Рай...— Он с радостью, с каким-то неведомым раньше наслажденьем называл ее так.— Потерпи немножко. Вот развяжемся малость с полями, и я к тебе по всем правилам... Со сватами... Хочешь?

2

— Но, но! Давай, давай! Пошевеливайся!

Ликующий голос Михаила, звучно, как весенний гром, раскатывался по вечернему лесу. Лошади бежали — цок-цок-цок: умята, утоптана высохшая дорога — не то что три дня назад, когда он нырял со своей жаткой в каждой рытвине. А ему все казалось — тихо, и он, привстав на ноги, постоянно крутил над головой сложенными петлей вожжами.

Тузик строчил рядом с жаткой, задрав хвост. Рад дурак. А чего ему-то радоваться? Не все ли равно, где глотку драть. На Копанце даже лучше. Дома заулок, от передних воротец до задних — и все твое царство, а на Копанце просторы — ай-ай! И дичь — не старуха, проковылявшая мимо дома по дороге, а в перьях, в меху.

Да, есть уже у Тузика одна белка на счету: облаял давеча днем, когда та вышла на водопой к Копанцу.

Нет, уж если кому радоваться, то радоваться ему, Михаилу. Во-первых, отмытарил на Копанце — это всегда праздник, а во-вторых, даешь новую жизнь! Хватит, поколобродил он за свои двадцать два года. Пора и на прикол вставать. А чего ждать? Кого еще искать?

Его любили и бабы и девки, и он из себя монаха не строил. Но такого еще у него не было — чтобы вот так, среди бела дня, пришла к нему девка. Сама! Да еще девка-то какая! И чтобы — на, делай со мной что хочешь...

Лошади бежали — тра-та-та, сыроег, маслят возле дороги навалом. Гнездами, ручьями красными и желтыми разбежались. Вот когда пошли по-настоящему — когда землю солнышком прогрело. А по угорам меж осин бабы красные шали развесили: брусника крупная, сочная, с ребячий кулак кисти.

Да, в этом году он пойдет за красными [1] с Раечкой. Да и вообще — зачем было отпускать ее вчера? Какого лешего в прятки играть, раз все решено! Вот бы и не выл он сегодня всю ночь напролет. А то ведь до самого рассвета не смыкал глаз. Лежал в шалаше и перемигивался со звездами...

Мимо, мимо летят телеграфные столбы, сверкают на солнце зеленые и белые чашечки изоляторов... Эх, и побито же было этого добра в свое время, когда он с мальчишками пас коров! Самое это любимое занятие у них было — сбить камнем чашечку с телеграфного столба...

А вот и столица нашей родины, как любил, бывало, говорить Егорша, когда они подъезжали к Пекашину,— красный глиняный косик в гору, а на горе знакомый аккуратненький домик...

Лошади выбежали к искрящейся на вечернем солнце Синельге, жадно потянулись к воде.

Михаил спрыгнул с железного сиденья, пошел, буравя ногами светлый ручеек, спускать у лошадей чересседельник и вдруг словно споткнулся: дым. Дым над крышей Варвариного дома...

Нет, дым был у Лобановых. От бани, которая стоит на задворках, в по́кати.

Но что перечувствовал, что пережил он, пока рассеялся его обман!

---

[1] Местное название брусники.

Все вспомнил. Вспомнил, как белыми ночами ездил к Варваре с Синельги, вспомнил, как под прикрытием ночного тумана крался к ее дому, карабкался по углу на поветь-сеновал, жадно иссохшими губами припадал к ее сочному податливому рту...

И еще бог знает почему вспомнил, как провожал вчера на Копанце Раечку. Перевел по переходам за канаву, подмигнул как-то по-дурацки, по-Егоршиному, и помахал рукой. Ну разве так бы он прощался с Варварой!

Михаил поехал не по деревне — болотницей: хуже всякой пытки проезжать сейчас мимо Варвариного дома.

3

...Что такое? С задворок, от воротец вся семья бежит к нему навстречу: матерь, Лизка, Татьяна... Одного Федюхи не видно. Может, с ним, с бандитом, какая беда стряслась?

— Ну, слава богу, дождались,— запричитала мать.— А малого-то не видел?

Михаил терпеть не мог паники. Он завернул лошадей на лужайке возле воротец — тут всегда стоят у него в страду косилка и жатка, когда он дома,— слез с сиденья и только тогда спросил:

— Чего у вас? Где я должен видеть малого?

— Миша! Миша! — со слезами бросилась к нему Лиза.— Татя болен. Мы за тобой только что Федюху верхом послали... По деревне поскакал...

Вот теперь уже кое-что ясно.

— Где он? — спросил четко.

— Татя-то? Да на Синельге, у своей избы... Один... Который уж день...

— Порато, порато болен. Иван Митревич только вот только приехал...

Михаил с яростью зыркнул на сестру, на мать: всегда вот так! Начнут молотить обе сразу — ни черта не поймешь.

Полную ясность, как всегда, внесла Татьяна — даром что девчонка:

— Иван Дмитриевич только что с Синельги приехал. Приезжаю, говорит, к избе — где старик? А старик в сенцах лежит — пошевелиться не может. Левая половина отпала. Дак я, говорит, в избу затащил, а теперь пускай Михаил за ним едет...

Михаил все-таки ничего не понимал: почему старик на Синельге? Как туда попал?

— Я, я виновата...— зарыдала Лиза.— Ведь я-то знала, что его нельзя было отпускать...

— А раз знала, дак за каким дьяволом отпустила?

— Да как не отпустишь-то? Тот письмо прислал — мы с татей с ума сошли...

— Кто — тот? Какое письмо?

Лиза спохватилась, заширкала носом, запоглядывала по сторонам, но разве скроешь от своего брата? Давясь слезами, призналась:

— Тот... Егорша письмо прислал... В армии хочет остаться...

Мать завсхлипывала — и она ничего не знала про Лизкино горе.

Михаил рявкнул — как кнутом стеганул. Потому что ежели распуститься с ними, вой поднимут на всю улицу.

— Мати! На конюшню! Сани запряги. (На телеге на Синельгу не попадешь.)

— Да есть сани. Я уж схлопотала...

Михаил начал распрягать лошадей, попутно отдавая распоряжения:

— Веревку несите. Да одежонку какую. Живо! Чего стоите? Не за бревном — за человеком еду.

Он торопился. Солнце уже садилось за крыши, а до Синельги самое малое час трястись. Ну разве есть время слезы точить да причитать?

● ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

В эту ночь Лиза не сомкнула глаз и на минуту.

Сперва, вернувшись со скотного двора, мыла пол в избе — хотелось, чтобы больной свекор попал в чистоту (старик любил опрятность),— потом стала перебирать его постель да увидела клопа на стене возле кровати — начала лопатить весь стариковский угол. Все перемыла, перескоблила: стены, кровать, голубец кипятком ошпарила, а потом уж заодно и перину перетряхнула. Чего больной человек будет маяться на старых соломенных горбылях? То ли дело свежее сенцо! И мягко и дух приятный, луговой.

Вот так со всеми этими делами — с мытьем пола, с приборкой стариковского угла, с перебивкой перины — она и проваландалась до двух часов ночи, а там уж и спать некак: надо печь топить, какую-то еду для больного сообразить, Васю к своим отнести (насчет коров она договорилась еще вечор с Александрой Баевой).

Лиза привыкла начинать свой трудовой день с первыми дымами на деревне — такая уж работа у доярки, но сегодня она и того раньше выскочила из дому, а к матери прибежала — та еще в постели.

— Чего всполошилась такую рань? Попей хоть чаю — я сейчас согрею.

Лиза только рукой махнула. До чаю ли сейчас! Неужели матери родной надо объяснять, что у нее на душе делается?

Утро было холодное, сырое. Кустарник возле дороги поседел от росы, и ох же пополоскало ее в одном платьишке — привыкла по утрам носиться сломя голову.

Но на ходу все-таки потеплее, а каково стоять? А Лиза, наверно, с час или с два коченела у Терехина поля. И все прислушивалась, все ждала: вот-вот раздастся конская ступь и из березняка выедет Михаил.

Но Михаил не ехал.

Лиза начала волноваться. Что там могло случиться? Со стариком плохо? Везти нельзя?

И как только ей пришла в голову эта мысль, она уж больше не томилась у Терехина поля. Сама побежала навстречу. По грязной лесной дороге, четко разутюженной накануне полозьями.

Встретила она брата возле темной еловой рады — не меньше версты прошлепала по грязям.

Сидит, качается на запаренной кобыле, настегивает ее вицей, а старика она сперва и не увидела. Сено, показалось, везет на санях брат. С ног до головы обложил старика сеном, чтобы грязью не заляпало да комар не беспокоил,— только для дыханья дыра оставлена.

— Татя, татя,— запричитала на весь лес Лиза,— да что же это такое? Разве так возвращаются люди с покоса?

— Не ори! — коротко бросил Михаил. Он слез с кобылы, устало подошел к саням, приоткрыл лицо старика.— Ну как? Жив? Не вытрясло совсем душу?

Ни единого звука не услышала Лиза в ответ, и она с ужасом перевела взгляд на брата:

— Чего с ним? Пошто он не говорит?

— Выходной взял! — свирепо рыкнул Михаил и вдруг заорал на нее: — Чего стоишь как столб? Не знаешь, как отца встречают?

Лиза и в самом деле стояла как-то в стороне, на отшибе, и, поняв это, поспешно кинулась к саням, к дыре в сене, откуда чуть заметно шел парок.

— Татя, татя...— Она встала на колени прямо в грязь возле полоза, судорожно обхватила руками старика, вернее, охапку сена, потом срыла сено с груди в ноги — какое теперь комарье, когда к дому, можно сказать, подъехали? Да и она зачем тут? Разве не может веткой отгонять?

Степан Андреянович узнал ее.

— Ы-ы-за-а...— чуть слышно сказал он, но так, что она и Михаил — оба услышали, затем на его старых, испугом налитых глазах навернулись слезы.

— Ну, это ты хорошо, хорошо, старик, надумал,— сказал Михаил и от радости похлопал сестру по плечу.— А то я вчерась приезжаю к избе — покойник покойником. И сегодня, сколько ни кликал, не мог докликаться. А тебя, вишь, с первого слова услыхал...

2

Разлад в теле у Степана Андреяновича начался еще тогда, когда он шел с невесткой полями. Хорошее, свежее было утро, ветерок прыскал, а он обливался потом, на великую силу тащил стопудовые сапоги.

Лиза что-то щебетала, давала наказы, советы, а он только и думал о том, как бы добраться до Терехина поля да поскорее распрощаться с невесткой — не хотелось ее пугать, посреди дороги разлеживаться.

И вот когда наконец Лиза осталась позади, он дотянул кое-как до березняка за полем, ткнулся горячим потным лицом в мокрую, еще не высохшую от утренней росы траву и так долго лежал.

Потом эти лежки пошли у него чуть ли не у каждого муравейника, не у каждой кокоры [1].

В этот день он с косой, конечно, не разбирался: догреб, доплелся до своих старых владений на Синельге, заполз в избушку, и все — не ел, не пил, до утра лежал,

[1] Корневища вывороченного ветром дерева.

зарывшись в какую-то старую сенную труху, во всей одежде, в сапогах.

Но назавтра он встал молодцом. Легко, без всякой шаткости вышел из избушки, будто и хворости не было, а когда увидел траву в поклоне, густую, тучную, белую от росы, руки сами потянулись к косе.

И покосил.

В одну сторону прошелся, в другую, пьянел от травяных запахов, и как же радовалась стариковская душа! Вот, думалось, не зря ем хлебы. Есть, есть еще от него польза. Будет у Васи молоко...

После утренней напористой косьбы Степан Андреянович поел с аппетитом, попил чаю с дымком всласть, а потом вздумалось ему сходить на свою старую расчистку — посмотреть, что там делается, нельзя ли сколько-нибудь травы потюкать для себя.

И вот с этой-то расчистки все и началось — не нашел он своей пожни.

Все на месте: Синельга на месте, мыс на месте, старые стожары[1] на месте, только расчистки нет, только пожни нет. Кусты всколосились, ольха да осина вымахали. Из края в край. По всей бережине. И Степан Андреянович сел на старую валежину у ручья и заплакал.

Господи, на что ушла его жизнь? Двадцать лет он убил на эту расчистку. Двадцать... Первые кусты начал вырубать еще при царе Горохе, и, помнится, вся деревня тогда потешалась над ним. Кустарник страшный, двум комарам не разлететься, топором не взмахнуть, а ели — боже мой, впору на небо лезть. Ну какой же тут покос?

А он на этот-то кустарник как раз и возлагал все свои надежды: уж ежели ольха да береза так вымахали, то трава и подавно будет.

И он не ошибся. Перед колхозами по тридцать возов самолучшего сена снимал со своих Ольшан — вот каким золотом обернулся для него непролазный кустарник вдоль Синельги.

Правда, он уж и работал — жуть!

Избушка от расчистки далеко ли? За речкой, напротив, четверти часа ходу не будет, а он и эти четверть часа жалел. Тут, на расчистке, спал. Под елью, возле огня. Да и спал ли он вообще в те годы? Кто, разве не он корчевал пни по ночам при свете костров?

---

[1] Жерди, которые служат остовом для стога.

Эх, да только ли от себя одного рвал? А Макаровну? Уж ей-то досталось, бедной, она-то, верно, до последнего вздоха помнила эту расчистку. Потому что тут, на расчистке, родила своего единственного сына. Шастала, шастала возле него, оттаскивала в сторону сучья, потом вдруг уползла в кусты, к ручью, а вышла оттуда уже с ребенком на руках. Белая-белая, как береза...

И вот все напрасно. Напрасно надрывался сам, напрасно жену в три погибели гнул, сына малолетнего мучил напрасно — снова кусты. По всей пожне кусты. Как сорок лет назад. И комары. Даже сейчас, в конце августа, вой стоял от них в воздухе...

Степан Андреянович вяло обмахивался березовой веткой, смотрел на буйно разросшийся кустарник за ручьем, и жизнь, прожитая им, представлялась вот такой же запущенной и задичавшей расчисткой. Да и вообще он давно уже не понимал, что происходит вокруг. Люди в колхозе годами считай что работают задаром — почему? А почему добрая половина пекашинцев не имеет коровы? Каждый год трава уходит под снег, а мужик не смей косить — под суд...

Все-таки Степан Андреянович нашел чистую травяную полянку и даже помахал немного косой.

Лиза помогла. Вспомнил про нее, свое солнышко, подумал, сколько у нее радости будет, ежели он поставит воз-другой сена, и пошла коса, заходили руки...

Да, да, удивлялся Степан Андреянович: вот как обернулась жизнь. Родной внук отвернулся, под самое сердце саданул, а эта, чужая кровь, родней родной стала. «Да что ты, татя, куда я от тебя? Как жили вместях, так и дальше жить будем...»

Он плакал. Плакал ночью, перед выходом на Синельгу, плакал сейчас, помахивая косой. За всю жизнь не слыхивал слов радостнее этих...

Степан Андреянович выкосил полянку, нарезал бересты для коробки и шаркунка для Васи — как было забыть про наказ Лизаветы! — а на обратном пути, когда он уже вошел в сенцы избушки, с ним и случилась беда.

— Степа, Степа! — услышал он зовущий голос Макаровны.

Он обернулся — как тут очутилась жена, которая давно умерла? — и вдруг яростный гром грохнул над головой, задрожала, закачалась земля под ногами — и он упал...

3

Речь к Степану Андреяновичу вернулась на третий день, и первым словом его было: властей позовите.

— Что? Что? Властей? — Михаил, ничего не понимая, посмотрел на сестру, на мать.— Зачем тебе власти-то? Тебе не о властях думать надо, а как бы на ноги встать.

— Властей... Быстрее...

Не посчитаться с больным человеком нельзя, и пришлось посылать за председателем мать, которая вскоре вернулась с Анфисой Петровной: Лукашин с утра уехал в район.

В избу вошла Анфиса Петровна уверенно, не по-бабьи. Есть практика. В войну все похоронки на себя принимала, первой являлась в дом, куда смерть приходила.

— Ну что, сват? Какую кашу с властями варить надумал?

— Бумагу... хочу... дом...

— Ну, насчет дома не беспокойся. Егорша у тебя есть, никакой бумаги не надо...

Степан Андреянович помолчал, видно набираясь сил, и вдруг четко выговорил:

— Лизавета — хозяйка... Лизавете дом...

— Чего? Чего? Лизавете дом хочешь отписать?

— Да... Весь...

Среди старух, бог знает когда набравшихся в избу, пошли шепотки, пересуды: всем в удивленье было, почему старик решил отписать дом невестке. Разве у него родного внука нету?

Лиза, давясь слезами,— она стояла в ногах у старика — протянула к нему руки:

— Татя, ты ведь неладно говоришь. Какой мне дом? Что ты... На веку не слыхано, чтобы невестке дом отписывали...

— Верно, верно, сват,— поддержала Анфиса.— У тебя внук родной есть и правнук есть. Лизавета тебе как родная, всяк знает, а только порядок есть порядок...

В том же духе говорили старику мать, Марфа Репишная, Петр Житов и особенно с жаром убеждал Михаил, потому что отпиши старик дом Лизке, разговоров не оберешься: а-а, скажут, оболванили старика, вот он и твердит без памяти — Лизавете...

Ничто не помогало. Степан Андреянович стоял на

своем: весь дом и все постройки при доме — Лизавете. Одной Лизавете...

В конце концов что было делать? Села за стол колхозная счетоводша Олена Житова, и скоро все услышали: «Я, такой-то и такой-то, в полной памяти и здравом рассудке завещаю свой дом со всеми пристройками невестке моей Пряслиной Елизавете Ивановне, в чем собственноручно и подписуюсь...»

Степан Андреянович расписался сам, потребовал, чтобы приложили руку свидетели, и лишь после этого облегченно вздохнул и закрыл глаза.

Он завершил свои земные дела.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Егорша, тягуче зевая, продрал глаза и аж подскочил: половина десятого! А потом увидел желтенькие, с детства памятные цветочки на старомодных ходиках с белым потрескавшимся циферблатом и, успокоенный, откинул голову на подушку: он дома.

Голова трещала — страсть сколько выпито было за вчерашний день. Первую бутылку за помин деда они раздавили еще на аэродроме с Пекой Черемным и Алексеем Тарасовым.

Пека Черемный, диспетчер районного аэродрома,— старый калымщик, и как минуешь его? Просто клещом вцепился, когда он, Егорша, вывалился из самолета. А вот Алексей Тарасов его удивил. Сам приехал. Специально. Это инструктор-то райкома! Правда, инструктор он особенный — за тот же самый овечий хлев когда-то бегал, что и он, Егорша,— ихние дома в Заозерье впритык друг к дружке, но все-таки, что ни говори, шишка.

И вот помянули деда — прямо в райкомовском «газике». А дальше известно: заехали к Алексею на квартиру чайку попить — помин, в Марьюше на председателя колхоза наскочили — помин, а под Шайволой райтопа встретили — как было не открыть бутылку?

В общем, набрались.

В Пекашино приехали — не знаешь, как и из машины вылезти. Правда, он-то, Егорша, сам, без посторонней

помощи выкарабкался, а Алексея Тарасова, того, как архиерея, под руки вывели.

— Эй, кто дома?

Никто не отозвался на его голос. Ни в избе, ни в чулане.

Солнце начало припекать его светловолосую голову. Он повернулся на бок, лицом к медному пылающему рукомойнику в заднем углу и стал припоминать, как очутился тут, на полу, на жаркой, набитой оленьей шерстью перине,— в бриджах, в нательной рубахе, босиком.

Он все помнил, что было поначалу. Помнил, как подъехал к дедовскому дому — народу жуть, вся деревня, похоже, собралась,— помнил, как, подхваченный Мишкой, шел по заулку под окошками и плакал даже, помнил, как Мишка на ходу разъяренно шептал ему на ухо: «Нажрался, гад! Не мог потерпеть». (Да, такими вот словами встретил его закадычный друг и приятель!)

Потом, конечно, запомнил встречу с дедом. Он просто упал, просто рухнул на колени, когда увидел деда в белом сосновом гробу — маленького, ссохшегося, какого-то ветошного против прежнего.

Да, деда он запомнил, на всю жизнь запомнил, а дальше, как говорится, пшенная каша в голове: красное, распухшее лицо Лизки, плач, рев, гнусавый старушечий «святый боже, святый крепкий», постоянные подталкивания Мишки сбоку: «Стой прямо!..»

Нет, еще ему припоминается, как, возвратясь с кладбища, сели за поминальный стол. Анфиса Петровна — век бы не подумал — такую речу толкнула, до пяток прошибло: «Труженик... пример... никогда не забудем...» А потом до вина дело дошло — что такое? Из наперстков за такого труженика? Подать стаканы! Ну, и он, Егорша, конечно, жарнул первый: не кого-нибудь — деда родного похоронил...

Вот после этого стакана у него в голове и загуляли шестеренки в разные стороны...

Егорша поднялся с постели, прошел за занавеску, зачерпнул ковшом воды из запотелого ведра.

Водица была что надо — холодная, утрешнего приноса, и у него немного поосело внутри. Потом он опохмелился: какая-то добрая душа на самое видное место — на столик в задосках — выставила неполного малыша. Лизка?

Егорша глянул на ходики уже без всякого усилия: хорошо теперь работали шейные подшипники. Одиннадцатый час. Самое бы время ей возвращаться со своего коровьего предприятия...

Блаженно, до хруста в плечах потягиваясь, он вышел на крыльцо, спустился на землю и рассмеялся: колется землица — вот что значит долго не ходить по ней босиком. А вообще-то у них, у Ставровых, не земля, а шелк — по всему заулку зеленый лужок. Это еще от бабки. Бабка Федосья любила травку-муравку под окошками...

Ничего не изменилось в заулке за его отсутствие, если не считать, конечно, дедовской деревянной кровати с матрасом, выставленной на солнце у изгороди. Та же мачта белая посреди заулка, которую он поставил перед уходом в армию, те же ушаты под потоками, то же тяжелое, высеченное из толстенного выворотня било, на котором гнут полозья, и даже роса в тени у изгороди возле нижней жерди та же...

Нет, новое в заулке было — охлупень. Огромное, стесанное с обоих боков бревно, уложенное на березовых слегах вдоль стены двора.

Сам охлупень уже потемнел, и, судя по всему, к нему дед не притрагивался с весны, а вот над конем трудился недавно: и затесы свежие и щепа на земле белая...

Егорша все-таки дал течь. Не у охлупня, нет,— насчет этого охлупня он ясно писал деду: не надрывайся, ни к чему. И уж, конечно, не оттого, что увидел дедовскую кровать с матрасом: такой обычай — всегда все сушат да проветривают после покойника.

Разревелся он, как баба, когда напоследок заглянул в сарай да увидел, как шевелятся, шелестят белые стружки от гроба. А ему вдруг почудилось, что это дед с ним разговаривает. Ну и брызнул. Обоими шлюзами брызнул. И только потом, когда вспомнил, что он солдат, сумел ликвидировать эту позорную аварию.

2

Солнце разгулялось вовсю. Даже в том городе, где стоит их энская часть, не всегда так припекает в данную пору. А ведь этот город с энской частью, в которой он три года служил верой и правдой родине, где, в каких краях? В тех самых, про которые поется в песне: «Зацветали яблони и груши...»

В общем, здорово! Хорошо подставить свою ряху пекашинскому солнышку. Просвечивает насквозь. Как рентгеном.

Его можно просвечивать. Бриджи под коленками в обтяжечку, из офицерского шевиота, сапожки хромовые — смотрись заместо зеркала, подворотничок свеженький — белая каемочка, ну и соответственно ремешок со звездой. Блеск, одним словом. Офицер не каждый так ходит...

Ну, а вы чем, братья славяне, похвастаетесь? Какие у вас за три года достижения?

У Василисы, постной Пятницы, двор разломан наполовину, у Баевых на усадьбе тоже строительство — второй угол у боковой избы-зимницы кромсают на дрова. А что с теремом Кузьмы Павловича? В каких боях-сражениях инвалидность получил — с двух сторон костылями подперся?

Да, вздохнул Егорша, хорошо тут заканчивают первую послевоенную пятилетку. Намного превзошли довоенный уровень...

Нет, он не Мишка, не сох по этим пекашинским развалюхам. В первый же час, в первую же минуту, как только переступил порог казармы, из головы вон выбросил. А как же иначе? За этим в армию призывают? В ихней роте и без него хватало мокрых тюфяков, у которых глаза выворачивались от тоски по дому. Жуть что делалось поперворсти! Какая-нибудь дубина — бревно под потолок, а сидит в уголку, как мышка, да точит слезу. По мамочке, видите ли, скучает. А одного у них лба даже к профессору водили, гипнозом лечили...

Первый день в армии, первые разговоры-повороты по-военному... Разве забудешь когда-нибудь, как их первый раз в военном обмундировании выстроили?

Ух, видик! Командир роты старший лейтенант Терещенко идет вдоль строя — качается, зубами скрипит: не солдаты, а чучела огородные. У того гимнастерка до колен, у того портки как бабья юбка, у третьего ремень обвис, как шлея на худой кобыле... И вдруг просиял — его увидел.

— Как фамилия?

Егорша отрапортовал по всем правилам — еще в войну с деревянной винтовкой начал проходить боевую подготовку. Вытянулся, щелкнул каблуками:

— Рядовой второго отделения третьего взвода первой роты Суханов-Ставров.

— Во как! Суханов да еще и Ставров? Сразу две фамилии. Как у барона.

— Так точно, товарищ старший лейтенант.

— Образование?

— Семь классов.— Егорша всегда немножко округлял для краткости.

— Почерк хороший?

— Хороший, товарищ старший лейтенант.

— Выйди из строя. Будешь писарем роты.

Вот так! Сразу, с первого утра, на командную должность — все только ахнули. А из-за чего? Почему? Грамотой всех шибче? Ничего подобного! После подсчитали: двадцать гавриков у них со средним образованием да еще три лба с высшим. А взяли его, с незаконченной семилеткой. Потому что у этой незаконченной семилетки чердак шурупит, обстановку учитывает.

Покамест его товарищи глаза друг на дружку лупили, да пол в казарме мерили, да письма домой строчили (это в первый-то день в армии!), он что сделал, когда три часа свободных дали?

Прежде всего разведал у вольнонаемного персонала, где тут поблизости можно бабу разыскать, которая иглой ковыряет. Потому что чего ждать, когда очередь до тебя дойдет в батальонной обшиваловке?

Разыскал. К бабе вошел, как и все, куль кулем, а от бабы вышел — шаровары на нужном месте, гимнастерочка вподруб, подворотничок беленький... Солдат, одним словом.

Вот старший лейтенант Терещенко и заприметил его сразу. Понял, что этот парень не лаптем щи хлебает.

Но, понятно, воинская служба не коврижки-коржики с медом. Были, понятно, и у него эпизоды — шагом арш!

Раз к ним в ротную канцелярию — он, Егорша, только-только начал в курс входить — вкатывается командир батальона. Злой как черт — язва в брюхе и женка, говорят, на сторону копытом бьет. Вкатывается — то не так, это не так, а потом увидел его:

— Кем на гражданке работал?

— Шофером, товарищ капитан.

— Шофером? Старший лейтенант Терещенко, разве вы не знаете приказ — всех шоферов направлять в АХЧ? (Административно-хозяйственная часть.)

Направили. И вот тут он хлебнул солдатского лиха по самые ноздри. Четыре месяца возил уголь на старом

грузовике. Утром вскакиваешь по подъему в пять тридцать, лезешь в грязные шаровары, гимнастерка тоже колом от грязи, на кухне чего-то плеснули — шрапнели (каши, значит) в железную миску кинули: за руль, ребята!

Жуть! Войну добром вспомнишь. За день этим угольком как прокочегаришься — черти в аду и те тебя чище. Самая последняя лахудра рожу от тебя воротит. Но больше всего Егорша страдал из-за алюминиевой ложки. Другие — как так и надо. Скидал в рот что тебе сунули — и за голенище сапога до следующей заправки. А он никак не мог привыкнуть к этому.

Кто знает, сколько бы он в этой АХЧ мытарил. Может, все три года, до скончания службы, да, на его счастье, заболел шофер у командира дивизии. Ну, тут уж он крутанул своими шариками как следует, чтобы временную прописку в генеральском «ЗИСе» сделать постоянной...

...Пусто в Пекашине. За все время, что Егорша шел от своего дома до правления, ни одного пекашинца не встретил — ни малого, ни старого: все, видать, на поле. В правлении его тоже не большое веселье ждало — замок в пробое.

Он пошел в магазин сельпо — как раз в это время продавщица начала греметь дверями, должно быть, с обеда возвратилась.

Продавщица по нынешним временам важная птица в деревне. Она да председатель колхоза, можно сказать, жизнь в своих руках держат, и Егорша чертом влетел в магазин: самое это главное в мужском деле — с ходу взять бабу, ошарашить.

Но кого он вздумал ошарашивать? На кого порох тратил? На Ульку Яковлеву — она, оказывается, была продавщицей. А Улька Яковлева еще до войны трясла головой, как старая кобыла,— так разве ей на солнце глядеть?

А потом, было бы ради чего выворачиваться. На хлебных полках шаром покати, сахаром-конфетами тоже не пахнет, а в мясной отдел и заглядывать нечего. Там как до войны: наглядное пособие — схема, как разделывать коровью тушу. Все расчерчено-разлиновано. От зада до переда. По-научному. Только мяса нет.

От магазина Егорша двинул на задворки — на колхозные объекты. Может, там больше повезет?

Ни черта не больше. Старый коровник заперт (где только Лизка? неужели задворками домой уперлась?), а на новом скотном дворе тоже, похоже, безлюдье.

Лизка ему в каждом письме про эту пекашинскую новостройку докладывала, так что он знал, как говорится, всю автобиографию коровника, но все-таки не поленился: обошел коровник кругом и даже внутрь заглянул. Надо! А вдруг где-нибудь на командных высотах зайдет разговор — глазами прикажете хлопать?

Работенка неплохая, углы сшиты — хоть воду лей (сразу узнаешь почерк Петра Житова), но когда же он думает сдать в эксплуатацию свой объект? Окна окосячены наполовину, дверей нет, потолок не набран... А потом, ведь нужны стойла, перегородки, всякая другая хреновина...

Егорша поднял с земли толстый обрубок от гладко выстроганной потолочины, размашисто написал плотничьим карандашом — тут, среди инструмента, нашел: «Солдатский привет ударникам великой стройки коммунизма!!!»

Обрубок поставил на чурку (прямо наглядная агитация получилась), потом подумал-подумал и на обрубок насыпал горку «беломорин» — весь портсигар вытряхнул, только одну для себя оставил.

3

К тещиному дому Егорша подошел с тыла, то есть с задворок.

Сперва надулся: что это такое — жена не показывается все утро? Домой он приехал или куда? А потом за воротца скрипучие перешагнул, да шарахнуло по ноздрям свежим коровьим навозом из открытого настежь двора, да зажужжали, завыли вокруг мухи — и начало, и начало травить.

Все вспомнилось. Война вспомнилась, ихняя дружба с Мишкой вспомнилась, первый выезд в лес в сорок втором году вот в это же самое время... И даже Звездоня, покойница, вспомнилась. Мишка уже тогда разорялся насчет кормежки для нее. В первый же день, как только они приехали на Ручьи, потащил его на болото траву смотреть...

Старенькое, кособокое, основательно изрубленное ребятишками крыльцо проскрипело шатучими ступеньками: здравствуй!

— Здравствуй,— улыбнулся Егорша.

А вообще-то не мешало бы перебрать крыльцо, или у Мишки всегда, до самой смерти так будет: в колхозе мнем до беспамятья, а дома дядя сделай?

В сенцах у Пряслиных не лучше — всю жизнь в слепака играют. Руки отпадут два-три раза топором хлопнуть да какой-нибудь осколок стекла в дыру воткнуть?

Наконец Егорша, шаря рукой по двери, еще с незапамятных времен обитой для тепла рваной-перерваной мешковиной, нащупал железную скобу, постучал.

Стук вышел дай боже: дятлом рассыпался сухой, как кость, сосновый косяк, но разве тут понимают по-культурному?

Закипая злостью, Егорша изо всей силы рванул на себя дверь, перешагнул за порог да так и застыл: сын... Его сын...

Сколько он тут, на пекашинской земле? Сутки без мала. Туда, сюда сходил, то, это посмотрел, а про своего гвардейца и не вспомнил. А он — вот он как штык стоит посередке избы. Вернее, не штык, а ухват сухановский — у них в отцовском роду у всех смалу ноги кренделем, и у него самого, сказывала мать, такие же были.

Егорша присел на корточки, протянул руки:

— Ну, шлепай ко мне. Не узнаешь?

Вася нахмурился — с характером мужик! — а потом вдруг улыбнулся и тяп-тяп к нему, к отцу...

И тут бог знает что сделалось с ним. В горле пересохло, в коленках дрожь, а когда он сграбастал обеими руками сына да прижал к груди, то тут и вообще ерунда началась...

К счастью, в избу в это время вошла теща.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Старый коровник, поставленный еще в первые дни колхозной жизни, разваливался на глазах. Стены у него изнутри выгнили, проросли белыми погаными грибами, в скособоченных окошках торчали соломенные и травя-

ные затычки, а крыша местами так провалилась, что того и гляди кого-нибудь задавит.

Страх всем внушал и племенной бык Борька. Борька нынешней весной размял в поскотине молодую коровенку, и с тех пор его на волю не выпускали. И вот днем, когда рядом с ним не было ни коров, ни доярок, бык просто из себя выходил: ревел, гремел цепями, каждую минуту мог вылететь на улицу.

Сегодня, к великому удивлению Александры Баевой, Борька молчал.

Кто-то из наших там, подумала Александра. Но кто же?

Две дурехи есть у них на скотном дворе, которые готовы и день и ночь убиваться из-за колхозных буренок,— она, Александра, да Лизка. Но Лизку она сама давеча, уезжая за травой на луг, отправила домой: та, видите ли, после дойки вздумала чистоту в стойлах наводить, это на другой-то день после возвращения мужа из армии.

— Иди, иди, глупая! — сказала она ей.— Да ни о чем не думай: ни о коровах, ни о подкормке. Все сделаю.

Наскоро привязав лошадь, Александра вбежала в коровник, заглянула в избу, прошлась между стойлами — никого.

И все-таки не зря у нее сердце сжималось: был человек в коровнике. И человек этот — Лизка. В самый темный угол забралась — в отсек с травой, так что если бы не белый платок, то она бы и не заметила ее.

— Лиза, Лиза, что с тобой? — закричала Александра, обмирая от страха.

Лизка, славу богу, была жива. Она лежала, уткнувшись лицом в пахучую траву, и навзрыд рыдала.

— Господи, да что ты тут делаешь? Разве слезы тебе точить сегодня? Муж приехал — скакать надо от радости... Вставай, вставай!

Александра подняла давящуюся от слез подругу, крепко прижала к себе, села рядом.

— Ну, чего стряслось? Чего не поделили?

— Ни-че-го...

— Как ничего!.. Из-за ничего-то не убегают от молодого мужа в такой день.

— Да не я убегала... Он от меня...

— Что, что? — неподдельно удивилась Александра.— Егорша от тебя убежал? Ну уж нет, не поверю. В жизнь не поверю!

— Чего не верить-то? Не я ему писала: меня домой не жди, на сверхсрочной останусь...

— Домой не жди? Да когда он это писал?

Александра еще долго так пытала зареванную Лизу, и та наконец толком рассказала о своей беде.

— Ничего, ничего,— начала успокаивать ее Александра,— не страшно. А я уж думала, бог знает что у вас вышло...

— Да разве не вышло? Я ждала, ждала его — не то что дни, часы высчитывала, а он и не думал обо мне...— И Лиза снова зарыдала.

Александра молча подняла ее на ноги, отвела в избу, умыла под рукомойником, причесала.

— А теперь иди.

— Куда? — Страх, растерянность и робкая надежда мелькнули в мокрых зеленых глазах Лизы.

— Домой иди. К счастью своему иди. Глупая, разве нашему брату капризить теперь, когда кругом одни юбки? Да и было бы из-за чего хвост поднимать. Из-за какого-то письма, из-за того, что Егорша чего-то не так написал... Ох, девка, девка... Меня, бывало, муженек покойничек редкий божий день не бивал. Как разминку себе делал. Все не так, все не эдак... Даже в том я виновата, что у меня здоровья воз. А сказали бы мне сейчас — у тебя Матвей жив, да господи, до Москвы бы до самой на коленцах сползала...— Тут Александра сама коротко всплакнула, потом притянула к себе Лизу, обняла.— Иди, иди! Бери свое счастье. Нынче вперед заглядывать не приходится — днем живем...

2

Лиза выскочила из старого темного коровника и подивилась сияющей красоте дня. Солнышко, небо синее — без единого пятнышка. И ее будто на крыльях подняло — такая вдруг ликующая радость хлынула ей в душу.

Домой, домой!

Самой короткой дорогой — мимо кузницы, мимо старой закоптелой пивоварни, у которой еще года четыре назад Егорша своим трактором своротил угол, к колхозному складу напротив ихнего дома...

Сердце у нее билось у самого горла, щеки пылали полымем: что ее сейчас ждет? как встретит Егорша?

Вечор, по правде сказать, она его и не разглядела как следует. Да и не хотелось, если честно говорить, и разглядывать. Она в эти дни распухла, угорела от слез и рева, Михаил ходил как в воду опущенный, а он, внук родной, единственный, пьяный приехал, лыка не вяжет. Да не один, а с Олёгой Тарасовым.

Олёга из Заозерья, сосед, может, родственник еще дальний, Олёга — власть, в райкоме сидит, но кому неведомо, что он пьяница зарезной?

Ну и скандал. Старушонки перед выносом гроба затеплили ладан, запели «святый боже, святый крепкий...», а он на всю избу: «Цыц, старые вороны! Нету бога. С богом у нас еще в семнадцатом году покончено».

Что было бы дальше, даже и подумать страшно. Может, он, дьявол бессовестный, и похороны все разогнал бы, да спасибо мужикам — не сробели: вытащили вон. А там в машину, дверцы на запор — уматывай, покуда кости целы...

Надо остановиться, надо прибрать волосы — куда же растрепой на деревню, на люди?

А ноги бегут, ноги не хотят останавливаться... Потому что глупые. Потому что головы не слушаются...

Все-таки у воротец перед заулком она остановилась — забрала власть над ногами. И даже сердце немного утихомирила.

По заулку, мимо окошек, пошла шагом, лицо нахмурила — не дам потешаться над собой, но разве рассчитаешь все заранее? Из-за угла неожиданно брызнул Васин смех, и вот уж она про все свои запреты, которые только что сама на себя наложила, позабыла — козой взвилась.

Самую желанную, самую радостную картину увидела она: сын и отец. И оба за работой. Вася, довольнехонький, слюнки радужным пузырем на губах, крутит руками маленькую меленку, или самолет, как теперь называют, а рядом отец — еще одну меленку мастерит, побольше.

Лиза, конечно, сразу заметила непорядок: на лучшее красное одеяло расселись, прямо на голой земле разостлали, но ей и в голову сейчас не пришло попрекать за это своих растяп — таким счастьем, такой радостью вдруг дохнуло на нее с этого красного одеяла.

— А-а, гулена наша пришла! Ну что, сынок, постегаем немножко ремешком маму — для вразумления?

Лиза все про себя отметила — и «маму», и «сынка»,

и то, как смотрел на нее Егорша,— но все-таки огрызнулась хоть для видимости:

— Хорошему сынка учишь — маму ремнем стегать. Мама-то не на плясах была — на работе.

— Разговорчики! А ну марш к шестку — мужики проголодались!

Лиза побежала в избу. В шутку, конечно, подавал команды Егорша, но правда-то на его стороне. Куда это годится — человека до такой поры голодом морить! Да, правду сказать, она и сама теперь хотела есть.

3

Самовар шумит, стол накрыт, перина, на которой валялся Егорша, вынесена в сени... Еще чего?

Она то и дело воровато из глубины избы посматривала на заулок. Сидят. Все сидят. И о чем-то, кажется, разговаривают — Егорша даже палец большой поднял. Наверно, что-то внушает сыну, как положено отцу.

Вася ее удивлял немало. Нелюдимый ребенок. Кроме матери да Татьянки, никого не хочет признавать. Даже к дяде Мише, даром что тот его хлебом магазинным да сладостями постоянно подкармливает, и к тому с ревом иной раз идет. А вот с отцом дружба с первого взгляда. Кровь родная сказывается? Или уж такой у них отец — кого угодно околдует с первого взгляда, стоит ему только свой синий глаз с подмигом навести?

Солнце рылось в Егоршином золоте на голове. Золота в армии заметно поубавилось — не налезают больше волосы на глаза, плечи раздались, а в остальном, ей казалось, Егорша и не изменился: та же тонкая, чисто выстриженная на затылке мальчишеская шея, тот же чуть заметный наклон головы на бок и та же привычка ходить дома босиком, в нижней нательной рубахе...

Смятение охватило Лизу.

Она подняла глаза к божнице в красном углу, вслух сказала:

— Татя, что же мне делать-то? Надо бы спросить его сразу, как он жить думает, а я и спросить чего-то боюсь...

Дробью застучала дресва по стеклам в раме — Егорша бросил: поторапливайся, дескать.

— Сичас, сичас! — И Лиза кинулась в чулан переодеваться: не дело это в том же самом платьишке, в котором коров обряжает, дома ходить.

Платьями она, слава богу, не обижена. Степан Андреянович на другой же день после свадьбы повел ее в амбар и всю женскую одежду, какая осталась от Макаровны и Егоршиной матери,— сарафаны, кофты, шубы, платки, шали — передал ей: перешивай, дескать, и носи на здоровье.

И Лиза не стеснялась: и себе шила, да и Татьяну с матерью не забывала — где им взять, когда в лавке для колхозника ничего нет?

Солнце из чулана уже ушло, но пестрая копна платьев, развешанных в заднем углу, напротив печки-голландки, все еще хранила тепло, и от нее волнующе пахло летними травами.

Она выбрала кашемировое платье бордового цвета — и не яркое (как забыть, что только что схоронили деда!), и в то же время не старушечье.

— А-а, вот ты где!..

Лиза быстро обернулась: Егорша...

— Уйди, уйди! Бога ради, уйди... Я сичас...

Она испуганно прижала к голым грудям кашемировое платье, попятилась в угол.

Егорша захохотал. Его синие припухшие глаза вытянулись в колючие хищные щелки.

— Не подходи, не подходи...— Лиза лихорадочно обеими руками грабастала на себя платья, юбки.

Егорша улыбался. А потом подошел к ней и с шумом, с треском начал срывать с нее платья. Одно за другим. Как листки с настенного календаря.

И она ничего не могла поделать. Стояла, тискала на груди кашемировое платье и не дыша, словно завороженная, смотрела в слегка побледневшее, налитое веселой злостью Егоршино лицо.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

У Ставровых началась великая строительная лихорадка: с утра до позднего вечера Егорша гремел топором.

Работал он легко, весело, как бы играючи, так что не только ребятишки, бабы постоянно вертелись возле ставровского дома.

Первым делом Егорша занялся крыльцом у передка. Старые, подгнившие ступеньки заменил новыми, вбил железную подкову — на счастье, а потом — разошелся — раз-раз стамеской по боковинам, и вот уж крыльцо в кружевах.

Точно так же он омолодил баню, жердяную изгородь, воротца в заулке.

Но, конечно, больше всего охов да ахов у пекашинцев вызвал охлупень с конем, который Егорша поднял на дом.

Лиза, когда вернулась с коровника да увидела — в синем вечернем небе белый конь скачет,— просто расплакалась:

— Дед-то, дед-то наш был бы доволен! Все Михаила перед смертью просил: «Ты уж, Миша, коня моего подыми на дом, всю жизнь хотел дом с конем»... А тут и не Миша, внук родной поднял...

— Но, но! — басовито, по-хозяйски оборвал жену Егорша.— Разговорчики!

Ему нравилось быть семейным человеком. Он с радостью, с удовольствием возился с сыном, его не на шутку увлекла новая, почти не знакомая до этого роль мужа.

Сколько через его руки всякого бабья прошло! И ничего себе штучки были — не заскучаешь. А все же такого, как с Лизкой, у него еще ни с кем не было — это надо правду сказать. Утром проснешься, уставилась на тебя своими зелеными, улыбается: «Я не знаю, с ума, наверно, сошла... Все глежу и глежу на тебя и наглядеться не могу...» А с коровника своего возвращается — ух ты! Вся раскраснелась, застыдилась — как, скажи, на первое свиданье с тобой пришла...

Заскучал Егорша на седьмой день.

В этот день у него с утра заболел зуб, ну и как лечить зубы в деревне? Вином. А потом — вино не помогло — взял аршинный ключ от амбара, пошел в амбар — там у бабки, бывало, целое лукошко стояло со всякими зельями и травами.

И вот только он открыл, гремя ключом, дверь — увидел свою тальянку на сусеке. Вся в пыли, в муке, как, скажи, сирота неприкаянная.

Он взял ее, как своего ребенка, на руки, смахнул пыль рукавом рубахи, а потом уселся на порожек — ну-ко, голубушка, вспомним былые денечки! В общем, хотел заглушить боль в зубе — рванул на всю катушку, просто вывернул розовые мехи, а получился скандал. Получилось черт знает что!

— Ты с ума, что ли, сошел? Что люди-то о нас подумают? Скажут, вот как они веселятся — рады, что старика схоронили...

Егорша на самой высокой ноте осадил гармонь, резко сдвинул мехи. А потом глянул на приближавшуюся к нему по тропке Лизку, и у него впервые при виде возвращающейся со скотного двора жены зевотой свело рот.

2

Зубы заговорила Марина Стрелеха. Зачерпнула ковшом воды из ушата, пошептала что-то над ним, дала отпить, и полегчало, вроде. Во всяком случае, Егорша вышел от нее, уже не держась за щеку.

Была середина дня, за рекой, на молодых озимях шумно горланили журавли — не иначе как проводили общее собрание по случаю скорого отлета в теплые края...

Куда пойти?

Домой ему не хотелось. От дома пора взять выходной — это он хорошо понял сегодня. К теще податься? Так и так, мол, угощайте зятя. Что это за безобразие — вот уж неделя, как он дома, а у тещи еще и за столом как следует не сиживал.

Егорша пошагал в колхозную контору: вспомнил — председатель на днях с Лизкой наказывал зайти.

Лукашин был в правлении один — сидел за своим председательским столом и играл на костяшках.

— Все дебеты и кредиты сводим? — нашел нужные слова Егорша.

— Да, приходится.

— Ну и как?

— Подходяще! — Лукашин сказал это бодрым голосом, но распространяться не стал, полез за папиросами. Очень удобная штука эти папиросы для начальства: всегда есть предлог оборвать нежелательный разговор.

Егорша, слегка развалясь на старом деревянном диванчике, памятном ему еще с войны, с любопытством присматривался к этому человеку. Он всегда вызывал у него интерес. Ведь это же надо — добровольно, по своей охоте к ним на Пинегу пришлепать. В бабьи сказки насчет любви и всего такого Егорша никогда не верил. Анфиса, конечно, баба видная, но уж не такая она ягодка, чтобы ради нее на край света ехать. Из-за карьеры?

Признаться, попервости он, Егорша, так и думал: в такой глухомани, как ихняя, умный человек быстрее выдвинется. Но сколько лет прошло с тех пор, как у них Лукашин? Четыре-пять? А воз, как говорится, и поныне там. Как потел в колхозных санках, так и теперь потеет.

— Так, так, Суханов,— сказал Лукашин, закуривая,— отломал, говоришь, три годика, выполнил свой патриотический долг...

— Примерно. На месяц раньше демобилизовали. По причине семейных обстоятельств.

— Да, старик мог бы еще пожить. Рано отчалил к тем берегам. Зимой нас крепко выручал — всю упряжь чинил...

Егорша со скорбным видом принял соболезнования, даже папироску вдавил в пепельницу (все та же щербатая тарелка, как три года назад), вздохнул.

— Ну, а какие планы? Как жизнь устраивать думаешь?

— Покамест недоработки стариковы по дому ликвидировал, а вообще-то надо подумать.

— А по-моему, и думать нечего,— сказал Лукашин и начал загибать пальцы:— Жена у тебя в колхозе — раз, дом — вон какой, с конем! Прямая дорога к нам. Видел, какой мы дворец для наших буренок отгрохали?

— Видел.

— Ну тогда чего же тебя агитировать! Подключайся к Житову. Веселый народ — не заскучаешь.

— Так,— сказал Егорша.— Насчет веселья вопросов не имею. А как насчет энтого самого? — Он на пальцах показал, что имеет в виду.

— Насчет энтого самого...— Тут Лукашин прямо-таки дымовую завесу поставил между собой и им. Не иначе как для того, чтобы собраться с мыслями.

В конце концов, кашляя и чихая, признался, что трудодень у них нежирен. С голоду, дескать, не помираем, но и закрома от излишков не рвет.

— Понятно,— усмехнулся Егорша.— В общем, раскладка не та.

Лукашин вопросительно посмотрел на него.

— Это в части у нас повар был, Иван Иванович. Толстый такой, жирный боров — как баба беременная. Но мастер — во! Генералу с начальством готовил. И вот этот Иван Иванович, как только, бывало, выедем за город на пикник,— Егорша старательно выговорил последнее слово и посмотрел на Лукашина: знает ли? — начнет вздыхать да охать: ах, в деревню хочу, ах, на природу-кустики желаю... Ладно. Демобилизовался. Уехал в деревню. А ровно через полгода возвращается обратно. Худющий, как, скажи, чахоткой заболел. Без паспорта и не узнать. Ну, все-таки до генерала допустили — такие повара на улице не валяются. «Так и так, товарищ генерал-майор, желал бы снова вернуться во вверенную вам

часть».— «А как же с деревней, с природой, Иван Иванович? — спрашивает генерал.— Не понравилось?» — «Понравилось, товарищ генерал. И даже очень понравилось. Только раскладка не та...»

— Ну, и взял генерал этого повара обратно? — спросил Лукашин и как-то невесело, скорее для приличия, улыбнулся.

— А то как! Такого повара да не взять.

— Зря,— сказал Лукашин.— А кто же будет деревню поднимать?

Вопрос уже был обращен к нему, Егорше, и он подумал, что, пожалуй, перегнул немного насчет этой раскладки. Но с другой стороны — что это такое? Ничего не спросил: где, как, кем служил,— полезай на угол. Маши топором. Даже грузовик колхозный не предложил. И вообще, разозлился вдруг Егорша, чего он свой руль задирает? Дворец этот самый, которым он тут хвастался, когда готов будет? Когда буренки от холода околеют? Так? А другие колхозные показатели? Что-то он, Егорша, не помнит, чтобы Лизка и Мишка взахлеб писали ему по поводу этих самых показателей. Да он и сам не слепой. Не с одного КП просмотрел Пекашино за эту неделю...

Однако Егорша и виду не подал, какой закрут у него внутри. На кой хрен ему ссориться с головкой своей деревни!

И кончил миролюбиво, по-свойски, с улыбкой:

— Погоди маленько с работой, товарищ Лукашин. Дай человеку прийти в себя. У меня ведь как-никак дед родной неделю назад помер. А кроме того, отпуск. Согласно закона о демобилизации...

Лукашин вздохнул, но ничего не сказал.

3

Сперва полверсты отшагал вдоль болота, потом пересек болото, а точнее, проплясал его по вертлявым замшелым жердинам и бревнышкам, потом продирался мокрым кустарником — плакали хромовые сапожки и гимнастерка шерстью обросла, пришлось даже с себя снимать, чтобы отчистить, потом еще сколько-то поблуждал-покрутился на пустошах и только тогда увидел главного колхозника.

Нет, товарищ Лукашин, сказал мысленно Егорша, подождем немного. Суханов-Ставров не прочь помочь

своим землякам — когда бежал от трудностей? Но и ишачить за вас — нет, извините, дураков нема. За три года, что он служил в армии, куда страна в целом шагнула? А в Пекашине что? У вас какой оборот по части прогресса?

Три года назад этой самой пустоши, на которой он сейчас стоит, на пекашинской карте не было — он точно это помнит, потому что как раз перед самым отъездом в армию они с дедом в этом квадрате рубили дрова и дед еще, когда проходили мимо поля, очень разорялся насчет ржи. Дескать, плохая рожь ноне на поле, землю навозом не удобряют, а вот у него тут в старые времена рожь была такая, что хоть топором руби...

Мишка напоминал Егорше глухаря на току. Глухарь, когда весной свою любовную песню заведет, ни черта не слышит и не видит; охотник под самую сосну подходит, чуть ли не колом сшибает. Вот так и Мишка. Егорша вышел на обочину поля, как верстовой столб встал. А Мишка рядом, в двух шагах, проехал — и не заметил. Сидит себе, качается в своей железной люльке и, похоже, совсем очумел от треска и хлопанья граблей — с открытыми глазами слепой.

Да, усмехнулся Егорша, хорошо, что он все это увидел в голой натуре. А то ведь он размяк, разнежился на домашних пуховиках — о чем стал подумывать в последние дни? А о том, чтобы пополнить собой колхозные кадры, тут, в Пекашине, на постоянный причал встать...

Егоршу обнаружил Тузик.

Тузик плелся сзади жатки, без всякой радости, просто так, по собачьей обязанности путался в ржаных валках. А тут увидел незнакомого человека — загремел на все поле, а потом, дьявол его задери, еще того чище — на него бросился.

Вот тогда-то Мишка и соизволил поднять свои карие.

Сели на солнышке, на скос старой, давно высохшей канавы, густо заросшей брусничником.

Таких канав великое множество в пекашинских навинах — точь-в-точь как старые, отслужившие свое окопы, в которых веками, из поколения в поколение, велись сражения с лесом да с болотом. Иной мужик вроде его деда треть жизни своей выстоял в этих самых канавах-окопах. Вот каким трудом добыта каждая пядь пахотной земли на Севере! А теперь что?

Мишка все же уважил гостя: сам сел на ягодник, а ему, Егорше, бросил ватник.

— Что-то не вижу у тебя бабсилы,— сказал Егорша, окидывая своим цепким глазом ржаное, наполовину выжатое поле.

Мишка, конечно, не понял с первого слова, что такое бабсила,— пришлось растолковывать, на какой тяге едет ихний колхоз.

— В лес женки укатили,— буркнул Михаил.— Вишь, какое тепло стоит. Хотят последние грибы взять...

— Ясно,— подвел политическую подкладку Егорша,— частный сектор наступает на пятки общественному.

Мишка — всегдашняя опора и любимец пекашинских баб — завелся сразу:

— Частный сектор, частный сектор!.. А этот частный сектор должен чего-нибудь жрать, нет? В прошлом году по триста грамм на трудодень отвалили, а в этом году сколько?

Егорша скорехонько вытащил из брюк белоголовку, две луковицы с зелеными перьями, потому что Мишкины разговоры по этой части он знает с сорок второго года, и ежели его вовремя не остановить, будет кипеть и яриться часами.

— Стакана у Ульки-продавщицы не привелось, а домой я не заходил,— сказал Егорша,— так что придется вспомнить счастливое детство...

Однако тут не сплошал уже Мишка: быстро выхватил из ножен свой клинок, срезал с молодой березы ленту тонкой бересты с золотистой изнанкой, загнул два угольника — чем не посудина?

— Ну, рассказывай, как у тебя на петушином фронте,— сказал Егорша, когда выпили.

— На петушином? — удивился Мишка (совсем мозга не работает!).— Это еще что?

— А это такой фронт, на который все с полным удовольствием... Без погоняла... Солдатик один у нас в отпуск ездил. Домой к себе, в колхоз. Ну, съездил как положено. Без чепе. В срок явился, доложил. А через девять месяцев семь заявлений: просим с такого-то Сидорова-Петрова взыскать алименты. Ну, насчет алиментов — сам знаешь: какие у солдата капиталы? Главное — политико-воспитательная работа минус. Майор, замкомандира по политчасти, вызывает Сидорова-Петрова: что ты наделал, такой-разэдакий? «Виноват, товарищ майор, а толь-

ко никак иначе нельзя было».— «Почему?» — «А потому что когда кур полный курятник, а петух один — что петуху делать?»

— Да,— рассмеялся Михаил,— а ведь действительно петушиный фронт.

— Вот я и спрашиваю, как у тебя дела на петушином фронте. Перешагнул за поцелуйные отношения с Раечкой?

— Раечка — девка.

— Все когда-то были девками.

Мишка махнул рукой — всегда на этом месте буксует. Подумаешь, секреты государственные у него выспрашивают! Пробурчал:

— У нас чего — известно. Ты лучше про городских. Как они?

— Да все так же. Существенных расхождениев не наблюдается. Ни в рельефе местности, ни в натуре. Первым делом хомут на тебя стараются надеть.— Егорша помолчал немного и блаженно улыбнулся.— У меня хохлушечка одна была, пухленькая такая курвочка, черные очи... Ну умаялся. Я так, я эдак — из себя выхожу. Все мимо, все за молоком. А ей, видишь, по-хорошему хочется. Чтобы на семейную колею, значит... Ладно, хрен с тобой — получай обещание — поженимся. Ну и понятно, первый угар прошел — она счет: женись. Э-э, нет, говорю, коханочка (это у них навроде нашей дролечки), ежели ты, говорю, хотела, чтобы я женился на тебе, надо было подол покрепче в зубах держать. «А как же, говорит, честное слово ты давал?» Ну, говорю, ты еще с быка, когда он корову увидел, честное слово возьми. Солдат, говорю, одной присяге верен, понятно тебе, а всякие там слова и обещания для него не в счет...

Михаил сказал:

— А говорят, теперь служить против прежнего тяжельше, никуда из казармы не выпускают.

— Ну правильно! — живо согласился Егорша.— Только много ли я в этой самой казарме кантовался? А потом — у генерала стал шоферить — знаешь, какой у меня горизонт был? Сегодня мотаешь в один полк, завтра в другой, послезавтра в округ, в субботу — «подать машину в девятнадцать ноль-ноль. На рыбалку едем. С пикником».— Последнее слово Егорша выговорил с особым старанием, но, как он и предполагал, Мишке это слово ничего не говорило.

— Пикник,— начал разъяснять Егорша,— это та же рыбалка на свежем лоне, только с бабами и с большой выпивкой. Понимаешь, у начальства в летний период заведено так: в выходной день за город. А то и в субботу иной раз шпарят, прямо на ночь... Н-да, была у меня одна история на этом самом пикнике...

— Какая?

— Да такая, что только здесь и рассказывать, за две тысячи от места происшествия.

Егорша выждал, пока Мишка закручивал себя в нужном направлении (это перво-наперво — передох, ежели хочешь по черепу ударить), и спокойно, даже как бы с ленцой объявил:

— С генеральшей маленько в жмурки поиграл.

— С женой генерала? Ври-ко!

— А чего врать-то? Правды не пересказать. Ты думаешь, раз генерал — по всем делам генерал? Естество и природность как у всех протчих. После пятидесяти в долгосрочный отпуск. Весной дело было. Крепко подвыпили — первый пикник на лоне был. Меня это подзывает к себе генерал. Стакан коньяку — по-ол-нее-хонький. И вот такую балясину мяса жареного на железном шомполе — шашлыком называется, только что повар Иван Иванович с огня снял. «Выпей, Суханов, и чтобы через пять часов как стеклышко. Понял?..» — «Так точно, товарищ генерал-майор. Есть через пять часов как стеклышко». Ну, выпил я, залез в свой «ЗИС», прямо на заднюю подушку — вот как хорошо! Знаешь, у «ЗИСа» целый диван на заду. Ладно, спит солдат — идет служба. А через энное время стук в дверцу: жена генерала. Замерзла. Ну я, конечно, моменталом: пилотку в руки и пожалуйста — свободно помещение. А она как двинет меня обратно...

— Жена генерала?

— А кто же еще? Свидетелев в таком деле не бывает...

У Мишки веревкой вдруг сошлись выгоревшие за лето брови над переносьем, а желваки на щеках как собаки — так и забегали, так и забегали взад-вперед, только что не лают. В чем дело? Сидели-сидели два друга-приятеля на теплом солнышке, под кустиком, обменивались мирно опытом под водочку с берестяным душком — и вдруг трам-тарарам и гроза на ясном небе. Позавидовал? Генеральша эта самая в печенки въелась?

— Объясни свое поведение,— потребовал Егорша.— У нас старшина Жупайло, знаешь, как в этом разе делал?

Мишка вскочил на ноги, морду в землю — прямо дугой выгнулась косматая, давно не стриженная шея — и наутек. Не в обход по тропинке, а напрямик, через кусты,— только треск пошел.

Яростно залаял, прикрывая отход своего хозяина, Тузик.

Егорша схватил недопитую бутылку, шарнул, как гранату в сторону собачонки — задавись, сволочь! — а потом встал, отряхнул гимнастерку и бриджи, затянул ремень на последнюю дырочку, так что ящиком asперло грудь, и пошел не оглядываясь на дорогу, по которой только что верхом проехал Лукашин.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Туман, туман над Пекашином...

Как будто белые облака спустились на землю, как будто реки молочные разлились под окошками...

Редко, очень редко на пекашинскую гору забираются туманы, все больше вокруг деревни ходят. Низом, по подгорью, по болоту. Но уж когда заберутся — прощай белый свет: в собственном заулке ничего не увидишь.

Да, подумал Михаил, стоя на крыльце и поеживаясь от сырости, сегодня до обеда нечего делать в поле.

Он бросил недокуренную папиросу, с криком влетел в избу:

— Федька! Татьяна! Живо за грибами!

Федька заворочался на своих полатях только тогда, когда Михаил проехался кулаком по полатницам, а Татьяна, та и вовсе голоса не подала из своего девочешника. И как тут было не вспомнить Петьку да Гришку! Те, бывало, команды не ждут, сами все уши прожужжат: «Миша, за грибами ехать надо... Миша, заморозки скоро начнутся...» — а уж утром-то в день выезда на бор только пошевелишься чуть-чуть — как штыки вскочат.

Вчера наконец от Петьки и Гришки получили письмо. Дурачье — двадцать копеек на марку пожалели, с Гриней-карбасом из Модян послали, а Гриня в районе накачался — замертво, как бревно лежачее, мимо Пекашина

провезли. И вот только вечор, через десять дней, занес,— Михаил как раз с поля приехал, когда Гриня в заулок ввалился: «Мишка, ставь полбанки — письмо от брательников». Вести были что надо: учатся! Сошел с рук Тузик, и, хоть в доме не было ни копейки, Гриню угостили: под дрова четвертак у Семеновны заняли.

Михаил вышел из дому один. Татьяне и Федьке, оказывается, в школу сегодня идти, а матери и подавно нельзя: корова, печь, Вася...

В тумане он прошел заулок, задворье и вдруг подумал про Лизку, про Егоршу: а им-то грибы надо?

2

К Ставровым Михаил подкатил на телеге.

По привычке он гулко забухал сапогами на крыльце боковой избы — подъем, подъем! — и только наткнувшись на мокрый кол в воротах, вспомнил, что Егорша и Лизка на днях переселились в передние избы.

Открыла ему сестра.

— Чего такую рань? Мы ведь еще дрыхнем...— И, стыдливо потупив глаза, отступила в сторону.

Зато Егорша — ни-ни, одеяла на голое брюхо не натянул. И вообще, зубы стиснуты, глаза в потолок — пошел ко всем дьяволам!

Понятно, понятно, сказал себе Михаил. Не понравилось, как я вчера на поле вскипел. А кто бы не вскипел на его месте, когда перед тобой петушиные подвиги расписывают, сестру твою родную предают да в грязь топчут?

Однако он сейчас и виду не подал, что накануне между ними черная кошка пробежала.

— Давай, давай! Мигом! Солдат еще называется!

Он схватил Егоршу за ноги, стащил с постели, вольготно раскинутой посреди избы — совсем как в былые времена! — кивнул на белые, наглухо затканные туманом окна:

— Грибы наказывали, чтобы мы в гости приехали. Заждались, говорят.

— А ведь это мысля! — сразу воспрянул Егорша.

— Мысля! Молчи уж лучше — не трави душу. Умные люди с вечера о грибах думают.

— Да в чем дело? — спросил Михаил у насупленной сестры.

— Со стиркой я вечор разобралась. Оля выходной дала — дай, думаю, приберусь немного...

— Ерунда! — успокоил сестру Михаил.— Стирка и до вечера подождет.

Все решила команда Егорши. Тот, нисколько не думая про спящего сына, заорал как в казарме:

— Разговорчики! Пять минут на сборы! Понятно?

Собирались весело, со смехом, с шутками.

Егорша — дурь в голову ударила — начал притворно выговаривать Михаилу, зачем он не подождал, сон ихний оборвал на самом интересном месте — нарочно, чтобы вогнать в краску Лизку, и та, конечно, не выдержала — выскочила из избы.

— Ты бы все-таки эту жеребятину оставлял за порогом, когда в свою избу входишь,— с мягким укором посоветовал Михаил.

— А между протчим,— Егорша по-прежнему в этом слове старательно нажимал на «т»,— насчет этой жеребятины самой, знаешь, какое мнение у кобыл?

Последовал похабнейший анекдот, и Михаил первым затрясся от смеха.

Лиза не возвращалась. Умылся и оделся Егорша, Вася успел проснуться, а ее все не было.

Наконец забрякало железное кольцо в воротах.

Михаил по-свойски закричал было на переступившую порог сестру и прикусил язык: Лизка была не одна. Вслед за Лизкой в избу входила Раечка.

Егорша от радости подпрыгнул чуть ли не до потолка — любил компанейскую жизнь:

— По коням!

А Михаил только посмотрел на свою сестру, на ее сияющие зеленые глаза и все понял. Нет, ей мало быть счастливой самой. Она хотела, чтобы и брат был счастлив.

3

В Пекашине, если не считать заречья, самые грибные места за навинами и в Красноборье.

Зана̀винье грибом богаче, особенно солехами, да и ягоды там всякой больше, но Михаил решил ехать в Красноборье. Во-первых, надо Васю к матери забросить, а это как раз по дороге, а во-вторых, в занавинье сегодня сыро — до последней нитки перемокнешь.

Егорша, как только сели на телегу, начал травить

анекдоты — на всякий случай у него притча да прибаутка. К примеру, Лизка спросила у Михаила, не забыл ли он свой нож, надо бы дырочку у коробки провертеть, ручка разболталась,— пожалуйста анекдот о дырочках...

Конь бежал ходко. За разговорами да за смехом и не заметили, как проскочили мызы, выехали к Копанцу.

Там кто-то уже был — в сторонке от дороги, под елью, горбилась лошадь. А пока они ставили своего коня да разбирали коробья, объявились и грибники — Лукашин и Анфиса Петровна, оба с полнехонькими корзинами желтой сыроеги.

— Покурим? — предложил Лукашин.

Михаил промолчал, вроде как не слышал, а из женщин, из тех и подавно никто не поддержал председателя: раз приехали в лес, какое куренье?

Но Егорша, конечно, зацепился.

— Шлепайте! — крикнул.— Догоню.

Рассыпались вдоль ручья. Места хорошие: холмики, гривки, веретейки. Всего тут бывает толсто — и гриба и ягод.

Лизка, глупая, сразу же отскочила в сторону, якобы для того, чтобы пошире ходить, а на самом-то деле дурак не догадается, что у нее на уме. Хочет оставить их вдвоем с Раечкой, создать, так сказать, соответствующую обстановку.

Раечка кружила у Михаила под носом, он постоянно натыкался на ее широко распахнутые голубые глаза — они, как фары, высвечивали из тумана, звали, манили к себе, хотя тотчас же и пропадали. Но Михаил и шагу не сделал в сторону Раечки. Что-то удерживало, останавливало его. Только раз он, пожалуй, был самим собой с Раечкой — недели две назад, когда вечером столкнулся с ней возле школы. Да и то, наверно, потому, что навеселе был. А во все остальные встречи он будто узду чувствовал на себе.

Все-таки в одном месте они оказались впритык друг к другу. Это у муравейника, где спугнули глухарку.

Глухарка взлетела с треском, с громом, так что не только Раечка насмерть перепугалась — он, Михаил, от неожиданности вздрогнул. Потом он поднял с муравейника рябое, с рыжим отливом перо, оброненное птицей, понюхал:

— Чем, думаешь, пахнет?

Тут их догнал Егорша. Все было тихо, спокойно,

и вдруг, свист, гуканье, верещанье — по-собачьи, по-кошачьи, по-всякому, а потом и прибаутка на каком-то нездешнем мягком говоре:

«— Мамка, а мамка? У грибов глаза есть?

— Не, дочка.

— Врешь мамка. Когда их едять, они глядять».

— Ты лучше, чем зубанить-то, покажи, что набрал,— спросила, улыбаясь, подоспевшая к ним Лиза.

В берестяной коробке у Егорши перекатывалась горстка мокрых, запорошенных старой рыжей хвоей козляток, каких они, Пряслины, вообще не берут. У Раечки тоже было негусто, зато у Лизки — полкороба. И какие грибы! Желтые маленькие сыроежки (самые лучшие грибы для соленья), масленые грузди, рыжики... А меж них красная и синяя строчка из брусники и черники пущена. Это уж специально для красоты.

Впрочем, Лизкин короб никого не удивил. В Пекашине — это всем известно — нет ягодницы и грибницы, равной ей. Сама Лизка этот свой дар объясняла просто — тем, что ее бог наградил зелеными глазами, которые сродни всякой лесовине. «Вот они, грибы-то да ягоды,— говорила она в шутку,— и выбегают ко мне по знакомству, когда я иду по лесу, только подбирай».

Довольная, широко скаля свой крепкий белозубый рот, Лиза переложила половину своих грибов в коробку Егорши, шлепнула игриво по спине — носи, мол, раз лень самому собирать,— и только ее и видели: умотала.

Первые коробья наполнили довольно быстро — к телеге подошли, еще туман ходил по лесу.

От мокрой Раечки шел пар — вот как она бегала, чтобы не подкачать. Потому что, как там ни пой, а неудобно девушке, да еще невесте, с пустым коробом к телеге выходить.

На этот раз Михаил покурил сидя, без особой спешки — имеет право! — затем вынес на обсуждение вопрос, что делать дальше. В запасе у них часа полтора — куда двинем? В сторону поскотины, чтобы пособирать на луговинах волнух и рыжиков, или побродим в сосняке на речной стороне, то есть в том лесу, который, собственно, и принято называть Красноборьем?

— В сосняке! В сосняке!

Другого ответа он и не ожидал. Так у пекашинцев испокон веку: уж если довелось тебе забраться в Красный бор, то хоть немного, а покружи в приречном лесу.

Грибов да ягод, тут, может, много и не наберешь, а на свет белый глянешь повеселее. В любую погоду в Красном бору сухо. И светло. От сосен светло. И от самой земли светло, потому что земля тут беломошником выстлана.

4

Обратно шли пешком — телега в два этажа была заставлена коробьями с грибами.

Лиза была довольнехонька: быстро обернулись. Когда подъехали к Синельге, туман еще был под горой.

Конь легко взял пекашинский косик и мог бы без передыха дотащиться до дому, но Егорша крикнул: «Перекур!» — и конь послушно стал.

Лиза и Раечка, как водится у женщин, начали прихорашиваться, перевязывать на голове все еще сырые платки, Егорша занялся сапогами — в деревню въезжаем! — и только Михаил ни рукой, ни ногой не пошевелил. Потом — как-то совсем машинально — он повел глазами по Варвариным, веселым от солнца окошкам и вдруг вздрогнул всем телом: ему показалось, что из глубины избы поверх белой занавески на него смотрят знакомые темные глаза.

Он, как ошпаренный кипятком, повернул голову к Егорше — тот, к счастью, не глядел на него, вицей огрел коня.

Взглянуть второй раз в окошко у него не хватило духу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

На Севере сенокос обычно начинают с дальних глухих речек, так как траву там тогда только и высушишь, когда солнце жарит. В таком же примерно порядке убирают и с полей: сперва на лесные навины наваливаются, а потом уже зачищают все остальное.

У Михаила в бригаде из дальних полей недожатой оставалась Трохина навина — тот самый участок, на котором вчера соизволил навестить его Егорша. Но сегодня после такого тумана нечего и думать было о Трохиной навине — низкое место. Поэтому, чтобы не терять даром времени, он после обеда перегнал жатку на Костыли — так называются поля за верхней молотилкой.

Работа на этих Костылях — все проклянешь на свете: холмина, горбыли, скаты. За день и сам начисто вымотаешься, и с лошадей не один пот сойдет.

Но весело.

Деревня за болотом как на ладони. Кто по дороге ни прошел, ни проехал — всех видно. Обед по сигналу. Как только взовьется белый плат над крышей своего дома, так и знай: Татьяна и Федька из школы пришли.

Но самое главное веселье, конечно,— молотилка у болота, к которой вплотную подходят поля. К бабам на зубы попадешь — изгрызут, измочалят, как сноп, а чуть маленько зазевался — чох из ведра водой, а то и с жатки стащат. Навалится со всех сторон горластая хохочущая орда — что с ними сделаешь?

Сегодня Михаил с удивлением посматривал в черную грохочащую пасть ворот, в которых столбом крутилась хлебная пыль. Он уже три раза проехал мимо, и хоть бы одна бабенка выскочила к нему из гумна.

Ага, вот в чем дело, догадался наконец, Железные Зубы тут (он узнал Ганичева по черному кителю, жестяно отливающему на солнце возле конного привода).

Районных уполномоченных стали приставлять к молотилкам с осени прошлого года. И будто б такая мода заведена не только у них, на Пинеге, но и в других районах области. Для того чтобы колхоз быстрее выполнил первую заповедь. И для того чтобы поменьше зерна попадало бабам за голенища. Так, по крайней мере, говорят, в шутку сказал Подрезов на каком-то районном совещании.

Поднявшись в угор, Михаил слез с жатки, выломал на промежке, возле дороги, черемуховую вицу: лошади сегодня ни черта не тянут, особенно Серко, на котором за грибами ездили.

Над черемуховым кустом лопотали осины, уже прошитые желтыми прядями. Серебряные паутинки плавали в голубом воздухе...

Михаил вспомнил, как из этого самого осинника он когда-то воровски поглядывал на Варварину поветь, и невольно посмотрел на ее дом.

У него глаза на лоб полезли: ворота на Варвариной повети были открыты. Те самые ворота, в которые он когда-то залезал по углу.

Он сел на промежек, чтобы прийти в себя. Значит,

давеча ему не показалось — Варварины глаза были в окошке...

Мысли у него прыгали и скакали в разные стороны, как лягушата. Голова взмокла — не от солнца, нет. Сердце гремело, как колокол. Все, все было точь-в-точь как раньше, когда он был мальчишкой.

Что придумать? Что? Дождаться вечера? Темноты?

Он глянул на солнце — целая вечность пройдет, покуда дождешься вечера.

Так ничего и не придумав, он сел наконец на свое железное сиденье, погнал лошадей вниз, к молотилке.

Ворота на Варвариной повети все так же зазывно были открыты...

У молотилки остановил лошадей (те только этого и ждали), с бесшабашным видом пошел к бабам.

— Пить нету?

Глупее этого, наверно, ничего нельзя было придумать, потому что бабы с нескрываемым изумлением переглянулись меж собой: дескать, какое тебе питье надо — болото с ручьем под боком.

Нюрка Яковлева первая повернула разговор на «божественное»:

— С кем целовался? Какая милаха так жарила, что осенью высох?

— Ха-ха-ха-ха!

— Охо-хо-хо-хо!

Подошедший на смех Ганичев строго заметил:

— График срываешь, Пряслин.

Барабан загрохотал.

— Ну, ладно! — беззаботно махнул рукой Михаил. И громко, чтобы все слышали: — Пойду к Лобановым. Я еще не привык с лошадями из одной колоды пить.

2

Раньше, пять лет назад, когда он белой ночью, как вор, крался с задов к Варвариному дому, самым трудным для него было проскочить от амбара в поле до повети — три окошка у Лобановых нацелены на тебя. И сколько же топтался и трясся он возле этого амбара, прежде чем решиться на последний бросок!

Сегодня Михаил прошел по меже мимо амбара не останавливаясь, а на лобановскую избу даже и не взглянул.

Закачало его, когда он подошел к воротцам да увидел в заулке свежепримятую траву: Варвара своими ногами топтала.

У него не хватило духу поставить свой сапог на ее след, и он начал мять траву рядом.

Руки сами по старой привычке нащупали в воротах железное кольцо с увесистой серьгой в виде восьмигранника. Сноп яркого света ворвался в нежилую темень сеней, вызолотил массивную боковину лесенки, по которой он столько раз поднимался на поветь...

Но он задавил в себе нахлынувшие воспоминания, взялся за скобу.

Варвара мыла пол. Нижняя подоткнутая юбка белой пеной билась в ее смуглых полных ногах, красная сережка-ягодка горела в маленьком разалевшемся ухе...

— Ну, чего в дверях выстал? Так и будешь стоять?

Михаил перешагнул через порог. Дунярка разогнулась.

Да, это была она, Дунярка, хотя и не так-то легко было признать в этой сытой, раздобревшей женщине с румяным лицом его мальчишескую любовь.

Впрочем, Дунярка и сама не скрывала происшедших с нею перемен.

— Крепко развезло? На дистрофика не похожа? Ничего, Сережка у меня не возражает. Его на сухоребриц не тянет.

Сполоснув руки под медным, уже начищенным рукомойником, она поздоровалась с ним за руку, подала стул, села сама напротив.

— А я тебя давеча тоже не сразу узнала. Вон ведь ты какой лешак стал, баб-то всех с ума, наверно, свел. Я в районе у тетки два дня жила — не видала такого дяди, ей-богу!

Дунярка говорила запросто, по-свойски, как бы приноравливаясь к нему, но именно это-то и не нравилось Михаилу. Как будто он такой уж лопух — языка нормального не поймет. А потом — за каким дьяволом постоянно вертеть глазами? В Пекашине и так всем известно, что в ихнем роду глаза у баб исправны.

За занавеской заплакал ребенок. Михаил вопросительно глянул на вскочившую Дунярку.

— А это Светлана Сергеевна проснулась. Ты думаешь, так бы меня Сережка и отпустил одну? Как бы не так. К каждому пню ревнует.

Дунярка не могла не похвастаться своим сокровищем и, прежде чем начать кормить девочку, вынесла показать ему.

— Вот какая у нас есть невеста, не видал? И два жениха еще растут. А чего теряться-то? Хлебы себе под старость ростим. А ты все еще на прикол не стал? Не хочешь на одной пожне пастись? Хитер парниша! — И Дунярка опять покрутила глазами.

— А ежели тебе завидно, жила бы в девках,— сказал Михаил, на что Дунярка — уже из-за занавески — громко расхохоталась.

В избе, как показалось Михаилу, сладко запахло парным молоком.

— А я ведь пить зашел,— сказал он, и ему в самом деле захотелось пить. А кроме того, пора было сматываться. Поздоровался, пять минут посидел для приличия, а еще что тут делать?

Он встал, взял ковш со стола и увидел на стене знакомую фотографию Варвары. Карточка была давняя, довоенная, из-за отсвечивающего стекла лица не видно, но он так и влип в нее глазами...

— Скажу, скажу тетке, как ты на нее смотрел,— раздался вдруг сзади смех.— Вот уж не думала, что у вас такая любовь. А я ведь, когда мне рассказывали, не верила...

У Михаила огнем запылало лицо. Он бешеным взглядом полоснул Дунярку и смутился, увидев у нее на груди, на белом, туго натянутом полотне, два темных пятнышка от молока.

Стиснув зубы, он пошел на выход. Дунярка схватила его за рукав.

— Вот кипяток-то еще! Слова сказать нельзя. Нет, нет, насухо ты от меня не уйдешь. Не выйдет!

Она силой усадила его к столу, вынесла из задосок начатую бутылку, из которой, по ее словам, уже отпил шофер, который вез ее из района, налила стакан с краями.

— Давай! За нашу встречу...— И простодушно, даже как-то застенчиво улыбнулась.

— А ты?

— А мне нельзя. У меня, видал, какая невеста-то? Или уж выпить? А, выпью! — вдруг с подкупающей решительностью сказала Дунярка и лихо, со звоном поставила на стол стопку.

Водка шальным огнем заиграла в ее черных и плутоватых, как у Варвары, глазах. И что особенно поразило Михаила — у Дунярки была та же самая привычка покусывать губы.

— А ты очень тогда на меня рассердился? — спросила она.

— Когда — тогда? В городе?

— Ага.

— Будем еще вспоминать, как ребятишками без штанов бегали!

Шутка Дунярке понравилась. Она залилась веселым смехом. Потом долгим, как бы изучающим взглядом посмотрела на него.

— Чего ты?

— А ты не рассердишься?

— Ну?

— Нет, ты скажи: не рассердишься?

— Да ладно тебе...

Дунярка заглянула ему в самые глаза.

— А ты скажи: сюда бежал — думал, тетка приехала, да?

Михаил махнул рукой (вот далась ей эта тетка!) и встал. Дунярка тоже встала, проводила его до дверей.

— Приходи вечером,— вдруг почему-то шепотом заговорила она.— Придешь?

— Можно,— сказал не сразу Михаил и ринулся на улицу.

Он ругал себя ругательски. У него есть невеста — чем худа Райка? Разве не стоит этой вертихвостки? А его только хвостом поманили — и поплыл. За что же тогда мочалить Егоршу?

Нет, с этим надо кончать, кончать...— говорил себе Михаил, спускаясь с Варвариного крылечка.

Говорил и в то же время знал, что никакие заклинания теперь не помогут. Он пойдет к Дунярке. Пойдет, хотя бы все пекашинские собаки вцепились в него...

3

Лизка глазами захлопала, Егорша шею вытянул... Даже Вася, показалось ему, своими голубыми глазенками разглядывал его праздничный пиджак, который он напялил на себя в этот будничный вечер...

Михаил не стал тянуть канитель. Рубанул сплеча:

— Сестра, я жениться надумал.

— Ну и ладно, ну и хорошо,— живехонько согласилась Лиза и прослезилась.

Она не спрашивала — на ком. И Егорша не спрашивал: давешняя поездка за грибами расставила все точки.

Но Егорша сразу же придал сватовству деловой характер: даешь бутылку!

— Сиди! — рассердилась Лиза.— Мало у тебя бутылок-то за это время перебывало! Надо все обговорить, все обдумать, а он: даешь бутылку...

— Насчет бутылки я капут,— признался Михаил.— Может, завтра с утра сколько у председателя раздобуду, а на данное число у меня ни копья...

Бутылка, к великой радости Егорши, нашлась у Лизы — та еще в девках насчет всяких заначек была мастерица.

Выпили. Причем выпила и Лиза: как же по такому случаю не выпить!

— А мама-то хоть знает? Маме-то ты сказал? — спросила она.

Михаил круто махнул рукой: с чего же будет знать мама, когда он и сам до последней минуты не знал! Сидел, брился дома (ну что-то из ихней встречи с Дуняркой выйдет?), а потом вышел на вечернюю дорогу из своего заулка, посмотрел в верхний конец деревни и вдруг повернул на все сто восемьдесят градусов.

— Нет, как хошь,— рассудила Лиза,— а маме надо сказать. Что ты! Кто так делает? Сын женится, а матерь сидит дома и не знает. Ладно, идите вы вдвоем, а я побегу к своим.

Лиза быстро оделась и вдруг пригорюнилась:

— Мы ведь с ума, мужики, посходили. Кто это женится, когда из дому только что покойника вынесли?..

— Это ты насчет дедка? — уточнил Егорша.— Ерунда на постном масле. Дедко ему родня на девятом киселе. Подумаешь — сват! А потом, дедка я знаю. Дедко обеими руками за. Я помню, как он обрадовался, когда я преподнес ему тебя на золотом блюдечке.

Лиза в конце концов сдалась: она ведь сама хотела этой свадьбы. И, может быть, даже больше, чем жених.

На улице Егорша предупредил Михаила:

— Все переговоры с родителями и все протчее под

мою персональную ответственность. А твое дело телячье. Ты в энтом деле голоса не имеешь. Понял?

Вечер был теплый и тихий. Запах печеной картошки доносился откуда-то из-под горы. Михаил, водя головой, поискал в темноте ребячий костер.

Костра он не увидел. Вместо костра он увидел огни на реке.

— Да ведь это пароход идет!

— А чего же больше? Новый леспромхоз на Сотюге — знаешь, сколько надо забросить всяких грузов?

— Значит, это буксир,— сказал Михаил.— Выгрузка будет.

Егорша хлопнул его по плечу:

— Брось! Нам, дай бог, со своей выгрузкой управиться. Думаешь, так вот с ходу: тяп-ляп — и вывернул карманы у Федора Капитоновича?..

Михаил как-то обмяк за последнее время, забыл про Райкиного отца. А сейчас, когда заговорил о нем Егорша, у него так все и заходило внутри.

Пожалуй, никого в жизни не ненавидел он так, как ненавидел Федора Капитоновича. Ненавидел за житейскую хитрость, за изворотливость, за то, что тот, как клоп, всю жизнь сосет колхоз. И мало того что сосет — еще в почете ходит. До войны кто на колхозных овощах домину себе отгрохотал? Федор Капитонович. А ведь в газетах расписали: колхозник-мичуринец, южные культуры на Север продвигает. То же самое во время войны с самосадом. Развел на колхозном огороде, у всех карманы вывернул, сколько-то на оборону бросил — патриот, северный Головатый. На всю область прогремел. Ну, а после войны и того чище — заслуженный колхозник на покое. Пенсия, налоги вполовину, личный покос для коровы и председатель ревизионной комиссии...

Да, такой вот был человек Федор Капитонович. И этого-то человека судьба подкидывала Михаилу в тести!

Надо, однако, отдать должное старику: принял их с почетом. И не на кухне, а в передней комнате.

— Проходите, проходите, гости дорогие.

Как будто он только их и ждал. А потом подал какой-то знак хозяйке — мигом раскрылась скатерть-самобранка: рыба — треска жареная, солехи с луком, огурцы свежие (Михаил так и побагровел при виде их) и, конечно, бутылка «московской».

Егорша ликовал. Он наступал на ноги Михаилу под

столом, подмигивал: смотри, мол, в какой ты рай залетел!

Михаилу интересно было оглянуться вокруг — он первый раз был в передней комнате у Федора Капитоновича, но шея у него как-то не ворочалась, и он только и видел, что было перед его глазами: пышный зеленый куст во весь угол да высокую белую кровать с лакированной картиной на стене — полуголая красотка в обнимку с лебедем.

Егорша по поводу этой картины шепнул ему на ухо:

— Для возбуждения аппетита.

Речь свою повел Егорша, когда выпили.

— Как говорится, молодым у нас дорога, старикам везде у нас почет. Так говорю, Федор Капитонович? Не переврал песню?

Федор Капитонович пожал плечами и искоса поверх очков посмотрел на Михаила.

— Я в песнях не горазд, особенно когда про нонешнюю молодежь...

— Вот и напрасно! — воскликнул Егорша.— Ну да это дело поправимо. Где Райка? Сейчас мы эту песню споем.

Раечки дома не оказалось, она ушла полоскать белье на реку, но Егоршу это нисколько не смутило.

— На данном этапе это не существенно,— важно, со знанием дела сказал он.— Суду и так все ясно: у нас, как говорится, купец, у вас товар — и хватит бочку взад и вперед перекатывать: пиво варить надо.

Федор Капитонович, как положено родителю, поблагодарил сватов за честь, которую оказали ему, а потом и запетлял и запетлял: дескать, не очень хорошее время выбрали, лучше бы повременить, поскольку еще в прискорбии ходите, и все в таком духе. В общем, выставил то же самое, о чем их предупреждала Лиза,— смерть Степана Андреяновича.

Егорша на это авторитетно возразил:

— Касаемо свата ты брось. Ни в одной анкете у нас такая родня не указывается. А мы с вами, я думаю, не в Америке живем. В Сэсэрэ.

— В Сэсэрэ-то в Сэсэрэ,— вздохнул Федор Капитонович,— да в каком Сэсэрэ? В пекашинском. Вас-то, может, народ и не осудит, а мне-то по улице не ходить. Каждый будет пальцем указывать.

Смерть Степана Андреяновича для Федора Капитоно-

вича была только предлогом для того, чтобы отказать им,— это Михаилу было ясно. А с другой стороны, нельзя было и не призадуматься над его словами: рановато им затевать свадьбу. И анкетой Егоршиной рот пекашинцам не заткнешь.

Тут в самый разгар сватовства в комнату влетела Раечка — в ватнике, в пестром платке. В первую секунду она страшно удивилась, увидев таких гостей за столом, а потом все поняла, и жаром занялось ее лицо.

— Вот, доченька, сваты,— сказал Федор Капитонович.— А я говорю, не время, подождать надо...

Егорша — закосел сукин сын! — с ухмылкой оборвал его:

— Подождать можно, почему не подождать, да только чтобы посуда не лопнула.— И кивнул на Раечкин живот.

Конфуз вышел страшный. Федор Капитонович просто посерел в лице — каково отцу такое услышать! — и мать, как раз в это время заглянувшая с кухни, чуть не упала, а у самой Раечки на глазах навернулись слезы.

Михаил четко сказал:

— Ничего худого про свою дочь не думайте. Райка у вас честная. А ты думай, что говоришь!

— А что я такого сказал? — огрызнулся Егорша.— Не все равно, когда обручи с бочки сбивают...

— А мы таких речей про свою дочь не желаем слышать,— сказала ему в ответ Матрена, Райкина мать.

Мир за столом мало-помалу восстановился. Федор Капитонович пошел даже на попятный: они с матерью, дескать, не будут заедать жизнь своей дочери. Раз она согласна, то и они согласны. Но согласны только при одном условии: молодым жить у них, в ихнем доме.

— Ну, это само собой! — воскликнул Егорша.— Дворец у жениха известен...

— Нет, не само собой! — оборвал его Михаил.— Я со своего дома уходить не собираюсь.

— А чего? — удивился Егорша.

— А то! Мне, может, еще скажут, чтобы я и семью бросил, да?

— Райка, ты чего молчишь? — крикнул Егорша.

Раечка — она сидела с матерью на кухне — показалась в дверях.

— Ну, доченька,— сказал Федор Капитонович,— закапывай отца с матерью заживо в могилу...

— Да к чему такой поворот? — возмутился Михаил.— Кто вас закапывает?

— А одних немощных стариков бросить? Ни воды, ни дров не занести.

— Ну чего ты стоишь истуканом? — подтолкнула сзади Раечку мать.— Худо тебя отец родной поил-кормил? Разута, раздета ты у него ходила?

Раечка испуганно переводила взгляд с отца на Михаила, кусала губы, а потом сзади запричитала мать («Что ты, что ты, доченька, делаешь? Без ножа родителей режешь...»), запричитала и она.

Михаил ничего подобного не ожидал. Ведь все же ясно как божий день. Райка его любит, он любит Райку — какого еще дьявола надо? А тут слезы, стоны, плач — как будто их режут. И добро бы только старуха заливалась, а то ведь и сама Райка ревет.

— Ну, вот что,— сказал Михаил и встал из-за стола,— я еще никого за глотку не брал. Так что посидели — и хватит. Спасибо за угощенье.

— Нет, нет,— кинулась к отцу Раечка.— Я пойду за него, папа. Я люблю его...

И опять во весь голос завелась Матрена: дескать, его-то ты, доченька, любишь, а нас-то на тот свет отправишь...

Михаил выбежал из дому.

Выскочивший вслед за ним Егорша схватил его за рукав:

— Чего ты делаешь? Все на мази, Райка согласна! Да я бы такую девку зубами вырвал! Слезы тебя расквасили, да? Папочку с мамочкой жалко стало? Идиот несчастный! Да по мне хоть вся деревня меня на коленях умоляй, от своего бы не отступился!

Когда они отошли немного от дома Федора Капитоновича, Егорша опять закричал, ругаясь:

— А-а, к такой тебя матери! Иди. Дома ему жить надо... Как же! Чтобы навоз в свою кучу падал. Катай! Вон видишь, пароход у берега стоит, грузчиков ждет? Топай! Буханку заработаешь...

— Ну и потопаю! — взъярился Михаил.— Да, за буханкой потопаю. Думаешь, валяются у нас буханки-то на дороге? Тебе вон паек дали за то, что ты в отпуске, а мне чего дают?

— И правильно делают! Не будь ослом. Сколько я тебе говорил: уматывай из Пекашина! Не послушался.

Ну дак и не вякай. Тащи хомут. Эх, да ну вас к дьяволу! Семь дней живу в вашем Пекашине, а только и слышу: буханки, корова, налог... Кроты несчастные! Хоть бы раз увидели, как люди по-человечески живут!

Егорша, не попрощавшись, вильнул в сторону.

Михаил прислушался к летучим шагам в темноте, посмотрел в сторону поля, туда, где у леспромхозовского склада яркими огнями сверкал пароход, и — дьявол со всей свадьбой — побежал к реке.

● ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Утром, лежа в постели, Егорша подводил итоги своего недельного пребывания в Пекашине: деда схоронил, семейное дело наладил, коня на крышу водрузил, винца, само собой, попил...

Хватит! Пора подумать насчет работенки, а то, чего доброго, найдутся любители в свои оглобли тебя загнать. К примеру, тот же самый Лукашин. Живо захомутает, ежели ворон считать. А захомутает — кому пожалуешься? Комсомолец. Внеси свой вклад в подъем сельского хозяйства.

Сказано — сделано.

Быстрый, по-военному, завтрак — большая, чуть ли не литровая крынка утреннего молока с холода,— затем беглая разведка насчет транспорта, и вот уже мчится в район на колхозной машине. С Чугаретти, которого Лукашин послал в райпотребсоюз за стеклом, навесными петлями и прочим железом для нового коровника.

В районе остановились напротив райпотребсоюза, в виду райкома.

Егорша сразу же, еще сидя в кабине, объявил себе боевую тревогу: быстро прошелся по запылившимся сапогам рыжей бархоткой, которую всегда носил в кармане завернутую в газетку (сапоги — это самое главное в солдатском деле), затянулся ремнем на последнюю дырочку, оправил гимнастерку, посадил, как положено по уставу, пилотку на голове (два пальца над глазами) и с острым, бодрым холодком в груди выскочил на деревянные мостки. Нельзя ударить в грязь лицом перед райцентром, а особенно перед Подрезовым. Подрезов любит,

заложив руки за спину, обозревать райцентр со своего КП. И кто его знает, может, он и сейчас стоит у окна.

Подрезова, однако, на месте не оказалось (он был в отпуске), и в первое мгновенье Егорша чуть не брызнул слезой — такая досада его взяла. Ведь мало того что с Подрезовым были связаны все его расчеты. Хотелось еще предстать перед первым во всем своем параде. Посмотри, дескать, на своего бывшего шофера. Не подкачал? Оправдал высокое доверие?

— А когда же первый из отпуска вернется? — спросил Егорша у помощника.

— Думаю, не раньше чем через месяц. Потому как у Евдокима Поликарповича две недели еще за прошлый год не использованы.

— Понятно,— сказал Егорша.

Он уже овладел собой, тем более что Василий Иванович, помощник Подрезова, предложил ему присесть на большой черный диван, а на этот диван Василий Иванович садит не каждого — это Егорша хорошо знал по прошлому. Да и вообще, Василий Иванович, часто мигая своими темными ласковыми глазами, с нескрываемым любопытством присматривался к нему: не часто такие солдаты заходят в райком.

Егорша, держа в руках свежую газету — для солидности,— начал выспрашивать про обстановку в районе. И в первую очередь про то, как район справляется с лесозаготовками, поскольку лес — это золотая валюта и основа нашего богатства.

— А похвастаться, пожалуй, нечем,— осторожно отвечал Василий Иванович.— За этот квартал план на пятьдесят три процента выполнили.

— Причины? — Егорша придал своему лицу должную государственную суровость и озабоченность.

— Причины — реорганизация. Лесок поблизости от рек выбрали, и теперь с лошадкой ничего не сделаешь. Надо на механическую тягу переходить, узкоколейки строить, лежневки...

Тут из кабинета Подрезова вышел Фокин, третий секретарь райкома, который сейчас, в отсутствие Подрезова, командовал всем районом.

Егорша мигом вскочил на ноги, встал по стойке «смирно», отрапортовал:

— Товарищ первый секретарь райкома ВКП(б)! Младший сержант Суханов-Ставров закончил действи-

тельную службу в Советской Армии и прибыл в вверенный вам район для прохождения дальнейшего мирного и патриотического труда на благо партии и народу...

Рапорт этот, обдуманный и обкатанный Егоршей со всех сторон еще по дороге в район, предназначался для Подрезова, но все равно получилось здорово: заулыбался Фокин, показал, какие у него зубы, а то ведь вышел из кабинета с замком на губах. Строгостью да важностью самому Подрезову, пожалуй, не уступит.

— Это что же, из Пекашина Ставров?

Егорша уж помалкивал, виду не подал, что Фокин знает его как облупленного. В войну комсомолом в районе заправлял — на сплаве за один багор бревно таскали. Хрен с ним, раз надо инкогнито навести, наводи.

Отчеканил:

— Так точно, товарищ секретарь, из Пекашина. А лучше сказать, из Заозерья, поскольку Заозерье место рождения.

— Из Заозерья? А ну-ко, зайди, зайди.

Когда они оказались вдвоем в кабинете, Фокин, глубоко сунув руки в карманы галифе, спросил:

— Ты чего ж это, Суханов, райком компрометируешь, а?

Егорша вздрогнул: политика!

— Был у тебя на похоронах Тарасов?

— Был.

— В каком состоянии был?

— Да вроде так... нельзя чтобы сказать...

— Нельзя сказать... А ты скажи! Чему тебя три года в армии учили? В дымину, без задних ног был Тарасов. А ты что сделал? На народ распьянющего работника райкома выставил? Вот, мол, полюбуйтесь... Так?

— Виноват, товарищ секретарь,— упавшим голосом сказал Егорша. (Чего говорить — сухой, коли в куче дерьма сидишь.)

— То-то! — погрозил пальцем Фокин и подошел к зазвонившему телефону.— Зарудный? Здравствуй, товарищ Зарудный. Ну, чем порадуешь?.. (Егорша сразу догадался: директор Сотюжского леспромхоза звонит.) Так, так, закончили прокладку дороги до Росох? На пять дней раньше? Это хорошо... Хорошо, говорю. А где лес?.. Лес, спрашиваю, где? Кубики... Ты мне брось на всякие причины ссылаться. Стране лес нужен, а не причины. Понял?

Ничего нового в самом разговоре для Егорши не было. Сколько он живет на белом свете, столько и разговоры про лес слышит. Поразил его Фокин. Лет восемь назад, когда он, Егорша, начинал свою трудовую жизнь, кто бы всерьез принял Мильку Фокина! Приедет к ним на Ручьи, только у него и дела, что зубы тебе заговаривать да клянчить насчет повышенного обязательства. Просто как бес вьется вокруг тебя в делянке. А теперь наоборот: ты вокруг него вьешься. А он горло поставил — не хуже Подрезова погромыхивает.

Когда Фокин повесил трубку и сел за подрезовский стол, Егорша с видом человека, очень хорошо понимающего главные заботы районного руководства, спросил:

— Чего-то не пойму, товарищ секретарь райкома... Все в части леса жалобы... Недооценка момента...

— Лес действительно поблизости вырублен,— сказал хмуро Фокин.

— Есть лес, товарищ секретарь. Мы на днях грибную вылазку делали — хорошую древесину видели. Первый сорт.

— Где такая?

— В Красноборье. Под самым боком у Сотюги.

Фокин вздохнул:

— Красноборье — лес колхозный...

— Но, как говорится, государственные интересы у нас превыше всего... Когда колхозы не шли навстречу Родине?..

Черный фокинский глаз, как-то вразброд гулявший до этого по залитому солнцем кабинету, прилип к Егоршиному лицу. Ему сразу стало жарко: неужели ляпнул что-нибудь не то?

— Какие у тебя планы насчет работы? Решил что-нибудь? — спросил Фокин.

— Нет еще. Но хочется, чтобы направили в разрезе профессии, поскольку в армии я был водителем машины у генерала...

— У генерала? — живо воскликнул Фокин.— То-то я смотрю на тебя да все ломаю голову: с каких это пор у нас такая форма у солдат? А ты вон какой важной птицей был! Самого генерала возил... Так, так... Ну, а если все-таки мы тебя в другом направлении двинем? А? Что ты на это скажешь?

На лесозаготовки, с упавшим сердцем подумал Егорша и сказал:

— Оно, конечно, лесной фронт во главе угла... Но ввиду семейных обстоятельств желательно, чтобы при доме, на широкой трассе, поскольку я только что похоронил деда...

— Значит, в колхоз решил? — сказал Фокин.— А если мы, скажем, в районе покрутиться предложим? Коммунальный отдел райисполкома знаешь? Дома, бани, пекарни, учреждения... Большое хозяйство. А скоро будет еще больше — растет у нас район. Очень важный участок. А он у нас оголен... Вот такие коврижки-коржики,— вдруг совсем весело и просто сказал Фокин.— Я думаю, хватит у тебя энергии, чтобы вытащить нашу районную коммунию. Ну, а мы, райком, поможем...

Егорша взмок от всех этих слов... Он готов был пойти в пляс, вприсядку, скакать до потолка, а то и со второго этажа прыгнуть — скажи только Фокин слово.

Самое большое, на что он рассчитывал, это снова сесть за баранку райкомовского «газика», а тут вон как — на руководящую, да и на руководящую-то какую! На отдел райисполкома, в номенклатуру райкома! Было от чего закружиться голове. Правда, иной раз приходили ему мыслишки, что и он бы мог быть каким-нибудь начальником — сколько их, олухов, развелось,— но дальше завхоза или начальника снабжения мечты его не шли, потому как понимал: с его семью классами, да и то незаконченными, по нынешним временам высоко не прыгнешь.

Фокин встал, по-подрезовски заложив руки за спину, вышел из-за стола, и Егорша, стоя навытяжку, так и начал крутиться вслед за ним. Как подсолнух за солнцем. А за кем же ему крутиться? Кто когда возносил его на такие высоты?

— Значит, так, Суханов,— сказал Фокин,— дней через десять заглянешь. Попробуешь... Сперва, конечно, врио, а там уж от тебя все будет зависеть. Как поворачиваться начнешь... Ясно?

— Ясно, товарищ секретарь. Суханов-Ставров не подведет.

2

Из райкома Егорша вылетел как застоявшийся жеребец — сила распирала его. И, честное слово, не будь это райцентр, дал бы строчку на километр, на два. А райцентр — ша, замри! Зануздай и захомутай себя.

Он любил дисциплинку, любил, чтобы было кому доложить и отрапортовать. И чтобы тебе сказали: правильно, Суханов! Молодец, Суханов! В разрезе линии шагаешь! А то бы и рыкнули при случае, ежели ногу сбил.

Раньше таким человеком для него в районе был Подрезов — вот чье одобрение и похвалу хотелось всегда заслужить. А сейчас оказалось, что и Фокин ничего — умеет команды подавать. Хорошо взял его поперворсти в работу, неплохой расчес дал.

Как раз в то время, когда Егорша выскочил из калитки райкомовского палисадника, на деревянном настиле у райпотребсоюза замаячил кумачово-закатный берет Чугаретти.

— Чугаев,— крикнул Егорша,— приставь ногу!

Чугаретти, направлявшийся к своей машине, которая стояла в заулке райпотребсоюза, напротив базара, где сейчас не было ни единой души, остановился. Он был ужасно мрачен, и от него несло сивухой.

— По случаю победы рванул?

— Не, с горя,— ответил Чугаретти и обиженно, по-детски ширнул своим широким негритянским носом.

— А конкретно, в расшифрованном виде?

— Чего — конкретно? Тот, Кондраха, уперся — никаких гвоздей. Слушать не хочет.

— Кондраха — это кто? Телицын, председатель райпотребсоюза?

— Ну.

Острое, до зуда в ладонях желание борьбы охватило Егоршу. Он посмотрел на плавящееся от солнца широкое итальянское окно на втором этаже, за которым сейчас сидел Фокин.

— Где у тебя документы?

— Какие документы?

— Наряды и все протчее.

— Нема бумаг. Иван Дмитриевич по телефону вчерась договаривался.

— Айда за мной!

Кондратия Телицына по его наружности давно бы надо поставить на конюшню: чистый мерин. Лицо длинное, пухлое, желтое от оспы, нос горбылем и плешь с головы до пят. Как Невский проспект в Ленинграде, где Егорше довелось-таки раз побывать. Правда, в торговом

деле Телицын дока. С дореволюционным стажем. Еще у купцов Володиных выучку прошел.

Егорша к нему в кабинет без стука и с ходу на басы:

— Это что за фокусы, товарищ Телицын? Я выхожу из райкома, а колхозный труженик, понимаешь, несолоно хлебавши от тебя... Не пойдет!

— С кем имею честь говорить? — спокойно, чуть ли не с позевотой спросил Телицын.

— Насчет чести покамест помолчим, товарищ Телицын. В данный момент твоя честь не очень чтобы очень... В подрыв колхозному строю!

— Точно,— подал откуда-то сзади голос Чугаретти.— У нас, понимаешь, снопы на молотилку не вожены, а машина где...

Егорша, не оглядываясь, махнул рукой: заткнись, тебя не спрашивают! Потом взял из пачки, лежавшей на столе у председателя, беломорину, не спеша размял ее, остукал о стол, не спеша закурил и, мало того, сел на стол сбоку — генерал у них всегда так делал, любил почесать красную генеральскую лампасину о стол подчиненного.

Что тут поделалось с Телицыным, этого и сказать нельзя. Желтое лошадиное лицо вытянулось чуть ли не до стола, плешь пошла багровыми пятнами... Но вот что значит смелость! Стерпел, подтянул нижнюю губу и даже как-то весь подобрался.

— Не мудри, не мудри, старик,— сказал Егорша и запросто, но в то же время и по-начальнически похлопал председателя по рыхлому загривку.— Кончай с этими старыми прижимами! — Намек на не очень революционное прошлое Телицына: на его службу у купцов Володиных.— Важную политическую кампанию срываешь. В показательные «Новую жизнь» выводим, а ты как помогаешь? Палки в колеса?

— Но я не могу отменять распоряжения райкома...

— Какие это распоряжения райкома? Я что-то не слыхал...

— Башкин сегодня звонил...

— Башкин?

Егорша на какую-то долю секунды замешкался. Кто такой Башкин? Новый человек в райкоме? Инструктор? Завотделом? Одно ему было ясно: не секретарь. А раз не

секретарь, можно немножко этого Башкина и осадить. Да и что ему делать? Поздно было отступать.

— Ох, опять мудрит этот Башкин...— озабоченно вздохнул Егорша.

— Башкин сказал,— как по газете начал читать Телицын,— чтобы все стекло, имеющееся в наличии на складах райпотребсоюза, передать Сотюжскому леспромхозу... ввиду того, что этот объект в настоящее время является ударной стройкой...

— Ну, правильно! — живо воскликнул Егорша.— Об этом же самом сейчас обсуждали у Фокина... Лес — это основа, товарищ Телицын, золотой фонд... А у нас картина в данный момент один минус. Худо работаем. На пятьдесят три процента план третьего квартала выполнили...

Телицын, медленно ворочая своей лысой головой, делал вид, что внимательно, с пониманием слушает этого необычного посетителя, а на самом-то деле — Егорша был уверен в этом — только и делал, что ломал свою лошадиную голову над тем, кто он, Егорша. Где служит? Старый, опытный волк — боялся сделать промашку: а вдруг да этот человек, так нахально развалившийся у него на столе под самым носом, какая-нибудь важная шишка!

Егоршу это забавляло. Но в конце концов он сжалился над стариком.

— Не верти впустую подшипниками. Новый зав коммунальным отделом райисполкома.— Егорша назвал свою фамилию, пожал руку председателю и сразу заговорил как равный с равным, как товарищ по работе.

— А в части стекла соображать надо, товарищ Телицын. Башкин ему сказал... А кто, Башкин будет отвечать за срыв коровника в Пекашине? Завершающий этап колхозного строительства на данную пятилетку... Башкину будет расчесывать кудри Подрезов?

Непонятно, как это раньше ему не пришло на ум имя Подрезова, зато сейчас ничего больше разъяснять Телицыну не нужно было. Все понял в один миг. Вот какой пароль это имя. Все двери открывает.

В общем, девять ящиков стекла Егорша вырвал. Ну, а насчет личного провианта вопрос решался без всяких прений. Два килограмма сахара, три восьминки чая, три буханки черного хлеба, две буханки белого — это Телицын отвалил сразу.

На улице Чугаретти, с восторгом глядя на Егоршу, воскликнул:

— Ну, товарищ Суханов, ты и мастер же по части заправлять арапа...

— Шлепай, шлепай,— снисходительно сказал Егорша.

В магазине народу не было — хлеб по спискам выдают с утра,— и продавщица, довольно смазливенькая чернушка, быстро отоварила его.

— Еще дымку подбрось, дорогуша, хоть пачечки две,— попросил Егорша.

— А дымку вам не положено,— ответила продавщица.

Действительно, про дымок Телицын забыл — Егорша обнаружил это уже тогда, когда вышел на улицу. Но возвращаться ему не хотелось. Да и самолюбие не позволяло. Какой же он, к хрену, завотделом райисполкома, ежели сельповский прилавок не сумел самостоятельно взять?

— Давай, давай, милуша, не разоришься,— зачастил Егорша, а главное, нажал на свой синий глаз с подмигом.

И глаз сработал: продавщица, улыбаясь, выбросила из-за прилавка две пачки «Звездочки».

Точно так же Егорша поупражнял свой глаз и на другой продавщице, из соседнего мясного и рыбного отдела, хотя на морду та была и не шибко съедобна. Он запомнил слова старшины Жупайло, который в минуты отдохновения любил поучать своих питомцев: «Сколько раз увидишь бабу, столько раз и выворачивайся чертом, а иначе в нужный момент можешь дать осечку».

3

— Все в порядке, Иван Дмитриевич! Привез девять ящиков — как в аптеке... Ну, жмот этот Кондраха! Гад буду, всю договоренность вашу похерил. Райком, райком — и никаких гвоздиков. Трясись обратно... Ставров помог! Как начал, начал Кондрахе массаж на лысину наводить, тот и копыта кверху — хоть все склады выворачивай...

— Ладно, Чугаев. Иди. До завтрашнего дня свободен.

Чугаретти угрюмо сверкнул своими беляшами, подождал, не скажет ли еще что хозяин, и вышел.

Загремела, застонала лестница под сапожищами, пушечным выстрелом бабахнули ворота на крыльце, а затем Лукашин услышал яростный визг и скрежет железа под окошком — Чугаретти заводил грузовик.

Анатолий Чугаев, при всей своей разбойной наружности, был как малый ребенок. Набезобразил, напортачил — выругай, хоть выпори — не обидится. Но уж если он сделал хорошее дело — приголубь, не пожалей хороших слов, а иначе он и не работник на другой день.

Лукашин хорошо знал эти причуды своего шофера, но разве ему сейчас до этого было? Разве человек, у которого пожар в доме, улыбается? А у него был пожар — плотники опять удрали на выгрузку. И когда! Среди бела дня, чуть ли не у него, председателя, на глазах.

Первой мыслью его было кинуться к реке: сволочи! Что делаете? Неужели не понимаете, что ежели коровник к холодам не будет готов, вся скотина померзнет?

Но он взнуздал себя — пошел в контору. Он ходил уже раз на берег, разговаривал с пьяными мужиками, а что вышло? Кричал, разорялся, грозил стожки отнять, а сегодня чем грозить?

На задворках, за амбарами, там, где новый коровник, догорало усталое, натрудившееся за день солнце. Красные лучи его насквозь прошивали колхозную контору, скользили по худому, небритому лицу Лукашина, который затравленно, как волк, бегал из угла в угол.

Что делать? Как совладать с этими мужиками?

Была, была одна закрутка — дать выставку из своей деревни. Решением общего собрания колхозников. За невыработку минимума трудодней и нарушение колхозной дисциплины. Кое-где подтягивали так подпруги в сорок восьмом — сорок девятом годах. Но, во-первых, плотники у него все сплошь инвалиды — какой с них спрос? Благодари бога, что вообще что-то делают. А во-вторых, даже если бы и удалось кого-нибудь закатать — разве это выход?..

Долго, до темноты раздумывал Лукашин, прикидывал так и этак. И ничего не решил — все с той же сумятицей в голове вышел из конторы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Пекашино гуляло.

И добро бы только мужики завелись — без этого ни одна выгрузка не обходится,— но сегодня, похоже, и баб и девок закружило.

У миленочка одиннадцать,
Двенадцатая я.
Он по очереди любит,
Скоро очередь моя.

Задушевная подруга,
Супостаток сорок семь,
Я на это не обижусь,
Погулять охота всем.

Горе нам, горе нам,
Горе нашим матерям.
Выдай, маменька, меня —
Не будет горя у тебя.

Девкам Лукашин не удивлялся. Молодость. Самой природой положена любовь в эти годы. И что же им делать, когда на весь колхоз один стоящий парень — Михаил Пряслин? Топчи свой девичий стыд, хватай крохи с чужого стола, а то так и засохнешь на корню, как засохли твои старшие подруги, юность которых пала на войну.

Но бабы, бабы... вдовы солдатские... У них-то откуда берется сила?

Разуты, раздеты, жрать нечего — старухи беззубые, какая им любовь? А ну-ко послушай — кто это врезался своим хрипловатым, простуженным голосом в звонкие девичьи переборы?

Да, жизнь брала свое. И всходили всходы, первые послевоенные всходы — хилые, худосочные, не знающие ни мужского догляда, ни ласки. Дички, имя которым безотцовщина...

Долго, до тех пор, пока Лукашин не вошел в дом Житовых, рвали его слух то тут, то там вспыхивающие в осенней темени задорные частушки.

На кухне у Житовых была одна хозяйка. Выгнув полную белую шею, она сидела за кроснами — массивным ткацким станком — и при свете лампы ткала холст.

Кросна из жизни деревни ушли еще перед войной, но сейчас многие из тех, у кого они уцелели, годами пылясь по темным углам повети и клетей, снова запрягли их в работу.

Труд допотопный, на износ: ведь надо коноплю и лен посеять, убрать с поля, вымочить в яме, высушить, превратить в волокно, потом волокно это спрясть, выбелить, навести основу...— каждый аршин холста выходил золотым. Но что делать? Голым ходить не будешь — приходится идти и на этот труд.

— Где хозяин? — спросил Лукашин.

— В клубе своем, наверно.

— В каком клубе?

— В бане. Так они, пьяницы, зовут нынче нашу баню. Раньше в те годы, все тут, на кухне, табак жгли, а зимой я с кроснами разобралась — выгнала. Вот они и обосновались в бане.

Лукашин вышел на крыльцо. Из кромешной осенней темени на задах действительно лучился свет.

Как же он раньше-то не догадался об этом? Ведь сколько раз видел этот свет по вечерам! И еще удивлялся: ну какие чистюли эти Житовы — чуть ли не каждый день в бане моются...

2

Лукашину не раз приходилось бывать в бане Житовых, которая для хозяина одновременно служила столяркой. Поэтому, выкурив на крыльце папиросу, он довольно уверенно двинулся по тропинке на свет на задах огорода.

Крепкий мужичий хохот докатывался оттуда. Взрывами, залпами. Как будто там то и дело метали жар на раскаленную каменку.

Когда он наконец, изрядно вымочив в картофельной ботве брюки на коленях, вышел к бане, к нему из темноты прыгнула ласковая мохнатая собачонка, и он понял, что тут в числе прочих есть и Филя-петух.

Собак в Пекашине сейчас было три: Найда, злая, свирепая сука, заведенная объездчиком Яковлевым на смену Векше, которую года три назад переехало грузовиком, голосистый щенок Пряслиных и вот эта самая малорослая шавка, которую нынешней весной всучил Филе какой-то приятель с лесопункта за старые долги.

Верка, жена Фили, поначалу выходила из себя: в доме самим жрать нечего — до собаки ли? Но Филя, по его же собственным словам, раза два сделал Верке внушение — крепкие, увесистые у него кулаки, хоть сам и маленький,— и собачонка осталась.

Лаская рукой игриво прыгающую вокруг него Сильву — такое имя было у собачонки,— Лукашин тихонько вошел в сенцы, ощупью отыскал скобу на дверке и вдруг услышал свою фамилию:

— Лукашин-то прищучит? Да клал я на него с прицепом. Чего он мне сделает? Поразоряется, поразоряется да сам же и поклонится...

Игнатий Баев ораторствовал — его блудливый голос разливался за дверкой.

— Не скажи,— возразил ему Петр Житов.

Но тут с треском, с грохотом начали припечатывать костяшками — в бане забивали «козла»,— и какое-то время только и слышалось оттуда про азики, про рыбу, про мыло. Потом, когда игра понемногу выравнялась и страсти поулеглись, Игнатий Баев опять принялся трясти его, Лукашина. Дескать, какого хрена перед ним на задних лапах ходить? В случае чего ведь можно и выставку дать — колхоз у нас, а не частная лавочка.

— Полегче на поворотах,— раздался предостерегающий голос Петра Житова.— Советую.

— А что?

— А то. В Водянах один все глотку надрывал, знаешь, теперь где?

— Это Васька-то беспалый?

— Хотя бы.

— За Ваську не беспокойтесь,— живо вмешался Аркашка Яковлев.— На днях письмо было. Ничего, говорит, края сибирские,— жить можно. Без коклет да без компоту за стол не садимся — на золотых приисках вкалывает. И бабе своей тысчонку да посылку сварганил.

— Ну вот видишь? — торжествующе воскликнул Игнатий.— А мы с тобой много этих самых коклет да компоту едали? И потому, вот что я тебе скажу. Он хоть и чужак-чужак, а понимает: без нашего брата ему никуды...

— Кто чужак? — вскричал Чугаретти.— Иван Дмитриевич? Не согласен!

Тут в бане поднялся страшный шум и галдеж. Игнатий Баев, Аркашка Яковлев, Филя-петух — все трепали

и рвали Чугаретти, учили уму-разуму: дескать, не вылезай из общей упряжки, не холуйничай, не сучься.

Чугаретти попервости огрызался, тому, другому сдачи давал, но под конец и он запросил пощады:

— Да что вы, понимаешь, все под дыхало да под дыхало! Когда Чугаретти сукой был? Чугаретти, понимашь, всю жизнь по честности...

Лукашин решил воспользоваться шумихой в бане и дать задний ход — все равно теперь никакого разговора с мужиками не будет, а ежели и будет, то один крик,— но тут на дороге у Житовых взыграли частушки, и вскоре в огороде зашаркали сапоги.

Неужели какая-нибудь баба шлепает сюда, чтобы выманить на улицу мужиков?

Нет, девки и бабы скорее всего гнались за Михаилом Пряслиным — его упрямый, с поперечной бороздкой подбородок, освещенный малиновой цигаркой, качнулся в темноте у порога.

Прижавшегося к шероховатой, пропахшей дымом стене Лукашина больно ударило дверкой по ногам, желтая полоска света наискось разрубила темные сенцы.

В бане взвыли от радости:

— Мишка, ты?

— Давай, давай сюда!

— Хочешь за меня постучать?

— Я тоже могу уступить.

— Не, играйте,— сказал Михаил и с треском опустился не то на скамеечку, не то на какой-то ящик.

Тем временем бабы и девки на дороге опять начали подавать свои позывные, и Аркашка Яковлев рассмеялся:

— Какая ему игра сегодня? Вишь ведь, какой спрос на него...

— Ну как, Пряслин, крепко угостил зятек? — полюбопытствовал Петр Житов.— Говорят, из района приехал — воз всякой продукции навез.

— Тащил бы его сюды — может, и нам чего откололось.

— Ну уж нет! — сказал Аркашка.— Ежели с кого и приходится сегодня калым, дак с самого Мишки.

— С меня? Это за что же?

— За что? А хотя бы за то, что из холостяков выписываешься.

— Мишка, правда?

— Неуж к нашему берегу надумал?

— Ух и девка же эта Райка! М-да-а-а...

— А я бы, мужики, век с холостяжной жизнью не расставался,— сказал Филя-петух.

Все так и грохнули.

У Фили-петуха в тридцать два года только в одном Пекашине насчитывалась дюжина ребятишек (пятеро в своей семье да семеро россыпью по всей деревне). А кроме того, был еще немалый приплод на лесопункте, где он каждую зиму отбывал трудповинность. Черт его знает что за человек! Сам маленький, щупленький, бельмо на одном глазу, а юбочник — каких свет не видал.

Игнатий Баев — хлебом не корми, а дай поточить зубы — сказал:

— Ты хоть бы, Филипп, раскрыл нам свои секреты, поделился опытом передовика на данном фронте...

— Чего, скажи, мне делиться-то,— ответил за Филю Аркашка (тоже ерник не последний).— Надо, скажи, патриотом быть, сознательность иметь. Верно, Филя?

— Да, я, мужики, это дело уважаю. Моему здоровью оно не вредит...

Простодушный ответ Фили вызвал новый взрыв смеха, затем Аркашка, явно желая продолжить удовольствие, подбросил еще одно полено в огонь.

— Ну, чего я говорил! — воскликнул Аркашка на полном серьезе.— Он в бабку свою Дуню, да, Филя? Ту, бывало, у нас дедко до самой смерти хвалил. За эту самую сознательность. К другой, говорит, идти — надо тетеру или еще какой провиант прихватить, а Дунюшка, говорит, ничего не спрашивает — только чтобы сам в исправности был...

Положение у Лукашина было самое идиотское. Ведь если его накроют мужики за подслушиванием — скандал на всю деревню. Да и не только на деревню. На весь район. А с другой стороны — что делать? Кто-то из мужиков, как назло, толкнул в сенцы дверку — наверняка чтобы дым табачный выпустить,— и он в углу за этой дверкой оказался как в капкане: не то что двинуться к выходу — пошевелиться нельзя.

Между тем в бане перестали стучать костями, и по всем признакам было ясно, что мужики вот-вот начнут расходиться: шумно, с потягом зевали, слова из себя выжимали нехотя, подолгу молчали. И вдруг, когда Лукашин уже решил было поднять в сенцах шум и грохот,

а затем с беззаботным видом ввалиться в баню — надо же было как-то выбираться отсюда! — за дверкой опять разгорелся спор. И какой спор! Как будто специально по его, Лукашина, заказу — о том, что делать завтра. Можно ли взять с утра азимут на берег, к орсовскому складу? (Игнатий Баев так выразился — разведчиком на войне был.)

Четверо — Аркашка Яковлев, Филя-петух, сам Игнатий и тугодумный молчун Вася Иняхин (первый раз открыл рот за весь вечер) — без колебаний высказались за. Чугаретти, как шофер, был не в счет. Петра Житова, наверно, не спрашивали из уважения к его положению.

Оставался еще Михаил Пряслин — его ответа ждали.

Наконец Михаил сказал:

— Я поближе к вечеру подойду.

Тут баня заходила ходуном. Кто яростно наседал на Михаила (дескать, друзей, товарищество подрываешь), кто, наоборот, с такой же горячностью защищал его (у Пряслина нет в кармане белого билета — можно и застучать), кто вдруг ни с того ни с сего начал восхвалять Худякова. За то, что у Худякова завсегда люди с хлебом...

На это Чугаретти сказал:

— А чего дивья? Потайные поля у него...

Чугаретти, как всегда, не поверили, его начали уличать во лжи, в завиральности до тех пор, пока свое веское слово не произнес Петр Житов:

— Насчет потайных хлебов не скажу, может, и брехня. А то, что у Худякова голова шурупит, это факт. И про нашего брата думу имеет — тоже факт.

После некоторого молчания — это, между прочим, всегда так бывает, когда Петр Житов высказывается,— Игнашка Баев раздумчиво сказал:

— Некак приспособиться — вот в чем вся заковыка. Никакой щели не осталось — все запечатали. У меня зять Николай пишет, на Украине живет: все яблони, говорит, у себя похерил.

— Как это похерил?

— Порубал. Каждую яблоню налогом обложили.

— А у нас покамест сосны да ели еще обложить не догадались.

Тут опять в разговор вмешался Петр Житов: заткнись, мол, не на те басы нажимаешь.

— Пошто не на те? Я по жизни говорю!

— А я говорю, включи тормозную систему. Спокойнее спать будешь по ночам. Понял?

Лукашин не мог больше оставаться в своем закутке — вот-вот попрут на выход мужики, — и он, уже не заботясь о тишине, с шумом, грохотом ринулся в ночной огород.

3

Ну и сволочи! Ну и сволочи... Нет, какие сволочи! Лукашин — чужак, Лукашин жить им не дает...

Да, за эти полчаса-час, что он стоял, затаясь, в сенцах, он узнал пекашинцев, пожалуй, больше, чем за все пять лет своей председательской работы. Да и председательствовал ли он? Был ли хозяином в Пекашине? Не Петр ли Житов со своей компанией вершил всеми делами? Ведь что, по существу, было сейчас в бане у Житовых? А заседание мужичьего правления. Да, да, да! Нечего тень на плетень наводить. Все обсудили, все порешили: как быть с выгрузкой, кому можно идти, кому остаться на колхозной работе...

Лукашин шагал в кромешной темноте осеннего вечера, думал о том, что приоткрылось ему только что в житовской бане, а девки и бабы по-прежнему трезвонили свое.

У клуба его опознали, и вслед ему полетели знакомые припевки:

Это что за председатель,
Это что за сельсовет?
Сколько раз я заявляла:
У меня миленка нет!

Девок много, девок много,
Девок некуда девать.
Из Москвы пришла записка —
Девок в сани запрягать.

У кого миленка нет,
Заявляйте в сельсовет.
В сельсовете разберут,
Всем по дролечке дадут.

В правлении горел свет. По сравнению с чахлыми коптилками в домах колхозников он походил на маяк — вот что значит лампа со стеклом.

Но кто же там сейчас? Ганичев?

Ганичев, уполномоченный райкома по хлебозаготовкам, каждый вечер приходил в контору и сидел тут дол-

го, до часу ночи. На случай, если позвонит районное начальство. Времени, однако, он зря не терял: оседлав железными очками свой сухой, костлявый нос, штудировал «Краткий курс», который, впрочем, и так знал чуть ли не наизусть, либо читал другую политическую литературу.

— Ну, как дела в Водянах? — спросил Лукашин.

Ганичев почти неделю пропадал у соседей, где он тоже шуровал по хлебным делам.

— Порядок. Мы там ценную инициативу проявили — круглосуточные посты дежурства на молотилках организовали. У вас это тоже надо сделать.

— У нас не то что посты — хлеб некому убирать.

— Это другой вопрос — организация труда,— сказал Ганичев.— А я в данный момент на бдительности и охране зерна заостряю.

— А сам-то ты как? Ел сегодня? — чисто по-человечески поинтересовался Лукашин.

— Давеча немного в Водянах подзаправился.

— А чего же к нам не зашел? Жена бы накормила.

Ганичев что-то невнятно пробормотал себе под нос и опустил глаза.

Лукашин про себя обиженно хмыкнул: тоже мне невинная девица! Как будто ему в новинку подкармливаться в ихнем доме. Да не бывало дня, чтобы, приехав в Пекашино, Ганичев не пил и не ел у них. А когда Лукашин ехал в район, Анфиса специально совала ему шаньги да ватрушки — гостинцы для вечно голодных ребятишек Ганичева.

Пройдя к своему председательскому столу, Лукашин полез в ящик: страсть как хотелось курить. Последнюю папиросу он выкурил еще на крыльце у Житовых.

Ничего! Даже самого завалящего окурка не было. Ну, а Ганичева насчет курева и спрашивать нечего. Ганичев курил. И курил жадно, взасос, но только тогда, когда его угощали, а своего табака не имел. Не мог тратиться — дай бог дома концы с концами свести.

Лукашин снова начал рыться в столе, даже бумаги из ящика начал выкладывать, и вдруг рука его в глубине ящика наткнулась на какой-то острый, колючий камень.

Он вынул его, положил на стол.

Странный какой-то камень — серый, очень легкий и с вмятинами.

— Чего там нашел? — спросил Ганичев.

Лукашин взял камень в руки — пальцы влипли во вмятины. Плотно. Емко. Настоящий кастет! Только слишком легкий...

И вдруг вспомнил, что это такое. Хлеб. Хлеб, которым его угостила когда-то Марья Нетесова. В тот день, когда они с Ганичевым подписывали Нетесовых на заем. Он сунул тогда этот страшный мокрый кусок, похожий не то на черное мыло, не то на глину, в карман шинели и всю дорогу до самого правления сжимал его в кулаке. Вот откуда эти глубокие вмятины, в которые так плотно вошли его пальцы.

Ганичев что-то говорил ему, спрашивал, но что — Лукашин не мог понять. Он только видел его железные зубы. Крепкие железные зубы на худом, голодном лице...

Так ничего и не сказав ему, он вышел на улицу, сжимая в кулаке проклятый сухарь.

...Никто не думал, что умрет Марья. Когда хоронили Валю, все боялись за Илью. Потому что все знали, как он любил дочку. А Марья — что же? О Марье и речи не было. Да и на похоронах она держалась не в пример своему мужу. Того прощаться с Валей (перед тем как заколотить гроб) привели под руки, а Марья — нет. Марья сама отпела дочку, сама курила над ней ладаном, а на кладбище даже лопату в руки взяла, чтобы помочь ему, Лукашину, поскорее зарыть могилу,— никого из мужиков, кроме него, не было в деревне, все были в лесу на месячнике.

И вот не прошло после похорон Вали и полугода, как вдруг однажды утром, хватаясь за косяки дверей, вваливается в избу Анфиса — за водой ходила:

— Илья Нетесов еще одну покойницу привез... Марью...

— Марью? Жену?

— Да. С тоски, говорят, по Вале померла...

На этих похоронах Лукашин не был: его в тот день вызвали на бюро райкома с отчетом о строительстве скотного двора. И — чего скрывать — он был рад этому вызову. Потому что он боялся встречи с мертвой Марьей. Потому что, как ни крути, ни верти, а есть, есть его вина в смерти обеих — и дочери и матери...

Сухарь, зажатый в кулаке, начал покрываться слизью, и на какое-то мгновение Лукашину показалось,

что вовсе и не было этих долгих трех лет, что все по-старому, все так, как было в тот день, когда они с Ганичевым возвращались от Нетесовых...

Сверху, из непроглядного мрака ночи, на разгоряченное лицо упало несколько прохладных капель. Неужели дождь будет? — подумал Лукашин. Ну тогда хоть живым в землю ложись. Мужики с утра удерут на выгрузку, и никакими веревками их оттуда не вытянешь: законно! Сам бог за них...

Зашуршало, залопотало над головой (вот куда его в темноте занесло — к маслозаводу, где стоял один-единственный тополь в Пекашине) — припустил дождик. У клуба кто-то жалобно, словно нарочно бередя ему сердце, пропел:

Конь вороной,
Белые копыта.
Когда кончится война,
Поедим досыта.

Лукашину вспомнился мужичий разговор про потайные поля у Худякова. Да, вот с кем ему хотелось бы сейчас поговорить — с Худяковым.

Давай, Худяков, раскрой свои секреты. Расскажи, как ты ухитряешься накормить своих колхозников. А у меня ни хрена не получается. Бьюсь, бьюсь как рыба об лед, а толку никакого. Все один результат: весной сею, а осенью выгребаю...

Дождик кончился внезапно — тучка, наверно, какая-то проходная брызнула.

Надо действовать! Надо во что бы то ни стало, любой ценой удержать мужиков на коровнике. А иначе — гроб. Гроб всем — и коровам и колхозу...

4

— Кто там?

— Я, Олена Северьяновна. К хозяину.

На какой-то миг за воротами наступила мертвая тишина (Олена, видно, раздумывала, как ей быть: открывать или не открывать), и Лукашин отчетливо услышал шаги в ночной темноте по дороге. И даже чуть ли не разочарованный вздох. Это Нюрка Яковлева отвалила.

Нюрку встретил он напротив дома Фили-петуха и, хотя была кромешная темень, сразу узнал ее по накалу серых неспокойных глаз.

— Что, Нюра, на осеннюю тропу вышла?

И вот столько и надо было Нюре. Живехонько пристроилась сбоку, пошла, похохатывая и скаля в темноте зубы...

Глухо, как отдаленный гром, прогремела железная щеколда. Лукашин вошел в знакомые сени и, шагая вслед за Оленой, от которой волнующе пахло теплой постелью, переступил порог кухни.

В кухне горела коптилка. Белым ручьем вытекал холст из сумрака красного угла.

— Вставай! — услышал Лукашин сердитый голос из-за приоткрытых дверей.— Председатель пришел.

— Какой председатель?

— Какой, какой! Какой у нас председатель?

— Я, между прочим, не звал никакого председателя.

— Не выколупывай, дьявол, а вставай. Начитается всяких книжек и почнет выколупывать. Слова в простоте не скажет.

В избяной тишине жалобно охнула пружина, потом что-то стукнуло о пол («Костыль берет»,— подумал Лукашин), и вскоре из передней комнаты вышел Петр Житов. Хмурый, недовольный, в одном белье.

— Ты уж, Петр Фомич, извини, что в такое время беспокою...

— Лишний звук! К делу.

Опираясь на крепкий березовый костыль своей работы, Петр Житов проковылял к столу, сел на свое хозяйское место и гостю кивнул на табуретку возле стола.

Лукашин присел.

— Ты знаешь, зачем я пришел, Петр Фомич. Так что давай выкладывай.

— А чего мне выкладывать? За других не скажу, а завтра к реке иду.

— На выгрузку?

— Вроде.

— Так,— медленно сказал Лукашин.— А как с коровником?

— А у коровника хочу отпуск взять. По инвалидности,— добавил Житов, чтобы сразу же исключить всякие недомолвки.

— Ясно. Работать на коровнике не можем — инвалидность мешает, а таскать мешки — это мы пожалуйста...

Петр Житов покачал головой.

— Я думал, у тебя, товарищ Лукашин, пониманье есть, сердце... А ты... Эх ты! Чем вздумал попрекать Петра Житова? Выгрузкой? А ты не видал, нет, как Петр Житов идет на эту самую выгрузку? Полдороги пехом да полдороги ребята под руки ведут... Понял? Вот как Петр Житов на выгрузку идет. Дак как думаешь — есть от такого грузчика польза? Выгодно со мной мужикам?

Темная, лопатой лежавшая посреди стола волосатая ручища судорожно сжалась. Короткий всхлип вырвался из груди Житова.

— Да ежели хочешь знать, мне каждая буханка, каждый кусок с берега поперек горла. У мужиков ворую. Понял?

Да, Лукашин знал, что это за каторжный труд — выгрузка. Бывал весной. До дому кое-как от реки доберешься, а чтобы поесть, попить чаю — нет: замертво валишься. Так ведь то его, здорового мужика, так выматывает, а что же сказать о Петре Житове с его деревягой?

Темная тяжелая рука лежит на столе перед Лукашиным. Указательный палец торчит обрубком, большой палец раздавлен — в прошлом году бревном на скотном дворе прищемило,— мизинец скрючен... А сколько на ней, на этой руке, белых рубцов — порезов и порубов!

Нелегкая, неласковая рука. Но все, все, что делалось в ихнем колхозе за последние пять лет, делалось этой рукой. Аркашка Яковлев, Игнатий Баев, а тем более Василий Иняхин и Филя-петух — ну какие они сами по себе мужики? Топора и пилы не наставить, самая что ни есть нероботь...

Да как же я раньше-то этого не понимал? Всю жизнь считал Петра Житова за своего врага, думал: он мутит воду, он палки в колеса ставит. А что бы я делал без этого врага?

Лукашин достал из грудного кармана пиджака растрепанный блокнот, вырвал листок и быстро написал записку.

— Вот. По пятнадцать килограмм ржи на плотника. Можете завтра с утра на складе получить, да только, пожалуйста, потише. Незачем, чтобы вас все видели...

Петр Житов надел очки, внимательно прочитал записку. Положил, подумал.

— С огнем играешь.

— Ладно,— махнул рукой Лукашин. Не все ли равно, из-за чего пропадать: из-за разбазаривания хлеба в период хлебозаготовок или из-за массового падежа скотины, который начнется с наступлением холодов.

Петр Житов закурил. Лукашин тоже наконец прополоскал свои легкие махорочным дымком.

Эх, если бы еще он догадался захватить бутылку! Вот бы и посидели, вот бы и поговорили по душам. А то что это такое? Пять лет он живет в Пекашине, а все както сбоку, все в одиночку...

— А все-таки зря ты разоряешься из-за этого коровника...

— Зря? — Лукашина будто обухом по голове хватили. Ведь он думал: поняли они наконец друг друга.— Почему зря?

— Да потому... Чего он даст нам, этот коровник?

— Я думаю, ясно чего: молоко. Раз земледелие в наших условиях разорительно, какой же выход?

— Ерунда,— насупился Петр Житов.— Нас, ежели хочешь знать, и так коровы съели... Молоко... Ну-ко прикинь, чего нам стоит литр молока. Рубля два с половиной. А сколько нам за литр платят? Одиннадцать копеек...

Лукашин молчал. Ему нечего было возразить. Каждый мало-мальски умный человек понимал это. И разве они с Подрезовым не об этом же самом говорили на Сотюге? Но что делать? Не может же он сказать Петру Житову: правильно! Махнем рукой на коровник.

За приоткрытой дверью тяжело ворочалась во сне на кровати полнотелая Олена. На улице под окошком что-то хрустнуло — неужели кто-то там стоял?

Лукашин разудало и беззаботно тряхнул головой:

— Так, значит, договорились? Завтра с утра на коровник? — И, быстро сунув руку хозяину, выскочил на улицу.

Ночное небо прояснилось — хороший день будет завтра.

Эх, подумал с горечью Лукашин, глядя на мерцающую звездную россыпь над головой, и у них на небосводе с Петром Житовым проступила было ясность. Да только ненадолго, всего на несколько минут. А теперь, похоже, опять все затянет облажником...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

В ту самую минуту, когда по сосновой крышке гроба застучали первые горсти земли, Лиза, задыхаясь от слез, дала себе слово: каждый день хоть на минутку, на две забегать на могилу к свекру.

И не сдержала слова. Ни на другой день, ни на третий, ни на четвертый...

Бегала, моталась мимо кладбища туда-сюда — то на коровник, то с коровника — сколько раз на дню? А ничего не замечала, ничего не видела: ни нового столбика, белеющего в соснах за дорогой, ни самих сосен — те-то уж просто за подол цеплялись. Одна думушка владела ею: когда увижу Егоршу?

И даже вчера, в девятый день, не выбралась к дорогому покойнику.

Вчера с Егоршей они уговорились: днем, как только он вернется из района, всей семьей, всей родней сходить на могилу, а затем, как положено, справить поминки.

Но Егорша вернулся только поздно вечером и распьяным-пьянехоньким. Да мало того: стал куражиться, похваляться какой-то большой должностью, которую ему в районе дали, а потом, когда она, Лиза, начала выговаривать ему все, что у нее накипело на сердце за день, просто взбесился: не тебе, навознице, меня учить!.. Скажи спасибо, что тебя на свет вывели...

А тут, как на грех, в избу вошел Михаил и все, все высказал Егорше: дескать, ты довел дедка до могилы! Своим письмом довел... Из-за тебя старик на Синельгу побрел...

Оба кричали, оба орали — только что кулаки в ход не пускали. И это в девятый-то день!

Тихо, с покаянно опущенной головой подходила Лиза к могиле.

Холмик у Макаровны колосился высоким, тучным ячменем — Лиза весной его посеяла,— а могила Степана Андрияновича была голая, по-сиротски неуютная, с двумя неокоренными сосновыми жердинками, вдавленными сверху в желтый песок. Черные угольки валялись по обе стороны заметно осевшего бугра — остатки от кадильницы с ладаном, которым Марфа Репишная окуривала могилу...

Лиза опустилась на колени.

— Ты уж, татя, прости меня, окаянную. С ума я сошла... Начисто потеряла и стыд и совесть... Вчера-то уж я знала, что ты меня ждешь... Да я... Ох, татя, татя... Хватит, порасстраивала я тебя немало и живого, а что — таить не буду... Опять у нас все вкривь да вкось пошло... Я уж, кажись, все делала, все как лучше хотела, веником и метелкой вокруг него бегала, а ему — не знаю чего и надо... Ох, да что тебе сказывать, ты ведь и сам все видишь...

Тут Лиза, сложив руки на груди, подняла кверху заплаканное лицо да так и застыла.

Ну не диво ли? Не чудо ли на глазах сотворилось? Из дому вышла — туман, коров провожали — туман, и сюда шла — тоже туман, чуть не руками разгребала. А вот сейчас солнце и радуга во все небо...

Это татя, татя меня успокаивает, он бога упросил солнце выкатить, растроганно подумала Лиза.

Спустил ее на грешную землю Игнатий Баев, который вдруг, как медведь, вылез сбоку, треща сухими сучьями. Да не порожняком, а с мешком за плечами — вот что больше всего поразило Лизу.

Да откуда же это он? Что у него в мешке? — подумала она, провожая глазами нескладную, долговязую фигуру, и тут же устыдилась своей суетности: господи, в кои-то поры выбралась к свекру на могилу, так нет того, чтобы хоть полчасика мыслями и сердцем побыть с ним,— начала по сторонам глазеть.

Однако сколько ни стыдила и ни совестила себя она, Игнат Баев не выходил у нее из головы, а тут вскоре, к ее великому удивлению, и еще один мешочник на кладбище объявился — Филя-петух.

— Филипп, откуда вы это с мешками? Чего тащите?

Филя три года проходу ей не давал. Где ни встретит, когда на глаза ни попадешься, начнет хихикать да своим кривым глазом подмигивать: когда, мол, дролиться начнем? Страсть какой охотник до баб! А тут она сама окликнула — не только не остановился, стал удирать от нее. Как сорока-белобока занырял в сосняке, так что она с трудом догнала его.

— Откуда это ты, Филипп? Что за моду взяли — по кладбищу с мешками разгуливать? Дороги для вас нету?

— Да я это, вишь, так... Вишь, свернул маленько,— заблеял Филя и уж так старательно начал осматривать-

ся кругом, как будто тут не беломошник растет, а золото рассыпано.

Лиза пощупала рукой в мешке. Зерно.

— Ох, прохвосты, жулики! Дак это вы с молотилки жито воруете!

— Да ты что — спятила? — ахнул Филя.

— Не спятила! Откуда еще хлеб можно взять? Вон как! Люди — в чем душа держится, а мы дорожку к молотилке проторили. Через кладбище. Никто не увидит, не догадается...

Филя божился, заклинал ее: нет и нет, близко у молотилки не был,— и под конец, когда она, распалившись, уже перешла на крик, признался: на складе получил.

— На складе? — страшно удивилась Лиза.— Да когда об эту пору колхозникам на складе давали? Заповедь не выполнена...

— Председатель немножко выписал. Для плотников... Только ты не сказывай никому. Нельзя это... Чтобы тихо все...

— А Михаил-то наш тоже получил?

— Не знаю, девка. Я вроде как его там не видел.

— Как не видел? На складе не видел или в ведомости?

— На складе.

Лиза наконец отпустила Филю — чего зря воду в ступе толочь — и, вздохнув, пошла к могиле.

Нет, тут что-то не то, подумала она. Михаила не видел... А почему? Иголка Михаил-то?

Она посмотрела вокруг, покачала сокрушенно головой и побежала к своим.

2

Слух о том, что в колхозе дают хлеб, с быстротой ветра облетел утреннее Пекашино. Жнеи, доярки, молотильщицы, подвозчицы кормов — все кинулись к хлебному складу на задворках у Федора Капитоновича.

Василий Павлович, колхозный кладовщик, не растерялся — вовремя успел выкатить к дверям какую-то старую телегу, бог весть почему оказавшуюся в хлебном складе, и это больше всего выводило из себя разъяренных баб.

— Вот как! Мы не люди? Нам не то что хлеба — ходу на склад нету!

— Да это с кем ты придумал?

— Бабы, чего на него смотреть! Нажимай!

Телега затрещала, сдвинулась с места, но Василий Павлович уперся своими толстыми коротышками и откатил назад.

Тогда тихая, набожная Василиса решила пронять его жалобным словом.

— Ты, Васильюшко, неладно так делаешь. Раз уж одним дал, дак и других не обижай. Мы в войну из хомута не вылезали и теперека на печи не лежим. А поисть-то хлебца, Васенька, всем охота...

— Дура! — завопили со всех сторон на Василису.— Нашла кого уговаривать да совестить.

— Ему что! Он, боров, рожу наел — разве поймет нашего брата?

Тут в кладовщика через головы баб полетели камни и палки — это уж Федька Пряслин со своей бандой вступил в работу. Никто из ребят в это утро не дошел до школы, все завязли в заулке у склада. Орали, толкались, колотили матерей по спинам, по тощим задам, готовы были зубами прогрызть себе лаз в склад: теплым зерном несло оттуда.

Один камень угодил кладовщику в плечо, и Василий Павлович заорал благим матом:

— Да вы что — с ума посходили? Я, что ли, председатель? Мое дело выдать, когда бумага есть. А где у вас бумага?

— А и верно, бумаги-то у нас нету,— спохватился кто-то в толпе.

— К председателю надо!

— Да где он, председатель-то? Еще даве чуть свет в поскотину укатил.

— Неужели?

— Дак это они сговорились, сволочи!

— Знамо дело — не без того же.

— Ну и паразиты! Ну и прохвосты!

— Кто паразиты? Кто прохвосты? Кому нужна подмога Советской Армии?

Егорша подходил к складу — его беззаботный и ликующий голос взмыл над орущей толпой.

Нюрка Яковлева схватилась за платок, Манька Иняхина, коротыга, привстала на цыпочки, да и другие бабы, которые помоложе, не отвернулись. Не часто, не каждый день такое увидишь: руки в брюки, хромовые сапожки

горят на ноге и улыбка во всю ряху — своя, нашенская, от души.

— Ну, из-за чего разоряемся? — спросил Егорша, игриво щуря свой синий глаз.— Почему шуму много, а драки нет?

— Да в том-то и беда, что драка,— отозвался из склада Василий Павлович.

— Какая драка? Штаны с тебя снимают, а ты упираешься? — Егорша опять по-свойски подмигнул, адресуя свою улыбку сразу всем бабам.

— Хлеб требуют. Хлеб приступом хотят взять.

— Хлеб? Какой хлеб? — Егорша перестал улыбаться.

— Какой, какой! Известно какой. У людей перво-наперво как бы с государством рассчитаться, заповедь выполнить, а у нас первая забота — как бы брюхо свое набить...

— Врешь, ирод! Мужикам-то небось давал...

— Тихо! — вдруг грозно, по-командирски рыкнул Егорша. Затем, не дав опомниться растерявшимся бабам, быстро разгреб их по сторонам, занял позицию у телеги, перегораживающей вход в склад.— А ну назад! Сдай, говорю, назад. Живо! Яковлева! — окликнул он по фамилии Нюрку.— Бери подол в зубы и чеши, покамест не поздно. А ты чего, Иняхина? Советской власти у нас нету?

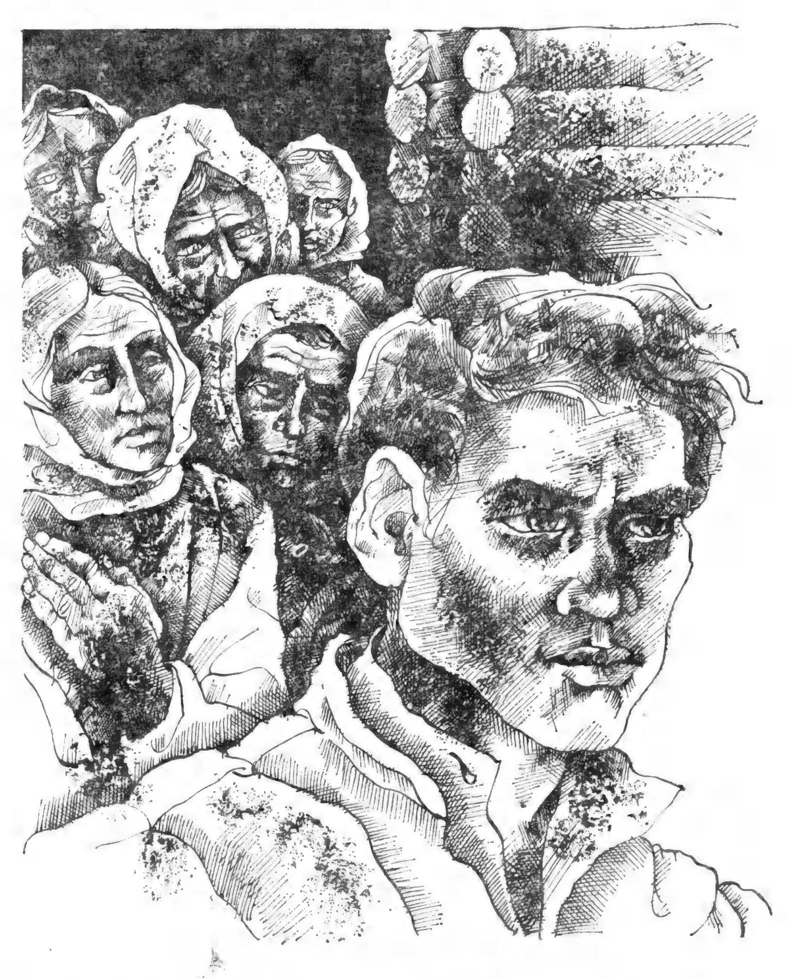
Дрогнул бабий залом у дверей склада. Одна за другой, как бревна, извлекаемые опытным багром, завыскакивали из толчеи.

В общем, быстро навел порядок Егорша, всем дал нужное направление: и бабам («На работу! На работу!») и школьникам — прямо в руки молоденькой учительницы передал, которая за ними прибежала.

Но тут в заулок влетел Михаил Пряслин верхом на храпящем, на взмыленном коне, и все закружилось сызнова.

— Михаил! Миша! — в один голос возопили бабы.— Да что же это такое? Кому в рот, кому в рыло? Разве мы не люди?

Соскочившего с коня Михаила обступили со всех сторон. К Михаилу тянулись черными суковатыми руками. На Михаила смотрели как на своего спасителя: уж он-то им поможет, уж он-то наведет справедливость, их всегдашняя опора и заступа.



Михаил, сцепив зубы, двинулся к дверям. Его и так-то трясло от бешенства (все продали: и председатель и дружки!), а тут еще это бабье голошенье...

— Покажи ведомость. Кому выписан хлеб?

— Осади, Пряслин! — ответил за кладовщика Егорша.— Колхоз первую заповедь не выполнил, а ты насчет фуража...

— Чего? — У Михаила надолбом встала черная бровь. Он, конечно, сразу заметил Егоршу в дверях. Как не заметишь! Приметный! Но он думал, тот просто так

перед бабами выдрючивается, а он, оказывается, в начальника играет.

— А ну проваливай! Без тебя разберемся.

— Пряслин, осади, говорят! Последний раз предупреждаю! — громко, на весь заулок крикнул Егорша и, бледный, решительный, с воинственно выкинутыми вперед кулаками, шагнул ему навстречу.

Михаил не размахнулся, не врезал как следует, хотя и не мешало бы: не забывайся! Но проучить этого нахалюгу надо. Потому что он и раньше был из породы тех, кого пока бьешь, до тех пор он и человек. И вдруг, когда Михаил начал поднимать руку, страшная боль опалила его, и он упал на колени.

— А-а-а! — взметнулся над оцепеневшей толпой истошный крик Лизы. Она как раз в это время с Анфисой Петровной подбежала к складу.

Меж тем Михаил поднялся на ноги. Его шатало. Из разбитого рта и носа ручьем хлестала кровь.

— Ах, сволочь! Ах, сволота!.. Дак ты меня боксой... Боксой... Научился!..

Он неторопливо вытер ладонью рот, посмотрел на ярко горевшую на солнце алую кровь и вдруг, как разъяренный бык, ринулся на Егоршу.

Они не успели на этот раз добраться друг до друга. На Егорше с двух сторон повисли Лиза и Федька, а Михаила облапила сзади Анфиса.

— Миша, Миша... Опомнись! Бабы, а вы чего рот-то разинули? Уходите, бога ради, домой. Уходите! Разве не понимаете, чем это пахнет...

Михаил хрипел, страшно ругался, таскал по земле растрепанную Анфису, пытаясь стряхнуть ее со своей шеи. Егорша тоже выходил из себя — только голос выдавал его ликование.

— Нет, фига! Нет, дудки с купоросом! — выкрикивал он звонко.— Кабы ты рубаху мою, к примеру, взял — ладно, пользуйся, слова не скажу. А то куда ты лапу потянул? К священной основе!.. Тут от Суханова-Ставрова не жди пощады. Всегда на страже!..

Анфиса заплакала.

К складу подходила сама беда. И имя той беде — Железные зубы. Целую неделю Ганичев не показывался в Пекашине, а вот вечор заявился. Как будто нарочно выжидал этой заварухи у склада.

3

Весь день бабы на скотном дворе вздыхали да охали: что будет? С кого спросят власти? Удержится ли ихний председатель? А она, Лиза, думала еще о том, как пойдет теперь у них жизнь, удастся ли ей примирить брата с мужем.

Егоршу она не видела с утра, с той самой минуты, как с доярками ушла от склада на коровник. И брата не видела, хотя днем три раза бегала и домой и к матери.

Самые неотложные дела взывали к ней в ее немудреном хозяйстве: дрова и вода, белье неприбранное — целый ворох лежал на столе,— овцы, некормленые и непоеные, горланили в хлеву... А она вошла в избу, села на прилавок, да так и сидела в потемках не шевелясь.

И на уме у нее было все то же: Егорша, Михаил... Где-то они сейчас? Не сцепились ли опять друг с другом? И еще почему-то сердце сжималось от страха за Васю, как будто ему грозила какая-то беда.

Когда в избе стало совсем темно, Лиза решила еще раз сходить к своим.

И вот только она поднялась — Егорша. Пьянехонький: на весь дом пролаяло железное кольцо в воротах.

— Чего огня нету? Или, думаешь, раз у тебя кошачьи глаза, дак и другие в темноте видят?

Егорша покачался в проеме дверей, перешагнул за порог.

— Ну, кого спрашиваю?

Лиза вспылила:

— Чего глазами-то корить? Я не сама их выбирала...

— Всё вы не сами! У вас, у Пряслиных, завсегда дядя виноват. Может, и давеча, на складе, ты не сама кинулась на меня? Сука! Жена называется!.. Вцепилась, как падла, в своего мужа... Небось не в братца, а?

— Да ведь ты братца-то насмерть убивал.

— И убил бы! — Егорша горделиво вскинул свою светлую голову.— А чего? Прошли те времена, когда он командовал парадом. Ха-ха-ха! Разлетелся: я, я... Как бык слепой. А того не соображает, балда, что быка всю жизнь бьют обухом по черепу!

В голосе Егорши было нескрываемое торжество и ликование. Он бегал по избе, потрясал кулаками, и Лиза с ужасом всматривалась в его бледное, облитое лунным светом лицо: да неужели это Егорша, ее муж? Или он, как всегда, разыгрывает ее?

— Ты думаешь, нет, чего говоришь-то? — сказала она задыхающимся от возмущения шепотом.— Ведь Михаил-то тебе кто?.. Шурин... Заместо брата...

Егорша захохотал, затем круто обернулся к Лизе.

— Он контра подлючая — вот кто твой брат. Поняла? А как ты думаешь — середь бела дня колхозный склад выворачивать? Это что? Евонный подарок матери-родине? — Егорша звонко и смачно впечатал кулак в свою распахнутую в вороте грудь.— Ну нет, не тому учен Суханов! Стоял три года на боевом посту у родины и всегда будет стоять. И тут для меня нету ни братьев, ни сватьев. Запомни это! Всех к ногтю! И твоему братцу это так не пройдет. Подожди, кое-кто им еще займется.

— А чего им заниматься-то? Что он сделал?

Егорша отчеканил чуть ли не по слогам:

— Хлеб колхозный в период хлебозаготовительной компании хотел украсть у государства!

— Да хлеб-то этот он сам и сеял и сам убирал. Хоть какой килограмм и достался бы, дак не беда. На-ко! — возмутилась Лиза.— Всем плотникам хлеб выписан, а самому первому работнику нету...

— Первому, первому!.. Ты долго еще будешь тыкать мне в нос этим своим первым работником? Вот бы и выходила взамуж за своего первого работника.

— Да ты сдурел вовсе! Чего мелешь-то? За брата взамуж выходи...

— Ничего не мелю! — вконец разошелся Егорша.— Все вы сволочи! Михаил, Михаил... Первый работник... А что вы сделали с этим первым работником, покамест я в армии был? А-а, замолчала? Прикусила язык? Ну дак я скажу. Ну-ко расскажи, как тебе дом старик отписал... А-а, молчишь? Глаза закатываешь? Думаешь, все шито-крыто? Не узнает Егорша?

Пушечным выстрелом бабахнула запухшая дверь, со звоном, с грохотом ударились о стену ворота, затем Лиза услышала знакомый летучий скрип хромовых сапожек — и всё, жизнь ушла из дому.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

● ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Подрезов вскочил на пароход в самую последнюю минуту. А пока забросил в каюту чемодан да вылетел на палубу, огромный белогрудый красавец еще старинной выделки уже развернулся.

Разбежавшимся глазом он прежде всего наткнулся в толпе провожающих, по-деревенски махавших белыми платочками, на своего зятя. Приметный! На голову выше всех. Просто как пугало огородное торчит, сверкая круглыми очками из-под какой-то дурацкой клетчатой кепки. Но Ольги рядом с ним не было.

Евдоким Поликарпович глянул в одну сторону, глянул в другую и вдруг увидел дочь на высоком крутом берегу, пониже пристани.

Слезы вскипели у него на глазах.

Ольга и всегда-то, с самого детства, походила на свою мать — легкой походкой, характером, светлыми пушистыми волосами, а сейчас, в эту минуту, в ней и вовсе, казалось, воскресла покойная Елена. Та, бывало, вот так же, провожая его, выбегала вперед от людей, все равно где — в поле, в деревне или у реки — и долго стояла там одиноко и неподвижно, словно для того, чтобы он получше запомнил ее...

С дочерью Евдоким Поликарпович не виделся пять лет, с тех пор, как Ольга, не спросясь отца, вдруг вышла замуж и бросила институт.

— Ладно,— сказал он жене, когда та однажды осторожно сообщила ему эту новость,— баба с возу — кобыле легче.

И — все. Больше ни слова. Вычеркнул из своего сердца. Не мог простить такой обиды: не за пеленками виделось ему будущее дочери.

Круглая отличница, каждый год похвальные грамоты, из института даже присылали ему благодарности — да ей ли не учиться? Ей ли не закончить институт? По крайней мере, хоть один человек в роду Подрезовых был бы с высшим образованием. А то ведь и дальше могла махнуть. У Михайлова, первого секретаря Плесецкого райкома, дочь в аспирантуре учится, на ученого — тот об этом при каждой встрече хвастается,— а почему бы не могла учиться в этой самой аспирантуре его Ольга?

Одним словом, удар для него был страшный. Он даже запил было, да хорошо, у первого секретаря дел всегда невпроворот, в делах забылся.

Три года Евдоким Поликарпович выдерживал карантин. Три года не читал от дочери писем. Вплоть до прошлогодней весны, когда у Ольги родился сын.

Нет, нет, он не заулюлюкал, не пошел вприсядку оттого, что стал дедом и что на свете появился еще один Евдоким. Наоборот, он самыми последними словами изругал дочь. Потому что кто же в наше время дает такое имя ребенку? Овдя, Овдюха, Овдейко... Да внук не только отца с матерью — деда будет проклинать всю жизнь! А потом вдруг что-то сдвинулось у него в груди, и он все чаще и чаще стал ловить себя на том, что думает о маленьком Овде...

В прошлом году ему не удалось выбраться к дочери: год был тяжелый, «перестроечный», он даже на курортном леченье не был, а нынче твердо решил: к внуку. Непременно к внуку!

И вот когда ему в конце августа дали отпуск, он первым делом и подался на Вычу — лесную глушь по Северной Двине, где учительствовали дочь и зять.

Встретили его цветами, шампанским. Будто к ним какой-то столичный артист приехал...

Ладно, против красоты возражений нет. Красоту принимаем. А что же это у вас с ребенком-то делается? Почему ребенок весь в чирьях?

— Врачи предполагают, что нарушен, по-видимому, обмен веществ, диатез, может быть. Скоро будем

знать точно — еще на той неделе сдали кровь на анализ.

Так ему по-ученому ответили молодые родители. А то, что у них ребенок насквозь простужен, это им и в голову не приходит. А он, Евдоким Поликарпович, сразу все понял, как только легли спать,— без всякой медицины поставил диагноз. Из каждой щели дует, ветер по полу ходит — да как тут здоровым быть ребенку?

Он не стал много разговаривать с мамой и папой. Дочь у него всегда была слабаком по практической части, с детства не знала никакой работы по дому, все делала за нее сердобольная мачеха, ну, а ее ненаглядный Зиночка, или, как он сам представился ему попервости, Зиновий Зиновьевич, и вовсе оказался без рук. Гвоздя в стену не вбить, лучины не нащепать, а уж чтобы сколотить там какую-нибудь немудреную скамейку (на ящиках сидят!) — об этом и говорить нечего.

В общем, на другой день встал Евдоким Поликарпович, выпил стакан чаю и давай тепло в комнате наводить. Целый день конопатил углы и подгонял рамы. Это он-то, первый секретарь крупнейшего района в области, можно сказать государства целого по своим размерам! А через два дня и того чище: топором начал махать. Да как махать! С раннего утра до позднего вечера. Как заправский плотник...

На реке ходили волны, тяжелые, размашистые, с белыми гребнями. Тоненькую фигурку Ольги, все еще стоявшей на крутояре, ниже пристани, выгибало, как прутик. И золотом, солнцем вспыхивали ее светлые раскосмаченные волосы.

А что делалось тут, на палубе! Выли и свистели провода над головой, тучи ползали по его плечам и бух-бух волна снизу. До лица, до глаз долетали брызги. А он — ничего. Стоял. Стоял, один-единственный пассажир на всей палубе, и еще покрякивал, зубы скалил от удовольствия. Хорошо! По нему такая погодка!

И вообще он чувствовал себя сейчас так, будто молодость вернулась к нему, будто прежняя крутая сила бродит в нем. А главное, прошли красные пятна на теле, прошел проклятый зуд. Вот что было удивительно.

За эти годы что только он не делал, к кому только не обращался, чтобы избавиться от своей изнуряющей, изматывающей хвори! К врачам разным ходил — к своим,

районным, к областным, раз даже у одной столичной знаменитости на приеме побывал, когда на курорт ездил, к старухам травницам обращался — ничего! В лучшем случае на какое-то время отпускало. А тут сам вылечился. И чем? Топором. Да, да, самым обыкновенным мужицким топором.

А дело было так. Утеплил у дочери жилье, пошел в баню — смыть грязь. И боже ты мой — две версты по грязище, по пустырям, по вырубкам, да под дождем, под ветром.

В общем, он едва ноги приволок обратно, бутылку водки выдул, чтобы отогреться. Так ведь это его, здорового быка, так укачало, а что же сказать о годовалом ребенке? Ему-то как достается эта баня?

Евдоким Поликарпович глядел-глядел на внука, с ног до макушки осыпанного злыми, малиновыми чирьями, и — к дьяволу отпуск! Баню буду строить.

Построил. За две недели построил. Один. Без посторонней помощи...

Подрезов приподнял мокрое, раскаленное ветром и брызгами лицо, привстал на носки — где-то там, в той стороне, за мысом, за крутояром, на котором еще недавно стояла его дочь, осталась построенная им банька. Небольшая, неказистая — из ерунды собирал, ни одного бревна стоящего не было, но живая — с жаркой, трескучей каменкой, со сладким березовым душком. И теперь каждую субботу, где бы он, Евдоким Поликарпович, ни был, обязательно будет вспоминаться ему эта крохотная, стоящая у самого озерка банька. А вслед за банькой будет вспоминаться и вся жизнь с топором в руках, да такая счастливая и полноводная, какая, возможно, только и была у него один раз — там, на родной Выре, когда он молодым, семнадцатилетним парнем строил школу. Для своей Елены...

Давно уже исчезла из виду Ольга, давно голые, безлесые берега сменились зверской, без единого просвета чащобой ельников, а он все стоял на верхней палубе, один, плотный, несокрушимый, и веселый духом — от радостных воспоминаний, от ощущения собственной силы в обновленном теле, от всего этого раздолья и необузданного шабаша на реке.

2

Спать было еще рано, и Подрезов, спустившись с палубы, заглянул в ресторан — давно не баловался пивком.

Но в ресторане все столики были заняты, а о том, чтобы пробиться к стойке, нечего было и думать.

Ладно, решил Подрезов, зайду попозже, когда схлынет самая шумная и буйная людская пена. И вдруг, когда он уже повернул на выход, его окликнули:

— Евдоким Поликарпович, алё!

Оглянулся — Афанасий Брыкин. Сидит у окошечка, потягивает пивко. Розовый, прямо-таки малиновый от натуги, и улыбка во все рождество.

По его знаку словно из-под земли вырос раскосый жуликоватый официант в белой грязной куртке, напяленной поверх ватника — холодновато было в ресторане,— и будто метлой повымело из-за столика каких-то трех полупьяных работяг.

— Не знал, не знал за тобой таких талантов, Брыкин.

— Дак ведь это, чай, мое воеводство.

— Что ты говоришь! Как же я этого не сообразил? — И тут Подрезов признался, что почти две недели жил у него, у Брыкина, в районе.

Как и следовало ожидать, Брыкин начал пенять и выговарить ему чуть ли не со слезами на глазах: дескать, почему не брякнул, не дал знать о себе? Уж он бы для кого, для кого, а для него-то, Евдокима Поликарповича, постарался, встретил бы как самого дорогого гостя...

Подрезов терпеть не мог этих бабьих причитаний в мужских штанах, как любил говаривать у него председатель колхоза Худяков, и спросил:

— Куда путь держишь? В область?

— Ага.

— А чего? Не опять ли за новым назначением? — пошутил Подрезов.

Брыкин с озабоченным видом пожал кожаными плечами, и Подрезов понял, что у него опять завал в районе. По завалам Брыкин был просто мастер. Куда, на какой район ни посадят, конец один: покатилась под гору телега. Зато кто проворнее, отзывчивее Афони? Надо, скажем, взять обязательство сверх плана по хлебозаготовкам, по молоку, по мясу — а ну-ка, Брыкин, покажи пример. И Брыкин показывает: «Дорогие товарищи! Наш

район, подсчитав свои возможности, обязуется... И призываю последовать нашему примеру...»

Ресторан начал пустеть: быстро выкачали православную бочку. В черное окошко, у которого сидел Подрезов, яростно, со всхлипами хлестал косой дождь.

Брыкин снова и снова подливал ему пива из эмалированного ведерка, которое недавно — уже третий раз — наполнил официант, пил сам и с волнением, взахлеб рассказывал про своего необыкновенно умного сына, который в этом году поступил в торговый институт. Потом, видя, что собеседник не очень-то слушает его, опять заканючил-заныл насчет того, почему он, Подрезов, не заглянул к нему в хоромы, не отведал у него нынешних свежепросоленных рыжиков.

Рыжики у Брыкина, что и говорить, замечательные — тут у него талант. Да еще какой! Он сам их собирал в лесу, сам солил, сам делал специальные бочоночки — ладные такие еловые пузатики с тоненькими можжевеловыми обручами, литра на два, на два с половиной.

Отправляясь в область на совещание по вызову, Брыкин обычно прихватывал с собой парочку таких пузатиков и при случае кое-кому вручал эти дары природы, как он сам выражался. И Подрезов был уверен, что у него и сейчас в каюте наверняка найдется бочоночек с рыжиками, а то даже и не один.

Снова взбурлила жизнь в ресторане, когда подошли к большой пристани, ярко освещенной вечерними огнями.

Тут, помимо новой партии любителей пивка, появилось еще ихнее — райкомовское — подкрепление. Сразу три секретаря: Павел Кондырев, Василий Сажин и Савва Поженский. Все с Северной Двины.

Савву Поженского, покажись тот в ресторане один, Подрезов, пожалуй, и не признал бы: в сером потрепанном макинтошишке, в фуражке с мятым козырьком — что от первого хозяина района?

Зато Павел Кондырев и Василий Сажин — комиссары. В таких же хромовых, как он, Подрезов, регланах, туго затянутых в поясе и мокрых от дождя (только блеск пошел по ресторану), в полувоенных фуражках, горделиво посаженных на голову, ну, и в соответственных сапожках — щелк-щелк. Правда, Василий Сажин не совсем лицом вышел — желтое, сплошь оспой изрыто, как, скажи, овец пасли на нем, и оскал рта неприятный,

хищный какой-то, а Павел Кондырев — хоть в кино. Красавец мужчина! И недаром буфетчица, еще довольно молодая бабенка с ярко накрашенными губами, сразу же начала вытягивать шею в ихнюю сторону.

Встреча была шумной, радостной. Пять перваков скрестили свои дороги — часто такое бывает?

Подрезова обнимали, тискали, лопатили по спине, и — что удивительно — даже старик Поженский не отставал от других. А уж он ли не отличался выдержкой, он ли не умел держать себя в узде! С тридцать третьего в райкомовской упряжке — ну-ко, какой надо иметь ум и сноровку, какую житейскую академию пройти?

Павел Кондырев, как только разместились за двумя сдвинутыми столиками — тут уж не было помех со стороны, все понимали, какая рыба заплыла в ресторан,— побежал к буфетчице насчет пива. Такой неписаный закон: чей район, тот и угощает (а они как раз ехали районом Павла Кондырева).

Пива у буфетчицы в заначке не оказалось — все, дура, распродала до литра,— но Павел Кондырев достал ведро — чуть ли не из запасов команды парохода.

Он же как хозяин и предложил первый тост:

— За Евдокима Поликарповича! За Подрезова, который всегда впереди!

Насчет всегда — это, пожалуй, крепковато сказано. Нынче Подрезов чуть ли не закрывает областную сводку по лесу. Но черт подери! С чего ему опускать голову? Разве всю войну и после войны не он шагал в передовиках? Ну-ко, сплюсуем все кубики, что дал его район за все эти годы,— кого можно поставить рядом с ним? Назвать миллионщиком?

За это уважали его в области. Ну, и за смелость, за удаль уважали.

Удивительная штука жизнь! Уж, казалось бы, среди них-то, хозяев районов, какая может быть смелость да лихость против начальства. Сами начальство. Да и начальство немалое. Первые люди области.

А вот поди ты: везде по одним законам живут. И у них меж собой первая честь и хвала тому, кто перед начальством шею не гнет. А он, Подрезов, не гнул. И не сидел, как мышь, в углу, не делал вид, что его ко сну клонит, когда за товарища надо вступиться или начальству правду в глаза сказать.

Нет, он, как говорится, и с места реплику подавал, так что последний глухой слышал, и на трибуну лез.

В сорок четвертом их, первых секретарей, вызвали на бюро обкома. Специально для того, чтобы дать накачку насчет экономного расходования хлебопродуктов.

С приморского секретаря райкома — это он, бедняга, стоял на ковре — просто пух летел: двести килограммов муки раздал районному активу. И когда? В какое время? В годину великой народной страды!

Секретари сидели — глаза поднять не смели, только бы грозой не задело их, потому что кто из них не делал то же самое у себя!

И вот Подрезов не выдержал:

— Разрешите задать вопрос Севастьянову. (Фамилия секретаря Приморского райкома.)

— Давай.

— Скажи, товарищ Севастьянов, сколько килограмм хлеба на районного активиста досталось из этих двухсот килограмм, розданных тобой?

— От пяти до семи.

— И за какой период эту надбавку ты выдал?

— За год.

— За год пять килограмм на нос?! Ну дак я вот что тебе скажу, товарищ Севастьянов: плохой ты секретарь! Я свой актив чаще подкармливаю. Килограмма-то с три каждый месяц подбрасываю.

Шум поднялся такой, что Подрезов думал — тут ему и конец. Сам Лоскутов, второй секретарь обкома, начал утюжить его — он главный разнос Севастьянову делал:

— Безобразие!.. Судить будем!.. Мы покажем подкормку!!

Но Подрезов — терять нечего — сам кинулся на амбразуру:

— А вы знаете, товарищ Лоскутов, сколько районный служащий хлеба получает? Шестьсот грамм в день. А у этого служащего семья, ребятишки, а ребятишкам этим как иждивенцам двести грамм. Так что этот служащий свои шестьсот грамм никогда и не съедает. А ведь на нем, на районном активе, весь район держится. Они наши руки. У меня один инструктор раз пошел в колхоз. В командировку. Вперед-то добрался, все в порядке, а назад пошел вечером — всю ночь просидел под кустом

на лугу. А из-за чего? А из-за того, что у него куриная слепота, ничего не видит.

Севастьянов отделался тогда простым выговором, а их, секретарей райкомов, бюро обкома специальным решением обязало обратить самое серьезное внимание на бытовое обслуживание районного актива. То есть обязало регулярно подкармливать актив, правда не выделив для этого никаких дополнительных лимитов.

Вот после этого случая фамилия Подрезова стала известна во всех районах области.

3

В двадцать три ноль-ноль из ресторана перешли в каюту к Афанасию Брыкину.

Во-первых, их стал упрашивать директор ресторана: дескать, к пристани большой подходим, пассажиры нахлынут — до утра не выжить, а во-вторых, из-за Тропникова, заместителя начальника лесотреста. Он песню испортил.

Вошел в пестром халате, как баба, на носу стекляшки с золотыми зажимами, и давай носом ворочать — неаппетитно, мол, не тем пахнет. А потом — мораль: какой пример подаете, хозяева районов?

Лично он, Подрезов, даже бровью не повел — с войны терпеть не мог этого зализанного и расфуфыренного ябедника,— но осторожный и благоразумный Савва Поженский, а вслед за ним и Афанасий Брыкин встали: большая шишка Тропников. И рука у него длинная...

А впрочем, нет худа без добра. Именно в каюте-то у Брыкина они и почувствовали себя человеками. Никаких ограничителей в горле, никаких досмотрщиков со стороны. Своя братва! И уж, конечно, никаких величаний по имени-отчеству. Все — ровня!

Сперва навалились на еду — волчий аппетит разыгрался от пива. Все подорожники — рыбники, шаньги, колобки, ватрушки — все, чем заботливые супруги набили сумки и чемоданы, вывалили на стол, а расчувствовавшийся Афоня сверх того выставил еще пузатик с малюсенькими, копеечными, рыжиками.

Савва Поженский да Иван Терехин (еще один первак, подсевший на последней пристани) попытались ихнему застолью придать деловой характер, что-то вроде производственного совещания устроить — оба так и вкогти-

лись в Подрезова: дескать, как у тебя нынче с хлебом? как с помещениями для скота? что делаешь, чтобы удержать мужика в колхозе? Словом, для этих прежде всего дело. Серьезные мужики.

Но где там! Разве поговоришь о деле, когда Павел Кондырев в загуле!

Зыркнул своими цыганскими, топнул:

— К хренам дела! Завтра дела!

И как выдал-выдал дробь — всех на пляс потянуло. Подрезов топнул, Василий Сажин топнул, Поженский сыпанул горох по столу каким-то хитроумным перебором пальцев.

А дальше — больше. Посыпались соленые шутки-прибаутки, анекдоты, всякие житейские истории, и, конечно, начали строить догадки насчет внезапно исчезнувшего Павла Кондырева.

— К той буфетчице, наверно подбирается,— высказал предположение Василий Сажин.

— Да, может, уж подобрался. Долго ли умеючи? — живо, с озорным блеском в глазах воскликнул Поженский. Савва по этой части тоже старатель был не из последних — в десять душ семью имел. Потом уже без всякой игривости, с неподдельным беспокойством за товарища: — Ты бы, Евдоким Поликарпович, приструнил его маленько. А то как бы он того... из хомута опять не вылез.

Но тут Кондырев сам влетел в каюту. Глаза горят, лицо бледное, потное — не иначе как шах и мат Клавочке, то есть буфетчице.

Покачался-покачался у дверей — артист не из последних — и выпалил:

— Братцы! Цирк на пароходе!

— Да ну?!!

— А что — двинули?

Но Савва Поженский — не зря на плаву двадцать лет — сразу совладал с собой, хотя было какое-то мгновенье — и у него угарным огоньком загорелся старый глаз:

— Бросьте! Не для нас эти забавы.

— А чего? — запальчиво возразил Павел Кондырев.— Подумаешь, с артистками цирка посидеть! Да там и не одни девчонки — такие лбы сидят, ой-ой! Целая бригада из поездки по колхозам да леспромхозам возвращается.

— Эх, Паша, Паша! Мало тебя мылили, вот что.

Забыл, как давеча Тропников носом вертел? Да ведь то в ресторане мы сидели, без паров в голове, а как прореагируют, когда мы середка ночи к этим самым артисточкам закатимся?

Вот это все и решило — Тропников да расчетливая осторожность Саввы.

— Пойдем, Пашка! Ко всем дьяволам этого Тропникова!

А что, в самом деле? Не люди они? Почему должны плясать под дудку какого-то кляузника и ябедника? А потом, он, Подрезов, в отпуске. Неужели и во время отпуска спрашивать, как жить, у Тропникова?

● ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Подрезов любил первые минуты своего водворения в гостиницу.

Все чисто, все свежо в номере: белоснежная кровать, кафельная ванна, приветливо улыбающаяся горничная в белом переднике — как в праздник входишь. А потом, не успел еще раздеться, звонки. Один секретарь райкома — привет, другой секретарь — привет, третий... Просто непонятно, как и углядели. По коридору шел — ни одна душа навстречу не попалась...

Сегодня звонков не было. Сегодня, едва он снял с себя кожанку да отпил холодняка из-под крана в ванной (июльская засуха стояла в горле), в номер к нему толпой вперлись перваки. И те, с которыми ехал на пароходе, и новые: Онега, Лешуконье, Приозерье, Няндома, Коноша... Народ все крепкий, краснорожий, обутый и продубленный всеми ветрами Севера. Одним словом, опорные столбы, на которых жизнь всей области держится.

На Евдокима Поликарповича навалились сразу трое — дух перехватило. Правда, и он в долгу не остался: Саватеева из Приозерья так приголубил, что у того слезы из глаз брызнули.

Кто-то из новичков завел речь насчет вечернего сабантуя.

У Евдокима Поликарповича, откровенно говоря, это радости не вызвало: у него еще вчерашние пары из головы не выветрились, да и дел на вечер был воз.

Но, с другой стороны, когда Подрезов портил песню своим товарищам? Когда шел против коллектива? Ведь ежели хорошенько разобраться, то первый секретарь и узду-то с себя может скинуть, только когда из района вырвется. А в районе ты всегда начеку, всегда по команде первой готовности — иначе как же ты с других спрашивать будешь?

Да дело в конце концов вовсе и не в том, чтобы разрядку себе дать.

Поговорить сердце в сердце, выложиться как на духу друг перед дружкой, ума-разума поднабраться — вот чем дороги были эти ночные, никем не планируемые совещания.

— Ладно,— сказал Подрезов (все выжидающе смотрели на него),— пейте кровь! Согласен.

— Братцы, братцы! — В номер вломился Павел Кондырев.— Последнее сообщение Совинформбюро... Павла Логиновича в Москву забрали.

— Первого? Да ты что?

Сивер загулял по номеру. Перемены в руководстве области могли коснуться каждого из них. Это обычно: пересаживаются в области, а стулья трещат под ними, районщиками.

Все как по боевой тревоге начали затягивать ремни на скрипучих кожанках, поправлять фуражки.

— А ты чего, Евдоким Поликарпович? — Василий Сажин первый разморозил свой голос.— Одевайся. Пойдем послушаем тронную речь Лоскутова.

И Подрезов уж взялся было за пальто, да вдруг махнул рукой:

— Ладно, ребята, катайте. Хватит и того, что вы похлопаете.

2

— Ну и ну! Вот это рванул дак рванул!

— Да, «хватит и того, что вы похлопаете»...

— Натура!

— Посмотрим, посмотрим! У Лоскутова тоже не хрящики вместо пальцев...

Все эти голоса, восхищенные реплики, которыми сейчас по дороге в обком наверняка обменивались меж собой его товарищи, Подрезов хорошо представлял себе. Но сам-то он трезво, очень трезво оценивал свой поступок. Во-первых, в отпуске — какие могут быть претензии?

У человека на руках путевка, причем путевка горящая, с завтрашнего дня,— имеет он право кое-какие дела перед отъездом справить? А второе — и это самое главное — с чем идти на совещание?

Тронная речь будет. Распишет Лоскутов свою программу, расставит вехи. А ежели наоборот? А ежели с ходу: доложить обстановку в районах?

Нет, нет, он, Евдоким Поликарпович, не привык: тык-мык — и язык присох к горлу. Он с подчиненных строго спрашивал, но и себе поблажки не давал: все цифры, все хозяйство района держал в голове. Хоть во сне спрашивай — без запинки выложит. А теперь, после двухнедельных разъездов, что он мог сказать по существу?

Ничего, ничего, успокаивал себя Подрезов, выхаживая по номеру, Фокин в грязь лицом не ударит. Язык подвешен, сообразит где что прибавить, а где что поубавить. Только почему его нет в гостинице? У тещи остановился? Или район не на кого оставить?

И еще мутил ему сейчас голову Зарудный.

Две недели отдыхал от этого молодца, две недели, покуда жил на Выре, не думал о Сотюге, а вот только приехал в город — и завертелась старая карусель.

Перед отъездом в отпуск Подрезов загнал-таки наконец Зарудного в свои оглобли — обязал решением райкома (конечно, с согласия области) до минимума сократить жилищное строительство и высвободившуюся рабочую силу бросить в лес, на ликвидацию прорыва.

Но как выполняется это решение? Не отмочит ли сотюжский директор какую-нибудь новую штуковину? Ведь заявил же он на бюро райкома: «Я с этим решением категорически не согласен и со своей стороны сделаю все, чтобы доказать, что оно идет вразрез с интересами дела».

Ладно, чего заранее отпевать себя, решил Подрезов и взялся за телефонную трубку.

— Справочная? Дай-ко мне номер телефона ремесленного училища номер один...

Ответили быстро.

— Товарищ директор? Секретарь райкома с Пинеги говорит, Подрезов. Тут у вас есть два моих подшефных. Близнецы. Пряслины фамилия. Так вот интересуюсь. Как они там?

— Есть, есть такие,— ответил директор.— Очень хорошие ребята...

У Евдокима Поликарповича сразу посветлело на

душе. Так уж, видно, он устроен: лучшее лекарство для него — дело. А пряслинские ребята его давний долг. Михаил просил насчет братьев чуть ли не месяц назад, когда они с Лукашиным заезжали к нему на Копанец. И он был очень доволен сейчас, что вдруг пали ему на ум эти ребятишки.

Труднее было звонить родному сыну.

Первенец от любимой жены, парень с образованием — техникум механический кончил — чего еще надо? А вот, поди ты, не лежала у него душа к Игорю, и все. Встретятся — посидят за столом, попьют чайку, а говорить и не о чем. Разные люди. У него, у Евдокима Поликарповича, голова кипит от забот в районе, он за всю страну думает, а Игорь, как крот, в нору свою носом уткнулся и нет ему дела ни до чего. В двадцать три года у человека первая дума — как бы отдельную квартирку сварганить да Капе своей шубу котиковую завести.

Ох эта Капа, Капа, провались она трижды сквозь землю! (У Евдокима Поликарповича при одной мысли о невестке в глазах темнело.) Худая, злющая, как оса, жадная. Вином уж не угостит, нет. Дескать, нельзя, дорогой папочка, для здоровья вашего вредно... И еще: на чистоте помешалась, стерва,— медсестрой работает.

То, что она сама всю зиму чесноком обвешана ходит, черт с ней, ее дело, и на хлорку ейную — у дверей в коридоре насыпана — наплевать. Да она и ему-то всю плешь с этой чистотой переела. Только он переступит к ним за порог, еще поздороваться не успел, а она уж тут как тут со своими тапочками. «Сапожки, сапожки, дорогой папочка, снимем. Дайте отдых своим ножкам. Очень медицина рекомендует...»

Евдоким Поликарпович не раз говаривал сыну: уходи ты, к чертям, от этой паскуды! Она из тебя все соки выпьет и голову назад повернет. Но где там! Разве с его Игорем сговоришь? Ума большого бог не дал, с первого класса выше троек не поднимался, а по части упрямства — рекорд поставит. По целым дням может не разговаривать.

Игоря на работе не было — в командировку уехал,— и Евдоким Поликарпович с превеликим облегчением вздохнул. Должен, обязан он повидать свою внучку — тут и разговоров быть не может, но раз сына дома нету, к невестке можно сейчас и не ходить. Да и внучка трехнедельная — чего поймешь? Чего разглядишь? А вот на

обратном пути завернет, тогда картина уже прояснится. Тогда видно будет, в кого пошла — в ихний, подрезовский, корень или в материн.

3

В войну и после войны районщики работали на износ. Выходных не знали по месяцам. Спали по три-четыре часа в сутки, а так — либо по колхозам и лесопунктам мотаешься, либо на посту в своем кабинете.

Подрезов с его богатырским здоровьем легко переносил этот режим, а уж если когда становилось невмоготу, сон начинал одолевать, ведро холодняка на себя (уборщица за этим строго следила) — и опять сидит себе за своим рабочим столом в одной синей трикотажной майке, весь красный, раскаленный, как самовар. И сразу за двумя делами: большое, по-охотничьи чуткое ухо телефонный звонок из области сторожит, а цепким ястребиным глазом в книжке — приходилось натаскивать себя, потому как с начальной академией сложный узел не развяжешь.

Но была, была и у Подрезова одна отдушина — баня. Раз в неделю обязательно ходил, всю усталь березовым веником выпаривал и из бани выходил как заново на свет рожденный, а в городе, в гостинице, всегда принимал ванну.

Горячую воду наливал — рука еле терпела. И лежал, лежал, весь распустившись и блаженно прикрыв глаза, а ежели удавалось выкроить свободный часок, то и приземлялся.

Сегодня Евдоким Поликарпович пять часов проспал после ванны.

Он живо, без малейшей раскачки вскочил на ноги, начал звонить одному секретарю, другому, третьему.

Никто не отозвался.

Долгонько, долгонько их накачивает Лоскутов. В охотку работка — новая.

А в общем-то, он не удивился бы, если б ребята запаздывали и не из-за Лоскутова. Это ведь в районе своем секретарь — первый человек и гроза, а тут, в области, он и попрошайка, и плакальщик, и еще черт те кто...

Да, да, да! Все надо протолкнуть и выбить секретарю: и грузовики, и тракторы для колхозов, и технику для леспромхозов, и хлебные лимиты, которые каждый месяц

урезывают, отстоять. А пенсии? А учителя, которых из года в год не хватает в школах? Да ежели говорить откровенно, то это еще неизвестно, где у первого секретаря главная работа: в районе у себя или в области.

Во всяком случае, тут, в области, добывается смазка и горючее для машины, которая называется районом. Тут раскрываешь свои таланты сполна. Потому что от них, от этих твоих талантов, зависит судьба целого района, жизнь и благополучие десятков тысяч людей...

Подрезов беглым, наметанным глазом просмотрел областную газету (в ней еще ни слова не было о переменах в областном руководстве), подождал еще минут пять и пошел в ресторан: страшно хотелось есть. Утром на пароходе он, как всегда после кутежа накануне, выпил только стакан крепкого чая.

4

В ресторане играла музыка.

Маленький человечишка, уже немолодой, лысый, с жаркими южными глазами, лихо притопывая ногой, изо всех сил лупил деревянными скалками по барабану и медным тарелкам и был счастлив, как малый ребенок, когда тот доберется до любимой игрушки.

Подрезову он почему-то напомнил Ганичева, может быть, своим железным ртом, который как-то особенно дико было видеть на этом счастливом и улыбающемся лице.

Свободные места были чуть ли не за каждым столом, но он направился в дальний угол, где в полумраке и одиночестве восседал Покатов.

Очень приметная фигура этот Покатов — ни с кем не спутаешь. Сидит за столом, как барин, вразвалку, нога на ногу, белая крахмальная салфетка на груди (Подрезов в жизни своей ни разу не пользовался ею) и тонкая нервная рука с золотым кольцом. Ну, а голова у Покатова и вообще на всю область одна — крупная, продолговатая, всегда гладко выбритая, так что сейчас, присматриваясь к ней, Евдоким Поликарпович неожиданно для себя сравнил ее с головой святого на иконах — такой же свет вокруг.

Чего только не знала эта голова! Как-то на семинаре их, первых секретарей, стали гонять по четвертой главе «Краткого курса». Гегель... Кант... Фейербах... Имена

такие, что не сразу и выговоришь. А до Покатова очередь дошла — как семечки начал щелкать. Все знает, все ему нипочем.

В тридцатые годы Виталий Витальевич гремел на всю область, в больших мужиках ходил, одно время даже заместителем председателя исполкома был. А потом круто покатился вниз. Из-за дружбы с зеленым змием. И сейчас, увидев его в ресторане, Подрезов нисколько не удивился. Чего с него возьмешь? У кого поднимется рука отчитывать такого человека по каждому пустяку?

— Здорово, Виталий Витальевич! — Подрезов пожал узкую интеллигентную руку с золотым кольцом, которую Покатов, как-то брезгливо поморщившись, подал.— Оказывается, не я один стороной топаю.

— То есть?

— Да чего то есть! Сознательные люди тронную речь сегодня слушают, а не по ресторанам сидят.

— Вы имеете в виду совещание в обкоме?

— А чего же больше.

— Вы ошибаетесь,— сказал Покатов.— Я был на совещании. А во-вторых, никакой тронной речи там не было.

— Вот как! А разве Павла Логиновича не переводят в Москву?

— Переводят. Но это еще не значит, что на его место сядет Лоскутов.

На минуту разговор у них оборвался — подошла официантка.

Подрезов заказал натуральный бифштекс, палтус и две бутылки пива и снова стал допытываться у Покатова: почему он думает, что Лоскутов не станет первым?

— Потому что не станет,— процедил сквозь зубы Виталий Витальевич.— Позвоночник недостаточно развит...

Подрезов захохотал.

На них стали глядеть с соседних столиков, но Виталия Витальевича это нисколько не смущало. Он никогда не стеснялся в выражениях. Да его выражения не сразу и раскусишь. К примеру, как понимать вот это двусмысленное высказывание о Лоскутове? Как похвалу или как порицание?

— Ну, а что же там было, на этом совещании? — спросил Подрезов.

— Вас ругали.

— Меня? — Подрезов от смущения крякнул.— За что же? Тропникову, поди, не понравился?

С Тропниковым они не ладили давно, еще с той поры, как тот первый раз приезжал на Пинегу.

Со сплавом в том году было ужасно. Июнь месяц в разгаре, только что половодье отшумело, а река как летом после жары; весь лес по берегам.

И вот Тропников — он приехал в чине особого уполномоченного — рубанул: прекратить полевые работы в колхозах! Всех на сплав! До единого человека.

Подрезов и сам иногда прибегал к такой мере. Случалось, снимал людей с сева на день-два, но только в отдельных колхозах. А тут по всему району. В самый разгон полевых работ. Да это ведь все равно что заранее объявить голод в районе!

— Не прекращу,— сказал Подрезов.

— Как не прекратишь? Да я тебя под суд отдам!

— Хорошо,— решился Подрезов,— прекращу. Но только вы сперва дайте письменное распоряжение.

Письменного распоряжения Тропников, понятно, не дал, но с той поры и начал-начал мотать ему нервы. По каждому пустяку. И даже то, что на Сотюгу прислали директором мальчишку-сосунка, Подрезов не сомневался: его, Тропникова, работа. Специально постарался, чтобы своего недруга допечь, чтобы каждодневно и каждочасно отравлять ему жизнь. Ну, а что касается сегодняшней стрижки на совещании, то иначе и быть не могло. Он сам дал козырь в руки Тропникову. Надо же было им с Кондыревым поднять пыль на пароходе!

Пашка Кондырев, как только попал к артистам цирка, сам начал всех смешить и забавлять, а потом разошелся — «Из-за острова на стрежень» рванул. Вот тут и вломился к ним Тропников в своем бабьем халате — оказывается, у него каюта рядом — и давай, и давай их отчитывать, как мальчишек. Это их-то, первых секретарей, при девчонках! Ну и Подрезов сразу вспылил, а когда Тропников снова, уже с капитаном парохода, заявился, просто выставил непрошеных гостей...

— А, дьявол с ним! — выругался Подрезов.— Чего себя раньше смерти отпевать!

Покатов неторопливо и тщательно вытер белой салфеткой бледные губы, взял из раскрытой пачки толстую, внушительную папиросину.

— Надо знать, где показывать свой норов. Устраивать дебош на пароходе...

Дальше должны были последовать наставления. Покатов, когда был в хорошем настроении, любил поучать молодежь (а он всех своих коллег, даже Савву Поженского, за молодежь считал), и Подрезов, совсем не склонный сейчас к серьезному разговору, с беззаботным видом махнул рукой:

— Перемелется, Виталий Витальевич! То ли еще видали!

— Не скажите. Когда о пьянке первого секретаря райкома говорят с такой трибуны на всю область, можешь поверить мне, хорошо не кончается. А кроме того...— Покатов замолчал, сосредоточенно выпуская табачный дым углом рта,— а кроме того, тебя еще трясли за чепе.

— За чепе? Меня за чепе?

— Я полагаю, тебе лучше знать, что у тебя в районе делается.

— Да откуда? Я уж две недели как из района...

Покатов потер своей узкой и белой рукой наморщенный в гармошку лоб.

— Как же фамилия, дай бог памяти? Лапшин... Есть у тебя такой председатель колхоза?

— Лукашин, может?

— Да, кажется, Лукашин... Арестован. За разбазаривание колхозного хлеба в период хлебозаготовок...

Все это Покатов сказал прежним спокойным голосом, со своим неизменным выражением какой-то брезгливости на лице, а Подрезову показалось — из пушки бабахнули по нему.

Но он не вскочил, не заорал как зарезанный, хотя такое ЧП хуже всякого ножа режет первого секретаря. Он заставил себя небрежно махнуть рукой (а, ладно, мол, ерунда все это, не то видали), заставил себя выпить бутылку пива и даже поковырять сколько-то вилкой палтус, потом расплатился с официанткой и протянул руку Покатову.

Виталий Витальевич крепче обычного пожал ему руку, и когда немало удивленный Подрезов глянул ему в лицо, он прочитал в его мудрых, все понимающих глазах сочувствие.

● ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Был одиннадцатый час утра, когда Подрезов, раскрыв дверцу остановившегося перед райкомом «газика», поставил свою тяжелую ногу на землю.

Туча воробьев ошалело взмыла с черемухового куста, еще не просохшего от росы, в окнах забегали, замельтешили белые, перепуганные лица — всех врасплох застал нежданный приезд хозяина.

— Кто дал санкцию на арест? Ты?

Фокин улыбался. Улыбался, стоя за столом и стиснув зубы, одними краешками черных прищуренных глаз. Такая уж у него привычка: пока не соберется с мыслями, ни одного звука наружу. И раньше Подрезову нравилась эта железная выдержка у своего подчиненного. Но только не сейчас. Сейчас, увидев эту глубоко запрятанную деланную улыбку, он заклокотал, как раскаленная каменка, на которую подбросили жару.

— Я спрашиваю, кто дал санкцию? Кто?

— По-моему, это и так ясно, поскольку я оставался за вас...

— Идиот! Сопляк! С мальчишками тебе в мяч гонять, а не районом командовать. Ты понимаешь, нет, что натворил?

Смуглое, всегда румяное лицо Фокина побагровело, желваки под скулами закатались, как пули. Но Подрезов и не подумал щадить его самолюбие. Потому что за такую дурость мало ругать. За такую дурость надо штаны спускать. Да, да! Одна такая глупость — и все. Годами не вылезешь из дерьма...

— Где у тебя голова? Сколько раз я тебе говорил: держи ворота на запоре, не давай каждой собаке совать нос в свою подворотню. А ты что? Караул на всю область?.. Помогите?..

— Я думал, раз такое чепе в районе, то надо прежде всего отсечь его от райкома. А кроме того, есть закон...

— Ты думал!.. Думал, да все дело — каким местом. Как ты отсечешь его, это самое чепе, от райкома, когда оно в твоем районе?

Подрезов махнул рукой устало: бесполезно, видно, толковать. Вот тебе и Милька Фокин, вот тебе и смена. А он-то думал всегда: этот все понимает. С собачьим

нюхом родился парень. Черта лысого! Деревянные мозги...

За окном разгоралось сентябрьское солнце. Медленно, с трудом, как костер из сырых дров.

Он подошел к окну, ткнулся горячим лбом в холодное запотелое стекло. Его поташнивало, хотя качки сегодня не было — большой самолет летел. Поташнивало всего скорее оттого, что с утра ничего не ел. Да и не спал. В час ночи приехал на аэродром на каком-то случайном катеришке и с тех пор ни на одну минуту не сомкнул глаз. До сна ли, когда у тебя ЧП в районе!

— Кто теперь в Пекашине?

— В смысле руководства? — уточнил вопрос Фокин.

— Да.

— Покамест Ганичев.

— Что? Ганичев? — Подрезов круто обернулся — в нем снова забурлил гнев.

— Там теперь, Евдоким Поликарпович, прежде всего нужна фигура политическая...

— Мужик там нужен с головой. Хозяйственник! Чтобы скотный двор достроить, а то зима начнется — весь скот околеет.

Подрезов сбросил с себя душивший его кожан, прошелся по кабинету.

— Сводки!

Фокин подал сперва сводку по хлебозаготовкам, но Подрезов даже не взглянул на нее. Лес, лес в первую очередь!

Три леспромхоза кое-как держались, а некоторые лесопункты — Туромской и Синь-гора — даже к заданию приближались. Но Сотюга!.. Что делать с Сотюгой? Тридцать семь процентов отвалили за последнюю декаду!

— А это еще что такое? — Подрезов тряхнул какую-то бумагу, подколотую к сводке.

— Докладная записка директора Сотюжского леспромхоза.

— Зарудного? — Подрезов просто зарычал на Фокина.— Мне не докладные записки от него нужны, а лес. Понял?

— Записка адресована министру лесной промышленности, а это копия...

— Кому копия?

— Копия райкому, поскольку Зарудный считает, что

последнее решение бюро райкома по Сотюжскому леспромхозу в корне ошибочно...

Подрезов взял себя в руки, пробежал глазами записку.

Ничего нового для него в записке не было.

Промахи проектных организаций в определении сырьевой базы леспромхоза, недопустимая халатность комиссии в приемке объекта, совершенно не готового к эксплуатации, необходимость всемерного форсирования строительства жилья, поскольку от этого прежде всего зависит прекращение текучести рабочей силы, и наконец самое главное — настоятельная просьба о пересмотре задания для леспромхоза, по крайней мере перенесение летне-осенних лесозаготовок на зимний период... В общем, в записке излагались все те вопросы, которые Зарудный не раз ставил и перед районом и перед областью.

Новое для Подрезова было в другом. В том, что Зарудный через голову района и области обратился прямо в Москву, в столицу... Да такого, как Пинега стоит на свете, не бывало!

Что такое ихняя Пинега, ежели начистоту говорить? В области своей знают и в соседней Вологде слыхали, а дальше кому она известна?

Как-то у Подрезова на курорте зашел разговор о своей вотчине. Собеседник его — начальник главка из Москвы — захлопал глазами: дескать, это еще что такое?

А вот тут нашелся человек, который, недолго раздумывая, бах в Москву. Читайте! Сотюга — даже не Пинега! — считает... Сотюга настаивает...

От мальчишества это? От незнания жизни? Или это какой-то новый человек идет в жизнь — совершенно другой, нездешней выработки, который ничего не боится?

Подрезов так и не додумал до конца эту пришедшую на ум мысль — надо было немедля браться за дела, начинать свой замес жизни.

2

Райкомовская машина работала на полных оборотах.

Подрезов снова держал рычаги управления в своих руках. Он вызывал к себе людей, звонил по телефону, требовал, отдавал команды.

Хлеб — взял. Навалился на председателей колхозов, которые покрепче, и за каких-нибудь два-три часа хлебная сводка подскочила на пятьсот пудов.

А как взять лес? Лес с наскоку не возьмешь, хотя он-то и решает сейчас все. Лес, кубики — голова всему, а не какие-то там жалкие тысячи пудов зерна, да к тому же еще фуражного, которые дает государству Пинега.

Раньше было просто.

Задание получил, по леспромхозам, по лесопунктам, по колхозам раскидал, людей в лес отправил, а остальное уж от тебя зависит, от того, как ты сумеешь извернуться.

А что зависело от него на Сотюге?

Лес поблизости вырублен, надо тянуть железную дорогу, лежневки строить для лесовозов, а кой черт он понимает во всем этом? Возле трактора да лесовоза как пень стоит. Любой сопляк обжулить может.

А бывало?!

«Залупаев, Ступин, в чем дело? Почему график срываете?» — «Да с вывозкой затирает, Евдоким Поликарпович. Только и знаем что ремонтируем дорогу — две версты болотом».

В тот же день — на лесопункт. Взял стариков охотников, которые, как свою избу, все леса вокруг знают, все выбродил, ногами своими вымерил: «Кочан у вас на плечах! Почему дорогу в обход не сделать — болота не обойти?» — «А и верно, Евдоким Поликарпович. Оно хоша на версту и подальше будет, да зато никакая затайка не страшна. До последнего снега санный путь держаться будет».

И так всюду, во всех делах. Сам первый инженер. Во всем. А теперь — нет. Теперь стой сбоку, в сторонке, и жди, что тебе скажет ученый молокосос, потому как ты во всей этой железной механике и во всех этих проектах и графиках, вычерченных в Москве и Ленинграде, ни бум-бум.

— Что будем с Сотюгой делать? — в упор спросил Подрезов Фокина.

Фокин не сразу ответил. (Когда это первый спрашивает чье-либо мнение?)

— Вопрос слишком серьезный, и без районного актива или пленума не обойтись.

— А что это даст? С каких пор на районных активах и пленумах стали лес рубить?

Да, надо немедленно сдвинуть с места сотюжский воз — в этом, только в этом выход. И самое разумное сейчас было бы самому махнуть на Сотюгу. Поостыть, поуспокоиться, там, на месте, с недельку полазать и подумать, но где она у него, неделька? Двух дней даже нет. Потому как пекашинское ЧП можно смыть только немедленным рапортом: государственное задание Сотюга выполнит.

А потом, что он мог возразить по существу Зарудному? Уж ежели прямь-напрямь говорить, то этот мальчишка не без мозгов — в самое яблочко лупит. Сырьевая база нового леспромхоза определена ошибочно — факт, а это значит, минимум на два лишних года затянется строительство железной дороги. Без жилья ни туды ни сюды — тоже факт. И прав Зарудный насчет ошибок, допущенных при приемке объекта...

Какой там, к чертям, механизированный леспромхоз, когда ни мастерской для ремонта тракторов и лесовозов, ни заправочных пунктов, ни подвозочных дорог от лесных делянок к железной дороге! И ведь Подрезов (он сам возил приемочную комиссию на Сотюгу) понимал, видел все эти недоделки, даже председателю заявил, что предприятие не готово к эксплуатации. Да председатель — тертый калач, насквозь человека видит — покачал головой: «Ну, товарищ Подрезов, вот уж не ожидал, что ты такой мелочага! А мне-то про тебя былины в области пели». И товарищ Подрезов растаял...

А за этим ляпом, само собой, последовал и другой ляп — непосильное задание. Раз леспромхоз принят, вступил в строй, то какой же план? На всю катушку. И была, была у него возможность поправить дело — только бы скажи со всей прямотой и откровенностью на бюро обкома. Нет, не сказал. Озноб, мороз пошел по коже, когда задание для нового леспромхоза услышал, а духу возразить не хватило. Как же это так? Он, Подрезов, да будет канючить, отбой бить? Никогда!

— Ладно,— сказал Подрезов и шумно выдохнул из себя воздух,— совещание так совещание.

А что еще оставалось?

Фокин протянул лист исписанной бумаги.

— Это еще что?

Подрезов надел очки, начал читать:

«В бюро обкома ВКП (б)

Заявление

Ввиду того, что в последнее время у меня с первым секретарем райкома тов. Подрезовым Е. П. наметился ряд принципиальных расхождений в решении принципиальных вопросов, прошу от занимаемой должности...»

Подрезов, не спуская с Фокина своих пронзительных, замораживающих глаз, медленно сложил заявление пополам, потом еще раз пополам, надорвал и бросил в корзину.

— Иди. Будем считать, что я этой бумажки не видел.

— К вашему сведению, это не бумажка, а официальное заявление секретаря райкома...

— Ну, ну! Валяй. Еще что скажешь?

— Еще скажу, что я не мальчик на побегушках, а вы не хозяин, у которого я на службе. Это первое. А второе... От докладной записки Зарудного нельзя так просто отмахнуться. Пора прямо правде взглянуть в глаза.

— Ты за решение бюро голосовал, нет?

На их счастье, тут с зажженной лампой вошел Василий Иванович, и Подрезов огромным усилием воли задавил в себе гнев.

Он не слышал, как вышел из кабинета Фокин. Прикрыв глаза тяжелой, отливающей рыжим пухом рукой от непривычно яркого, режущего света, ходил по кабинету и не замечал стоявшего навытяжку своего помощника.

Взглянул, когда тот несмело кашлянул.

— Чего у тебя?

— Евдоким Поликарпович, там один человек к вам просится...

— Какой еще человек?

— Анфиса Петровна...

— Анфиса Петровна? — Подрезов как-то и не подумал, что к нему может явиться жена Лукашина, хотя сам Лукашин не выходил у него из головы.

Да, да! Лесозаготовки, хлебопоставки — ради кого он сейчас всеми силами гнал? Разве не ради того, чтобы

этого дурака поскорее из ямы вытащить? Потому что одно дело, когда ты разговариваешь с областью, опираясь на лесные кубики и хлебные пуды, и совершенно другое, когда ты, как нищий, протягиваешь пустую руку за милостыней...

— Скажи, что меня нету. Понятно? — Поморщился и устало махнул рукой.— Ладно, пущай заходит.

3

Сколько времени прошло с той поры, как он последний раз видел эту женщину? Дней двадцать, не больше. А не скажи ему помощник, что сейчас к нему войдет Анфиса Минина, он бы, ей-богу, не признал ее.

Тихо, каким-то бесплотным призраком переступила за порог, стала у дверей.

Подрезов, однако, не дал власти чувствам. Он в кулак зажал сердце.

— Пришла? Насчет мужа?

— Насчет...

— Ну и что? Отпусти, Евдоким Поликарпович, зря посадили... Так?

Анфиса тяжело перевела дух.

— Ага, вздыхаешь! Понимаешь, значит, что натворил твой безмозглый муженек?

— Он не для себя взял...

— Не для себя? Вот как! Не для себя... А государству большая разница от того, кто и как к нему в карман залез? Ну! Чего язык прикусила?

Темная злоба вдруг накатила на Подрезова. Из-за кого, по чьей милости у него все эти неприятности, срывы, провалы? Кто виноват в том, что он сегодня сломя голову прискакал сюда среди своего отпуска? Разве не ее пекашинский болван? А она сама? Присмирела, богородицей сейчас смотрит на него, а может, она-то и есть всему вина? Может, она-то и науськала своего муженька? Он не забыл еще, как она напевала ему за столом, когда они с Лукашиным ездили на Сотюгу, черт бы ее побрал!

— Получит, получит, что заработал! И даже с довесом. Так трахнем, чтобы не только он сам, а и другие навеки запомнили...

В вечерних сумерках бледным пятном светилось лицо

Анфисы, все так же безмолвно и покорно стоявшей у дверей, а он метался по кабинету, кричал, грозил...

Опомнился он, когда внизу хлопнула наружная дверь. Громко, на все здание, так, как она хлопает только в конце рабочего дня, когда пустеет райком...

Вечерняя густая синева заливала главную улицу райцентра, уже кое-где прорезались первые огоньки, уже висячий фонарь зажгли на широком крыльце сельповского магазина, но не от них, не от этих огней был сейчас свет на улице. От белого платка.

Первый раз сверканул этот белый платок перед Подрезовым в сорок третьем году, когда, возвращаясь из верхних колхозов, он по пути привернул на Марьины луга — главные покосы пекашинцев.

Время было тяжелейшее — голод, непосильная работа, постоянные похоронки с фронта, ну и, конечно, как только он подъехал к избушке, бабы задавили его слезами и жалобами.

И вот тогда-то, отбиваясь от баб, он и увидел белый платок на вечернем лугу — яркий, чистейшего снежного накала.

— Кто это там у вас?

— Да председательша. Зарод дометывает — боится, сено под дождь уйдет.

И, помнится, тогда Подрезову только от одного вида этого белого платка, так зазывно, так ярко, не по-военному горевшего на вечернем лугу, стало легче на душе.

И он схватил первые попавшиеся на глаза вилы — и к ней, к Анфисе, на помощь.

А вскоре к зароду подошли и бабы. И спасли сено — до дождя дометали зарод...

Белый платок полоскался в вечерней синеве, гас, снова вспыхивал, а Подрезов стоял у окна в своем кабинете и плакал...

С ней, с этой бабой из Пекашина, связаны у него самые дорогие, самые святые воспоминания о войне, о той небывалой бабьей битве, которой командовал он на Пинеге.

И вот он криком, бранью встретил ее, по сути предал свою первую помощницу, своего безотказного командира колхозной роты под названием «Новая жизнь»...

И мало того. Опять, опять, как раньше, отплясывался на ней, срывал свой гнев, свои промахи и ошибки...

4

В приемной у Дорохова за секретарским столиком горбился какой-то молодой незнакомый лейтенант в голубой фуражке, должно быть из приезжих, и печатал на машинке. Подрезова это немало удивило: никогда в жизни не видал мужчину за пишущей машинкой.

Но, в свою очередь, немало удивился и лейтенант. И тут голову тоже не приходилось ломать. Не часто заглядывал в это заведение хозяин района. Может быть, раз или два за все девять лет своего секретарства.

Правда, Подрезов не мог пожаловаться на своих начальников — ни на старого, Таранина, которого три года назад перевели в другой район, ни на нынешнего, Дорохова. Нет, мужики что надо. Нос без толку не задирают и по первому зову, без задержки являются к нему.

А с нынешним, с Дороховым, он даже позволял себе шуточки при встречах:

— Ну как, безопасность? Все пишем? Много накатал на меня?

— Да накатал, не без того же! — в том же духе отвечал Дорохов.

И вот сейчас, когда Подрезов переступил за порог его кабинета, Дорохов, видно, вспомнил их всегдашнюю игру:

— Ба, какой гость у меня!

Живо, не чинясь, поднялся из-за стола, пошел ему навстречу со слегка приоткрытыми в улыбке передними золотыми зубами — будто горбушку солнца нес во рту. Да и вообще — красив Дорохов. Щеголь мужчина. Гибок, строен, всегда до синевы выбрит и всегда надушен, как городская барышня.

Единственно что, по мнению Подрезова, несколько портило его холеную красоту, это его всегдашняя бледность да болезненно-красные усталые глаза.

Но сейчас, присматриваясь к его кабинету с тяжелыми черными шторами, которыми наглухо были затянуты окна, он, кажется, понял, отчего это. И еще он понял, почему по вечерам в этом доме всегда темно — в лучшем случае иногда видно узкую желтую полоску света в нижнем этаже.

— Так, так,— сказал Подрезов, не спеша, по-хозяйски вышагивая по кабинету.— Давим, говоришь, контру? Может советский народ жить и работать спокойно?

— Может,— улыбнулся Дорохов.

— Сухим держим порох в пороховницах?

— Сухим.

— То-то. В надежных, значит, руках карающий меч? — Подрезов кивнул на портрет Дзержинского на стене.

— В надежных.

В таком вот духе они и говорили. Он, Подрезов, задавал какие-то дурацкие, никому не нужные вопросы, а Дорохов с золотой улыбочкой отвечал. Коротко, его же словами.

В кабинете из-за того, что наглухо запечатаны окна, было жарко. Пот лил с Подрезова.

Он начинал злиться.

Его до глубины души возмущало собственное малодушие. Почему, почему он не рубанет прямо: так и так, мол, товарищ Дорохов, хватит. Проучил ты этого пекашинского дурака — и хватит, гони в шею. Нечего ему зря казенные хлебы переводить.

Но вот как раз этого-то самого простого и самого сейчас нужного он и не мог сказать. Струсил?..

Раньше, например, ему и в голову не пришло бы тащиться самому сюда. Я — райком! Подрезов. И никаких гвоздей. А то, что ты там кому-то будешь шлепать и названивать,— наплевать. Наплевать и растереть.

Наконец завелся внутри мотор. Былая сила вернулась к нему.

Он круто повернулся к Дорохову, даже голову вскинул, но опять эта золотая улыбочка... А кроме того, Дорохов услужливо протягивал ему раскрытую пачку «Казбека».

Пришлось взять толстую папиросину — не орать же на человека, который тебя угощает! И, в общем, началась та же самая ерундистика, от которой еще недавно тошнило его.

— Международная обстановка сейчас, по-моему, ничего, а? — сказал Подрезов.— Особенно после того, как у нас своя атомная бомба появилась.

— По-моему, тоже,— ответил Дорохов.

— По американцам это удар, верно? Вот тебе и русский Иван! Опять себя показал как надо, весь мир удивил...

— Да, удивил.

— А внутреннее у нас положение тоже на высоте.

Читаешь газеты? Вся страна рапортует о досрочном выполнении хлебопоставок...

Тут Подрезов внутренне весь напрягся: все-таки он подвел разговор прямо к Лукашину. Неужели Дорохов и на этот раз не пойдет ему навстречу?

Не пошел.

— Рапортует,— ответил.

Подрезов вмял недокуренную папиросу в пепельницу на столе, с напускной молодцеватостью расправил плечи.

— Ладно, товарищ Дорохов, мне пора. Будешь завтра на совещании? В общем-то, я насчет этого и зашел. Топал мимо — чего, думаю, не зайти?

— Постараюсь,— сказал Дорохов.

Улыбаясь, они пожали друг другу руки.

Дорохов до дверей приемной проводил почетного гостя. И даже лампу взял со стола лейтенанта, все так же уныло выстукивавшего на машинке, чтобы посветить ему в темном коридоре.

Подрезов генералом прошагал по коридору.

А потом, а потом...

Хорошо, что на свете есть осенняя темень! Она, как плащом, накрыла его. Черным, непроницаемым, словно шторы в кабинете у Дорохова. И он мог идти запросто, тяжело дыша, тяжело бухая своими чугуном налитыми сапожищами, нисколько не заботясь о том, что его увидят люди.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Холодный сиверко резвился на пустыре возле здания райисполкома. И в вышней темноте, над его крышей, шумно, с хлопаньем пласталось невидимое полотнище красного флага.

Но напрасно Анфиса искала глазами свет в окошках. Его не было. Кончился рабочий день в райисполкоме, а вечерняя служба еще не началась — только внизу, на первом этаже, где трудилась уборщица, время от времени то в одном, то в другом окне вспыхивала лампа.

— Анфиса, Анфиса...

Кто-то давно уже, еще с той минуты, как она вышла от прокурора, тащился за нею сзади, но разве мог-

ла она подумать, что это Варвара? А то была она, Варвара.

Со слезами, со всхлипами бросилась ей на шею.

— Я еще давеча тебя заприметила, когда ты от Дорохова вышла — я ведь там уборщицей,— да, думаю, ладно, не буду мешать, пущай сходит к прокурору. Сказал он тебе чего, нет?

— Чего скажет. По закону, говорит...

— По закону! Какой такой закон — самого честного-распрочестного человека сажать?

Крепко подхватив под руку, Варвара повела ее куда-то вверх по главной улице, и у нее не было сил сопротивляться.

Начала соображать Анфиса, когда они стали сворачивать в какой-то заулок.

— Пойдем, пойдем,— зашептала Варвара на ухо, все так же крепко держа ее под руку.— С ума-то не сходи. Нету дома Григорья. А хоть бы и дома был — что с того? Невелика птица милиционер: куда пошлют, туда и пойдешь.

Вот так Анфиса и оказалась в маленькой боковушке у Варвары на втором этаже.

Варвара ухаживала за ней как за малым ребенком или за больной. Она разула, раздела ее, заставила натянуть на ноги теплые, с печи, валенки, а потом, когда поспел самовар, начала кормить и поить чаем.

— Ешь, пей. Ты ведь, наверно, еще и не ела сегодня?

— Да, пожалуй...— кивнула Анфиса и вдруг расплакалась.— Не думала, не думала я, Варвара, что у тебя найду пристанище...

— Да ты с ума сошла, Анфиса! К кому же тебе идти, как не ко мне! Господи, всю войну вместях, какие муки приняли, а теперь, на старости лет, счеты сводить... Пей, пей да не думай — он тоже не голоден.— Тут Варвара быстро привстала с табуретки, зашептала ей в лицо: — Я ему передачу сегодня передала.

— Кому? Ивану?

— Ладно, ладно, потише. Есть тут один милиционер — упросила...

— Ну и как он? — У Анфисы дыханье перехватило.

— Ну и ничего. Да ты не убивайся, бога ради. Сколько ни подержат — выпустят. За что его держать-то? Человека убил? Деньги казенные растратил?

Анфиса покачала головой:

— Нет, девка, дров-то он наломал немало. Сама знаешь, какой закон: ни килограмма хлеба на сторону, когда жатва.

— А колхозники-то что — сторона? Ну-ко, вспомни, когда еще ты бабам говорила: бабы, не жалейте себя, бабы, после войны досыта исть будем? Ей-богу, я иной раз подумаю: да что это у нас делается? Я не сею, не жну, а каждый день с буханкой, а в том же Пекашине люди на поле не разгибаются — и на-ко... Нет, нет,— еще с большей убежденностью заговорила Варвара,— этого и быть не может! Выпустят, вот увидишь. А ежели здесь не разберутся, то ведь и в область можно. Да и Москва не в чужом царстве...

Анфиса кивала, соглашалась с Варварой, а сама так и клевала носом: сон навалился — ничего не могла поделать с собою.

Наконец Варвара догадалась разобрать для нее постель. На полу — от кровати она сама наотрез отказалась. Тут у нее голова еще сработала. Зато уж когда почувствовала под боком мягкую перину, только что занесенную с холодного коридора, заснула моментально, намертво. Будто в воду нырнула.

2

Проснулась Анфиса посреди ночи — от песни.

Какие-то бабенки, должно быть возвращаясь с запоздалой гулянки, горланили на всю улицу. И горланили, как назло, ее любимую — о ней и об Иване.

Зачем, зачем ты снова повстречался,
Зачем нарушил мой покой?

И она слушала эту песню, глядела на бегающие по белому, крашеному известкой потолку отсветы от проезжавшей по заулку машины (на задворках был леспромхозовский гараж) и снова в который уже раз сегодня думала о своей вине перед Иваном.

Как должна вести себя хорошая жена, когда ночью уводят из дома мужа? А как угодно, наверно, но только не стоять истуканом посреди избы. А она стояла. Вросли в пол ноги, отнялся язык. Вот так оглушило ее появление нежданных ночных гостей в ихнем доме. И даже в

ту минуту, когда Иван последний раз обернулся к ней от порога, она не двинулась с места, не бросилась к нему.

Но и это еще не все.

Самую-то страшную вину, вину непоправимую, она сделала накануне вечером, когда Иван пришел домой с работы.

Видела: на человеке лица нет. Не глупый же, понимает, какой бедой может обернуться этот хлеб. И не ей ли, жене, в такую минуту было прийти на подмогу своему мужу? Не ей ли было утешить и приободрить его?

А она, едва он переступил за порог избы, начала калить да отчитывать его, как самая распоследняя деревенская дура. Дескать, с кем ты все это удумал? Почему не посоветовался? Враг тебе жена-то, да?

В общем, кричала, бесновалась — себя не помнила. А потом и того хуже: сына — на кровать, сама к сыну, а ты как хочешь. Даже ужинать не подала. И Иван в тот вечер так и не ужинал. Снял с вешалки свой ватник, в котором только что пришел с улицы, бросил на пол и лег.

А ночью к ним постучали...

Когда песня на улице стихла, Анфиса тихонько поднялась и решила дойти до милиции, постоять там: должен же Иван почувствовать, что она тут, рядом с ним.

Но Варвара — она тоже не спала — не пустила ее. Встала поперек горенки и — нет-нет, нечего расхаживать по ночам. Спи. Затем, обнимая ее за плечи, крепко прижимая к себе, она опять уложила ее в постель, а потом и сама залезла к ней под одеяло.

Анфиса исступленно, обеими руками обвила ее шею, и тут уж слезу пустила Варвара:

— Помнишь, как мы с тобой в войну жили? Как сестры родные, верно? Я иной раз подумаю: да у меня и родни роднее тебя нету. Кто же нас это развел? Пошто теперь-то мы не вместях?

— Жизнь, Варвара... Жизнь разводит людей...

— Жизнь-то жизнью... А мы-то, люди, зачем свою жизнь топчем, лишаем себя радости?

Нет, не прежняя, не лихая, никогда не унывающая бабенка говорила это, и тут Анфиса вдруг вспомнила, какое невеселое, потускнелое лицо было у Варвары за чаем.

— Я все о себе да о себе. Ты-то как живешь, Варвара?

Варвара — вот характер — мигом преобразилась.

— Живу! Чего мне не жить — на всем готовеньком? Ладно,— оборвала она себя круто,— обо мне чего говорить. Ты лучше про Пекашино расскажи, про сына своего. Большой стал у тебя Родион?

— Большой. Уж две недели как на своих ногах стоит.

— С кем оставила?

— Родьку-то? С Лизой Пряслиной. Сама прибежала ко мне: «Ты, говорит, Анфиса Петровна, ежели в район надо, Родьку к нам давай. Нам с мамой все равно что один, что двое... И Михаил, говорит, велел сказать...» Михаил, все ладно, скоро женится. Раечка бегает по деревне — ног под собой не чует. Ну да чего дивиться? За такого парня выходит... А вы-то с Григорием записаны? — спросила Анфиса.

Варвара не ответила.

В заулок с ревом въехал не то трактор, не то тяжелый грузовик. Рамы задрожали. Ослепительный свет скользнул по потолку, по дверям, по постели.

На миг Анфиса увидела сбоку от себя Варварино лицо, мертвенно-бледное, заплаканное, увидела крепко закушенные губы и с ужасом подумала: господи, да ведь она все еще любит Мишку. Столько-то лет...

— Варвара, Варвара... Что я наделала, что натворила... Да я ведь жизнь твою загубила...

Ни одного словечка в ответ. Только со всхлипом вздох. А потом умерла Варвара. Даже дыханье кончилось.

Анфиса заплакала.

— Господи, господи... Самому заклятому врагу так не делают, как я тебе сделала. Да простишь ли ты меня когда-нибудь?

Она долго ждала, когда заговорит Варвара. Но Варвара молчала.

Все сделала для нее: приютила, накормила, напоила, с сердца камень сняла,— а вот заговорила о Михаиле — и конец ихней дружбе. Стена встала меж ними.

И Анфиса, вдруг вспомнив недавно сказанные Варварой слова, с горечью, с тоской спрашивала себя: ну почему, почему мы сами-то себя топчем, поедом едим? Почему мы сами-то не даем друг другу жить?..

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Подрезов отошел, отоспался за ночь. У него появились мысли насчет Сотюги — он решился наконец, что с ней делать, как вытащить сотюжский воз. А это самое главное. Основа основ всего. И поутру, когда он пришел в райком, ему уже не казалось, как вчера, все безнадежным.

Пекашинское ЧП, конечно, есть ЧП — тут нечего делать вид, что ничего не случилось. Но нечего и биться головой о стенку, кричать караул.

Снова замотало у него душу, когда приехал Филичев, завотделом промышленности обкома партии. Приехал внезапно, неожиданно, без всякого предупреждения. Просто как снег на голову пал. Он уж, Евдоким Поликарпович, собрался было идти вниз, на первый этаж, где в просторном парткабинете ожидали его люди, приехавшие со всех концов района на совещание, он уж было за ручку двери взялся — и вдруг Филичев. Грудь в грудь, глаза в глаза.

Филичев в обкоме человек был новый, так, запросто, не спросишь: дескать, какая тебя нелегкая к нам принесла? Вот у Евдокима Поликарповича и пошел крутеж в голове — зачем приехал? Для знакомства с лесным делом на Пинеге (Филичев еще не бывал в районе)? Докладная записка Зарудного сработала? К нему, Евдокиму Поликарповичу, ключи подбирать?

В другое время Подрезов и не подумал бы ломать голову над всем этим: наметил себе дорогу — и при, а сегодня, когда у тебя такая ноша на горбу, приходилось все учитывать, каждую ложбиночку, каждое болотце, а уж тем более не лезть без нужды в трясину.

Взбодрила немного Подрезова встреча со своей лесной гвардией — директорами леспромхозов, начальниками лесопунктов, парторгами, рабочкомами, стахановцами. От их красных и темных обветренных лиц, от их тяжелых, шероховатых рук, которыми они неумело прикрывали рот, чтобы приглушить кашель, от всех их будто вытесанных топором коренастых фигур так и дохнуло на него лесной свежестью, дымом костров, запахом смолы. И он, который в парткабинет вошел с крепко сомкнутым ртом, тут невольно разжал губы, улыбнулся.

Филичев повел себя хозяином с первой минуты, как только Подрезов объявил порядок дня. Порядок самый обыкновенный, такой, какого придерживаются на любом совещании: сперва заслушать начальников передовых лесопунктов — Туромского и Синегорского, поскольку у них можно позаимствовать положительный опыт, а потом уже заняться Сотюгой.

— А почему не наоборот? — спросил Филичев.— Почему не сразу быка за рога?

Зал замер. Не привыкли к такому, чтобы их первого, как мальчишку, одергивали. Да и по существу: кто же это кобылу с хвоста запрягает?

Подрезов, однако, сдержался: зачем палить по воробьям, когда идешь в лес, где медведя встретишь? А потом, как-то и неловко было ему, здоровенному человеку, с первой минуты задирать инвалида войны — у Филичева вместо левой руки был протез с черной хромовой перчаткой.

— Хорошо,— сказал Подрезов,— начнем с Сотюжского леспромхоза.

Зарудный, как всегда, вылетел из задних рядов быстро, стремительно, как торпеда. Но Филичеву, судя по его хмурому лицу, он не очень понравился.

Все еще были в военных и полувоенных кителях, гимнастерках, все еще чувствовали себя солдатами (да восстановительный период мало чем и отличался от войны), а этот в белой рубашечке, с галстучком, в какой-то курточке со сверкающей «молнией», и светлые волосы на голове с задором, с вызовом — как гребень у петуха.

— Ну, расписывать успехи мне нечего, поскольку таковых нет...

В задних рядах фонтаном брызнул смех, потому как кто же так начинает речь? Где политическая подкладка, связь с международным положением, с внутренней обстановкой в стране? И Филичев тут уже не на зал посмотрел, а на Подрезова: дескать, что это такое? как прикажешь понимать?

В зале заворочались, завытягивали шеи, улыбками расцвели суровые лица.

Филичев начальственным взглядом обвел зал, но и это не помогло. Так всегда было: когда на трибуну выходил Зарудный, оживали люди.

— Сотюжский леспромхоз, как известно, в трясине,— еще более определенно выразился Зарудный.— В тряси-

не, из которой не вылезает второй год. И если мы будем работать и дальше так, то не только не вылезем, а, наоборот, будем увязать все глубже и глубже. Это я вам точно говорю.

— Значит, надо работать иначе. Так? — подал реплику Филичев.

— Безусловно.

— Так в чем же дело?

— Дело во многом...— И тут Зарудный, загибая один палец за другим, начал лихо перечислять уже давно известные многим участникам совещания причины хронического отставания Сотюги: просчеты в определении сырьевой базы, недостроенность объекта и в связи с этим нереальность задания, отсутствие жилья и как прямой результат этого необеспеченность предприятия рабочей силой...

Восемь пальцев загнул Зарудный. Восемь.

— Но самая главная причина сотюжского кризиса, причина всех причин — это непонимание того, что происходит сейчас в лесном деле, непонимание, что в лесной промышленности наступила новая эпоха — по сути дела, эпоха технической революции...

Филичев опять прервал Зарудного:

— Кто этого не понимает?

— Кто? — Зарудный на мгновение по-мальчишески закусил верхнюю губу с чуть заметным золотистым пушком.— Этого, к сожалению, многие не понимают ни в районе, ни в области — я имею в виду прежде всего некоторых руководящих работников лесотреста. Сегодня совершенно очевидно, что старый, дедовский способ заготовки древесины и ведения лесного хозяйства изжил себя начисто...

И пошел, и пошел чесать. Сегодня нельзя больше полагаться на лошадку да на топор — этим инструментом не взять леса из глубинки. Сегодня надо строить железные дороги, автомобильные трассы — словом, внедрять технику. А чтобы внедрять технику, нужны квалифицированные рабочие, целая армия инженерно-технических работников. А чтобы иметь последних, надо по-новому строить все бытовое и жилое хозяйство, надо сделать небывалое — воздвигнуть в тайге современные благоустроенные поселки, где была бы своя школа, свой клуб, своя больница...

Люди слушали Зарудного, затаив дыхание — всех за-

ворожил, сукин сын, сказками про райское житье, которое вот-вот наступит в пинежских суземах. А когда Зарудный с той же горячностью своим звонким молодым голосом начал говорить об отставании от требований времени руководства, о необходимости нового, более смелого и широкого взгляда на жизнь, Подрезов не узнал свою лесную гвардию: гул одобрения прошел по залу. А ведь в кого бил Зарудный, когда пушил руководство? В него, Подрезова, прежде всего.

— Да, да,— валдайским колоколом заливался Зарудный,— кое-кто у нас в методах руководства все еще едет на кобыле. И не просто на кобыле, а на старой кляче. (Дружный смех прокатился по залу.) Пора, пора с лошади пересесть на трактор, на автомобиль. И вот еще что скажу,— это уже прямо в его, Подрезова, адрес,— окрик да кнут трактор и автомобиль не понимают. Их маминым словом с места не сдвинешь...

Кто-то в задних рядах не удержался — захлопал, но тут опять в дело вступил Филичев:

— Популяризаторские данные у вас, товарищ Зарудный, несомненны. Но мы не лекцию собрались здесь слушать.— И уже совсем сухо, по-деловому: — Ваши конструктивные предложения?

— Предложения по выполнению плана?

— Да.

— Ну, я об этом с достаточной ясностью высказался в докладной записке.

— В какой докладной записке?

Шумный, торжествующий вздох облегчения вырвался из груди у Подрезова.

Все правильно, все так, как он думал. Лес, кубики дай стране — за этим приехал Филичев. Ну, а раз так — живем! Нет сейчас на Пинеге другого человека, который бы в нынешних условиях мог дать больше леса, чем он, Подрезов!

— Речь идет о докладной записке, которую товарищ Зарудный направил министру лесной промышленности.

— Как министру? — И Филичева поразила дерзость молодого директора.— У вас что, куда рак, куда щука? В чем существо дела?

— Существо дела в том, что́ строить на Сотюге. Бюро райкома считает, что на данный момент, поскольку мы два года недодаем родине древесину, можно строить здания барачного типа, а то и вовсе на время свернуть

жилищное строительство. А товарищ Зарудный — нет. Не хочу черного, без булки и за стол не сяду. Мне светлицу да терем подай...— Подрезов взял лежавшую перед ним записку Зарудного, порылся в ней глазами и, нарочно косноязыча, произнес: — Ко-тед-жи...

В зале язвительно рассмеялись — наступал перелом.

Северьян Мерзлый, председатель захудалого колхозишка, явно подлаживаясь к первому, выкрикнул:

— Ето что же за котожи, разрешите узнать? Ето не те ли самые котожи, из которых мы в семнадцатом году кровь пущали?

После немного затихшего хохота Подрезов сказал:

— Вот видишь, товарищ Зарудный, чего ты требуешь. Народ православный даже и слова-то такого не слыхал...

— Я могу разъяснить этому православному народу, что такое коттеджи. Это двухквартирные и четырехквартирные дома со всеми бытовыми удобствами, которые, надо полагать, заслуживает лесной рабочий — человек одной из самых тяжелых и трудных профессий...

Подрезов, сохраняя внешнее спокойствие, перебил:

— А скажи, товарищ Зарудный, на сколько можно увеличить заготовку древесины, ежели временно отказаться от строительства этих самых...— он не упустил случая, чтобы еще раз лягнуть своего противника,— коттеджей и высвободившуюся рабочую силу направить в лес?

Зарудный немного помялся, но ответил честно:

— Думаю, процентов на тридцать, на тридцать пять.

— Что? На тридцать пять? И вы, имея такой резерв, до сих пор не использовали его? — Филичев и в сторону Подрезова метнул гневный взгляд.

— Это фиктивный, кажущийся резерв, а попросту самообман.

— То есть?

— То есть!.. Можно прикрыть жилищное строительство, можно снова загнать людей в бараки. Все можно! Можно даже под елью жить. Жили же во время войны...

— Ты лучше войну не трожь, товарищ Зарудный,— с угрозой в голосе посоветовал Подрезов. Его при одном этом слове заколотило.

— А почему не трожь? Надо, обязательно надо трогать войну. И надо понять раз и навсегда: ударные ме-

сячники, штурмовщина, всякие авралы кончились. С ними теперь далеко не уедешь.— Тут Зарудный до того разошелся — перешел на визг: — Война, война! Голодали, умирали, жертвовали... До каких пор? До каких пор кивать на войну? Вы хотите увековечить состояние войны, а задача состоит в том, чтобы как можно скорее вычеркнуть ее из жизни народа...

— Вычеркнуть войну? Войну забыть предлагаешь? — Подрезов встал.— Да откуда ты явился такой, а? В какой семье вырос?

Тут Подрезов еще отдавал себе отчет, что перебирает. На самом деле он хорошо знал биографию Зарудного, не один раз листал его личное дело. Из рабочей семьи. Мать — посудомойка в столовой. Трое детей, причем Евгений старший, отец пропал без вести на фронте. Но дальше уже ни малейшего притворства, ни малейшего наигрыша. Дальше его понесло, как коня под гору. Красный туман заходил перед глазами.

— Вот тут сидит сколько человек? Сто? Сто двадцать? Встаньте, по кому война не проехалась! Видишь, нет таких. Никто не встал. А ты — до каких пор, говоришь, на войну кивать? Всю жизнь! До самой смерти! И я тебе не советую, товарищ Зарудный, тыкать пальцем в раны, которые еще у всех кровоточат...

Зарудный пытался что-то возражать, оправдываться. Но его никто не слушал. Зал клокотал, зал лихорадило, а Филичев, тот сидел бледный-бледный, как бумага, и вокруг его серых выпуклых глаз отчетливо проступили синие пороховые пятна.

Подрезов, отдышавшись, закончил. Закончил уже как полный хозяин положения:

— Теперь насчет жилищного строительства на Сотюге. Будем строить. Придет время — в отдельных домах будем жить.— Он посмотрел в сторону дивана у стены, где своей белой рубашкой выделялся Зарудный среди сурового воинства, затянутого в армейские кителя и гимнастерки.— А теперь покамест придется немного потерпеть. Страна кричит, требует: дай лес, дай лес! Люди на разоренной врагом территории живут еще в землянках, мерзнут в хибарах, каждой доске, каждой жердине рады. А мы не можем год-два в бараках пожить? Да советские ли мы люди после этого? Братья и сестры мы? Или кто?

Зал ответил аплодисментами.

2

Победа!

Наконец-то Зарудный поставлен на свое место. Теперь он, Подрезов, будет командовать парадом. И у него есть что предложить совещанию или пленуму. Вполне можно так назвать: весь цвет района собран. Не зря он до четырех часов утра не смыкал глаз.

Первое, в чем он уже заручился поддержкой представителя обкома,— свернуть на время работы по жилищному строительству.

Второе — снять половину задания с Сотюжского леспромхоза (восемьдесят девять тысяч кубометров — годовой план) и разбросать по другим леспромхозам и колхозам. В порядке, так сказать, дополнительных обязательств. Колхозы, конечно, взвоют. Но что делать? Поразоряются-поразоряются, а придется ремень затягивать еще на одну дырку.

Третье — это уже на самый крайний случай — «прочесать» слегка Красный бор. Люди, понятно, потом проклянут его за этот Красный бор, можно сказать, последний стоящий сосновый бор на Пинеге (остальные в войну свели), да когда человек ко дну идет, разве ему о том думать, за что ухватиться.

Расчеты Подрезова правильны — он в этом не сомневался. И это хорошо, что его сегодняшняя схватка с Зарудным происходит на глазах у всего районного актива и в присутствии такого умелого и влиятельного работника обкома, как Филичев. Сразу с двух сторон подпоры! И поди попробуй теперь сказать, что Подрезов зарвался, Подрезов своевольничает...

Филичев устал и был рад перерыву. Сразу же, как только вошли в кабинет, полез в карман за какими-то таблетками. Но вот характер! Отвернулся — не захотел, чтобы видели его слабость.

Подрезов, щадя самолюбие Филичева, подошел к окну.

Двери внизу визжали и ухали, крыльцо разламывалось от топота ног, а в райкомовский садик под окнами все вываливались и вываливались люди. На солнышко. На зеленую травку.

Возле турника, как всегда, сбились те, кто помоложе. Вася Каменный, низкорослый здоровяк из Юрги, так облапил своими ручищами железную перекладину, что Подрезов даже со второго этажа услышал, как жалобно

завыли деревянные столбы, но где там — не смог оторвать от земли свой увесистый самовар.

Лучше получилось у Пашки Тюрина и Вани Дурынина — эти без особого труда перевернулись, но по сравнению с Зарудным и они оказались неповоротливыми тюленями.

Черт те что за человек! Только что били, только что колотили, все совещание восстановил против себя, а с него как с гуся вода. Подошел с улыбкой — зла не помню — да как начал-начал выделывать номера — и колесом, и ласточкой, и медведем — все сбежались к турнику.

Этот турник в райкомовском садике поставили какой-нибудь год назад, а потом турники за одну эту весну расплодились по всему району. И теперь на какой лесопункт ни приедешь, в какой колхоз ни заглянешь, даже самый захудалый, турник обязательно увидишь. Ну, а на Сотюге — это от Зарудного все пошло — был даже целый спортивный городок выстроен.

Да, вздохнул про себя Подрезов, ничего не скажешь — орел парень. Орел... И на какую-то секунду ему даже жалко стало, что они не сработались. Всех обламывал он или приручал к себе. А этого не сумел. Этот за два года даже Евдокимом Поликарповичем его ни разу не назвал — все «товарищ Подрезов»... Почему?

А в общем, чего теперь об этом горевать? Теперь им уже недолго осталось мозолить глаза друг другу. И он, еще раз бросив взгляд на летающего в воздухе Зарудного, на завороженную им толпу лесозаготовителей, со всех сторон окруживших турник, отошел от окна.

Филичев уже пил чай.

Подрезов тоже взял себе стакан чая с подноса, который минуту назад вместе со свежими газетами внес помощник, пошел на свое секретарское место — он любил попивать чаек, просматривая газету.

— Посмотрим, посмотрим, чему нас учит товарищ Лоскутов,— пошутил он.

Пошутил в надежде, что Филичев немного прояснит ситуацию в области, но тот даже ухом не повел. Всего скорее не хотел откровенничать.

Ладно, думал не без ухмылки Подрезов, на лесе мы с тобой сошлись, а уж на Лоскутове-то тем более сойдемся, потому как Лоскутова, он знал это, аппаратчики не очень любили.

Передовая областной газеты была посвящена завершению уборки на полях — лягнули виноградовцев и лешуконцев, затем еще один материал на первой странице — письмо Сталину от трудящихся энской области, рапортующих о досрочном выполнении плана хлебозаготовок.

Вторую и третью страницы Подрезов даже и просматривать не стал — выступление Вышинского в ООН. Такие материалы он читает по центральной «Правде» и обычно дома перед сном, уже лежа в постели. А насчет того, чтобы дырявить газеты глазами в рабочее время, у него закон твердый: ни себе ни малейшей поблажки, ни своим подчиненным.

Четвертая страница была, как всегда, дробной и пестрой. Первой зацепила глаз заметка с фотографией клоуна о последних, завершающих гастролях цирковой труппы, и он мысленно вздохнул — вспомнил смазливенькую черноглазую артисточку...

«Выше дисциплину на речном транспорте!»...

Эту статейку из двух столбцов в левом углу сверху он и просматривать не собирался — какое ему дело до речников? — да вдруг бог знает как в середине второго столбца увидел: Подрезов. Какой Подрезов? Однофамилец?

Нет, нет, нет. О нем шла речь.

«К сожалению, не всегда должный пример подают и коммунисты. Так, первый секретарь райкома т. Подрезов Е. П. на днях допустил непозволительную грубость и кичливость на пароходе, где капитаном тов. Савельев».

Всего один абзац в статейке на четвертой странице, маленький абзац, напечатанный каким-то тусклым, подслеповатым шрифтом, а Подрезова он оглушил. У Подрезова в глазах все заходило и закачалось...

Потом он поднял от стола голову вместе с газетой и, как бы прикрывая ею свое пылающее лицо, посмотрел поверх нее на Филичева.

Филичев блаженствовал.

Большой покатый лоб его бисером осыпал пот. Он даже китель расстегнул, чтобы вполне насладиться чаепитием, и Подрезов увидел на груди у него поверх белой нательной рубахи с солдатскими завязками желтый, совсем еще новенький ремешок, которым закреплялся протез...

3

До сорок пятого года у них в райкомовском доме было две общих уборных — одна внизу, на первом этаже, а другая на втором. Но в том сорок пятом году, вернувшись из города с банкета в честь Победы, Подрезов приказал уборную на втором этаже заново переоборудовать — повесить зеркало на стену, завести умывальник, чистое полотенце, туалетное мыло — и гужом туда всем не переть.

По поводу этого своего нововведения Подрезов долго подтрунивал над собой, зато сейчас он оценил его как следует. Сейчас уборная была единственным местом во всем огромном двухэтажном здании, где он мог остаться наедине с собою.

Накинув крючок на дверь, он еще раз прочел злополучный абзац, затем прочел всю статейку.

Все ясно: Лоскутов решил поставить на нем крест. Да, да. Только одна его фамилия названа. Как будто с ним Кондырева не было...

Он не очень ломал голову, почему именно он попал в опалу. Всякие могли быть причины. И первое — прорыв на лесном фронте. Разве он сам, к примеру, стал бы держать в начальниках лесопункта человека, который два года подряд не выполняет задание? Могло быть и другое — Лоскутов решил подтянуть дисциплинку. С этого многие начинают, когда приходят к власти. И на ком же учить районщиков? На Афоне Брыкине? А могло у Лоскутова взыграть и честолюбие. Все люди. И там, наверху, с нервами, с самолюбием. А Подрезов не больно-то считался со вторым секретарем — всегда по каждому вопросу шел к Павлу Логиновичу.

Э-э, да что теперь гадать, почему ты загремел. Что это меняет? Теперь надо думать о другом.

Подрезов аккуратно свернул газету в трубку, положил на подоконник. Потом снял с себя гимнастерку, старательно умылся холодной водой, растерся вафельным полотенцем, глядя на себя в зеркало, и зачем-то с особым тщанием, щеря рот, осмотрел свои зубы — крупные, крепкие и довольно чистые, никогда не знавшие никотина.

Когда он вошел в свой кабинет, Филичев уже знал про статейку. Он стоял у стола хмурый, озабоченный, снова застегнутый на все пуговицы, и областная газета

со знакомой фотографией циркового клоуна лежала возле него.

— Ну что ж, товарищ Филичев, пойдем,— сказал Подрезов своим обычным голосом и кивнул в сторону приоткрытых дверей, откуда валом накатывал гул: участники совещания уже были в курсе дела.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Ему не могло почудиться. Он хорошо слышал ребячий смех и визг в кухне. Слышал, когда поднимался на крыльцо, слышал в сенях, берясь за скобу, а открыл двери — и вмиг все оборвалось. Онемели, к полу приросли дети, будто стужей крещенской дохнуло на них. И Софья тоже немым истуканом уставилась на него.

Он прошел в переднюю комнату, постоял немного, как бы прислушиваясь — в кухне по-прежнему ни звука,— и прошел к себе.

Бог знает когда подоспевшая Софья начала помогать ему снимать кожаный реглан, он оттолкнул ее от себя.

— Мать называется! Отец домой приходит, а дети от него как от чумы шарахаются.

— Мы, вишь, не ждали, что ты через кухню пойдешь...

— Не ждали! Что же, я должен заранее объявлять, когда на кухню зайду?

Софья, как всегда, не выдержав его взгляда, покорно опустила глаза, потом, спохватившись, спросила:

— Исть ставить?

Он ничего не ответил. Заложив руки за спину, прошелся по комнате.

— Слышала, что говорят обо мне?

Что-то вроде испуга метнулось в больших темных глазах, румянец на секунду отхлынул от крепкого скуластого лица, но ответа он не услышал.

Да, вот так. Весь район ходуном ходит, везде только и говорят сейчас что о нем, а жена его как с неба свалилась...

— Ладно, иди. С тобой говорить — легче воз дров нарубить.

Софья вышла, тихонько закрыв за собой дверь.

Он прошелся еще раз по комнате, глянул в окно на

улицу, по которой в это время с грохотом пронесся порожний грузовик, и прилег на койку — прямо в гимнастерке, в сапогах.

За окном вечерело. В темном углу за койкой, там, куда не попадали лучи солнца, уже невозможно было разобрать буквы на плакате с разгневанной матерью-родиной, зато все остальные плакаты времен войны — а их в комнате было множество, каждый вновь попадавший в район плакат садил он у себя на стену — пылали как факелы, как живые костры.

В прошлом году, когда он из города привез обои, жена хотела было оклеить ими и его комнату, но он запретил. Всю войну прошел плечо к плечу с этими богатырями воинами — с красноармейцами, партизанами, маршалами, всю войну заряжался от них силой-ненавистью, а теперь долой? В утильсырье за ненадобностью?

Он расстегнул офицерский ремень с медной звездой, стащил с себя гимнастерку — все тело горело от зуда, который вдруг неожиданно со страшной силой обрушился на него во время этого судилища. Можно сказать даже, публичной казни — вот чем обернулось для него созванное им районное совещание.

2

...У него хватило силы воли — в парткабинет вошел с улыбкой, и это так всех изумило, так всех ошарашило, что не то что люди — газеты замерли в руках.

— Начнем, товарищи! Газетками, я вижу, вы подзапаслись, так что повеселее пойдут прения, а?

И опять ни звука. Опять ни единого шороха в зале.

И тогда он вдруг почувствовал в себе такую силу, что, кажется, только крикни он этим людям: «За мной, ребята!» — и они бросятся за ним в огонь и в воду.

И был, был соблазн у него трахнуть напоследок дверью на всю область: вот, дескать, запомните, кто такой Подрезов,— но он сказал:

— Я думаю, товарищи, поскольку в работе нашего совещания принимает участие заведующий отделом обкома, то лучше будет, ежели председательствовать будет он.

Вот после этого и началось.

Видал, немало на своем веку он повидал весенних разливов в половодье — и на малых реках и на больших.

И что всегда поражало его? Муть, нечисть, мусор, которые кипят и крутятся на воде.

Вот так же и сейчас.

Вся грязь, весь хлам, вся погань всплыли наверх. Северьяха Мерзлый, тот самый Северьяха, который еще сегодня утром дозорил его у входа в райком — дескать, какие указания будут? в каком разрезе выступать? — Митрофан Кузовлев, Санников, Фетюков...

Все орали, горланили, размахивали руками, лезли на трибуну: Подрезов... Подрезов!.. Подрезов — тормоз... Подрезов житья не дает, Подрезов — воевода, который всех подмял под себя... А в колхозах который год трудодень пустой — кто виноват? Подрезов... А из-за кого в магазинах ни чаю, ни сахару? Из-за Подрезова...

Все из-за Подрезова! Во всем Подрезов виноват!

А война у нас была тоже из-за Подрезова? — хотелось рявкнуть ему на весь зал.

Но он не рявкнул. На кого рявкать? На эту неробоють и шушеру?

Боже мой, боже мой! Подрезов для них тормоз, Подрезов им житья не давал... Да в том-то и беда, в том-то и вина его страшная — перед народом, перед партией,— что он терпел их, пригрел у себя под боком.

Северьяху Мерзлого, к примеру, взять. Пять колхозов завалил, сукин сын! Пять! А Митрофан Кузовлев... Ну кого тупее его в районе сыщешь?! А он, Подрезов, пригрел. Ребятишек пожалел. Пятеро. Не в детдом же при живом отце отдавать!

И такие, как эти — не лучше! — Фетюков, Санников, заместитель председателя райисполкома Лазарев... Всех, всех давно в шею надо было гнать. А он их держал. Почему? Да потому, что хорошо кадили, славословили, в ладоши хлопали... Да каким же судом судить его за это? Какой карой карать?

Два человека — Исаков да Лешаков — вступились за него.

Исаков напомнил, как он, Подрезов, весной сорок третьего года спас скот района от падежа — всех поголовно белый мох из-под снега выкапывать выгнал. Даже школы на неделю закрыл. А Лешаков подал голос с места: дескать, чего за строгость хозяина корить? С нашим братом распустись — что будет?

Заступничество Исакова и Лешакова Подрезов оценил после, когда снова и снова прокручивал в своей па-

мяти ленту совещания. А в тот момент, когда они говорили, даже поморщился от досады. Ну какая это заступа? Молчали бы уж лучше. Один — председатель колхоза, который давно уже на ладан дышит, а другой тоже не кадр: начальник самого захудалого лесопункта, которого он же сам, Подрезов, разносил везде и всюду при первом случае.

Судьбу решала большая вода. Она в разлив выворачивает с корнями столетние сосны и ели, сносит постройки, размывает и рушит каменные берега.

А большая вода — это директора леспромхозов, начальники ведущих лесопунктов, председатели крупных колхозов, руководящий аппарат района.

И вот первый вал — Афиноген Каракин.

Дружба с арестованным Лукашиным, бабья заваруха у колхозного склада в Пекашине, факты незаконного разбазаривания хлеба в колхозах, то есть выдача его колхозникам в период хлебозаготовок, и даже... поощрение частнособственнических тенденций в колхозах — дескать, с ведома первого секретаря у Худякова и еще кое у кого заведены тайные поля, которые не облагаются налогом...

Под корень рубка!

Но и этого мало. Напоследок Афиноген вытащил из грудного кармана записную книжку, раскрыл не спеша и давай, как бухгалтер, перечислять все прегрешения первого. По числам. С указанием свидетелей.

«13 июня 1948 г. т. Подрезов в нарушение устава сельхозартели вывез из колхоза, где председателем Худяков, 5 кг свежих огурцов и употребил их по личному назначению.

10 мая 1949 г. т. Подрезов, попирая партийную этику, распил вместе с арестованным ныне Лукашиным бутылку водки в своем кабинете. Водку из магазина сельпо доставил специально посланный для этой цели помощник первого секретаря.

5 октября 1949 г. т. Подрезов организовал бригаду браконьеров и в течение 2 дней незаконно ловил в реке семгу. На предупреждение рыбнадзора т. Коровина прекратить это безобразие ответил выстрелом из ружья в воздух, а затем пригрозил утопить т. Коровина в реке...»

Все перечислил, ничего не забыл. Грубое обращение с людьми, мат по телефону, покупка продуктов в кол-

хозах по заниженным ценам, незаконное увольнение людей с работы... И так далее и тому подобное.

Зал клокотал, бурлил, как вода в разъяренном пороге.

Никто, никто не ждал такой прыти от Афиногена Каракина. Заведующий отделом райкома, выдвиженец Подрезова, и не просто выдвиженец — любимчик, можно сказать, и вдруг такой крутеж на глазах у всех...

А сам Подрезов глаз не поднимал. Зажал себя. Как сплавщик, который плыл на бревне по осатаневшей реке в половодье, и все силы, все уменье и сноровка его были направлены на одно — устоять на этом бревне.

— Кто следующий? — Филичев по-военному резко обратился к залу.

Зал молчал.

Чего, чего они ждут? Какого дьявола сидит набравши в рот воды Зарудный? Бей! Лупи в хвост и в гриву! Пришел твой час.

Но еще больше удивлял его председательствующий.

Ведь ясно же: синим огнем горит человек. По существу, на поводу у секретаря райкома пошел...

Правильно: не знал мнения обкома (как выяснилось потом, Филичев прилетел на Пинегу не из Архангельска, а из Лешуконья, где был в командировке), да вот же перед тобой газета — черным по белому сказано: Подрезову крышка. Выправляй линию! Кто осудит тебя? Да и выправлять-то проще простого: только поддакивай, только раздувай помаленьку сам собой вспыхнувший в зале огонь.

Филичев закаменел — не по нему, видно, такая работа. А когда Северьян Мерзлый снова полез на трибуну, просто срезал того:

— Я думаю, кроме болтовни, мы все равно от вас ничего не услышим.

— Верно! Правильно! — раздалось сразу несколько голосов, и среди них — или это показалось ему? — звонкий, решительный голос Зарудного.

3

Последним выступал Фокин.

Ну, Милька, покажи себя. Прыгай прямо с трибуны в мое кресло!

Лихо, с разудалой беззаботностью глянул Подрезов

на поднявшегося из-за стола румянощекого молодого своего помощника, а на самом-то деле озноб пробрал его. Что скажет Фокин?

В течение всего совещания Фокин ни разу не подал своего голоса. Все кипели, кричали, выходили из себя, Филичев сколько раз менялся в лице, его, Подрезова, бросало то в жар, то в холод, но Фокин — ни-ни. Сидел неподвижно, с поджатыми губами, не улыбался, не хмурился, только время от времени перекатывал под скулами тугие, как пули, желваки да делал какие-то пометки карандашом в блокноте.

— Товарищи, это хорошо, что у нас такая большая активность, такое желание высказаться по наболевшим вопросам, но плохо то, что мы забыли с вами, ради чего здесь собрались. О лесе забыли, товарищи...

У Подрезова дух перехватило.

Все что угодно ожидал сейчас от Фокина, но только не такого вот разворота. И ему стыдно, просто по-человечески стыдно стало за себя. Как он сам-то, он, Евдоким Подрезов, мог забыть про дело?! Все, все можно сказать о нем, самое тяжкое обвинение припаять, но только не шкурничество, только не корысть, только не трусость.

Он так жил: головой рискую, сам ко дну иду, но дело, прежде всего дело!

В сорок шестом прислали к нему Мильку Фокина из области. Мальчишка! По существу, ходить еще не умел по-взрослому — все бегом, все вприпрыжку. Когда со второго этажа по лестнице спускается, на весь райком гром. Но комсомол в районе этот мальчишка поставил на ноги. За один год.

А ну-ко, парень, попробуем тебя в лесном деле. Вертеть-то языком да глазки закатывать перед девками невелика хитрость, а лесопункт потянешь?

Лесопункт Кочушский — страхи божьи. Рабочие — всякий сброд, отовсюду навербованы, как говорится, с бору по сосенке. Начальники не приживаются — трое за полгода сменились. И все будто бы из-за какого-то Вани Рязанского, который мутит народ и никого не слушает. Ну, а насчет плана и говорить нечего — забыли, когда и выполнялся.

И вот в этот-то вертеп Подрезов и бросил своего любимца: тони сразу или выплывай.

Неделя проходит — ни звука, две проходит — ни зву-

ка, три... Подрезов уже начал было подумывать: а не поехать ли самому? И вдруг телефонограмма:

> «Докладываем, что Кочушский лесопункт месячный план по заготовке древесины выполнил на 94%. Недоимку за этот месяц обещаем ликвидировать в следующем месяце».
> И подписи:
> Начальник лесопункта *Фокин*
> Парторг *Калинин*
> Председатель месткома *Рязанский.*

...Да, да! Фокин поставил все на место. Лес, лес главное, товарищи! Лес ждет от нас родина. Ну, а раз так, временно от жилищного строительства на Сотюге, товарищ Зарудный, придется отказаться. Другого выхода у нас нет...

Подрезов не посвящал Фокина в свои планы. Даже словом не обмолвился — до того рассвирепел из-за ареста Лукашина, а когда вечор Фокин полез в бутылку — заявление об уходе подал,— он и вовсе его вычеркнул из своего сердца. Да и вообще, в голову начали закрадываться кое-какие сомнения и подозрения: уж не роет ли ему Милька яму, чтобы самому сесть на его место?

Нет, когда роют яму, так не говорят, а Фокин полным голосом на весь зал: не торопитесь ставить крест на Подрезове. Не одни ошибки да недостатки у Подрезова. Есть кое-что и другое...

— Ну, а что касается некоторых обвинений в адрес Подрезова,— сказал Фокин,— то, я думаю, они брошены сгоряча. Как, к примеру, можно говорить, что первый секретарь райкома поощрял частнособственнические тенденции в колхозах, что он знал о так называемых тайных полях у Худякова? Думаю, что нет никаких оснований связывать с первым секретарем и разбазаривание хлеба в Пекашине...

Вот в это самое время в Евдокима Поликарповича и вкогтился зуд.

Решающая минута! Минута, какой не было в его жизни за все сорок четыре года. И наверняка не будет. Ведь стоит ему только отрезать, отсечь от себя Худякова и Лукашина, как подсказывает Фокин,— и какие против него обвинения? Грубость, мат, не очень ласковое обхождение с рыбнадзором...

Да, да, да! Два серьезных политических обвинения против него — тайные поля и дружба с арестованным Лукашиным, а все остальное чепуха, мусор, пена... И в зале уже кое-кто подавал голос: правильно! Правильно, мол, сказал Фокин. Нечего все валить на одного. И Зарудный и Филичев протягивали ему руку помощи. Во всяком случае, ни тот, ни другой не долбали его. В общем, хватайся обеими руками за протянутую веревку, вылезай из проруби.

Но что тогда будет с Лукашиным и Худяковым? Они-то уж тогда наверняка пойдут ко дну... Знал, не знал, ведал, не ведал... Должен был знать!

Подрезов собрал все свои силы, какие у него были, встал.

— Лукашин роздал хлеб с моего разрешения. Я приказал.

Постоял, помолчал немного, вглядываясь в ошеломленный зал, и забил последний гвоздь:

— Про худяковские поля здесь говорили. Знал. Все знал. Иначе какой я, к дьяволу, хозяин района, ежели не знал, что у меня под носом делается?..

4

Ему казалось, что он ни на минуту не сомкнул глаз — такой зуд разыгрался у него в теле на нынешний закат,— но на самом деле он спал. Вокруг было темно. Ни один плакат не светился на стенах, а в соседней комнате за неплотно прикрытыми дверями горела уже лампа.

Он надел на себя нательную рубаху, брюки — все сорвал в беспамятстве,— тихонько встал. Босые, все еще разгоряченные зудом ноги с великим блаженством ощутили под собой прохладу заскрипевших половиц.

Софья встретила его у дверей с лампой в руке — она, как всегда, сидела на часах и ждала его пробуждения.

Он подошел к столу, посмотрел на тикающий будильник.

— Ого! Пол-одиннадцатого.— И тут, обернувшись к жене, он второй раз за вечер увидел испуг в ее темных, по-птичьи округленных глазах.

— Я не знала, как и быть. Ты ничего не сказал, будить тебя или нет...

Он сел к столу, запустил руки в свои мягкие, изрядно поредевшие волосы, а она продолжала стоять перед ним,

большая, грузная, не сводя с него настороженного взгляда, и это взорвало его:

— Чего стоишь? В денщиках ты у меня, что ли?

— Я думала, на стол подавать...

— Думала! Сядь, говорю. Некуда больше торопиться.

Софья села. Села как-то неуверенно, на край стула, как будто не у себя дома, а в гостях или, еще вернее сказать, на приеме у большого начальства. И он глядел-глядел на ее большие работящие руки, покорно лежавшие на коленях, на ее полуопущенную голову в буйном курчавом волосе с проседью, на ее широкое, вечно залитое, как у молодки, густым румянцем лицо, и вдруг обручем перехватило ему горло.

Боже мой, боже мой! Кто только сегодня не шерстил его, в чем только его не обвиняли! Задавил, согнул, зажал в кулак... А что бы могла сказать о нем вот эта женщина, его жена? Какой счет она могла предъявить ему?

После смерти Елены он дал себе слово: не жениться. И лет пять — ни-ни, ни на одну молодую женщину не посмотрел. Потом — он уже работал инструктором в райкоме — от него уехала в город к своей дочери старушонка, которая вела его хозяйство и ухаживала за детьми, и тут — хочешь не хочешь — пришлось обратиться за помощью к вдове-соседке.

Софья пришла. Все прибрала, все перемыла — ни квартиру, ни детей не узнать. А потом как-то он вернулся из командировки да увидел ее — пол на кухне моет,— большая, сильная, с высоко подоткнутым подолом баба вся в жарком, малиновом цвету, и прахом пошли зароки...

Вот так он и стал жить с женщиной, которая была старше его на семь лет.

Каждый месяц он приносил домой зарплату, выкладывал на стол — распоряжайся, как знаешь, корми семью,— иногда, возвращаясь из поездки по колхозам, привозил какие-нибудь продуктишки: мясо, масло, свежие овощи... А еще что? Еще какое внимание оказывал жене? Был ли он хоть раз с женой в клубе — в кино, на торжественном вечере в честь Октября или Первого мая? Служащие райцентра в праздники ходят друг к другу в гости — с женами, с детьми. Он с Софьей вместе — никогда. А чтобы забежать в магазин да купить

какой-нибудь подарок или привезти покупку из города — нет, это ему и в голову никогда не приходило.

Да, с усмешкой подумал Подрезов, вот о чем забыл упомянуть в своем кондуите Афиноген Каракин — о жене. «Сколько лет прожили, сколько детей наплодили, а кто она тебе, товарищ Подрезов? Прислуга? Батрачка?»

— Софья...— сказал он медленно, не совсем обычным голосом.

Она сразу подняла полуопущенную голову — что делать?

Он взял ее зачем-то за руку, спросил:

— Соня, тебе очень тяжело со мной было?

Она сперва не поняла его. Когда он разговаривал с ней так? Когда называл ласковым словом? А потом, ему показалось, дрожь прошла по всему ее крупному телу. Но ответила она спокойно.

— Чего теперь об этом говорить. Сама знала, какую ношу на себя брала...

Затем она с непривычной для него решительностью вдруг встала и уже сама, не дожидаясь его слова, начала накрывать на стол.

Да, думал Подрезов, лошадей знал. Лес знал. Коровники в колхозах знал. А вот что такое человек, душа человеческая... Э, да что там говорить! Жену свою, с которой прожил чуть ли не двадцать лет, не знал...

● ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Последний раз по ночному райцентру, последний раз первым по своей деревянной столице...

Он даже шинель надел специально, которую года два уже не снимал с вешалки.

Шинель он завел сразу после войны. Длинную, чуть ли не до пят, с огромными отворотами на рукавах — единственную в своем роде во всем районе. Такую, какие носили еще в двадцатые годы и какие нет-нет да и мелькнут изредка в кино.

Несерьезно, ребячество это... Понимал, ежели говорить начистоту, чувствовал. Да после тех победных, ликующих маршей, которые с утра до ночи гремели по радио, так кружило голову, такая гордость распирала грудь, что хотелось всем существом своим, делами, даже

видом своим утвердить богатырскую мощь родной партии. Тут, на месте, в далекой лесной глуши. Чтобы всяк — и старый и малый — узнавал тебя за версту...

Ночь, глухая осенняя ночь стояла над райцентром. Ни единого огонька. Даже в недреманном ведомстве Дорохова ни одной светлой щелки, ни одного просвета.

Он любил эти ночные обходы своей районной столицы, любил торжественный гул деревянных мостков под ногами, любил ночную прохладу, которая так приятно освежает разгоряченную работой голову.

А еще любил он, шагая по райцентру, глядеть в южную сторону, туда, где за тысячи верст от Пинеги громадным костром в ночи пылает краснозвездный Кремль и где в одном из кабинетов мягко, бесшумно расхаживает человек, который держит в руках весь мир.

В позапрошлом году, когда он ездил на курорт, он всю ночь выходил по Красной площади, мысленно разговаривая с любимым вождем. И вообще, увидеть Сталина было мечтой его жизни. И эта мечта, казалось, не так уж далека была от исполнения. Во всяком случае, Павел Логинович не раз намекал ему, что как только созовут съезд — а его ждали с часу на час,— его, Подрезова, непременно пошлют делегатом.

И вот — все. Ничего больше нет. Все перечеркнуто, все втоптано в грязь: и его жизнь и его мечта. И он, который за ужином начал было вроде бы отходить, успокаиваться, тут снова разошелся.

За что? За какие такие преступления его гвоздили и поливали грязью? Их, видите ли, Подрезов гнул, ломал, жить им не давал... А себя Подрезов не ломал? Сам Подрезов в раю жил?

Он с ужасом думал о завтрашнем дне, о том, что жизнь района — всех этих леспромхозов, лесопунктов, колхозов, самого райкома — пойдет без него, Подрезова.

А как он встретится завтра с простыми людьми? Что скажет им в свое оправдание? В годы войны ребятишки целыми часами дежурили на дорогах, чтобы посмотреть, какой он, Подрезов, а как теперь? Как теперь посмотрят на него ребятишки?

Выйдя на окраину села, к полевым воротам, он подошел к изгороди, тяжело навалился на нее грудью.

Какое-то время он стоял недвижно, с закрытыми глазами, потом начал рыться в карманах — может, от

курева полегчает? Но папирос, которые он обычно носил с собой, на этот раз не оказалось.

На реке, где-то прямо под горой, за наволоком, звучно выговаривая плицами колес, шлепал, весь в огнях, пароход, а за ним тянулся еще пароход и еще...

Буксиры с грузами. Для Сотюги, для других леспромхозов...

Но не он, не он завтра будет отдавать команды насчет разгрузки, не он сломя голову полетит в Пекашино, чтобы на месте принять необходимые меры. Мимо, мимо него пойдет жизнь с завтрашнего дня. Так же мимо, как идут сейчас по реке вот эти буксиры...

Какие-то непонятные зарницы время от времени вспыхивали в ночном воздухе, какой-то сладкий дымок щекотал ему ноздри.

Что бы это такое? Не от пароходов же этот свет и этот дым?

Он протер ладонью мокрые от слез глаза, глянул в одну сторону, в другую и вдруг прямо перед собой в поле увидел красный мигающий огонек, а вслед за этим огоньком увидел другой, третий...

Да ведь это же ребячьи костры на картофельниках!

Боже, как давно не видал он эти костры! Где же он был все эти годы? Ведь ребята каждую осень, как только начинают копать картошку, зажигают костры. По всем картофельникам. И ни криком, ни руганью, никакой силой невозможно загнать их домой. Все вечера, а то и ночи сидят у огоничков, говоря по-местному, да пекут опалихи, то есть картошку.

Жадно, прямо-таки с наслаждением вдыхая в себя запах этих опалих, каким пропитан был весь воздух ночного поля, Подрезов подошел к костерку, вернее даже, к остаткам костерка, уже покинутого ребятишками, неумело опустился перед ним на корточки и вдруг почувствовал себя маленьким Овдей. И все, все — все обиды, все тяжелые переживания последних дней, ярость, ожесточение,— все отступило в сторону, и он вспомнил свое детство, свою Выру, на которой вот так же когда-то беззаботно сидел у костра.

Двадцать пять лет он не был на Выре. С тех пор, как уехал из дому с Еленой.

А почему не был? Почему каждый раз, когда подвертывался случай, уклонялся от поездки туда? Верно, дыра,

глушь медвежья, зимой трое суток надо попадать на лошади... Да ведь ты же оттуда на свет вылетел...

Костерик благодаря его стараниям разгорелся заново. Алый свет мягко красил его склоненное над огнем успокоенное лицо, сложенные ковшом руки.

Да, да, думал он с облегчением, поеду на Выру, в родовое гнездо. Там с будущего года новый лесопункт открывается — сколько всякой столярной да плотницкой работы будет! Огляжусь, одумаюсь, а там посмотрим... Посмотрим...

И вдруг Подрезов резко выпрямился. А собственно, чего смотреть? Чего он раньше времени хоронит себя! Где решение обкома? Кто сказал, что ему конец? Северьяха Мерзлый, Митрофан Кузовлев, Санников, Фетюков... Да кто их когда принимал всерьез!

Он глубоко, всей грудью вдохнул в себя теплый ночной воздух, в котором все еще держался запах печеной картошки. И с этим запахом позабытого детства, с вернувшейся радостью простора и воли начал мало-помалу оживать в нем пошатнувшийся было подрезовский дух.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Анфиса Петровна пропадала в районе уже третий день. И третий день, подбегая в этот вечерний час к ее дому, Лиза надеялась увидеть ворота на крыльце без приставки. Больше того, ей даже представлялась такая картина: Иван Дмитриевич в обнимку с Анфисой Петровной встречает ее на крыльце. «Ну, спасибо, спасибо, Лиза, выручила. А меня вот, видишь, освободили...»

Но не спешили что-то с возвращением домой Лукашины. И как вчера и позавчера торчал в кольце ворот белый березовый колышек, который она сама втыкала по утрам, так он торчал и сегодня.

Лиза быстренько, за какие-нибудь полчаса, разделалась с Майкой, коровой Лукашиных, половину молока разлила по крынкам, а половину — в алюминиевое ведерко и забрала с собой.

Дома, конечно, стоял рев — с улицы слышно. Ревел Вася, ревел Родька, и сама нянька ревела.

Татьяна не маленькая кобыла — десятый год шел.

Разве трудно после школы какой-то час с двумя ребятенками по полу поползать? Бывало, она, Лиза, в ее годы по целым дням за хозяйку оставалась — с оравой на голодное брюхо, а эту Михаил испотешил — только и знает что по улице бегать. «Ладно, пущай хоть у одного человека в пряслинской семье нормальное детство будет». Детство-то будет, а будет ли человек — это еще вопрос.

— Ты хоть бы огонь зажгла,— сердито сказала Лиза сестре.— Вот бы они и не ревели. А то в темноте-то и старик заплачет.

— Зажигала. Карасина в лампе нету.

— Карасин-то в сенях, за дверями. Отсохнут у тебя руки, ежели нальешь.

Засветив лучину, Лиза заправила в сенях лампу, а когда вернулась в избу, и след Татьянин простыл. Как, когда успела улизнуть? Через окошко? Так оно и есть. Через окошко. Крючок не в пробое — как овечий хвостик болтается.

Ну и девка, ну и девка бессовестная, подивилась Лиза. Чего только из нее будет?

Ребята — Вася и Родька — с отчаянным воплем грабастались за ее подол.

— Сейчас, сейчас! Никуда не денусь.

Она торопливо сполоснула руки под рукомойником, села на прилавок к печи.

В протянутые руки первым ткнулся Вася, но она взяла на руки не его — Родьку.

Вася с размаху хлопнулся на пол, замолотил ножонками.

— Ну еще! Бесстыдник. У тебя-то отец дома, а у него где?

Сразу затихший Родька с жадностью — и зубами и ручонками — вонзился в ее грудь, а она устало, из-под опущенных век смотрела на бушующего у своих ног сына и невесело думала: а где же наш-то отец?

2

На другой день утром, после того как она всю ночь промучилась без сна в ожидании своего сбежавшего из дому мужа, Лиза сказала себе: хватит. Сколько еще ему надо мной измываться? Жить — так жить по-хорошему, по-честному, а смешить людей я и одна могу.

Но вот явился вскорости домой Егорша — тише воды ниже травы — да начал-начал мелким бесом вокруг нее виться (за водой к колодцу сбегал, дров из сарая принес, растопки нащепал), и сердце не камень — оттаяло. Не могла она оставлять Васю безотцовщиной! Будет — помытарили вдоволь они, Пряслины.

Но только ли из-за сына она сменила гнев на милость?

Она любила своего беспутного Егоршу. Правда, в первые дни их брачной жизни она без ужаса подумать не могла о надвигающейся ночи — что же, она ведь зеленой девчушкой переступила Егоршин порог.

Почувствовала себя Лиза женщиной после того, как родила сына. По ночам ей снился Егорша, во сне она обнимала, ласкала его, шептала такие слова, от которых назавтра саму в жар бросало. Ну, а когда дождалась Егоршу, страсть с головой накрыла ее.

Егорше было забавно, Егорша похохатывал:

— Ну и ну! На горячем месте сварганили тебя папа и мама.

И она презирала, ненавидела себя — ведь понимала же: не утехам, не радостям надо предаваться, когда по дому еще покойник ходит, а все равно, где бы ни была, что бы ни делала, на уме было одно — Егорша.

Вот бог-то меня, может, и наказывает за это, в который раз сегодня подумала Лиза и взяла на руки совсем изревевшегося сына (Родька, накормленный, уже посапывал на кровати).

— Ну чего орать-то? Чего? — начала она вразумлять сына.— Разве я тебя не люблю? Да всех пуще люблю. Только ведь нельзя обижать Родьку. Он и так обижен. Не привыкай, не привыкай, как отец, все загребать себе. Оставь чего и людям.

Где он сейчас шатается? Утром собирался в район ехать — пора бы уж к месту приставать. Сколько можно баклуши бить?

А может, опять где веселится? Поминали на днях — в верхнем конце видели. Неужто опять к Нюрке Яковлевой, своей старой любушке, тропу заторил? У той, бесстыжей, сроду ворота настежь для всех отворены...

Скрипнули воротца за избой — Лиза вся так и встрепенулась: Егорша!

Нет, не Егорша, а брат. Егорша прошмыгнет под окошками — и не услышишь: всегда крадучись, всегда

потайкой. А Михаил идет — за версту слышно. Будто с землей разговаривает.

— Где тот?

— Откуда я знаю? — Лизу зло взяло: в кои-то поры зашел к сестре и хоть бы спросил: как поживаешь, сестра?

— Жене, между прочим, полезно знать, где муж,— с назидательностью сказал Михаил.— Есть у тебя четвертак?

— Деньги?

— А что? Не туда адресовался?

— Да хватит тебе выколупывать-то. У меня свой словечушка в простоте не скажет. Чего хочешь с четвертаком-то делать? Не на бутылку?

— Не твое дело.

Лиза уложила на кровать рядом со спящим Родькой сморенного к этому времени едой и плачем сына, сходила в чулан.

— На,— сказала она, подавая двадцатипятирублевку брату (тот с какой-то удивившей ее мрачностью стоял у кровати и вглядывался в пухлое румяное личико разогревшегося во сне Родьки).— Только теперь тебе и пить.

— А чего?

— Чего, чего... Человек ни за что ни про что посажен, а они — на-ко, мужики еще называются — на коровник залезли да знай хлопают весь день топорами...

Лиза была вне себя от обиды на односельчан. Раньше: «Нам уж с этим председателем пива не сварить. Чуж-чужанин». А теперь, когда председателя забрали, другую песню завели: «Нет, нет, такого председателя нам больше не видать. Сами человека упекли, сами до тюрьмы довели. Ох, ох, мы дураки, дерево некоренное...»

— Да еще дураки-то какие! — сердито сказала вслух Лиза.

— Чего ты опять?

— Ничего. Все стараются, из кожи лезут. Вы на коровнике, бабы на́ поле. А раньше-то где были? Раньше надо было свое усердие показывать, а не сейчас.

— А чего, чего мы должны делать?

— Да уж всяко, думаю, не топорами с утра до ночи размахивать. С начальством бы поговорили, объяснили все как надо...

— Заткнись! — заорал Михаил.— У меня сегодня с этим начальством и так был разговор.

— С кем?

— С Ганичевым. Вызвал середка дня, прямо с коровника. Есть, говорит, предложение, Пряслин, написать письмо в районную газету... Так и так, дескать, осуждаем своего бывшего председателя...

— Ивана Дмитриевича? — страшно удивилась Лиза.— Да что он, с ума сошел, Железные Зубы? Неужто Пряслины — уж и хуже их нету? Еще-то кого вызывали?

— Не знаю... Петр Житов, кажись, ходил.— Это Михаил сказал уже в дверях.

3

Развалюха Марины Стрелёхи служила своего рода забегаловкой для пекашинских мужиков. От магазина близко, старуха — кремень, не надо бояться, что до твоей бабы дойдет, и — худо-бедно — завсегда какая-нибудь закусь: то соленый гриб, то капуста. Потому-то Михаил, выйдя из магазина, и направился по накатанной лыжне.

Марина рубила в шайке капусту у переднего окошка, где было посветлее, но, увидев его, в три погибели согнувшегося под низкими полатями, сразу без всяких разговоров встала, принесла с надворья соленых, достала из старинного шкафчика граненый стакан.

— А себе? — буркнул Михаил, присаживаясь к дряхлому, перекошенному столу с белой щелястой столешней, в правом углу которой было вырезано три буквы, обведенных рамочкой: С. Н. И., Семьин Николай Иванович. Покойник при нем, при Михаиле, оставил эту памятку о себе в сорок втором в это же самое время, когда уходил на войну.

— Нет, нет, родимо мое, не буду, воздержанье сделаю,— сказала старуха.

— Что так? В староверки записалась? — Михаил слышал от кого-то, что Марину будто бы недавно крестила Марфа Репишная. Да как! Прямо в Пинеге на утренней заре.

— Записалась не записалась, а все больше, родимо, натешилась дьявола.

— Ну как хошь,— сказал Михаил.— Не заплачу.

— Про постояльца-то моего чего слыхал, нет?

Михаил нахмурил брови: про какого еще постояльца?

И вдруг вспомнил: так старуха зовет Лукашина, который в войну действительно сколько-то квартировал у нее.

Пробка от бутылки стеганула по стеклянной дверке шкафика — вот так он всадил свою ладонь в дно бутылки. А кой черт! За этим он сюда пришел? Затем, чтобы про постояльца выслушивать? Да он, дьявол ее задери, и так все эти дни как ошалелый ходит. Куда ни зайдет, с кем ни заговорит — Лукашин, Лукашин... Что Лукашину будет? Как будто Лукашина из-за него, Михаила, посадили. А Чугаретти, к примеру, тот так и думает. Вчера встретился у церкви пьяный: «Ну, Мишка, заварил же ты кашу!» — «Как я?» — «А кто же?» Оказывается, не надо было ему, Михаилу, шум из-за зерна поднимать, тогда бы все шито-крыто было. Вот так: тебе в поддыхало, да ты же и виноват.

Стакан водки, выпитый одним духом натощак после работы, весенним половодьем зашумел у него в крови, и вскоре Михаилу уже самому захотелось говорить.

— Марина, а ты знаешь, что мне сегодня один человек предлагал? — сказал он старухе, которая к тому времени опять начала потихоньку тюкать сечкой капусту.— Ох-хо! Чтобы я, значит, вот этой самой рукой приговор Лукашину подписал.

У старухи при этих словах подбородок с темной бородавкой отвалился — хоть на дрогах въезжай в рот.

Но Михаила это только подхлестнуло.

— Да! Так и сказал! А я ему, знаешь, что на это? На, выкуси! — И тут Михаил выбросил в сторону старухи свой огромный смуглый кулак.— Да ты знаешь, говорю, чем для меня был этот бывший председатель? В сорок втором, говорю, кто меня в комсомол принимал, а? Ты? Да этот бывший председатель, говорю, ежели хочешь знать, второй мне отец. Понял?

— Так, так, родимо,— кивала старуха.

— А чего? — забирал все выше и выше Михаил.— Он меня и теперь еще иной раз крестником зовет. А, говорю, ты видал таких председателей, которые сами зимой в месячник к пню встают? Чтобы кузня в колхозе не потухла, чтобы Илья Нетесов мог дома жить. Видал, говорю, нет?

— Так, так, родимо.

— А насчет, говорю, этого самого хлеба, дак ты помалкивай. Куда, говорю, он девал хлеб-то? Себе взял? Нет, говорю, мужикам выдал. Чтобы скотный двор побыстрее строили. Он, говорю, за колхозную скотину

страдает. Дак какое, говорю, ты имеешь право мне об твоем поганом письме говорить? Подпиши... Да я, говорю, скорее сдохну, чем подпишу. Ты что, говорю, Мишку Пряслина не знаешь, а?

Марина давно уже плакала, громко ширкая носом, и у Михаила тоже слезы подкатывали к горлу — до того было жалко Лукашина.

Он налил еще в стакан, выпил, потом закрючил двумя пальцами попригляднее сыроегу и посмотрел на свет — у старухи живо червяка слопаешь.

Вдруг неожиданная, прямо-таки сногсшибательная идея пришла ему в голову: а что, ежели...

— Марина, у тебя найдется листок бумаги?

— Зачем тебе?

— Надо. Давай быстрее.

На него просто накатило — в один присест настрочил, не отрывая карандаша от бумаги.

— Ну-ко послушай,— сказал старухе.

«Заявление

В связи с данным текущим моментом, а также имея настроения колхозных масс, мы, колхозники «Новая жизнь», считаем, что т. Лукашин посажен неправильно.

Всяк знает, как председатели выворачиваются в части хлеба, чтобы люди в колхозе работали, а почему отвечает он один?

Кроме того, данный т. Лукашин по части руководства в колхозе имеет авторитет, а в войну не только насмерть бил фашистов, но, будучи ранен, конкретно подавал патриотический пример в тылу на наших глазах.

В части же хлеба категорически заявляем, что все поставки колхоз «Новая жизнь» выполнит в срок и с гаком, и никогда в хвосте плестись не будем.

К сему колхозники «Новая жизнь».

— Ну как? Подходяще? Ничего бумаженция? — спросил у старухи Михаил и самодовольно улыбнулся: ничего. Забористо получилось. Можем, оказывается, не только топором махать.

Он четко, с сердитой закорюкой в конце расписался, затем подвинул заявление и карандаш старухе.

— Давай рисуй тоже.

Но Марина подписывать заявление наотрез отказалась.

— Чего так? — удивился Михаил.— Сама только что слезы насчет постояльца проливала...

— Нет, нет, родимо, не буду. Не мое это дело.

— Пошто не твое?

— Не мое, не мое. В колхозе не роблю — чего людей смешить. Ты хороших-то людей подпиши, пущай они слово скажут, а я — что? Кому я нужна?

— Ну как хошь,— сказал Михаил.— Не приневоливаю. Найдется охотников — не маленькая у нас деревня.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Темень. Морось. И — гром.

Не небесный, домашний: чуть ли не в каждом доме крутят жернова — дождались новины на своих участках!

Михаил любил эту вечернюю музыку своей деревни, любил теплый и сладкий душок размолотого зерна, которым встречает тебя каждое крыльцо.

Но чтобы попасть в этот час в чужой дом... Мозоли набьешь на руках, пока достучишься!

Он начал сбор подписей со своей бригады — ближе люди.

К первой ввалился к Парасковье Пятнице, прозванной так за отменное благочестие и набожность.

— Председатель у нас, Парасковья, ничего, верно? — заговорил Михаил с ходу.

— Кто? Иван-то Митревич? Хороший, хороший председатель, дай ему бог здоровья.

— Надо выручать из беды мужика? Согласна?

— Надо, надо, Мишенька.

— Тогда подпишись вот здесь.

— Да я подписаться-то, золотце, сам знаешь, не варзаю.

— Это ничего. Валяй крест. Крест тоже сойдет.

Нет, и крест не поставила.

Полчаса, наверно, вдалбливал в темную башку, за-

чем надо подписывать письмо, зачитывал вслух, стыдил, ругал — не смог навязать карандаш.

Точно так же не солоно хлебавши ушел он от Василисы. Эта, видите ли, бумагу не хочет портить своими крюками. Пущай, дескать, грамотные люди такие дела делают, а я весь век с топором да с граблями — чего понимаю?

— Не приневоливай, не приневоливай, Михайло Иваныч, я и так богом обижена — всю жизнь одна маюсь...— И все в таком духе до самых ворот.

Но старухи — дьявол с ними. На то они и старухи, чтобы палки в колеса ставить. А как вам нравятся Игнаша Баев да Чугаретти?

Игнаша зубы скалить да людей подковыривать, особенно тех, которые не могут дать сдачи, первый, а тут, едва Михаил заговорил про письмо, начал башкой вертеть — мух осенних на потолке пересчитывать.

— В чем дело? — поставил вопрос ребром Михаил.— Бумага не нравится? Давай конкретные предложения. Учтем.

Да, так и сказал. Официально, прямо, как на собрании. Потому как чего агитировать — и так все ясно.

Игнаша раза два перечитал бумагу, так повернул листок, эдак — за что бы уцепиться?

Наконец нашел лаз — Михаил по ухмылке понял. Все время сидел губа за губу, а тут сразу ящерицы вокруг рта заюркали — так ухмыляется.

— А кто это бумагу-то писал? Не ты?

— Допустим,— сказал Михаил.

— Ну тогда извини-подвинься... Эдак каждый выпьет да пойдет по деревне бумаги читать...

— Кто выпил? Я?

— Да уж не я же...

В общем, поговорили, обменялись мнениями. Михаил выложил все, что он думает об Игнаше и ему подобных.

Ну, а про то, как он у Чугаретти был, про это надо в «Крокодиле» рассказывать.

Полицка Бархатный Голосок, жена Чугаретти, как злая собачонка, набросилась на него, едва он раскрыл рот. Нет, нет! Не выдумывай лучше. Да я такое вам письмо, дьяволам, покажу, что волком у меня взвоете...

Ну а Чугаретти? Что делал в это время Чугаретти, который все эти дни, пьяный вдребезину, шлепал по деревне и каждому встречному-поперечному плакался:

«Все. Последний нонешний денечек, как говорится... Раз уж хозяина заарканили, то и Чугаретти каюк. Потому как с сорок седьмого вместях на одной подушке...»

Чугаретти в это время сидел за столом и молча обливался слезами: Полицки своей он боялся больше всех на свете.

Наконец одну подпись он раздобыл — Александра Баева подписалась.

— Хорошо, хорошо придумал. Под лежач камень вода не бежит — не теперь сказано. Мы не поможем своему председателю — кто поможет?

Ободренный этими словами, Михаил толкнулся и к соседям Яковлевым: авось Нюрка не в расходе.

Нюрка была дома и страшно обрадовалась, когда увидела его в дверях.

— Заходи, заходи.

Старики были еще на ногах, старшая — золотушная — девочка, учившая уроки за столом, хмуро, недружелюбно посмотрела на него. Но Нюрка и не думала обращать на дочь внимание. У нее просто: огонь задула — и на кровать, а как там отец, мать, дети — плевать.

Михаил как-то раз закатился было к ней по пьянке и назавтра, когда встал, взглянуть от стыда на стариков и детей не мог, а самой Нюрке хоть бы что — песню на всю избу запела.

— Заходи, заходи,— приветливо, играя белозубым ртом, встретила его Нюрка, цыкнула на девочку — марш спать, и с готовностью уставилась на него.

Михаил, так и не сказав ни слова, выскочил из избы.

На улице разгулялся ветер — холодный, яростный, с подвывом, не иначе как зима свои силы пробует, и он, чтобы прикурить, вынужден был даже прислониться к стене старого нежилого дома.

Махорка в цигарке загорелась с треском. Крупные красные искры полетели в разные стороны, когда он шагнул против ветра...

У Лобановых в низкой боковой избе еще мигала коптилка, но не приведи бог заходить к ним поздно вечером: изба от порога до окошек выстлана телами спящих. Как гумно снопами. Три семьи под одной крышей.

К Дунярке тоже, по существу, незачем было заходить — какое ей дело до Лукашина, до всех ихних забот и хлопот? Горожаха. Отрезанный ломоть.

И все-таки он пошагал. Не устоял. Потому что боль-

но уж ярко и зазывно полыхали окошки с белыми занавесками.

Сердце у него загрохотало как водопад. Что такое? Неужели все оттого, что к дому Варвары подходит? Сколько еще это будет продолжаться?

В доме смеялись — Дунярка была не одна, и Михаил, сразу осмелев, резко толкнул воротца.

Егорша... В самом своем натуральном виде — у стола, на хозяйском месте, там, где когда-то сиживал он, Михаил.

В общем, положение — хуже некуда. Как говорится, ни туды и ни сюды.

— Извиняюсь, тут, кажись, третий не требуется.

Черта с два смутишь Егоршу! Завсегда ответ припасен:

— Да, не припомню, чтобы мы особенно шибко горевали о тебе.

Но тут, спасибо, врезала Егорше Дунярка:

— Не командовать, не командовать у меня. Я здесь хозяйка. Сходи лучше раздобудь бутылку.— Она кивнула на пустую поллитровку на столе.— Нету у тебя счастья. Мы с анекдотами-то, видишь, что сделали. До донышка добрались.

— Не,— мотнул головой Михаил,— не надо. Я так, на смех забежал. Больно весело живете.

— А чего нам не жить? Почему не вспомнить счастливое детство? — Дунярка громко захохотала.— Он, знаешь, на что меня подбивает? На измену. Третий раз уж с бутылкой приходит. А сейчас почему нейдет за вином? Боится, как бы мы тут не столковались без него...

— Но, но, секретов не выдавать!

— А иди-ко ты со своими секретами! Вот я сейчас один секрет покажу, дак это секрет!

Дунярка встала, пьяно качнулась и пошла за перегородку — высокая, красивая, как-то по-особому, не по-деревенски поигрывая бедрами.

— Ну, закройте глаза! Живо! — крикнула она из-за перегородки.

Михаил и Егорша переглянулись с усмешкой, но подчинились.

Дуняркиным секретом оказалась непочатая бутылка водки, она поставила ее на стол — как печатью хлопнула.

Но главное-то, конечно, было не в бутылке, а в тех словах, которые сказала она при этом:

— Догадываешься, нет, что это за винцо, а?

Егорша вспыхнул, вскочил на ноги:

— Раз у вас такие секреты, то я, как говорится, делаю разворот на сто восемьдесят градусов.

А и делай! — хотелось крикнуть Михаилу. Какого дьявола не утереть нос этому прохвосту! А кроме того, зачем обманывать себя? Ему нравилась Дунярка. Такие уж, видно, эти иняхинские бабы — и тетка и племянница до костей прожигают. Эх, кабы тот же жар да от Раечки шел!

Михаил, однако, опередил Егоршу — первый выбежал из избы. Нельзя! Не время сейчас распускаться. Кто за него будет собирать подписи?

Он уже подходил к дому Марфы Репишной, когда его догнал Егорша.

— Слушай! Ты ничего не видел, ты ничего не слышал. Это для некоторых, ежели речь зайдет. У нас старшина Жупайло так, бывало, насчет энтих дел говорил: «Самый большой грех на свете — выдавать мужскую тайну». Понял?

Михаил свернул в заулок.

2

На Марфино крыльцо он уже поднимался раз сегодня — когда шел вперед,— но Марфы тогда дома не было. А сейчас она была дома — в избе стучал топор.

Плотницкий талант у Марфы прорезался к шестидесяти годам, после того, как выслали Евсея. Бабы тогда и в Пекашине и в соседних деревнях просто вой подняли: жалко старика. А потом — кто же их теперь будет выручать деревянной посудой? Ведь в хозяйстве и ушат надо, и шайку, и санки за водой к колодцу сходить — да мало ли чего!

И вот напрасно, оказывается, разорялись из-за посуды: Марфа стала посуду колотить. Никогда в жизни ни одной доски не отесала, ни одного обруча не набила, а тут взяла топор в руки и почала шлепать. Да не только там ушаты, шайки, а и сани для колхоза. Правда, изделья Марфины не очень были складные, да зато крепкие, долговечные. Как сама она.

Заменила Марфа и еще в одном деле Евсея — в духовном.

Жуть что она вытворяла со своими старухами. На Слуде, рассказывают, одна староверка напилась в праздник допьяна и уснула на улице — так что сделала Марфа? Отвела старуху в кустарник за деревней, сняла с нее сарафан, рубаху, привязала к дереву: исправляйся! И старуха, голая, весь день выстояла под палящим солнцем, на оводах, так что к вечеру едва богу душу не отдала.

Дрожали перед Марфой и бабы, которые подходили к пятидесяти,— их она силой загоняла в свою веру. И непременно крестила: летом в реке на восходе, а зимой в кадке, в нетопленной избе.

Местные власти, конечно, пытались образумить осатаневшую старуху. Но с Марфой разве сговоришь? Что сделаешь с первой стахановкой района, которая всю войну не сходила с районной Доски почета? А кроме того, нельзя было не принять во внимание и то, что она вязала сани. Крепко выручала колхоз.

— Здорово, соседка,— сказал Михаил, прикрывая за собой тугую, шаркающую дверь.— Труд в пользу. Или как у вас говорят: бог на помочь.

— Как скажешь, так и ладно. Богу не слова нужны — помысел.

Марфа не Евсей. Это тот, бывало, когда ни зайдешь, ласковым словом встретит да сразу же работу бросит — любил поговорить, все ему любопытно да интересно, а Марфа даже и не встала. Сидела посреди избы на чураке, большущая, черная, как медведица, и хлопала обухом — обруч еловый на ушат наколачивала.

Свет был двойной — сверху, с грядки, от лампешки без стекла, и сзади, со спины, от красной лампадки перед божницей.

— Чего огонь-то из угла поближе не перенесешь? Лучше будет видно,— полушутя, полусерьезно посоветовал Михаил.

Марфа не словами ответила — топором. Так тяпнула по обручу, что другой раз подумаешь, прежде чем что-либо сказать.

Михаил присел на прилавок к теплой печи, с которой пахло нагретой лучиной, глянул на знакомый кумачовый крест на белом квадрате холста, висевшем на передней стене, на тяжеленные черные книги с дощатыми облож-

ками, обтянутые телячьей кожей,— они, как ящики, были сложены в переднем углу на лавке,— на медные иконы в красных бликах.

— От Евсея слышно чего?

— Печи кладет людям.

— Какие печи? Ты поминала, на огороде работает.

— Печи разные бывают. Кирпичные и духовные.

— Понятно. Значит, и там свое дело не забывает. А я к тебе тоже, можно сказать, по духовному делу. Насчет Лукашина, знаешь, какое положение? Надо выручать мужика? Помнишь, как он в войну нам помогал?

Марфа кивнула.

— Я вот тут письмишко одно написал.— Михаил достал из кармана листок с заявлением.— Подписать надо. Когда там, наверху, увидят, народ требует — знаешь, как на это дело посмотрят...

— Не подпишусь,— сказала Марфа и опять застучала топором.

— Это почему же?

— В дела мирские не мешаюсь.

— Как это не мешаюсь? По вере по твоей. Бог-то помогать велит ближнему. Так?

— Нет, нет, не подпишусь.

— Да почему? — начал уже горячиться Михаил.

— А потому. Не бумагой — молитвой мы помогаем.

— Молись! Кто тебе запрещает. А раз тебя просят по-человечески, делай. Не подпишусь... Ты не подпишешься, да я не подпишусь, да он не подпишется, а кто же подпишется? Человек ведь, черт вас подери, пропадает!

Тут Марфа так на него посмотрела — в обморок впору упасть: страсть это — при ней чертыхнуться и лешакнуться! Грех великий. Но Михаила уже ничем нельзя было остановить. Слова из него полетели, как картошка из мешка, опрокинутого в погреб. А чего, в самом деле! Тяжело ей три буквы поставить? Да и вообще — не будь она у старух за командующего, разве зашел бы он к ней? На кой она ему сдалась? Неужели она не понимает, как там, в райкоме, посмотрят на эти три буквы? Ага, скажут, хорошенькая защита у Лукашина — пекашинский поп!

Нет, он зашел к Марфе только потому, что за нее старухи держатся. Всех старушонок в кулак зажала, и он был уверен, что подпишись Марфа под письмом —

подпишутся и старухи. Вот для чего нужна была ему Марфина подпись.

Он ругал, пушил, лопатил Марфу — не мог своротить. И, эх, если бы дело тут было в страхе! А то ведь он знал: Марфа сроду ничего и никого на свете не боится.

А вот нашлась, нашлась, оказывается, такая сила, которая взнуздала ее.

3

Быстро отмигал избяными огоньками вечер. Пала ночь — то есть ни одного светлого окошка. Кромешная темнота.

Но на темноту в конце концов наплевать — он не в чужой деревне, любой дом на ощупь найдет. Хуже было другое. То, что какой-то гад пустил впереди его слух: Мишка, дескать, пьяный ходит. Не пущайте!

И вот так: стучишь, барабанишь в ворота, а тебе из сеней отвечают: нет, нет, Михаил, не открою. Утром приходи, тверезой.

Но плохо же вы, черт вас побери, знаете своего Михаила! Иван Дмитриевич из-за вас, сволочи, в тюряге сидит, а вам и горя мало. Вы — храп на всю ночь? Открывайте! Сию минуту открывайте, а не то я все ворота разнесу!

Открывали, извивались ужом. И — не подписывались.

К Петру Житову Михаил ни за что не хотел заходить: предатель! За десять килограмм ячменя продал его, своего товарища и друга. Какие после этого могут быть с ним дела!

Но у Петра Житова на кухне был свет. Единственный на всю деревню. А кроме того, кляни не кляни Петра Житова, а без него в Пекашине ни шагу. Он, Петр Житов, верховодит пекашинскими мужиками. Как Марфа Репишная — старухами.

Петр Житов был один. В руке карандаш, на столе — серая оберточная бумага. И полнейшая трезвость (у пьяного заревом рожа).

Его приходу не удивился. Неторопливо, деловито снял очки, ткнул толстым пальцем в бумагу:

— Кумекаю насчет поилок. Помнишь, Лукашин все хотел, чтобы у нас на новом коровнике автопоилки были?

Михаил зло хмыкнул: раньше надо было над автопоилками кумекать. А сейчас кого удивишь? Сейчас все,

как говорит сестра, из кожи лезут, чтобы показать, какие они хорошие.

В общем, он достал письмо, положил на стол поверх серого листа с автопоилками: подписывайся.

Петр Житов снова надел очки, прочитал.

— Я думал, ты поумнее, Мишка.

— Насчет моего ума после поговорим. А сейчас — подпись ставь!

— Подпись поставить нетрудно. Все дело — зачем.

— А это уж не твоя забота. Без тебя разберемся — зачем.

— Эх, мальчик, мальчик! — сокрушенно вздохнул Петр Житов.— Мало тебя жизнь долбала, вот что.— На самом деле он выразился куда более энергично и популярно.— Ты подумал, что из этого письма будет?

— Я-то подумал, а вот ты, вижу, в штаны наклал. А еще: я, я... Со смертью обнимался...

— Не трогай войну, Пряслин,— тихо, почти шепотом заговорил Петр Житов.— Так лучше будет.— Он шумно выдохнул.— А теперь сказать, почему твое письмо — ерундистика?

— Давай попробуй.

— Во-первых, коллективка. Пришпандорят так, что костей не соберешь.

— Коллективка? Это еще что такое?

— Письмо твое — коллективка. Кабы ты один его, понимаешь, написал да отправил — ладно, слова не скажу, резвись, мальчик, а когда ты по всей деревне бегаешь да подписи собираешь...

— Так что же, по-твоему, и письма нельзя написать? Ну-ну! — Михаил нехотя расхохотался.— Давай, давай! Еще чего скажешь?

— Еще скажу, что ты болван. За это письмо, знаешь, под какую статью можно подвести? Под антисоветскую агитацию.

— Мое письмо под антисоветскую агитацию? Да куда я его пишу? Черчиллю, Трумэну? Брось! Скажи уж лучше прямо: струсил. За шкуру свою дрожишь.

Тут за стеной, в передней избе, поднялся страшный грохот. Словно там потолок обрушился. Это, конечно, разбуженная ими Олена. Не иначе как поленом сгоряча хватила: дескать, уймитесь, дьяволы! Сколько еще будете орать?

Петр Житов не вояка со своей женушкой, тем более

когда трезвый, это всем известно, но что касается других — убьет словом. Наповал и сразу. А тут, как рыба, выброшенная на берег, захватал ртом воздух — в цель, в десятку самую попал Михаил.

Наконец справился с собой.

— В следующий раз воздержись в части характеристик, Пряслин. И запомни: Петр Житов никого не боится. Ясно? А ежели я твое письмо не одобряю, то только тебя жалеючи, дурака. В сорок втором нам выдали летние перчатки вместо зимних. А надо на фронт ехать, в снегу воевать. Ну, я и скажи ребятам во взводе: давай напишем начальству. Написали. Да меня за это письмо едва под трибунал не упекли. Больше недели таскали. Вот что такое эта самая коллективка. Понял? Теперь насчет Лукашина. Ежели тебе непременно хочется в петлю голову сунуть, пес с тобой — суй. А зачем Лукашину на шею новый камень?

— Чего-чего?

— А вот то. Как, скажут, ты воспитал своих колхозников? Письма подрывающие писать?.. В сорок третьем, когда мы стояли...

Михаил сгреб со стола письмо и вылетел вон.

Петр Житов совершенно запутал его, все поставил в нем с ног на голову. До сих пор для него было законом: надо выручать человека, попавшего в беду. А послушать Петра Житова, так ничего этого нельзя делать. Сиди в своей норе и не рыпайся. Потому что как ты ни бейся — все ерунда. Ничем не поможешь Лукашину. Наоборот, даже хуже сделаешь.

Нет, такие советы Михаил принять не мог, и он решил прочесать деревню до конца.

Прочесал.

Результат все тот же — ни единой новой подписи. В темноте на ощупь он добрался до взвоза Ставровых — к Федору Капитоновичу не пошел, и так все ясно,— сел на отсыревшие за ночь бревна, закурил.

Сиверко разбушевался — кепку рвало с головы. А уж телеграфные столбы стоном стонали.

Ну и дьявол с ними. Пускай стонут. Пускай летит все в тартарары. И дома, и столбы телеграфные, и сами люди. Сука — народ. Самые что ни на есть самоеды. Мужик для них старался-старался, а в яму попал — кто пальцем ударил? Храпят, слюнявят от удовольствия подушки. И Райка, его невеста, тоже не лучше других...

Михаил с усмешкой посмотрел в темноту, туда, где стоял дом Федора Капитоновича, и вдруг отчетливо, как на картине, представил себе полнотелую, разогретую сном Раечку, блаженствующую в своих пуховиках. Он яростно вскипел.

Э-э, да кто сказал, что она его невеста? Хватит быть остолопом! Нравится тебе Дунярка? Тянет тебя к ней? Ну и на здоровье! Топай. А все эти твои переживаньица насчет Варвары, Раечки — муть собачья. Один раз живем!

Вон Егоршу взять. От молодой жены бегает — и ничего. А ты как старуха старая: разве можно сегодня с теткой, а завтра с племянницей? Можно! В Заозерье Паша Фофанов и дочке брюхо навертел и маму не обидел — тоже вширь пошла. А ты как самый последний дурак. Свататься побежал. Чтобы дорогу к Дунярке отрезать...

Нет, все. С этим покончено. Был один запоздалый идиот в Пекашине, а сегодня и он кончился. Спасибо вам, землячки дорогие! Выручили. Просветили.

Михаил решительно встал.

И однако же не в верхний конец пошагал, а сперва к изгороди возле ставровского хлева. Что там такое отсвечивает — вроде как сполох в темноте играет? Все время, пока сидел на взвозе, косился глазом в ту сторону и не мог понять.

Загадка оказалась совсем простой: у Ставровых в избе был свет — от их окошек отблески. Они не спят, полуночничают.

4

Минуты не раздумывал Михаил, идти или не идти к Ставровым: что-то нехорошо у них в доме, раз ночью огонь палят.

Воротца, чтобы не скрипнули, приподнял, затем на носках, пригибаясь к земле, вошел в ярко освещенный заулок. Остановился, прислушался. В избе — крик. И вроде Лизка плачет.

Он юркнул к простенку сбоку, поверх белой занавески заглянул в окошко.

Так оно и есть. Лизка, как елушка в дождливый день, вся в слезах, а кто ей трепку задает, не надо спрашивать. Дорогой муженек — не иначе как, сукин сын, только что с б......а явился, даже фуражки еще не снял.

Больше Михаил не таился. На всю подошву ступил на землю, на крыльце протопал сапогами, кольцо в воротах повернул — едва не выломал.

В окошке резко раздвинулась занавеска — показалось Егоршино лицо, злое, колючее,— затем так же резко задернулась.

Раздался новый крик в избе, новая ругань, потом наконец заскрипели двери, и в сени вышла Лиза — Михаил по ширканью носа узнал сестру.

Однако когда они вошли в избу, Лиза уже не плакала. Глаза красные, губы распухли, но не плакала. Не хотела, из гордости не хотела показывать брату свое горе.

Егорша — он стоял посреди избы руки в брюки, фуражка на глаза — словно из автомата прострочил в него:

— У меня не постоялый двор, чтобы ломиться середка ночи. Можно, думаю, и до утра подождать.

— Извини, я думал, мы еще без докладов.

— А ты не думай!

— Да что ты, господи! — всплеснула руками Лиза.— Неуж брату родному спрашивать, когда к сестре приходить? Что бы тебе сказал татя, кабы услышал это?

— Не услышит, поскольку мертвая природа и протчее... А потом, вы этому тате еще при жизни уши запечатали. Сволочи! — вдруг взвизгнул Егорша.— Родной внук в армии, священные рубежи... а вы дом у него вздумали оттяпать...

Михаил сделал шаг.

Но надо знать Егоршу! Закривлялся, заприплясывал — дескать, пьяный в дымину, ничего не соображаю, ни за что не отвечаю, а потом и вовсе начал валять ваньку — в пляс пустился.

Цапала, царапала,
Царапала, драла,
У самого Саратова
Я милому...

— Больно, больно баско,— сказала Лиза.— Может, еще сына разбудить? Пущай посмотрит, что отец пьяный вытворяет...

— А что! — петухом вскинул голову Егорша.— Буди. Чем плох у него отец?

Он новый номер выкинул — парадным шагом пропечатал к дверям.

— Порядочек! Ладнехонько идем... Пить выпивам, линию знам и в милицию не попадам...

— Ничего, попадешь. Так будешь делать, выведут на чисту воду.— Лиза все-таки не выдержала, всхлипнула.— Это ведь из-за чего у нас ночное собранье,— кивнула она брату.— Только что за порог родной перевалил.

— Ревность — родимое пятно и всякая тьма капитализма...— изрек Егорша.

— А по-моему, и при социализме за это по головке не гладят. Что-то я не читал в газетах, чтобы призывали: бегай от своей жены...

— А я в указчиках не нуждаюсь. Понятно? — отрезал Егорша.

— А я говорю, не надувайся — лопнешь.

— По етому вопросу советую вспомнить кое-какие события у колхозного склада.

— Ты!.. Ты мне про склад? — Михаил озверел, двинулся на Егоршу, и тому, конечно, никакой бы бокс сейчас не помог, да спасибо Лизке — она привела его в чувство.

— Что вы, что вы, дьяволы! Образумьтесь! Уж двух слов сказать не можете, чтобы не на кулаки...

Егорша, как лезвием, резал его своими синими щелками из-под светлого лакированного козырька военной фуражки с красной звездой, и Михаил подивился — столько ненависти было в этих щелках. Из-за чего? Кажется, он в последние дни не давал ни малейшего повода. Даже наоборот: после той идиотской потасовки у склада сам первый пришел к Ставровым. С бутылкой. Потому что черт его знает, этого прохиндея: начнет еще на сестре отыгрываться. И вот ничего не помогло. Егорша как на заклятого врага смотрит на него.

А может, это из-за Дунярки?— вдруг пришло ему в голову. Из-за того, что та дала ему от ворот поворот? Да еще при нем, при Михаиле. Егорша такой: не пожалеет, кого угодно стопчет, ежели стать между ним и бабой, которую он облюбовал. А то, что у него зуб на Дунярку горит, это ясно.

— Вопросов больше ко мне не имеется? — спросил, чеканя каждое слово, Егорша.— Ну и у меня нет. А пи-

сем в этом доме не подписывают. Потому как в этом доме с Советской властью живут. Ясно?

— А я что, не с Советской?

— Да вы об чем это? Об каком письме?

— А это уж ты его спрашивай, своего дорогого братца.— Егорша с ухмылкой кивнул Лизе.— Он решил зимой в прорубь прыгать.

— И ничего я не решил. Кой черт, нельзя уж сказать, что белое — белое...

Лиза еще нетерпеливее спросила:

— Да чего ты натворил-то? Про какое письмо он говорит? Где оно?

Михаил отмахнулся:

— Так. Ерунда.— Не хватало еще, чтобы он сестру свою втащил в эту историю.

Но тут Егорша просто заулюлюкал: ага, дескать, что я говорил? Ничего себе письмецо, ежели даже родной сестре показать нельзя!

Михаил выхватил из кармана ватника скомканный листок, бросил на стол: читайте!

Лиза присела к столу, расправила листок, прочитала заявление вслух.

— Коль уж и дельно-то! Все, каждое словечушко правда. Да я бы того, кто писал, расцеловала прямо.

— Целуй! — усмехнулся Егорша.— Он тут, между протчим.

— Ты?

Лиза, конечно, хитрила — это было ясно Михаилу: не могла же она не узнать почерк своего брата! Но все равно было приятно. И приятно было видеть ее зеленые, по-весеннему загоревшиеся глаза. А потом еще больше: Лизка, которая за всю жизнь ни разу не поцеловала его, тут вдруг выскочила из-за стола, обняла его и, подскочив, звучно чмокнула в небритую щеку.

Егорша язвительно захохотал:

— Да ты, может, и письмо подпишешь?

— Подпишу! Где карандаш?

— Ладно, ладно, сестра,— сказал Михаил.— Брось.— Стоило бы, конечно, проучить этого индюка, да уж ладно: с него достаточно и того, что сестра не струсила.

Но Лизка загорелась — не остановить. Сбегала в чулан, принесла карандаш.

— Где мне расписаться-то? Все равно?

— Не смей у меня! — гаркнул на всю избу Егорша.— Чуешь?

Лиза даже не взглянула на него. Быстро прочертила по бумаге карандашом, с пристуком положила его на стол.

В наступившей тишине стало слышно, как завывает и мечется под окошком ветер, уныло скрипит в заулке мачта.

Потом булыгами пали слова:

— Все! Ты не письмо подписала, а свой смертельный приговор. Счастливо оставаться! Раз тебе брат мужа дороже, с братом и живи.

Лиза не закричала, не заплакала. Ни тогда, когда захлопнулась за Егоршей дверь, ни потом, когда под окошками прошелестели его летучие шаги.

Она сидела за столом. Неподвижно. Белее недавно покрашенной известкой печи. И глядела на лежавшее перед ней письмо.

— Ну зачем ты, сестра, подписалась? Зачем? Да ты понимаешь, что ты наделала? Жизнь свою загубила...

Лиза долго не отвечала, потом, вздохнув, сказала:

— Пущай. Лучше уж совсем на свете не жить, чем без совести...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Ночью, перед самым рассветом, на Пекашино налетел страшенный ветер, или торох по-местному, и дров наломал — жуть! Где разметал зароды с соломой и сеном, где повалил изгородь, где сорвал крышу, а у маслозавода тополь не понравился — пополам разодрал.

И пришлось Михаилу, как всегда выбежавшему из дому ни свет ни заря, сворачивать с дороги да обходить зеленый завал стороной.

Больше всего, конечно, пострадали от тороха вдовьи хоромы, к которым бог знает сколько времени уже не притрагивалась по-хозяйски мужская рука.

Завидев Михаила, бабы протягивали к нему руки, упрашивали, умоляли:

— Михаил... Миша... Помоги...

Нет, дудки! Плевать я на вас хотел. Пальцем не пошевелю. Как бумагу подписать — вы в стороны, а прижало — Миша...

Он пушил, клял этих разнесчастных дурех на чем свет стоит и заодно клял себя, потому что знал: пройдет день-другой — и он снова подставит им свое плечо. Так уж повелось со времен войны: что бы ни случилось, что бы ни стряслось у девушек — так с легкой руки Петра Житова в Пекашине называют солдатских вдов,— к нему бегут. К Михаилу. И бесполезно говорить, что в деревне сейчас, помимо него, еще кое-какое мужское поголовье завелось. Не слышат...

На дороге возле сельпо, на всю улицу чертыхаясь, разбирала ночную баррикаду из пустых бочек и ящиков Улька-продавщица — и тут, оказывается, торох поработал.

Ульке пособить надо было в первую очередь — смотришь, скорее лишняя буханка и кусок сахара тебе перепадут, но, черт побери, мог ли он тут задерживаться, когда перед ним маячил растерзанный, растрепанный дом председателя!

Дом Лукашиных со сбитыми и содранными тесницами Михаил увидел еще от клуба — так и выпирали в утрешнем небе голые, непривычно светлые балки и стропила, и вот, хотя Улька-продавщица сразу же начала зазывать его к себе, он протопал мимо на полном ходу, даже не взглянув на нее. И вообще, сейчас, в эти минуты, сам дьявол не мог бы остановить его.

На дом, на крышу к Лукашиным! Назло всем, всей деревне!

Вбежав в заулок, сплошь закрещенный тесницами, Михаил первым делом поднял их с земли, поставил на попа возле крыльца, чтобы легче, без задержки было поднимать на дом, затем кинулся искать топор.

Заглянул на крыльцо, заглянул в дровяник — нету. Должно быть, Лизка, хозяйничавшая в эти дни у Лукашиных, убрала подальше.

— Помощников не надо?

Михаил, в раздумье топтавшийся подле крыльца (не хотелось идти к соседям за топором), повернул голову и увидел Раечку. Стоит у раскрытой калитки со стороны дороги и улыбается. Хорошо вылежалась на своих мягких пуховиках!

Злость закипела в нем.

— Иди, иди! Помощница... Уж коли ты такая смелая да охочая, ночью надо было помогать, а не сейчас.

Сказал и еще пуще закипел. Ведь что подумала Райка? На чей счет приняла его слова? На свой. Дескать, чего сейчас толковать, какое у парня с девкой дело днем, при белом свете, на виду у всех?

— Да и не выдумывай ты чего не надо! До тебя мне сегодня было, когда я всю ночь по деревне с письмом шлепал!

— С каким письмом?

— Здрасте! Да ты, может, и насчет Лукашина не слыхала? — Михаил глянул прямо в глаза Раечке и врубил: — Письмо насчет того, чтобы председателя нашего освободили, поскольку сама знаешь, не за что такого мужика...

Раечка кивнула.

— Ну ладно, чего там растабарывать,— уже без всякого запала сказал Михаил.— Сама знаешь, какой у нас народец. Три человека подписались...— И он, порывшись в карманах, неизвестно для чего вытащил мятое-перемятое письмо.

Раечка взяла письмо в руки, разостлала на столбике калитки, старательно разгладила... А дальше — черт знает что! Вытащила откуда-то химический карандаш и прямо по белому свою подпись.

— Да ты что? — только и мог сказать Михаил.— Не читавши, не знавши, прямо с закрытыми глазами...

А еще какую-то минуту спустя он глядел вслед бойко взбегавшей на угорышек Раечке, ловил глазами горевший в ее тяжелой светло-русой косе бант и говорил себе: да, вот и все. Вот и кончилось твое холостяцкое житье...

Долго, годами канителился он с Райкой. Долго не прошибала она его сердце. Даже тогда, когда сватался к ней, ни секунды не горевал, что ничего не вышло. А вот сейчас за какие-то пять минут все решилось.

Надолго. Навсегда.

2

Первые тесницы Михаил поднимал на дом один, а потом подошла с коровника Лиза, и работа у них закипела.

Под конец к нему пожаловал еще один помощник — Петр Житов.

— Так, так, мальчик! — одобрительно закрякал, задрав кверху голову.— Это мы можем. Это по нам — махать топором...

Михаил взглядом не удостоил Петра Житова. Пускай, пускай пожарится на собственных угольках, потому как малому ребенку было ясно, зачем пожаловал сюда Петр Житов. Затем, чтобы совесть свою успокоить. После их ночного объяснения.

Петр Житов напоследок даже к Ульке-продавщице не поленился скататься — дескать, давай, Пряслин, мирными средствами разрешим вчерашний конфликт,— но Михаил, спустившись с крыши, неторопливо и деловито отряхнулся, закурил и — на дорогу, а Петр Житов так и остался стоять в заулке с бутылкой в руке.

До медпункта Михаил шел как напоказ — знал, что Петр Житов сзади смотрит,— а от медпункта полетел сломя голову. С быстротой человека, бегущего на пожар. Да у Ильи Нетесова, похоже, и в самом деле было что-то вроде пожара — все боковое окошко пылало заревом.

Надо сказать, что дым над нетесовским домом Михаил видел еще с крыши Лукашиных, но ему и в голову не приходила мысль о беде. Ведь рядом, по верхнюю сторону Нетесовых,— сельповская пекарня и чего-чего, а дыму от нее хватает.

Его опасения, слава богу, оказались напрасными.

В доме был сам хозяин и, ни мало ни много, топил печь.

Запыхавшийся Михаил нетерпеливо махнул рукой в сторону ребятишек — уймитесь, дьяволята! (те беззаботно, на все голоса переговариваясь с пустой, еще не захламленной избой, носились по кругу друг за дружкой),— подсел к столу.

Илья тоже вскоре оседлал табуретку.

— В отпуск приехал всем табором? — спросил Михаил, кивая на ребят.

Илья по глухоте своей не понял сразу, и пришлось дать звук на полную мощность:

— В отпуск, говорю, приехал? Как рабочий класс?

— Не. Насовсем.

— Как насовсем? — оторопел Михаил.

— А ближе к своим...

— К могилам?

— Аха.

— К могилам-то ближе, а как их-то кормить будешь? — Михаил, морщась от ребячьего крика, сердито повел глазами на избу.

— Как-нибудь... Я думаю, жизнь теперь к лучшему повернет.

— С чего? — Михаил тут просто заорал: после смерти дочери и жены Илья совсем малохольным стал.— А председателя нашего тоже к лучшему закатали?

— Ну, это дело поправимо,— сказал Илья. Но сказал уже потише, с некоторой заминкой.

И все-таки Михаил не пощадил его, а снова ударил по черепу — до того в нем все вдруг вздыбилось да ощетинилось.

— А кто, кто будет поправлять-то? — заорал он вне себя.— Мы, колхозники, да? Наш ведь председатель-то, правильно? Правильно я говорю, нет?

Илья согласно кивнул. Ребята, перестав бегать, уставились на них.

— Ну дак вот, полюбуйся! — Михаил выхватил из кармана письмо, прихлопнул его своей тяжелой лапой к столу.— Полюбуйся, как поправили колхознички!..

Илья не спеша, с обычной своей обстоятельностью развернул бумагу, надел очки.

Читал долго, хмурился, вздыхал — в общем, искал зацеп, чтобы самому увернуться.

Наконец нашел:

— Тут, по-моему, знаешь, чего не хватает? Самокритической линии. В части того, что Лукашин нарушил закон. Есть такой закон — в хлебопоставки никакой раздачи хлеба. Так что арестовали его по закону. Но учитывая, что данный председатель нарушение сделал, исходя не из личных интересов...

Михаил, не дослушав, отвернулся. Нет ничего хуже — смотреть на человека, который на твоих глазах начинает крутить восьмерки!

А в общем-то, ежели говорить начистоту, претензий к Илье у него не было. Человек в колхозе не жил. Партийный... Характер, известно, не матросовский. Всю жизнь Марьи боялся...

Э-э, да чего на пристяжных отыгрываться, когда коренники не тянут!

Михаил протер рукой заплаканное, запотелое окошко.

По дороге вышагивали Петр Житов и Егорша. Петр Житов тянул протез пуще обычного, так что можно было не сомневаться, что с бутылкой он уже расправился. Может быть, даже не без помощи Егорши.

Михаил встал:

— Ладно, обживайся помаленьку, а мне пора...— И вдруг, пораженный внезапно наступившей в избе тишиной, обернулся к Илье.

Илья подписывал письмо.

Четко, со старательностью школьника выводил свою фамилию. Буква к букве и без всяких закорючек, так что самый малограмотный человек прочитает.

Потом подумал-подумал и добавил:

Член ВКП (б) с 1941 года.

3

В небе летели журавли.

Тоскливо, жалобно курлыкали, как бы извиняясь: мы-то, дескать, в теплые края улетаем, а тебе-то тут куковать. И день был серенький-серенький — всегда почему-то журавли отчаливают в такие дни.

Но всегдашней тоски на душе у Михаила не было.

Он стоял на нетесовском крыльце, широко расставив свои крепкие, сильные ноги, по-крестьянски, из-под ладони, глядел на удаляющийся журавлиный клин, и перед глазами его вставала родная страна. Громадная, вся в зеленой опуши молодых озимей.

1973

повести

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНИ

1

О приезде старой Милентьевны, матери Максима, в доме поговаривали уже не первый день. И не только поговаривали, но и готовились к нему.

Сам Максим, например, довольно равнодушный к своему хозяйству, как большинство бездетных мужчин, в последний выходной не разгибал спины: перебрал каменку в бане, поправил изгородь вокруг дома, разделал на чурки с весны лежавшие под окошками еловые кряжи и, наконец, совсем уже в потемках, накидал досок возле крыльца — чтобы по утрам не плавать матери в росяной траве.

Еще больше усердствовала жена Максима — Евгения. Она все перемыла, перескоблила — в избах, в сенях, на вышке, разостлала нарядные пестрые половики, до блеска начистила старинный медный рукомойник и таз.

В общем, никакого секрета в том, что в доме вот-вот появится новый человек, для меня не было. И все-таки приезд старухи был для меня как снег на голову.

В то время, когда лодка с Милентьевной и ее младшим сыном Иваном, у которого она жила, подошла к деревенскому берегу, я ставил сетку на другой стороне.

Было уже темновато, туман застилал тот берег, и я не столько глазом, сколько ухом угадывал, что там происходит.

Встреча была шумной.

Первой, конечно, прибежала к реке Жука — маленькая соседская собачонка с необыкновенно звонким голо-

сом,— она на рев каждого мотора выбегает,— потом, как колокол, загремело и заухало знакомое мне железное кольцо — это уже Максим, трахнув воротами, выбежал из своего дома, потом я услышал тонкий плаксивый голос Евгении: «О, о! Кто к нам приехал-то!..», потом еще, еще голоса — бабы Мары, старика Степана, Прохора. В общем, похоже было, чуть ли не вся Пижма встречала Милентьевну, и, кажется, только я один в эти минуты клял приезд старухи.

Мне давно уже, сколько лет, хотелось найти такой уголок, где бы все было под рукой: и охота, и рыбалка, и грибы, и ягоды. И чтобы непременно была заповедная тишина — без этих принудительных уличных радиодинамиков, которые в редкой деревне сейчас не гремят с раннего утра до поздней ночи, без этого железного грохота машин, который мне осточертел и в городе.

В Пижме я нашел все это с избытком.

Деревушечка в семь домов, на большой реке, и кругом леса — глухие ельники с боровой дичью, веселые грибные сосняки. Ходи — не ленись.

Правда, с погодой мне не повезло — редкий день не перепадали дожди. Но я не унывал. У меня нашлось еще одно занятие — хозяйский дом.

Ах, какой это был дом! Одних только жилых помещений в нем было четыре: изба-зимовка, изба-летница, вышка с резным балкончиком, горница боковая. А кроме них, были еще сени светлые с лестницей на крыльцо, да клеть, да поветь саженей семь в длину — на нее, бывало, заезжали на паре,— да внизу, под поветью, двор с разными стайками и хлевами.

И вот, когда не было дома хозяев (а днем они всегда на работе), для меня не было большей радости, чем бродить по этому удивительному дому. Да бродить босиком, не спеша. Вразвалку. Чтобы не только сердцем и разумом, подошвами ног почувствовать прошлые времена.

Теперь, с приездом старухи, на этих разгулах по дому надо поставить крест — это было мне ясно. И на моих музейных занятиях — так я называл собирание старой крестьянской утвари и посуды, разбросанной по всему дому,— тоже придется поставить крест. Разве смогу я втащить в избу какой-нибудь пропылившийся берестяный туес и так и этак разглядывать его под носом у старой хозяйки? Ну, а о всяких там других привычках и удо-

вольствиях, вроде того чтобы среди дня завалиться на кровать и засмолить папиросу, об этом и думать нечего. Забудь. Не смей! Старуха в доме.

2

Я долго сидел в лодке, приткнутой к берегу.

Уже туман наглухо заткал реку, так что огонь, зажженный на той стороне, в доме хозяев, был похож на мутное желтое пятно, уже звезды высыпали на небе (да, все вдруг — и туман, и звезды), а я все сидел и сидел и распалял себя.

Меня звали. Звал сам Максим, звала Евгения, а я закусил удила и — ни слова. У меня даже одно время появилась было мыслишка укатить на ночлег в Русиху — большую деревню, километра за четыре — за три вниз по реке, да я побоялся заблудиться в тумане. Ибо не только я, приезжий человек, но и местный житель не отыскал бы сейчас тропинку в поскотине.

И вот я сидел, как сыч, в лодке и ждал. Ждал, когда на той стороне погаснет огонь. С тем, чтобы хоть ненадолго, до завтра, до утра, отложить встречу со старухой.

Не знаю, сколько продолжалось мое сиденье в лодке. Может быть, два часа, может быть — три, а может, и четыре. Во всяком случае, по моим расчетам, за это время можно было и поужинать, и выпить уже не один раз, а между тем на той стороне и не думали гасить огонь, и желтое пятно все так же маячило в тумане.

Мне хотелось есть — давеча, придя из лесу, я так спешил на рыбалку, что даже не пообедал, меня колотила дрожь — от сырости, от ночного холода, и в конце концов не пропадать же — я взялся за весло.

Огонь на той стороне сослужил мне неоценимую службу. Ориентируясь на него, я довольно легко, не блуждая в тумане, переехал за реку, затем так же легко по тропинке, мимо старой бани, огородом поднялся к дому.

В доме, к моему немалому удивлению, было тихо, и если бы не яркий огонь в окошке, можно было бы подумать, что там уже все спят.

Я постоял-постоял под окошками, прислушиваясь, и решил, не заходя в избу, подняться к себе на вышку.

Но зайти в избу все-таки пришлось. Потому что, отворяя ворота, я так брякнул железным кольцом, что весь дом задрожал от звона.

— Сыскался? — услышал я голос с печи.— Ну, слава богу. А я лежу и все думаю, хоть бы ладно-то все было.

— Да чего неладно-то! — с раздражением сказала Евгения. Она тоже, оказывается, не спала, хоть и лежала на кровати.— Это вот для тебя светильню-то выставила,— кивнула Евгения на лампу, стоявшую на подоконнике за спиной широкой никелированной кровати.— Чтобы, говорит, постоялец в тумане не заблудился. Ребенок постоялец-то! Сам-то уж не сообразит, что к чему.

— Да нет, всяко бывает,— опять отозвалась с печи старуха.— Кой год у меня хозяин всю ночь проплавал по реке, едва к берегу прибился. Такой же вот туман был.

Евгения, охая и морщась, начала слезать с кровати, чтобы покормить меня, но до еды ли мне было в эти минуты! Кажется, никогда в жизни мне не было так стыдно за себя, за свою безрассудную вспыльчивость, и я, так и не посмев поднять глаза кверху, туда, где на печи лежала старуха, вышел из избы.

3

Утром я просыпался рано, как только внизу начинали ходить хозяева.

Но сегодня, несмотря на то, что старый деревянный дом гудел и вздрагивал каждым своим бревном и каждой своей потолочиной, я заставил себя лежать до восьми часов: пусть хоть сегодня не будет моей вины перед старым человеком, который, естественно, хочет отдохнуть с дороги.

Но каково же было мое удивление, когда, спустившись с вышки, я увидел в избе только одну Евгению!

— А где же гости? — Про Максима я не спрашивал. Максим после выходного на целую неделю уходил на свой смолокуренный завод, где он работал мастером.

— А гости были да сплыли,— веселой скороговоркой ответила Евгения.— Иван домой уехал — разве не чул, как мотор гремел, а мама, та, известно,— за губами [1] ушла.

---

[1] Местное название грибов для соления.

— За губами! Милентьевна?

— А чего? — Евгения быстро взглянула на старинные, в травяных узорах часы, висевшие на передней стене рядом с вишневым посудным шкафчиком.— Еще пяти не было, как ушла. Как только начало светать.

— Одна?

— Ушла-то? Как не одна. Что ты! Который год я тут живу? Восьмой, наверно. И не было вот годочка, чтобы она в это время к нам не приехала. Всего наносит. И соленых, и обабков, и ягод. Краса Насте.— Тут Евгения быстро, по-бабьи оглянувшись, перешла на шепот:— Настя и живет-то с Иваном из-за нее. Ей-богу! Сама сказывала весной, когда Ивана в город возила от вина лечить. Горькими тут плакала. «Дня бы, говорит, не мучилась с ним, дьяволом, да мамы жалко». Да, вот такая у нас Милентьевна,— не без гордости сказала Евгения, берясь за кочергу.— Мы-то с Максимом оживаем, когда она приезжает.

И это верно. Я никогда еще не видел Евгению такой легкой и подвижной, ибо по утрам она, шлепая по дому в старых разношенных валенках и в стеганой телогрее, всегда стонала и охала, жаловалась на ломоту в ногах, в пояснице — у нее была тяжелая жизнь, как, впрочем, у всех деревенских женщин, юность которых пала на военную страду: только с багром в руках она тринадцать раз прошла свою реку от вершины до устья.

Сейчас я глаз не мог отвести от Евгении. Просто чудо какое-то произошло, будто ее живой водой вспрыснули. Железная кочерга не ворочалась, плясала в ее руках. Печной жар трепетал на ее смуглом моложавом лице, и черные круглые глаза, такие сухие и строгие, сейчас мягко улыбались.

На меня тоже напал какой-то непонятный задор. Я быстро сполоснул лицо, сунул ноги в калоши и выскочил на улицу.

Туман стоял страшный — я только теперь понял, что на окошках не занавески белели. Реку затопило с берегами. Даже верхушек прибрежных елей на той стороне не было видно.

Я представил себе, как где-то там, за рекой, в этом сыром и холодном тумане, бродит сейчас с коробкой старая Милентьевна, и побежал в сарай колоть дрова. На тот случай, если придется затоплять баню для иззябшей старухи.

4

Я раза три в то утро выбегал к реке, да столько же раз, наверно, выбегала Евгения, и все-таки мы не укараулили Милентьевну. Явилась она внезапно. В то время, когда мы с Евгенией завтракали.

Не знаю, то ли оттого, что ворота на крыльце не были заперты, то ли мы с Евгенией слишком заговорились, но только вдруг дверь подалась назад, и я увидел ее — высокую, намокшую, с подоткнутым по-крестьянски подолом, с двумя большими берестяными коробками на руках, полнехонькими грибов.

Мы с Евгенией выскочили из-за стола, чтобы принять эти коробки. А сама Милентьевна, не очень твердо ступая, прошла к прилавку у печи и села.

Она устала, конечно. Это видно было и по ее худому тонкому лицу, до бледности промытому нынешними обильными туманами, и по ее заметно вздрагивающей голове. Но в то же время сколько благостного удовлетворения и тихого счастья было в ее голубых, слегка прикрытых глазах. Счастья старого человека, хорошо, всласть потрудившегося и снова и снова доказавшего и себе и людям, что он еще не зря на этом свете живет. И тут я вспомнил свою покойную мать, у которой, бывало, вот так же довольно светились и сияли глаза, когда она, до упаду наработавшись в поле или на покосе, поздно вечером возвращалась домой.

Евгения, ахая, причитая: «Вот какая у нас бабка! Мы еще сидим — брюхо набиваем, а она уже наработалась»,— развернула бурную деятельность, как подобает примерной невестке. Она занесла легкий ушатик из сеней, вымытый, выпаренный, заранее приготовленный для засолки грибов, сбегала в клеть за солью, наломала в огороде свежего пахучего смородинника, а потом, когда Милентьевна, немного передохнув, ушла переодеваться на другую половину, начала сворачивать на середке избы пестрые половики, то есть готовить место для засолки.

— Думаешь, она сейчас исть-пить будет? — заговорила Евгения, как бы объясняя мне, почему она не хлопочет сперва о завтраке для свекрови.— Ни за что! Старорежимный человек. Покамест грибы не приберет, лучше и не заикайся об еде.

Мы сели прямо на голый пол, кучно, нога к ноге. Вокруг нас мельтешили солнечные зайчики, грибной дух ме-

шался с избяным теплом, и так славно, так приятно было смотреть на старую Милентьевну, переодевшуюся в сухое ситцевое платье, на ее темные, жиловатые руки, которые она то и дело погружала то в коробку, то в ушатик, то в эмалированную кастрюлю с солью,— старуха, конечно, солила сама.

Грибы были отборные, крепкие. Желтая молоденькая сыроежка со сладким пеньком, который на севере едят как репу, белый сухой конек, рыжик, волнушка и царь соленых — масляный груздь, который особенно хорошо оправдывает свое название в такой вот солнечный день, как нынешний,— так и кажется, что в его блюдце комками плавится топленое масло.

Я неторопливо, с великой осторожностью брал из коробки гриб и каждый раз, прежде чем начать счищать с него соринки, поднимал его к свету.

— Что — не видал такого золота? — спросила меня Евгения. Спросила с подковыркой, явно намекая на мои довольно скромные приношения из леса.— Да вот, в том же лесу ходишь, а гриба хорошего для тебя нету. Не удивляйся. У ей с этим заречным ельником с первой брачной ночи дружба. Она из-за этих грибов едва живота не лишилась.

Я непонимающе посмотрел на Евгению: о чем, собственно, речь?

— Как? — страшно удивилась она.— Да разве ты не слыхал? Не слыхал, как муж в ей из ружья стрелял? Ну-ко, мама, сказывай, как дело-то было.

— А чего сказывать,— вздохнула Милентьевна.— Мало ли чего меж своих не бывает.

— Меж своих... Да ведь этот свой мало тебя не убил!

— А раз мало, то не в счет.

Черные сухие глаза Евгении неистово округлились.

— Я не знаю, ты, мама... Уж все вкось да поперек. Может, скажешь еще, что ничего и не было? Может, и головная трясучка у тебя не после этого?

Евгения заправила тыльной стороной руки выбившуюся прядку волос за маленькое ухо с красной сережкой-ягодкой и, видимо, решив, что от свекрови все равно никакого толка не будет, начала рассказывать сама.

— Шестнадцати лет нашу Милентьевну взамуж выпихнули. Может, еще и грудей-то не было. У меня не было в эти годы, ей-богу. А про то, как девка жить будет, про то разве раньше думали? Отец, родимый батюш-

ко, на житье женихово позарился. Один парень в доме, красоваться будешь. А какая краса, когда дикарь на дикаре вся деревня?

— Да, может, хоть не вся,— возразила Милентьевна.

— Не защищай, не защищай! Кто хошь скажет. Дикари. Да и я помню. Бывало, к нам в праздник в большую деревню выберутся — орда ордой. Все скопом — женатые, неженатые. С бородами, без бороды. Идут, орут, каждого задирают, воздух портят — на всю деревню пальба. А дома у себя — никто не видит — и того чище. Уж каждый с какой-нибудь придурью да забавой. Один в сарафане бабьем бегает, другой — Мартынко-чижик был — все на лыжах за водой на реку ходил. Летом, в жару, да еще шубу наденет, кверху шерстью. А Исак Петрович, тот опять на архиерее помешался. Бывало, говорят, вечера дождется, лучину в передних избах зажгет, набивник синий на себя наденет да ходит-ходит из избы в избу, псалмы распевает. Так, мама? Не вру?

— Люди не без греха,— уклончиво ответила Милентьевна.

— Не без греха! Каки таки грехи у тебя в шестнадцать лет были, чтобы из ружья стрелять? Нет уж, такая порода. Весь век в лесу, да в стороне от людей,— поневоле начнешь лесеть да сходить с ума. И вот в такой-то зверушник да девку в шестнадцать лет и кинули. Хошь выживай, хошь погибай — твое дело.

Ну, мама у нас решила перво-наперво свекра да свекровь на свою сторону перетягивать. Им угоду делать. А чем можно было перетянуть стариков бывалошное время? Работой.

И вот новобрачные в первую ночь милуются да любуются, а Василиса Милентьевна у нас встала ни свет ни заря да за реку по грибы. Осенью тебя, мама, в это время выдали?

— Кажись, осенью,— не очень охотно ответила Милентьевна.

— Да не кажись, а точно,— убежденно сказала Евгения.— Летом-то много ли в лесу губ, а ты ведь коробку-то наломала за час — за два. Когда тебе было расхаживать по лесу, когда тебя муж дома ждет?

Ну вот, возвращается мама из лесу. Рада. Ни одного дыма над деревней нету, все еще спят, а она уже с грибами. Вот, думает, похвалят ее. Ну и похвалили. Только она переехала за реку да шаг какой ступила от лодки —

бух выстрел в лицо. Грозный муж молодую жену встречает...

У старой Милентьевны, как веревки, натянулись жилы на худой морщинистой шее, сгорбленная спина выпрямилась — она хотела унять дрожь, которая заметно усилилась. Но Евгения ничего этого не видела. Она сама не меньше свекрови переживала события того далекого утра, известные ей по рассказам других, и кровь волнами то приливала, то отливала от ее смуглого лица.

— Бог, бог отвел смерть от мамы. Далеко ли от огорода до бани? А мама как раз к бане подошла, когда он ружье-то на нее навел, да, видно, рука-то после пьянки взыграла, а то бы наповал. Дробь и теперь в дверке у бани сидит. Не видал? — обратилась ко мне Евгения.— Посмотри, посмотри. Меня муженек сюда первый раз привез, куда, думаешь, перво-наперво повел? Терема свои показывать? Золотой казной хвастаться? Нет, к бане черной. «Это, говорит, мой отец мать учил...» Вот какой лешак! Все, все у них тут такие. По каждому кутузка плачет...

Я видел: старая Милентьевна давно уже тяготится этим разговором, ей неприятна наша бесцеремонная назойливость. А с другой стороны — как остановить себя, когда ты уже целиком захвачен этой необычной историей? И я спросил:

— Да из-за чего же весь этот сыр-бор загорелся?

— Пальба-та эта? — Евгения любила все называть своими именами.— Да из-за Ваньки-лысого. Вишь он, лешак, прости господи, неладно бы так своего свекра называть, хватился утром-то... Где вы, мама, спали? На повети? Туда-сюда рукой,— нету. На улицу вылетел. А тут и она, молодая жена. Из заречья идет. Вот он и взбеленился. А, думает, так-перетак, к Ваньке-лысому ездила? На свиданье?

Милентьевна, к этому времени, должно быть, опять овладев собой, спросила не без издевки:

— А ты и про то знаешь, что твой свекор думал?

— Да почто не знать-то. Люди соврать не дадут. Иван-лысой, бывало, напьется: «Ребята, я смолоду в двух деревнях прописан: телом дома, а душой в Пижме». До самой смерти говорил. Красивой мужик был.

Ох, да чего рассусоливать. Женихов косяк у мамы был. За красоту и брали. Вишь ведь, она и теперь у нас хоть взамуж выдавай,— польстила свекрови Евгения и,

кажется, впервые, за все время, что рассказывала, улыбнулась.

Затем, как-то жеманно, с прищуром поведя своим черным безрадостным глазом, заговорила игриво:

— Ну, а тебя, мама, тоже не хвалю. Уж как ни молода была, а должна понимать, для чего взамуж берут. Всяко, думаю, не для того, чтобы по грибы в первую ночь бегать...

Ох, как тут сверкнули тихие голубые глаза у старой Милентьевны! Будто гроза прошла за окошками, будто там каленое ядро разорвалось.

Евгения сразу смешалась, поникла, я тоже не знал, куда девать глаза.

Некоторое время все сидели молча, с особым старанием выбирая сор из грибов.

Милентьевна первой подала голос к примирению. Она сказала:

— Сегодня я уж вспоминала свою жизнь. Хожу по лесу да умом-то все назад дорогу топчу. Семой десяток нынче пошел...

— Седьмой десяток, как вы вышли замуж на Пижму? — уточнил я.

— Да хоть не вышла, а выпихнули,— с легкой усмешкой сказала Милентьевна.— Верно она говорит: не было у меня молодости. И по-нонешнему сказать, не любила я своего мужа...

— Ну вот,— не без злорадного торжества воскликнула Евгения,— призналась! А я рта не раскрой. Все не так, все не ладно.

— Да ведь когда по живому-то месту пилят, и старое дерево скрипит,— еще примирительней сказала Милентьевна.

Грибы подходили к концу.

Евгения, поставив на колени пустую коробку, начала выбирать из грибного мусора ягоды. Она все еще дулась, хотя нет-нет да и бросала время от времени любопытные взгляды на свекровь — та опять принялась за прошлое.

— Старые люди любят хвалить бывалошние времена,— говорила Милентьевна негромко, рассудительным голосом,— а я не хвалю. Нынче народ грамотной, за себя постоит, а мы смолоду не знали воли. Меня выдали взамуж — теперь без смеха и сказать нельзя — из-за шубы да из-за шали...

— Неужели? — в страшном волнении воскликнула Евгения.— А я и не слыхала.

От ее недавней сердитости не осталось и следа. Жадное бабье любопытство, столь глубоко укоренившееся в ее натуре, взяло верх над всеми другими чувствами, и она так и впилась своим пылающим взглядом в свекровь.

— Так,— сказала Милентьевна.— Отец у нас, вишь, строился, хоромы возводил, каждая копейка была дорога, а тут я стала подрастать. Бесчестье, ежели дочь на игрище выйдет без новой шубы и шали, вот он и не устоял, когда из Пижмы сваты приехали: «Без шубы и шали возьмем...»

— А братья-то где были? — опять, не выдержав, перебила Евгения.— Хорошие у мамы были братья. Беда как ей жалели. Как свечу на руках несли. Уж она взамужем была, у самих ребят полные избы, а все сестре помогали...

— А братья,— сказала Милентьевна,— в лесу в ту пору были. Лес на двор рубили.

Евгения живо закивала:

— Ну, тогда ясно, ясно. А я все голову ломаю, как такие братья, первые люди по деревне — из хорошего житья мама брана,— сестру любимую не могли отстоять. А оно вон что — их дома не было, когда тебя сватали...

После этого, уточняя все новые и новые подробности, неизвестные ей, Евгения опять стала забирать разговор в свои руки. И вскоре кончилось все тем, что негромкий голос Милентьевны совсем замолк.

Евгения переживала давнишнюю драму свекрови всем своим существом.

— Беда, беда, что могло быть! — размахивала она руками.— Братья услыхали: зять сестру застрелил — на конях прискакали. С ружьями. «Только одно словечушко, сестра! Сейчас дух выпустим». Крутые были. Силачи — медведя в дугу согнут, не то что там человека. И вот тогда мама и сказала им: «И не стыдно вам, братья дорогие, шум понапрасну подымать, людей добрых баламутить. Хозяин молодой у нас ружье пробовал, на охоту собирается, а вы невесть что взяли...»

Вот какая она у нас умница-разумница была! Это в шестнадцать-то лет! — Евгения с гордостью посмотрела на свою потупившуюся свекровь.— Нет, подними на меня Максим руку, я бы не вытерпела. Засудила бы и засадила куда следует. А она головой потряхивает да братьев

своих отчитывает: «Куда суетесь? Есть у вас голова-то на плечах? Поздно мне теперь назад заворачивать, когда голова бабьим повойником покрыта. Надо тут мне приживаться да уживаться». Вот так, такой поворот всему делу дала.

Евгения вдруг всхлипнула. Она ведь в сущности была добрый человек.

— Ну дак уж свекор ей за это только что ноги не целовал. Что ты, что ты, ведь смертоубийство могло быть. Братья распалились — чего им стоило решку на Мирона навести. Я-то маленькая была, худо помню Онику Ивановича, а люди старые и сейчас поминают. Откуда ни идет, с какой стороны ни едет, а подарок своей сношеньке завсегда. А ежели загуляет да начнут уговаривать остаться ночевать: «Нет, нет, робята, не останусь. Домой попадать буду. Я по своей Василисе Прекрасной соскучился». Все, как выпьет, Василисой Прекрасной называл.

— Называл,— вздохнула Милентьевна, и мне показалось, что ее старые, видавшие виды глаза повлажнели.

Евгения, по-видимому, тоже заметила это. Она сказала:

— Есть, есть за что помянуть добрым словом Онику Ивановича. Может, только он один и человек в деревне был. А тут все как есть урваи.—В Пижме все носят одну фамилию.— Урваевы.— И Мирон Оникович, мой свекор-батюшка, тоже урвай. Да еще урвай-то какой. Другой бы на его месте после такой истории знаешь как повел себя? Тише воды, ниже травы. А этот такая поперечина — за все взыск.

Милентьевна подняла голову, она, видно, хотела вступиться за своего мужа, но Евгения, опять вошедшая в раж, и рта открыть ей не дала.

— Нечего, нечего закрашивать. Всяк знает какой. Кабы хорошой был, разве не выпускал бы тебя десять лет с Пижмы? Нигде не бывала мама — ни у родителей своих, ни на гулянье. Да и куделю-то, бывало, пряла одна, а не на вечерянке. Вот какая ревность лешья была.

Да чего говорить? — Евгения махнула рукой.— За все спрос да взыск. Скажи-ко на милость, виновата ли жена, что все дети обличьем в ей, а не в отца, а у него и за то взыск: «Чей это голубель за столом рассыпан?» Все так допрашивал маму, когда напьется. А чего бы, кажись, допрашивать? Сам темный, небаскящий, как головешка копченая, лицо в шадринах, оспой болел, как, скажи, ов-

цы ископытили... Да радоваться надо, бога вечно молить, что дети не в тебя...

Не знаю, то ли не понравилось Милентьевне, как невестка обращается с ее прошлым, то ли она, как крестьянка старого закала, не привыкла долго сидеть без дела, но она вдруг начала подниматься на ноги, и разговор у нас оборвался.

5

Дом Максима единственный в Пижме, который развернут фасадом вниз по течению реки, а все остальные стоят к реке озадками.

Евгения, не очень жаловавшая пижемцев, объясняла это просто:

— Урваи! Назло людям выставили свои поганые зады.

Но причина такой застройки, конечно, была иная — та, что Пижма расположена на южном берегу реки, и как же было отвернуться от солнца, когда оно и так не часто бывает в этих лесных краях.

Я любил эту тихую деревушку, насквозь пропахшую молодым ячменем, развешанным в пухлых снопах на жердяных пряслах. Мне нравились старинные колодцы с высоко вздернутыми журавлями, нравились вместительные амбары на столбах с конусообразными подрубами — чтобы гнус не мог подняться с земли. Но особенно меня восхищали пижемские дома — большие бревенчатые дома с деревянными конями на крышах.

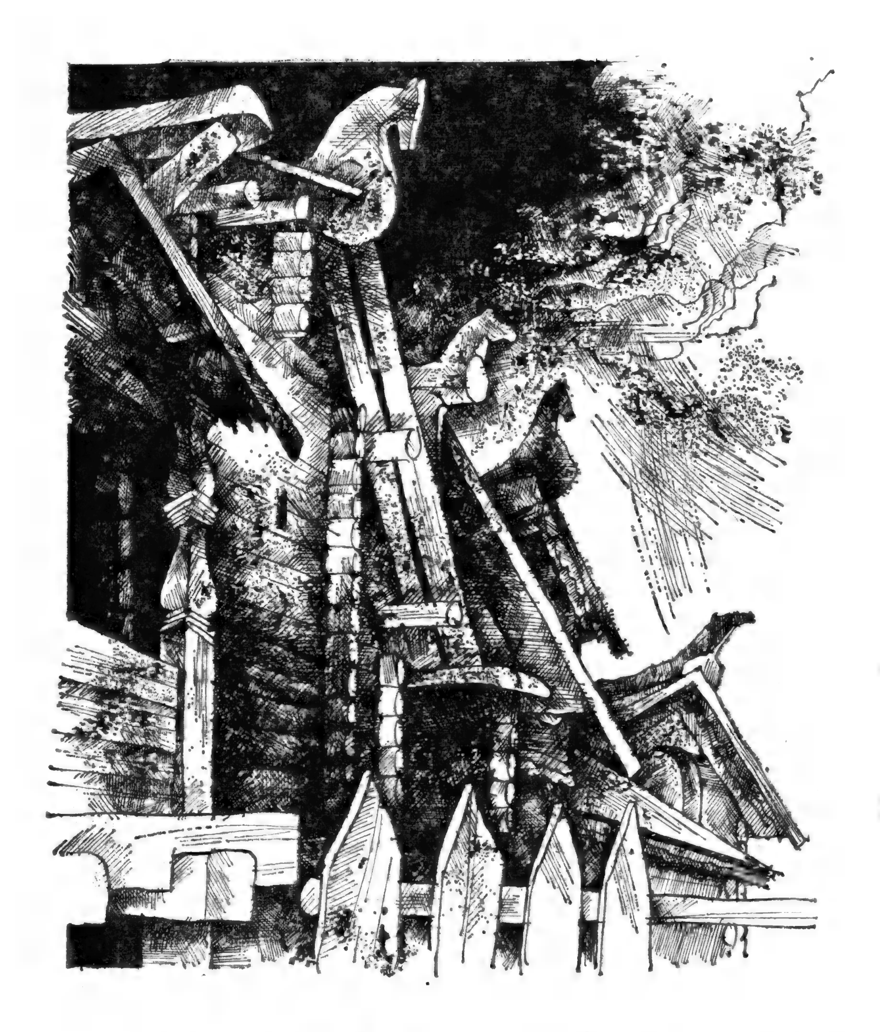
Впрочем, сам по себе дом с коньком на Севере не редкость. Но я ни разу еще не видел такой деревни, где бы каждый дом был увенчан коньком. А в Пижме — каждый. Идешь по подоконью узкой травянистой тропинкой, в которую из-за малолюдья превратилась деревенская дорога, и семь деревянных коней смотрят на тебя с поднебесья.

— А раньше их поболе у нас было. В двух десятках деревянное стадо считали,— заметила Милентьевна, шагавшая рядом со мной.

Старуха который раз за эти сутки удивила меня.

Я думал, после завтрака она, старый человек, первым делом подумает об отдыхе, о покое. А она встала из-за стола, перекрестилась, принесла из сеней берестяный пестерь и начала привязывать к нему лямки из старого холстяного полотенца.

— Куда, бабушка? Не опять в лес? — полюбопытствовал я.



— Нет, не в лес. К дочери старшей, в Русиху лажу сходить,— по-старинному выразилась Милентьевна.

— А пестерь зачем?

— А пестерь затем, что, все ладно, завтра из-за утра в лес уйду. Доярки коров доить поедут и меня прихватят. Мне, вишь, нельзя время-то терять. Я намало в этот раз отпущена, на неделю.

Евгения, до сих пор не вмешивавшаяся в наш разговор — она собиралась на работу,— тут не выдержала:

— Сказывай — намало отпущена. Завсегда так. Уж

не отдохнет, не посидит без дела. Нет, моя бы воля — весь день лежала. А чего? Неужто человек только затем и родится, чтобы с утра до вечера чертоломить?

Я вызвался проводить Милентьевну до перевоза — а вдруг перевозчик опять в загуле и старухе потребуется помощь.

Но у Милентьевны нашлись помощники и кроме меня. Ибо не успели мы поравняться с конюшней, старым полуразвалившимся гумном на краю деревушки в поле, как оттуда с разбойным свистом и гиканьем вылетел Прохор

Урваев. На гремучей немазаной телеге, в которую был запряжен Громобой, единственный живой конь в Пижме.

Когда-то этот Громобой, надо полагать, был рысак что надо, а сейчас от старости он походил на ходячий скелет, обтянутый сопревшей от лишая кожей, и если кто еще и мог заставить этот скелет погреметь старыми костями, так это Прохор — один из трех мужиков, оставшихся в Пижме.

Прохор, по обыкновению, был под мухой — от него так и разило дешевым одеколоном.

— Тета, тета! — закричал он, подъезжая.— Я твое добро помню. Я с утра дежурю с Громобоем, потому как знаю — тебе на перевоз. Так, тета? Не ошибся Прохор?

Милентьевна не стала отказываться от услуг племянника, и скоро телега с ней и Прохором покатила по зеленому выкошенному лугу, к желтевшей вдали песчаной косе, где был перевоз.

Я вернулся домой.

Евгении дома уже не было — она ушла на поле помогать бабам убирать горох, и мне бы тоже в самый раз заняться своими делами — у меня и сетка за рекой не смотрена, да и в лес надо — когда еще выдастся такой ладный денек.

А я вошел в пустую избу, постоял неприкаянно под порогом и пошел на поветь.

С поветью меня познакомил Максим в первую очередь (я сперва хотел спать на сеновале), и, помню, я просто ахнул, когда увидел то, что там было.

Целый крестьянский музей!

Рогатое мотовило, кросна — домашний ткацкий станок, веретенница, расписные прялки-мезехи (с Мезени), трепала, всевозможные коробья и корзины, плетенные из сосновой драни, из бересты и корня, берестяные хлебницы, туеса, деревянные некрашеные чашки, с какими раньше ездили в лес и на дальние сенокосы, светильник для лучины, солонки-уточки и еще много-много всякой другой посуды, утвари и орудий труда, сваленных в одну кучу, как ненужный хлам.

— Надо бы выбросить все это имущество,— сказал Максим, словно бы оправдываясь передо мной,— ни к чему теперь. Да как-то рука не поднимается — мои родители кормились от этого...

С тех пор я редкий день не заглядывал на поветь. И не потому, что вся эта отжившая старина была для ме-

ня внове,— я сам вышел из этого деревянного и берестяного царства. Внове для меня была красота точеного дерева и бересты. Вот что не замечал я раньше.

Всю жизнь моя мать не выпускала из своих рук березового трепала, того самого трепала, которым обрабатывают лен, но разве я замечал когда-либо, что оно само льняного цвета — такое же нежное, лениво-матовое, с серебристым отливом? А хлебница берестяная. Мне ли бы не запомнить ее золотистого сияния? Ведь она, бывало, каждый раз, как долгожданное солнце, опускалась на наш стол. А я только и запомнил, что да когда в ней было.

И так все, что бы я ни взял, на что бы ни взглянул — и старый заржавелый серп с отполированным до блеска цевьем, и мягкая будто медвяная чашка, выточенная из крепкого березового свала,— все раскрывало мне особый мир красоты. Красоты, по-русски не броской, даже застенчивой, сделанной топором и ножом.

Но сегодня, после того как я познакомился со старой хозяйкой этого дома, я сделал для себя еще одно открытие.

Сегодня я вдруг понял, что не только топор да нож мастера этой красоты. Главную-то обточку и шлифовку все эти трепала, серпы, пестери, соха (да, была тут и Андреевна, допотопной раскорякой стоявшая в темном углу) прошли в поле и на пожне. Крестьянские мозоли обкатывали и полировали их.

6

На следующий день с утра зарядил дождь, и я опять остался дома.

Как и вчера, мы с Евгенией долго не садились за стол: вот-вот, думалось, придет Милентьевна.

— Не должна бы она сегодня далеко-то убрести,— говорила Евгения.— Не маленький ребенок.

Но шло время, дождь не переставал, а на том берегу — я не отходил от окошка — все никого не было. В конце концов я накинул на себя плащ и пошел затоплять баню: хорошо из нынешней лесной купели да прямо на горячий полок.

Бани в Пижме, черные, с каменками, стоят рядком неподалеку от реки, под огородами, которые как бы греются на взгорке.

Весной бани топит, и с верхней стороны против каждой из них врыты бревенчатые быки — для сдерживания и дробления напирающих льдин, а кроме того, от этих быков к баням протянуты еще могучие тяжи, свитые из березовых виц, так что бани стоят как бы на приколе.

Я спросил как-то у Максима: к чему все эти премудрости? Не проще ли было поставить бани на взгорке, там, где расположены огороды?

Максим по-урваевски, как бы сказала Евгения, рассмеялся.

— А затем, чтобы веселее жить. Весной знаешь, бывало, какую пальбу по этим льдинам откроем! Ой-ей-ей! Из всех ружьев.

На следы дроби в старой продымленной дверке я обратил внимание еще в первые дни своего пребывания в Пижме — она сплошь изрешечена, а сейчас, затопив баню и вспомнив вчерашний рассказ Евгении, я попытался даже определить, какие тут дробины от того заряда, который выпустил когда-то по молодой Милентьевне ее муж. Но из этого, конечно, ничего не вышло. Да, откровенно говоря, мне было и не до того. Потому что из головы у меня не выходила Милентьевна: очень уж погано сейчас было в лесу.

Евгения тоже беспокоилась о свекрови. Она не могла усидеть дома и пришла ко мне.

— Не знаю, не знаю, что и подумать,— сокрушенно качала она головой.— Это уж она на Богатку уперлась — не иначе. Вот какая, вот упрямая старушонка! Хоть говори, хоть нет. В ее ли годы под таким дождем лешачить в лесу.

Прикрыв лицо смуглыми руками, сложенными козырьком, Евгения поглядела на реку и еще более определенно сказала:

— Учёсала, учёсала,— больше некуда деваться. В прошлом году вот так же: ждем-ждем ее, все глаза проглядели, а она на свою Богатку укатила.

Я знал про Богатку — это поскотина в трех-четырех верстах от Пижмы вверх по реке, но я никогда не слыхал, что там много грибов и ягод, и спросил об этом Евгению.

Она по привычке, когда дело казалось ей яснее ясного, округлила свои черные глаза:

— С чего! Какие грибы на Богатке? Может, теперь-то и есть — все лесом заросло, а раньше там сплошь пожни были. Один только Оника Иванович, мамин свекор, до

ста возов сена ставил. Вот она кажинный год туда и ходит — с ей эта Богатка началась. Она всему делу закоперщица. А до того, как мамы на Пижме не было, и слова такого никто не слыхал. Поскотина да поскотина — и все тут.

Евгения кивнула на деревню:

— Лошадей-то деревянных видал на крышах? Сколько их? Во всей Русихе столько нету. А скажи-ко, часто ли ране ворота на взвозе красили? Это уж только богач, какой туз деревенский. А тут ведь, на Пижме, сплошь. Бывало, идешь мимо тем берегом — страшно, когда солнышко на закате. Так вот и кажется, вся Пижма в пожаре. Дак вот, все это у них с Богатки, там клады им открыла Милентьевна.

Я все-таки ничего не понимал: о каких кладах говорит Евгения? Что в ее словах правда, а что вымысел?

Густой дым, поваливший из сенцев, заставил нас податься в сторону маленького оконца. Там мы сели на скамейку под жердочку с сухими березовыми вениками нынешней вязки.

Евгения, кашляя от дыма, выругала для собственного облегчения мужа — хорошо переклал каменку! — потом заодно уж прошлась по другим жителям деревни:

— Все тут урваи! Я вчерась для ради мамы похвалила Онику Ивановича, а по правде сказать, дак и он урвай. Как не урвай. До старости свою старуху заставлял самое хорошее на ночь надевать. У людей как бы в люди или на праздник получше выйти, а у него чтобы на ночь в шелках. Вот какой норов у человека. А о том ли бы мужику серому думать, когда в доме, куда ни повернись, везде дыра да прореха.

Мама, мама их всех в люди вывела,— убежденно сказала Евгения.— При ней урваи пошли в рост...

— А как?

— Как в люди-то вывела? А через Богатку. Через расчистки. Север испокон веку стоит на расчистках. Кто сколько пожен расчистил да полей раскопал, у того столько и хлеба и скота. А Милентий Егорович, отец-то мамин, первый по расчисткам в Русихе был. Четыре сына взрослых — знаешь, какая силушка!

А на Пижме у этих урваев все шиворот-навыворот. Первое дело у них охота да рыба. А к земле и прилежанья не было. Сколько деды накопали, расчистили, тем и жили. Своего-то хлеба до нового года не всегда хва-

тало. Правда, когда на зверя в лесу урожай, у них песни. А когда на бору голо, и они как сычи голодные.

И вот мама сколько-то так пожила, помаялась, потом видит — так нельзя. За землю надо браться. Ну, а у ей дорожка к сердцу свекра уж протоптана. Еще с той, новобрачной ночи. Она и давай капать: тятя, за ум надо браться, тятя, давай землей жить...

Ладно. Согласился, нет свекор с невесткой, а главное, что не препятствовал. Мама братьев своих кликнула: так и так, братья дорогие, выручайте свою сестру. А те, известно: для своей Васи черта своротить готовы. Участок, какой надо, выбрали, лес долой — которо вырубили, которо пожгли, да той же осенью посеяли рожь.

Вот тут урваи и започесывались. Беда, какая рожь вымахала — мало не вровень с елями. Знаешь, по поджогу как родится. Кончилась охота, прощай рыбка. За топор взялись.

Ну и робили! Я-то не помню, мала еще была, а мама у нас все рассказывала, как их на этой самой Богатке за работой видела. Иду, говорит, лесом, корову искала, и вдруг, говорит, огонь, да такой, говорит, большой — прямо до поднебесья. А вокруг этого огня голые мужики скачут. Я, говорит мама, попервости обмерла, шагу не могу ступить: думаю, уж лешаки это, больше некому. А то урваи. Расчистку делают. А чтобы не жарко было, рубахи-то с себя сняли, да и жалко лопотину-то — не теперешнее время.

А ребятишек-то мучили! У меня Максим иной раз почнет вспоминать — я не верю. Мыслимо ли дело ребенка как собачонку на веревочку вязать? А у них вязали. В чашку молока плеснут, на пол поставят, да ползай весь день на веревочке, покуда мама да папа на работе. Боялись, знаешь, чтобы ребята пожару дома не наделали.

Так, так дичали урваи,— еще раз подчеркнула Евгения.— А чего? Они век не рабатывали, птичек постреливали,— сам знаешь, сколько у них силы накопилось.

Ох, мама, мама... Хотела как лучше, а принесла беду. Ведь их покулачили, когда зачались колхозы...

Я не охнул и не ахнул при этих словах. Кого в наше время удивишь этой старой-престарой сказкой про щепки, которые летят, когда лес рубят!

Евгении, однако, мое молчание не понравилось. Она приняла его за равнодушие и голосом, полным обиды, сказала:

— Старое время ноне не в почете. Все забыли — и как колхозы делали, и как в войну голодали. Молодежь я не виню, молодежь, та известно: жить хочется, некогда оглядываться назад, да нынче и старухи-то какие-то не те стали. Посмотри, когда они в Русихе за пензией идут, одна другой толще и здоровей. От детей ихних, которые в войну голову сложили, уж и косточек не осталось, а у них на уме, как бы подольше пожить да чтобы войны не было. А уж насчет того, что ихние поля да луга лесом зарастают, и не охнут. Сыты. Пензия капает каждый день.

Я тут как-то бабу Мару спрашиваю: не больно, говорю, глазам-то? Не колет? Ране, говорю, на поля из окошка смотрела, а теперь на кусты. Хохочет: «То и хорошо, девка, дрова ближе». Подумай-ка, что на уме у старого человека? Урваиха, чистая урваиха! У меня Максим такой же: все смешки да хаханьки — хоть потоп кругом.

Евгения помолчала, затем тяжело вздохнула:

— Нет, я какой-то выродок по нонешним временам. У меня все заботы да печаль. Мне все на нервы. А уж из-за своей-то свекровушки я понадрывала сердце. Что ты! Робила-робила, да ты и виновата. Вот какое время у нас было. «Да я-то, говорит мама, ничего, я-то бы стерпела. Да каково, говорит, людей под монастырь подвести».

— Каких людей?

Евгения быстро обернулась ко мне. В ее черных немигающих глазах опять появился накал.

— Пять хозяйств распотрошили. Что ты, у них еще в гражданскую войну по амбару хлеба выгребли, а к колхозам-то они уж и вовсе разъехались. Ну и урваи еще. Все одно к одному. Кабы тихо-мирно, может, и не тронули бы — кто не знает, с чего пошли? А то ведь их в колхоз записывать приехали, а они: не желаем. У нас и так колхоз. Вот власти-то и психанули, невзлюбили их. Ну, правда, четырех-то мужиков вернули, и мой свекор, мамин муж Мирон Оникович, вернулся, хоть и больным, а сам-то Оника Иванович так и остался там.

Беда, беда, что тогда было! Кой год мама тут рассказывала, я не рада была, что и слушать стала. Заревелась.

Евгения шумно ширнула носом, вытерла платком глаза.

— Ты подумай только, как все иной раз в жизни оборачивается. Мама как раз рожь молотила на гумне, когда гроза-то над ними пала. Да, на гумне,— кивнула она,

немного подумав.— Радуется. Вот, думает, опять бог дал хлеба. Хорошая, крупная рожь уродилась, может, за всю жизнь такой не видали. И вдруг девка прибегает: «Мама, бежи скорее домой. Татю да дедушку повозят».

И вот, говорит мама, сама знаю, что бежать надо. Тогда ведь круто поворачивались, раз-раз и прощай навек, а у меня, говорит, и ноги подкосились. С места не могу двинуться. Дак я, говорит, до ворот на коленцах доползла. Страшно. Из-за ей ведь расплата пришла. Кабы она свекра не подбила на эти самые расчистки, кто бы урваев тронул? Век голь перекатная.

Ну, не страхом убил свекор маму — добрым словом. Она-то чего только для себя не ждала, к каким казням не приготовилась — сам знаешь, человек в такую минуту что может натворить, а свекор вдруг, видит, на колени встает. Да при всем честном народе. «Спасибо, говорит, Василиса Милентьевна, за то, что нас, дураков, людями сделала. И не думай, говорит, худа против тебя на сердце нет. Всю жизнь, до последнего вздоха благословлять буду...»

Евгения заплакала и досказала уже, давясь слезами:

— Так мама и не простилась с Оникой Ивановичем. Замертво упала...

7

Милентьевна вернулась из лесу в четвертом часу пополудни — ни жива ни мертва. Но с грибами. С тяжелой, поскрипывающей на ходу берестяной коробкой.

Собственно, по скрипу этой коробки я и узнал ее приближение к шалашику на той стороне, под елями,— я все-таки не выдержал и переехал за реку.

Евгения, еще больше моего измученная ожиданием, начала отчитывать свекровь, как неразумного ребенка, едва мы переступили за порог избы.

Ее поддержала баба Мара.

Баба Мара, здоровущая, краснолицая старуха с серыми нахальными глазами, и Прохор — оба на взводе — уже не первый раз сегодня наведывались к нам. И каждый раз твердили одно и то же: где гостья? Почто прячете от людей?

На Милентьевне не было сухой нитки, она посинела и сморщилась от холода, как старый гриб, и Евгения первым делом стала снимать с нее мокрый платок и мокрую

пальтуху, потом достала с печи нагретые валенки, натянула на них красные покрышки.

— Ну-ко, сапоги-то сырые стянем скорее да в баню пойдем.

— А вот в баню-то тебе, тета, как раз и нельзя,— веско сказал Прохор. Он сидел у малой печки и покуривал в душничок.

— Сиди! — прикрикнула на него Евгения.— Они шары нальют, не знай чего начнут молоть.

— А чего не знай-то? По медицине.

— По медицине! Это в баню-то нельзя по медицине?

— Ну! У ей, может, воспаление легких. Тогда как?

Евгения заколебалась. Она посмотрела в растерянности на Милентьевну — та, тяжело дыша, с закрытыми глазами сидела на печном прилавке,— посмотрела на меня — я еще меньше ее понимал в медицине — и в конце концов решила не рисковать.

Короче, Милентьевну вместо бани водворили на печь.

Баба Мара, которая все время, пока шел обмен мнениями насчет бани между Евгенией и Прохором, с усмешкой качала своей крупной головой в красном сатиновом повойнике, тут сказала:

— Ну, рассказывай, где была, чего видела.

— А чего надо, то и видела,— тихо ответила с печи Милентьевна.

— А ты нам скажи чего,— ухмыльнулась баба Мара.— Поди опять на Богатке была да клады искала?

— Ладно, давай,— миролюбиво заметила Евгения,— чего ни искала, не наше дело. Вишь ведь, едва прибрела, едва дышит.

Баба Мара басовито захохотала, и я с удивлением увидел, что у нее целехоньки все зубы, да такие крепкие, крупные.

— Проха, ты сказывал, пожни колхозникам давать стали, те, которые кустом затянуло, а про расчистки наши ничего не сказывали?

Начался длинный и пустой разговор о расчистках, о целине.

Прохор потребовал от меня, как человека, по его словам, живущего в одном городе с главным начальством нашей жизни, ясного ответа: почему в южных краях заново распахивают целину, а у нас, наоборот, взят курс на ольху да осину? (Он так и выразился.)

Я что-то не очень определенно стал говорить о невыгодности земледелия в глухих лесных районах, и Прохор, разумеется, сразу же припер меня к стенке.

— Так, так,— воскликнул он не совсем своим голосом, не иначе как подражая какому-то местному оратору,— теперича невыгодно? А в войну, дорогой товарищ? Выгодно было, я вас спрашиваю, в период Великой Отечественной? Одне бабы, понимаешь, с ребятишками все до последней пяди засевали...

К Прохору немедленно присоединилась баба Мара — ей почему-то всегда доставляло удовольствие задирать меня.

Наконец я догадался, каким доводом сразить своих оппонентов,— бутылкой «столичной».

Правда, домовитой и экономной Евгении не очень по душе пришелся такой способ выпроваживания непрошеных гостей, но, когда они, опустошив бутылку, с песней и в обнимку вышли на улицу, и она вздохнула с облегчением.

Свое окончательное отношение к гулякам Евгения выразила, когда стала убирать со стола,— она терпеть не могла всякий беспорядок и разор.

— Нет, видно, не только поля лесеют, лесеет и человек. Господи, слыхано ли ране, чтобы пьяные урваи в дом к Милентьевне врывались? Да скорее река пойдет вспять. Бывало, мама-то идет, ребятишки возле взрослых шалят: «Тише вы, бесенята! Василиса Милентьевна идет». А когда пройдет мимо: «Ну, теперь дичайте. Хоть на голове ходите». Так вот ране маму-то почитали. Исть-то как будешь? — спросила Евгения у свекрови, которая все это время тихонько постанывала на печи.— Спустишься? Але на печь подать?

— Не надо,— чуть слышно ответила Милентьевна.— Потом поем.

— Когда потом-то? С утра ничего не ела. Ну-ка поешь. Хорошая у нас сегодня ушка, с перчиком.

— Нет, сыта я. У меня хлебцы с собой были.

Евгении так и не удалось уговорить свекровь поесть, и она снова засокрушалась:

— Вот беда-то. Что мне с тобой и делать-то? Ты, может, заболела, мама? Может, за фершалицей сходить?

— Нет, все ладно, отойду. Вот отогреюсь и встану. А вы — хорошо бы — губы прибрали.

Евгения только покачала головой:

— Ну, мама, мама! И что ты за человек? Да разве тебе сейчас про губы думать? Лежи ты, бога ради. Выбрось ты из своей головы эту лесовину...

Тем не менее вслед за этим Евгения подняла с полу берестяную коробку с грибами (пестерь был пустой), и мы пошли на другую половину. Чтобы дать покой старому человеку.

8

Грибы на этот раз были незавидные: красная сыроежка, волнуха старая, серый конек, а главное, они не имели никакого вида. Какая-то мокрая мешанина пополам с мусором.

Проницательная Евгения из этого сделала совсем не веселый вывод.

— Вот беда-то,— сказала она.— Ведь Милентьевна-то у нас заболела. Я сроду у ей таких губ не видала.

Она вздохнула многозначительно.

— Да, да. Вот и мама стала сдавать, а я раньше думала — она железная. Ничего не берет. Ох, да при ейной-то жизни не то дивья, что она спотыкаться стала, а то, как она доселе жива. Муж — чего-то с головой сделалось — три раза стрелялся — каково пережить? Мужа схоронила — хлоп война. Два сына убито намертво, третий, мой мужик, сколько лет без вести пропадал, а потом и Санюшка петлю на матерь накинула... Вот ведь сколько у ей переживаний-то под старость. На десятерых разложить — много. А тут все на одни плечи.

— Санюшка — дочь?

— Дочь. Разве не слыхал? — Евгения отложила в сторону кухонный нож, которым чистила грибы.— У мамы всего до двенадцати обручей слетало, а в живых-то осталось шестеро. Марфа, старшая дочерь, та, которая в Русиху выдана была, под ней шли Василий с Егором — оба на войне сгинули, потом мой мужик, потом Саня, а потом уж этот пьянчуга Иван.

Ну вот, сыновей Милентьевна на войну спроводила, а через год и до Сани очередь дошла. На запань, лес катать выписали. Тоже как на войну... Ох и красавица же была! Я кабыть и в жизни такой не видела. Высокая, белая-белая, коса во всю спину, до колена будет — вся, говорят, в матерь, а может, еще и покрасивше была. И тихая, воды не замутит. Не то что мы, сквалыжины.

И вот через эту-то тихость она и порешилась. Налетела на какого-то подлеца — обрюхатил.

Я не дивлюсь, нисколешеньки не дивлюсь, что так все вышло. Это кто всю жизнь под боком у родителей прожил да нигде не бывал, пущай ахает, а я с тринадцати лет в лес пошла — всего насмотрелась.

Бывало, из лесу-то вечером в барак придешь — еле ноги держат. А они, дьяволы, не уробились, карандашиком весь день ворочали, так и зыркают на тебя. Ни разуться, ни переодеться — живо в угол затащут...

И вот, может, и Сане маминой такой дьявол на дороге встал. Чего с ним сделаешь? Кабы у ей зубы были, она бы шуганула его куда следно быть, а то ведь ей и не сказать. Я помню, в праздник к нам перед войной, в Русиху, пришла — залилась краской: бабы глаз не спускают — как, скажи, ангелочек какой стоит, и парни ошалели — навалом лезут. А тут, может, еще матерь, когда в дорогу собирала, острастку дала: чего хошь теряй на чужой стороне, доченька, только честь девичью домой приноси. Так, бывало, в хороших-то семьях наказывали.

Не знаю, не знаю, как все вышло. Маму про это лучше не спрашивай — хуже врага всякого будешь.

Евгения прислушалась, заговорила разгоряченным шепотом:

— Хотела скрыть от людей-то. Никого, говорят, близко к мертвой дочери не подпустила. Сама из петли вынула, сама обмыла и сама в гроб положила. А разве скроешь брюхо от людей? Те же девки, которые с ней на запани были, и сказывали. Санька, говорят, на глазах пухнуть стала, да и Ефимко-перевозчик заметил. «Ты, говорит, Санька, вроде как не такая». А с чего же Санька будет такая, когда на страшный суд идет. Ну-ко, глянь, дочи, в глаза родной матери, расскажи, как честь на чужой стороне блюла.

И вот она, горюша горькая, подошла к родному дому, а дальше крыльца и ступить не посмела. Села на порожек, да так всю ночь и просидела. Ну, а светать-то стало, она и побежала за гумно. Не могла белому дню в глаза посмотреть, не то что матери.

Евгения, опять прислушиваясь, настороженно приподняла черные дуги бровей.

— Спит, верно. Может, еще и отлежится. Я спрашивала у мамы,— заговорила она на всякий случай опять шепотом,— неужели, говорю, уж сердце материнское ни-

чего не подсказало? «Подсказало, говорит. Я в ту ночь, говорит, три раза в сени выходила да спрашивала, кто на крыльце. А светать-то стало, меня, говорит, так и ткнуло в сердце. Как ножом». Это она мне рассказывала, не скрывала. И про то говорила, как сапоги на крыльце увидела.

Подумай-ко, какая девка была. Сама помираю, жизнь молодую гублю, а про матерь помню. Сам знаешь, как с обуткой в войну было. Мы, бывалоче, на сплаве босиком бродим, а по реке-то лед несет. И вот Санюшка с жизнью прощается, а про матерь не забывает, о матери последняя забота. Босиком на казнь идет. Так мама по ейным следочкам и прибежала на гумно. Не рано уж было, на другой день покрова — каждый пальчик на снегу видко.

Прибежала — а что, чем поможешь? Она уж, Санюшка-та, колодная, на пояску домотканом висит, а в сторонке ватничек честь по чести сложен и платок теплый на нем: носи, родная, на здоровье, вспоминай меня, горемычную...

Дождь на улице не прекращался. Старинные зарадужелые стекла в рамах всхлипывали как живые, и мне все казалось, что там, за окошками, кто-то тихонько плачет и скребется.

Евгения, словно читая мои мысли, сказала:

— Я страсть боюсь жить в этом доме. Мне уж не ночевать одной. Я не мама. Зимой как завоет-завоет во всех печах да трубах, да кольцо на крыльце забрякает — хоть с ума сходи. Я попервости все Максима уговаривала: давай жить дома. Чего мы не видали на чужой стороне? А теперь, пожалуй, и я нажилась. Зимой от нас и дороги к людям нету. На лыжах в Русиху ходим...

9

Милентьевна два дня лежала лежкой, и мы с Евгенией стали всерьез подумывать о вызове фельдшерицы. А кроме того, мы решили, что о ее болезни нужно известить ее детей.

Однако, к нашему счастью, ничего этого не потребовалось. На третий день Милентьевна сама слезла с печи. И не только слезла, но и без нашей помощи добралась до стола.

— Ну как, бабушка? Поправилась?

— А не знаю. Может, совсем-то и не поправилась, да мне сегодня домой попадать надо.

— Домой? Сегодня?

— Сегодня,— спокойно ответила Милентьевна.— Сын Иван должен сегодня за мной приехать.

Евгения этим сообщением была огорошена не меньше, чем я.

— Да зачем Иван-то поедет по такому дождю? Посмотри-ко, на улице-то что делается? У тебя, мама, мозга на мозгу наехала, что ли?.. Ты ведь и грибов еще не наносила.

— Грибы подождут, а завтра школьный день — Катерина в школу пойдет.

— И это ты ради Катерины собираешься ехать?

— Надо. Я слово дала.

— Кому, кому слово дала? — Евгения аж поперхнулась от изумления.— Ну, мама, ты и скажешь. Она Катерине слово дала! Да вся-то Катерина твоя еще с рукавицу. Сопля раскосая. Была тут весной. В угол заберется — не докличешься.

— А какая ни есть, да надо ехать, раз слово дадено.— Милентьевна повернулась в мою сторону: — Нервенная у меня внучка, и с глазками девке не повезло: косит. А тут еще соседка девку вздумала пугать: «Куда, говорит, бабушку-то из дому отпускаешь? Не видишь разве, какая она старая? Еще умрет по дороге». Дак уж она, моя бедная, заплакалась. Всю ночь не выпускала из своих рук бабушкину шею...

Весь день Милентьевна высидела у окошка, с минуты на минуту поджидая сына. В сапогах, в теплом шерстяном платке, с узелком под рукой,— чтобы никакой задержки не было из-за нее.

Но Иван не приехал.

И вот под вечер, когда старинные часы пробили пять, Милентьевна вдруг объявила нам, что раз сын не приехал, она поедет сама.

Мы с Евгенией в ужасе переглянулись: на улице дождь — стекла в рамах вспухли от водяных пузырей, сама она насквозь больная, попутные машины по большаку за рекой ходят от случая к случаю... Да это ведь самоубийство, верная смерть — вот что такое ее затея.

Евгения отговаривала свекровь как могла. Стращала, плакала, молила. Я тоже, конечно, не молчал.

Ничто не помогло. Милентьевна была непреклонна.

Она не кричала, не спорила с нами, а молча, потряхивая головой, накинула на себя пальтуху, увязала еще раз узелок со своими пожитками, прощальным взглядом обвела родную избу...

И тут, в эти минуты, я впервые, кажется, понял, чем покорила молодая Милентьевна пижемский зверюшник. Нет, не только своей кротостью и великим терпением, но и своей твердостью, своим кремневым характером.

Я один провожал больную старуху за реку. Евгения до того распсиховалась, что не могла даже спуститься на крыльцо.

Дождь не переставал. Река за эти дни заметно прибыла, и нас снесло метров на двести ниже бревна, к которому обычно примыкают лодку.

Но самое-то трудное нас ждало в лесу, когда мы вышли на лесную тропку. По ней, по этой тропке, и в сухое-то время хлюпает да чавкает под ногой, а представляете, что делалось тут сейчас, после трех дней сплошных дождей?

И вот я брел впереди, месил ходуном ходившую болотину, хватался за мокрые кусты и каждую секунду ждал: вот сейчас это произойдет, вот сейчас хлопнется старуха...

Но, слава богу, все обошлось благополучно. Милентьевна, опираясь на своего верного помощника — легкий осиновый батожок, вышла на дорогу. И мало того, что вышла. Села на машину.

С этой машиной нам, конечно, повезло неслыханно. Просто чудо какое-то случилось. Ибо только мы стали подходить к дороге, как там вдруг заурчал мотор.

Я остервенело, с яростным криком, как в атаку, бросился вперед.

Машина остановилась.

К сожалению, места в кабине рядом с шофером не было: там сидела его бледная жена с новорожденным на руках. Но Милентьевна ни одной секунды не раздумывала, ехать или не ехать в открытом кузове.

Кузов был огромный, с высокими коваными бортами, и она нырнула в него как в колодец. Но под темными сводами ельника, плотно обступившего дорогу, я еще долго видел качающееся белое пятно.

Это Милентьевна, мотаясь вместе с грузовиком на ухабах и рытвинах, прощально махала мне своим платком.

10

После отъезда Милентьевны я не прожил в Пижме и трех дней, потому что все мне вдруг опостылело, все представилось какой-то игрой, а не настоящей жизнью: и мои охотничьи шатания по лесу, и рыбалка, и даже мои волхвования над крестьянской стариной.

Меня неудержимо потянуло в большой и шумный мир, мне захотелось работать, делать людям добро. Делать так, как делает его и будет делать до своего последнего часа Василиса Милентьевна, эта безвестная, но великая в своих деяниях старая крестьянка из северной лесной глухомани.

Я уходил из Пижмы в теплый солнечный день. От подсыхающих бревенчатых построек шел пар. И пар шел от старого Громобоя, одеревенело застывшего возле телеги у конюшни.

Я позвал его, когда проходил мимо.

Громобой вытянул старую шею в мою сторону, но голоса не подал.

И так же безмолвно, понуро свесив головы с тесовых крыш, провожали меня деревянные кони. Целый косяк деревянных коней, вскормленных Василисой Милентьевной.

И мне до слез, до сердечной боли захотелось вдруг услыхать их ржанье. Хоть раз, хоть во сне, если не наяву. То молодое, заливистое ржанье, каким они оглашали здешние лесные окрестности в былые дни.

1969

ПЕЛАГЕЯ

1

Утром со свежими силами Пелагея легко брала полутораверстовый путь от дома до пекарни. По лугу бежала босиком, как бы играючи, полоща ноги в холодной травяной росе. Сонную, румяную реку раздвигала осиновой долбленкой, как утюгом. И по песчаной косе тоже шла ходко, почти не замечая ее вязкой, засасывающей зыби.

А вечером — нет. Вечером, после целого дня хлопот возле раскаленной печи, одна мысль о возвратной дороге приводила ее в ужас.

Особенно тяжело давалась ей песчаная коса, которая начинается сразу же под угором, внизу у пекарни. Жара — зноем пышет каждая накалившаяся за день песчинка. Оводы-красики беснуются — будто со всего света слетаются они в этот вечерний час сюда, на песчаный берег, где еще держится солнце. И вдобавок ноша — в одной руке сумка с хлебом, другую руку ведро с помоями рвет.

И каждый раз, бредя этим желтым адищем — иначе не назовешь,— Пелагея говорила себе: надо брать помощницу. Надо. Сколько ей еще мучиться? Уж не такие это и деньги большие — двадцать рублей, которые ей приплачивают за то, что она ломит за двоих — за троих...

Но так говорила она до той поры, пока пересохшими губами не припадала к речной воде. А утолив жажду и сполоснув лицо, она начинала уже более спокойно думать о помощнице. А на той стороне, на домашней, где горой

заслоняет солнце и где даже ветерком слегка потягивает, к ней и вовсе возвращался здравый смысл.

Неплохо, неплохо иметь помощницу, рассуждала Пелагея, шагая по плотной, уже слегка отпотевшей тропинке вдоль пахучего ржаного поля. Худо ли — все пополам: и дрова и вода. И тесто месить — не надо одной руки выворачивать. Да ведь будет помощница — будет и глаз. А будет глаз — и помои пожиже будут. Не набахтаешь в ведро теста — поопасешься. А раз не набахтаешь, и борова на семь пудов не выкормишь. Вот ведь она, помощница-то, каким боком выйдет. И поневоле тут поразмыслишь да пораскинешь умом...

У мостков за лыву — грязную осотистую озерину, в которой, отфыркиваясь, по колено бродила пегая кобыла с жеребенком,— Пелагея остановилась передохнуть. Тут всегда она отдыхает — и летом и зимой, с сорок седьмого. С той самой поры, как работает на пекарне. Потому что деревенская гора немалая — без отдыха не осилишь.

На всякий случай ведро с помоями она прикрыла белым ситцевым платком, который сняла с головы, поправила волосы — жиденькую бесцветную кудельку, собранную сзади в короткий хвостик (нельзя ей показываться растрепой на люди — девья матерь),— затем по привычке подняла глаза к черемухову кусту на горе — там, возле старой, прокоптелой бани, каждый вечер поджидает ее Павел.

Было время, и недавно еще,— не на горе, у реки встречал ее муж. А осенью, в самую темень, выходил с фонарем. Ставь, жена, ногу смело. Не упадешь. А уж по дому своему — надо правду говорить — она не знала забот. И утром печь истопит, и корову обрядит, и воды наносит, а ежели минутка свободная выпадет, и на пекарню прибежит: на неделю — на две дров наготовит. А теперь Павел болен, с весны за сердце рукой хватается, и все — и дом и пекарня,— все на ней одной.

Глаза у Пелагеи были острые — кажется, это единственное, что не выгорело у печи,— и она сразу увидела: пусто возле куста, нету Павла.

Она охнула. Что с Павлом? Где Алька? Не беда ли какая стряслась дома?

И, позабыв про отдых, про усталость, она схватила с земли ведро с помоями, схватила сумку с хлебом и звонко-звонко зашлепала по воде шатучими жердинами, перекинутыми за лыву.

2

Павел, в белых полотняных подштанниках, в мягких валяных опорках, в стеганой безрукавке с ее плеча,— она терпеть не могла этого стариковского вида!— сидел на кровати и, по всему видать, только что проснулся: лицо потное, бледное, мокрые волосы на голове скатались в косицы...

— На, господи, не вылежался! — выпалила она прямо с порога.— Мало ночи да дня — уже и вечера прихватываешь.

— Нездоровится мне ноне,— виновато потупился Павел.

— Да уж как ни нездоровится, а до угора-то, думаю, мог бы дойти. И сено,— Пелагея кивнула в сторону окошка за передком никелированной кровати,— срам людей — с утра валяется. Для того я вставала ни свет ни заря? Сам не можешь — дочи есть, а то бы и сестрицу дорогую кликнул. Невелика барыня!

— День андела у Онисьи сегодня!

— Большой праздник! Отпали бы руки, ежели бы брату родному пособила.

Хлопая пыльными, все еще не остывшими сапогами, которые плотнее обычного сидели на затекшей ноге, Пелагея оглянула комнату — просторную, чистую, со светлым крашеным полом, с белыми тюлевыми занавесками во все окно, с жирным фикусом, царственно возвышающимся в переднем углу. Взглядом задержалась на ярко-красном платье с белым ремешком, небрежно брошенном на стул возле комода, на котором сверкали новехонькие, еще ни разу не гретые самовары.

— А та где, кобыла?

— Ушла. Девка — известно.

— Вот как, вот как у нас! Сам весь день на вылежке, дочи дома не оследится, а мати хоть убейся. Одной мне надо...

Пелагея наконец скинула сапоги и повалилась на пол. Без всякой подстилки. Прямо на голый крашеный пол.

Минут пять, а то и больше лежала она недвижно, с закрытыми глазами, тяжело, с присвистом дыша. Потом дыхание у нее постепенно выровнялось — крашеный пол хорошо вытягивает жар из тела,— и она, повернувшись лицом к мужу, стала спрашивать его о домашних делах.

Самая главная и самая тяжелая работа по дому была сделана — Алька и корову подоила, и травы на утро принесла. Еще ей радость доставил самоварчик, который, поджидая ее, согрел Павел,— не все, оказывается, давил койку человек, справил свое дело и сегодня.

Она встала, выпила подряд пять чашек крепкого чая без сахара — пустым-то чаем скорее зальешь жар внутри, потом приподняла занавеску на окне и опять посмотрела в огород. Лежит сено, целый день лежит, а ей уж не прибрать сегодня — отпали руки и ноги...

— Нет, не могу,— сказала она и снова повалилась на пол, на этот раз на ватник, услужливо разостланный мужем.— За вином-то сходил — нет?— спросила она немного погодя.

— Сходил. Взял две бутылки.

— Ну, то ладно, ладно, мужик,— уже другим голосом заговорила Пелагея.— Надо вино-то. Может, кто зайдет сегодня. Много ноне вина-то закупают?

— Закупают. Не все еще уехали к дальним сенам. Петр Иванович много брал. И белого и красного.

— Как уж не много,— вздохнула Пелагея.— Большие гости будут. Антонида, говорят, приехала, ученье кончила. Не видал?

— Нет.

— Приехала — поминал даве начальник орса. Из района, говорит, на катере вместе с военным ехала, с офицером,— вроде как на природу поинтересоваться захотела. А какая природа? Жениха ловит, взамуж выскочить поскорее хочет.— Пелагея помолчала.— А тебе уж ничего не говорил? Не звал на чашку чая?

Павел пожал плечами.

— Вишь вот, вишь вот, как время-то бежит. Бывало, какое угощенье у Петра Ивановича обходилось без нас? А теперь Павел да Пелагея не в силе — не нужны.

— Ладно,— сказал Павел,— у нас у сестры праздник. Была даве — звала.

— Нет уж, не гостья я ноне,— строго поджала губы Пелагея.— Рук-ног не чую — какие мне гости?

— Да ведь обида ей будет. День андела у человека...— несмело напомнил Павел.

— А уж как знает. Не подыхать же мне из-за ейного андела.

Как раз в эту минуту на крыльце зашаркали шаги, и — легка же на помине! — в избу вошла Анисья.

3

Анисья была на пять лет старше своего брата, но здоровьем крепкая, чернобровая, зубы белые, как репа, и все целехоньки — не скажешь, что ей за пятьдесят.

Замуж Анисья выходила три раза. Первого мужа, от которого у нее был ребенок, умерший еще до года, убили на войне. Со вторым мужем ей пришлось расстаться в сорок шестом году, когда она попала в заключение (сноп жита унесла с поля). А третий муж — из вербованных, приехавший на лесозаготовки с Рязанщины (она его больше всех любила) — пропил у нее все до нитки, избил на прощанье и укатил к законной жене. После этого она уж больше семейного счастья не пытала. Жила вольно, мужиков от себя не отпихивала — но и близко к сердцу не подпускала.

Брата своего Анисья не то что любила — обожала: и за то, что он был у нее единственный, да к тому же хворый, и за то, что по доброте да по тихости своей никогда, ни разу не попрекнул ее за беспутную жизнь. Ну, а перед невесткой, женой Павла,— тут прямо надо говорить — просто робела. Робела и терялась, так как во всем признавала ее превосходство. Домовита — у самой Анисьи никогда не держалась копейка в руках,— жизнь загадывает вперед и в женском деле — камень.

Провожая мужа на войну — а было ей тогда девятнадцать лет,— Пелагея сказала: «На меня надейся. Никому не расчесывать моих волос, кроме тебя». И как сказала, так и сделала: за всю войну ни разу не переступила порог клуба.

И, сознавая превосходство невестки, Анисья всякий раз, когда разговаривала с нею, напускала на себя развязность, чтобы хоть на словах стать вровень. Так и сейчас.

— Чего лежишь?— сказала Анисья.— Вставай! Вино прокиснет.

— Все ты со своим вином. Не напилась.

— Да ведь как. В такой день насухо!— Анисья кивнула брату.— Давай, давай — подымай жену. И сам одевайся.

Павел потупился. Анисья по-свойски взялась за его брюки, висевшие на спинке кровати.

— Не тронь ты его, бога ради! — раздраженно закричала Пелагея.— Человек не в здоровье — не видишь?

— Ну тогда хоть ты пойдем.

— И я не пойду. Лежу как убитая. Еле ноги из заречья приволокла. Меня хоть золотом осыпь — не подняться. Нет, нет, спасибо, Онисья Захаровна. Спасибо на почести. Не до гостей нам сегодня.

Анисья растерялась. По круглому румяному лицу ее пошли белые пятна.

— Да что вы, господи! Самая близкая родня... Что мне люди-то скажут...

— А пущай что хошь, то и говорят,— ответила Пелагея.— Умный человек не осудит, а на глупого я век не рассчитываю.— Затем она вдруг посмотрела на Анисью своими сухими строгими глазами, приподнялась на руке.— Ты когда встала-то нынче? А я встала, печь затопила, траву в огородце выкосила, корову подоила, а пошла за реку — ты еще кверху задницей, дым из трубы не лезет. Вот у тебя на щеках и зарево.

— Да разве я виновата?

— А я на пекарню-то пришла,— продолжала выговаривать Пелагея,— да другую печь затопила — одно полено в сажень длины,— да воды тридцать ведер подняла, да черного хлеба сто буханок налила, да еще семьдесят белого. А уж как я у печи-то стояла да жарилась, про то я не говорю. А ты на луг-то спустилась, грабелками поиграла — слышала я, как вы робили, за рекой от ваших песен стекла дрожали — да не успела пот согнать — машинка: фыр-фыр. Домой поехали...— Пелагея перевела дух, снова откинулась на фуфайку, закрыла глаза.

Павел, избегая глядеть на сестру, примирительно сказал:

— Тяжело. Известно дело — пекарня. Бывал. Знаю.

— Дак уж не придете?— дрогнувшим голосом спросила Анисья.— Может, я не так приглашаю? — И вдруг она старинным, поясным поклоном поклонилась брату: — Брателко Павел Захарович, сделай одолженье... Пелагея Прокопьевна...

Пелагея замахала руками.

— Нет, нет, Онисья Захаровна! Премного благодарны. И сами никого не звали, и к другим не пойдем. Не можем. Лежачие.

Больше Анисья не просила. Тихо, с опущенной головой вышла из избы.

— Про людей вспомнила!— хмыкнула Пелагея, когда под окошком затихли шаги.— «Что люди скажут?»

А то, что она за каждые штаны имается, про то не скажут?

— Что уж, известно,— сказал Павел.— Не везет ей. А надо бы маленько-то уважить. Сестра...

— Не защищай! Сама виновата. По заслугам и почет...

Павел на это ничего не ответил. Лег на кровать и мокрыми глазами уставился в потолок.

4

Таких домов, как дом Амосовых, теперь уж не строят. Да и раньше, до войны, не много было в деревне.

Великан дом. Двухэтажный шестистенок с грудастым коньком на крыше, большой двор с поветью и сенником и сверх того еще боковая изба-зимница.

Вот с этой-то боковой избы-зимницы и начали разламывать дом — ее в сорок шестом году отхватила старшая сноха (у Захара Амосова четыре было сына, и только один из них, Павел, вернулся с войны). Затем потребовала своей доли вторая сноха — раскатали двор. И, наконец, последний удар нанесла Пелагея, решившая заново строиться на задах. По ее настоянию шестистенок разрубили пополам. И старого дома-красавца не стало...

Безобразная хоромина, напоминающая громадный бревенчатый аналой, стоит на его месте. В непогодь скрипит, качается, несмотря на то что с двух сторон подперта слегами, а зимой еще хуже: суметы снега набивает в сени, кое-как прикрытые сзади старыми тесницами, и Анисья всю зиму держит в избе деревянную лопату.

И все-таки что там ни говори, а весело на Анисьиной верхотуре (нижняя изба, доставшаяся третьей снохе, заколочена), и Алька любила бывать у тетки.

Высоко. Вольготно. Ласточки у самого окошка шныряют. И все видно. Видно, кто идет-идет по деревенской улице, по подгорью, видно, как весной, в половодье, большие белопалубные пароходы выплывают из-за мыса. А кроме того, у тетки всегда люди — не то что у них на задворках. Бабы тащатся из лавки — кому похвастаться покупкой? Тетке. Рабочие на выходной пришли из заречья — где посидеть за бутылкой? У тетки. Все к тетке — и проезжая шоферня, и свой брат колхозник-пьяница, и даже военные без году неделя как понаехали, а к тетке дорожку уж протоптали.

В этот праздничный вечер Альку так и кидало из избы на улицу, с улицы в избу. Хотелось везде ухватить кусок радости — и у тетки, и на улице, где уж начали появляться первые пьяные.

— Ты ведь уже не маленькая сломя-то голову летать,— заметила ей Анисья, когда та — в который уже раз за вечер!— вбежала в избу.

— А, ладно! — Алька вприпрыжку, козой перемахнула избу, вонзилась в раскрытое настежь окошко. Самое любимое это у нее занятие — оседлать подоконник да глазеть по сторонам.

Вдруг Алька резко подалась вперед, вся вытянулась.

— Тетка, тетка, эвон-то!

— Чего еще высмотрела?

— Да иди ты, иди скорей! — Алька захохотала, заерзала по табуретке.

Анисья, наставлявшая самовар у печи, за занавеской, подошла к ней сзади, вытянула шею.

— А, вон там кто,— сказала она.— Подружки.

Подружками в деревне называли Маню-большую и Маню-маленькую. Две старухи бобылки. Одна медведица, под потолок,— это Маня-маленькая. А другая — ветошная, рвань-старушонка, да, как говорится, себе на уме. Потому и прозвище — большая. К примеру, пенсия. Дождется Маня-большая этого праздника — сперва закупит чаю, сахару, крупы, буханок десять хлеба, а потом уж пропивает что останется. А Маня-маленькая не так. Маня-маленькая, как зубоскалили в деревне, жила одну неделю в месяц — первую неделю после получки пенсии. Тут уж она развертывалась: и день и ночь шлепала в своих кирзовых сапожищах по улице, да с песнями, от которых стекла лопались в рамах. А потом Мани-маленькой не видно и не слышно было три недели. Холодная печь, три кота голодных вокруг да уголь на брусе, которым она отмечала на потолке оставшиеся до получки дни.

Подружки стояли посреди пыльной улицы, по которой только что прогнали колхозное стадо. Маня-маленькая невозмутимо, в своем всегдашнем синем платке, повязанном спереди наподобие двускатной крыши, а Маня-большая, задрав кверху голову и слегка покачиваясь, что-то втолковывала ей, для убедительности размахивая темным пальцем у нее под носом.

— Чего-то вот тоже маракуют меж собой,— усмехнулась Алька.

— Люди ведь,— сказала Анисья.

— Манька-то маленькая вроде не в духе. Горло, наверно, сухое.

— С чего быть не сухому-то. У ей самая трезвость сичас. Это та хитрюга с толку сбивает. Вишь ведь, пальцем-то водит. Наверно, траву подговаривает продать.

— Какую? — Алька живо обернулась к тетке. — Это в огородце-то котора? Надо бы маме сказать. Сейчас за винище-то она дешево отдаст.

— Ладно, давай — чего старуху обижать. Не сейчас надо торговать.

— Тетка,— сказала немного погодя Алька, — я позову их?

— Да зачем? Мало они сюда бродят?

— Да ведь забавно! Со смеху помрешь, когда они начнут высказываться.

Анисья не сразу дала согласие. Не для них, не для этих гостей готовилась она сегодня — в душе она все еще надеялась, что невестка одумается — придет, а с другой стороны, как отказать и Альке? Пристала, обвила руками шею — лед крещенский растопит.

Первой впорхнула в избу Маня-большая,— легкая, в пиджачонке с чужого плеча, в мятых матерчатых штанах в белую полоску, женского — только платок белый на голове да платье поверх штанов, а Маня-маленькая в это время еще бухала своими сапожищами по крутой лестнице в сенях. В дверях согнулась пополам. Затем, перешагнув за порог, начала отвешивать поклоны в красный угол.

— Давай не в монастырь пришла,— съязвила Маня-большая, намекая на давнишнее прошлое своей товарки, когда та стирала на монахов.

— А что?— пробасила Маня-маленькая.— И не в сарай.

— Дура слепая! В углу-то у ей Ленин.

Алька захохотала.

— Ничего,— все так же невозмутимо ответила Маня-маленькая.— Власти от бога.

— Верно, верно, Егоровна,— сказала из-за занавески Анисья.— Пензию-то вам не бог платит. Проходите к столу.

— А стол-то у тебя не шатается, Ониса? Нет?— спросила с намеком Маня-большая.

— У тебя в глазах шатается,— усмехнулась Алька.

Тут с улицы донеслось чиханье и фырканье мотоцик-

ла, и она быстрехонько вскочила на табуретку у окна. При этом шелковое, в красную полоску платье сильно натянулось сзади, и белая ядреная нога открылась поверх чулка.

— Алька,— полюбопытствовала Маня-большая,— какое у тебя там приспособленье? Под самый зад чулок заправляешь.

— Пояс. Неуж не видала?— Алька удивленно выгнула круглую бровь — бровями она была в тетку,— спрыгнула с табуретки, приподняла подол платья.

— Ловко!— одобрительно цокнула языком Маня-большая.

— Како тако поесье под платьем?— Маня-маленькая, близоруко щуря и без того узкие монгольские глаза, вытянула шею.— Нуто те — трусики.

— Трусики! Пень бестолковый! Вот где у меня трусики-то. Смотри!— И Алька со смехом оттянула тугой розовый пояс.

— Тоже кабыть шелковые,— пробурчала Маня-маленькая.

— Я вся шелковая,— хвастливо объявила Алька и, придерживая руками подол платья, игриво повернулась на высоких каблуках.

— Алька, Алька, бесстыдница! — крикнула из-за занавески Анисья.— Разве так баско?

— А чего не баско-то? Не съедим.

— Нельзя так. Она еще ученица,— сказала Анисья и строго посмотрела на Маню-большую.

— Ученица! Нынешняя ученица — знаем: рукой по парте водит, а ногой парня ищет. Алька! Кого я вчерась видела — огороду с солдатом подпирает?

Алька нахмурилась:

— Ври, вралья! Буду я с солдатом. Я с солдатом-то близко никогда не стаивала.

— Ну, тогда с золотыми полосками. Так?

Против этого Алька возражать не стала.

— Вишь ведь, вишь ведь,— опять зацокала языком Маня-большая,— кровь то в ей ходит! А колобашки-то! Колобашки-то! Колом не прошибешь!

— Хватит, хватит, Архиповна. Я отродясь таких речей не люблю.

— И я не люблю,— подала свой голос Маня-маленькая.— У ей все срам на языке. Я тоже девушка.

Тут Алька от смеха повалилась грудью на стол.

А у Мани-большой так и запылал левый глаз зеленым угарным огнем — верная примета, что где-то уже подзаправилась. И поэтому Анисья, не дожидаясь самовара, вынесла закуску — звено докрасна зажаренной трески, поставила на стол четвертинку — поскорее бы только выпроводить такую гостью.

— Пейте, кушайте, гости дорогие.

— Тетка сегодня именинница,— сказала Алька, вытирая слезы.

— Разве?— У Мани-большой от удивления оттянулась нижняя губа.— А чего это брата с невесткой нету?

— Не могут,— ответила Анисья.— Прокопьевна на пекарне ухлопалась — ни ногой, ни рукой пошевелить не может. А сам известно какой — к кровати прирос.

Маня-большая ухмыльнулась.

— Матреха,— закричала она на ухо своей глуховатой подружке,— мы кого сичас видели?

— Где?

— У Прошичей на задворках.

— О-о! Нуто те — Павел Захарович с женой. В гости направились. У Павла сапоги сверкают — при мне о третьем годе покупал. И сама на каблучках, по-городскому... Богатые...

Больше полугода готовилась Анисья к этому празднику. Все, какие деньги заводились за это время, складывала под замок. Сама, можно сказать, на одном чаю сидела. А стол справила —пальцев не хватит на руках, чтобы все перемены сосчитать.

Три рыбы: щука свежая, речная, хариусы — по фунту каждый; семга; три каши; три киселя; да мясо жирное, да мясо постное — нельзя Павлу жирного есть; да консервы тройные...

И вот сердце загорелось — все выставила. Нате, жрите! Пускай самые распоследние гости стравят, раз свои побрезговали. Правда, звено красной — три дня мытарила за него на огороде у Игнашки Денежки — она сперва не вынесла. А потом, когда опоясала с горя второй стакан, и семгу бросила на потраву...

Не стесняясь чужих людей, она безутешно плакала, как малый ребенок, потом вскакивала, начинала лихо отплясывать под разбойное прихлопыванье старушечьих рук, потом опять хваталась за вино и еще пуще рыдала...

Маня-большая, как кавалер, лапала раскрасневшуюся Альку. Та со смехом отпихивала ее от себя, била по ру-

кам и под конец пересела к Мане-маленькой, которая низким, утробным голосом выводила свою любимую «Как в саду при долине...».

Вдруг Анисье показалось — в руках у Альки рюмка.

— Алька, Алька, не смей!

— Тетка, мы траву спрыскиваем. Я траву у Мани-маленькой торгую.

— Траву? — удивилась Анисья. И махнула рукой: а, лешак с вами! Мне-то что.

— Да я не обманываю, Онисья,— с обидой в голосе заговорила Маня-маленькая.— Когда я обманывала? У меня трава-то чистый шелк.

Алька начала трясти ее темную пудовую руку. К ним потянулась Маня-большая.

— Ну-ко, я колону. Может, и мне маленько отколется. Отколется, Матреха?

— Куда от тебя денешься? Выманишь...

Маня-большая, довольная, подмигивая, закурила, а Маня-маленькая опять зарокотала:

— Травка-то у меня хорошая, девка. Надо бы до осени подождать. В травке-то у меня котанушки любят гулять...

— Да твоим котанушкам по выкошенному-то огороду еще лучше гулять,— сказала Алька.

— Нет, не лучше. Травка-та им надо. Они из травки-то птичек выглядывают...

Маня-маленькая тяжко покачала головой и, обливаясь горючими слезами, затрубила на всю избу:

На мою на могилку,
Знать, никто не придет.
Только раннею весною
Соловей пропоет...

Ее стала утешать Маня-большая:

— Давай дак не стони. Расстоналась... Вон к Ониске и брат родной не зашел... В рожденье...

— Не трожь моего брата! — Тут к Анисье сразу вернулась трезвость. Она изо всей силы стукнула кулаком по столу, так, что посуда зазвенела.— Знаю тебя. Хочешь клин меж нас вбить. Не бывать этому!

— Алевтинка! Чего это она? Какая вожжа под хвост попала?

— А ну вас!— рассердилась Алька.— Натрескались. Одна белугой воет, другая чашки бьет.

Окончательно пришла в себя Анисья несколько позже, когда в избу вломились празднично разодетые девки в сопровождении трех военных.

Тот, у которого на плечах были золотые полоски, быстрыми блестящими глазами обежал избу, воскликнул, подмигивая Мане-большой (за хозяйку принял):

— Гуляем, тетушки?

— Маленько, товарищ... Старухи пенсионерки...— Маня-большая икнула для солидности.— Советская власть... Крепи оборону... Правильно говорю, товарищ?

— Уполне,— в тон ей ответил офицер, затем стал со всеми здороваться за руку.

— По-нашему, товарищ,— одобрила его Маня-большая и, повернувшись к Анисье, круто распорядилась: — А ты чего глаза вылупила? Не знаешь, как гостей принимают?

5

Место им досталось неважное — с краю, у комода, и не на стульях с мягкой спиночкой, а на доске — скрипучей полатнице, положенной на две табуретки.

Но Пелагея и этим местом была довольна. Это раньше, лет десять-двенадцать назад, она бы сказала: нет, нет, Петр Иванович! Не задвигай меня на задворки. На задворках-то я и дома у себя насижусь. А я хочу к оконышку поближе, к свету, чтобы ручьем в оба уха умные речи текли. Да лет десять-двенадцать назад и напоминать бы не пришлось хозяину — сам стал бы упрашивать. А она бы еще так и покуражилась маленько.

Но ведь то десять-двенадцать лет назад! Павел тогда бригадир, самой ей в рот каждый смотрит — не перепадет ли буханка лишняя. А теперь незачем смотреть, теперь в магазинах хлеб не выводится. А ведь какова цена хлебу — такова и пекариха. На что же тут обижаться? Спасибо и на том, что вспомнил их Петр Иванович.

Когда от Петра Ивановича прибежал мальчик с записочкой, они с Павлом уже ложились спать. Но записочка («Ждем дорогих гостей») сразу все изменила.

Петр Иванович худых гостей не позовет, не такой он человек, чтобы всякого вином поить. Перво-наперво будут головки: председатель сельсовета да председатель колхоза, потом будет председатель сельпо с бухгалтером, потом начальник лесопункта — этот на особицу, сын Петра Ивановича у него служит.

Потом пойдет народ помельче: пилорама, машина грузовая, Антоха-конюх, но и без них, без шаромыг, шагу не ступишь. Надо, скажем, дом перекрыть — походишь, покланяешься Аркашке-пилорамщику. А конюха взять. Кажись, теперь, в машинное время, и человека бесполезнее его нету. А нет, шофер шофером, а конюх конюхом. Придет зима да прижмет с дровами, с сеном — не Антохой, Антоном Павловичем назовешь.

Антониду с Сергеем, детей Петра Ивановича, они за столом уже не застали: люди молодые — чего им томиться в праздник в духоте?

Хозяйка, Марья Епимаховна, потащила было Пелагею на усадьбу — летнюю кухню показывать,— да она замотала головой: потом, потом, Марья Епимаховна. Ты дай мне сперва на людей-то хороших досыта насмотреться да скатерть-самобранку разглядеть.

Стол ломился от вина и яств. Петр Иванович все рассчитал, все усмотрел. Жена директора школы белого не пьет — пожалуйте шинпанского, Роза Митревна. Лет десять, наверно, а то и больше темная бутылка с серебряным горлышком пылилась в лавке на полке — никто не брал, а вот пригодилась: спотешила себя Роза Митревна, обмочила губочки крашеные...

Петр Иванович всю жизнь был для Пелагеи загадкой. Грамоты большой не имеет, три зимы в школу ходил, должности тоже не выпало — всю жизнь на ревизиях: то колхоз учитывает, то сельпо проверяет, то орс, а ежели разобраться, так первый человек на деревне. Не обойдешь! И руки мягкие, век топора не держали, а зажмут — не вывернешься.

В сорок седьмом году, когда Пелагея первый год на пекарне работала, задал ей науку Петр Иванович. Пять тысяч без мала насчитал. Пять тысяч! Не пятьсот рублей. И Павел тогда считал-считал, до дыр бумаги вертел — с грамотой мужик,— и бухгалтерша считала-пересчитывала, а Петр Иванович как начнет на счетах откладывать — не хватает пяти тысяч, и все. Наконец Пелагея, не будь дурой, бух ему в ноги: выручи, Петр Иванович! Не виновата. И сама буду век бога за тебя молить, и детям накажу. «Ладно, говорит, Пелагея, выручу. Не виновата ты — точно. Да я, говорит, не для тебя это и сделал. Я, говорит, той, бухгалтерше, урок преподал. Чтобы хвост по молодости не подымала». И как сказал — так и

сделал. Нашлись пять тысяч. Вот какой человек Петр Иванович!

Самым важным, гвоздевым гостем сегодня у Петра Ивановича был Григорий Васильевич, директор школы. Его пуще всех ласкал-потчевал хозяин. И тут голову ломать не приходилось — из-за Антониды. Антонида в школе работать будет — чтобы у нее ни камня, ни палки под ногами не валялось.

А вот зачем Петр Иванович Афоньку-ветеринара отличает, Пелагее было непонятно. Афонька теперь невелика шишка, не партейный секретарь, еще весной сняли, шумно сняли, с прописью в районной газетке, и когда теперь вновь подымется?

А в общем, Пелагея недолго ломала голову над Афонькой. До Афоньки ли ей, когда кругом столько нужных людей! Это ведь у Сарки-брюшины, жены Антохи-конюха (вот с кем теперь приходится сидеть рядом!), никаких забот, а у нее, у Пелагеи, муж больной — обо всем надо самой подумать.

И вот когда председатель сельсовета вылез из-за стола да пошел проветриться — и она вслед за ним. Встала в конец огородца — дьявол с ним, что он, лешак, рядом в нужнике ворочается, зато выйдет — никто не переймет. А перенять-то хотели. Кто-то вроде Антохи-конюха — его, кажись, рубаха белая мелькнула — выбегал на крыльцо. Да, верно, увидел, что его опередили,— убрался.

Ну и удозорила — и о сене напомнила, и об Альке словцо закинула.

С сеном — вот уж не думала — оказалось просто. «Подведем Павла под инвалидность, как на колхозной работе пострадавши. Дадим участок».

А насчет Альки, как и весной, о первом мае, начал крутить:

— Не обещаю, не обещаю, Пелагея. Пущай поробит годик-другой на скотном дворе. Труд — основа...

— Да ведь одна она у меня, Василий Игнатьевич,— взмолилась Пелагея.— Хочется выучить. Отец малограмотный, я, Василий Игнатьевич, как тетера темная...

— Ну, ты-то не тетеря.

— Тетера, тетера, Вася (тут можно и не Василий Игнатьевич), голова-то смалу мохом проросла (наговаривай на себя больше: себя роняешь — его подымаешь).

Председатель — кобелина известный — потянул ее к себе. Пелагея легонько, так, чтобы не обидеть, оттолкну-

ла его (не дай бог, кто увидит), шлепнула по жирной спине.

— Не тронь мое костье. Упаду — не собрать.

— Эх, Полька, Полька...— вздохнул председатель.— Какие у тебя волосы раньше были! Помнишь, как-то на вечерянке я протащил тебя от окошка до лавки? Все хотелось попробовать — выдержат ли? Золото — не косу ты носила.

— Давай не плети, лешак,— нахмурилась Пелагея.— Кого-нибудь другого таскал. Так бы и позволила тебе Полька ...

— Тебя! — заупрямился председатель.

— Ну ладно, ладно. Меня,— согласилась Пелагея. Чего пьяному поперек вставать.

И вдруг почувствовала, как слегка отпотели глаза — слез давно нет, слезы у печи выгорели. Были, были у нее волосы. Бывало, из бани выйдешь — не знаешь, как и расчесать: зубья летят у гребня. А в школе учитель все электричество на ее волосах показывал. Нарвет кучу мелких бумажек и давай их гребенкой собирать...

Пелагея, однако, ходу воспоминаниям не дала — не за тем дожидалась этого борова, чтобы вспоминать с ним, какие у нее волосы были. И она снова повернула разговор к делу. Легко с пьяным-то начальством говорить: сердце напоказ.

— Ладно, подумаем,— проворчал сквозь зубы председатель (головой-то, наверно, все еще был на вечерянке).

А потом — как в прошлый раз: «Отдай за моего парня Альку. Без справки возьмем». Да так пристал, что она не рада была, что и разговор завела. Она ему и так и эдак: ноне не старое время, Васенька, не нам молодое дело решать. Да и Алька какая еще невеста — за партой сидит...

— Хо, она, может, еще три года будет сидеть.

Альке неважно давалось ученье: в двух классах по два года болталась.

Потом в психи ударился, в бутылку полез:

— А-а, тебе мой парень не гленется?

— Гленется, гленется, Василий Игнатьевич.

Тут уж Васей да Васенькой, когда человек в кураж вошел, называть не к чему. А сама подумала: с чего же твой губан будет гленуться? Ведь ты и сам не ягодка.

Тоже губан. Помню, не забыла, как до моей косы на вечерянках добирался.

На ее счастье, в это время на крыльце показался Петр Иванович (хозяин — за всеми надо углядеть), и она, подхватив председателя, повела его в комнаты.

Так под ручку с советской властью и заявилась — пускай все видят. Рано ее еще на задворки задвигать. И Петр Иванович тоже пускай посмотрит да подумает — умный человек!

А в комнатах в это время все сгрудились у раскрытых окошек — молодежь шла мимо.

— Пелагея, Пелагея! Алька-то у тебя...

— Апельсин! — звонко щелкнул пальцами Афонька-ветеринар.

— Вот как, вот как она вцепилась в офицера! Разбирается, ха-ха! Небось не в солдата...

— Мне, как директору, такие разговоры об ученице...

— Да брось ты, Григорий Васильевич, насчет этой моральности...

— Гулять с ученицей неморально,— громко отчеканил Афонька,— но которая ежели выше средней упитанности...

Тут, конечно, все заржали — весело, когда по чужим прокатываются,— а Пелагея не знала, куда и глаза девать. Сука девка! Смалу к ней мужики льнут, а что будет, когда в года войдет?

Петр Иванович, спасибо, сбил мужиков с жеребятины, Петр Иванович налил стопки, возгласил:

— Давайте, дорогие гости, за наших детей.

— Пра-виль-но-о! Для них живем.

— От-ста-вить!

Афонька-ветеринар. Чего еще цыган черный надумал? Вот завсегда так: люди только настроятся на хороший лад, а он глазищи черные выворотит — обязательно поперек.

— Отставить! — опять заорал Афонька и встал.— За нашу советскую мо́лодежь!

— Пра-виль-но!

— За мо́лодежь, Афанасий Платонович.

— От-ста-вить! Разговорчики!

Да, вот так. Встанет дьявол поджарый и начнет сквозь зубы команды подавать, как будто он не с людьми хоро-

шими разговаривает, а у себя на ветеринарном участке лошадей объезжает.

— За всемирный форум мо́лодежи! За молодость нашей планеты!

Вот и сказал! Начали было за детей, а теперь незнамо и за что.

— Пить — всем! — опять скомандовал Афонька. Черной головой мотнул, как ворон крылом. Глазами не посмотрел — прошагал по столу и вдруг уставился на Павла — Павел один не поднял рюмку.

— Афанасий Платонович,— вступилась за мужа Пелагея,— ему довольно, у него сердце больное.

— Я на-ста-иваю!

Подбежал Петр Иванович: не тяни, мол, соглашайся. А тот ирод как с трибуны:

— Я прыцыпально!

— Да выпей ты маленько-то,— толкнула под локоть мужа Пелагея и тихо, на ухо добавила: — Ведь он не отстанет, смола. Разве не знаешь? Да выпей, кому говорят! — уже рассердилась она (Афонька стоит, Петр Иванович в наклон).— Сколько тебя еще упрашивать? Люди ждут.

Павел трясущейся рукой взялся за рюмку.

— Ура! — гаркнул Афонька.

— Ур-рра-а! — заревели все.

Потом был еще «посошок» — какой же хозяин отпустит гостей без посошка в дорогу,— потом была чарка «мира и дружбы» — под порогом хозяин обносил желающих,— и только после этого выбрались на волю.

На крыльце кого-то потянуло было на песню, но Афонька-ветеринар (вот где пригодилась его команда) живо привел буяна в чувство:

— Звук! Пей-гуляй — не рабочее время. А тихо, тихо у меня!

Следующий заход был к председателю лесхимартели, человеку для Пелагеи, прямо сказать, бесполезному. По крайности за все эти годы, что она пекарем, ей ни разу не доводилось иметь с ним дела, хотя, с другой стороны, кто знает, как повернет жизнь. Сегодня он тебе ни к чему, а завтра, может, он-то и встанет на твоей дороге.

В общем, не мешало бы и к председателю лесхимартели сходить. Но что поделаешь — Павел совсем раскис к этому времени, и она, взяв его под руку, повела домой.

6

— Летнюю-то кухню видел у Петра Ивановича? Сама говорит: рай. Все лето жары в доме не будет.

Павел ничего не ответил.

Пелагея рассказала мужу о своем разговоре с председателем сельсовета насчет сена и справки. При этом она не очень-то огорчалась, что председатель опять крутил насчет справки. Альке учиться еще год — в восьмой класс осенью пойдет,— и за это время можно найти ходы. Есть у нее кое-какая зацепа и в районе. Хоть тот же Иван Федорович из райисполкома. После войны сколько раз она выручала его хлебом — неужто ее добро не вспомнит?

Пелагею сейчас занимало другое — та загадка, которую задал ей Петр Иванович. Три года их в забытьи держал, а сегодня позвал — с чего бы это?

Сама она ему не нужна, рассуждала Пелагея, это ясно. Кончилось ее времечко — кто же нынче станет пекариху обхаживать? Давно люди набили хлебом брюхо. Может, на Альку виды имеет?

Слыхала она, что Сергей Петрович на Альку глаза пялит, и намекни ей Петр Иванович: так и так, мол, Пелагея, рановато мы с тобой компанию оборвали, кто знает, еще как жизнь-то распорядится,— да разве бы она не поняла?

Не намекнул.

Она думала: при прощанье шепнет. И при прощанье не шепнул. «Благодарю за уваженье. Благодарю». И все. Иди, ломай себе голову.

Непонятным, подозрительным теперь казалось Пелагее и то, что позвали их к Петру Ивановичу второпях, когда все гости уже были в сборе. Неужто это не от самого Петра Ивановича шло, а от кого-нибудь другого?

От Васьки-губана? (Так по-уличному, сама с собою, называла она председателя сельсовета.)

Может, может так быть, решила Пелагея. Парень у Губана жених. Постоянно возле их дома мотается. Да нет, Васенька, больно жирно. По зубам кусок выбирай. Топором-то нынче жизнь не завоюешь, а что еще твой сын умеет? Смех! В город ездил, два года учился, а приехал все с тем же топором. На плотника выучился.

Павлу вечерняя свежесть не помогла. Он, как куль, висел у нее на руке.

Она сняла с него шляпу, сняла галстук.

— Потерпи маленько. Скоро уж. У меня у самой ноги огнем горят.

Да, чистое наказанье эти туфли на высоком каблуке. Кто их только и выдумал! В третьем годе они справили всю эту справу — и шляпу, и галстук, и туфли с высокими каблуками. Думали: с культурными да образованными людьми компанию водят, надо и самим тянуться. А и зря: за три года первый раз в гости вышли.

У Аграфениной избы остановились — Павел совсем огрузнел,— и тут, как назло, Анисья. Выперла на них прямо из-за угла, да не одна — с беспутными Манями.

Павел только увидел дорогую сестрицу, закачался, как подрубленное дерево. А она, Пелагея, тоже поначалу ни туда ни сюда, будто ум отшибло.

И еще одну глупость сделала — клюнула на удочку Мани-большой.

Та — шаромыжина известная:

— Что, Прокопьевна, вольным воздухом подышать вышли?

— Вышли, вышли, Марья Архиповна! Сам лежал, лежал на кровати: «Выведи-ко, жена, на чистый воздух...»

А как же иначе? Не у себя дома — на улице: хошь не хошь, а отвечай, коли спрашивают.

Об одном не подумала она в ту минуту — что бревно стоячее тоже иной раз говорит. А Матреха — мало того что бревно, еще и глуха — просто бухнула, а не заговорила:

— Почто врешь? Вы у Петра Ивановича были...

Вот тут и пошло, завертелось. Анисья — шары налила — давай высказываться на всю улицу: вы признавать меня не хочете... вы сестры родной постыдились... ты дом родительский разорила...— это уж прямо по ее, Пелагеиной, части. Каждый раз, когда напьется, про дом вспоминает.

Ну, понятное дело, Пелагея в долгу не осталась. А как же? Тебя по загривку, а ты в ножки кланяться? Нет, получай сполна. И еще с довеском...

А тут Павлу сделалось худо, его начало рвать. А из окошка выглянула Аграфена — длинные зубы: дождалась праздничка, есть теперь о что клыки поточить; Толя-воробышек прилетел... В общем, не надо в кино ходить. На всю улицу срамоту развели...

И только одно успокаивало Пелагею — не было поблизости хороших людей. Не было. А раз не было — пыль эта, поднятая у Аграфениной избы, до первого дождя.

7

— Ты как золотой волной накрывшись... Искры от тебя летят...

Так плел ей, рассказывал Олеша-рабочком про свою первую встречу с ней, про то, как увидел ее у раскрытого окошка за расчесыванием волос. А сама она из этой встречи только и запомнила, что резкую боль в голове (лапу в волосы запустил, дьявол) да нахальные, с жарким раскосом глаза. И уж, конечно, никак не думала, не гадала, что ихние дороги когда-нибудь пересекутся. Какой может быть пересек у простой колхозницы с начальником из заречья? Шел мимо да увидел молодую бабу в окошке — вот и потешил себя, подергал за волосья.

А дороги пересеклись. Недели через полторы-две, под вечер, Пелагея полоскала белье у реки, и вдруг опять этот самый Олеша. Неизвестно даже, откуда и взялся. Как из-под земли вырос. Стоит, смотрит на нее сбоку да скалит зубы.

— Чего платок-то не снимаешь? Не холодно.

— А ты что — опять к волосам моим подбираешься? Проваливай, проваливай, покамест коромыслом не отводила! Не посмотрю, что начальник.

— Ладно тебе. Убыдет, ежели покажешь.

— А вот и убыдет. Ты небось в кино ходишь, билет покупаешь, а тут бесплатно хочешь?

— А сколько твой билет?

— Иди, иди с богом. Некогда мне с тобой лясы точить.

И в третий раз они встретились. И опять у реки, опять за полосканьем белья. И тут уж она догадалась: подкарауливал ее Олеша.

— Ну, говори, сколько твой билет стоит? — опять завел свою песню.

— Дорого! Денег у тебя не хватит.

— Хватит!

— Не хватит.

— Нет, хватит, говорю!

— А вот устрой пекарихой за рекой — без денег покажу.

Как уж ей тогда пришло это на ум, она не могла бы объяснить. И еще меньше могла бы подумать, что Олеша эти слова примет всерьез.

А он принял.

— Ладно, устрою. Показывай.

— Нет, ты сперва денежки на бочку, а потом руки к товару протягивай.— И тут Пелагея, к своему немалому удивлению, как бы рассмеялась и эдак шаловливо прискинула платок — дьявол, наверно, толкнул ее в бок.

И Олеша совсем ошалел:

— Ежели дашь мне выспаться на твоих волосах, вот те бог — через неделю сделаю пекарихой. Я не шучу.

— А и я не шучу,— ответила Пелагея.

Через неделю она стала пекарихой — сдержал свое слово Олеша. Со скотного двора ее вырвал, все стены вокруг разрушил — вот как закружило человека.

Ну и она сдержала слово — в первый же день на ночь осталась на пекарне. А под утро, выпроваживая Олешу, сказала:

— Ну, теперь забудь про мои волосы. Квиты. И не вздумай меня снимать. Я кусачая...

Сколько лет прошло с тех пор, сколько воды утекло в реке! И где теперь Олеша? Жив ли? Помнит ли еще зареченскую пекариху с золотыми волосами?

А она его забыла. Забыла сразу же, как только закрыла за ним дверь. Нечего помнить. Не для услады, не для утехи переспала она с чужим мужиком. И если сейчас этот топляк, чуть ли не два десятка лет пролежавший на дне ее памяти, вдруг и вынырнул на поверхность, то только потому, что, распуская на ночь свой хвостик на затылке — вот что осталось от прежнего золота,— она вспомнила про свой давешний разговор с Васькой-губаном.

Павел уже спал, похрапывая. Пелагея, как всегда, поставила кружку с кипяченой водой на табуретку, положила таблетки в стеклянном патроне и наконец-то легла сама. На перину, разостланную возле кровати,— чтобы всегда быть под рукой у больного мужа.

Она привыкла к храпу Павла (он и до болезни храпел), но нынешний храп ей показался каким-то нехорошим, будто душили его, и она, уже борясь со сном, приподняла свою отяжелевшую голову. Чтобы последний раз

взглянуть на мужа. Приподняла и — с чего? почему? — опять ее, второй или третий раз сегодня, откинуло к прошлому.

Она подумала: догадался или нет тогда Павел насчет Олеши? Во всяком случае, назавтра, утром, когда она пришла домой, он ничем не выдал себя. Ни единого попрека, ни единого вопроса. Только, может, в ту минуту, когда заговорил о бане, немного скосил в сторону глаза.

— У нас баня сегодня,— сказал ей тогда Павел.— Когда пойдешь? Может, в первый жар?

— В первый,— сказала Пелагея.

И в то утро она два березовых веника исхлестала о себя. Жарилась, парилась, чтобы не только грязи на теле — в памяти следа не осталось от той ночи.

Но след остался. И мало того, что она сейчас совсем некстати подумала о том, знал или не знал Павел про ее грех. Это еще пустяк — кому важно теперь то, что было столько лет назад. А как быть, ежели время от времени, глядя на свою дочь, ты начинаешь думать об Олеше, по-матерински высчитывать сроки?

Не спуская глаз с тяжело дышавшего мужа, Пелагея и сейчас была занята этими вычетами. На пекарню она поступила в сентябре, 11 числа. Алька родилась 15 апреля... Восемь месяцев... Нет, с облегчением перевела она дух, восьмимесячные не рождаются, рождаются семи месяцев, да и то еле живые. А про Альку этого не скажешь. Алька, как кочан капустный, выкатилась из нее. Ни одной детской болезнью не болела.

Однако закравшееся в душу подозренье — не сорняк в огороде, который вырвал с корнем, и делу конец. Подозренье, как мутная вода, все делает нечистым и неясным. И сколько ни доказывала себе Пелагея, что Алька никакого отношения не имеет к Олеше, полной уверенности в этом у нее не было.

Конечно, восьмимесячные не рождаются, да и какая мать не знает, кто отец ее ребенка, но откуда у девки такая шальная кровь? Почему она смалу за гулянкой гонится? Раньше, до нынешнего дня, она не сомневалась: в тетушку Анисью Алька, от нее кипяток в крови, потому и невзлюбила ту, а сейчас и этой уверенности не было.

Пелагея полежала еще сколько-то, повертела подушку под разгоряченной головой и встала. Все равно не заснуть теперь. До тех пор не заснуть, пока не взглянет на Альку.

8

Белая ночь была на исходе. Уже утренняя заря разливалась по заречью. А праздник был еще в полном разгаре. Наяривала гармошка в верхнем конце деревни (неужели все еще у председателя лесхимартели гуляют?), голосили пьяные бабы (эти теперь ни в чем не уступят мужикам), а на дороге, у Аграфениного дома, и совсем непотребное творилось: ребятишечки сопленосые в пьяных играли. Друг за дружку руками держатся, головенками мотают, что-то верещат — не то матюкаются, не то песни поют. Совсем как папы и мамы...

Пелагея пошла полем: не дай бог нарваться на пьяного. Заговорит. Домой потащит. А то и лягнет — не теперь сказано: пьяному море по колено. Правда, за себя она не опасалась — даст сдачи. А что делать, когда дочь твою начнут в грязи валять?

Первый раз Пелагея накрыла Альку за шалостью, когда та училась еще в пятом классе. Зимой, в женский день. В тот день как раз случилась у них беда — Манька, корова, заболела. Ветеринара дома нету — в районе. Что делать?

Вспомнили про молодого зоотехника — все больше понимает, чем они сами.

И вот с этим-то молодым зоотехником Пелагея и накрыла свою дочь. Целуются! В хлеву у коровы. В то самое время столковались, покамест матерь за пойлом выходила. И добро бы только парень Альку лапал, а то ведь нет. То ведь Алька, как травина, оплела парня. Привстала, на цыпочки приподнялась, чтобы понадежнее к губам припасть, да еще обеими руками за шею ухватилась. Вот что поразило тогда Пелагею.

С зоотехником разговор был короток. Зоотехника заслали в самую распродальнюю дыру в районе — в силе она в ту пору была. А дочь родную куда сошлешь?

Била, говорила по-хорошему — все напрасно. Кого где не видели под углом да за огородой, а Альку обязательно. И если бы сейчас, к примеру, Пелагея натолкнулась на нее с парнем возле бани или амбара, она бы не подняла крик от неожиданности...

У клуба стоном стонала земля — такого многолюдья она давно уже не видела в своей деревне. А со стороны подгорья подходили все новые и новые люди. С лесопункта, из-за реки, из других деревень — моторы, начавшие

завывать на реке с полудня, все еще не смолкли,— и были гости из района.

Тихонько и незаметно перебравшись через жердяную огороду, она хотела так же тихонько и незаметно подойти к крыльцу, возле которого танцевала молодежь, да не тут-то было!

— Сватья, сватьюшка! Ух, как хорошо! А я ведь к тебе собралась. Где, говорю, у вас Прокопьевна? Куды вы ее подевали?

Пелагея готова была разорвать свою сватьюшку, сестру жены двоюродного брата из соседней деревни,— так уж не к месту да не ко времени была эта встреча! А заговорила, конечно, по-другому, так, как будто и человека для нее дороже на свете нет, чем эта краснорожая баба с хмельными глазами.

— Здорово, здорово, сватьюшка! — сказала нараспев Пелагея да еще поклонилась: вот мы как свою родню почитаем.— На привете да на памяти спасибо, Анна Матвеевна, а худо, видно, к нам собиралась. Не за горами, не за морями живем. За ночь-то, думаю, всяко можно попасть...

В общем, сказала все то, что положено сказать в этом случае, и даже больше, потому что та дура пьяная кинулась обнимать да целовать ее, а потом потащила в круг.

— Посмотри, посмотри на свою дочерь! Я посмотрела — глазам легче стало. Вот какая она у тебя красавица!

Так Пелагея и въехала в молодежный круг в обнимку со сватьей-пьяницей. Не закричишь: «Отстань, дура пьяная», когда народ кругом. А через минуту она, хоть бы и по своей доброй воле, сама обнимала сватью. Не думала, не думала, что у нее в таком почете Алька.

Антонида Петровна с высоким образованием, а где? На закрайке. С родным братцем топчется. А другая горожаха, председателя лесхимартели дочь, тоже ученая, та и вовсе не при деле — на выставке, а попросту сказать, со стороны смотрит.

А ее-то Алька! В самой середке, на самом верховище. Да с кем? А с самим секретарем комсомольским из заречья. Какая еще характеристика требуется? Разве станет партейный человек себя марать — с худой девкой танцевать?

Но и это не все. Только Савватеев отвел Альку к девкам — офицер подошел. Тот самый, которого они видели давеча из окошек у Петра Ивановича. Молодой, краси-

вый, рослый. Идет-выгибается, как лоза. А уж погоны на плечах горят — за десять шагов жарко.

— Солнышко, солнышко на кругу взошло!

Ну, может, и не солнышко, может, и через край хватила сватья, а не одна она, Пелагея, засмотрелась. Вся публика стоячая смотрела. И даже молодежь: три раза Алька с офицером круг обошли, только тогда вышло еще две пары.

А Антонида Петровна так и осталась на бобах. Стоит в сторонке да ноготки крашеные кусает. И вот как все одно к одному — Петр Иванович подошел. Не усидел в гостях, захотелось и ему на свою дочь посмотреть.

Смотри, смотри, Петр Иванович, на своего ученого воробья (чистый воробей, особенно когда из-за толстых очков глазки кверху поднимет), не все тебе торжествовать. А я буду на свою дочь смотреть.

И Пелагея смотрела. Смотрела, высоко подняв голову. И как-то сами собой отпали все заботы и недавние тревоги. Ее дочь! Ее кровинушка верх берет!

Танец кончился быстро — короткий век у радости,— и Пелагея знаком подозвала к себе Альку: Петр Иванович стоит рядом с дочерью, а ей нельзя?

Алька подбежала скоком — глупа еще, чтобы девичьей поступью, но такая счастливая! Как если бы автомобиль выиграла по лотерейному билету.

А может, и выиграла, подумала Пелагея и незаметно для других скосила глаза на круг: где офицер? Что делает?

Офицер шел к ним. Шел не спеша, вразвалку и слегка обмахивая разогретое лицо белым носовым платком.

— Аля, познакомьте меня с вашей мамой.

Пелагея протянутую руку пожала, а чтобы сказать нужное слово — растерялась. Замолола что-то насчет жары. Жарко, мол, нынче. И работать жарко, и веселиться жарко.

— Ничего,— сказал офицер,— мы свою программу выполним. Верно, Аля?

Алька разудало тряхнула головой: какое, мол, может быть сомнение. Выполним!

Пелагея еще не успела собраться с мыслями: как ей посмотреть на Алькину выходку? не пожурить ли для ее же пользы? — подошла Антонида Петровна.

— Аля, Владислав Сергеевич, не хотите ли чаю? У нас самовар готов...

Пелагее показалось чудным: с каких это пор у Петра Ивановича по ночам самовары стали греть? А потом сообразила: да ведь это Петр Иванович ради своей дочери старается.

— Нет, нет, Антонида Петровна,— быстро ответила за дочь Пелагея.— К нам милости просим. У нас гостья не поена, не кормлена — вот где пригодилась сватьюшка! — Алевтинка, чего стоишь? Приглашай молодежь. Будь хозяйкой.

Все это Пелагея говорила с улыбкой, а у самой земля качалась под ногами: что задумала? На кого руку подняла? И до самой школы не смела оглянуться назад. Шла и затылком чувствовала разгневанный взгляд Петра Ивановича.

9

Раньше, до войны, дома в деревне стояли что солдаты в строю — плотно, почти впритык друг к другу, по одной линии. А чтобы при доме была баня, колодец, огород — этого и в помине не было. Все наособицу: дома домами, колодцы колодцами, бани банями — на задах, у черта на куличках.

Пелагея Амосова первой поломала этот порядок. Она первая завела усадьбу при доме. Баня, погреб, колодец и огород. Все в одном месте, все под рукой. И под огородой. Чтобы ни пеший, ни конный, никакая скотина не могли зайти к ней без спроса.

Позже, вслед за Пелагеей, потянулись и другие, и сейчас редкий дом не огорожен.

Но сколько она вынесла понапраслины! «Кулачиха! Деревню растоптала! Дом родительский разорила!..» Ругали все. Ругали чужие. Ругала Павлова родня. И даже в Москве ругали. Да, да, нашелся один любитель чужих домов из столицы. Пенял, чуть не плакал: дескать, какую красу деревянную загубили. Особенно насчет крыльца двускатного разорялся. Что и говорить, крыльцо у старого дома было красивое, это и Пелагея понимала. На точеных столбах. С резьбой. Да ведь зимой с этим красивым крыльцом мука мученская: и воду и дрова надо как в гору таскать. А в метель, в непогодь? Суметы снежные накладет, да так, что и ворота не откроешь.

Владислав Сергеевич, даром что молодой, сразу оценил усадьбу.

— Шикарно, шикарно живем! — сказал он, когда они шумной гурьбой подошли к дому.

Да, есть на что взглянуть. Углы у передка обшиты тесом, покрашены желтой краской, крыша новая, шиферная (больше двухсот рублей стоила), крылечко по-городскому, стеклом заделано — да с таким домком и в городе не последним человеком будешь. А уж привольно-то! Ширь-то кругом!

В сельсовете, когда Пелагея попросила пустырь за старым домом, ее на смех подняли: чудишь, баба. Даже Петр Иванович, при всем своем уме, усами заподергивал — не сумел на пять лет вперед заглянуть. А она заглянула. Разглядела на месте пустыря лужок с душистым сеном под окошками. И теперь кто не завидует ей в деревне!

За рекой всходило солнце, когда она с гостями вошла на усадьбу. И, боже, что тут поделалось! Все засверкало, заиграло вокруг, потом, как в волшебной сказке, все стало алым: и лица, и крыша, и белые занавески в окнах.

Владислав Сергеевич то ли по недомыслию — городской все-таки человек,— то ли ради шутки схватил у крыльца железную лопату и начал загребать сено. Гам, визг поднялся страшный. А тут еще жару подбросила сватья. Сватья зачерпнула ковшом воды в кадке у крыльца, подбежала к Владиславу Сергеевичу: водой их, водой! И через минуту-две ни одного человека сухого не было. Все были мокры. И сено было мокро. Его сваляли да вытоптали хуже лошадей. Но ничего ей не было жалко. Душа расходилась — сама смеялась пуще всех.

Смеялась... А в это время совсем рядом, за стеной в избе, без памяти лежал Павел, и смерть ходила вокруг него...

Нет, нет! Она не снимала с себя вины. Виновата. Нельзя было оставлять больного мужа без присмотра. Нельзя ходить по гулянкам да офицеров в гости зазывать, когда муж хворый. Ну, а с другой стороны, спрашивала себя Пелагея потом, много позже, что было бы тогда с Павлом, не окажись в ту минуту рядом Владислава Сергеевича? Алька перепугалась насмерть, у самой у ней ум отшибло, фельдшер пьяный, без задних ног лежит у себя на повети... А Владислав Сергеевич будто только тем всю жизнь и занимался, что помогал таким бедолагам, как они.

— Петренко! Тащи фельдшера к колодцу и до тех пор полощи, пока он, сукин сын, в себя не придет. Федоров! Бери машину и на всех парах в район за доктором. Живо!

А кроме того, он и сам не сидел сложа руки, пока не подоспела к Павлу медицина. Ворот у рубахи расстегнул, впустил в избу свежий воздух, все окна приказал раскрыть и еще капли Павлу в рот влил — да разве бы она, Пелагея, догадалась до всего этого?

Нет, нет, хоть и судачили, перемывали ей потом бабы косточки за этого офицера, а надо правду говорить: тогда, в то утро, если кто и спас от смерти Павла, так это он, Владислав Сергеевич.

10

Нынешняя болезнь Павла поначалу казалась Пелагее погибелью, крахом всей ее жизни.

Немыслимо, невозможно одной управиться и дома и за рекой. Надо прощаться с пекарней. А без пекарни какая жизнь? Залезай, как улитка, в свою скорлупу на задворках да там и захорони себя заживо.

Но, слава богу, пекарню она удержала за собой. Выручила Анисья. Она с Алькой встала к печи.

Быстрее пошел на поправку, чем раньше думали, и Павел. Попервости районный доктор, как обухом, оглушил Пелагею: «Паралич. Не видать тебе больше мужа на своих ногах...» А Павел поднялся — на пятнадцатый день в постели сел, а еще через три дня, опираясь на жену, вышел на крыльцо. В общем, устояли на этот раз Амосовы.

Днем и ночью две недели подряд сидела Пелагея возле больного мужа. Да вдобавок еще уйму всяких дел переделала: окучила картошку, лужок у Мани-маленькой выкосила... А корова и поросенок? А обед сготовить? А стирка? Это ведь тоже не сердобольные соседушки за нее делали. А вот какой ужас эта пекарня — отдохнула! Как в отпуску побывала. Во всяком случае так ей казалось, когда она после трехнедельного перерыва отправилась за реку.

Все внове было ей в тот день. И то, что она идет на пекарню среди бела дня, порожняком. Идет не спеша, любуясь ясным, погожим деньком, и то, что в поле пахнет уже не сеном, а молодым наливающимся хлебом.

И вновє ей была она сама — такая бодрая и легкая на ногу. Как будто добрый десяток лет сбросила.

Единственное, что время от времени перекрывало ей радость, были сетования Анисьи на Альку. Анисья, возвращаясь с пекарни, чуть ли не каждый вечер заводила разговор об офицере. Зачастил, мол, в день не один раз заходит на пекарню. Нехорошо.

— Да что тут нехорошего-то? — возражала ей Пелагея.— Он ведь заказчик наш. С нашей пекарни хлеб для своих солдат берет. Почему и не зайти.

— Да не для заказа он ходит. Алька у него на уме.

— Ну уж, тетушка, осудила племянницу. Не осуждай, не осуждай, Онисья Захаровна. Чужие люди осудят. А хоть и пошалят немного, дак на то им и молодые годы дадены. Мы с тобою свое отшалили...

— Все равно не дело это — с сеном огонь рядом,— твердила свое Анисья.

И вот в конце концов Пелагея собралась на пекарню, решила своими глазами посмотреть, из-за чего разоряется Анисья.

Река встретила Пелагею ласково, по-матерински. Оводов уже не было — отошла пора. Зато ласточек-береговушек было полно. Низко, над самой водой резвились, посвистывая.

Остановившись на утоптанной тропке возле травяного увала, Пелагея с удовольствием наблюдала за их игрой, потом торопливо потрусила к спуску: у нее появилось какое-то озорное, совсем не по возрасту желание сбросить с ног ботинки и побродить в теплой воде возле берега, подошвами голых ног поласкать песчаный накат у дресвяного мыска.

Однако вскоре она увидела Антониду Петровну, или Тонечку, как Пелагея привыкла называть про себя дочь Петра Ивановича, и к реке сошла своим обычным шагом.

Тонечка загорала. На подстилке. С книжкой в руках.

Подстилка нарядная — большая зеленая шаль с кистями, которую зимой носила мать,— книжка, как огонь, в руках, красная. А вот сама Антонида Петровна будто из войны вынырнула. Худенькая, тоненькая и белая-белая, как сметана,— не льнет солнце. Правда, глаза у Тонечки были красивые. Тут уж ничего не скажешь. Ангельские глаза. Чище неба всякого. Но сейчас и они были спрятаны под темными очками.

— Что, Антонида Петровна,— спросила Пелагея,— все красу наводишь? Солнышко на себя имашь? Имай, имай. По науке жить надо. Только что уж одна? На картинках-то барышни все с кавалерами загорают...

Ужалила — и пожалела. Обоих детей у Петра Ивановича легко обидеть. И Антониду и Сережу. Бог знает в кого они — беззащитные какие-то, безответные.

Стараясь загладить свою вину, Пелагея уже искренне, от всего сердца предложила Тонечке поехать за реку.

— Поедем, поедем, Антонида Петровна! Не пожалеешь. Я чаем тебя напою, не простым, с калачами круписчатыми — знаешь, как в песнях-то старинных поется? А загорать на той стороне еще лучше.

— Нет, нет, спасибо... Мне домой надо...— скороговоркой пролепетала Тонечка.

Пелагея тихонько вздохнула и — что делать — пошла к лодкам.

11

Все, все было на месте — и сама пекарня с большими раскрытыми окнами, и сосны разлапистые в белых затесах понизу, и колодец с воротом, и старая, местами обвалившаяся изгородь.

А она поднялась по тропинке к этой изгороди да почуяла теплый хлебный дух, какой бывает только возле пекарни, и расплакалась. Да так расплакалась, что шагу ступить не может.

У крыльца солдаты — дрова пилят — остановились: что это, тетка, с тобой? А разве тетка знает, что с ней?

Всю жизнь думала: каторга, жернов каменный на шее — вот что такое эта пекарня. А оказывается, без этой каторги да без этого жернова ей и дышать нечем.

И еще больше удивились солдаты, когда только что в голос рыдавшая тетка вдруг с улыбкой прострочила мимо них и без передышки взбежала на крыльцо.

А в пекарне — тоже небывалое с ней дело — не с чужим человеком, не с офицером сперва поздоровалась, а с печью, с квашней, со своими румянощекими ребятками — так Пелагея в добрый час называла только что вынутые из печи хлебы — все так и обняла глазами.

И только после этого кивнула Владиславу Сергеевичу.

Владислав Сергеевич, всерьез ли, для собственной ли забавы, стоял у печи с деревянной лопатой. В трусах. Бо-

сиком. Но это еще ничего, с этим Пелагея могла примириться: городской человек, а сейчас и мужики в деревне запросто без штанов ходят. Но Алька-то, Алька-то бесстыдница! Тоже пуп напоказ выставила.

— Ты ошалела тут, срамница! — вспылила Пелагея.— Давай уж и это долой! — Она кивнула на Алькин лифчик и трусики из пестрого ситчика.

— Жарко ведь,— огрызнулась Алька.

— А жарко не жарко, да не забывайся: ты девушка!

Еще больше вознегодовала Пелагея, когда присмотрелась к пекарне. Попервости-то, ошалев от радости, она ничего не заметила: ни трех прогорелых противней, брошенных в угол за ведро с помоями (опять начет от бухгалтерии), ни забусевшей стены возле мучного ларя (сразу видно, что без нее ни разу не протирали), ни обтрепанного веника у дверей (какая польза от такого?).

Но самый-то большой непорядок — хлебы.

Одна, другая, третья... Двенадцать подряд буханок «мореных» и квелых, неизвестно где и печеных — не то в печи, не то на солнышке.

Но эти буханки еще куда ни шло: человек печет — не машина, и как совсем брака избежать? Да ведь и остальной хлеб у нее сиротой смотрит.

Пелагея заглянула в миску, из которой она обычно смазывала верхнюю корочку только что вынутой из печи буханки. Смазывала постным маслом на сахаре — уж на это не скупилась. Тогда буханку любо в руки взять. Смеется да ластится. Сама в рот просится. А эта чем смазывала? Пелагея метнула суровый взгляд в сторону Альки. Простой водой?!

— Да разве ты первый раз на пекарне? — стала она отчитывать дочь.— Не видала, как матерь делает?

— Ладно,— отмахнулась Алька,— исть захотят — слопают.

— Да ведь сегодня слопают, завтра слопают, а послезавтра и пекариху взашей!

— Испужали... Нашла чем стращать...

Вот и поговори с ней, с кобылой. На все у ней ответ, на все отговорка.

Нет, хоть и сказано у людей какова березка, такова и отростка,— а не ейный отросток эта девка. Она, Пелагея, разве посмела бы так ответить своей матери? Да покойница прибила бы ее. А людям, тем и вовсе на глаза не показывайся. Ославят так, что и замуж никто не возь-

мет. Раньше ведь первым делом не на рожу твою смотрели, а какова у тебя спина да каковы руки.

А у Альки единственная работа, которую она в охотку делает, это вертеться перед зеркалом да красу на себя наводить. Тут ее никакая усталь не берет.

Война у Пелагеи с дочерью из-за работы идет давно, считай, с того времени, как Алька к нарядам потянулась, и сейчас, в эту минуту, Пелагея так распалилась, что, кажется, не будь рядом чужого человека, лопату бы обломала об нее.

Все же она сорвала свою злость.

Алька нехотя, выламываясь — нарочно так делала, чтобы позлить мать,— стала натягивать на себя платье-халат.

И вот тут-то и подал свой голос до сих пор помалкивавший офицер.

— Мамаша не бывала в городе? — спросил он учтиво.— А там, между прочим, половина населения сейчас лежит у реки в таком же наряде, как Аля. И представьте, никто за это не наказывает.

— Дак ведь то в городе, Владислав Сергеевич, а то у нас... к нам городское житье неприменимо...

Офицер легонько пожал плечами (не мое, мол, дело указывать, не я здесь хозяин), но тоже привел себя в приличный вид — надел брюки.

Алька дулась. Забралась с коленями на табуретку, лицо в раскрытое окно, а матери — зад. Любуйся!

Пелагея быстро замыла забусевшую стену у мучного ларя, прошлась новым мокрым веником по пекарне — сразу пол заблестел,— прибрала на рабочем столе и вдруг подумала, а не зря ли она напустилась на девку. Девка худо-хорошо, целыми днями работает. В жаре. В духоте. А главное, Пелагее сейчас страшно неловко было перед офицером — он как раз в то время вернулся с улицы. Офицер-то чем провинился перед ней? Тем, что Павла от верной смерти спас? Или, может, тем, что сейчас вот дрова им помогает распилить?

Пелагея живехонько преобразилась.

— Алевтинка,— сказала она ласковым голосом и улыбнулась,— ты хоть чаем-то напоила своего помощника?

— Когда чаи-то распивать? Не без дела сижу...

— Да с делом ли, без дела, а помощников-то надо напоить-накормить. Ох, Алька, Алька! Захотела нонеш-

них работников на колодезном пиве удержать...— Пелагея еще приветливее, еще задушевнее улыбнулась, потом разом выложила карты: — Ставь самовар, а я за живой водой сбегаю.

12

Пелагея любила чаевничать на пекарне. Самые это приятные минуты в ее жизни были, когда она, вынув из печи хлебы, садилась за самовар. Не за чайник — за самовар. Чтобы в самое темное время — зимой — солнце на столе было. И чтобы музыка самоварная играла.

Бывали у ней на пекарне и гости. Особенно раньше. Кто только не забегал к ней тогда! Но — что говорить — такого гостя, по душе да по сердцу, как нынешний, у нее пожалуй, еще не было.

Красавец. Образованный. И умен как бес — через стену все видит.

Пелагея не поскупилась — две бутылки белого купила. Думала, пускай и у солдат праздник будет. Заслужили: целую кучу вровень с крыльцом дров накололи. Да потом и то взять: начальнику-то ставь, да и помощников не забывай. Потому как известно — через помощников ведут двери к начальнику.

В общем, сунула стриженым ребятам бутылку. На ходу сунула — никто не видал.

А вот какой у него глаз — увидел.

Только вошла она в пекарню с покупками, а он уж ей пальцем:

— А вот это, мамаша, не порядок! Солдат у меня не спаивать.

Сказал в шутку, с улыбочкой, но так, что запомнишь — в другой раз не сунешься.

Пелагея быстро захмелела. Не от вина — две неполные рюмки за компанию выпила. Захмелела от разговора.

Превыше всех благ на свете ценила она умное слово. Потому что хоть и малограмотная была, а понимала, в какой век живет. Видела, чем, к примеру, всю жизнь берет Петр Иванович.

Но рядом с этим быстроглазым шельмой — так любовно окрестила про себя Пелагея Владика (сам настоял, чтобы по имени звала) — и Петр Иванович не колокол, а пустая бочка. И все-то он знает, все видел, везде бывал, а если уж словом начнет играть — заслушаешься.

К примеру, что такое та же самая «мамаша», которой он постоянно величал ее?

А самое обыкновенное слово, ежели разобраться. Не лучше, не хуже других. Родная дочь так тебя кличет, потому что родная дочь, а чужой человек ежели назовет — по вежливости, от хорошего воспитания. А ведь этот, когда тебя мамашей называет, сердце от радости в груди скачет. Тут тебе и почтение, и уважение, и ласка, и как бы намек. Намек на будущее. Дескать, чего в жизни не бывает, может, и взаправду еще придется называть мамашей.

Неплохо, неплохо бы иметь такого сыночка, думала Пелагея и уж со своей стороны маслила и кадила, как могла.

Но Алька... Что с Алькой? Она-то о чем думает?

Конечно, умных да хитрых речей от нее никто не требовал — это дается с годами, да и то не каждому,— да ведь девушка не только речами берет. А глаз? А губы на что?

Или то же платье взять. Пелагею из себя выводил мятый, линялый халатишко, который натянула на себя Алька. Как можно — в том же самом тряпье, в котором матерь возле печи возится! Или, может, нищие они? Платья приличного не найдется?

Она подавала дочери знаки — глазами, пальцами: переоденься, не срамись, а то хоть вовсе растеляшься. Чего уж париться, раз недавно еще расхаживала в чем мать родила.

Не послушалась. Уперлась, как неук. Просто на дыбы встала. Вот какой характер у девки.

Но и это не все. Самую-то неприкрытую дурость Алька выказала, когда Пелагея стала разговаривать с Владиком о его родителях. Простой разговор. Каждому по силам пряжа. И Пелагее думалось, что и Алька к ним сбоку пристанет. А она что сделала? А она в это самое время начала зевать. Просто подавилась зевотой. А потом и того хуже: вскочила вдруг на ноги, халат долой да, ни слова не сказав, на реку. Разговаривай, беседуй матерь с кавалером, а мне некогда. Я купаться полетела.

Пелагея от стыда за дочь глаз не решалась поднять на офицера. Но плохо же она, оказывается, знала нынешнюю молодежь!

Владик — и минуты не прошло — сам вылетел вслед за Алькой. И не дверями вылетел, а окошком — только

ноги взвились над подоконником. Про все забыл. Про мать, про отца...

И Пелагея уже не сердилась на дочь. Разве на кобылку молодую, когда та лягнет тебя, будешь долго сердиться? Ну, поворчишь, ну, шлепнешь даже, а через минуту-другую уже любуешься: бежит, ногами перебирает и солнце в боку несет.

И Пелагея сейчас, с тихой улыбкой глядя в раскрытое окно, тоже любовалась дочерью. Красивая у нее дочь. Благословлять, а не ругать надо такую дочь. А ежели им, Амосовым, думала Пелагея, суждено когда-нибудь по-настоящему выйти в люди, то только через Альку. Через ее красу. Через это золото норовистое, за которым сейчас гнался офицер.

13

Пелагея за этот месяц помолодела и душой и телом.

Нет, нет, не отросли заново волосы, не налились щеки румянцем, а чувствовала себя так, будто молодость вернулась к ней. Будто сама она влюблена.

Да, обнималась и целовалась с Владиком Алька (как уж не целовалась с таким молодцом, раз для своих, деревенских, рот полым держала), а волновалась-то она, Пелагея. Так волновалась, как не волновалась, когда сама в невестах ходила. Да и какие волненья тогда могли быть? Павел хоть и из хорошей семьи (по старым временам у Амосовых первое житье по деревне считалось), а робок был. Сразу ей отдался в руки.

А этот вихрь, огонь — того и гляди руки обожжешь, и что у него на уме — тоже не прочитаешь. «Мамаша, мамаша...» — на это не скупится, сено помог с пожни вывезти на военной машине, а карты свои не открывает. Ни слова насчет дальнейшей жизни.

Конечно, Альке спешить некуда — другие в это время еще в куклы играют. Да разговоры. Кому это нужно, чтобы на каждом углу трепали девкино имя? А потом — ученье на носу. Не думает же он, что со школьницей гулять будет?

В общем, думала-думала Пелагея и надумала — созвать у себя молодежный вечер. Уж там-то, на этом вечере, она сумеет выведать, что у него на уме.

Молодежные вечера нынче в деревне были в моде. Их устраивали и по случаю проводов сына в армию, и по

случаю окончания детьми средней школы, а то и просто так, без всякого случая.

Всех лучше да памятнее вечера были, конечно, у Петра Ивановича — там уж всякой всячины было вдоволь: и вина, и еды, и музыки.

А Пелагея на этот раз решила и Петра Ивановича переплюнуть.

Слыхано ли где, чтобы не было вина белого на столе и чтобы гости были пьяны? А у нее так будет. Пять бутылок коньяку выставит — деньги немалые, коньяк почти в полтора раза дороже белого вина, да чего жадничать? Две-три буханки лишних скормить борову — вот и покрыта разница, зато будет разговоров у людей.

Постаралась Пелагея и насчет закуски. Рыба белая, студень, мясо — это уж ясно. Без этого по нынешним временам не стол.

А как насчет ягодок, Петр Иванович? Раздобыл бы ты, к примеру, морошки, когда ее еще на цвету убило холодом? А она раздобыла. За сорок верст Маню-маленькую сгоняла, и та принесла небольшой туесок, выпросила для больного у своей напарницы по монастырю — та, бывало, в любое лето должна была насобирать морошки для архиерея.

О другой ягоде — малине — Пелагея позаботилась сама. Тоже и на малину неурожай в этом году — по угорам поблизости все выгорело, пришлось ей тащиться на выломки, за Ипатовы гари.

И ох же на какую ягоду она напала! Крупную, сочную, нетронутую — сплошными зарослями, как одеяла красные по ручью развешаны.

Она быстро надоила эмалированное ведро, потом — раззадорилась — загнула коробку из бересты, да еще и коробку насобирала.

Домой притащилась еле-еле — дорога семь верст, ноша в три погибели гнет и за день сухарик в ручье размочила.

— Отец, Онисья! — заговорила она с порога, через силу улыбаясь.— Ругайте меня, дуреху. Ежели сказать куда ходила, не поверите...

Ее удивило молчание Анисьи, праздно, без дела сидевшей у стола с опущенной головой. Потом она разглядела мужа. Павел лежал с закрытыми глазами, и попервости она подумала: спит. Но он не спал. Дышал тяжело, со всхлипами, лицо потное, и на сердце мокрая тряпица. Неужели опять приступ?

Пелагея быстро поставила ведро и коробку с ягодами на стол.

— Где Алька? Не за фершалом побежала?

Анисья опять ничего не ответила.

— Где, говорю, Алька? Вернулась с пекарни?

— Нету Альки...

— Н-не-ту-у? — У Пелагеи ноги подкосились — едва мимо стула не села.

Так вот кто ей махал с парохода, когда она вышла из лесу к реке! Родная дочь. А она-то по-хорошему подумала тогда: вот, мол, какая девка у чьих-то родителей — чужому, незнакомому человеку машет.

— С тем, пройдохой, уехала? — спросила глухо Пелагея.

— Одна.

— Одна? Одна в город-то уехала? А тот где?

— Тот еще вчера уехал.

— Отец, отец...— истошным голосом заголосила Пелагея,— чуешь, что дочи-то у нас наделала?

Анисья вывела ее в сени и там окончательно добила: Алька в положении. Так по крайности она сказала тетке и отцу, когда днем, прибежав с пекарни, вдруг начала собираться в город.

14

...То не кустышки в поле расстоналися,
Не кукушица серая на жизнь плачется,
То у нас в селе вдова народилася...

Так, такими бы словами, запомнившимися с детства, хотелось Пелагее выплакать свое горе. А еще больше ей хотелось бухнуть прямо на колени и принародно покаяться перед мужем: «Прости, прости, Павел Захарович! Это я, я довела тебя до могилы...»

Но она не сделала ни того, ни другого.

Она стояла, пошатываясь, возле красного гроба рядом с рыдающей, распухшей от слез Анисьей и крик держала за зубами. Потому что кто поверит ей? Кого тронет ее плач?

Проводить Павла в последний путь собралась вся близкая и дальняя родня. Свои, деревенские,— это само собой, иначе и быть не может, но, кроме них, приехала из города двоюродная сестра Павла, приехал дядя-пенсионер из лесного поселка, прилетел Павлов племянник, офицер...

Не было возле покойного только его родного детища — Альки.

Павел помер на третий день после бегства дочери из дому, и где было ее искать? В городе? В дороге? А в общем, думала Пелагея, может быть, и лучше, что не торчит возле гроба Алька. Она, Пелагея, чувствует себя преступницей, не смеет глаза поднять на людей, а что сказать об Альке? Не хотела Алька смерти отца — это ясно, а все-таки после ее суматошного отъезда помер, она, единокровная дочь, помогла отцу сойти в могилу. И если теперь, в ее отсутствие, до слуха Пелагеи (она стояла в ногах у покойного) то и дело доходил пересудный шепот сердобольных баб: «Вот какие пошли нынче деточки... Живьем готовы закопать в могилу родителя... Рóсти их, дрожи над ними...» — то что было бы, если бы тут была Алька!

Хоронили Павла и по-старому и по-новому.

Дома все было по-старому. И власти, надо говорить правду, не мешали. Пока старушонки окуривали гроб ладаном да негромко тянули «Святый боже», власти стояли на улице у крыльца и покуривали. Правда, Афонька-ветеринар влетел было по пьянке в избу, закричал, чтобы сейчас же прекратили издеваться над беспартийным большевиком, но его быстро утихомирили. Сами же власти, Василий Игнатьевич да Петр Иванович, просто вытолкали из избы.

Новый обряд начался на кладбище, когда над раскрытым гробом стали говорить речи:

— Беззаветный труженик... С первого дня колхозной жизни на трудовой вахте... Честный... Пример для всех... Никогда не забудем...

И вот тут-то Пелагея дрогнула. Все выдержала: причитания, осуждающие взгляды, пересудные шепотки — не пошевелилась, не охнула. Стояла у гроба как каменная. А начали речи говорить — и земля зашаталась под ногами.

— Беззаветный труженик... С первого дня колхозной жизни... Честный... Пример для всех...

Пелагея слушала-слушала эти слова и вдруг подумала: а ведь это правда, святая все правда. Безотказно, как лошадь, как машина, работал Павел в колхозе. И заболел он тоже на колхозной работе. С молотилки домой на санях привезли. А кто ценил его работу при жизни? Кто сказал ему хоть раз спасибо? Правленье? Она, Пелагея?

Нет, надо правду говорить: она ни во что не ставила работу мужа. Да и как можно было во что-то ставить работу, за которую ничего не платили?

А вот сейчас Павла хвалили. И ей вдруг жалко стало, что Павел не слышит этих похвал.

А еще, глядя на покойника в гробу, на его неподвижное восковое лицо с закрытыми глазами, на его большие, очень бледные руки, скрещенные на груди, она подумала, что это ведь лежит Павел, ее муж, человек, с которым — худо, хорошо — она прожила целую жизнь...

И тогда она заплакала, заревела во все горло. И ей теперь было все равно, что скажут о ней люди, какую грязь кинут в Альку...

15

Вот и дождалась она долгожданного отдыха...

Утром вставала поздно, не спеша. Не спеша топила печь, пила чай, затем отправлялась в лес.

Грибы да ягоды были ее страстью смалу. И ежели кому и завидовала Пелагея все эти годы, работая на пекарне, так это грибницам да ягодницам. А теперь ей незачем было завидовать. Теперь она сама могла по целым дням ходить по лесу.

И она ходила. Ходила по знакомым с детства холмикам и веретийкам, по мызам, по старым расчисткам, отдыхала у ручейка, у речки, всматривалась в их густую осеннюю синеву, слушала крики журавлей, собачий лай...

Но много ли ей одной надо? Три раза сходила за солехами да два раза за обабками, натолкла ушатик ягод, а зачем еще?

Несколько дней у нее ушло на уборку картошки. Картошка уродилась ядреная, крупная — с двух грядок она набила погреб, а за баней оставалась еще грядка, и ей бы радоваться надо да бога благодарить, а она опять спрашивала себя: зачем? К чему ей столько картошки?

Она изнывала, изнемогала, ожидаючи писем от Альки. А та не писала. Уехала — и ни одной весточки. Как в воду канула. И она кляла, ругала дочь самыми последними словами: «Сука! Зверь бездушный! Мало тебе смерти отца, дак ты и матерь хочешь в могилу свести». А потом ожесточение проходило, и она еще пуще жалела дочь. Где она теперь? Что делает? В чужом городе... Без паспорта...

Однажды Пелагея, решив засолить для Альки ведерко рыжиков — ведь должна же она когда-нибудь объявиться,— уплелась далеко, верст на пять от дому, и неожиданно для себя вышла на Сургу, к коровьему стаду.

День был сухой, светлый, солнце грело по-летнему, и вообще весь сентябрь был на редкость красивый, словно сам бог решил вознаградить ее за все те годы, что она провела на пекарне.

Сургу она знала вдоль и поперек — семь лет тут возилась с коровами до того, как стала на пекарню. И у нее и в мыслях не было, чтобы спускаться с лесистого ягодного угора вниз к дояркам. Зачем? Чего она там не видала?

Но тут вдруг затарахтел мотор, коровы, как по команде, потянулись к длинному двускатному навесу из белого шифера, под которым их доили, и она заколебалась: что такое эта электродоилка? Уже два года как установлена в колхозе, а она и не видала.

Скотницы встретили ее шутками:

— Дак вот почему мы без ягод да грибов! Вор повадился в наши леса.

— Нет, не потому,— возразил им пастух Олекса Лапин, который, сидя у огонька, попивал чаек,— а потому, что много спите.

— А и верно, что много,— согласились скотницы.

Скотницы смеялись, скалили зубы. И не удивительно: машина доила коров, а они только подмывали вымя да приставляли к соскам резиновые наконечники с длинными шлангами, по которым молоко перекачивалось в морозные алюминиевые бидоны. Вот и вся работа ихняя.

А как они, бывало, работали! Руки выворачивали на этой дойке. А холод-то? А дождь? А каково это каждый день два раза мерять дорогу — от деревни до Сурги и от Сурги до деревни? Грязь страшенная, до колена,— и где уж тут присесть на телегу. Хоть бы бидоны-то с молоком лошадь вытащила. А теперь — машина. С брезентовым верхом. И как тут не смеяться да не точить лясы!

Все, все было сейчас иным, чем раньше, в ее время. Даже коровы и те стали какими-то другими. Бывало, как на живодерню тащишь буренку на дойку. Глотку сорвешь, пока подоишь. А сейчас она сама рвется к доильне, потому что там ее соль-лизунец да концентрат ждут.

— От Али новостей нету?

Если бы Лида Вахромеева не заговорила сама, Пелагея так бы и не признала ее. Красавица! Румянец во всю щеку. Да разве это та сопливая девчонка, которая в прошлом году хотела нарушить себя?

Лиде Вахромеевой грамота, как и Альке, давалась туго, в седьмом классе была оставлена на осенние экзамены, и вот отец — чистый кипяток! — распорядился: «В скотницы! Раз человечьей грамоты не понимаешь, коровью учи!»

Лида плакала, умоляла отца, матерь, валялась в ногах у самого, из города дядю военного призывали — только бы не в навоз, не к коровам. А сейчас — посмотреть на Лиду — и человека счастливее ее нету. Смеется. Во весь рот смеется. От души. А уж одета — картина! Одни сапожки на ногах пятьдесят рублей стоят. Вот какие нынче деньжищи огребают скотницы.

И тут Пелагея с тоской подумала об Альке. О том, что и Алька могла бы работать дояркой. А почему бы нет? Чем это не работа?

Всю жизнь, от века в век, и матерь ее, и бабка, и сама она, Пелагея, возилась с навозом, с коровами, а тут вдруг решили, что для нынешних деточек это нехорошо, грязно. Да почему? Почему грязно, когда на этой грязи вся жизнь стоит?

В этот день Пелагея много плакала. Плакала в лесу, когда рассталась с доярками, плакала по дороге домой. И особенно много плакала дома, когда вошла в пустую избу.

16

Болезнь подкралась к Пелагее незаметно, вместе с осенними дождями и сыростью, и она была для Пелагеи мукой. Не умела Пелагея болеть. Она была в мать. Та еще за три дня до смерти просила у нее работы: «Дай ты мне чего-нибудь поделать. Я ведь жить хочу».

Пелагея не думала, понятно, о работе на пекарне,— где уж ей теперь тащить такой воз? — но об одной работе она думала всерьез. На другой день после встречи со скотницами на Сурге, утром, когда она еще лежала в постели, ей вдруг пришло в голову, а почему бы ей самой не стать снова дояркой. Работа на вольном воздухе, машина в помощниках, мотаться пешедралом не надо — да неужели не справится?

Три дня она жила этой мыслью. Три дня она, что бы

ни делала, куда бы ни шла, только и думала о том, какой переполох в деревне вызовет ее возвращение в колхоз.

— Слыхали, что Пелагея-то выкинула?

— Ну и ну!

— Она может. Железная!

А на четвертый проснулась утром и — куда девалось хваленое железо? — не пошевелить ни рукой, ни ногой. И нет дыхания — сперло в груди.

К полудню она все-таки расходилась и даже погреб принялась утеплять, но с этого дня силы ее начали убывать.

Она сопротивлялась болезни, целыми днями делала что-нибудь возле дома — то прибирала дрова, то убирала и жгла мусор, то конопатила чулан — всегда зимой один угол промерзает — и часто-часто выходила на горочки — на угор, откуда хорошо видно пекарню.

Если была сухая погода, она садилась к черемуховому кусту, у которого раньше поджидал ее больной Павел, и подолгу глядела за реку.

О многом думалось тут, в душистом затишье, многое вспоминалось — и хорошее и плохое,— но чаще всего Пелагея возвращалась к первым дням работы на пекарне, к той безрассудной, прямо-таки бесшабашной смелости, с которой она бросилась в бой за новую жизнь.

Нет, не в том она видела смелость, что переспала с чужим мужиком. Припрет нужда да голод — с самим дьяволом переспишь. А уж они с Павлом хватили нужды да голода после войны. В сорок шестом году на глазах у них зачах их первенец, их единственный сын. Зачах оттого, что у матери начисто пересохли груди. И разве могла она допустить, чтобы и второго ребенка у них постигла та же участь?

Смелость свою она видела в другом. В том, что не побоялась пойти против всех. Против председателя колхоза, который рвал и метал, что у него выхватили лучшую доярку, против колхозников («Это за каки-таки заслуги такие корма Палаге?»), против Дуньки-пекарихи и ее родни.

И вот одолела. Всех положила на лопатки. Одна. За один месяц. А чем? Какой силой-хитростью? Хлебом. Теми самыми хлебными буханками, которые выпекала на пекарне. Их, свое хлебное воинство, бросила на завоевание людей. И они завоевали. Никто не мог устоять против ее хлеба — легкого, душистого, вкусного и сытного.

17

В октябре Пелагею дважды навещала фельдшерица и дважды уговаривала ехать в районную больницу. Но Пелагея в ответ только качала головой. Зачем она поедет туда? Чем помогут ей районные врачи? Да разве и сама она не знает, что у нее за болезнь?

Сколько раз за эти годы перекладывали печь на пекарне! А уж об отдельных кирпичах и говорить нечего — их меняли каждый год. Не выдерживали жары, лопались...

Так ведь то кирпичи — из глины, камень, можно сказать. А что же говорить о человеке? О ней, о бабе, которая за эти восемнадцать лет и одного дня не отдыхала? Вот и развалилась, распалась сейчас, вот и не может по целым дням оторваться от постели...

К Пелагее редко кто заходил. Маню-большую она выставила сама; с Анисьей, золовкой, рассчиталась сразу же после Павловых похорон: свыше сил было видеть ее, свидетельницу собственного позора; Петр Иванович не заглядывал — это само собой. К чему она ему теперь?

Единственно, кто навещал ее в эти холодные осенние дни,— это Лида Вахромеева, Алькина подружка. Та забегала. И воды приносила, и дров, и всякие деревенские новости рассказывала. Но, по правде сказать, Пелагея не особенно зазывала Лиду. Потому что очень уж тоскливо было после ее ухода. Просто белый день сменялся ночью.

Днем Пелагея все помаленьку топталась по избе. Да днем и лежать повеселее. Днем за окошком жизнь. То кто-нибудь проедет на лошади или на тракторе, то соседка пробренчит ведрами, направляясь за водой к колодцу, то, на худой конец, ворона прокаркает — тоже жизнь. А ночью как в могиле. Ночью караул кричи — не докричишься. Только разве Афонька пьяный фарами поиграет на никелированных самоварах, что стоят на комоде.

Афонька, когда переберет, места себе не может найти. Всю ночь, как нечистая сила, разъезжает на мотоцикле. Из улицы в улицу, из заулка в заулок. И ох же как выходила из себя Пелагея, когда Афонькины громы середи ночи раскатывались под ихними окошками! Все, какие ни есть на свете, кары призывала на Афонькину голову. А теперь, в эти длинные осенние ночи, только и радости у нее было, когда на улице появлялся пьяный мотоциклист...

В Октябрьскую Пелагея чувствовала себя не лучше, не хуже, чем накануне. Но встала она в этот день задолго до рассвета. Затопила печь, напекла шанежек, ватрушек, пирожков с мясом и изюмом, закатала рыбник, затем подмыла пол, переменила скатерть на столе, принарядилась сама.

Больше всех праздников любила она Октябрьскую.

Целый день, бывало, с раннего утра звенит радость в ихнем доме. Сперва сборы на демонстрацию Павла да Альки, примерка обнов — это уж обязательно: к каждому празднику обнова! — потом, часов с одиннадцати, когда демонстрация появлялась в ихнем околотке, зайцы-сугревники (так Пелагея про себя называла начальство, которое забегало к ней пропустить рюмочку для тепла): Петр Иванович, председатель сельсовета, колхозный председатель... Да каждый тайком, с оглядом, чтобы разговоров лишних не было. А в избу-то забежали — тоже с потехой. Кто дьячком, кто козой проблеет от порога: «Не согреют ли в этом доме плоть мою промерзшую?»

Весь день просидела Пелагея у окошка, вглядываясь сбоку, из-за занавески, в деревенскую улицу.

Демонстрации в этом году опять но было. Три года назад умерла школьница от гриппа (будто бы ноги во время демонстрации промочила), и с той поры перестали ходить с красными флагами по деревне.

Поглядела-поглядела Пелагея на развеселых мужиков да баб — весь день гужом перли то к Анисье, то от Анисьи,— повздыхала, поплакала и в сумерках, не зажигая огня, прилегла на кровать.

И вот не успела сомкнуть глаз — шаги на крыльце, а потом кольцо брякнуло в воротах.

Она так и привстала на кровати. Кто вспомнил ее в этот день?

Маня-большая. Ее бесовский глаз запылал в темноте под порогом.

Пелагея и раз и два хватила открытым ртом воздух, а сказать — и слов нету: до того поражена она была нынешним приходом Мани. Ведь это же надо: нарочно придумывать — не придумать такого оскорбления!

Наконец она собралась с духом.

— Не ошиблась адресом? — спросила она не своим, а чужим словом, запавшим ей в голову от кого-то из прежней компании. Потом, подумав, что до Мани такое не

дойдет, хватила как обухом по голове: — А может, богатством Христовым пришла похвастаться? Обновками? Как сборы-то ноне?

Христово богатство — это платки, полотенца, одежонка некорыстная, отрезы ситцевые, шерсть овечья и даже кое-какая мелочишка из денег — в общем, все то, что верующие по обету вешают и кладут у «моленных» крестов.

Эти «моленные» кресты стали появляться возле деревень, в лесу, еще в военную пору. Устройства они самого простого. Тесаный и врытый в землю крест — редкость. А чаще всего так: срежут у нетолстой ели или сосны ствол эдак метра на два, на три от земли, пролысят, как кряж, предназначенный на дрова, затем набьют поперечную перекладину — жердяной обрубок, бросят зачем-то к комлю несколько камней — и крест, напоминающий какое-то языческое, дохристианское капище, готов.

Местные безбожники, конечно, не дремали — беспощадно вырубали «моленные» кресты. Но разве вырубишь лес?

Маня-большая уже который год кормилась возле этих крестов. Она, как охотник свой путик, регулярно, под каждый праздник, обегала кресты в округе.

Однако напрасно взвинчивала себя Пелагея — не сорвала свою злость на старухе.

Маня-большая не только не бросилась опрометью вон из избы, как это сделал бы каждый на ее месте, Маня-большая даже не поморщилась. Села на прилавок к печи, сарафанишко поверх матерчатых штанов в белую полоску выше колена вздернула, нога на ногу, да еще и закурила.

Вот эта-то Манина наглость и отрезвила Пелагею, а то один бог знает, что и было бы: у нее хорошие-то люди без спроса не курили в доме, так разве позволила бы она какому-то огрызку!

Нет, подумала Пелагея, что-то у ней есть, не с пустыми руками пришла, коли барыней расселась. И этак издалека — на прощуп — спросила:

— Что в мире-то ноне деется? Какими новостями живут люди?

— Да есть кое-что. Не без того же,— уклончиво ответила Маня.

— Грызут друг друга?

— Пошто грызут? Кто грызет, а кто и радуется.

— Да, да,— вздохнула Пелагея,— верно это, верно. Кто и радуется.

— Давай дак не вздыхай. Ты и сама не без радостей.

— Я? — Пелагея от удивления даже приподнялась.

— Знамо дело.

— Что ты, что ты, плетия... Мужа схоронила, сама не могу...

Маня против этого не возражала.

Значит, об Альке вести, догадалась Пелагея, и так ей вдруг легко стало, будто лето спустилось к ней в избу.

Она быстро встала с постели.

— Вот ведь какое со мной горе! Гостья пришла, а я лежу как бревно. Ты уж прости, прости меня, Марья Архиповна, недотепу,— неожиданно для себя заговорила она своим прежним, полузабытым голосом, тем самым обволакивающим и радушным голосом, против которого никто, даже сам Петр Иванович, не мог устоять.— Все одна да одна, совсем из ума выжила. Нет, нет, Марья Архиповна! Мы сейчас за самоварчик да за рюмочку — праздник сегодня. Да ты кури, кури, Маша, не стесняйся. Я, бывало, когда хозяин в здоровье был, сама покупала папиросы. Да сапожки-то, может, снять, не томи ты свою ножку, я валенки теплые с печки достану...

Новость, которую поведала Маня (конечно, после того, как опрокинула три рюмки,— Пелагея сразу поняла, что насухо из старухи ничего не вырвешь), превзошла все ее ожидания: Альке сельсовет выслал справку на паспорт.

— Да ты не врешь, Маша? Не перепутала чего? — переспросила Пелагея и — не могла удержаться — всплакнула: ведь из-за этой самой справки она жизнь себе укоротила, можно сказать, даже в постель слегла. К Губану ходила, колхозного председателя молила, Петра Ивановича жалобила — все без толку. «Не то время сейчас,— сказал ей Петр Иванович.— Поворот молодежи в сторону деревни даден. Подожди». А как же ждать? Девка в городе и без паспорта — да это хуже, чем в глухом лесу заблудиться.

И вот спала гора с плеч — Алька с паспортом.

— Да когда это было-то? — все еще до конца не веря, опять стала допытываться Пелагея.

— Позавчерась.

— Позавчерась? И у тебя хватило терпения, Марья Архиповна, утаивать такую весть от матери?

— Матерь-та эта еще не знаешь, как и встретит...

— Ну, ну,— живо замахала руками Пелагея,— чего старое вспоминать. На солнце и на то затемненье находит, а наш брат — баба глупая... Говори, говори, Марья Архиповна!

— Да чего говорить-то? Василий Игнатьевич вчерась в лавке сказал. «Совсем, говорит, уплыла от нас девка. Военная часть справку требует...»

— Ну и дали справку-то?

— Да как не дашь-то? Говорю, армия требует...

— Армия?..— повторила с раздумьем Пелагея.— Дак ведь это он, Владик, хлопочет... Ей-богу, Маша! Господи! — воскликнула Пелагея и прослезилась.— Вместях, значит? Вдвоем? А я-то все времечко убиваюсь, места не могу себе прибрать...

— Матерь,— многозначительно заметила Маня.

— Хотела бы, хотела бы я на ихнее счастье посмотреть,— мечтательно разоткровенничалась Пелагея.— Да нет, не ускочишь. Как на привязи сидишь у болезни. А та сука сама не догадается письма написать. Вот ведь какие нынче деточки-то пошли. Матерь вынь да положь, когда припрет, а когда у них все хорошо да ладно, они о матери-то и не вспомнят...

Маня, утешая Пелагею, сказала, что письмо придет, никуда не денется и что раньше Альке и писать было не о чем — только мать расстраивать, раз с паспортом нелады. Потом вдруг предложила:

— А терпенья нету — выписывай командировку. В два счета слетаю.

— Ты? В город?

— А чего? Обрисую положенье. Все как есть.

Пелагея строго поджала губы — это уж всегда, когда ей надо было на что-то решиться. При этом она быстро прикинула, во что может обойтись ей Манина поездка. Рублей в сорок. Дорого. Чуть ли не месячная зарплата на пекарне. А с другой стороны, подумала она, что деньги? Неужели ее собственный покой ничего не стоит?

— Рублей двадцать пять дам,— сказала осторожно Пелагея.

— За четвертак в город? Шлепай сама! — Маня-большая быстро и деловито начала загибать пальцы: — Билет туда и обратно семнадцать шестьдесят. Так? Пить-исть надо? Фатера да суточные положено? Ну и хоть небольшие северные — на сугрев старухе...— Маня хихикнула.

После недолгих торгов сошлись на тридцати пяти рублях, не считая, конечно, подорожников, которые напечет Пелагея.

18

Маня ездила в город девять дней — на целых три дня больше, чем они договорились,— и Пелагея последние ночи почти не спала. Все передумала. Самые худые мысли допускала об Альке.

А тут еще завернули морозы. Где старушонка? Уехала в кирзовых сапогах, налегке — не свалило ли в дороге?

Наконец вернулась Маня.

В избу вошла — ни дать ни взять чучело огородное: фуражка военная со светлым козырьком поверх шализавязухи, рукавицы — с крупного мужика — по локоть, какая-то шубенка драная шерстью наружу... В общем, как догадалась Пелагея, вешала на себя все, что давали сердобольные люди.

Пелагея вмиг преобразила старуху: на ноги теплые валенки с печи, телогрею собственную дала, тоже заранее нагретую на печи, а затем и стопку белой. Как самой дорогой и желанной гостье.

— Ну как она? — нетерпеливо спросила, когда сели к столу. (Самовар уж кипел — третий день с утра до ночи стоял под парами.)

— Хорошо живет. На большой! — ширнула простуженным носом Маня и для убедительности подняла прокуренный палец.— Фицианкой работает.

— Кем, кем?

— Фицианкой, говорю. С подносом со светлым бегает.

У Пелагеи погасли глаза.

— Ох, Алька, Алька! Нету у нас с тобой счастья. Что уж тут хорошего — с подносом бегать...

— А чего нехорошего-то? Там ведь не у нас — чего хватил, и ладно. Под музыку лопают...

— Под музыку?

— Ну! Поедят, поедят, попляшут, чтобы утряску продуктам в брюхе сделать, да снова за стол...

— Дак это она не в том... не в сторани, где мужики выпивают?

Маня коротко кивнула:

— В сторани.

— Ну, а как она из себя-то? Видом-то как? — продолжала допытываться Пелагея.

— А чего видом-то... Работа не пыльная... И деньги лопатой загребает...

— Плети-ко... Кто это там такой щедрый?

— Есть в городах народ. А особенно ежели он выпимши да перед ним задом вертят...

— Задом вертят? И Алька вертит? Да что она, одичала?

— Сторан,— с умственным видом пояснила Маня.— Положено. Чтобы человек, значит, за свои любезные полное удовольствие получил...

— Ну уж это не дело, не дело,— сказала с осуждением Пелагея и, обращаясь не столько к старухе, сколько к себе, спросила: — Да куда Владик-то смотрит? Он-то как позволяет?

И вот тут-то и посыпалось на Пелагею одно за другим: Владика Маня не видела... На фатере у Альки не была... Как живут молодые — не знает...

— Да чего ты и знаешь-то? — возмутилась Пелагея.— Зачем я тебя посылала? Да ты, может, и в городе-то не была?

Нет, в городе, заверила ее Маня, была. И в «сторани» была. А ежели домой ее Алька не приглашала, то как будешь врать?

— Молодые...— по-своему объяснила Алькино негостеприимство Маня.— Не до старухи дело...

Да, не бог весть как много поведала Маня об Альке и ее городском житье-бытье (даже насчет беременности ничего толком не сказала), а вот что значит материнское сердце — успокоилось немного, и Пелагею снова потянуло на жизнь.

Первым делом она все перемыла да перечистила — самовары, рукомойник медный, таз (любила, чтобы все в избе горело),— затем принялась за просушку нарядов.

Нарядов — ситцевых и шелковых отрезов, шалей летних и зимних, платков, платьев, юбок — у Пелагеи были сундуки и лукошки, и для нее не было большей радости, чем летом, в солнечный день, все это яркое, цветастое добро развесить по своей усадьбе.

Нынче из-за болезни Павла наряды не сушили. И вот пришлось это делать сейчас, в самое хмурое время, по-

тому что нельзя откладывать до тепла — запросто может все пропасть.

В натопленной избе было жарко и душно, пахло залежалой материей, красками, а Пелагея блаженствовала. Она вынимала очередной отрез из сундука, шумно развертывала его, пробовала на ощупь, на нюх, на зуб, затем вешала на веревку, натянутую под потолком.

А по вечерам у нее была другая радость — приходила Маня-большая пить чай, и они разговаривали. Обо всем. О том, что делается в большом мире, в районе, в своей деревне. Старуха все знала, везде бывала, а уж если начнет топтать да лягать кого — заслушаешься.

Больше всех от Мани-большой доставалось семье Петра Ивановича, ее она терпеть не могла, потому что, как ни старалась, как ни изворачивалась, не нашла лаза в ихний дом, и Пелагея не останавливала старуху. А чего останавливать? Не все в чести ходить Петру Ивановичу, пускай и ему маленько почешут бока.

Разговор у них обычно начинался так:

— Ну, видела нашу красавицу? — спрашивала Пелагея.

— Каку?

— Каку-каку... Ясно каку — Антониду Петровну...

Тут темное морщинистое лицо Мани передергивалось, как от изжоги: она почему-то особенно яростно невзлюбила тихую и беззлобную Тонечку.

— Нашла красавицу. Ни рожи ни кожи... Как уклея сухая...

— Нет, нет, Марья Архиповна,— притворно возражала Пелагея.— Не говори так. Неладно. Всем люба Антонида Петровна. Кого хошь спроси...

— Да чего спрашивать-то, когда я сама ощупку сделала! Тут недавно в клуб зашла... Мельтешится с зажигалками...

— С кем, с кем? — переспрашивала Пелагея.

— С зажигалками, говорю, с девочошками — ученицами... И сама-то зажигалка. За пазухой-то не больше. Разве что ватки сунет — какой бугорок подымется...

— Ватки? — удивленно округляла глаза Пелагея.— Вишь ты, мода-то нынче какая. Ватку за пазуху суют... И красиво с ваткой-то?

Маня дальше не выдерживала — вскакивала, начинала плеваться, бегать по избе, а уж насчет речей и гово-

рить не приходится: всю грязь выливала на дочь Петра Ивановича.

Впоследствии, когда Пелагея опять отказала Мане-большой, она частенько и с раскаянием вспоминала эти постыдные разговоры со старухой, и ей все казалось, что именно за это злоязычие наказал ее бог. И как наказал? Через кого? А через ту же самую Тонечку.

Однажды в полдень, незадолго до Нового года, когда Пелагея развешивала у себя в комнате крепдешиновые отрезы — к этой материи она была особенно неравнодушна,— к ней забежала продавщица Окся.

— По плюшевкам скучала — привезли! — с ходу объявила Окся.

Пелагея не знала, как и благодарить Оксю: у всех замужних женщин были теперь плюшевые жакеты, а она три года не может достать. Прошли те времена, когда продавцы сами на дом приносили ей товары.

На улице было холодно, северило, мела поземка, а она бежала легко, без устали, так, как бегала в лавку раньше.

Она любила ходить в магазин. Для нее это был праздник. Праздник красок и запахов, от которых она просто пьянела. Ну, а что касается полок с мануфактурой, то она перед ними готова была простаивать часами.

Народу в магазине не было, и Окся сразу, без задержки выбросила плюшевую жакетку. Из-под прилавка. Так что Пелагея без слов поняла, какое одолжение делает ей Окся.

Жакет был в самый раз, может, разве чуть-чуть ширил плечи, да тут капризничать не приходилось, раз такой спрос на этот товар.

— А для Альки-то не возьмешь? — спросила Окся.— А то уж бог с тобой, разоряй. Подождут другие.

И Пелагея, недолго раздумывая, взяла и для Альки. В ту, бабью сторону двигается Алька. И жакет пригодится.

— Спасибо, спасибо, Оксенья Ивановна! За мной не пропадет, в долгу не останусь,— поблагодарила прочувствованно Пелагея и, завязав жакеты в большой плат (нельзя подводить человека, который добро тебе сделал), отправилась домой.

И вот на обратном пути против клуба она и столкнулась с Антонидой Петровной. Идет, сапожками модными поскрипывает, лицо уткнула в белый пушистый ворот-

ник — сто рублей, по словам матери, заплачено — и замечталась, ничего не видит.

Пелагея, как всегда, первая поздоровалась, чем страшно смутила Антониду Петровну, а потом — бес ее толкнул в бок! — не удержалась, развернула плат. Смотри, смотри, Антонида Петровна. Да не заносись больно-то. Еще кое-кто считается с нами.

Жакет Антониде Петровне понравился.

— Симпатичный...— протенькала.

— А вы-то купили? Нет? — поинтересовалась Пелагея.

— Нет... Кажется, нет...— замялась Антонида Петровна и глазки отвела в сторону.

Да ведь она, наверно, зимой-то, когда очки обмерзают, совсем ничего не видит, на ощупь ходит, подумала Пелагея, и ей опять, как тогда летом, у реки, вдруг жалко стало дочь Петра Ивановича.

На Пелагею доброта нахлынула: не подумавши, выхватила из плата жакет — красиво, росомахой взыграл черный плюш на белом снегу.

— На, забирай, Антонида Петровна! Я старуха, и без плюшевки проживу. Чего мне надо.

— Нет, нет, спасибо, что вы...

— Да чего спасибо-то! Что ты, Антонида Петровна... Разве я добра не помню? Разве я без сердца? Петр Иванович сколько раз из беды меня выручал... Нет, нет, Антонида Петровна, бери! И слушать не хочу...

Антонида Петровна совсем растерялась. Завертела каблуком, зашмыгала носиком, потом что-то забормотала насчет того, что плюшевки, мол, сейчас не в моде.

— Как не в моде? — удивилась Пелагея.— У нас который год нарасхват...

— То раньше... Вы, пожалуйста, извините меня, Пелагея Прокопьевна, но эти жакеты в магазине висят с лета прошлого года...

Тихо, с запинкой, из мехового воротника пролепетала эти слова Тонечка, а Пелагея пошатнулась от них.

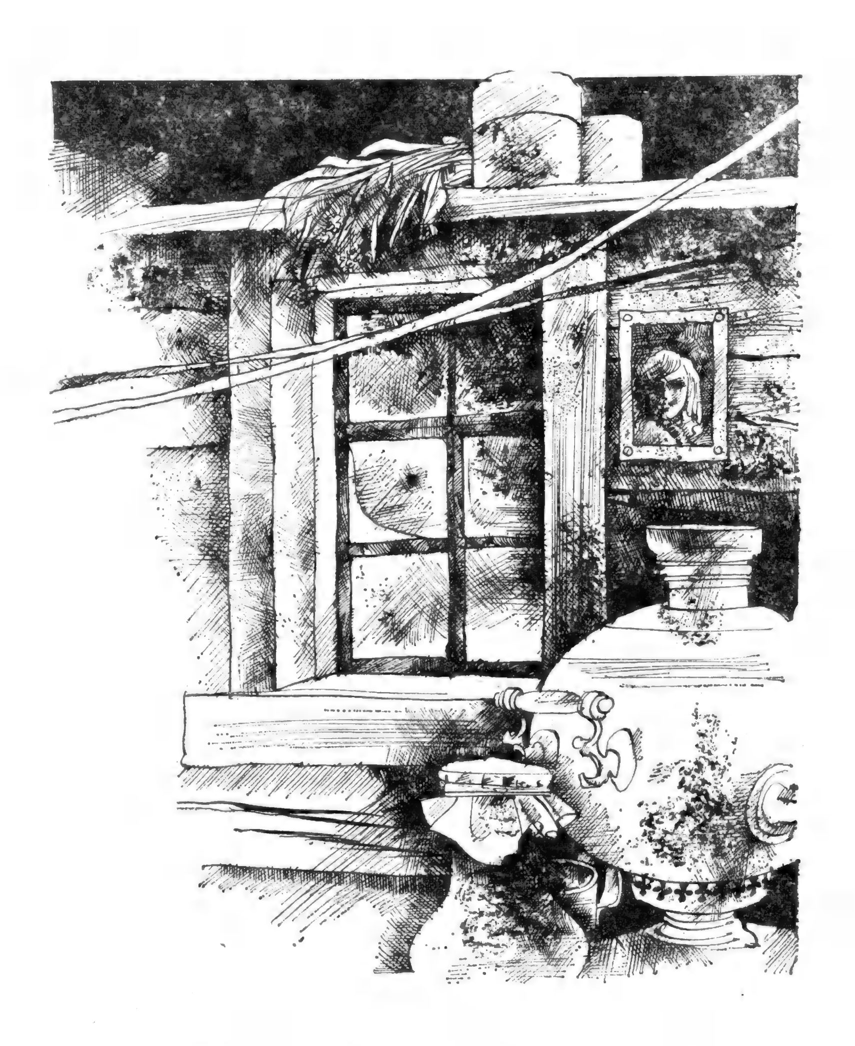
19

Плюшевки все-таки у нее взяли обратно — до самого председателя сельпо дошла.

Но это для нее был удар. Удар страшный. И не то ее повергло в изумление, что ее надули. Нет, об этом она

не думала, это она приняла как должное — всегда кто-нибудь кого-то надувает. Покоя ей не давало другое — то, что она так легко опростоволосилась, попала в ловушку к этой Оксе. Значит, говорила она себе, ты уж не в ладах с жизнью, выпала из телеги. А как же иначе? Лейтенант приезжий надул, эта стерва надула... Да как тут жить дальше?

Нет, прошли ее денечки, и Петр Иванович, видно, не зря скинул ее со своего воза. Отстала. Вышла из моды. Как те плюшевки, на которые накинулась сегодня...



Дома на веревках висели яркие пахучие отрезы крепдешина — ее любимой материи, а в раскрытом лукошке еще отреза два было не разобрано. А она сидела у стола, не раздеваясь, в той самой одежде, в которой ходила в магазин, и — ни-ни — пальцем не пошевелила. И даже не поглядела.

Она думала. Думала об этих злополучных жакетах, которые не могла достать три года, думала об отрезах — и о тех, что висели на веревках, и о тех, которые были

в сундуках. Думала о прожитой жизни. Господи! На что ушла ее жизнь?

Жарилась, парилась у раскаленной печи, таскала ведрами из-за реки помои, выкармливала поросят, недосыпала, мужу отдыха не давала — и ради чего? А ради вот этих крепдешинов да ситцев, ради всего того, что нынче тряпками зовется... Да, да, тряпками. Зачем себя обманывать?

Пелагея вдруг зло расплакалась. А кто, кто виноват, что эти тряпки застили ей и жизнь, и мужа, и все на свете? Разве виновата она, что треть жизни своей голодала? В тридцать третьем году у кого померли отец и брат с голодухи? А во время войны? А после войны, когда на ее глазах исчах ее сын, ее первенец? И был один во все эти годы товар, на который можно было достать кусок хлеба,— тряпки. Потому что люди в те годы обносились донельзя.

Ну и чему же дивиться, что она, как только стала на пекарню, начала обеими руками загребать мануфактуру? Годами загребала, не могла остановиться. Потому что думала: не ситец, не шелк в сундуки складывает, а саму жизнь. Сытные дни про запас. Для дочери, для мужа, для себя...

С этого дня Пелагея опять слегла.

20

Всю зиму болела Пелагея. Правда, лежкой лежала немного, все помаленьку топталась, но работать не могла. Да у нее, если говорить откровенно, теперь и сердце к работе не лежало...

От Альки изредка приходили письма. Короткие, неласковые — поклоны да «живу хорошо». А как хорошо? Одна? С Владиком? И сколько ни кричи — не докричишься. Как в глухом лесу.

Как-то зимой, недели две спустя после Нового года, к ней зашел Сережа Петра Ивановича — пьяный, еле на ногах стоит.

Сережа нравился Пелагее — простой, бесхитростный,— и она не ради Петра Ивановича, а ради самого Сережи стала вразумлять его: нехорошо, мол, Сергей Петрович, так за воротник закладывать, рано тебе еще с бутылкой дружить...

— Рано? — вспылил Сережа и задиристо, совсем как

заправский пьяница, ударил себя кулаком в грудь.— А ежели у меня настроения нет? А ежели у меня душа со своей орбиты сошла?

— Да чего твоей душе надо? Человек с высоким образованием, у всех на виду, здоровьем, слава богу, не обижен — чего еще пытать судьбу?

— Не понимаешь ты, Пелагея... Не понимаешь...

Да, Пелагея и в самом деле не понимала, из-за чего мучается человек. И добро бы он один, Сережа, а то ведь нынешняя молодежь только и знает, что на настроение жалуется. А почему? Отчего? Нет, ей, Пелагее, в их годы было не до настроений. Дай бог кусок хлеба добыть. Да с ними тогда и не церемонились. Утром в лес не вышел, а к вечеру тебя уж в суд повели.

— Не в отца ты, Сережа, не в отца,— сказала Пелагея.— Нету у тебя отцовской хватки...

— И слава богу! — петухом вскинул голову Сережа.

А чего же петушиться? Отец-то себя и с малой грамотой вон как в жизни поставил. А ежели ему бы да такое образование, как у сына!

— Жениться тебе надо, Сережа,— посоветовала Пелагея.— Да жену бери покрепче себя. Без настроений...

— Не буду я, Пелагея, жениться. Вовек! — наотрез заявил Сережа.

— Ну уж это не дело, Сергей Петрович, не дело... Надо жениться. Тогда и с бутылкой скорее расстанешься...

— Не буду! — опять с пылом вскричал Сережа.— У меня сердце разбито... Вдребезги!

— Да кто его разбил?

— Кто? Эх! — Сережа пьяно замотал головой, потом вдруг вскочил на ноги, забегал по избе, и только по тому, как он со вздохом посмотрел на переднюю стену, где рядом с зеркалом висела увеличенная Алькина карточка, Пелагея поняла, кого он имеет в виду.

Она, конечно, не очень верила Сережиным вздохам, мало ли куда занесет человека во хмелю. Но дочери написала: так и так, мол, Алюшка, дорога тебе домой не заказана. Заходил Сергей Петрович, хорошо говорил о тебе...

А Алюшка на это ответила: «Плевать я хотела на твоего Сергея Петровича!» Да еще добавила: «Хватит с меня и того, что ты всю жизнь на Петра Ивановича молишься...»

После этого Пелагея долго не могла успокоиться. Да

что же это такое? — говорила она себе. Как жить дальше? Ведь что бы она ни делала, все невпопад, все мимо...

Но не Алькино письмо сокрушило Пелагею. Сокрушила Пелагею пекарня.

21

Ее давно тянуло на пекарню. Считай, еще с осени, с той самой поры, как заболела.

Думала: стоит только увидеть ей свою пекарню да подышать хлебным духом — и сразу хворь пройдет, сразу прорежется дыханье. И вообще она в жизни ни о чем и ни о ком так не тосковала, как о пекарне. Даже об Альке, родной дочери.

Первый раз за реку Пелагея отправилась было еще в феврале, когда впервые после долгой метели заледенелые окошки вызолотило красное солнышко. Но дальше спуска возле сельсовета не ушла. Из-за стужи. Из-за снежных заносов. Страхи страшные что намело. У сельсовета, под угором, на чистом месте лошади по брюхо ныряют — так что же говорить о ней, хворой бабе?

И вот дождалась она первой затайки.

Утром встала ни свет ни заря. Чистая, благостная — вечером накануне специально сходила в баню, будто к богомолью готовилась. Из дому вышла с батожком — тоже как богомолка. И люди попадались ей навстречу какие-то благостные, просветленные.

Антоха-конюх догнал на санях перед самым спуском к реке — когда бы раньше остановился? А тут натянул вожжи:

— Ты ли это, Прокопьевна? — Да мало того, соскочил с саней, руки к ней протянул: — Ну-ко, поедем вместе. Скользко спускаться.— И так по-хорошему улыбнулся.

Пелагею до слез прошибла Антохина доброта. Она поблагодарила его, но на сани не села.

Всю дорогу какая-то незнакомая, но такая славная музыка нарастала в ее душе — так разве оборвет она ее сама?

И она легким осиновым батожком, который специально раздобыла где-то Маня-большая, щупала отмякшую дорогу, ловила губами теплый южный ветер, порывами налетавший из-за реки, и все ковыляла и ковыляла помаленьку туда, к желтому бревенчатому зданию на угоре среди сосен...

Зато уж домой она шла как пьяная, вся в слезах, не помня себя... И хорошо, на реке ей опять повстречалась подвода — на этот раз бригадир из соседней деревни ехал,— а то бы пропадать ей, ни за что бы не добраться до дому...

Огорчения для Пелагеи начались, едва она подошла к пекарне. Помойка. Возле самого крыльца. Две вороны роются...

Да куда это власти-то смотрят? — возмутилась она. Почему медицина-то спит? Нет, бывало, особенно в голодные годы, каждую неделю к ней фельдшер наведывался. Или сейчас и фельдшера перестали ходить на пекарню, раз сыты?

Она поднялась на крыльцо, открыла наружную дверь — и того чище: поросенок. Бросился ей под ноги с визгом, будто спасаясь от ножа.

Да как же так? — опять с недоумением спросила себя Пелагея. Она, бывало, руки выворачивала, таская домой помои, да с опаской, а тут прямо на виду у всех кормят поросенка. И опять она подивилась недосмотру санинспекции. Навоз, грязь, вонь от поросенка — да как его можно терпеть рядом с хлебом?

Но это еще все были цветочки, а ягодки-то пошли, когда она переступила порог пекарни. Господи! Куда она попала? В сарай грязный? В старую башню из-под силоса? В хлев? Все немыто, засалено, в окошке веник торчит — вот отчего весны в помещении нету.

Но больше всего Пелагею поразило помело.

Бывало, чтобы хлеб духовитее был, чего только она не делала! Воду брала на пробу из разных колодцев, дрова смоляные избави боже — сажа; муку, само собой, требовала первый сорт, а насчет помела и говорить нечего. Все перепробовала: и сосну, и елку, и вереск. А тут вместо помела рогожина. Черная, обгорелая рогожина, намотанная на длинную палку и погруженная в грязное ведро с водой...

Улька-пекариха стала угощать Пелагею чаем — только что сама села за стол, управившись с печью, а Пелагею едва не стошнило от одного Улькиного вида. Потная, жирная, волосы немытые блестят, будто она век в бане не бывала.

И Пелагея, так и не присев, вышла. А на нечищеный самовар и рукомойник, на печь грязную, ни разу не беленную после ее ухода, она не посмела бросить даже про-

щальный взгляд. Потому что все ей казалось, что самовар, и рукомойник, и печь с тоской и укором смотрят на нее...

22

За окном кипела весна.

Всю зиму смотрела Пелагея на мир через копеечный глазок, продутый в обледенелой раме, а теперь половодье света заливало избу. Жить бы, шагать по оттаявшей земле босыми ногами да всей грудью вдыхать теплый ветер из заречья. А она лежала, и дыхание у нее было тяжелое, взахлеб, с присвистом. Точь-в-точь как у старых дырявых мехов в кузнице.

В доме, как в дни болезни Павла, хозяйничала Анисья. Пришла сама.

Но Пелагея не разговаривала с золовкой и не скрывала, что не любит ее. А за что же ее любить, когда она со всей семьи здоровье собрала? Умер молодым Павел, она, Пелагея, может, при смерти лежит, а этой ничего не деется — все рожа заревом. Нет, если бы Маня-большая была немного почище на руку, она бы и дня не терпела возле себя этой здоровенной бабищи. Да что поделаешь — Маня стала прицеливаться к хозяйкину добру, когда хозяйка еще на ногах стояла.

Однажды поздно вечером — уже белые ночи на землю пали — к ней зашел Петр Иванович.

Сколько времени прошло с похорон Павла, с того дня, как они последний раз виделись? Года не будет. А Петра Ивановича так укатало, что она едва и признала его. Осел, лицо запаршивело (кто видал его небритым?), в глазах — глянул — тоска волчиная. Но и это еще не все. Петр Иванович был под хмельком — вот что особенно удивило Пелагею. Слыхано ли, видано ли было такое раньше? Тем-то и силен был Петр Иванович, что власти над собой вину не давал. Выпить, конечно, выпивал, без этого нельзя, раз всю жизнь с начальством, но не качнется — столб железный. А тут от порога шагнул, так и обнесло — кулем шмякнулся на прилавок к печи.

— Зашел проведать. Болеешь, говорят.

— Болею,— ответила Пелагея.

Она попыталась встать: гость пришел, и гость немалый,— но Петр Иванович замахал рукой: лежи, не надо.

Первым словам Петра Ивановича она не придала значения. Петр Иванович, как всегда, заговорил петляво, издалека: о колхозных делах, о том, что в колхозе сейчас жить можно, очень даже неплохо зарабатывает народишко. К примеру, Оська-пастух. Кто за человека считал? А ведь в прошлом годе за один сентябрь месяц двести с лишним рублей огреб.

— Да, так вот ноне,— вздохнул Петр Иванович.— А мы с тобой вроде и неглупые люди, а держали когда такие деньги в руках?

Пелагея кивала в ответ головой: все так, все это она и сама не раз передумала за время болезни — большие перемены в жизни,— и нетерпеливо ждала, когда же Петр Иванович заговорит о деле. Ведь не за тем же пришел, чтобы обсудить с ней колхозные дела?

— Не вовремя мы с тобой родились, вот что,— продолжал Петр Иванович.— Поторопились маленько. Вот Алька твоя, та в пору... Письма-то ходят?

У Пелагеи часто-часто забилось сердце: куда это он клонит? Не с Алькой ли что стряслось? Но ответила спокойно, не выдавая своего волнения.

— Ходят,— сказала она.

— А домой-то не собирается? Не нажилась еще в городе? Не знаю, я дак не уважаю городскую жизнь. Угоришь там от этого чада да шума...

— Да ведь угоришь не угоришь,— опять спокойно ответила Пелагея,— а надо жить. Не одна теперь, о двух головах.

Петр Иванович похрустел пальцами — знакомая привычка: всегда так, когда на что-нибудь решается. И вдруг хватил ее дубиной по голове:

— Имею сведенье: не живет она с этим военным... Одна живет...

По правде говоря, для Пелагеи это не было полной неожиданностью. Где-то в душе она и сама догадывалась, что у Альки по семейной части не все ладно. Но одно дело ее собственные догадки и другое — когда дочь твою валяют в грязи чужие люди. И она, несмотря на всю свою слабость, как зверь, кинулась на защиту родного детища.

— А хоть бы и одна, дак что! — с вызовом сказала Пелагея.— Моя дочь не пропадет. Ина березка и с ободранной корой красавица, а ина и во девичестве сухая жердина...

Намек был страшный — самый тупой человек догадался бы, что она хочет сказать. И она вся внутренне похолодела, даже дышать перестала: лежала и ждала, с какой стороны еще раз оглушит ее Петр Иванович.

А Петр Иванович молчал. Долго молчал. Потом Пелагея приподняла голову и совсем растерялась: у Петра Ивановича в глазу блестела слеза.

Заговорил он тоже необычно: Паладьей ее назвал. По-домашнему, по-деревенски, так, как звал ее когда-то покойный отец.

— Паладья,— сказал каким-то глухим, не своим голосом Петр Иванович.— Я тебя выручал? Не забыла еще?

— Выручал, Петр Иванович... как забыть...

— Ну, а теперь ты меня выручи... Помоги... Ради бога, помоги...

Пелагея едва не задохнулась от удивления. Она еще не знала, о чем ее просят. Но кто просит? Петр Иванович... Ее, Пелагею...

— Парень у меня погибает...— через силу выдавил из себя Петр Иванович.

— Сережа? Да с чего ему погибать-то? С высоким образованием, в почете...

Петр Иванович безнадежно махнул рукой:

— Змий этот зеленый сосет, вот что...— Потом вдруг шагнул к кровати, дрожащей рукой схватил ее за руку.— Ты бы написала Альке... Чего ей там на чужой шататься стороне... Может, и получилось бы дело...

Так вот оно что, поняла наконец все Пелагея, Алькой спастись хочет... Чтобы Алька взяла в руки Сережу... Вот зачем пришел...

Темное, мстительное чувство захлестнуло ее. Она искоса глядела на небритый, вздрагивающий подбородок с ямочкой посредине, на жалкие стариковские глаза, размягченные родительской слезой, и только теперь, только сию минуту поняла, как она ненавидит этого человека. Ненавидит давно, с того самого дня, когда он насчитал на нее пять тысяч рублей.

Господи, она с ума сходила из-за этих пяти тысяч, ночей не спала, чуть ли не в прорубь нырнуть хотела. А он, ирод проклятый, вишь, молодую бухгалтершу проучить решил. Чтобы нос не задирала. А заодно чтобы и хлеб даровой с пекарни получать. Да, да, хлеб! Погрел он руки от нее. Без булки белой за чай не садился. А за что?

За какие такие милости? За то, что в компанию свою ввел, с хорошими людьми за один стол посадил? Да пропади она пропадом и компания евонная, и хорошие люди! Всю жизнь она тянулась к этим хорошим людям, мужика своего нарушила и себя не щадила, а чего достигла? Чего добилась? Одна... Насквозь больная... Без дочери... В пустом доме...

И ей хотелось крикнуть в лицо Петру Ивановичу: так тебе и надо! На своей шкуре спознай, как другие мучаются...

Но вслух она сказала:

— Ладно, напишу, Может, и послушается...

Пелагея плохо помнила, как ушел от нее Петр Иванович. Ее душил кашель, она задыхалась. И в то же время ей было необычно хорошо. Хорошо до слез, до знойного жара в груди. И она хватала запекшимися губами избяной воздух и все больше и больше распаляла свое воображение надеждами. Теми радужными надеждами, которые заронил в нее Петр Иванович.

Она не сомневалась — приедет Алька. Ведь не дура же она круглая. Как не понять, что это счастье. Правда, сам Сереженька, может, и не ахти что, хоть и инженер, да зато отец всем кладам клад. Ах ты господи, говорила мысленно себе Пелагея, в одной упряжке с таким человеком шагать... Да ведь это каких дел можно наворочать!

На какое-то мгновение она потеряла сознание, а потом, когда пришла в себя, ей показалось, что она стоит у раскаленной печи на своей любимой пекарне и жаркое пламя лижет ее желтое, иссохшее лицо.

Она задыхалась. Ей было нестерпимо жарко.

На пол, на пол надо, по старой привычке подумала она. Крашеный пол хорошо вытягивает жар из тела...

Так лежащей на голом полу возле кровати и нашла ее наутро Анисья. Она бросилась поднимать ее. И вдруг отшатнулась, встретившись с неподвижным, остекленевшим взглядом.

Альки на похоронах не было,— с открытием навигации она плавала буфетчицей на одном из видных пассажирских пароходов, ходивших по Северной Двине.

Приехала Алька лишь неделю спустя и первым делом, конечно, оплакала дорогих родителей, справила по ним поминки — небывалые, неслыханные по нашим местам. С участием чуть ли не всей деревни.

Потом два дня у Альки ушло на распродажу отрезов на платья, самоваров и прочего добра, нажитого матерью.

А на пятый день Алька заколотила дом на задворках, возложила прощальные венки с яркими бумажными цветами на могилы отца и матери и к вечеру уже тряслась в районном автобусе. Ей не хотелось упустить веселое и выгодное место на пароходе.

1967—1969

АЛЬКА

1

Новостей тетка и Маня-большая насыпали ворох. Всяких. Кто женился, кто родился, кто помер... Как в колхозе живут, что в районе деется... А Альке все было мало. Она ведь год целый не была дома, а вернее сказать, даже два, потому что не считать же те три-четыре дня в прошлом году, что на похороны матери приезжала.

И вот тетка и Маня-большая только замолчат, рот закроют, а она уж их теребит снова:

— Еще, еще чего?

— Да чего еще...— пожимала плечами Анисья.— Вот клуб строят новый. Культурно жить, говорят, будем...

— Слышала! Сказывала ты про клуб.

— Ну тогда не знаю... Все, кабыть...

Тут Маня-большая — она тоже немало поломала свою старую голову, чтобы угодить гостье,— догадалась наконец разговор перевести на другую колею.

— Все нас да нас пытаешь,— сказала Маня,— а ты-то как живешь-можешь в своем городе?

Алька блаженно, до хруста в плечах потянулась, почесала голой пяткой гладкий, с детства знакомый сук в половице под столом, потом разудало тряхнула своим рыжим, все еще не просохшим после бани золотом:

— Ничего живу! Не пообижусь. Девяносто рэ чистенькими каждый месяц, ну, и сотняга — это уж са́мо ма́ло — чаевые.

— Сто девяносто рублей? — ахнула Маня.

— А чего? Я где работаю-то? В районной столовке или в городском ресторане? Филе жареное, жиго, люля-кебаб, цыплята-табака... Слыхала про такие блюда? То-то! А подать-то их, знаешь, как надо? В твоей столовке районной кашу какую под рыло сунули, и лопай. А у нас — извини-подвинься...

Тут Алька живехонько выскочила из-за стола, переставила с подноса на стол все еще мурлыкающий самовар, чашки и стаканы — на поднос, поднос — на руку с растопыренными пальцами и закружилась, завертелась по избе, ловко лавируя между воображаемыми столиками.

— А задок-от, задок-от у ей ходит! — восхищенно зацокала языком Маня.— Кабыть и костей нету.

— А уж это у нас обязательно! Чтобы на устах мед, музыка в бедрах. Нам Аркадий Семенович, наш директор, так и говорил: «Девочки, запомните, вы не тарелки клиенту несете, а радость».

Алька еще раз показала, как это делается, затем, довольная, с пылающими щеками, опустила на стол поднос с чайной посудой (только сейчас стаканы звякнули), разлила остаток вина по рюмкам.

— Давайте за Аркадия Семеновича! Во мужик — закачаешься! Бывало, выстроит нас, официанток, в зале, покамест в ресторане народу нету, сам за рояль и давай команды подавать: «Девочки, задиком раз, девочки, задиком два...», «А теперь, девочки, упражнение на улыбку...» Сняли. За насаждение порочных нравов... в советском быту... Теперь у нас такой зануда директор — выше колена юбку не подними. Не по кодексу. Я, кажись, скоро стрекача задам. К летчикам, наверно, подамся. По городам летать...

— А Владислав-то Сергеевич как? — спросила Маня.

— Чего Владислав Сергеевич?

— Ну, в части препятствий... Жена с молодыми мужиками...

Алька быстро взглянула на густо покрасневшую тетку и сразу все поняла: это она, тетка, скрыла от всех, что Алька не живет с Владиком. Скрыла, чтобы избежать пересудов деревенских.

Но Алька не любила хитрить, как ее покойница мать, а потому, хоть тетка и делала ей знаки глазами, рубанула сплеча:

— Не живу я с Владиком. Рассчитала на все сто и даже с гаком.

— Ты? Сама? — У Мани от удивления даже нижняя губа отвисла. Точь-в-точь как у Розки, старой кобылы-доходяги, на которой в последнюю зиму перед болезнью отец возил дрова для сельпо.

— А чего? Он шантрапа, алиментщик заядлый, а я чикаться с ним буду, да?

— Кто алиментщик? Владислав-то Сергеевич алиментщик? — еще пуще прежнего удивилась Маня.

— Ну! Да еще алиментщик-то какой! Двойной. Я сдуру-то, когда он от нас удрал, не сказавши, обревелась... Думаю — все: пропала моя головушка. К евонному начальству в городе прикатила — слова сказать не могу: вот какая деревенская дуреха была! А потом как начальник-то сказал мне, хороший такой дядечка, полковник с усами, что у Климашина и так двойные алименты, я дай бог силы. И руками и ногами отпихиваться стала. Сообразила! Он восемнадцать лет ползарплаты платить будет, а мне вприглядку глядеть?

Вдруг голосистая бабья песня ворвалась в избу, от грохота грузовика задрожали стекла в рамах.

Алька кинулась к раскрытому окошку, но машина уже проскочила — только пыль клубилась на дороге.

— Свадьба, что ли, какая? — спросила она у старух.

— Не, то скотницы,— ответила Анисья.— С утрешней дойки едут. С поскотины. Все вот ноне так. Завсегда с песнями.

— А чего им не с песнями-то? — фыркнула Маня.— Деньжища загребают — ой-ой!

— А Лидка Вахрамеева, подружка моя, по-прежнему в доярках?

— В доярках. Только теперь она не Вахрамеева, а Ермолина.

— Кто — Лидка не Вахрамеева? Да чего же вы молчали?

— Да я писала тебе,— сказала Анисья.— Еще зимусь вышла. За Митрия Васильевича Ермолина.

— Чего-чего? За Митю-первобытного? — Алька расхохоталась на всю избу.— Ну и хохма! Да мы, бывало, с ней первыми потешались над этим Митей!

— А теперь не потешается. Теперь — муж. Хорошо живут. Хорошая пара. А уж Митрий-то — золото!

— Да какое золото! — хмыкнула Маня.

— Нет, нет, не хинь, Архиповна, Митрия! — горячо вступилась за Митю Анисья.— Человек весь колхоз отстроил — шутка сказать! А сами-то они коль дружны — ноне-ка такого и не увидишь. Я тут на днях встретила — к реке идут с бельем, Митя сам корзину несет. Ну-ко, кто из нонешних мужиков женке своей пособит? И вина не пьет...

— А все равно недотепа, мозги набекрень,— твердила свое Маня, и из этого Алька заключила, что старуха не сумела пробить лаз к Мите и Лидке — это уж наверняка, раз она с таким усердием поливает их грязью.

2

Алька уже выбегала сегодня на улицу и, как говорится, успела и ноги в утрешней росе прополоскать, и солнышка утрешнего ухватить; а вот как она истосковалась по своей деревне — козой запрыгала от радости, когда спустилась с крыльца.

Ей всюду хотелось побывать сразу: и на горках, за дорогой, у черемухового куста, возле которого она, бывало, с отцом поджидала возвращавшуюся с пекарни усталую мать; и на лугу, под горой, где все утро заливается сенокосилка; и у реки...

Но верх над всем взяла деревня.

Деревни, по сути дела, она еще не видела. Приехала ночью, в закрытом райкомовском «газике» (чтобы пыли меньше было) — много ли наглядишь? А утром — глаза не успела продрать — Маня-большая. Никто не звал, не извещал — сама приперлась. Просто нюхом своим собачьим учуяла, где задарма выпить можно.

Первый человек, которого встретила Алька на улице, была Аграфена — длинные зубы. Соседка. Через дом от тетки живет. В детстве, случалось, и вицей ее драла — злая, ухватистая старуха. А тут — просто потеха! — не признала. Потыкала, пожевала ее своими оловянными глазищами, а голосу так и не подала. Штаны сбили с толку?

Штаны у нее — шик. Красные, шелковые — прямо огонь на ногах переливается. Да и все остальное, кстати сказать,— первый сорт. Белая кофточка с глубоким вырезом на груди, туфли модные на широком каблуке, сумочка черная, ремешок через плечо — чем не артистка?

Завидев дом Петра Ивановича,— как белопалубный

пароход выплыл на повороте дороги — Алька подтянулась. Хоть и никогда она не заискивала и не лебезила перед этой старой лисой, а все-таки и она в Летовке родилась: знала, кто Петр Иванович.

Но, господи, разве обойдешь, объедешь в страдную пору ихнюю Лампу? Вынырнула из полевых ворот с большущим кузовом травы — в небо упирается, как сказала бы мать. Босиком, в бабьем платье до пят, вся употела, ужарела — ну как тут не признать свою учительницу!

Да, вот так: Гагарин шар земной вокруг облетел и помереть успел, американцы на Луну слетали, она, Алька, бабой стала, а ихняя Лампа без перемен: как шлепала с кузовом травы десять-пятнадцать лет назад, так шлепает и сейчас. Правда, укорять Евлампию Никифоровну за то, что она всю жизнь возится с коровой, может, и не стоит — тяжело, голодно жили после войны. Но ведь сейчас не старые времена. Сейчас колхозники, и те не очень-то за буренку держатся, а ведь она учительница — ей ли всю жизнь из навоза не вылезать?

Алька вспомнила про черные очки в белой пластмассовой оправе — Томка перед отъездом навязала,— быстро вынула их из сумочки, надела на глаза, напустила на себя строгость и двинулась к Евлампии Никифоровне — та как раз пристроилась к изгороди на передышку, одной рукой кузов с травой поддерживая, а другой по-бабьи, головным платком вытирая свое запотелое лицо.

— Гражданка, вы что же это? Ай, ай, ай! Нехорошо!

— Да чего нехорошо-то? Не знаю, как вас звать, величать...

— Траву нехорошо с колхозного луга таскать.

— Да я вовсе и не с луга. Я закраишек у полей маленько покочкала,— начала жалостливо канючить Евлампия Никифоровна. Ну точь-в-точь как деревенская баба, которую поймал с травой председатель колхоза.

Алька кашлянула для важности, нажала на басы:

— Какой пример колхозникам подаете, товарищ Косухина?

— Нехороший, нехороший пример. Это вы правильно сказали. Учту...

— То-то же! А то ведь можно и оштрафовать. Понятно вам?

Тут уж Евлампия Никифоровна начала просто расстилаться перед грозным начальством:

— Понятно, как не понятно. Ну, вы-то учтите, уважа-

емая,— болею я. А травка-то у нас далеконько, а коровушка-то у меня молодая, без травки и не подоить...

— Ладно, товарищ Косухина. Только чтобы это последний раз.

— Последний, как не последний. Все будет сделано, как говорите. Сама не буду ходить и с другими работу проведу...

Больше Алька выдержать не могла — так и схватилась за живот, а потом сняла очки и, как ни в чем не бывало, сказала:

— Здравствуйте, Евлампия Никифоровна.

Евлампия Никифоровна с минуту, наверно, перебирала своими толстыми, потрескавшимися от жары губами. Наконец разродилась:

— Все безобразничаешь, Амосова.— Она ни разу в жизни не назвала ее по имени.

— Да это я в шутку, Евлампия Никифоровна. Смех, сказал Хо Ши Мин, тот же витамин.

Евлампия Никифоровна потянула воздух носом.

— А напилась тоже в шутку?

— Да что вы, Евлампия Никифоровна... Вот, ей-богу, нельзя уж и привальное справить, да маму с папой помянуть.

— Родителей не так, Амосова, поминают. Родители у тебя труженики были. Пример для всех...

— А я что — не труженица? Тунеядка какая? Не сама хлеб зарабатываю?

Евлампия Никифоровна строгим учительским оком оглядела Альку, задержалась взглядом на ее красных, жарких, как пламя, штанах.

— Моральности не вижу, Амосова. Моральный кодекс строителя... Ну да ты еще в школе не больно честь девическую берегла...

Алька крепко, так, что слезы из глаз брызнули, закусила нижнюю губу, затем живо кивнула на двух работяг из смехколонны — так прозвали у них за пьянство мехколонну, которая еще в ее бытность в деревне начала ставить столбы для электросети, да так до сих пор и ставит.

— Это что, Евлампия Никифоровна, электричество у нас будет?

— Электричество, Амосова,— назидательно сказала Евлампия Никифоровна.— Колхозная деревня за последние годы добилась больших успехов...

— Значит, и у нас скоро будет лампочка Ильича?

— Будет, Амосова. Стираются грани и противоположности между городом и деревней...

Алька простодушно, совсем как ученица, потупила глаза — чего-чего, а сироту она разыграть умела.

— Евлампия Никифоровна, а когда лампочки Ильича у нас зажгутся, что же с лампами керосиновыми будет? В утиль их сдадут але как?

Евлампия Никифоровна так и осталась стоять с разинутым ртом, не больше, не меньше как Аграфена — длинные зубы, а она, Алька, еще и задом крутанула: на, получай сполна, святоша!

3

Переживать, травить себя из-за того, что кое-какую припарку Лампе сделала? Нет, Алька и не подумала. Во-первых, Лампа заслуживает. Все девчонки и ребята стоном стонут из-за нее, когда в техникум или училище поступают. Все хорошо сдают — математику, физику, географию, а до русского письменного дошли — и сели. А во-вторых, когда переживать?

Новые дома (штук пять насчитала за хоромами Петра Ивановича), бабы, ребятишки, собаки — все так и навалилось на Альку, едва она отчалила от Лампы.

Пека Каменный, выскочивший из-за угла на колесном тракторе, можно сказать, сразил ее наповал. Давно ли, в прошлом году, наверно, еще за каждой машиной гонялся — подвезите! Дайте проехаться! — а теперь вот и сам за рулем. Рот мальчишечий до ушей — через стекло видны белые редкие зубы, круглое лицо закопчено, как у трубочиста,— иначе какой же ты механизатор! — и веточка красной смородины над радиатором. Для форсу — знай наших!

Увидев ее, Пека высунул из кабины свою счастливую белозубую мордаху, крикнул:

— Чего такие штаны надела? Сожгешь еще у нас деревню-то! — И весело, по-детски захохотал: самому понравилась шутка.

Штаны, между прочим, зацепили и Паху Лысохина, который громко, как все глухие, закричал со стены — дом зятю, рабочему из-за реки, строит:

— Флагом задницу обернула — мода теперь такая, а?

С Пахой Лысохиным Алька с удовольствием бы поточила зубы. Веселый старик. Третью жену недавно схоро-

нил, а, по рассказам тетки, уж к Дуне Девятой подбирается. На сорок пять лет моложе себя.

Но до старика ли, до трепа ли было Альке сейчас, когда впереди, напротив школы, замаячил новый клуб под белой шиферной крышей!

Про клуб этот она уже знала — тетка и в письмах писала ей и сегодня утром, за чаем, сказывала, а вот что значит собственными глазами увидеть: дух от радости перехватило, сердце запрыгало в груди.

— Сюда, сюда, красуля!

Засмотревшись на большущее брусчатое здание, у которого не было еще ни дверей, ни рам, Алька и не заметила строителей. А они поленницей лежали на дощатом настиле перед окнами — черные, белокурые, рыжие, кто в трусах, кто в плавках, и синий дымок от сигарет плавал над их головами.

— Загораем, мальчики? — она, как в кино, вскинула руку (привет, дескать), а потом лихо прошила своими красными штанами выгоревший пустырь, отделявший дорогу от стройки.

Строители вскочили на ноги, задробили, заприплясывали, в воздух полетели штаны, рубахи, кеды, и Алька сразу поняла, что это за публика. Студенты. Главная рабочая сила в ихнем колхозе летом.

— Ну, показывайте ваш объект,— сказала Алька. Она еще и не такие словечки знала: не зря два года в городе прожила.

К ней чертом подскочил чернявый студент со жгучими усиками, как сказала бы Томка, Вася-беленький, каких та особенно любила. Он успел уже когда-то натянуть на себя защитную штурмовку с закатанными по локоть рукавами и такие же защитные джинсы со множеством светлых металлических заклепок.

— Прошу,— сказал он, шутливо выгибаясь в поклоне, и подал ей согнутую в локте руку.

Алька приняла руку, по сходням поднялась в помещение.

Клуб был что надо. Фойе, зал для танцев, зал для культурно-массовых мероприятий (да, так и сказал Вася-беленький, он был у студентов за старшего), две большие комнаты для библиотеки. Хорошо! Непонятно только, кто будет танцевать и культурно проводить время в этих залах: в деревне зимой студентов и отпускников нету, а свою коренную молодежь по пальцам пересчитать можно.

— Эх, жалко,— вырвалось у Альки,— музыки нету. Не потанцевать в новом клубе.

— Кто сказал, что музыки нету? — воскликнул Вася-беленький.

И тут произошло чудо: рокаха! Самая настоящая рокаха загремела в заднем углу, где были сложены всякие инструменты.

Альку бросило в жар — с детства самая любимая работка — молотить ногами.

Ну и дала жизни, обновила половицы в новом клубе. Сперва с Васей-беленьким, потом с другим, с третьим, до десятка счет довела.

Студенты выли от восторга, рвали ее друг у друга, но Алька не забывалась: в деревне — не в городе. Скачи да и по сторонам поглядывай, а то попадешь старухам на зубы — жизни не рада будешь.

— Спешу, спешу, мальчики! В другой раз.

Затем прежний, по-киношному, взмах рукой, широкая улыбка для всех сразу и пошла вышивать красные узоры по выжженному солнцем пустырю.

4

В деревне, в страдную пору, ежели и есть где жизнь днем, так это на почте. Почту, в отличие от колхозной конторы и сельсовета, ради работы не закрывают, а потому все отпускники первым делом тащатся на почту.

Алька, однако не добралась в этот день до почты. Ибо только она вышла на земляничный угор к старой церкви, как заячьими криками взорвался воздух:

— Аля! Аля!

Кричали из-под угора, с луга, кипевшего разноцветными платками и платьями. И не только кричали, а и махали граблями: к нам, к нам давай!

Алька много не раздумывала: туфли на модном широком каблуке в руку и прямо вниз — только камни на тропинке заскакали. А как же иначе? Ведь если на то пошло, она больше всего боялась встречи со своими вчерашними подружками: как-то они посмотрят на нее? Не начнут ли задирать свои ученые носы студентки и старшеклассницы?

Сено на лугу, под самым угором, было уже убрано, и ох же как впились в ее голые ноги жесткие, одеревенев-

шие стебли скошенной травы. Но разве она неженка? Разве она не дочь Пелагеи Амосовой?

В общем, колючую луговинку перемахнула, не поморщившись, с ходу врезалась в девичий цветник.

— Аля, Аля! — Десятки рук обхватили ее — за шею, за талию,— просто задушили.

— Девки, девки, где наша горожаха?

А вот это уже Василий Игнатьевич, ихний председатель сельсовета, да бригадир колхоза Коля-лакомка, два старых кобеля, которые всю жизнь трутся возле девок. Трутся вроде так, из-за своего веселого характера, а на уме-то у них — как бы какую девочку прижать да облапить.

Девки со смехом, с визгом рассыпались по лугу, ну, а Алька осталась. Чего ей сделается? А насчет того, чтобы осудить ее за вольность, это сейчас никому и в голову не придет. На публике, на виду у всех — тут все за шутку сходит.

Но все-таки она не считала ворон, когда Василий Игнатьевич взял ее в оплет (просто стон испустил от радости) — туфлями начала молотить по мокрой, потной спине. Крепко, изо всей силы. Потому что, если говорить правду, какая же это радость — осатанелый старик тебя тискает?

Возня на этот раз была короткой, даже до «куча мала» не дошло дело. Старухи и женки завопили:

— Хватит, хватит вам беситься-то! Не видите, что над головой.

Над головой и в самом деле было не слава богу: тучки пухлые катались. Как раз такие, из которых каждую минуту может брызнуть. Но тучки эти еще куда ни шло — ветришко начал делать первые пробежки по лугу.

Василий Игнатьевич кинулся к своим граблям, брошенным возле копны,— теперь уж не до шуток. Теперь — убиться, а до дождя сено сгрести.

— Девчата, девчата, поднажми! — закричал.

А девчата разве не свои, не колхозные? Неужели не понимали, какая беда из этих тучек грозит? Разбежались с граблями по всему лугу еще до председательской команды.

Коля-лакомка, весь мокрый (два ведра воды девки вылили), на бегу кинул свой пиджак: постели, мол, на сено — мягче сидеть.

Но Алька даже не посмотрела на пиджак. Она быстро надела свои шикарные туфли на широком модном каблуке, схватила чьи-то свободные грабли и давай вместе со всеми загребать сено. Потому что, ежели сейчас рассесться на виду у всех, как предлагает ей Коля-лакомка, разговоров потом не оберешься. Старухи и женки все косточки перемоют, да и девчонки не будут на запоре рот держать.

Василий Игнатьевич дышал, как загнанная лошадь, охапки поднимал с воз и все-таки не успевал копнить все сено. Пигалицы, самая мелкота вились вокруг него, а ковыряли грабельками — росли перевалы.

Ему пыталась подсобить Катя Малкина, внучка старой Христофоровны, такая же совестливая да сознательная, как сама Христофоровна, да разве это по ней работа?

И вот Алька начала понемногу захватывать сено, так, чтобы поменьше мельтешилась в глазах эта трудолюбивая малявка, потому что охапки носить она не приспособлена сегодня — не та одевка, а во-вторых, с какой стати рвать жилы? Рогатка, что ли, у нее во дворе плачет?

Но бабы, до чего хитры эти бестии бабы!

— Алька, Алька, не надорвись!

— Алька, Алька, побереги себя!

Ну и тут она не выдержала.

Знала, помнила, что подначивают, нарочно заводят, а вот, поди ты,— завелась. Сроду не терпела срамоты на людях.

В общем, колесом завертелось все вокруг. Василий Игнатьевич — охапку, она — две. Василий Игнатьевич — шаг, она — три.

Белая кофточка на ней взмокла (с превеликим трудом достала в одном магазине через знакомую продавщицу) — плевать! По зажарелому лицу ручьями пот — плевать! Руки голые искололо, труха сенная за ворот набилась — плевать, плевать! Не уступлю! Ни за что не уступлю!

И не уступила.

Василий Игнатьевич, старый греховодник, когда кончили луг, не то чтобы облапить ее (самый подходящий момент — такое дело своротили!), даже не взглянул на нее, а тут же, где стоял, свалился на луг.

Да и Коля-лакомка, даром что намного моложе председателя, тоже не стал показывать свою прыть.

5

Три часа, оказывается, без перекура молотили они — вот какой ударный труд развернули!

Это им объявил только что подошедший председатель колхоза — он тоже, оказывается, работал, только на другом конце луга, со старухами.

Председатель был рад-радехонек — много сена наворочали. Девчонки подсчитали: 127 куч [1]!

— Тебя, Алевтина, благодарю. Персонально. Ты свои штаны, как знамя, подняла на лугу.

— Да, да, умеет робить. Не испотешилась в городе.

Бабы снятыми с головы платками вытирали запотелые, зажарелые лица, тяжело переводили дух, но улыбались, были переполнены добротой. Точь-в-точь как мать, когда та, бывало, досыта наработается.

Кто-то к этому времени поднес ведро с водой, и председатель колхоза, зачерпнув кружку, собственноручно подал Альке: дескать, премия. И люди — ни-ни. Как будто так и надо.

В кружке плавала сенная труха — наверняка ведро стояло где-нибудь под копной, в холодке, но она и не подумала сдувать труху, как это бы сделала ее брезгливая мать: всю кружку выпила до дна, да еще крякнула от удовольствия.

Председатель совсем расчувствовался:

— Переходи в колхоз, Алевтина. Берем!

— Нет, нет, постой запрягать в свои сани! Дай советской власти слово сказать.

Василий Игнатьевич подал голос. Отлежался-таки, пришел в себя. Грудь, правда, еще ходенем и руки висят, но глаз рыжий уже заработал. Как у филина заполыхал. Вот какая сила лешья у человека!

— Нет, нет,— сказал Василий Игнатьевич.— Я первый. Мне помощницу надо.

— Тебе? По какой части? — игриво, с намеком спросил председатель колхоза и захохотал.

Василий Игнатьевич строго посмотрел на него, умел осадить человека, когда надо, иначе бы не держали всю жизнь в сельсовете, сказал:

— У меня Манька-секретарша к мужу отбывает. Так что вот по какой части.

---

[1] Куча — копна.

Тут бабы заахали, замотали головами: неуж всерьез?

Сама Алька тоже была сбита с толку. Грамотешка у нее незавидная, мать, бывало, все ругала: «Учим, учим тебя, а какую бумажонку написать — все иди в люди»,— кому нужен такой секретарь?

Взгляд Василия Игнатьевича, жадно, искоса брошенный на нее, кажется, объяснил ей то, до чего бы она так и не додумалась.

Э, сказала она себе, да уж не думает ли он, старый дурак, шуры-муры со мной завести? А что — раз ни баба, ни девка — почему и не попробовать в молодой малинник залезть?

Меж тем бабы засобирались домой. На обед.

К Альке подошла тетка — она, конечно, была тут, на лугу. Старая колхозница — разве усидеть ей дома в страдный день?

— Пойдем, дорогая гостьюшка, пойдем. Я баню буду топить. Вон ведь ты как выгвоздалась.

Выгвоздалась она страсть: и кофточку, и штаны придется не один час отпаривать, а может, и вовсе списывать. Так что восемьдесят-девяносто рубликов, можно сказать, плакали.

Э-э, да тряпки будут — были бы мы!

Задор, лихая удаль вдруг накатили на Альку.

— Девчонки, айда на реку!

Девчонки, казалось, только этой команды и ждали. С криками, с визгом кинулись вслед за ней.

6

Малявки поскидали с себя платьишки еще по дороге — это всю жизнь так делается, чтобы без задержки, с ходу в реку, а когда спустились с крутого увала на песчаный берег, быстро разделись и девчонки. Разделись и со всех сторон обступили Альку.

Все ясно, усмехнулась про себя Алька,— какой у тебя купальник? Так уж устроены все девчонки на свете — с рождения тряпичницы.

Есть, есть у нее купальник. Такой, что в ихней деревне и не снился никому,— темно-малиновый, шерстяной, с вшитым белым ремешком, с карманчиком на молнии (зимой три часа на морозе выстояла за ним в очереди). Но разве она думала, что ей придется купаться сегодня?

И все-таки — врете! Не у вас — у меня будет самый красивый купальник!

В один миг Алька сбросила с себя все до нитки.

Девчонки ахнули: им и в голову ничего подобного не могло прийти, потому что кто же нынче купается голышом? Трехлетнюю соплюху, и ту не затащишь в воду без трусиков.

На ребячьем пляже — рядом — закрякали, застонали, но и там скоро захлебнулись.

Гордо, слегка откинув назад голову, понесла она к воде свое молодое, цветущее тело.

Под ногами певуче скрипел мелкий белый песок, жаркий травяной ветер косматил ей волосы, обнимал полные груди, собачонкой юлил в ногах.

— Альчик,— сказал ей однажды расчувствовавшийся Аркадий Семенович,— я бы, знаете, как назвал вас, выражаясь языком кино? — Он любил говорить красиво и интеллигентно.— Секс-бомбой.

— Это еще что? — нахмурилась Алька.

— О, это очень хорошо, Альчик! Это... как бы тебе сказать... безотказный взрыватель любой, самой зачерствелой клиентуры. Это солнце, растапливающее любые льдины в мужской упаковке...

И это верно. На самую трудную и капризную клиентуру высылали ее. Или, скажем, начальство в ресторан пожаловало, да еще не в духе — кого послать, чтобы привести его в божеский вид? Ее, Альку.

Она попробовала ногой воду — теплая, посмотрела на небо — черной тучей перекрыло солнце, посмотрела на всполошившихся сзади девчонок и побежала вглубь: чего бояться? Разве впервой купаться при дожде?

Реку она переплыла без передышки, вышла на берег, ткнулась в песок.

Девчонки ей кричали: «Аля, Аля!» — махали платьями с того берега (похоже, и в воду не заходили), а она, зарывшись в теплый песок, сжимала руками мокрую голову и молча глотала слезы.

Ее с первого класса в школе считали отпетой, а мать, как она запомнила, только и твердила ей: «Смотри, сука! Только принеси у меня в подоле — убью!» А она, поверит ли кто, до позапрошлого лета не переступала черты. Целоваться целовалась и тихоней, как некоторые, не прикидывалась: гуляю! Сама, ежели надо, на шею парню вешалась. Но ниже пояса — ша! Посторонним вход запре-

щен. И даже в тот день, когда нежданно-негаданно на пекарню нагрянула мать с ревизией, она не отступила от этого правила. А уж как в тот день не приступал к ней Владик! Просто руки выламывал.

Мать, родная мать, можно сказать, толкнула ее в руки Владика. Влетела в пекарню, глаза горят — что тут выделываешь, сука? За этим тебя сюда послали? А потом вдруг ни с того ни с сего поворот на сто восемьдесят градусов: винцо на стол и чего, Алевтинка, дуешься? Чего кавалера не завлекаешь?

Вот этого-то она, Алька, и не могла стерпеть. Она сказала тогда себе, выскакивая из окошка пекарни: ежели догонит меня Владик, пускай что хочет со мной делает.

Владик догнал ее у реки, почти на том самом месте, где она сейчас лежала...

7

Дождь хлынул как из ведра — без всякой разминки — и в один миг смыл с нее тоску. Да и некогда было тосковать. Почерневшая река застонала, закипела — страшно в воду войти, а не то что плыть.

На домашнем берегу, когда она, пошатываясь, вышла из воды, не было уже ни одной души: все удрали домой — и девчонки и ребята.

Она коротко перевела дух, сгребла в охапку свои шмутки — не до одеванья было сейчас! — и большим белым зверем кинулась в шумящую грохочущую темень...

Гроза начала стихать, когда Алька была уже в поле, на своей Амосовской меже [1].

Дождь лупил по-прежнему, будто в пять-десять веников хлестали ее по спине, по ногам, по животу, по-прежнему слепила глаза молния, но гром уже уходил в сторону. И вдруг, когда она выбежала из полей на луг, снова загрохотало. Да так, что земля застонала и загудела вокруг.

Ничего не понимая, она остановилась, глянула туда-сюда и просто ахнула. Кони, сорвавшиеся с привязи, носились по выкошенному лугу у озерины. От их копыт шел громовой раскат.

Она разом вся натянулась — так бы и кинулась наперегонки! — но одумалась: из деревни увидят, девка с ло-

---

[1] В данном случае — тропинка, дорожка.

шадями голая по лугу бегает — что подумают? Зато уж в гору она вбежала без передышки — отвела душеньку и на теткину верхотуру влетела — тоже ступенек не считала.

— У-у, беда какая! Гольем...

— Да откуда ты, девка? У нас, кабыть, еще середка дни одевку не сымают?

Старухи! У тетки пусто никогда не бывает, а сегодня, похоже, весь околоток собрался. Афанасьевна, Лизуха, Аграфена — длинные зубы, Таля-ягодка, Домаха-драная и, конечно, Маня-большая... Шесть старух! Нет, семь.

Христофоровна еще в уголку за спинкой кровати сидела.

Бросив к печи, на скамейку, мокрые красные штаны и белую кофточку (она, конечно, была не «гольем», а в лифчике и трусиках), Алька прошла за занавеску, быстро переоделась и выкатила к старухам в коротеньком, на четверть выше колена, платьишке — нарочно, чтобы позлить их.

Но старухи поумнели, видно, покамест она была за занавеской — ни одна не проехалась насчет ее платья; да, по правде говоря, ей и плевать хотелось на их суды-пересуды: она так проголодалась за день, что как собака накинулась на уху из мелкой местной рыбешки, которую Анисья уже поставила на стол.

— Ешь, ешь, девка,— одобрительно закивали старухи.— Заслужила.

— Как не заслужила! Двух мужиков до смерти загнала. Василий-то Игнатьевич, сказывают, без задних ног — в гору подняться не мог. На лошади увезли.

— Дак ведь родители-то у ей какие! Что матерь, что отец...

— Да, да! Уж родители-то твои, девка, поработали. У-у, какие горы своротили!

Так ли — от души, от сердца нахваливали ее старухи и добрым словом помянули отца с матерью или лукавили маленько в расчете на легкую поживу — кто их разберет. Только Алька, не долго думая, выкинула на стол десятку: вот вам от меня привальное, вот вам поминки.

Маня-большая вприпляс побежала в ларек, у Аграфены — длинные зубы заревом занялось лошадиное лицо — тоже выпить не любит, и Домаха-драная с Талей-ягодкой не замахали руками. Отказались от рюмки только Христофоровна да Лизуха.

— Чего так? — спросила Алька.— Деньги копить собрались?

— Како деньги. Велика ли наша пензия...

— Староверки! — презрительно фыркнула Маня-большая.— У нас та, дура-та стоеросовая, тоже в ету компанию записалась.

Алька переспросила: кто?

— Матреха. Кто же больше?

— Маня-маленькая? — несказанно удивилась Алька.

— Ну.

— И не пьет?

— Не. По ихней леригии ето дело запретно.

— Для души твердого берега ищут...— какими-то непонятными, не совсем своими словами начала разъяснять тетка, и из этого Алька поняла, что и она где-то в мыслях недалеко от того берега.

— Ладно,— отмахнулась Маня-большая, наливая себе новую стопку,— плакать не будем. Нам больше достанется.

— Ты-то бы помолчала, бес старый! — сердито замахнулась на нее рукой строгая Афанасьевна (она только из вежливости пригубила рюмку).— Сама-то бы ты пей, лешак с тобой! Да ты ведь и ребят-то молодых в яму тащишь. «Толя, засуху спрыснем... Вася, давай облака разгоним...»

В воздухе, как говорится, запахло скандалом — всем известно было, что у Афанасьевны внук спился, и Алька вмешалась.

— Не переживай,— сказала она Афанасьевне.— Береги здоровье. Ноне все пьют. У нас в городе знаешь, кто не пьет? Тот, у кого денег нету, да тот, кому не подают, да еще Пушкин. А знаешь, почему Пушкин не пьет? Потому что каменный — рука не сгибается...— Алька коротко рассмеялась.

Старухи тоже пооскаляли беззубые рты, хотя анекдота, конечно, не поняли: в городе добрая половина ни разу не бывала — откуда им знать про памятник?

Христофоровна — она морщила чаек, вернее, кипяток на черничной заварке — учтиво спросила:

— А домой-то уж не собираешься, Алевтина?

— Чего она дома-то не видала? — с ходу ответила за Альку Маня-большая.

— Да хоть те же хоромы родительские. Я поутру на свое крылечко выйду да увижу ваш домичек — так-то

жалко его станет. Невеселый стоит, как, скажи, сирота бесприютная...

— Запела! Нонека деревни целые закрывают да сносят, а она по дому слезу лить... Епоха,— добавила по-книжному Маня-большая и икнула для солидности.

Алька со своей стороны тоже успокоила старуху (хорошая! В детстве всегда подкармливала ее, когда мать задерживалась на пекарне):

— Хорошо живу, Христофоровна. И место денежное, и работа — не заскучаешь. А уж насчет еды — чего хошь. Только птичьего молока разве нету.

Аграфена — длинные зубы не без зависти сказала:

— Чего там говорить. Кабы худо было — не бежали бы все в города.

— Да пошто все-ти? — возразила тетка.— Вон у нас Митрий Васильевич... В городе оставляли — не остался...

— И мой племяш возвернулся,— сказала Лизуха.— Я, говорит, тетка, деревню больше уважаю...

— Не сидят, не сидят ноне люди на месте,— снова вступила в разговор Христофоровна, которая только что закончила пить чай и по-старинному опрокинула свою чашку кверху дном.— Все чего-то ищут. Нашим, деревенским, города не хватает, а тем опять — из города — деревни...

— Каким ето тем не хватает деревни? — усмехнулась Маня-большая.— Я что-то таких не видала.

— Да как не видала. У меня девушки-студентки из города целый месяц жили — разве забыла?

— А, ети ученые-то огарыши...

— Нет, нет, Марья Архиповна,— мягко, но твердо возразила Христофоровна,— нельзя так. Не заслужили. Уж хоть говорится — городские люди шибки, а я того не скажу. Хорошие, уважительные девушки. Без спросу воды из ушата не напьются, а не то чего... Я говорю: чем так у нас пондравилось — третье лето подряд ездите? Смеются: «За живой водой, говорят, бабушка...»

Маня-большая ядовито захихикала — страсть не любила, когда при ней хвалили кого-нибудь,— но Алька так посмотрела на нее, что та живо язык прикусила.

И вот снова летним ручейком побежала неторопливая речь Христофоровны:

— Не пообижусь, не пообижусь на девушек. Уважительные, разговористые. За мной весь день ходят, чуть не

по пятам ступают да все, что ни скажу, записывают. Что вы, говорю, девушки? Зачем вам все это? Чего, говорю, вам темная старуха наскажет — ни одного дня в школу не ходила? Вас, говорю, надо записывать, а не меня, вы, говорю, институты кончаете, науку учите. Смеются да целуют меня: еще, еще, бабушка... Да чего еще-то? «Да про эти институты, про науку...»

— Видно, нынешние-то науки послабже против прежних, раз бабку старую теребят,— заметила Аграфена — длинные зубы.

На это Алька решительно возразила:

— Ничего подобного! Наука у нас хорошая, передовая — кто первый спутник запустил? — Она не могла молчать в таком разговоре, ей надо было свою марку поддержать.— А что студенты к вам ездят да всякие сказки записывают, дак это так и надо. Поняли?

— А туески-то им берестяные зачем? — спросила Таля-ягодка.— Ко мне на подволоку залезли — всю пыль собрали, два туеска да старую ложку нашли. Ложка некрашена, большая — не в каждый рот влезет, быват, еще дедко наш ел. Да что вы, говорю, девки, с ума посходили! Неужто, говорю, из такой страховодины исть будете? «Будем, будем, бабушка!» Тоже все на смех...

— А почем иконы-то в городе? — Домаха-драная рот раскрыла. С позевотой. Всю жизнь на ходу спит. Мужик, говорят, порол-порол, да так и умер, не отучивши.

— Да, да,— поддержала Домаху Афанасьевна,— был у нас в прошлом году мужик с черной бородой, из каких-то нерусичей. В каждом дому иконы спрашивал.

Насчет икон у Альки не было определенного мнения. С одной стороны, ей с первого класса в школе внушали: религия мрак и опиум, а с другой стороны, правы старухи: блажат в городе. Была она как-то в областном музее — две комнаты больших под иконами занято. И экскурсоводша, очкарик такой на воробьиных ножках, на Тонечку Петра Ивановича похожа, только что не рыдала, когда начала говорить об этих иконах. «Самое ценное сокровище нашего музея... Специальный температурный режим...»

— С иконами надо полегче. Не очень, чтобы...— ответила неопределенно Алька и встала, подошла к окну, за которым заметно посветлело.

Она распахнула старую раму, с удовольствием хватила широко раскрытым ртом свежего пахучего воздуха,

потом долго смотрела на искрометные лужи на дороге, на черные, курившиеся паром крыши домов.

— Ягоды-то нынче есть? Нет?

Старухи ей не ответили. Им было не до ягод. У них шел новый разговор — разговор о пенсиях, а это значит: хоть из пушек пали — не отступятся. До тех пор будут молотить, пока не разругаются.

Алька прилегла на кровать.

В пенсиях она, пожалуй, понимала еще меньше, чем в иконах. Старухи эти горы работы переделали, в войну, послушать их, на себе пахали вместо лошади, да и после войны немало лиха хватили, а пенсия у них до последнего времени была двенадцать рублей. И вот эти бывшие «двенадцатирублевки» (придумал же кто-то прозваньице!) отводили душу в разговорах, мочалили тех, кто получает больше, рекой разливались, вспоминая свою прошлую жизнь...

Алька сперва слушала старух с интересом. Просто блеск как отделали Маню-большую — та как «рабочий класс» (двадцать пять лет разламывала на кирпич монастырь в соседней деревне) получала сорок пять рублей, а потом пошли причитания, слезы, и ее сморило.

Последнее, что она запомнила (или это приснилось ей?) были слова Христофоровны. Только уже не о пенсиях, а о живой воде:

— Нельзя, нельзя человеку без живой воды,— говорила Христофоровна.— Вот и ищут ее люди, кто где может. По всему свету шарят...

8

Сперва широкая тележница, уезженная, ухоженная,— полем, светлым березняком; потом Ефремова росстань — темный вековечный ельник, рыжие насыпи муравейников возле толстенных, истекающих смолой стволов; потом туда-сюда — охотничья тропка. Крутила-вертела, прыгала-бежала — по веретейкам, по холмикам, по белым, выстланным оленьим мохом горушкам, хлюп, и увязла в болотине...

Сразу притихшая тетка, совсем как, бывало, мать, сняла с руки ведро, торопливо перекрестилась и пошла кланяться направо и налево. Желтым, янтарным ягодкам, которые, как свечки, горели на зеленом водянистом мху.

А Алька не торопилась. Достала пузырек с жидкостью от комаров (эти дьяволы стоном стонали вокруг), аккуратно намазала лицо, руки.

Она не собиралась идти за морошкой — сроду не любила этого дела, и хоть мать и ругала ее и даже била не раз, сделать из нее ягодницу не смогла.

Сбила Альку тетка. Тетка за утренним чаем стала напевать: надо бы пройтись по материным местам, покойницу вспомнить...

Морошки в лесу было мало. За два часа броженья по сырой раде[1] Анисья кое-как прикрыла дно своего ведра, а Алька еще ни одной ягоды не кинула в посудину — все в рот. Сладка, медом тает во рту зрелая морошка, а та, которая не совсем дошла (на краснощекую девку похожа), та еще лучше — на зубах хрустит.

Анисья конфузилась.

— Не знаю, не знаю, куда подевалась ягода,— говорила она.— Мы, бывало, здесь ходим с твоей матерью да с отцом — ступить негде. Как, скажи, шалей желтых настлано.

По ее настоянию они двинулись вправо, к просеке,— может, на светлых местах повезет больше? Капризная ягода эта морошка — каждый год на разных местах растет. Но возле просеки и на самой просеке не только морошки — морошника не было.

— Вот какая из меня вожея,— еще пуще прежнего приуныла Анисья.— Я ведь все перепутала. Нам не сюда надо было идти, а как раз наоборот. Это ведь Екимова ворга[2] кабыть... Але Максимова?

Альке было все равно: Екимова так Екимова, Максимова так Максимова. Она бросила пустое ведро наземь и побежала к мостику — двум березовым кряжикам, переброшенным через ручей,— все во рту пересохло.

Но не так-то просто, оказывается, напиться с мостика: хлипкий. Тогда она решила зачерпнуть воды с берега — пригоршней, стоя на корточках.

— Постой, постой,— закричала Анисья,— тут ведь где-то посудинка должна быть.

Она ткнулась к одной ели, к другой, к третьей и вдруг вышла сияющая. С берестяной коробочкой в руке.

— Чья это? Как тут оказалась? — спросила Алька.

---

[1] Рада — лесистое болото.

[2] Ворга — охотничья тропа.

— Отцова. Отец это делал для твоей матери.

— Отец?

— Отец. А кто же больше? И мостик — он. Матерь ведь у тебя, знаешь, как ходила? Широко. Круто. Вся раскалится, зажарится — пить, пить давай. У ей завсегда, и до пекарни, жажда была. Как, скажи, огонь горит внутри. Я такого человека в жизни не видала...

С коробочкой напиться было нетрудно — только черпай да черпай.

Вода пахла болотом, торфом, но не зря отец в каждом ручье устраивал водопой — усталость как рукой сняло.

Тетка тоже напилась и даже сполоснула лицо, а потом повесила коробочку у мостика на самом видном месте: пускай и другие попользуются.

Они поднялись в угорышек, сели на сухую еловую валежину. Мокрая берестяная коробочка зайчиком играла на солнце.

— Папа маму любил? — спросила Алька и задумчиво, как бы заново посмотрела по сторонам.

— Как не любил! Кабы не любил да не жалел, не наделал бы везде мостиков да коробочек. Пойди-ка по лесам-борам вокруг. В каждом ручье коробочка да мостик.

— Что же он, нарочно ходил, или как?

— Коробочки-то когда наделал? Да в ту пору, покуда отдыхаем. Долго ли умеючи мужику бересту содрать да углом загнуть!

Вверху, в голубых просветах, тихо покачивались глянцевитые макушки берез. Шелестели, искристо вспыхивали.

Алька долго не могла понять, чей голос напоминает ей этот березовый шелест, и вдруг догадалась: материн.

Не все, не все ругала да строжила ее мать. Бывала и она с ней ласкова, особенно после удачной выпечки хлеба. Тогда она как воск — проси, что хочешь. Первые свои часы — в двенадцать лет — Алька выпросила в такую минуту.

— Тетка,— сказала Алька тихо,— я чего у тебя хочу спросить... Поминала меня мама перед смертью?

— Как не поминала... Родная матерь, да чтобы не поминала... Уж очень ей хотелось, чтобы у вас все ладно да хорошо было. Гордилась, что ейная дочь за офицером. А как река-то весной пошла, велела кровать к окошку подвинуть да все на реку глядела. «Вот, говорит, скоро

пароходы будут, гости к нам наедут — это ты-то да Владик — здоровья мне привезут...»

— Так и говорила «здоровья привезут»?

— Так.— Анисья вдруг всхлипнула, уткнулась лицом в ладони.— А ты, вот видишь... девка не девка и баба не баба... С таких-то лет... Да еще вчерась утром начала выхваляться, при Мане все выкладывать. Разве не знаешь, что у той во рту не язык, а помело? Уж по всему свету раструбила. Вчерась та, Длинные Зубы, закидывала петли, пока тебя с реки не было. «Что, говорит, Алевтина не могла зауздать офицера? Прогнал?»

— Прогнал! — рассердилась Алька.— Я ведь тебе писала — сама отрубила...

— Плохо рубить, когда сама ворота настежь раскрыла. Уж надо притираться потихоньку друг к дружке...

— Это к нему-то притираться? Да он двойные алименты платит! Мозгов, что ли, у меня нету — его кисели расхлебывать...

— И насчет своей работы тоже бы не надо трубить на каждом углу,— продолжала выговаривать Анисья.— Что за работа такая — задом вертеть? Да меня золотом осыпь, не стала бы себя на срам выставлять...

Так вот зачем позвала ее тетка в лес! — подумала Алька.— Для политбеседы. Чтобы уму-разуму поучить. А у самой-то у ней есть ум-разум? Всю жизнь мужики обирали да разоряли — хочет, чтобы и племянница по ейным следочкам пошла?

— Ну, насчет работы давай лучше не будем! — отрезала Алька.— Мы, между прочим, тоже за коммунистическую бригаду боремся. А та бы, длиннозубая, взвыла, кабы день с нами поробила. Задом крутить! Ну-ко, покрути. Повертись с утра до ночи на ногах да поулыбайся ему, паразиту пьяному... А один раз у меня курсанты удрали, не заплативши,— с кого тридцать пять рублей получить? С тебя? С Пушкина?

— Да я ведь к слову только, Алюшка...— залепетала, оправдываясь, Анисья.— Люди-то судачат...

— Люди! Ты все как мама-покойница: дугой согнись, а лишь бы люди похвалили. А насчет мужиков, тетка...— Алька улыбнулась.— Свистну — сегодня полк будет!

— С полком-то жить не будешь,— опять насупилась Анисья.— Надо к берегу приставать, пристань свою искать...

— Подождем! — К Альке окончательно вернулось хорошее настроение, и ей захотелось немножко поскалить зубы.— «Чего жалели, берегли, на то налог наложили...» Слыхала такую частушку? Ну дак в городе, тетка, за это теперь не держатся. У Томки, моей подружки, один знакомый морячок в Германии Западной был — знаешь, как там делают? До женитьбы живут. Да открыто. Без всякой утайки.

— Господи, какой ужас!..

— Чего ужас-то? А у нас, думаешь, не так? Мой благоверный — это Владик-то — знаешь, как мое девичество оценил? «Я думал, ты современная девушка... Надо было предупредить по крайней мере...» Не вру!

Анисья решительно не понимала, о чем говорит племянница, и Алька, дурачась, закричала на весь лес:

— Подъем, Захаровна!.. Политбеседу мы с тобой провели знатно — пора и за дело.

9

Еще час-полтора помесили мокрую болотину, поныряли в старых выломках, в пахучих папоротниках, еще раз прополоскали горло из такой же точно берестяной коробочки, из какой пили в Екимовом ручье, а потом вдруг заблудились. Кружили, шлепали по темной раде — в ту сторону, в другую подадутся, а выйдут все к одному и тому же месту — к старой, поваленной ветром ели.

Солнца наверху не было, оно, как назло, село в облако, чахлые елушки да ельники они читать не умели — не каждому дается лесная грамота. Что делать? Кричать? Огонь разводить?

Выручил их... трактор.

Вдруг, как в сказке, зачихало, зафыркало где-то слева в стороне, тетка помертвела: нечистая сила, ну, а Алька с распростертыми руками кинулась навстречу этой нечистой силе.

И вот десять минут не пробежала — старый осек [1], а за осеком — покружила, поерзала меж осин и березок — зеленая полевина.

Она с лицом зарылась в душистую, нагретую солнцем траву, громко расхохоталась. От радости. От изумления. Господи, они измучились, из сил выбились, таскаясь по бо-

---

[1] Осек — лесная изгоооДь.

лотам, по выломкам, думали, забрались невесть куда, а оказалось — у самых навин бродят.

Анисья — она только подошла с двумя ведрами,— со своим и Алькиным — от стыда не знала, куда и глаза девать: это ведь она в трех елях запуталась, и разговор перевела на траву.

— Смотри-ко, как жизнь повернула. Бывало, здесь травинки не увидишь — все унесут, а тут лето уж усыхать стало — полно травы.

— Маму бы сюда,— сказала Алька.

— Да, уж мама твоя с травой побилась. Мы с Христофоровной тело обмывать стали — господи! Во все правое плечо мозоль. Затвердела, задубела, как, скажи, кость.

— Неужели?

— Вот те бог. Христофоровна тогдась только головой покачала. Сколько, говорит, на веку живу, такой страсти не видела.

— А маме все завидовали: хорошо живешь...

— Хорошо. Почто не хорошо-то? Только многие ли так робили, как твоя мама? Бывало, с пекарни придет, близко к осени, уж темно, а она кузов на плечо да за травой, да еще по сторонам оглядывается — как бы кто не поймал. А теперь-то чего не жить. На трудодень сено дают, и так подкосить можно. Не хотят с коровой валандаться. У Егорковых животину нарушили, Петр Иванович молоко в лавке покупает — все каждое утро с ведерышком ходит...

— Что ты говоришь! — воскликнула Алька.

Сено да корова — всегда первый разговор в деревне, и она, конечно, слушала тетку. Не забыла еще, как сама дугой выгибалась под кузовом. Но вскоре у нее скулы стало воротить от тоски, потому что тетка — известно — опять начала наставлять ее на путь истинный: дескать, оставайся дома, не езди никуда. Дом у тебя — поискать таких, и за ум возьмешься — взамуж выйдешь...

Синий дымок клубами взлетал в низинке за кустарником, раскаленный мотор распевал свои железные песни... Кто там работает? Как выглядит тот, который выручил ее из беды?

Алька встала.

— Насчет жизни в другой раз поговорим, а теперь пойду на трактор взгляну.

— Пойди, пойди,— живо согласилась Анисья (она

всегда и раньше поощряла интерес племянницы к деревенским работам).— Это, вишь, кто-то под рожь пашет.

В крохотном родниковом ручейке под березой Алька старательно умылась, расчесала свою рыжую гриву, пересыпанную хвойными иголками, и на поле выскочила — держись, тракторист! Настроение такое — проглочу и выплюну!

А через минуту она чуть не каталась от смеха. Потому что кто же сидел за рулем трактора? Кого она собиралась проглотить и выплюнуть? Пеку Каменного. Его улыбающаяся черномазая мордаха высунулась из пропыленной кабины.

— Ты чего это ходишь? — спросил Пека, подъезжая к ней.— На природу интересуешься, да?

— На природу.

— Ну дак ты вот что... знаешь-ко, куды сходи? К Косухину полю. Там толсто черемухи — я вчерась весь объелся. Сладкая-сладкая...

— Ладно, схожу.— Алька поставила ногу на железную, до блеска надраенную сапогами подножку, ради любопытства заглянула в кабину. Жарко, душно, воняет керосином — чему только всегда радуется этот парнишка? — А это? Это еще что такое? — воскликнула Алька, с удивлением всматриваясь в угол кабины, густо залепленный головками красоток из цветных журналов.

— Это мы так... С Генькой-напарником... От нечего делать...— пробормотал Пека.

— Сказывай-сказывай! От нечего делать... Так я тебе и поверила. Когда в армию-то?

— Через год вроде.

— Не хочешь, поди?

— Куда — в армию-то не хочу? — Тут уж Пека с насмешкой посмотрел на нее.— Ничего-то скажешь! В армию не хочу...

— Ну, а из армии куда? Домой, да?

— Не знаю. Чего сейчас загадывать...

— Как не знаешь? А колхоз? А земля и подъем сельского хозяйства? — назидательно сказала Алька. В общем, показала, что она в курсе.

На Пеку, однако, это не произвело решительно никакого впечатления. Он широко, по-ребячьи открыл свой редкозубый розовый рот и даже сострил:

— Земли-то теперь хватает... Чего об земле беспокоиться... С Луны начали возить...

— А тебе серьезности не хватает, Каменный, вот что! — обрезала его Алька.— Все знают, что в деревне сейчас стало хорошо, а ты отрицаешь...

— Ничего не отрицаю...

— Сколько в месяц зарабатываешь?

— Я-то?

— Да.

— Нонека, наверно, сто пятьдесят выйдет...

— Ого! — Алька спрыгнула с подножки на поле.— Дак чего ты ухмыляешься?

— Дак ведь это только, когда пашем,— уточнил Пека.— А зимой-то, когда на ремонте, по двенадцать рублей...

— Но ты согласен, что жить стало лучше? — допытывалась Алька.

— Согласен. Только насчет лета согласен...

— Как это насчет лета?

— Как... Зимой-то снегом все занесет, к нам и не попадешь. Разве ты забыла? У нас у отца на рождество сердце прихватило, не могли «скорую помощь» вызвать. Думали, помрет...

Разговор становился неинтересным.

— Ну, желаю,— сказала Алька и пошла на дорогу.

Пека ее окликнул:

— Слушай-ко... А ты долго ли у нас будешь?

— Поживу. А что?

— Ну дак ты вот чего... знаешь-ко... Научи меня дрыгаться, ладно? Ты, говорят, мастак по этой части...

— Как это дрыгаться?

Пека, как бисером, осыпанный потом, тут просто закрутил головой:

— Ну, танцевать... Видала, какой у нас клуб отгрохали?

— Лады,— сказала Алька,— научу тебя дрыгаться. А ты мне трактором дашь поправить.

— Тебе? Трактором? — Пека от возмущения замахал обеими руками.— Ничего-то скажешь! Трактор-от техника. Права надо иметь.

Но Алька не привыкла, чтобы ей в чем-либо отказывали. Живо забралась в кабину — поехали!

Два раза они околесили поле. Пека на удивленье уверенно орудовал рычагами и педалями, а она, конечно, не брыкалась: трактор не игрушка, и ей жить еще не надоело. Сидела, поглядывала в окошечко да на механизатора:

ужасно важный стал. И не то чтобы улыбнуться или слово сказать, головы не повернул в ее сторону.

Прежним стал Пека, когда они подъехали к дороге и она выскочила из кабины.

— Ну, имеешь теперь представление, да?

— Имею. Приходи вечером, так и быть, научу дрыгаться. А ежели еще вымоешься, то и целоваться научу.

Алька захохотала, размашистым шагом пошагала домой, и долго, до тех пор пока не вышла из полей, не слышала сзади себя привычного рокота мотора.

10

Аркадий Семенович, ежели начистоту говорить, так самый первый человек в ее нынешней жизни. В ресторан устроил, комнатенку — худо-бедно — для них с Томкой схлопотал, подарок к празднику — обязательно... Ну и что из того, что лысый да женатый? Подумаешь, раз-другой в месяц кудри евонные расчесать!

А она переживала, никак не могла вытравить из себя, как говорит ей Томка, деревенской дури...

Вот и сейчас: едва поднялась к тетке на верхотуру да увидела пустую избу — сроду не терпела одиночества — да вспомнила давешние теткины слова («доколе будешь жить не бабой, не девкой?»), и заскребло, засосало на сердце...

Спасибо солнышку — оно вовремя вылезло из-за облака, заплясало, заиграло во всех окошках. А при солнышке какая печаль?

Быстро вскочила на ноги, платье с себя долой, в таз эмалированный воды, и начала, как рыбина, плескаться на всю избу...

А потом Алька стояла перед зеркалом и с удовольствием разглядывала свои зеленые бесшабашные глаза, свой жаркий ненасытный рот, полный крепких зубов, свои высокие литые груди...

После крынки топленого с румяной корочкой молока, выпитого с белой шаньгой, Альке нестерпимо захотелось нырнуть в теткину кровать под белым кружевным покрывалом, но она тотчас же подавила в себе этот соблазн. На почте еще не была, в магазин не заходила, Лидку с Первобытным не видала — ей ли дрыхать середи дня?

А потом что-то надо было делать с Васей-беленьким. Вечор, по рассказам тетки, больше часу вертелся возле ихнего дома.

«А может, крутануть?» — вдруг подумала Алька. Чего это она решила из себя монашку корчить? Кто поверит? Святош на этом свете и без нее хватает, а ей, когда приедет в город, будет, по крайности, хоть что Томке порассказать.

Она тщательно оделась (еще в городе порешила: каждый день выходить в новом) и не забыла, конечно, про свой малиновый купальник с вшитым белым ремешком и кармашком с молнией. Врете! Не застанете больше врасплох.

11

Старушонку, ползающую в косогоре возле черемухового куста, Алька заметила, еще когда с теткиной верхотуры смотрела на реку.

Думала, гадала: кто бы это? Что делает? Землянку собирает? Но землянка растет в косогоре пониже, а во-вторых, не так уж у них и густо этой землянки, чтобы на одном месте целый час топтаться.

И вот когда она вышла из дому,— первым делом за изгородь: серый клетчатый платок все еще нырял там.

Христофоровна. Траву серпом собирает.

— Не могу далеко-то ходить,— заговорила Христофоровна, с превеликим трудом разгибая свою старую спину.— А все еще скотинку держу — овечка есть. Вот и кочкаю по своей вере — кое серпом, кое руками. А ты куда пошла? Не к реке? Обмойся, обмойся. Вода теплая-теплая. Ноне все лето до потовины жарит. У меня девушки из городу жили — больно ндравилась наша водица. Такой, говорят, воды, бабушка, и на свете нету. Все вон по Паладьиной меже бегали.

— По Амосовской,— поправила старуху Алька.

— А нет, по Паладьиной,— сказала Христофоровна.— То раньше Амосовской-то звали, а теперь Паладьиной зовем. Даже мы, старые, так говорим.

Христофоровна тяжело перевела дух — жарковато было на верховище, как сказала бы Алькина мать про вершину горы.

— У меня девушки все выспрашивали: как, говорят, с чего такая перемена? Это насчет межи-то — почему Паладья всех Амосовых покрыла. А я говорю, за труды, видно. Двадцать лет женка кажинный день мяла эту межу, да еще не один, а два да три раза на дню. Никто, говорю, как деревня стоит, не прошел по ней, сколько она про-

шла. Ну дак уж они меня извели: расскажи да расскажи про Паладью.

— И ты рассказывала?

— Как не рассказывала, раз просят. Все записали да в город увезли.

— А чего им мамина жизнь далась?

— А вот интересуются. Как да за что такая почесть. Очень им это удивительно, что межу к нынешнему человеку привязали. Это, говорят, бабушка, все равно что памятник. Памятники, вишь, в городах большим людям ставят. Каменные. Видала?

— Видала. Есть.

— Ну вот видишь. А я думала, может, маленько и подшутили над бабушкой. Любят посмеяться-то, любят. Хоть и уважительные.

Дальше, по всему видать, разговор у Христофоровны опять пошел бы о полюбившихся ей девушках из города, и Алька с ней рассталась.

Но пошла не на деревню. Пошла под гору — материной тропой.

Шла, опустив голову, смотрела на плотно утоптанную дорожку, искала материны следы и не находила. Давно смыло их дождями и вешними водами — редкий год у них река не выходила из берегов. А все равно дорожку и межу называют Паладьиной. И так будут называть долго, даже тогда, когда уж ее, Альки, не будет на свете...

И еще она думала о том, что рассказывала студентам о матери старая Христофоровна.

Она не сомневалась: добрая старуха до небес расхваливала мать. Работящая. В любую стужу и дождь за реку шастала. Одна за трех человек на пекарне чертоломила... А была ли счастлива мать? Какие радости она видела в своей жизни? Неужели же испечь хороший хлеб — это и есть самая большая человеческая радость?

А у матери, как запомнила Алька, не было другой радости. И только в те дни добрела и улыбалась (хоть и на ногах стоять не могла), когда хлеб удавался. И не только улыбалась, а и ораторствовала — любила поговорить: «Да у меня самая главная должность на земле, ежели на то пошло. Да я хлеб пеку, я сама жизнь делаю...»

Паладьина межа... Межа родной матери...

Не часто, ох, не часто бывает такое, когда дочь шагает тропой, которая называется по имени ее матери...

12

Всю дорогу, от деревенской горы до угора за рекой, где под старыми разлапистыми соснами стоит пекарня, настраивалась Алька на благочестивый лад и не могла настроиться.

Нет, не любила она пекарню. И хоть ей и приятно было снова вдохнуть в себя знакомый хлебный дух (он всегда и раньше тут заглушал запах смолы), встретиться глазами с большими окнами в белых наличниках, из которых она любила когда-то смотреть на теткину верхотуру за рекой, но разве могла она забыть, что эта пекарня в могилу свела ее мать? А потом — хлебнули с этой пекарней немало горюшка и они с отцом. Мать пришла из-за реки еле живая — на ком сорвать злость? На них с отцом. У людей грибы-ягоды наношены, а у них ни обабка, ни ягодины нет — кто виноват? Они с отцом. А дрова, а вода — будь они прокляты! Сколько из-за них всегда было ругани, реву?

Алька недолго стояла под соснами в глазах у пекарни — ей все казалось, что вот-вот с треском раскроется окно и оттуда закричит мать: «Чего стоишь — ворон считаешь? Дела тебе нету?!» И она машинально, по старой привычке, одергивая коротенькую юбку (никак не думала, что сюда занесет), торопливо двинулась к крыльцу.

Замок. Большущий, старинный замок, который еще завела когда-то ее мать.

Хотела, хотела она побывать во владениях матери, специально отправилась за реку, растроганная задушевным словом Христофоровны, а раз двери на замке — чем она виновата?

Ноги живо-живо вынесли за пекарню на большую дорогу, а там раз-раз и поселок. Летовский лесопункт.

Было время, побегала она с пекарни в этот поселок — и за сладостями к чаю (мать у них любила покатать во рту дешевенькую конфетку), и просто так, ради веселья. А потом, когда подросла, начала строчить с деревенскими девками в клуб, на танцы.

Был обеденный час, когда Алька вошла в поселок. Работяги по случаю получки (самый большой праздник!) косяками шатались по пыльной песчаной улице, и временами она чувствовала себя как в ресторане: так и жгли, так и калили ее и словом и взглядом со всех сторон.

Зинка-тунеядка, узнав ее, бросилась ей на грудь, а по-

том, как всегда, захлебываясь пьяными слезами, начала показывать карточку своей дочери-школьницы, которая, по ее словам, будто бы живет с отцом в Ленинграде.

Попалась ей на глаза и Маня-большая — эта, видать, специально приперлась из-за реки, чтобы поднакачаться дарового винца. Увидела ее, глаз угарный запылал, и с распростертыми объятиями навстречу: дескать, в дым, в доску люблю тебя, Алевтинка.

Но Алька еще из ума не выжила, чтобы с каждым пьяным огарком среди бела дня обниматься. Она зыркнула

на старуху рассерженным взглядом — проваливай! С глаз моих убирайся! — и свернула к магазину.

Из-под сосен, от склада, ей кричали какие-то пьяные парни, звали к себе («Курносая, шлепай к нам!»), а она уж ни о чем не могла думать: магазин был перед глазами.

Страсть к магазинам ей передалась от матери. Как для той, бывало, не было большего праздника, чем зайти в магазин, так и для нее. В городе, к примеру, когда у нее выпадало свободное время, она не в кино первым

делом бежала, в магазин, в пестрое и пахучее царство шелков, шерстяных тканей, ситцев.

В общем, Алька, как на крыльях, влетела на крыльцо, кинулась к дверям и вдруг нос к носу столкнулась с Сережей.

Сережа выскочил из магазина пьяный — ее так и опахнуло водочным перегаром, а в руках у Сережи было еще по бутылке, а из кармана робы тоже торчала бутылка.

Ее, конечно, узнал — глаза выдали, так и метнулись за толстенными стеклами очков, но вид сделал: чужая. А потом и вовсе ваньку начал ломать: ныром, чуть ли не на бровях пошел с крыльца.

— Дэвочку, дэвочку прихвати! — загоготали под соснами.

В ответ Сережа выкрикнул какую-то похабщину и лихо потряс бутылками, высоко поднятыми над головой. И Алька смотрела на эти сверкающие на солнце бутылки, на его лохматую светлую голову, на длинную, нескладную фигуру в мешковатой, затертой мазутом и смолой робе, на его большие пропыленные и стоптанные сапоги, и ей просто не верилось, не хотелось верить, что это Сережа. Тот самый Сережа, из-за которого она еще совсем недавно, каких-нибудь три года назад готова была выцарапать всем глаза.

Ах, как нравился ей тогда Сережа! Да и только ли ей одной. Все девки были без ума от него, а Аня Таборская, ихняя первая красавица, даже учиться после десятого класса не поехала. Устроилась счетоводом на лесопункте за рекой, только бы на глазах у Сережи быть — он как раз в то лето кончил институт и начал работать инженером.

И вот, как-то раз придя на танцы, Алька сказала себе: мой будет. Со мной из клуба пойдет.

Три года назад это было, целых три года, а у нее и сейчас, только от одного воспоминания, перехватило дыхание. Потому что кто она была три года назад против девок, против той же, скажем, Ани Таборской? А соплюха нахальная, малолеток, брыкающий ногами от радости, что он живет и дышит. У нее даже туфли были еще на низком каблуке. А главное — сам-то Сережа не замечал ее. Весь вечер танцевал то с одной, то с другой, а на нее и не взглянул.

Алька, однако, не растерялась. Дамский вальс! Сама заказала Геньке Хаймусову и чуть ли не бегом к Сереже — чтобы никто не опередил ее.

Сережа усмехнулся: что, мол, за малявка такая? Из какого детсада? Но встал, сделал одолжение. А через минуту-две уже с любопытством сверху вниз смотрел на нее.

Она сказала ему:

— Я с девчонками побилась об заклад, что ты меня пойдешь провожать. Пойдешь ведь, да? Не струсишь?

— А у тебя есть разрешение от мамы?

Сережа и дальше в таком же духе острил и хорохорился, но из клуба они вышли вместе: побоялся спраздновать труса. Она знала, за что его зацепить.

Но, боже, как он стеснялся! За всю дорогу не сказал ни единого слова, а если кто попадался им навстречу — сгибался пополам.

И вот, когда они подошли к Аграфенину амбару (на самой дороге торчит, каждый пеший и конный натыкается), она сказала:

— Свернем за угол, у меня в туфлю песку напопадало.

— Можно,— сказал Сережа.

А когда свернули, она живо приподнялась на носки, обвила ему руками шею и крепко поцеловала в губы.

— Это для храбрости,— сказала она со смехом.

...Продавщица, старая знакомая, как только Алька вошла в магазин, выбежала из-за прилавка.

— Аличка, вот чудеса-ти! А я смотрю в окошко: кто, думаю, такая? Инженерова жена из города приехала? Который уж день ждет. А то вон кто — ты...— И Настя, так звали продавщицу, всплакнула.

Алька недолго пробыла в магазине. Она разговаривала с продавщицей, смотрела на полки, заваленные мануфактурой, а из головы не выходил Сережа: что он делает сейчас? Неужто до того докатился, что уже возле магазина пьет?

Нет, ни Сережи, ни его приятелей, когда она вышла из магазина, под соснами не было.

Там, на ящиках, лежала только смятая газета.

13

Сосны, сосны красные...

Сколько их, этих сосен, вдоль дороги по обеим сторонам от поселка до перевоза? Может, двести, может, триста, а может, вся тысяча — кто считал? И чуть ли не под каждой сосной они целовались с Сережей.

Она закрутила и заворожила Сережу насмерть. Каждый раз, когда она появлялась на пекарне у матери, он поджидал ее в сосновом бору.

Но робел и стеснялся он по-прежнему. Пуще коры сосновой краснел — никак не мог забыть, что она ученица.

Ее веселило, забавляло это, у нее голова кружилась от сознания собственной силы: вот какая она! Главным инженером лесопункта вертит как хочет, Аню Таборскую до сухотки довела... А потом настало время — до слез, до бешенства стала изводить ее Сережина стеснительность. Ну, что это за кавалер, который боится сам тебя поцеловать? Кто из них девка — она или он?

Сосны, сосны красные... Белый мох-ковер... Жаркий смоляной дух, такой знакомый и радостный, бил ей в лицо, в нос, злые слезы вскипали в ее зеленых беспечных глазах.

Ей жаль было прошлого, своей полузабытой лесной любви. И еще она никак не могла забыть своей недавней встречи с Сережей. Господи, до чего опустился, на кого стал похож!

Тетка и мать ей писали, что он запил, что его с инженеров сняли, но нет, она и подумать не могла, что он в такое болото нырнул. Ведь ежели правду сказать, что он делал, когда она столкнулась с ним на крыльце магазина? Каким делом занимался? А на побегушках у дружков-собутыльников был, водку им таскал...

Из-за поворота дороги вышли навстречу три незнакомые женщины с алюминиевыми ведерками — за молоком в деревню ходили, остановились, тараща глаза: кто такая? Что за невиданная птица появилась в ихних краях? А за этими тремя женщинами стали попадаться еще люди — подвыпившие мужики, парни, подростки, а там вскоре и Саха-перевозчик подал свой голос:

Из-под тоненькой беленькой рубашечки
Поднималась высокая грудь...

Не менялся пьяница Саха. Как пять, десять лет назад тосковал по красивой нездешней любви, так и теперь...

14

Какой все-таки длинный день в деревне!

В городе, когда в ресторане крутишься, и не заметишь, как он промелькнет. А тут — в лес сходила, за реку схо-

дила, с дролей своим бывшим встретилась, у Сахи-перевозчика посидела — и все еще четвертый час.

Поднявшись в деревенский угор, Алька направилась к колхозной конторе, а точнее сказать, к Красной доске. Доска большущая, с портретом Ленина...— кого прославляют?

Доярок. Одиннадцать человек занесено на Доску, и шестая среди них — кто бы вы думали? — Лидка. Ермолина Л. В. 376 литров надоила за июнь.

— Надо же! — пожала плечами Алька.— Лидка стахановка!

Дом Василия Игнатьевича, Лидкиного свекра, совсем близко от колхозной конторы, и она решила завалиться к Лидке — надо же посмотреть, как она со своим Первобытным устроилась.

Митя-первобытный, то есть муж Лидки, которого так расхваливала ей тетка, начал баловаться топором чуть ли не с пеленок (бывало, когда ни идешь мимо, все что-то в заулке тюкает), а потом и вовсе на топоре помешался. После десятилетки даже в город, на потеху всем, ездил. Специально, чтобы у тамошних мастеров плотничьему делу поучиться. И вот не зря, видно, ездил. Во всяком случае, Алька просто ахнула, когда дом Василия Игнатьевича увидела. Наличники новые, крыльцо новое — с резными балясинами, с кружевами, с завитушками всякими, скворечня в два этажа с петушком на макушке... В общем, не узнать старую развалину Василия Игнатьевича — терем-теремок.

Лидка, когда увидела ее в дверях, слова сперва не могла сказать от радости.

— Я ведь думала, Аля, ты ко мне и не зайдешь. В красных штанах ходишь — до меня ли?

— Выдумывай,— сказала Алька,— к подружке да не зайду! — Но от Лидкиных объятий (та даже слезы распустила) уклонилась.

Комната — ничего не скажешь — обставлена неплохо. Кровать никелированная, двуспальная, под кружевным покрывалом, диван, комод под светлый дуб — это уж само собой, нынче этим добром никого не удивишь. Но тут было и еще кое-что. Был, к примеру, ковер во всю стену над кроватью, и ковер что надо, а не какая-нибудь там клеенка размалеванная, был приемник с проигрывателем, этажерка с книгами, со стопкой «Роман-газеты»...

— Это все Митя читает,— сказала Лида, и в голосе ее Алька уловила что-то вроде гордости.— Страсть как любит читать. Я иной раз проснусь, утро скоро, а он все еще в свою книжку смотрит.

Да, прибарахлилась Лидка знатно, отметила про себя Алька снова, наметанным взглядом окидывая комнату,— избой не назовешь. Зато уж сама Лидка — караул! Ну кто, к примеру, сейчас в деревне шлепает в валенках летом? Разве что старик какой-нибудь, выживший из ума. А Лидка ходила в валенках. И платьишко-халат тоже допотопной моды, с каким-то немыслимым напуском в талии...

— Постой, постой! — вдруг сообразила Алька.— Да мы уж с накатом. Быстро же ты управилась! — Она подошла к швейной машинке, рядом со столом (Лидка как раз строчила на ней, когда она открыла двери), покрутила на пальце детскую распашонку.

— Я, наверно, в маму, Аля! — пролепетала Лидка, вся, до корней волос, заливаясь краской.— Мама говорит, с первой ночи понесла...

— Сказывай, сказывай! В маму... Мама, что ли, за тебя в голопузики с Митей играла...

Тут Лидка заплела уж совсем невесть что, слезы застлали ей голубенькие бесхитростные глаза, так что Алька не рада была, что и разговор завела. И вообще ей, Альке, надо бы помнить, с кем она имеет дело. Ведь Лидка и раньше не ахти как умна была. Ну кто, к примеру, доучившись до шестого класса, не знает, отчего рождаются дети? А Лидка не знала. Прибежала как-то к ней, Альке, домой,— вся трясется, белее снега.

— Ой, ой, что я наделала...

— Да что?

— С Валькой Тетериным целовалась..

— Ну и что?

— А ежели забеременею?..

Оказывается, мать ей с малых лет крепко-накрепко внушила, что нельзя с ребятами целоваться, можно пузо нагулять, и вот эта дуреха до шестого класса верила этому...

Лида немного пришла в себя, когда они присели к столу и Алька стала выспрашивать ее про Сережу (никак с ума не шел!), но вскоре та опять огорошила ее — ни с того ни с сего заговорила про войну:

— Аля, ты в городе живешь... Как думаешь, будет еще война?

— Война? А зачем тебе война?

— Да мне-то не надо. Я этой войны больше всего на свете боюсь. Страсть как боюсь...

— А чего тебе бояться-то? — резонно заметила Алька.— У нас покамест пузатых баб на войну не берут.

И вот тут Лидка и брякнула:

— А ежели у меня не девочка, а мальчик будет...

В общем, разговор у них, как поняла Алька, так или иначе будет вращаться вокруг Лидкиного пуза или в лучшем случае вокруг коров и надоев молока — а что еще знает Лидка? Чего видела? — И Алька начала поглядывать по сторонам.

— Да посиди ты, посиди, Аля! Сейчас Митя придет, чай будем пить...

Лида не просила ее — упрашивала. Глядела на нее с восхищением, с обожанием («Ты еще красивше стала, Аля!»), и Алька осталась. А потом, что ни говори,— забавно все-таки взглянуть и на своего бывшего поклонника.

Митя, когда она еще в пятый класс ходила, объявил ей: «Амосова, я решил любовь с тобой заиметь». Объявил, не поднимая глаз от земли, и тут же убежал прочь.

И вот сколько лет с тех пор прошло, а Митя каждый праздник присылал ей поздравления — цветные открытки с воркующими голубками и розами: Первого мая, в Октябрьскую, на Новый год, Восьмого марта... Один-единственный парень в деревне. И только с позапрошлой осени, с того самого времени, как она уехала в город, выбросил ее из головы.

Митины причуды — а без них у него не бывает — начались еще на подходе к дому: петухом прокричал. А когда влетел в комнату да увидел Лидку, и вовсе ошалел. Сгреб в охапку, поднял на руки, закружил.

В комнате сильно запахло свежим деревом, смолой, и Алька про себя съязвила: плотник женушку свою обнимает. Но на этом, пожалуй, ее злословие и кончилось. Потому что она вдруг поймала себя на том, что с удовольствием вдыхает в себя крепкий смолистый запах, который распространял вокруг Митя. Да и сам он теперь вовсе не казался ей смешным. А чего смешного? Сила лешья, ноги расставил — хоть на телеге езжай, и шея —

столб. Красная, гладкая, в белом мягком волосе — как стружка древесная, завивается.

Лида звонко молотила Митю по широкой спине, не дури, мол, хватит. Но молотила одной рукой и со смехом, а другой-то грабасталась за эту шею, и видно было, что делает она это не без удовольствия.

Ее Митя заметил в ту самую минуту, когда ставил свою женушку на пол. Голову резко откинул назад, будто грудью на кол напоролся, и ни слова. Только глазами зверовато завзводил.

Да что с ним? Какая блоха его укусила? — подумала Алька. Она даже растерялась малость — так не вязалась с добряком Митей эта внезапная, ничем не прикрытая ненависть и злость.

Догадка озарила ее, когда Лида, как гусыня, переваливаясь в своих растоптанных валенках, пошла собирать на стол.

Да ведь он это женушки своей застыдился, подумала Алька. Разглядел, какая она краля, когда увидел других.

И тут на Альку нашло. Она нарочно, чтобы еще больше разозлить Митю, подтянулась, подобралась и своей игривой, ресторанной походкой прошлась по комнате: на, гляди! Кусай себе локти!

Разъяснилось все через две-три минуты, когда с другой половины пришел Василий Игнатьевич.

15

Василий Игнатьевич пришел по-домашнему, в подтяжках,— на чай к снохе.

Ее, не в пример своему полоумному сыну, заметил сразу.

— А, опять пути-дороги пересекаются!

Но больше и все. Никаких шуток. Сидел, попивал чаек из гладкого стакана с красным цветочком и все поглядывал на Лидку, а когда та, угощая его, называла папой, просто таял. Просто не узнать было старого похабника.

Митя очень важно, по-хозяйски надувшись, завел разговор насчет Лидкиной работы.

— Я считаю, папаша,— сказал Митя как на собрании,— пора подвести черту...

— Пожалуй,— согласился Василий Игнатьевич.— Доярок сейчас хватает. Зачем рисковать?

— Это может отразиться...— опять как-то по-ученому выразился Митя, на этот раз обращаясь уже к жене.

У Альки не хватило больше терпения — она так и прыснула со смеху. А чего на самом-то деле? Сидят да разоряются насчет Лидкиного пуза, когда и пузо-то еще в микроскоп рассматривать надо.

— Не слушай их, Лидка... Работай знай до последнего. Потом легче распечатываться будет...

И вот тут-то все скобки и раскрылись. Василий Игнатьевич с испугом взглянул на сноху, как если бы на ту зверь накинулся, а Митя... Митя, тот с яростью засверкал своими светлыми глазами.

В общем, она поняла: Лидку тут оберегают. С Лидкой носятся тут как с писаной торбой. Чтобы ни одна пылинка на нее не упала, чтобы ни одно худое слово не коснулось ее уха.

Гордость вздыбилась у Альки, так что в глазах потемнело.

Ах вы, паразиты несчастные! Лидка паинька, вокруг Лидки забор вознесем, а с ней, с Алькой, все можно, она, Алька, огни и медные трубы прошла...

Нет, постойте! Она еще своего слова не сказала. А может, может сполна всем выдать. И тому, Первобытному,— ишь корчит из себя строителя-новатора с книжечкой, и самому Василию Игнатьевичу — давно ли к ней свои старые лапы протягивал да на службу к себе заманивал? Ну, а Лидке, своей подруженьке, она тоже лекцию прочитает. Довольно из себя детсадовку разыгрывать...

Ничего из Алькиной затеи не вышло. Под окошками зафурчала, загудела машина с доярками, и все — и Митя, и Василий Игнатьевич — кинулись собирать Лидку...

16

Дома, у тетки на верхотуре, все то же: старухи, пересуды... Внове для нее была разве Маня-маленькая — темная гора посреди избы.

— Пришла на горожаху поглядеть,— сказала она, как всегда, напрямик.— Говорят, в штанах красных ходишь.

— А чего ей не ходить-то? — угодливо ответила за Альку Маня-большая.

Тетка стала ее потчевать морошкой,— целая тарелка была выставлена на стол, сочной, желтой, как мед. Нашла-таки! И по этому случаю лицо Анисьи сияло.

Алька сбросила с ног туфли у порога, подсела к столу, но не успела рукой дотянуться до тарелки — Маня-большая подлетела, ткнулась на стул рядышком, нога на ногу, да еще и лапу ей на плечо — чем не кавалер!

— Не греби! Все равно больше других не получишь.

— Чего ты, Алевтинка?

— А то! Не притворяйся! Думаешь, не знаю, из-за чего из кожи вон лезешь?

— По части веселья хочу...

— Веселье от тебя! Не знаю я, что у тебя на уме.

Все сразу примолкли — не одной Мане в глаз попало. На той платок материн, на другой кофта, на третьей сарафан — кто в прошлом году на помин дал?

Анисья, добрая душа, чтобы как-то загладить выходку племянницы, перевела разговор на ее ухажеров.

— Не видала молодцов-то на улице, когда шла? — сказала она.— Посмотри-ка, сколько их. Всяких — и наших, и городских.

Да, за окошком, куда указывала тетка, маячил Вася-беленький с товарищем, а дальше, у полевых ворот, мотался еще один кавалер — Пека Каменный. Вымылся, в белой рубашке пришел — давай «дрыгаться».

— Каждый день вот так у нас,— сказала тетка.— Как на дежурство являются.

Сказала с гордостью. На похвал: вот, мол, какая у меня племянница! А на кой дьявол племяннице эти кавалеры? И вообще, ей кричать, выть хотелось, крушить все на свете...

Всю дорогу от дома Василия Игнатьевича до дома тетки ломала она голову над тем, что произошло у Лидки, и до сей поры не могла понять. Да и произошло ли что? Ну, сидели, ну, пили чай, ну, Василий Игнатьевич глаз со сношеньки не сводил, каждое слово ей сахарил. Ну и что? Сахари! Ей-то какое дело? И в конце концов плевать ей и на тот переполох, который в доме поднялся, когда машина с доярками подъехала. Ах, какое событие! Скотница на свидание с рогатками собирается. Один кинулся в сени за сапогами, другой — Василий Игнатьевич — полез на печь за онучами... Пущай! Дьявол с вами!

Бегайте как угорелые, ползайте по горячим кирпичам, раз вам нравится...

Но вот чего никогда нельзя забыть — это того, что было после. После Лидкиного отъезда.

Василий Игнатьевич — это уж на улице, когда машина с доярками за поворотом дороги скрылась,— вынул из кармана трояк, подал Мите: «Бежи-ко к Дуньке за причастием, засушили гостью...» И куда девалось недавнее благообразие!

Глаза заиграли, засверкали — прежний гуляка! Можно! Теперь все можно, раз Лидки рядом нету. Это ведь при Лидке надо тень на плетень наводить, а при Альке — чего же? Она — Алька, не в счет...

Крепко, до боли закусив нижнюю губу,— она всегда в ресторане так делает, когда капризный клиент попадается,— Алька решительно мотнула своей рыжей непокорной гривой: хватит про Лидку да про ейного плотника думать, больно много чести для них! И потребовала от тетки бутылку — пущай старухи горло смочат.

Маня-большая — золотой все-таки характер у человека! — скокнула, топнула и бесом-бесом по избе, а потом как почала мести-скрести длинным язычищем — со всех закоулков сплетни собрала.

К примеру, Петр Иванович. Алька все хотела спросить тетку: где теперь эта старая лиса? Почему не видать? А он, оказывается, на дальний лесопункт со своей Тонечкой подался. Вроде как в гости к своему шурину, а на самом-то деле — нельзя ли как-нибудь ученые косточки пристроить — Маня так и назвала Тонечку, потому как в своей деревне охотников до них нету.

— А ухажора-то своего видала? — вдруг спросила Маня.

— Какого? — спросила Алька и рассмеялась. Поди попробуй не рассмеяться, когда она на тебя свой угарный глаз навела.

— Какого-какого... Первобытного!

Аграфена — длинные зубы: ха-ха-ха! С конца деревни слышно — заржала. А Маня-маленькая, как всегда,— переспрашивать: про кого? Как в лесу живет — никогда ничего не знает.

— Про Митю Ермолина,— громко прокричала ей на ухо Маня-большая.— В школе, вишь, все руками, как немко, учителям отвечал, а не словами. Вот и прозвали

Первобытным. В первобытности, говорят, так люди меж собой разговаривали. Верно, Алевтинка?

Тут тетка, как всегда, горячо вступилась за Митю, ее поддержала Маня-маленькая, Афанасьевна, и началась перебранка.

— Нет, нет,— говорила Анисья,— не хули Митю, Архиповна. На-ко, весь колхоз человек обстроил, все дворы скотные, постройки все — все он... И не пьет, не курит...

— А все равно малахольный! — стояла на своем Маня.

— Да пошто ты самого-то нужного человека топчешь?

— А пото. В девятом классе на радиво колхозное летом поставили, отцу уваженье дали, а он что сделал? Бабусю на колхозные провода посадил?

Алька захохотала. Был такой случай, был. Митя крутил-крутил приемник — все надо знать, да и заснул, а по избам колхозников и запричитала лондонская бабуся. Самому Мите, конечно, за возрастом ничего не было, а Василию Игнатьевичу всыпали.

— Да ведь это когда было-то? Что старое вспоминать? — сказала тетка.

— А можно и новенькое,— не унималась Маня.— Весной Лидка на сестрины похороны в район ездила — не вру? Два дня каких дома не была, а он ведь, Митя-то, ошалел. Бегом, прямо от коровника прилетел к почте да еще с топором. Всех людей перепугал. А Лидку-то встретил — не то, чтобы обнять да поцеловать, а за голову схватил да давай вертеть. Едва без головы девку не оставил...

Алька улыбнулась. Похоже, очень похоже все это на Митю! Но чего тут смешного? Чего глупого?

А Маня-большая, приняв ее улыбку за одобрение, разошлась еще пуще: Митю в грязь, матерь Митину в грязь (только не Василия Игнатьевича, того не посмела), а потом и Лидку в ту же кучу: дескать, не бисер лопатой загребает — навоз.

Алька не перебивала старуху, не спешила накинуть на нее узду. Пущай! Пущай порезвится. Какую оплеуху закатил ей недавно Василий Игнатьевич, а Лидку — не тронь? Лидка принцесса?

Только уж потом, когда Маня добралась до Лидкино-

го брюха (кажется, все остальное ископытила), она сделала слабую попытку остановить старуху.

— Хватит, может. Ребенок-то еще не родился.

— И не родится! — запальчиво воскликнула Маня.

— Да не плети чего не надо-то! — Тетка тоже вспылила.— Понимаешь, чего мелешь?

— Огруха,— воззвала к свидетелям Маня,— при тебе Лидку в район отправляли? В больницу?

— Ну дак что?

— Как что? Кабы здорова была, не возили каждый месяц на ростяжку.

— Хватит! Хватит, говорю! — Алька сама почувствовала, как вся кровь отхлынула от ее лица — до того ей вдруг стало стыдно за себя. Потом она увидела растерянное, угодливое старушечье лицо («Чего ты, Алевтинка? Разве не для тебя старалась?»), и уже не стыд, а чувство гадливости и отвращения к себе потрясали все ее существо. И она исступленно, обеими руками заколотила по столу:

— Уходите! Уходите! Все уходите от меня...

17

Алька плакала, плакала навзрыд, на весь голос, но Анисья и не подумала утешать ее. Закаменело сердце. Не бывало еще такого, чтобы из ее дома выгоняли гостей! Только уж потом, когда Алька начала биться головой о стол, подала голос:

— Чего опять натворила? Я не знаю, ты со своими капризами когда и образумишься...

— Ох, тетка, тетка,— простонала Алька,— не спрашивай...

— Да пошто не спрашивай-то? Кто будет тебя спрашивать, ежели не тетка? Кто у тебя еще есть, кроме тетки-то?

В ответ на это Алька подняла от стола свое лицо, мокрое, распухшее, некрасивое (никогда в жизни Анисья не видала такого лица у племянницы), и опять уронила голову на стол. Со стуком, как мертвую.

И тогда разом пали все запоры в Анисьином сердце. Потому что кто корчится, терзается на ее глазах? Кого треплет, рвет в клочья буря? Разве не живую ветку с амосовского дерева?

Она подсела к Альке, крепко, всхлипывая сама, обняла племянницу.

— Ну, ну, не сходи с ума-то... Выскажись, облегчи душу...

— Тетка, тетка,— еще пуще прежнего зарыдала Алька,— пошто меня никто не любит?

— Тебя? Да господь с тобой, как и язык-то повернется. Тебя, кажись, когда еще в зыбке лежала, ребята караулили...

— Нет, нет, тетка, я не про то... Я про другое...

И Анисья вдруг замолкла, перестала возражать. И это ее молчание стопудовым камнем придавило Альку.

Всю жизнь она думала: раз за тобой ребята гоняются, глазами тебя едят, обнимают, тискают,— значит, это и есть любовь. А оказывается, нет. Оказывается, это еще не любовь. А любовь у Лидки и Мити, у этих двух дурачков блаженных...

И самое ужасное было то, что она, Алька, верила, завидовала этой любви. Да, да, да! Она даже знала теперь, какой запах у настоящей любви. Запах свежей сосновой щепы и стружки...

— Может, чаю попьешь — лучше будет? — спросила Анисья.

Алька махнула рукой: помолчи, коли нечего сказать. Потом встала, хотела было умыться и не дошла до рукомойника — пала на кровать.

Анисья быстрехонько разобрала постель, раздела ее, уложила в кровать, как ребенка, и купаясь вместе с нею в мокрой, зареванной подушке, стала утешать ее похвальным словом — Алька с малых лет была падка на лесть:

— Ты посмотри-ко на себя-то. Тебе ль реветь-печалиться с такой красой. Девок скольких бог обидел, чтобы тебя такую сделать...

Алька мотала раскосмаченной головой: нет, нет, нет! Так и она раньше думала — раз красивая, значит и счастливая. А Лидку взять — какая красавица? Но, господи, чего бы она ни дала сейчас, чтобы хоть один день у нее было то же самое, что она видела сегодня у Лидки!

Да, да, да! Лидка растрепа, Лидка дура, у Лидки с детства куриные мозги — все так.

И однако ж не от кого-нибудь, а от Лидки узнала она про другую жизнь. И не просто узнала, а еще и увидела, как эту другую жизнь оберегает Василий Игнатьевич.

Стеной, как самый драгоценный клад. И от кого оберегает? А от нее, от Альки.

И Алька билась, выворачивалась из рук тетки, грызла зубами подушку и, кажется, первый раз в своей жизни задавала себе вопрос: да кто же, кто же она такая? Она, Алька Амосова! И какой-такой свет излучает эта дурочка Лидка, что все ее в пример ставят?

18

— Алька, Алька, вставай...

Голос был не теткин, а какой-то тихий и невнятный, похожий на шелест березовой листвы на ветру, да тетка и не могла ее будить: она лежала на полу, на старом ватном одеяле, раскинутом возле кровати (чтобы в любую минуту наготове быть, ежели она, Алька, позовет) и тихо посапывала.

«Да ведь это мама, мама зовет! — вдруг озарило Альку.— Как же я сразу-то не догадалась?»

Она тихонько, чтобы не разбудить тетку, встала, накинула на себя платье-халат, по старой скрипучей лестнице спустилась на крыльцо.

Утро еще только-только начиналось. Их дом на задворках, с белой шиферной крышей, сиял как розовый шатер, и много-много юрких ласточек резвилось вокруг него.

Ласточки для нее были внове — раньше они держались только вокруг теткиной верхотуры. Да и вообще Алька недолюбливала свой дом на задворках: невесело, в стороне от дороги, и хотя они с теткой сразу же, в первый день ее приезда, содрали с окошек доски, но жить-то она стала у тетки.

По узенькой, затравеневшей тропинке — никто теперь не ходит по ней, кроме тетки,— Алька выбежала на задворье, уткнулась в ворота — большие, широкие, с железным певучим кольцом, которое как собака заливается, когда брякнешь.

Ворота эти были гордостью матери — ни у кого во всей округе таких ворот не было, а не только в ихней деревне. А поставила она их, по ее же собственным словам, в видах Алькиной свадьбы — чтобы к самому крыльцу могли подъехать на машинах гости.

Лужок перед домом на усадьбе, который так любила мать, тетка недавно выкосила (всегда по два укоса за

лето снимали), но красные и белые головки клевера уже снова рассыпались по нему, и Алька едва сделала шаг от калитки, как жгучей росой опалило ее босые ноги.

К крыльцу она подошла на цыпочках, крадучись, точь-в-точь как бывало, когда о восходе возвращалась домой с гулянки. Постояла, прислушиваясь (ах, если бы и на самом деле сейчас загремела в сенях рассерженная мать!), потом перевела дух и, взойдя на крыльцо, уперлась глазами в увесистый замок.

Без всякой надежды она сунула руку в выемку бревна за косяком и страшно обрадовалась: ключ был тут. В том самом месте, где его хранили при матери и отце.

Полутемные сени она проскочила чуть ли не с закрытыми глазами: с детства боялась темноты. Зато уж, перешагнув за порог избы, она вздохнула свободно, всей грудью.

Все тут было как раньше, как год и два назад: крашеный пол намыт до блеска, окна наглухо завешены кружевным тюлем, к которому так неравнодушна была мать, в углу фикус-богатырь — его тетка перенесла от себя на другой же день ее приезда... Только пусто как-то, жилого духа нет. И еще, конечно, страшно было от вида голой железной кровати, на которой умерла мать.

— Мама, я пришла...

Алька подняла глаза к белому потолку, под которым жалобно плеснулся ее голос.

Нет, не так, дрожа от утрешнего озноба, не полураздетой и не в мертвый дом хотела она прийти. Она хотела нагрянуть к живой матери, нагрянуть внезапно, шумно, с гордо поднятой головой. Смотри, смотри, родимая! Вот твоя дочь. Приехала в чужой город одна, без паспорта, тот подлец самым распоследним негодяем оказался — ну-ко, кто бы на ее месте не согнулся? А она не согнулась. Она паспорт себе выхлопотала и на работу устроилась, да вдобавок еще того подлеца проучила — из армии выперла...

— Мама, чуешь ли, я пришла...— опять сказала Алька и обмерла: из сеней, за дверью, донеслось царапанье.

Она никогда особенно не верила в старушечьи россказни про нечистую силу, но все-таки самообладание вернулось к ней только тогда, когда за дверью мяукнуло.

— Бусик, Бусик!

Она распахнула дверь, и точно — он: Бусик, их пушистый кот-великан.

Занавески на окнах цвели алыми кустами иван-чая, уже на белой простыне, которой были укутаны самовары на комоде, заиграли солнечные зайчики, а Алька все сидела с Бусиком на коленях у стола, гладила, прижимала его к себе и жадно вслушивалась в жалобное мурлыканье.

О чем он поет-плачет? На что жалуется? На одиночество? На тоску свою? А может, он пытается на своем кошачьем языке рассказать ей про то, как умирала мать, какие она наказы передавала дочери перед смертью?

Слезы текли по пылающим Алькиным щекам. Да как же это так? Кошка, зверь дикий верен хозяйке, даже после смерти ее из дому не уходит, а она, дочь родная, бросила родительский дом, на город променяла...

— Мама, мама, я останусь. Слышишь? Никуда больше не поеду...

Утреннее солнце заливало комнату. Бусик распевал какую-то новую песню. И, странное дело, в ней самой начала расти и подниматься песенная радость.

Больше она не могла сидеть. Выбежала на улицу, широко раскинула навстречу солнцу свои руки и уже не по тропинке, не с покаянно опущенной головой, как входила еще недавно в свой дом, а напрямик по росистому лужку построчила к тетке.

— Тетка, тетка, я остаюсь!

Она налетела на сонную Анисью, как вихрь, как буря, и та сперва никак не могла взять в толк, о чем говорит племянница.

— Да где ты хочешь остаться-то? Где? Чего еще выдумала?

— Дома, дома, тетка! — твердила Алька и чуть ли не приплясывала от радости.— Я все, все, тетка, обдумала. Вдвоем жить будем. И мамина и папина могилы рядом — всегда можно сходить. Верно, тетка?

19

Решительности Альке было не занимать — у нее был материн характер, и она, конечно, в тот же день отправилась бы в город за расчетом и вещами, да ее удерживали деньги.

Деньги — пятьсот рублей — остатки от распроданного родительского добра — она в день своего отъезда отдала Томке, с тем, чтобы та послала их ей дней через пять

в деревню: то-то у людей будет разговор, когда она получит такие деньжищи!

И вот из-за этой-то своей затеи она и должна была сидеть на якоре.

Впрочем, времени зря Алька не теряла.

Первым делом она перебралась в свой родной дом на задворках. И, боже, сколько радости она испытала, когда по утрам сама топила печь, сама мыла пол, сама грела самовар. А какое это было наслаждение ходить босиком по чистому, намытому дому!

Дом был просторный, светлый, и она сама удивлялась своей глупости, своей слепоте. В городе они с Томкой снимали какую-то темную конуру, на окраине, а тут в это время пустовал целый дворец.

Да и вообще, все чаще и чаще задавалась вопросом Алька, что она нашла в городе? Ради чего бросила отца с матерью, дом родной? Ради того, чтобы пьяных мужиков ублажать в ресторане, пятаки из них выколачивать? Или, может, ради Аркадия Семеновича?

Да, да, говорила себе Алька, буду жить в деревне, у себя дома. По-новому. Совсем, совсем иначе, чем раньше. И она уже по существу жила этой новой жизнью: днем вместе с колхозниками работала на лугу, а по вечерам, как и положено хорошей, самостоятельной девушке, сидела дома за шитьем (в жизни никогда не шила!) или что-нибудь делала по хозяйству на улице.

Мане-большой эти Алькины выкрутасы (иначе она их не называла) были нож по сердцу — не выпьешь, да, пожалуй, и Анисья не очень-то радовалась. Во всяком случае, она с тревогой и даже с каким-то страхом присматривалась к столь круто переменившейся племяннице.

Альку это забавляло, трогало до слез, и у нее еще пуще разжигались честолюбивые помыслы.

Работать только в колхозе — это она решила твердо. И обязательно дояркой. Как Лидка! Да, да! Только дояркой. Про официанток кто когда в газетах писал? А про доярок пишут постоянно, с портретами. Доярка по нынешним временам первый человек в деревне. И неужели же она кому-нибудь уступит? Неужели ей не обставить хоть ту же Лидку-растяпу или Верку Девятую? Врете! Заранее заказывайте орденок, а то и звездочку золотую. Ее мать — Пелагею Амосову — все железной называли, а разве она не дочь своей матери?

В буйно разыгравшемся воображении сама собой сло-

жилась и будущая семейная жизнь. И опять же как у Лидки. С таким же любящим свекром и с таким же преданным и покорным мужем. Правда, второго Мити Ермолина на свете не было — тут хоть лопни, ничего не поделаешь, да Алька недолго из-за этого горевала.

Ей вдруг пришла на ум сногсшибательная идея — сделать человека из Сережи. А что? Разве не из-за нее, не из-за Альки пропадает Сережа? Разве не писала ей еще мать, что Сережа готов в любое время ее, Альку, за себя взять? Да в этом она и сама на днях убедилась, когда нос к носу столкнулась с ним у магазина за рекой. Ну-ко, стал бы парень смываться с ее глаз, уводить своих дружков-приятелей, ежели бы не любил?

Дни шли за днями. Алька упивалась своей новой ролью — ролью благообразной и непорочной невесты. И она даже взгрустнула малость, когда от Томки пришел перевод.

20

Жуть все-таки, что это такое город! Народу на одной пристани раз в сто больше, чем во всей ихней деревне. И, помнится, когда два года назад, в это же самое время, она впервые с парохода увидела это пестрое, гудящее многолюдье, у нее ноги к палубе приросли — до того ей вдруг стало страшно затеряться в этом муравейнике.

Зато сегодня — фигушки!

Первой сбежала по сходням, первой, как ящерица, заныряла в расщелинах толпы. «Извиняюсь», «Не нарочно», «Спешу» — и всем улыбка. А кое-где и локотком подсобляла.

На белых мачтах по случаю какого-то праздника полоскались яркие, разноцветные флаги, подвыпившие мужики и волосатые мальчики откровенно пялили на нее глаза, и, вообще, город был прекрасен. И — чего крутить — вздохнула Алька. Жалковато ей стало всего этого великолепия, с которым не сегодня-завтра надо расстаться.

На веселом, гремучем трамвайчике, разукрашенном красными и синими флажками, она быстро добралась до своей Зеленой улицы, а там пять — семь минут скачек по деревянным разбитым мосткам возле старых, давно уже приговоренных к сносу развалюх, и ихняя с Томкой дыра. Комнатенка в одно окно, да и то в сарай с дровами упирается, зимой холод собачий и весь год крысы. Иной раз

ночью такой стукоток в коридоре поднимут — не то что выйти, в кровати пошевелиться страшно. Аркадий Семенович самое расчестное слово дал им с Томкой — этой осенью обязательно переселить в новый дом, а теперь, когда его сняли, на что рассчитывать?

Ох, да чего о жилье беспокоиться, усмехнулась про себя Алька, открывая калитку. На все теперь ей плевать с высокой колокольни — и на новую квартиру, и на самого Аркадия Семеновича. Со всем развязалась. Напрочь!

Томка была дома — окошко настежь и проигрыватель на всю катушку. Неужели с хахалем? (Томка любила крутить любовь под музыку.)

Но раздумывать было некогда. Во-первых, она, Алька, страсть как соскучилась по Томке, а во-вторых, велика важность, ежели и хахаль. Слава богу, за два года они повидали кавалеров — и она у Томки, и Томка у нее.

С бьющимся, прямо-таки скачущим сердцем Алька взлетела на шатучее деревянное крылечко рядом с уборной, вихрем пронеслась по темному коридорчику, с силой дернула на себя дверь — иначе не откроешь, и вот Томка, ее золотая Томка. Сидит на диванчике, нога на ногу (это уж завсегда — длинные ноги напоказ) и в руке сигаретка.

— Я, между прочим, так и знала, что ты не выдержишь больше двух недель в своей распрекрасной деревне...

В общем, заговорила, как всегда, с подковыром, свысока: на пять лет старше. А потом, стюардесса международных линий, по-английски лопочет — как же перед официанткой нос не задрать? Но в душе-то Томка была добрющая, как тетка: последнюю рубашку отдаст, если попросить. А потому Алька, не обращая внимания на воркотню, с пылом, с жаром начала обнимать ее.

— Ну, ну, не люблю телячьих нежностей. Давай лучше про подъем сельского хозяйства... Как там двинула свой колхоз?..

Алька села рядом ни диванчике.

— Не смейся, Томка... Я все... Я в деревню решила...

— Вот как! Какой-нибудь механизатор-передовик предложил тебе свое сердце и буренку впридачу? Так?

— Да нет, Томка, я всерьез. Я насовсем...

— А позволь тебя спросить, если не секрет, что ты там собираешься делать? В этом самом — сельском раю?..

— Работы в колхозе найдется...— Алька почему-то постеснялась сказать, что она хочет идти в доярки.

— Ну, ладно,— Томка встала,— о твоих сельскохозяйственных планах мы еще поговорим, а сейчас поедем на вечеринку. Я уж и так опаздываю.

— На какую вечеринку?

— Во, вечеринка! — Томка от восторга щелкнула пальцами.— У Гошки день рождения сегодня — представляешь, какой сабантуйчик будет? Достали катер, так что на ночь вниз по матушке по Волге, куда-то на луг сено нюхать... Представляешь?

Алька представила. Бывала она в компании Томкиных дружков-летчиков. Весельчаки! Анекдоты начнут рассказывать — обхохочешься. А танцевать какие мастера! Особенно этот Гошка-цыган... Но нет, покончено со всем этим. Завязано!

— Не дури, Алевтина! — повысила голос Томка.— Между прочим, я говорила с начальством насчет твоей работы. Примут. Ну, а если ты еще сегодня кое-кому там задом крутанешь — железно выйдет.

— Нет, Томка,— вздохнула Алька,— чего ерунду говорить. Какая из меня стюардесса — языка не знаю...

— Балда! Она языка не знает... Мужики, если хочешь знать, во всем мире только один язык и понимают — тот, на котором глазом работают да задом вертят. Да, да, да! А ты этим международным языком владеешь — будь спок! И потом, на самолете не одна стюардесса. Моя напарница, например, Ларка, как тебе известно, ни в зуб ногой по-английски, на русском-то языке не всегда поймешь, что говорит, а тарелки этим мистерам и сэрам куда как ловко подает...

Тут Томка, словно для того, чтобы еще больше растравить Альку, которая еще недавно взасос мечтала о работе в аэропорту, начала надевать на себя новенькую летную форму: синюю мини-юбочку, синий кителек с золотыми крылышками на рукаве и синюю пилотку. Летная форма очень шла Томке. Она как-то смягчала ее сухую, долговязую фигуру, делала женственней.

— Ну так как? — сказала Томка, подрисовывая красным карандашом губы перед зеркалом.— Поехали? Имей в виду, что жрать у меня нечего, так что тебе все равно придется в магазин топать...

— Ладно, Томка, иди...

— Чего ладно? На вечер нельзя? Да ты, может, там

в своей деревне в секту какую записалась? Нет? Понятно, понятно. У тебя сегодня вечером свидание со своим кучерявым папочкой...— Томка так называла Аркадия Семеновича.— Ну что ж, желаю!

Она дошла до дверей, обернулась:

— Если надумаешь все же приехать, адрес — Лесная, тридцать два. Помнишь, в прошлом году май встречали? У Васильченки, Гошкиного друга? В общем, координаты известны.

Сердито процокали каблуки в коридорчике, брякнуло железное кольцо в воротах (совсем как в деревне), потом два-три приглушенных тычка на деревянных мостках, и Томка вылетела в сияющий, праздничный мир.

Алька встала. Она хотела завести проигрыватель и вдруг со стоном, с ревом бросилась на кровать. Ну что же такое стряслось с ней? Куда девалась ее всегдашняя решительность? Разве она не дочь Пелагеи Амосовой?

21

Два года цветным дождем сыпались на Анисью открытки — голубые, красные, желтые, зеленые, с диковинными, нездешними картинками, с короткими Алькиными приветствиями: «Ау, тетка!», «Привет, тетка!», «Хорошо на свете жить, тетка!..»

— Да чего ей на одном-то месте не сидится? — сокрушалась Анисья.— В кого она только и уродилась?

— Пущай! — говорила Маня-большая.— Мать нигде дальше района не бывала, бабка всю жизнь у печи высидела, ты весь век на привязи... Да она, может, за всех вас, за весь род свой отлетать да отъездить хочет...

— А жить-то она думает, нет? Когда и вить свое гнездо, как не в ее годы? Але ждет, когда дом совсем развалится?

Дом на задворках ветшал и дряхлел на глазах. Он вдруг как-то весь скособочился, осел, а в непогодь, сырость просто сил не было смотреть на его заплаканные окна: так и кажется, что он рыдает.

И однако все же эти Анисьины тревоги и переживания были сущими пустяками по сравнению с той грозой, которая разразилась над ней однажды осенью.

От Альки пришло письмо. Короткое, без объяснений. Как приказ: дом на задворках продать и деньги немедля выслать ей.

За всю жизнь Анисья ни разу не перечила ни Алькиной матери, ни ей самой. Все делала по их первому слову, сама угадывала их желания. А тут уперлась, встала на дыбы: покуда жива, не бывать дому в чужих руках. Не для того отец твой да матерь жизнь свою положили, муки приняли...

В общем — не дрогнула. Высказала все, что думала. А слегла уже потом, когда отнесла письмо на почту.

Осенний дождик тихо, как мышь, скребся в окошко за кроватью, железное кольцо чуть слышно позвякивало на крыльце...

Знала, понимала — не Алька там, ветер. А вот поди ты, в каждый шорох со страхом вслушивалась, ждала: вот-вот откроется дверь и на пороге появится беззаботная, улыбающаяся Алька.

— Тетка, а я ведь нашла покупателя. Ну-ко, собирай скорее на стол, обмоем это дело...

1971

БЕЗОТЦОВЩИНА

1

Грибово — единственное место по Черемшанке, где не держится комар. Высокий, широко расползшийся холм, как шляпа гриба-великана, поднимается над зелеными лугами. В погожие страдные дни там никнет трава от жары, а с тонких говорливых осинок, угнездившихся по скатам холма, все лето не сходит загар. По вечерам же с лугов тянут сквозняки. Словом, как ни хитри комар, а зацепиться тут не за что.

Именно поэтому, выбирая место для новой избы на здешнем покосе, облюбовали Грибово. Изба, сложенная из крепкого, все еще сочащегося слезой сосняка, получилась добротная, просторная. Только на одних нарах, опоясывающих стены, может разместиться десятка полтора людей, а если еще застлать пол сеном, то живи хоть всем колхозом.

Днем, когда люди на пожне, у избы остаются Володька да Пуха.

С обязанностями своими Володька справлялся походя. Присмотреть за пятью-шестью лошадьми, согреть утром и вечером чайники, нарубить дров для костра — разве это работа для пятнадцатилетнего крепыша? Правда, он мог бы спуститься на покос — лишние грабли там никогда не помеха, тем более что в горячие дни приходилось специально подбрасывать из деревни домохозяек и голосистый актив — молоденьких девушек из кон-

тор, студенток-отпускниц, школьниц, но Володька предпочитал другие занятия. Целыми часами бродил он с удилищем по отлогим осотистым берегам Черемшанки, валялся в избе, дурея от сна и скуки, а то опять заберется на каменный лоб, круто нависший над речкой, и сидит неподвижно и омертвело, как ястреб-рыболов, высматривающий добычу.

В последнее время Володька нашел для себя еще одно занятие — подглядывать за купальщицами. По вечерам, когда машина с домохозяйками и активистками возвращалась домой, Петька-шофер на несколько минут делал остановку напротив избы за рекой — по просьбе девчонок, которые, выскочив из кузова, со смехом наперегонки бежали к плесу.

Впрочем, смотреть, как шумно и бестолково хлопается, трется о камешек мелюзга, ему не доставляло никакого удовольствия. Но вот когда на яме показывалась светлая головка Нюры-счетоводши, сердце его схватывало непривычным холодком. Облитая розовыми лучами солнца, она, как семга, играла в кипящей воде, а потом по-мальчишески, без брызг, выгребала саженками.

Сегодня Володька напрасно лежал, затаившись в кустах,— машина, то ли потому что было уже поздно, то ли еще по какой причине, не останавливаясь, прогромыхала к броду.

Володька встал, уныло побрел к избе. Пора было разжигать огонь, кипятить чайники. Пуха, обогнав его, с лаем бросилась отгонять от избы гнедуху, немолодую, но еще довольно резвую кобылу, которая из-за любви к хлебной корке вечно торчала около жилья.

— Стой, стой! — закричал вдруг Володька.

В несколько прыжков он подбежал к гнедухе (она всегда ходила в узде), с разбегу закинул на нее свое небольшое цепкое тело, спустился с холма и галопом понесся к броду.

Машина уже проскочила речку и с воем брала пригорок.

— Девки, девки! — закричали женки, заметив Володьку под кустами.— Смотрите-ко, разбойник!

Володька с силой поддал каблуками в бока гнедухе — и началась потеха.

Машину трясло, подбрасывало на кочках и выбоинах, девчонки и женки мотали головами, визжали, когда полуторку заносило на поворотах,— кто от страха, кто от

удовольствия. Володька распластавшейся птицей летел за машиной. И если в ручьевинах ему удавалось догнать ее, он начинал отчаянно работать плеткой, стараясь добраться до какой-нибудь зубоскалки. Потом грузовик отрывался от него, и он, мокрый, распаленный игрой, опять скакал за ним.

Больше всего ему хотелось дотянуться до Нюры-счетоводши,— она смеялась всех громче. Но поди достань ее: забилась в самую гущу — только голова, как подсолнух, мотается. И все-таки на последнем повороте, где дорога круто забирает в лес, он сумел добраться и до Нюрочки, да так славно вытянул, что она захлебнулась от боли, а сидевшая рядом с ней Шура, бледная, недавно родившая молодуха, которой, видимо, тоже попало, заругалась:

— Дурак бестолковый! Разве так за девушками ухаживают?

Машина въехала в рослый березняк, завизжала, захлопала на корневищах, переходя на третью скорость, затем, выскочив на прогалину, последний раз махнула цветастой россыпью платков.

Володька постоял немного, прислушиваясь к удаляющемуся смеху девчонок,— то-то перемывают сейчас ему косточки,— потом вдруг вспомнил, что ему давно пора быть у избы, и резко повернул кобылу. Пуха, казалось, только этого и ждала: вырвалась вперед и, как клок пестрой шерсти, подхваченный ветром, бесшумно покатилась по влажной от росы тропинке.

В низинах уже свивался туман, было свежо в отсыревшей рубахе. На ближайшем плесе, как всегда об эту пору, закрякала утка, скликая своих детушек,— глупая, никак не может понять, что их убил Володька еще в первый день приезда на сенокос. Пуха моментально насторожила уши, но он с раздражением махнул рукой, и она послушно засеменила по тропинке.

Володька поторапливал гнедуху и ругал себя ругательски.

Люди теперь наверняка вернулись к избе, и нагоняя ему не миновать. Да нагоняй что! Ну поворчит, поразоряется Никита — так, для видимости больше, потому что бригадир; ну вцепится еще эта ехидина Параня — баба злющая, как все старые девы... Но в конце концов у него тоже не тряпка во рту, да и среди баб найдется заступница. Нет, не предстоящая головомойка беспокоила Во-

лодьку. Его тревожило другое: приехал или нет Кузьма?

Володька не то чтобы побаивался или как-то особенно уважал Кузьму. По правде говоря, он даже презирал его, презирал за житейскую простоватость, за неумение схитрить, извернуться, где надо. Ну не дурак ли в самом деле? Где хуже да труднее работа — туда и его. На Шопотки, например, сроду никто с косилкой не езживал — дорога туда грязная, с выломками, зимой едва добираются,— а этого председатель в один присест окрутил. «Кузьма Васильевич, выручай,— кроме тебя, никто не проедет»,— Володька сам слышал этот разговор в правлении. Кузьма Васильевич и раскис.

И все-таки ему сейчас, ох, как не хотелось позориться перед Кузьмой.

«Хоть бы он заболел, хоть бы в яму какую свалился по дороге»,— думал Володька.

Напрасная надежда! Едва он выехал на луг, опоясывающий холм, как тотчас же увидел лошадей Кузьмы. Высоко на холме, будто под самым небом, жарко горел огонь, и отблески его алой попоной пламенели на белой Налетке, стоявшей рядом с рослым угольно-черным Мальчиком. Колхозницы, сгрудившись вокруг костра, готовили ужин, а один мужчина, потряхивая светлой большой головой,— это был Кузьма,— рубил дрова.

Володька призадержал лошадь, мучительно соображая, как ему поступить: то ли подъехать с повинной головой, то ли, напротив, подкатить эдаким чертом, которому все нипочем.

Верх взяло последнее. Пропадать — так уж пропадать с музыкой!

На вечерней заре громом раскатился топот копыт. Перепуганные лошади, бродившие по лугу, ошалело всхрапывали, шарахались в стороны. Холодный ветер — откуда только взялся — резал лицо, расчесывал волосы.

У избы, едва не сбив какую-то женщину, Володька на всем скаку осадил гнедуху, лихо спрыгнул наземь.

А дальше, как и следовало ожидать, открылся целый митинг.

— Это тебя где черти носят? — кричал, наседая, Никита.— Кто за тебя чайники греть будет?

Володька огрызнулся:

— А если у меня гнедуха убежала?

— У тебя гнедуха-то особенная — за девками бегает,— поддела Параня.

— Я не согласен. Ежели он за кашевара, то чтобы к моему приходу все было в аккурат.

Володька метнул свирепый взгляд в сторону Кольки. Чистенький, волосики влажные, причесаны, уже и переодеться успел: белая рубашка с коротким рукавом, на ногах тапочки. Как же, воображает себя рабочим классом, культурно отдыхающим после трудового дня!

— Что глазищами-то завзводил? — накинулась Параня.— Правду парень говорит. На год тебя старше, а за взрослого робит.

И пошло, и пошло. Манефа, Устинья, кривой Игнат, даже старик Егор, молчун по природе, и тот что-то прошамкал...

Володька едва успевал поворачиваться — так и рвали со всех сторон, как худую собачонку.

Наконец бригадир Никита, медлительный, с обвислыми, как у медведя, плечами и весь заросший щетиной, как бы подводя итог, обратился за сочувствием к Кузьме:

— Беда с этим парнем. И работенкой-то, кажись, не неволим, а совсем от рук отбился. Одно слово, безотцовщина...

Володька с вызовом уставился на Кузьму — ему даже пришлось приподнять подбородок, чтобы встретиться с его глазами,— дуракам всегда везет на рост. Пускай только вякнет. Он такое ему врежет — век будет помнить. Нет, если ты не хочешь, чтобы на тебе ездили, покажи зубы сразу,— это Володька хорошо усвоил за свои пятнадцать лет.

Но Кузьма — вот уж не от мира сего — словно спал, словно не слышал того, что тут творилось.

— Сведи лошадей. Да Налетку на веревку — понял? А то уйдет — бедовая кобыленка.

И все. Володька, приготовившийся было сорвать свою злость на Кузьме, с удивлением и нескрываемым презрением усмехнулся, а затем не спеша, нарочно подчеркивая свою независимость, отвязал от косилки лошадей и повел вниз, на луг.

Когда он вернулся к избе, люди уже сидели за столом — кто, обжигаясь, ел кашу-огневицу, кто подкреплялся похлебкой, а кто по привычке северянина нажимал на чай.

Володька прошел в сенцы, отсыпал из своих пожит-

ков муки в миску и, пройдя к огню, начал приготовлять еду для Пухи.

— Вот как хозяин-то настоящий,— усмехнулась Параня и кивнула Кузьме,— сперва собаку, а потом уж сам.

— Да не в собаку корм,— лениво поморщился Никита.— Ну что Пуха — Пуха и есть. Осенью шкуру содрать — рукавицы не выйдут.

Володька отлично понимал, к чему гнет Никита. Обычное дело — как вечер, так и потеха над Пухой. И ему, конечно, лучше бы промолчать, но разве стерпишь такую обиду?

— Ты своего Лыска обдирай, он весь в лишаях, а я осенью охотиться буду.

— Это с Пухой-то охотиться? Нет, парень, с котом и то больше толку. По крайности мышь какую добудешь.

Все захохотали.

Колька, подлаживаясь к начальству, съязвил:

— Твоя Пуха только сорок гонять.

— А белку не при тебе облаяла?

— Белку? — Колька вытаращил глаза.— Это когда же?

Эх, и влепил бы ему Володька, будь они наедине,— небось сразу бы вспомнил!

— Ешь! — прикрикнул он на Пуху.

Пуха, как нарочно, вся перемокла в росе, когда они водили лошадей на луг, и теперь, мокрая, со свалявшейся на спине и боках шерстью, с пугливо поджатым хвостом, казалась еще меньше. И начала она лакать похлебку тоже не по-собачьи: с краешка миски, неуверенно, то и дело поглядывая своими черными блестящими глазами то на Володьку, то на людей.

— Он пять раз на дню ее кормит,— завела опять Параня,— все думает откормить.

— Балда ты, Володька,— сказал Никита,— маленькая собачка до старости щенок. Вишь ведь, глаз-то у нее хитрый, старый.

— А сколько этой Пухе? — спросил Кузьма.

— Беспачпортная,— услужливо разъяснил Колька.— Умные люди на улицу такое добро выбрасывают, а дураки подбирают.

Пуха, видимо догадываясь, что разговор идет о ней, все чаще отрывалась от еды, вопросительно посматрива-

ла на Володьку и наконец тихонько скрылась с людских глаз.

— Да, парень,— сказал Кузьма, вставая из-за стола,— если ты всерьез охотиться думаешь, собаку надо искать не на улице.

— А я говорю, что она белку и сейчас берет!..

Но Володьку уже никто не слушал. На землю незаметно спустилась ночь — короткая, страдная, и надо было отходить ко сну. Женщины начали наспех ополаскивать посуду. Из открытых дверей повалил дым: каждый раз на ночь — для воздуха — в избе курили сеном.

Володька, допивая остывший чай, морщился от дыма и нет-нет да и поглядывал на Кузьму и Никиту, уединившихся в стороне у косилки. О чем они толкуют? И почему Колька вертится как на угольях? В руках газета для маскировки, а сам шею вытянул, глазами ест бригадира. Ага, понятно, Кузьма помощника себе просит.

И Володька со злорадством посмотрел на Кольку. Поезжай-поезжай! Девчонки на Шопотки не приедут. Живи вдвоем, как в берлоге.

Но черт бы побрал этого тугодума! Ни да ни нет. И за что только в бригадирах держат?

— Ежели такая сушь, мне без Николая тоже не управиться...

Володька, не допив, выплеснул из кружки чай.

В этот вечер долго не спали. Никита в который раз начал рассказывать, как он впервые увидел спутник на небе. Потом оказалось, что спутник видели и Параня, и Колька, и даже кривой Игнат. Брешут, конечно. Небось, если бы видели, рот на замке не держали. А то будто специально Кузьмы дожидались.

— А вы, Кузьма Васильевич, видели? — Это Колька. На «вы», по-культурному.

Володька, лежа на полу недалеко от дверей, приподнял голову. Кузьму послушать интересно — в городе человек жил, по партийной мобилизации, говорят, в колхоз прислали.

— Нет, не приходилось.

Слава богу, нашелся хоть один человек, который, как и он, Володька, не видел спутника! Но зато, как выяснилось, Кузьма досконально знал, что за звезды вокруг Земли и сколько до них расстояния.

— А правда, что скоро на Луну полетят? — спросила Параня.

— Скоро не скоро, а полетят. А пока собак в космос запускают.

На нарах заворочался Никита:

— Володька, ты бы свою Пуху пожертвовал, а то хороших собак переводят.

— Для науки...— захихикал Колька.

Нет, не вышел номер. Кривой Игнат давно уже раздувал свои старые мехи — тяжко, старательно, словно и во сне продолжал махать косой. Тихо, невнятно что-то бормотал себе под нос вечно молчаливый Егор,— людей послушать, так это он разговаривать учится. Кто его знает, может, перед смертью и разговорится. Вскоре сон подкатил и к остальным.

Володька встал тихонько, вышел на волю.

Густой туман заволок все кругом. От росы щиплет босые ноги. На огневище чуть-чуть тлеют головешки.

Заслышав шаги хозяина, из-за угла тотчас же выпорхнула Пуха, теплая, с былинками сена в шерсти. Она лизнула Володькины ноги и робко и заискивающе подняла к нему лисью мордочку с черным пятачком.

Володька долго разглядывал ее. Потом он достал из кармана веревочку, присел на корточки.

Пуха съежилась.

— Стой как следует,— с угрозой прошипел Володька.

Подросла ли сколько-нибудь? Не поймешь. Вроде и подросла, а вроде и нет. Во всяком случае, узелок на веревочке, как и три дня назад, по-прежнему тонул в Пухиной шерсти.

2

Утром проспали — обычная история, когда к избе приезжает свежий человек. Пока умывались внизу, на речке, кипятили чайники, солнце съело росу. Чай пили второпях — вот-вот, с минуты на минуту, подгонит лошадей Володька. Но напились чаю, прибрали посуду, а Володька не появлялся. Где Володька?

Стали кричать на разные голоса: «Володька, Володька!» — ответа не было.

— Порядочки,— покачал головой Кузьма.

Всем понятно было, почему нервничает Кузьма. Другим только спуститься под гору, перейти речку — и пожня, а ему надо попадать на Шопотки, куда и без машины не каждый заедет.

— Николай,— сообразил наконец Никита,— беги за лошадями.

Колька вскоре вернулся верхом на гнедухе.

— Нету лошадей — ушли! — весело, точно радуясь, отрапортовал он.

Кузьма побагровел:

— Как нету? Я же ему что сказал? Связать?

— Ну да, там и веревками-то не пахло.

— Ах, сукин сын, сукин сын! Навязали мне ирода на шею. Николай, выручи...

— Ладно,— Колька покровительственно кивнул бригадиру.— Лошади сейчас будут.

Но что это? Бах, бах...

— Вот он, дьяволенок,— торжествующе сказал Никита, указывая рукой на лес.— Ружьичишком забавляется, а мы жди...

Поднялась страшная ругань: сколько еще терпеть? До каких пор этот прохвост будет измываться над ними! В трудколонию его — там живо шелковым сделают... Да, многое прощали Володьке: сирота, без отца растет. Но должен же быть предел!

Сначала, как и положено, появилась Пуха, а потом уже следом за ней, раздвигая кусты, вышел охотник. На минуту он остановился, победно оглядывая людей, затем высоко поднял правую руку, и все увидели в ней рыжего зверька с белым окровавленным брюшком. Володька шел не спеша, вперевалку, в такт шагам покачивая светлой взлохмаченной головой. За плечом ружье, вокруг пояса широкий брезентовый патронташ — самый заправский охотник.

А Пуха? Что творилось с Пухой? Она юлой кружилась вокруг своего хозяина, забегала вперед, на секунду останавливалась, глядя на него своими маленькими блестящими глазами, затем поворачивала ласковую, торжествующую мордочку к людям: да посмотрите же, посмотрите на него! Ведь это Володька, Володька...

Сияло солнце, птицы пели на каждом кусте...

И вдруг все померкло. Большой, громадный человек тучей надвинулся на Володьку, выхватил у него белку. Раз, раз — и прямо по лицу. На скулах у Володьки показалась кровь.

Пуха завыла.

Никто не ожидал такой развязки. Женщины зароптали:

— С ума сошел! Свет перевернется — на час опоздал.

— Нехорошо, Кузьма Васильевич! Не своего бьешь — сироту.

Кузьма отбросил белку в сторону, круто обернулся к женщинам:

— Какой он к черту сирота! Меня отец в его годы драл как сидорову козу.

— Так то отец...

— А мой отец, ежели напакостил, одинаково драл и своих и чужих. И мне наказывал. Понятно? — и Кузьма широким, размашистым шагом пошагал к косилке.

Внизу, за избой, раздался топот, веселый захлебывающийся крик,— это Колька поскакал за лошадьми.

Володька, бледный, закусив губу, водил зелеными округлившимися от злости глазами вокруг себя. Он одинаково ненавидел сейчас и тех, кто ему сочувствовал, и того, кто так жестоко обидел его. Возле него виновато терлась Пуха со злополучной белкой в зубах. Володька в ярости отбросил ее пинком. Пуха перевернулась в воздухе и, жалобно взвизгивая, покатилась по выкошенной пожне.

Колхозницы, еще несколько минут назад выказывавшие ему сочувствие, замахали руками:

— Дурак! Худо тебе попало!

— Собачонка вокруг него так и эдак, а он куражится.

— Чего набычился? Вытри рожу-то — не на спектакле.

В самом деле, глупо было стоять вот так, у всех на виду. Володька прошел в сенцы, скинул с плеча ружье, снял патронташ и, войдя в избу, бросился на постель.

За стеной, на улице, разговаривали, смеялись бабы, стучал ключом Кузьма, выверяя косилку перед отъездом, время от времени подавал голос Никита: «Николай!» А Володька, уткнувшись лицом в старый, заскорузлый и провонявший потом ватник, одновременно служивший ему подушкой, молча глотал слезы, скрипел зубами. Временами он забывался — сказывалась бессонная ночь, потом внезапно просыпался и снова, истерзанный бессильной яростью и усталостью, проваливался в зыбкую, как болотный мох, дрему...

Что случилось? Откуда топот, ржанье? Ах да, Колька привел лошадей...

Он поднял отяжелевшую голову, сел. Как быть?

Выйти на улицу или уж лучше обождать, когда все уберутся на пожню? Нет, черт подери, он выйдет! Выйдет! Хотя бы только для того, чтобы увидеть, какая кислая рожа будет у Кольки, когда его попрут на Шопотки.

Володька вскочил на ноги, отыскал на окошке осколок зеркальца, перед которым наводила красу Параня, начисто стер с лица следы беличьей крови.

На улице, как всегда перед отъездом на работу, взнуздывали лошадей, прилаживали к спинам войлоки — хоть и близко до пожни, а на лошадях лучше, по крайней мере, ноги не замочишь, перебираясь через речонку. Кузьма с помощью Никиты запрягал Налетку — дрянь кобыленка, ни секунды не постоит спокойно. И лишь Колька, картинно развалясь у стола и попыхивая папироской, не принимал участия в общей суматохе. Как же, герой! Что, мол, ему пустяками заниматься. Он свое дело сделал... Ладно, посмотрим, как запоешь сейчас!

Володька, до сих пор поглядывавший на людей сквозь щель в сенцах, подался к проему раскрытых дверей.

— Кузьма Васильевич, а Кузьма Васильевич! — живо воскликнул Колька.— А Володьку не хочешь? Он на тебя уж час смотрит влюбленными глазами.

Ну, гад, погоди! Дорого ты заплатишь за это! И Володька, трясясь от бешенства, шагнул через порог.

Он был уверен, что и на сей раз все кончится злой шуткой, но, к его великому удивлению, Колькины слова приняли всерьез: надо сначала с Грибовом управиться, а потом уж наваливаться на Шопотки. Пускай сперва Кузьма один едет, а для веселья хоть Володьку возьмет,— не всё ли равно, где тому хлебы переводить?

Кузьма подумал, коротко сказал:

— Уговорили.

— Не поеду,— отрезал Володька. Он давно уже ждал этого момента.

Его стали упрашивать, уламывать — один Кузьма ни слова.

— Сказал, не поеду. Чего пристали?

— Пристали? — Кузьма вдруг выпрямился во весь свой громадный рост, повел бровью: — А ну, живо! Забирай свое барахлишко!

Володька с ненавистью посмотрел ему в лицо, потом плюнул себе под ноги и, сопровождаемый тревожными и по-собачьи преданными взглядами Пухи, пошел в сенцы.

3

От Грибова до Шопотков считается пять верст. Но кто хоть раз попытался установить, что такое крестьянская верста!

Впрочем, дорога вначале как дорога — даже радуешься, попадая с солнцепека в лесную прохладу.

Внизу — Черемшанка: всплеснет, взыграет на дресвяных перекатах и снова нырнет в густой, непролазный ольшаник. Иногда в отлогом берегу увидишь песчаные размывы с лунками, с помятой травой вокруг и порыжелыми обломанными ветками — не иначе как зверь выходил на водопой. Хороша и правая сторона дороги: высокий сосняк, прошитый белой березой, и, куда ни глянь, всюду россыпи голубики — будто небеса спустились на землю.

Но так только вначале. А вот переедешь мокрую ручьевину, сплошь заросшую собачьей дудкой да кустистым лабазником, и начинается черт те что: замшелый ельник, сырость, комар разбойничает...

Володька, ворочаясь, ерзая на мослаковатой хребтине, бился, как на муравейнике. Но вскоре стало и того хуже: на голову надвинулись еловые лапы, и ему пришлось раскланиваться чуть ли не с каждой елью. И всякий раз, когда он разгибался, глаза его натыкались на одно и то же — на ненавистную спину Кузьмы. Крепкую, широкую, окутанную серым облаком гнуса. Но тот хоть бы рукой пошевелил. Качнется, когда колесо косилки наскочит на корень или колодину, и снова как пень. Неподвижный, молчаливый.

И это каменное спокойствие и невозмутимость больше всего бесили Володьку. Как будто так и надо — съездил человеку по морде — и радуйся. Конечно, он, Володька, виноват: надо было эту кобыленку связать, раз она такая прыткая. Но если правду говорить, для кого он торопился к избе? Может, Никиту да Параню не видал? А всю ночь не спал, за белкой гонялся?

И чем больше он распалял себя, тем с большей изощренностью обдумывал будущую месть. Поджечь дом, изувечить корову,— пусть-ко он без коровы с ребятиш-

ками помается... Нет, не то. Не по-мужски. Уж если сводить счеты, то сводить с ним самим. Подкараулить, например, ночью и камнем из-за угла, или залезть на крышу и чурку на голову...

Так думал Володька, качаясь под низким навесом ельника и отбиваясь от комаров. Иногда он доставал сухарь, грыз сам, бросал Пухе, семенившей сбоку,— ведь они с утра ничего не ели — и снова, наткнувшись взглядом на широкую, несокрушимую спину Кузьмы, возвращался к мыслям о мести.

Миновали еще один ручей с высокой, жирной, годами не выкашиваемой травой, потом переезжали небольшое болотце. Лошади проваливались, колеса косилки вязли. Кузьма рубил ольховые кусты, елки — все, что попадало под руку, бросал под колеса.

Помогать? Нет, Володька и не подумает.

За болотцем снова ельник и снова поклоны направо и налево. Когда же это кончится?

А кончилось неожиданно: впереди вдруг распахнулись синие ворота неба, дорога покатилась вниз, и они выехали к речке. Кузьма остановил лошадей перед самым спуском к воде, слез с косилки, расправил занемевшие плечи — с наслаждением, до хруста. Прислушиваясь, сказал:

— Слышишь, журчит? Тут ключи со дна бьют, дресва шевелится — вот и похоже на шепот. Верно?

Володька, не отвечая, хмуро смотрел по сторонам. Шепот-то есть, а где же трава?

Действительно, кроме маленькой и то наполовину затянутой ивняком пожни, на которой они сейчас стояли, вокруг не было никаких покосов. Справа — лес, слева — лес, и на том берегу, за кустами, тоже лес.

Кузьма, похрустывая галькой, спустился к Черемшанке, перешел ее вброд — вода была чуть-чуть повыше щиколотки.

— А ну, давай сюда.

Чего давать? Ехать? Пешком идти? Володька поехал.

— Сейчас начинается самое трудное,— сказал Кузьма.— Попробуем сперва без машины.

Раздвигая кусты, он пошел вперед. Володька — за ним. Замелькали просветы, потом показался калтус — зыбкая болотина, затянутая реденькой осокой и лопушкой.

Кузьма ступил на калтус — начал проваливаться.

— Вишь что делается.— Он выбрался на твердую почву, поковырял носком сапога трухлявую валежину из березы — такие валежины, как белые кости, из конца в конец покрывали калтус.

— Тут раньше настил был — вон туда, на кусты. Нуко, толкни коня.

Володька «толкнул». Валежины хрупнули, и конь провалился до брюха.

— Да, задача...— Кузьма, задумавшись, почесал затылок.

Чеши, чеши! Надо было раньше чесать. А в общем, какое ему дело? Не он затеял эту прогулку на Шопотки. И Володька с подчеркнуто безучастным видом продолжал горбиться на коне.

— Ладно,— сказал Кузьма,— двигай к избе. Ты бывал на Шопотках? Нет? Тут она близко. Калтус да кусты проедешь — и изба. Никита говорил, что в сенцах коса должна быть. В общем, обживайся, а я что-нибудь стану соображать.

Да, помирать будет Володька, а и тогда вспомнит этот калтус. Качалось небо, качался лес — всё ходило ходуном. Конь натужно, с храпом выбрасывал передние ноги, хлопался мордой в жидкую грязь, отфыркивался и снова месил болотину. У Володьки несколько раз мелькало в голове — всё, конец, не выбраться, и он уже намеревался сползти с коня или как-нибудь завернуть его обратно, и он бы сделал это, если бы не Кузьма. Унизиться перед заклятым врагом, признать себя побежденным — вот, мол, без тебя никуда не попал — ну, нет! Лучше издохнуть в этом калтусе! И, чувствуя, как его до слез прожигает новый прилив ненависти, он стискивал зубы, рывком бросал свое тело вперед, чтобы помочь коню...

Когда он выбрался из трясины, у него не было сил, чтобы оглянуться назад. Да и не все ли равно, смотрит на него Кузьма или нет...

Вид избушки окончательно доконал его. Старая, скособочившаяся, она со всех сторон заросла высоким ельником крапивы — непременной спутницы всякого запустения. На обомшелой крыше грелись ящерицы, и, когда он бросил на землю заплечный мешок, они с сухим треском зашуршали по тесницам.

Он заглянул в сенцы (для этого пришлось ползком пробираться через обвалившийся проход) — крапива; за-

глянул в избу — зеленый полумрак, комары всхлипывают. На рухнувших нарах дотлевает сенная труха, вместо каменки — груда камней...

Надо было, однако, что-то делать. Коса, о которой говорил Кузьма, оказалась не в сенцах, а на потолке избушки. Заржавела, косье свело: кто-то, видно, вырубил елку, обстругал, кое-как приладил к пятке и бросил — ни себе, ни людям.

Но как попала сюда коса? В этом году Никита не был на Шопотках — Володька знал точно. Может быть, прошлым летом кто заезжал? Ведь уже который год идут разговоры: надо взяться за Шопотки. А вот охотников не находилось — дошлый народ! Поджидали, когда этот Кузя из города приедет.

Володька выкосил крапиву в сенцах, около избы, отгреб. Кузьма не подавал о себе никаких вестей.

Палит солнце. Мрачный ельник стеной упирается в небо. Лупоглазые ящерицы смотрят с крыши... И такая тоска вдруг взяла его, что он не выдержал — закричал. Никто не ответил ему. Даже эхо, хоть маленькое эхо, и то не откликнулось на его призыв.

Он откинул ногой полость свернувшегося войлока, пал на него ничком. И за каким дьяволом он поехал сюда? Девок испугался — засмеют, бедного. Ну и что? Разве от смеха умирают? Губы пересохли, хотелось пить.

Он сходил к речке, напился.

Где Кузьма? Неужели все еще «соображает»? Люди глупее его были — калтус мостили. А он, поди, особенный, по воздуху на машине проскочить хочет...

Сморенный жарой, усталостью, Володька незаметно для себя задремал. Во сне ему снилось раздольное Грибово, девчонки, со смехом купающиеся на плесе. Нюра-счетоводша в красном купальнике и почему-то в больших меховых рукавицах, вывернутых наизнанку шерстью, бегала за ним по лугу...

Вот оно что! Пуха, сатана, привалилась. Володька с досадой оттолкнул ее от себя, сел. Ему показалось, что в кустах, у реки, справа, будто что-то треснуло. Пуха, поджав хвост, настороженно смотрела туда. Неужели зверя чует? А что, вылез к реке пить, а тут конь на лугу... И, холодея, Володька невольно скосил глаз на избу. Без дверей...

— Но-но!..— вдруг отчетливо услышал он человеческий голос.

Да ведь это Кузьма!

Володька вскочил на ноги, побежал к речке. Верхушки кустов над речкой качались, треск, шум — будто жернова ворочают. Как он туда залез? Под ногами обрывистый спуск к воде... Володька не раздумывая прыгнул на дресвяный берег...

Невероятно! Рекой... Прямо рекой ехал Кузьма! Точно водяной на своих рысаках — Володька видел где-то картинку: старик с длинной седой бородой, на голове корона, в руках вилы...

Володька кинулся в воду, закричал:

— Давай, давай! — Потом, сообразив, что надо делать, зашлепал вверх по реке.— Сюда, сюда! — опять закричал он, увидев впереди, за поворотом, отлогий берег.

Лошади, навьюченные мешками, корзиной, вышли на берег пошатываясь. С них ручьями стекала вода.

Кузьма отжал подол рубахи, штаны, шумно, как конь, отряхнулся. Глаза его, залитые потом, возбужденно блестели.

— В одном месте все-таки нырнул. Хлебы, наверно, подмокли.

Володька готов был слушать до бесконечности. Черт знает что! Из реки дорогу сделать... Надо же придумать такое! Но Кузьма коротко бросил:

— Поехали.

У избы сняли мешки, корзину, распрягли лошадей. Кузьма заглянул в сенцы, заглянул в избу.

— Ты что, на курорт приехал?

Всё вернулось к старому. И Володька, сразу помрачнев, буркнул:

— Ты сказал, у избы выкосить...

— А сам-то не понимаешь, что надо? На крапиве спать будешь? Разжигай огонь.

Пухе явно была по душе трудовая суматоха. Она покрутилась возле пылающего, как вызов, брошенный дремотным небесам, костра, побывала у лошадей, бродивших по брюхо в тучной траве, и даже осмелилась заглянуть в кусты — туда, где, будоража эхо, гремел топором этот непонятный и страшный для нее человек.

Кузьма вышел из кустов с огромной ношей свежих лесин, с грохотом бросил у избы.

— Давай подновим ее маленько.

Он выбрал еловую лесину, подал Володьке. Потом, став на колени, подвел свое плечо под осевший угол сенцев и начал приподыматься. Угол и крыша дрогнули и медленно поползли вверх.

— Ставь.

Володька, обхватив обеими руками стойку, поставил. Угол сел на стойку.

— Так,— сказал Кузьма, разгибаясь и вытряхивая из-за ворота гнилушки.— Одно есть.

Вслед за тем выбросили прогнившие нары из избы, перебрали каменку, затопили избу. Густой белый дым, поваливший из дверей, дымника, окошек, стал медленно расползаться по вечерней земле.

— Вот теперь можно и себя привести в божеский вид,— сказал Кузьма, не без удовлетворения оглядывая свое новое жилье.

Он развязал мешки, достал белье, кожаные тапочки и начал не спеша раздеваться. Снял рубаху, скинул сапоги, стащил порванные на одном колене штаны — остался в одних трусах.

Володька, ставя чайник на огонь, искоса посматривал на него. Здоровый, черт!

Кузьма вскинул на руку полотенце, белье, взял мыло.

— Тебе бы тоже не мешало. Посмотри, на кого похож.

— Мы не городские,— съязвил Володька.— Это в городе к одиколону привыкли.— Слово «одеколон» он нарочно произнес на простецкий лад.

— Дурак,— сказал Кузьма и направился к речке.

Он шел осторожно, непривычно ступая босыми ногами по смятой траве и заметно припадая на левую ногу — ниже колена она была сплошь исполосована глубокими рваными рубцами.

«На войне был»,— подумал Володька и тут же довольно усмехнулся: Кузьма, подстегиваемый комарами, вынужден был перейти на бег. Сначала качнул одним плечом, потом другим и закачался, как лось на разминке,— лениво, нехотя выбрасывая длинные ноги.

В предзакатной тишине слышно было, как он плещется в воде, шумно отфыркивается. Пуха, томимая любопытством, раза два приближалась к прибрежным кустам, но спуститься к речке не решилась.

Вернулся Кузьма посвежевший, с мокрыми, зачесанными назад волосами, в белой чистой рубашке, заправ-

ленной в легкие матерчатые штаны, на ногах тапочки — совсем как с прогулки. Выстиранную рабочую одежду развесил на кольях около огня.

— У тебя что из харчей? — спросил он, роясь в своей корзине.

Володька промолчал. Какое ему дело до его харчей? И, глядя, как Кузьма засыпает в котелок пшено, подумал, что неплохо было бы и ему что-нибудь сварить, хотя бы трески,— валяется где-то в мешке звено. Но тут же мысленно махнул рукой: не привыкать — и чаю похлещет.

Чайник давно уже вскипел, но Кузьма затеял еще точить косу. Как будто нельзя подождать до утра! Володьку мутило от голода, ноздри щекотал вкусный аромат пшенной каши, булькающей в котелке, и, вращая брызжущее искрами точило, он на все лады клял этого бесчувственного чурбана.

Когда они сели наконец за еду, солнце уже закатилось. Холодная сырость наползала из кустов.

Володька достал из мешка бутылку с постным маслом, налил в кружку, запустил туда ржаной кусок.

— Единоличниками будем? — сказал Кузьма, снимая с огня котелок с кашей.

Володька ниже наклонил голову к кружке. И какого черта ему надо? Может, еще, как жрать, учить будет?

Кузьма поставил дымящийся котелок на середину стола, положил в него огромную ложку топленого масла.

— Ешь.

— У меня свое есть,— проворчал Володька.

— Ешь, говорю.— Кузьма сел напротив, подвинул к нему котелок.— Насмотрелся я вчера на вас на Грибове — тошно... Каждый уткнулся в свой котелок... Ну? — Кузьма нетерпеливо повел бровью.

Володька полез в мешок за ложкой. «Хрен его знает, что у него на уме. Тяпнет еще ни за что ни про что. Ладно, пущай мне хуже будет,— решил он, подумав.— У меня сухари да треска — немного поживишься».

— А Пуху-то мы и забыли! — Кузьма встал, кинул несколько ложек каши на газету, положил на землю сбоку стола.— Надо будет корытце ей вырубить.

Пуха, облизываясь, несмело подошла к каше, вопросительно уставилась на Володьку.

— Ладно, чего уж...— Володька отвел взгляд в сторону, и Пуха бойко захлопала языком.

После этого Володька думал, что Кузьма начнет извиняться, оправдываться — так и так, мол, погорячился давеча. На Грибове всегда так делали: сначала прикормка, а потом примирение.

Ничуть не бывало!

Поужинав, Кузьма молча поднялся, сам вымыл посуду на речке и стал устраиваться на ночлег. Володька собрался было вязать лошадей.

— Не надо,— сказал Кузьма.— Сегодня намаялись — никуда не уйдут. А вот от зверя, пожалуй, что-нибудь надо.

Он сходил в лесок, зажег старый муравейник.

В избе легли на полу — окошки и дымник заткнули травой, вместо дверей подвесили парусиновую мешковину.

Тихо, темно, как в погребе. Где-то над головой пищит одинокий заблудшийся комар. За стеной бродят, похрустывая травой, лошади.

Володька достал папироску, закурил.

— Ну вот что,— сказал Кузьма,— этого я не люблю. Хочешь — выходи на улицу.

Володька, чертыхаясь про себя, нащупал сбоку траву, вдавил папироску. Ну и жизнь — дышать скоро по команде. И тут ему опять вспомнилось житье на Грибове — вольготное, бездумное, с шутками, с разговорами. Нет, удирать надо, удирать. А то зачахнешь, дикарем станешь в этой берлоге.

Он прислушался к дыханию Кузьмы. Спит. Не выйдет! Задобрить, прикормить хотел... И новая вспышка ненависти опалила Володьку.

Первый раз так обидели его и даже не сочли нужным оправдываться...

4

— Вставай, вставай, соня!

Володька продрал глаза. Полость в дверях откинута, светло.

Он нащупал рядом с собой сапоги, натянул на ноги. На улицу вышел заспанный, злой.

Солнце еще только-только отделилось от кромки леса. Густая роса, как крупная соль, крыла траву. Жарко трещит огонь.

Увидев Кузьму, Володька остолбенел. Кузьма без ру-

бахи, голышом сидел за столом и брился. Для кого это он старается? Кобыле, что ли, хочет понравиться?

— Пошевеливайся,— сказал Кузьма, не оборачиваясь.

Володька сходил на речку, оплеснулся холодной водой. Когда он вернулся к избе, Пуха ела вчерашнюю кашу. Володька с презрением посмотрел на нее: продалась, подхалимка!

Попили чаю.

Володьку разморило. Шею, спину пригревало солнцем. Сладкий дымок муравейника, все еще тлеющего в леске, приятно дурманил голову. Облокотившись на стол, он угрюмо, исподлобья поглядывал на Кузьму, запрягавшего лошадей в косилку. И за каким дьяволом он встал ни свет ни заря? А еще в городе жил. У них в деревне и то понимают, что к чему. На Грибове сейчас изба трещит от храпа. Но сам он — пускай. А зачем его-то будить? Добро бы лошадей привести надо, а то тут они — от избы не отгонишь.

— Ну, ты готов?

Куда еще готов? Володька нехотя поднялся.

— Поехали! — Кузьма вскочил на косилку, пружины сиденья жалобно охнули.

И опять, как вчера, торчит перед ним спина — широкая, необъятная, только на этот раз в белой рубахе. Что же он, так и будет изо дня в день любоваться этой спиной?

Проехали узкий перешеек, заросший ивняком.

Мать честная, мыс! Большой, опоясанный Черемшанкой мыс. Как на Грибове. А за мысом еще мыс, а за тем мысом тоже мыс. А трава? Пырей самолучший, по пояс.

Володька подивился: сколько добра каждый год пропадает, а коровы весной от бескормицы дохнут.

Кузьма натянул вожжи, опустил пальчатый брус.

— Учти,— сказал он, оборачиваясь к Володьке, и улыбнулся. Первый раз улыбнулся за два дня.— Учти,— повторил Кузьма,— момент, можно сказать, исторический. До нас здесь никто с машиной не бывал.

Дрогнула, рассыпала дробь косилка. Лошади, помахивая головами,— нелегко тащить такую телегу по брюхо в траве, пошли вдоль речки, тесно прижимаясь к кустам.

Правильно, подумал Володька, надо сперва от кустов

откосить, а потом только кружки. Но зачем его-то сюда было тащить? Момент исторический запоминать?

Он сбил сапогом росу с пласта травы, сел, закурил. Пуха, привстав на передние ноги, внимательно смотрела в сторону Кузьмы.

— Не видала, как косят! — Володька схватил клок травы, запустил в Пуху.

Меж тем Кузьма сделал круг:

— Хочешь попробовать?

Володька пожал плечами, встал. Чего пробовать? Неужели он думает, что Володька круглый идиот? На сенокосе третье лето живет, да чтобы такой техникой не овладеть?

Володька решительно подошел к косилке, взгромоздился на сиденье. Попробовал ножные педали — порядок, попробовал ручной рычаг — порядок. Пуха просто расцвела. Любит, глупая, всякие машины.

Володька околесил мыс, подъехал к Кузьме.

— А ну, дай еще круг.

Володька дал еще круг.

— Так что же ты молчал? Я все утро ломаю голову — машина будет простаивать... Давно косишь?

Предательская краска залила лицо Володьки. По правде говоря, его и близко не подпускали к машине — разве так, нахрапом проедешь у Никиты, потому что больно уж задается Колька. Но, с другой стороны, нечего и прибедняться: трава-то одинаково свалена что Кузьмой, что им. И потому, слезая с косилки, он уклончиво ответил:

— Приходилось.

— Ладно,— сказал Кузьма.— Я пройдусь по пожням. Тут весной топит — хламу, наверно, пропасть.— И пошел, пошел, как двухметровку, переставляя ноги.

У Володьки перехватило дыхание. Так что же это? Ему косить? Так надо понимать?

— Заело чего-нибудь? — спросил, оборачиваясь к нему, Кузьма.

Как бы не так! Володька живо вскочил на сиденье. Огромный сияющий мир, расцвеченный утренним солнцем, закачался перед его глазами. Блестит, переливается зернистая роса на траве, высокие ели с поднебесья смотрят на него...

Ну, Колька, берегись! Нос-то теперь поопусти маленько. Да и Нюрочка: «Привет колхозному конюху».

Придется новые словечки выучить. А Никита, Параня? Глаза на лоб вылезут, когда увидят его на косилке. И в правленье — руками разведут: «Вот тебе и Володька! Слыхали, что, стервец, делает? На косилке на пару с Кузьмой строчит».

Все эти мысли, набегая одна на другую, разом пронеслись в голове Володьки. Глаза его щурились от непривычной улыбки, от солнца. Рядом по свежескошенной траве семенила Пуха, мокрая, но очень довольная, постоянно поглядывая на него сбоку. Изредка хлопал топор,— это Кузьма расчищал от хлама пожню. И когда он нес на плече валежину, поднимая из травы ноги, на каблуках его мокрых сапог слепяще вспыхивали шляпки железных гвоздей.

«Подковался, как конь»,— подумал Володька.

Но вот и Кузьмы нет — перебрался на соседний мыс. Володька остался один — один на целом покосе. Полный хозяин! Вот как жизнь обернулась. А потом приедут люди, будут сгребать сено — сено, накошенное им. Надо только почище косить. Чтобы не говорили: «Володченко тут, бес, чертил. Что с него взять?» А вот так не хотите! «Ну и золотые руки у косильщика — дай ему бог здоровья! Грабли сами бегают». И когда на взгорбинах, на поворотах или на кротовых холмиках коса шла юзом, подминая траву, Володька терпеливо поднимал пальчатый брус, очищал его от земли, пятил лошадей назад и снова прокашивал.

Один за другим ложатся ряды травы. Лошади уже в мыле — густая трава, да и жара. Ему приходится время от времени слезать с косилки, щупать под хомутами. Не хватало еще, чтобы лошади у него сбили плечи... Паршивая эта кобыленка Налетка — все время, тварь, хитрит. Мало ему из-за нее досталось, так нет, и тут номера выкидывает: то мордой в траву зарывается — будто век не жрала, то в сторону норовит, а то опять из хомута назад вылезает — тащи, Мальчик, один. Володька хлестал ее ременкой, приговаривал:

— Вот тебе, вот тебе! Я тебя выучу.

Душно, пот одолевает. Сыромятные вожжи в руках раскисли. Пуха — тоже бестия не последняя — забралась от жары в траву. А все-таки чувствует, что к чему. Раз хозяин работает, то и она по своей собачьей вере трудится: ползет сбоку, путает траву.

Ах, если бы выкупаться... Мысль эта появлялась у

Володьки каждый раз, как он приближался к речке, но он тотчас же отгонял ее, как надоедливого овода. А ну увидит Кузьма? Хрен его знает, как он посмотрит. Все же Володька догадался снять верхнюю рубаху — стало немного легче...

Когда из-за кустов показался Кузьма, мыс был выкошен наполовину.

Володька еще издали увидел в руке Кузьмы порядочную щуку — пожалуй, не меньше топорища,— болтающуюся на прутике, но подъехал к нему внешне спокойный, никак не выказывая своего удивления. Во-первых, Володька сам немало ловил щук на Грибове, а во-вторых, пусть-ко он удивляется.

И Кузьма удивился.

— Порядочно сдул,— сказал он, оглядывая мыс.

— Ничего, лошаденки тянут,— уклончиво, тоном опытного косильщика сказал Володька.

— Отдыхал? Надо давать передышку.— Кузьма пощупал под хомутами, вытер о траву руку.

Володька все же сказал, указывая глазами на щуку:

— Большая дура. Килограмма на полтора будет.

— Щука-то? — Губы Кузьмы, обветренные, в трещинах, расползлись в довольной улыбке. Он приподнял полосатую рыбину, словно пробуя на вес.— На мели зарубил. Харчи у нас неважнецкие — придется на довольствие к реке вставать.

— Можно,— сказал Володька.

Кузьма поправил топор на ремне, кивнул:

— Ладно, покрутись еще с часик, а потом я сменю.

Большой, высокий был Кузьма, но до чего же все у него складно! Даже топор на ремне не отвисает, как у других,— влип в железную скобу, как маузер. И сапоги — обыкновенные кирзовые сапоги, не лучше, чем у Володьки. Но тоже как-то по-особому выглядят — может быть, оттого, что немножко голенища отогнуты?

«А волосы-то у него, как у меня, светлые»,— вдруг подумал Володька, провожая глазами шагающего по лугу Кузьму, и это неожиданное открытие немало удивило и в то же время обрадовало его.

Вскоре над кустами, там, где была изба, задрожал прозрачный дымок.

Интересно получается, думал Володька, он косит, а начальство кашеварит. Ежели сказать кому, не поверят. Но сам-то Володька находил это в порядке вещей. Не

удивляются же на Грибове, когда Никита лежит, а Колька косилку мозолит. А почему он, Володька, не может?

Кузьма явился с Тузом — таким же, как Мальчик, рослым и ступистым мерином рыжей масти.

— Ну, отдыхай,— сказал Кузьма.— Заработал. Там тебя щука ждет.

Володька связал на веревку Налетку, с достоинством, не спеша, все еще расправляя занемевшую спину, подошел к избе. Культурненько! Стол накрыт газетой, в миске под зеленым лопухом — полщуки, ровно полщуки. Вот человек — поровну делит!

Ему страшно хотелось есть — щука рассыпчатая, в больших желтых крапинках коровьего масла, но он скинул сапоги и, раздевшись до трусов, побежал к речке.

Все хорошо — и купанье, и еда. Володька мог поклясться: никогда еще в жизни не ел такой щуки! Какая-то особенная!

Он сидел у избы один. Березы, сморенные жарой, не шевелили ни единым листышком. Но осинки лопотали, тихо, но лопотали. Пуха, похрустывая, продолжала еще перебирать щучьи кости.

«Надо будет и мне заарканить щуку,— подумал Володька.— Долг платежом красен. На ночь можно крючки лягухой наживить, а сейчас пройдусь с блесной».

В кустах напротив избы он срезал немудреное удилище, приладил к нему жилку с блесной. Отправляясь на рыбалку, он нарочно решил пройти мимо Кузьмы — пусть посмотрит: и мы умеем расплачиваться.

Кузьма докашивал мыс — только маленький островок травы оставался посредине. Завидев его, окликнул:

— Куда?

Володька солидно, становясь на равную ногу, ответил:

— Да вот, не могу ли щучонка какого зацепить.

— Я же тебе что сказал? Отдыхай! Носом клевать будешь! — И Кузьма, считая вопрос исчерпанным, погнал лошадей.

Володька постоял-постоял и, покачав головой, повернул обратно. Ну, отдыхать так отдыхать. У избы, поставив к стене удилище, он опять задумался. Смехота! Отдыхать...

Пуха сунулась было за ним в избу, но Володька строго на нее посмотрел:

— Твое дело какое? Сон хозяина охранять. Поняла?

В избе прохладно, пахнет продымленным сеном. Сквозь окошки, заткнутые травой, просачивается зеленый свет, и кажется — ты нырнул на дно реки, заросшей водорослями. Но Володька все еще не мог свыкнуться с мыслью об отдыхе. То есть в том, что он лежит сейчас в избе, не было ничего особенного. На Грибове иной раз до того долежишь — бока одеревенеют. Но тут... Тут другое. Тут прямо тебе говорят: отдыхай. Вот, мол, поработал — и отдыхай. И Кузьма там знает, что его напарник не просто лежит, а отдыхает...

Да, так среди бела дня — по всем правилам — и отхрапел Володька часа два, пока не явился Кузьма и не разбудил его.

Кузьма был мокрый от пота, дышал тяжело, как лошадь, только что выпряженная из косилки. Сидя у стола и отирая ладонью мокрое, блестящее лицо, он поделился своими огорчениями:

— Тяжело. Кроты землю изрыли — коса все юзом.

— Это на новом мысу? — посочувствовал Володька.

— На новом.

— Надо косу поднять,— сказал Володька.

— Подымал — не помогает. И колеса вязнут. Земля тут рыхлая.— Кузьма натянуто усмехнулся.— Бог, наверно, когда делал эти Шопотки, не рассчитывал, что тут на машине будут ездить. А мы забрались...

Володьке очень нравилось, что с ним вот так, по душам, на полном серьезе, ведут деловой разговор, и он не без внутреннего сожаления сказал, принимая подобающую позу:

— Пойду поскребу сколько-нибудь.

— Погоди.— Кузьма тяжело поднялся.— Коса засеклась — надо поточить.

Володька взял косу, стоявшую у стены, с готовностью протянул Кузьме.

— Давай ты,— сказал Кузьма и взялся за ручку точила.

Володька покраснел:

— Я не умею.

— А я вчера точил, ты глазами хлопал? И посуду тоже мыть надо,— жестко добавил Кузьма, кивая на стол.— Няньки здесь не положено.

Черт знает что за человек! Начали было жить по-человечески, так нет — обязательно настроение испортить надо.

Володька уходил на покос мрачный, насупленный. Но, поразмыслив дорогой, он должен был признать, что Кузьма, пожалуй, прав. На самостоятельность бьет. Чтобы он, Володька, значит, по всем линиям... Ох и хитер мужик!

И когда он сел на косилку, жизнь снова гремящим, многоцветным праздником заиграла вокруг него.

Ему повезло, по-настоящему повезло. То ли оттого, что та часть пожни, на которой он косил, была меньше изрыта кротами, то ли потому, что он был намного легче Кузьмы и лошади шли свободнее, или оттого, что сам он был ловчее Кузьмы,— и такая мысль приходила в голову Володьке,— но как ни гадай, а за этот упряг он обскакал Кузьму. И Кузьма, когда увидел скошенный им участок, просто ахнул:

— Здóрово! Крепко выдал, Владимир.

Да, так и сказал — «Владимир».

Шуршит под ногами подсохшая за день трава. Огромные, богатырских размеров тени шагают рядом с ним и Пухой. И, глядя на эти качающиеся, распростершиеся по всему лугу тени, Володька чувствовал себя большим и сильным, круто повзрослевшим за один день.

Вот где в рост пошел! На Шопотках! — думал он, приближаясь к избе. То-то он в последнее время каждую ночь летает во сне.

Закат угасал медленно. Воздух еще не остыл, а в низинах уже ночь расстилала белые холсты туманов. Ожили, заговорили ключи на речке. О чем они шепчутся, бормочут?

В тот вечер, сидя у избы (надо было дать лошадям передышку), они разговорились.

— Кузьма Васильевич,— спросил Володька,— а целина — это только там, в Сибири? Больше уж нигде нету?

Кузьма, подтягивая гужи у хомута, озадаченно поднял голову.

— Ну вот здесь, у нас, на севере... Не может быть этой целины? Или надо, чтобы трактора, комбайны?..

— А, ты вот о чем! — Кузьма улыбнулся.— Думаешь, что и мы с тобой целину подымаем? Подходяще бы! А в общем-то не совсем. Русь-матушку расчищаем. Раньше тут под каждым кустом выкашивали — ужас сколько сена ставили...

— Интересно,— сказал Володька.— А на собраньях — всё подъем да подъем...

— Ну и что! Дела-то в колхозе пошли лучше.— Кузьма помолчал, пытливо присматриваясь к Володьке.— А у тебя шарики шевелятся. В каком классе шагаешь?

— Отшагал... В шестой ходил.

— Что так? Науки не по нутру?

Володька напыжился, сказал:

— За дисциплину. С учительницей общего языка не нашел.

— Ничего! Жизнь припрет — найдешь. Я тоже не последний балбес был. А вот видишь, нашлись добрые люди — обломали.

Володька, сдерживая дыхание, весь подался вперед. Неужели и его выперли из школы?

Но Кузьма — непонятный все-таки человек — встал, накинул хомут на плечо.

— Хватит — посидели. Никита нагрянет, а у нас задела нет. Придется поднажать.

И они поднажали. Как следует поднажали! Косили днем и ночью. Ночью — хорошо, прохладно. А днем — чистое наказанье: зной, дышать нечем, жгут оводы, и Володька, как на жаровне, крутился на железном сиденье. Кончив смену, он добирался до избы, выпивал кружку кислого чая и замертво сваливался на постель.

Кузьма оброс рыжей щетиной, лицо его стало кумачово-красным, и, когда он открывал черные, запекшиеся губы, белые зубы его блестели нестерпимым блеском.

— Лошадей, лошадей смотри! Чтобы плечи не сбили,— постоянно твердил он одно и то же.

К вечеру четвертого или пятого дня их житья на Шопотках — все перепуталось в голове у Володьки — на западе засинело.

Кузьма забеспокоился:

— Что же они, проклятые, не едут? Зарядит дождь — все наше сено кобыле под хвост.

«Действительно,— возмущался Володька,— чего они там копаются? Ведь и работы-то оставалось от силы на три дня».

За ужином Кузьма, тяжело ворочая негнущейся шеей, сказал:

— Ну, корежит меня — сил нет. Неужели погода сломается?

За ночь погода не сломалась, а вот Кузьма — Кузьма сломался.

Утром, когда Володька проснулся и вышел из избы, он увидел его возвращающимся с речки. Шел Кузьма вялым стариковским шагом, по-стариковски сгорбившись и вытянув вперед шею, обмотанную белым вафельным полотенцем.

— Чирьи вскочили. Наверно, оттого, что с жары выкупался.

— Бывает,— посочувствовал Володька.

Нет, это невероятно! У такого мужика заклепки сдали, а он, Володька, хоть бы что. Как кремень!

Гордость распирала его. Вот если бы сейчас кто-нибудь его увидел! Каково! Кузьма лежит у избы, а он, Володька, накручивает за двоих.

Но никто не видел его. Даже Пуха сегодня не плетется рядом с косилкой — прошла круга три и забилась в траву — жарко. Но что же спрашивать с Пухи, ежели сам Кузьма не выдержал?

На этот раз Володьку не ждал готовый обед. Заслышав его шаги, Кузьма буквально выполз из избы. На четвереньках. Как раненый зверь.

— Устал?

— Есть немного,— признался Володька.

— Сено как? Все пересохло?

— Еще бы! По валку идешь — труха.

— Вот народец! Ну, я до этого Никиты доберусь.

Скрипнув зубами, Кузьма сел на чурбак, начал разматывать полотенце на шее:

— Посмотри-ко, нельзя ли их к чертовой матери?

Крутая загорелая шея Кузьмы чудовищно распухла, налилась нездоровой краснотой. И из этой красноты злыми пауками проглядывали фурункулы — черные головки их угнездились у самого основания шеи — знали, где выбрать место.

— Ничего не выйдет,— сказал Володька.— Подкожные.

Невесело почаевничали, посидели за столом. Потом Кузьма встал, посмотрел на запад:

— Чего зря траву переводить. Отдыхай.

Вдруг Пуха подняла голову, настороженно уставилась на кусты, скрывавшие калтус.

Кузьма и Володька переглянулись.

— Вроде треск какой,— сказал Володька, прислушиваясь.

Конечно, треск. А вот и крик. Едут!

Кузьма облегченно вздохнул:

— Беги за водой — пой гостей чаем!

Володька схватил чайник, сломя голову побежал к речке. И зря, совершенно зря, потому что вместо гостей из кустов выехал Колька...

Завидев Кузьму и Володьку, он помахал им рукой:

— Привет колхозным трудягам!

«Ну и задавала! — подумал Володька, вглядываясь в бледное, но улыбающееся лицо Кольки.— Сам еле на коне сидит, а делает вид, что ему все нипочем».

Подъехав к избе, Колька спрыгнул с коня, небрежно поддал ему сапогом под зад:

— Иди, подкрепись.

— Где остальные? Сзади? — спросил Кузьма.

Колька не спеша сощелкал пальцем комки грязи со своей полосатой рубашки, причесал мокрые волосы.

— Дорожка, однако. Как вы машину протащили? Я смотрел-смотрел — следов-то нет.

Володька решил поддержать авторитет Кузьмы:

— Кузьма Васильевич новую трассу проложил...

— Ладно, не в трассе дело,— нетерпеливо оборвал Кузьма.— Почему долго не ехали? Ждете, когда дождь грянет?

— Экий ты быстрый... У нас актив два дня носа не показывал, а ты захотел...

— У вас и без актива делать нечего,— опять вмешался Володька. Его до глубины души возмущал тот снисходительный, небрежный тон, каким Колька разговаривал с Кузьмой.

— Твоя забота, знаешь,— поел и на бок.

Володька не удостоил Кольку ответом. Что ему расписывать себя! Пускай Кузьма скажет.

Но Кузьма — странное дело — промолчал.

— Грабли одни, двое везете? — спросил он у Кольки.

— Завтра те и другие будут.

— Завтра? — Кузьма, закусив губу, попытался разогнуться.

— А тебя здорово, друг, скрутило. Чирьи?

Кузьма недобрым взглядом уставился на Кольку:

— Я говорю, почему завтра, а не сегодня?

Колька деланно усмехнулся, но марку выдержал:

— Чудак человек. Сено-то огородить надо? И потом — смотри, как парит. Умные люди говорят, к дождю.

— Так,— сказал Кузьма.— Дождичка ждете? А на

Шопотках навоз разводить будем? Ну вот что, передай Никите: ежели он завтра — слышишь? — ежели он завтра утром не пригонит грабли, я из него душу вытряхну. Так и скажи.

— Скажу.— Колька, еще не веря своим ушам, пролепетал: — Так мне, значит, на сто восемьдесят?

— А чего тебе здесь делать? Нам грабли нужны!

Через минуту Колька уже сидел на коне. К нему снова вернулась прежняя уверенность. Глядя сверху на согнувшегося Кузьму, он спросил тоном начальника:

— Сводка готова?

— Какая сводка, завтра бригадир приедет.

Колька нахмурил брови:

— Не одобряю. Нынче насчет дисциплинки, знаешь?

Кузьма поморщился:

— Езжай. Да лучше рекой — мы рекой ехали.

— Нет, ты серьезно? — Колька даже привстал от удивления.— А что? Это подходяще.

Уже спускаясь к Черемшанке, он оглянулся, крикнул:

— Володька, там бабы по тебе убиваются. Говорят, заели комары бедного. Что сказывать? — Колька громко рассмеялся и въехал в кусты.

— Паскудный растет парнишка,— сказал Кузьма.

В другой бы раз эти слова несказанно обрадовали Володьку, но сейчас он не придал им никакого значения. Страшное подозрение закралось ему в душу. Как же так? Он работал, работал, как прóклятый работал, а на поверку выходит все по-старому. И там, на Грибове, по-прежнему думают, что он, Володька, дурака валяет. А что? Докажи, что ты не верблюд. И почему Кузьме было не сказать Кольке: так и так, мол, Владимир выручает. А то как воды в рот набрал. Нет, это неспроста. Ты ишачь, а трудодни дяде. Ловко придумано. Многовато заработаешь, Кузьма Васильевич. Нет, поищи другого. Мы тоже не из лаптя щи хлебаем.

И остаток дня Володька работал спустя рукава. Стали лошади — пусть стоят. Захотелось выкупаться — пошел выкупался.

Пуха с явным неудовольствием посматривала на него. «Ох, Володька,— казалось, говорил ее взгляд,— смотри, Кузьма узнает...»

— Да пошла ты к дьяволу! — взрывался Володька.— Шкуреха продажная! Прикормили кашей.

Вечером он пришел к избе угрюмый, подавленный, избегая встречаться глазами с Кузьмой.

— Что невесел? — спросил Кузьма.

— Голова болит.

— Плохо дело, не хватало еще, чтобы ты раскис. Пей чай да ложись — может, за ночь и отлежишься.

Нет, за ночь Володька не отлежался. Утром он вышел из избы сгорбившись, болезненно морщась от яркого света и шумно дыша — что-что, а разыгрывать сироту Володька умел как следует.

— Не полегчало? — с беспокойством спросил Кузьма.

Володька покачал головой.

Пополоскали кишки чаем. Солнце калило вовсю — только по краям, над кромкой леса, кое-где клубились легкие бурачки.

— А погодка-то разгулялась,— сказал Кузьма.— Вот наказанье. Приедут с Грибова, а мы оба на больничном.

Да не приедут, дурак ты этакий,— хотелось крикнуть Володьке. Завтра ильин день — все к вечеру укатят. Специально тянут, чтобы поближе домой ехать. Он, Володька, например, еще вчера догадался, когда Колька начал дипломатию разводить. «Сено огораживать надо...» А от кого? Скот-то сейчас не на отгуле. Нельзя подождать? То-то и оно. Как ильин день, так людей на цепях не удержишь на сенокосе. Но с конюха спрос маленький, мысленно махнул рукой Володька. Чего он будет просвещать его? Грамотный. Должен понимать.

Между тем Кузьма поднялся на ноги:

— Пойду. Может, сколько покошу. А то скоро нагрянут — задел у нас небольшой.

И он, согнув обвязанную полотенцем шею, пуще обычного припадая на раненую ногу, заковылял к лошадям, связанным на колу за избой. Чтобы отвязать веревку, он опускался на колени, потом медленно, точно поднимая стопудовую тяжесть, выпрямлялся. Снять веревки с лошадей ему все-таки не удавалось, и они, извиваясь, ослепительно вспыхивая на солнце, поволоклись сзади лошадей.

Долго ни единого звука не было слышно в той стороне, куда ушел с лошадьми Кузьма. Но вот утреннюю тишину, как строчка пулемета, разорвал стрекот косилки.

«Поехал, значит»,— с облегчением вздохнул Володька. Он представил себе, каких мук стоило Кузьме запрячь лошадей в косилку, как качает его на каждой кочке

и в каждой ложбинке и как судорожно, до темноты в глазах, ворочает он распухшей шеей, и ему стало не по себе.

Но он не сдвинулся с места. Пускай. Раз он так, то и ему так. Дурак, идиот! — ругал себя Володька. Тебе на глазах у всех в рожу заехали, а ты разнюнился, сочувствие выказываешь. Как мог забыть?

Он вслушивался в далекий стрекот косилки, невольно вспоминал, как еще вчера сам лихо разъезжал по лугу, и с тоской думал о том, что уже никогда не повторится то, что он пережил в эти дни. Он чувствовал себя обкраденным, униженным. И слепая ярость, отчаяние душили его...

Смахивая слезу, он посмотрел на Пуху, которая, приподняв голову, внимательно прислушивалась к звукам, доносившимся с мыса, и вдруг разразился неистовой бранью:

— Паскуда! Сума переметная! Думаешь, не замечаю, как ты к нему липнешь! — Он схватил со стола кружку, швырнул в Пуху.

Пуха увернулась и вдруг пулей бросилась по тропинке на покос.

Володька позеленел, затопал ногами:

— Смотри, убежишь — всё!

И Пуха, одумавшись, повернула назад.

После этого он сходил к речке — в самый бы раз искупаться, но не искупался, полежал в избе, потом снова вышел на воздух.

С запада угрожающе надвигалась темень. Солнце перекрывало рваными облачками. Их полосатые тени медленно скользили по искрящейся листве деревьев, по сникшей траве на пожне, изнывающей от жары. Вокруг избы тучами носились оводы.

«К дождю беснуются, проклятые,— подумал Володька.— А тот косит, ни черта не замечает».

Вопреки его ожиданиям, Кузьма вернулся с покоса веселый, возбужденный, довольно свободно поворачивая голову.

— Разработался. Ну, сначала гнет — каюк, думаю. А потом ничего — прорвало... А их все нет? Ну и народ! Это они не иначе к Илье собираются.

Володька презрительно скривил губы: дошло. Раньше-то не мог догадаться.

Кузьма с тревогой глядел на небо:

— Неужели не пронесет? А как у тебя? — Он дотронулся рукой до Володькиного лба.— Плохо, брат. Жар вроде. Ну ничего, мы сейчас тебя немножко подлечим, а потом посмотрим.

Он сходил в сенцы, вынес оттуда четвертинку. Водки в ней было примерно с половину.

— Это у меня энзэ — на крайний случай. Иной раз так скрючит ногу — хоть караул кричи. Пьешь? — спросил он Володьку.

Володька угрюмо покачал головой. Придумает же, о чем спрашивать. Но нет, дешево хочешь откупиться. Сначала маслом да щукой задабривал, а теперь водкой...

Кузьма налил в кружку подогретого чая, всыпал песку — много песку, ложек пять, потом вылил водку — всю вылил, размешал.

— Выпей!

— Не хочу.

— А ты через «не хочу». Средство верное. Это мы на фронте так лечились. Даже девушки пили.

Володька махнул про себя рукой: играть, так уж играть до конца. Поздно теперь отступать.

— А ты парень с опытом,— заметил Кузьма, когда Володька опорожнил кружку.

Володька не успел собраться с ответом, как вдруг тугой порыв ветра налетел из-за кустов, вихрем взметнул сухую щепу вокруг них. С крыши с грохотом полетела тесница.

— Буря идет! — крикнул Володька, давясь от ветра.

Все кругом стонало, ухало. Огромная иссиня-черная туча вздыбилась над их головой, заслонив солнце.

Молча, не сговариваясь, они кинулись к столу и начали перетаскивать вещи в сенцы. Раздался оглушительный треск. Володька, ослепленный жгучей вспышкой, покачнулся, но тотчас же большие, крепкие руки подхватили его, втащили в сенцы.

— С тобой ничего? — Кузьма, мокрый, шумно дыша, воскликнул: — Ах, черт побери, какое сено упустили! А мы-то жали— ни себя, ни лошадей не жалели.

Косой дождь хлестал в сенцы через порог. Опять слетела тесница с крыши.

— Может, пройдет...— сказал нетвердо Володька.— Больно круто началось.

— Да, без всякой артподготовки. Сразу в штыки. Ты не вымок? — Кузьма пощупал Володькину рубаху.— Иди ложись. Пропотей хорошенько.

Володька, вспомнив про свою роль, вздохнул, поплелся в избу.

— Неужели это они домой навострились? Хоть бы за сводкой заехали,— все еще сокрушался Кузьма.

Лежа в избе, Володька видел, как он достал из корзины тетрадку, надел очки в железной оправе и, пристроившись к корзине, начал писать.

«Сводку пишет»,— решил Володька.

Томительное беспокойство овладело им. Кто же повезет сводку? Ах, нечистая, слишком он перегнул, пожалуй. А то бы сейчас поехал на Грибово, а оттуда домой. И его воображению живо представилась картина сегодняшнего гулянья в деревне. Песни, пьяные — со всех сенокосов люди выедут. А в клубе-то веселье... Да, начнут гулять, не дожидаясь Ильи. Да и кому этот Илья нужен?

Володька сглотнул сухой комок, подкативший к горлу, встал, прислонился к косяку дверей. Голова у него кружилась.

— Что, не лежится? — спросил Кузьма, поднимая очки на лоб.— А ты прав, посветлее стало.— Он снова опустил очки.— А мне придется, пожалуй, махнуть на Грибово. С этим праздником у них сейчас мозги набекрень... Уедут без сводки. Да и тебе порошки надо.

— Давай я поеду,— вдруг неожиданно для себя бухнул Володька.

— Где тебе! Едва на ногах держишься. Лежи.

— Чего лежать-то? Хватит, вылежался.— Володька схватил со стены узду, выбежал из сенцев и под проливным дождем побежал к лошадям.

Он не помнил, как отвязал коня, как, настегивая его поводом, бежал рядом с ним по мокрой траве, но когда он, приблизившись к избе, поднял голову и увидел перед собой Кузьму, то вдруг все понял.

Кузьма стоял громадный, несокрушимый, широко расставив ноги. По бледному, перекошенному лицу его ручьями стекала вода.

«Сейчас ударит»,— подумал Володька. Но больше всякого удара хлестнули слова:

— Дрянь! Я с тобой, как с человеком... А ты?.. Убирайся к чертовой матери! И чтобы духу твоего здесь не было!

5

Шумит дождь. С еловых лап сочится вода, стекает за ворот. Вокруг темно, как осенним вечером. Один раз у самой дороги, тяжко хлопая крыльями, взлетел старый глухарь. Пуха с бешеным лаем погналась за ним.

Он равнодушным взглядом посмотрел на дорогу и снова закачался под ельником. И снова, как прежде, перед глазами вырос Кузьма — громадный, с бледным перекошенным лицом. Лучше бы уж он ударил его — все не так обидно. А то вот, мол, руку о тебя пачкать противно.

Ну почему, почему у него все через пень-колоду? — задавал себе Володька все один и тот же вопрос. Только начнет взбираться в гору — хлоп и в луже. Неужели все оттого, что контрабандой на свет заявился?.. Да, у других отец так отец — железный. Ежели в живых нет — на войне погиб. А у него? Сколько раз он допытывался у матери! Затвердила одно: шофер Максим из леспромхоза. А что за Максим? Такого, говорят, и слыхом не слыхали. Но отец — черт с ним! — и без отца прожить можно. А вот как на люди теперь показаться? В правленье головомойка — это уж как пить дать. Девки на смех поднимут. И Колька, вражина, начнет расправлять крылья... Удирать, удирать надо, вдруг решил Володька. А куда удирать? В леспромхоз? На целину податься? В ремесленное? Но везде нужна бумажка. А кто ему даст бумажку?

На Грибове, как и следовало ожидать, никого не было. Возле избы неприкаянно стояли конные грабли, и о них глухо выстукивали капли дождя.

«Специально выставили,— подумал Володька.— Вот, мол, собирались, да дождь помешал». А в общем, не все ли равно ему теперь?

Он снял в сенцах с крюка ружье с патронташем, забрал свой чайник. Кажется, ничего не забыл. А удилища? Два тонких удилища, белевших под крышей, ему попались на глаза, когда он уже садился на коня. Эти удилища он специально срезал, чтобы увезти домой. Длинные, гибкие — их ни за какие деньги не купишь. Но на черта ему теперь удилища? Ну, оставь Кольке — спасибо скажет.

Володька кинулся в сенцы, выхватил из натопорни чей-то топор — и через минуту от удилищ валялись одни палки.

«А это тебе на память — из-за тебя все началось». Он скинул с плеча дробовик и почти в упор выстрелил в старую кепку Никиты, висевшую на гвозде над входом в сенцы.

Вот теперь все. Прощай, Грибово...

Конь, как только вышел на твердую песчаную дорогу, перешел на рысь. И Пуха — хвост колесом — заработала ногами, как наскипидаренная. Дом почуяли! Ну, а он куда спешит? Нет, он не забыл про сводку. Кузьма уже что-то перед самым отъездом дописал в нее. Размашисто, с остервенением. А потом зашил в бересту дратвой — не прочитаешь. И вот эта проклятая береста всю дорогу шаркает у него за пазухой.

Что он там настрочил? Эх, если бы не сводка! Потерял — и дело с концом. А сводку...сводку нельзя. Сводку всегда ждут. Ждут в правлении, ждут в районе. За сводкой на́рочного среди ночи на сенокос гоняют.

Но и везти бумагу, в которой тебя как последнюю сволочь расписали... На всю жизнь срамота! «А-а, это Володченко, который с пожни на себя доносы возил».

Поравнявшись с густой развесистой сосной, под которой свободно мог разместиться цыганский табор, Володька резко повернул коня.

Он вытащил из-за пазухи бересту, вспорол ножом швы. Мокрые, назябшие руки не слушались. Темно. Тогда он вырвал из лапы над головой клок сухой шасты — так называют древесный лишайник на Пинеге,— намотал ее на сухой сук и поджег.

СВОДКА
О ХОДЕ СЕНОКОШЕНИЯ НА УЧАСТКЕ ШОПОТКИ

Всего скошено...

Так, это не то... Он лихорадочно перевернул листок. Ага, вот и выработка по дням... Фролов, Фролов... Что такое? Его фамилия в ведомости. Не может быть!

Хватая ртом воздух, он вытер мокрым рукавом лицо, начал читать сверху.

29 июля

1. Антипин К. В.— 2,3 га.
2. Фролов В. М.— 1,8 га.

30 июля

Опять Фролов рядом с Антипиным, и опять цифры... А это? Ну, уж это черт знает что!

Антипин — 2,9 га, Фролов — 3,4 га.

Или это в тот день, когда он обскакал Кузьму? Было такое — сам Кузьма говорил...

1 августа

Погас огонь. Володька дул в дотлевающую шасту, дул до слез, чиркал отсыревшие спички — всё напрасно. Тогда, страшно волнуясь (не прочитает самого главного), он сунул в обуглившуюся массу весь коробок. Целая вечность прошла, пока вспыхнуло пламя.

1 августа...

1. Антипин К. В.— болезнь.

Правильно! Болен Кузьма. Вот человек — все начистоту, без утайки.

2. Фролов В. М.— 1,2 га.

Сбоку крупно: *«С полудня валял дурака».*

Что ж, вздохнул Володька, и это правильно.

За последний день против его фамилии стояли два слова: *«Злостная симуляция!»*

Внизу подпись: *К. Антипин.*

Потом приписка: *«Т. председатель! Сено гниет. Срочно гони бригадира с гуляками».*

И больше ничего. Ни единого слова!

6

Володька въехал в деревню вечером. В домах на всю улицу светились огни, из раскрытых окон летели песни, веселые голоса. В теплых новорожденных лужах, нежась под мелким сыпучим дождиком, плескались ребятишки. Заслышав топот коня, они лягушатами рассыпались по сторонам.

Володька, насквозь мокрый, ни на секунду не выпуская руки из-за пазухи,— в ней он держал самое дорогое сокровище на свете! — проскакал к правлению колхоза. Лихо вбежав в контору, он выпалил с порога:

— Я сводку привез от Кузьмы Васильевича!

— Сводку! Ты бы еще ночью привез. Передай Анти-

пину: в следующий раз за такие дела по партийной линии взгреем. Понял?

И председатель, даже не взглянув на сводку, которую бережно положил перед ним на стол Володька, схватился за ручку телефона.

«В район звонит,— подумал Володька.— Видно, начальство крепко намылило шею». Эх, много бы он дал сейчас, чтобы хоть одним глазком посмотреть, какое лицо у председателя будет, когда он сводку начнет читать! Но нельзя же, в конце концов, быть таким мальчишкой! И Володька, в последний раз взглянув на грязный, измятый листок — поаккуратнее надо было,— вышел.

На крыльце перед доской показателей он остановился.

Справа — общие цифры по бригадам, а слева поименно выписан каждый косильщик. Почетно! Недаром председатель на собрании назвал косильщиков сенокосной гвардией. И вот в эту гвардию завтра впишут его. А ну-ко, потеснитесь маленько. Дайте человеку встать на свое место...

Вдруг где-то совсем близко вспыхнула задорная частушка. Володька птицей взлетел на коня.

Нюрочку он узнал сразу — по лакированным сапожкам, блеснувшим в освещенной луже.

Поравнявшись с девушками, Володька вздернул коня на дыбы.

— Нюра, я там сводку привез!

— Чего? — рассмеялась Нюрочка, показывая свои белые зубки.

— Я говорю, сводку привез.

— Вот обрадовал. Не видала я сводок.

«Ничего, Нюрочка,— мысленно шептал Володька, провожая ее глазами.— Посмотрим, что завтра запоешь». Прибежит к председателю: «Тут ошибка, Евстигней Иванович. Антипин все перепутал. Володьке свое приписал». Э, нет, Анюточка, не ошибка. Ничего не поделаешь, придется тебе в свои книги вписывать, да еще и на стенку вывешивать. И это даже хорошо, что в сводке про лодырничанье сказано. По крайности, поверят.

— Володченко, ты ли это?

Володька оглянулся. К нему, выписывая пьяные восьмерки, медленно приближался Никита. Рубаха распояской, ворот расхлестнут...

— Никита, я сводку привез! — с прежним задором крикнул Володька.

— Сводку? А я думал, водку,— пьяно сострил Никита.

Володька разъярился:

— Это почему вы не приехали? Смотри, старая киса́, мы тебя с Кузьмой Васильевичем выведем на чистую воду. Ты у нас еще попляшешь...

Никита так и остался стоять с разинутым ртом посреди дороги.

«А что, в самом деле,— горячился Володька, погоняя коня.— Там сено гниет, а он гулянку развел. Нет, с этими порядочками надо кончать. Вот общее собрание будет, и он первый шумнет: хватит, побригадирил. Антипина предлагаю».

Собственно, заезжать к жене Кузьмы было незачем. Кузьма ничего не наказывал. Но как это? Напарник приехал с сенокоса и — мимо. Не годится!

Марья, жена Кузьмы, худая черноглазая женщина на сносях, подтирала тряпкой пол. На полу были расставлены тазы, и в них с потолка капала вода.

Ребятишки — славненький такой бутуз, весь в Кузьму, и заплаканная девчушка — сидели на печи.

Володька подмигнул мальчику, сказал:

— Марья, Кузьма Васильевич поклон наказывал. Посмотри, говорит, как там мои...

— Поклон? — Марья тяжело выпрямилась.— Черт ли мне в его поклоне! Лучше бы он вместо поклона избу перекрыл. Утонули — живем.

— Понимаешь,— начал разъяснять Володька.— Он партийный...

— А партийному-то дом не нужен? Все — как люди, а он... Ну уж, я ему задам...

— Ну, ты губы-то не очень!..

— Что?

— Я говорю, губы-то подожми. Муха залетит. Мужик у тебя золото, а ты против него ворона бесхвостая. Понятно?..

Дома матери не было. На столе записка, крынка молока и граненый стакан, прикрытый ячменной лепешкой.

Володька приоткрыл стакан, понюхал: вино.

«...Ешь, пей, отдыхай, а это от меня праздничное. Меня вызвали на ночное дежурство...»

Володька скомкал записку. Знаем, какое дежурство.

Как праздник, так и ночное дежурство... Но спасибо и на том, что о праздничном вспомнила.

Когда он вышел из дому, дождь все еще моросил и был тот самый час, когда пьяное веселье, уже не вмещаясь в домах, вываливается на улицу. То тут, то там разнобойно горланили песни...

Возле клуба кипела людская мешанина. Всем хотелось попасть в помещение. Но старенький клубик не мог вместить и половины желающих. И вот толпа со смехом, с задорными, поощряющими друг друга выкриками, штурмом брала узкий проход на крыльцо. Давили, жали, откатывались и снова, развлекаясь и улюлюкая, устремлялись вперед.

Володька попал в самую середку толчеи, и его буквально на руках внесли в помещение.

В клубе, несмотря на то что все окна были раскрыты настежь, жара стояла не меньше, чем на покосе. И трудились тоже по-страдному. Пьяные бабенки, обливаясь по́том, выколачивали пыль из каждой половицы. Некоторые резвились даже на сцене.

— Коля, Коля, быстрей! — выкрикивали плясуньи.

Володька, зажатый в углу у печки, с недобрым чувством смотрел на Кольку. То, что Колька сидел развалясь в цветнике девчат,— понятно. Гармонист. Но откуда у него взялась эта кожаная куртка? С молнией, с замочками на грудных карманах. Брат прислал из города?..

«Бабий час» кончился так же неожиданно, как и начался. Поскакали, повытрясли из себя дурь и валом хлынули вон.

В клубе стало просторнее. Уборщица Аксинья побрызгала на пол из графина. Кто-то за сценой завел патефон.

Танцы!

У девчонок от удовольствия заблестели глаза. Что ж, это им надо. Без разминки не могут.

К Нюрочке подошел высокий сутуловатый Гриня-левша. Володька не слышал, что сказала Нюрочка, но, судя по тому, как Гриня-левша, еще больше ссутулившись, попер на выход — «курить», как говорилось в этих случаях, был отказ.

Ах, если бы он умел танцевать! Мог бы пригласить. Конечно, мог бы. А почему нет? Вон какая морошка топ-

чется, а он как-никак с самим Кузьмой тягается. И плевать, что ростом не вышел. Гриня-левша — каланча перед ним, а ушел не солоно хлебавши.

Пары кружились, а Нюрочка все еще сидела на скамейке. Нижнюю губку закусила, левый глаз прищурен — всегда так, когда не в духе.

Может, подойти ему? Неужели это такая хитрая штука перебирать ногами? И вдруг он увидел, как Нюрочка, разом просияв, вскочила на ноги...

Надо уйти, надо уйти, твердил себе Володька. Чего он

еще ждет? Но он не уходил. К нему оборачивалась стоявшая впереди женщина, разъяренно шептала:

— Не дуй ты мне в шею. И без того жарко...

А он все стоял и стоял...

Нет, не то было обидно, что Нюрочка любезничает. Пускай — все девчонки такие. Но с этим типом? Неужели она не понимает, что это за дрянь? Колька наклонялся к ее раскрасневшемуся лицу, что-то шептал ей на ухо, и она визгливо на весь клуб смеялась...

Впоследствии он с трудом припоминал, как все это

вышло. Кажется, когда кончился танец, он шагнул вперед, схватил Кольку за грудь, за эти блестящие замочки, которые все время звенели у него в ушах. Кажется, их окружили ребята. Единственно, что он хорошо запомнил,— это крик Нюрочки:

— Хулиган! Чудо горохово! Гоните его вон!

И именно в тот момент, когда он оглянулся на Нюрочку, его сбили с ног...

7

Пуха не любила праздников. Она не понимала, почему люди вдруг ни с того ни с сего начинали орать на всю деревню, падать, кататься по земле, а то и дубасить друг друга. Кроме того, в такие дни ей часто попадало и от людей и от злых собак, да и Володька почему-то не в меру сердился, когда она показывалась ему на глаза.

Но как отпустить одного Володьку?

И Пуха, не спуская глаз с него, бежала стороной, а если он останавливался где-нибудь, она прижималась к постройке, изгороди и оттуда наблюдала за ним.

В тех случаях, когда Володька заходил в клуб, она устраивалась в кошачьем лазе. Лаз этот, прорубленный в дверях зерносклада, был очень удобным местечком. В нем сухо, безопасно, а главное — из лаза видно крыльцо клуба.

Сегодня лаз оказался закрытым. Она понюхала доску, поскребла по ней когтями и задумалась. Не вернуться ли ей домой? Ведь она не такая уж молоденькая, чтобы мокнуть целую ночь под дождем, да и устала она сегодня очень.

Но в следующую минуту Пуха уже обнюхивала ближайший угол.

С крыши капало, хлопали двери на крыльце...

И все время, пока она усталым, прижмуренным глазом смотрела на входящих и выходящих людей (а вдруг появится Володька), ее не покидало какое-то смутное, тревожное беспокойство.

И вот случилось. На рассвете три здоровых парня вытащили Володьку из шумного дома и с руганью сволокли с крыльца. Пухе хотелось завыть от горя, броситься на обидчиков. Но она не посмела сделать ни того, ни другого. Кто знает, как посмотрит на это Володька? О, она знала, как непонятен бывал Володька. Кажется, старается, старается она, а он вдруг начинал звереть. И все-таки

никогда еще так не жалела Пуха, что бог не дал ей волчьих зубов.

Прижавшись к стене, она с тоской следила за растрепанным, молча поднимающимся с земли Володькой.

Что он еще сотворит? Шел бы лучше домой.

И Володька, словно сообразуясь с ее желанием, побрел на главную улицу. У изгороди он остановился, сел на бревно, схватился руками за голову.

Вот теперь, наверно, можно и ей подать голос. Она оглянулась вокруг — одни они с Володькой на улице — и, приподняв кверху мордочку, тихонько тявкнула.

— Пуха, Пуха! — вскрикнул Володька и протянул к ней руки.

Его прорвало слезами, бурными, облегчающими. Нет, нет, он не один на свете. Есть же хоть одна животина, которая любит, понимает его. Он прижимал к себе присмиревшую, вздрагивающую Пуху и плакал, плакал, не стыдясь своих слез...

Утреннюю тишину взрывали охрипшие голоса запоздалых гуляк, последний жар вытряхивала гармошка в клубе. Но, странное дело, сейчас ему безразлично было, с кем танцует Нюрочка. Нет, он не раскаивался в том, что сцепился с Колькой. Глупо, конечно, ужасно глупо. Подумают еще, из-за этой Нюрочки... Но Колька — подлец, и он еще докажет это!

И как только он подумал об этом, ему вдруг припомнились слова Кузьмы: «Паскудный парнишка растет». И это было для него сейчас так неожиданно, так ново, что он вздрогнул.

Ах, какой он болван, какой болван! Как же он мог забыть про Кузьму? Весь вечер, всю ночь из-за какой-то ерунды разорялся, а о Кузьме, о Кузьме забыл...

Он вскочил на ноги и изумленными, широко раскрытыми глазами стал всматриваться в далекую неподвижную кромку лесов. Там, где-то за этой кромкой, были Шопотки. И там сейчас вставало солнце.

Что делает теперь Кузьма? Спит? А может, вышел на воздух и так же вот, как он, смотрит на солнышко? Гниет сено, а он один... Да, да, надо ехать, сейчас же ехать!

По спящей деревне гулко затопали сапоги.

Володька миновал колхозную контору, взбежал на пригорок. У крыльца магазина валялся какой-то мужик.

Неужели Никита? Он. Нажрался, боров, храпит на всю улицу, а кругом хоть потоп...

Володька подошел к Никите, начал его расталкивать:

— Вставай! Бока-то еще не отболели?

Никита что-то промычал, пропахал землю носом и снова захрапел.

— Вставай, говорю. Не подрядился лежать-то!

Володька, стиснув зубы, тряс его за рубаху, задирал ему голову, переворачивал с боку на бок, как кряж,— все без толку.

— Нет, черта с два! — все более ожесточался Володька.— Я тебя заставлю встать. Ты думаешь, что... Так вот и будешь прохлаждаться, а там Кузьма... Сено...

Мокрый, тяжело дыша, он разогнулся, обежал глазами крыльцо, пустые ящики вдоль стены. Чем бы еще пронять этого дьявола?

И вдруг он увидел перед собой чугунный противопожарный брус, висевший на железных крючьях между двумя деревянными столбами. И, прежде чем он подумал, что делает, он подбежал к столбам, схватил железную палицу и, подпрыгнув, изо всей силы ударил.

Чугунный брус тяжело охнул и набатом загремел на всю деревню...

1961

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

Памяти брата Михаила, рядового колхозника

Первый звонок:

— Ананий Егорович? Привет, привет. Ну чем порадуешь? Активность, говоришь, большая? Все на пожни выехали? Хорошо, хорошо. А как с силосом? Разворачиваешься? Давай, давай.

Второй звонок:

— Силоса в сводке не вижу. Твой колхоз весь район назад тянет. Что? Погода сухая — на сено нажимаешь? Нажимай, нажимай. Но имей в виду: за недооценку сочных кормов райком по головке не погладит. Уж кому-кому, а тебе-то эту политграмоту надо бы знать.

Да, районную политграмоту он знает (слава богу, тридцать лет без мала тянул лямку районщика!): силос по сводке не должен отставать от сена. Но, черт побери, положено или нет хоть изредка и колхозникам шевелить мозгами? А колхозники на общем собрании решили: с силосом пообождать. Силос и в сырую погоду взять можно, а сено не возьмешь.

Третий звонок:

— Товарищ Мысовский? (Обращение, не предвещающее ничего доброго.) Как прикажешь расценивать твое упрямство? Саботаж? Или головотяпское непонимание основной хозяйственной задачи?

— Да в конце-то концов,— не выдержал Ананий Егорович,— кто в колхозе хозяин? Партия предоставила свободу колхозам, а вы опять палки в колеса...

И вот решение:

«1. За политическую недооценку силоса как основы кормовой базы колхозного животноводства председателю колхоза «Новая жизнь» коммунисту т. Мысовскому А. Е. объявить строгий выговор.

2. Обязать т. Мысовского в пятидневный срок ликвидировать нетерпимое отставание колхоза «Новая жизнь» с заготовкой сочных кормов».

1

«Хлип-чав, хлип-чав, хлип-чав...»

Это под ногами, а сверху все льет и льет. И так две недели подряд.

У Анания Егоровича болели зубы, и он шел, подняв воротник плаща и держась рукой за правую щеку. Клавдия Нехорошкова, бригадир зареченской бригады, шагала впереди. Длинный, забрызганный грязью дождевик колом стоял на ней.

У озерины они остановились.

— Значит так,— сказал Ананий Егорович, повторяя то, что говорил ей с полчаса назад в конторе,— переправишь за реку трактор и силос вози трактором.

— Понятно,— сказала Клавдия низким, простуженным голосом.

Она вытерла ладонью красное белобровое лицо, шумно, как лошадь, отряхнулась и пошла направо, в обход озерины, туда, где дорога сворачивала на перевоз.

Ананий Егорович стал искать брод.

И вот он стоит на лугу. Стоит как на пытке. Глухо шуршит, стекая по плащу, дождь, мокнет затекшая рука, прижатая к щеке, а кругом, куда ни глянешь,— *сенная погибель.* Сорок пять гектаров сена гниет на лугах под деревней да еще восемьдесят — по дальним речкам.

Он перевернул сапогом сенной пласт — тяжелый бражный дух, прель навоза,— посмотрел на небо. Ни единого просвета не было в низких, набухших водой обла-

ках. Да, еще дня два — и прощай сено. Полный разор колхозу...

Нет, он не оправдывал себя. Это он, он отдал распоряжение снять людей с сенокоса, когда еще стояла сухая погода. А надо было стоять на своем. Надо было ехать в город, в межрайонное управление, драться за правду — не один же райком стоит над тобой! Но, с другой стороны, и колхознички хороши. Они-то о чем думают? Раз с сеном завалились, казалось бы, ясно: жми вовсю на силос — погода тут ни при чем. Так нет, уперлись, как тупые бараны — хоть на веревке тащи. Вот и сегодня на поле, с которого возили горох (он давно, еще с горы, заметил это), мокнут одни доярки.

— Ананий Егорович! Ананий Егорович! — разноголосо закричали доярки, заметив его.

Он помахал им рукой, прибавил шагу. На сердце у него немного потеплело. Вот уж с кем если он и находит общий язык, так это с доярками. Семь молоденьких девчонок, недавно поднявшихся со школьной скамьи, а на них по существу держится весь колхоз. Каждая копейка в колхозе выдаивается их руками.

Доярки — пожалуй, самая большая трудность, с которой он столкнулся, став председателем. Пожилые колхозницы, которые вынесли на себе все тяготы послевоенного лихолетья, сошли на нет: у одной руки разворочены ревматизмом, у другой — грыжа, у третьей — еще что-нибудь. Да и как с полуграмотными бабами, которые умеют только по старинке валить сено скотине, осуществить крутой подъем хозяйства? Вот и пришлось уламывать старшеклассниц — неделями, месяцами. Если сама девушка согласна, мать на дыбы. Как? Моя дочь да с навозом валандаться? Для этого мы с мужиком ее учили, жилы из себя тянули?

Но и после того как девушки начали работать, сколько же горя пришлось хлебнуть с ними! Подоить коров, убрать навоз, съездить на луг за подкормкой — это они пожалуйста. А вот, скажем, корову вести к быку... Валя Постникова, беленькая, голубоглазая девчонка, второй год работает на скотном дворе, и сколько ни говори, ни доказывай, что яловая корова — бич для колхоза,— бесполезно. Ананий Егорович возмущался: чему у нас учат в школе? Для кого готовят этих кисейных барышень? Но в то же время где-то в душе он понимал и сочувствовал этой робкой стыдливости.

Девушки окружили его со всех сторон, едва он ступил на поле,— мокрые, улыбающиеся, одетые на редкость пестро: кто в цветастой непромокаемой накидке, кто в ватнике, кто в лыжных ярких штанах, а Нюра Яковлева — та даже в одной вязаной кофточке. У Нюры была высокая, красивая грудь, и, надо полагать, это обстоятельство имело немаловажное значение в выборе одежды.

Хотя девчата встретили его улыбками, но заговорили возмущенно:

— Где люди?

— Неужели только дояркам силос надо?

— Мы не железные за всех отдуваться!

Ананий Егорович отшучивался — самое поганое дело — это играть бодрячка, когда надо кричать караул! — а потом, услыхав тарахтение на лугу, переключил внимание девушек на машину.

Васька Уледев, высунув горбоносую разбойничью рожу из кабины, задним ходом въехал на поле.

— Все в порядке,— отрапортовал он, выскакивая из машины.— Чугаев у ямы с тремя бабами.

— А Якова почему нет?

— Яшка сидит в ручье. Тормоза отказали.

Уледев говорил в сторону. Дегтярные шальные глаза его на выкате подозрительно блестели.

— Ты что, с утра прикладывался?

Васька нахмурился, сдвинул с затылка красный, перепачканный солидолом берет, но врать он не умел:

— Только наркомовскую. Сотнягу по-теперешнему.

— Вот что, Уледев. Если еще замечу, уволю. Последний раз предупреждаю.

— Ну, Ананий Егорович, на войне сто грамм разрешалось, а тут... И на погоду скидка нужна. Ежели я из строя выйду...

Ананий Егорович не стал слушать. Девушки уже навьючивали машину. Он взял свободные вилы-тройчатку, принялся помогать им. Горох был тяжелый, лопушистый. С поднятой охапки потоками стекала вода, попадала за воротник. Время от времени он подбадривал девушек:

— Так, так, девчата! Хорошо!..

— Давай, давай, девахи! Веселей! — покрикивал, вторя ему, Васька.— Женихи из деревни смотрят.

Кто-то накрыл его сзади мокрой охапкой гороха. Васька закричал благим матом, забегал по полю. Но это была шутка, и все кончилось смехом.

Машину навьючили быстро, а потом, упираясь руками в борта кузова, помогали ей выбраться на луг: колеса буксовали, вязли до осей.

Якова, второго шофера, все еще не было. Застрял, видно, основательно. И колхозники не спешили на поле. Высокий кустистый угор, на котором горбилась деревня, то тут, то там курился белыми дымками. Пускай гибнет сено, пускай пропадает горох, а мы баню топим. Середи бела дня.

Девушки в ожидании машины сбились на твердой обочине поля. Нюра Яковлева, зябко поводя плечиком, начала стряхивать со своей красивой кофточки налипшую зелень.

— Иди, Нюрка, ко мне под плащ. Замерзнешь,— сказала Эльза, бригадир доярок.

— Вот еще! Сама-то ты замерзла.

Молодец девка! Нечего хныкать. Да, удивительно, как растет молодое. Давно ли еще мать этой самой Нюры жалостливо выговаривала ему: «Какая же она скотница? Разве таскать ей ведра с водой? Посмотри, у ней ведь и грудей-то еще нету». А сейчас дивчина хоть куда. Крепкая, белозубая, на тугих смуглых щеках ямочки. Только вот надолго ли задержится она в колхозе? Таких быстро прибирают к рукам. Хорошо, если выйдет замуж за своего, деревенского. А если кто подхватит со стороны? Тогда снова придется искать доярку.

Девушки запели какую-то новую, не знакомую Ананию Егоровичу песню. Про летчика Ваню и про Марусю-изменщицу. Но песня не разгорелась. Дождь погасил ее.

Еще нагрузили две машины.

Ананий Егорович в тяжком раздумье смотрел на деревню. Сейчас уже по всему косогору тянулся дым. Вот народ! Попробуй с таким колхоз поднять. А бригадиры? Куда к чертям провалились бригадиры?

Из заречья порывами налетал ветер. Мокрая ядовито-голубая накидка, которой прикрылись сверху доярки, с шумом хлопала над их головами.

— Что, девчата? Не замерзли?

Глупейший вопрос! Зачем же спрашивать, когда он сам продрог до костей?

В конце концов он махнул рукой: по домам. Можно было, конечно, еще машины две нагрузить до обеда, но две машины дела не решают, а доярок можно простудить.

И вот — опять он один на один со своей бедой. Мокнет в валках горох на поле, гниет сено на лугах...

Подумав, он пошел к реке. В зареченской бригаде, которой правила Клавдия Нехорошкова, он не был дней десять, и если лодка на этой стороне, то сейчас самое время заглянуть туда.

Лодка была на другой стороне.

От лодки к крайнему домику на отшибе проторена тропа. Это тропа Клавдии, или Клавкина тропка, как называют ее в колхозе. Тропа торная, пробитая в желтой насыпи песков, прямая, как сама Клавдия.

Девятнадцать лет топчет Клавдия свою тропу. Глянешь рано утром на заречье — солнышко только-только продирает глаза, а на песчаной косе уже маячит женщина. Высокая, величественная, как та баба-великанша, о которой говорится в сказке, и белый плат словно парус. А если непогодь, ветер-зверюга, прижимающий все живое к земле, тогда Клавдия похожа на медведицу, выгнанную из логова.

И зимой она не заставляет себя ждать. Что бы ни было на дворе — трескучий мороз, метель беспросветная, из-за которой зареченцы по неделям не вылезают в деревню, а Клавдия на лыжи — и опять мнет свою тропу. Иной раз ввалится в правление — глыба снега, места живого нет, и только голос простуженный вдруг бухнет как со дна колодца: «Какой наряд, председатель?»

И все-таки Клавдию, наверно, раз десять снимали с бригадиров, да она и сейчас официально значилась «врио». За плохую работу? За нераспорядительность? Как раз наоборот: зареченская бригада всегда первая по показателям, а о самой Клавдии и говорить нечего — она и с людьми ладит, и любую мужскую работу делает не хуже мужика, а при крайней нужде даже на трактор сядет. Нет, не за работу снимали Клавдию, а за эту самую тропу, по которой она шагала не только в колхозную контору, а и еще кое-куда. Первая работница по колхозу, и она же первая распутница... Вот и зачешешь в затылке, когда подойдет время подводить итоги за год. Надо красное знамя вручать, а кому? Женщине, на которую до десятка заявлений лежит в председательском столе. Пробо-

вали по-всякому: стыдили, уговаривали, назначали бригадиром вместо нее мужика. Но какой мужик выдержит долго? И вот снова скрепя сердце призывали Клавдию: побригадирь, Нехорошкова,— временно, конечно.

Ананий Егорович не минуту и не две стоял на крутом берегу. На реке качались волны, косой дождь сек его — и хоть бы один человек показался на той стороне. Где люди? В полях, за домами? Но почему не слышно трактора? Сегодня суббота, будний день — сам бог велит работать. А что будет завтра, в воскресенье?

Нет, надо принимать меры. Срочные, решительные. Середина августа — чего же еще ждать? И вот что он первым делом сделает. Поднимется в гору и начнет прочесывать верхний конец деревни. Войдет в каждый дом, до каждого колхозника доберется. Почему не на силосе? До каких пор, черт побери, будешь волынить?

2

● ПОМОЧЬ БЫ НАДО. А ЧЕМ ПОМОЧЬ!

Первая постройка — избушка с односкатной крышей (ее никак не минуешь, когда поднимаешься с подгорья в деревню) — принадлежала Авдотье Моисеевне. Ветхая избушка. Околенки кривые, заплаканные, возле избушки полоска белого житца [1] с вороньим пугалом — ни дать ни взять живая иллюстрация из дореволюционного журнала.

Первый раз Ананий Егорович столкнулся с Авдотьей Моисеевной на улице. Идет он как-то утром по деревне и вдруг под окном видит старушонку — маленькую, подслеповатую, с батожком, с берестяной коробкой на руке. Открылось окно, высунулась рука с куском хлеба. Старушонка перекрестилась, положила милостыню в коробку и поковыляла дальше.

Ананий Егорович был поражен. Как? В наше время и нищая? Да кто же она такая?

Оказалось — бывшая колхозница. Одинока. Без родни. Был сын, да «пропал за слова».

По настоянию Анания Егоровича правление назначило Моисеевне пенсию: десять килограммов зерна в месяц

[1] На севере житом называют ячмень.

и четыре воза дров на зиму. Первую пенсию за все существование колхоза.

Моисеевна в такую непогодь, конечно, была дома. Она сидела на низеньком крылечке под сарайчиком, с которого густо капало, и глухо постукивала деревянным молотком.

Заслышав шаги прохожего (тропинка бежала вдоль изгороди, которой была обнесена ее усадьба), она подняла к нему бельмастые глаза. Робкая улыбка ожидания и надежды застыла на ее приоткрытом беззубом рту.

Ананий Егорович, потупясь, прошел мимо.

«Тук, тук»,— завыговаривал снова молоток. В сыром воздухе душисто пахло подсушенным на печи зерном. Моисеевна обивала на колодке первый сноп нового житца.

И во второй, соседний двор не зашел Ананий Егорович. В заулке на изгороди мокнет полосатый матрац, у крыльца в стене топорщатся колючие ветки вереса, а сам хозяин уже три дня как на кладбище. Умер от чахотки, задушенный августовской сыростью.

Долго болел Никанор Тихонович. А смотришь, все топчется вокруг дома. То тюкает что-нибудь в сарае — выручал колхоз санями,— то опять с хомутами возится. А в последние недели ходить уже не мог. Но, видать, скучно целый день маяться в избяной духоте. И вот выползет к изгороди, расстелет домотканый половичок и лежит на солнышке, смотрит на деревенскую дорогу.

— Как здоровье, Никанор Тихонович?

— А ничего, поел сегодня. Ноги вот только бы мне.

— Давай, давай. Рано еще в землю смотреть.

— Да я что. Я ничего.

Великий был оптимист!

От Никанора Тихоновича осталось четверо ребят. Хозяйке одной их не поднять. Да разве и не заслужил он своей многолетней работой в колхозе, чтобы позаботились о его семье? Нужна пенсия. Пенсия нужна и еще кое-кому. Вот Ананий Егорович скоро будет проходить мимо дома Михея Лукича. Боль зубная! Старик за девятый десяток перебрался. Самый старый человек в деревне. А живет как зверь. Зимой из малицы не вылезает, спит в печи.

Но, с другой стороны, что можно выкроить из колхозного бюджета? В прошлом году на трудодень выдали

по тридцать копеек, а в этом году уже пятый месяц не авансировали колхозников. Нет денег! Вот разве что через месяц появятся, когда скот в госзакуп сдадут. А сейчас ремень затянут до отказа. Каждый рубль идет на строительство двух скотных дворов. Их надо во что бы то ни стало закончить до снега — иначе зимовка скота будет сорвана.

И когда впереди показался в белых наличниках небольшой аккуратный домик бригадира по строительству, Ананий Егорович решил заодно заглянуть и к нему. Если Вороницын дома — а была обеденная пора,— надо потолковать. В чем дело? Строители оплачиваются хорошо — один рубль деньгами и трудодень на день, а скотные дворы все еще не закрыты. Что же касается самого Вороницына, то в последнее время он стал частенько выпивать.

3

● ГЛАВНАЯ ОПОРА

После войны Ананий Егорович был тринадцатым по счету председателем в Богатке. Тринадцатым — число, проклятое самим народом.

И верно, правление его началось с конфликта, да не с одним, не с двумя колхозниками, а сразу со всем колхозом.

Была зима, мороз стоял зверский. Принимая колхозные дела, он обежал за день скотные дворы, конюшни, склады — тяжкое наследие оставлял ему старый председатель,— а к вечеру порысил в контору — там его ждало первое заседание правления. Но вместо заседания он попал на митинг. Народу в конторе — не подступиться к председательскому столу. В чем дело? Неужели еще не намитинговались вчера на общем собрании?

— Завтра выборы в местный Совет,— сказал бухгалтер.

— Ну и что?

— Ну и за деньгами пришли.

— За какими деньгами?

Оказывается, в колхозе издавна заведен обычай — накануне выборов выдавать аванс по десять-пятнадцать рублей на избирателя. Обычай сам по себе не плохой.

Какой же праздник без денег? В клубе откроется буфет, из райцентра, возможно, подбросят колбасы, мясных консервов, баранок и еще каких-нибудь редкостей, которыми не очень-то избалована деревня, а ты стой — хлопай глазами.

Но одно дело — обычай, а другое дело — колхозные счета. И Ананий Егорович сказал:

— Не ждите. Денег не будет.

— Не дашь, значит? — Это сказал краснолицый кряжистый мужчина, сидевший у печки.

— Не дам,— отрезал Ананий Егорович.

— Ну не дашь — и голосовать не будем.

— А ты что — за деньги голосуешь или за Советскую власть?

Краснолицый мужчина вдруг обезоруживающе улыбнулся:

— Чудак человек. Да мы за тебя голосовать не будем. (Кандидатура Анания Егоровича была выставлена в местный Совет.)

Кругом захихикали, заулыбались.

— Ты это чьи речи говоришь, Вороницын? — круто поставил вопрос секретарь парторганизации Исаков.

Вороницын — так звали краснолицего мужчину — лениво отмахнулся:

— Не пужай. Пуганый.

— Он у немцев под расстрелом стоял, забыл? — крикнули от порога.

После того как наконец удалось выпроводить людей из конторы, Исаков схватился за голову:

— Ты понимаешь, что наделал, товарищ Мысовский? Выборы сорвал. Да, да! Раньше мы завсегда к восьми рапортовали, а вдруг завтра никто не придет?

Выборы прошли нормально. Но ох и попереживал же в ту ночь Ананий Егорович! Он даже денег раздобыл — взял под отчет у председателя сельпо. Черт с ними, если припрет, раздаст, обежит всю деревню.

А на другой день, в понедельник, в контору с утра заявился Вороницын и долго, усмехаясь, приглядывался к нему.

— А мы, пожалуй, поладим с тобой, председатель,— сказал он, как бы подводя итог их ссоре.

Слово Вороницына оказалось надежно, как его рука, тяжелая, короткопалая, которая с одинаковым умением играет и топором и кузнечным молотом. За первый год

с бригадой плотников он поднял новый сруб скотного двора, а на второй год обложил еще один.

И вот этот-то самый нужный человек в колхозе, можно сказать — главная опора председателя, запил. Ананий Егорович и так и этак пытался подойти к нему: говори, чем недоволен? Молчит, слова не добьешься, а завершение скотных дворов — под угрозой срыва. Раз бригадир ульнул носом в бутылке, то что же с остальных спрашивать?

В маленькой кухне накурено. Белый дым густым слоем висит под низким потолком. На столе самовар, тарелка с ржаным хлебом и пестрыми ячменными сухарями, крынка с топленым молоком. Штук пять ребятишек — один меньше другого — чинно сидят справа в простенке между дверью, открытой в переднюю комнату, и окном с белой занавеской, из которого видна деревенская улица. Сидят и макают хлебом в песок, маленькими кучками насыпанный прямо на столе перед каждым.

Место хозяина — табуретка у окна слева — пустовало. Тонкий стакан с чаем недопит. На подносе, вокруг ножек самовара, куча окурков.

— Хозяина нет? — спросил Ананий Егорович.

От печи, из-за розовой занавески, выглянула Полина — жена Вороницына, высокая сухопарая женщина, в домашней стеганой безрукавке, с разогретым от печи лицом и злыми блестящими глазами.

— Был. Целый час тут сидел да охал.

— Заболел?

— Черт ему деется! Пьет-жорет котору уж неделю.

Ананий Егорович, как бы оправдываясь, спросил:

— А на какие деньги? Я ему не давал.

Полина фыркнула:

— На какие деньги! Они, пьяницы проклятые, давно по коммунизму живут. Вот те бог! Придут в лавку: «Манька, дай пол-литра на карандаш». А Манька — месяц к концу подойдет — и пошла собирать по деревне, из дома в дом. «С тебя, Полина, десять рублей пятьдесят копеек».— Тут Полина, вытянув худую длинную шею, показала, как Манька разговаривает с ней.— «За что? Когда я тебе задолжала?» — «Мужик твой вино на карандаш брал».— «Ну, брал, дак с него и получай. Не торгуй по коммунизму».— Полина метнула взгляд в сторону стола.— Видишь, у меня сколько хлебных токарей?

Ребятишки, внимательно наблюдавшие за матерью, которая всегда театрально, в лицах разговаривала с людьми, снова принялись макать хлебом песок.

— Проваливайте! — вдруг обрушилась и на них Полина.— Сколько еще будете сидеть? Весь день из дому не выходят. Надоели, дьяволята.

Дети нехотя вылезли из-за стола и, хмуро посматривая на Анания Егоровича, удалились в переднюю.

— Полина Архиповна,— Ананий Егорович прикрыл дверь в переднюю,— ну а ты-то знаешь, что с ним творится? С чего он запил?

Полина вздохнула:

— А леший его знает. После города всё. Раньше выпивал — не без того же, да хоть дело знал. А тут приехал из города — скажи, как подменили мужика. Чего вы-то, хозяева, смотрите?

— Ладно,— сказал Ананий Егорович.— Пойду обратно, приверну. Пусть никуда не уходит.

4

● НЕ ТЕ ВРЕМЕНА...

На дворе все так же — дождит, ветер треплет мокрое белье, развешенное на веревке...

Прикуривая от спички, Ананий Егорович повернулся к ветру спиной, и вдруг выпрямился. По задворкам, мимо усадьбы Вороницыных, топали три бабы. С коробьями. Согнувшись пополам.

— Стой! — закричал Ананий Егорович и тут же схватился за щеку: в рот попало холодного воздуха.

Бабы юркнули за угол бани.

Не разбирая дороги, мокрым картофельником он кинулся им наперерез, перемахнул изгородь.

— Трудимся? — Он задыхался от бега и ярости.

Бабы — ни слова. Мокрые, посинелые, будто распятые, они стояли, привалясь спиной к стене бани, и тупо глядели на него. Большие плетеные корзины, доверху наполненные красной и желтой сыроегой, громоздились у их ног.

— Трудимся, говорю? — повторил Ананий Егорович.

— Что, не мы одни.

— Кабы в колхозе копейкой побогаче,— плаксивым

голосом заговорила Аграфена,— кто бы пошел в лес, Ананий Егорович?

— А копейка-то откуда возьмется? С неба упадет?

Женщины осмелели:

— Пятнадцатый год это слышим. Я все летичко на пожне выжила — сколько заробила?

— А у меня ребятам в школу скоро идти — ни обуть, ни одеть. Думаешь, сладко в лесу-то бродить? Зуб на зуб не попадает, нитки сухой на тебе нету. А бродишь. Короб грибов в сельпо сдашь — все какая ни на есть копейка в доме.

— А самим-то жрать надо? — вдруг грубо, нахраписто вломилась в разговор Олена Рогалева.— Я второй год без коровы маюсь. Нынче, думала, сена навалило — заведу коровушку. Черта с два заведешь!

И, считая, видимо, дальнейший разговор зряшным, Олена подхватила на руки коробья — только ручки взвизгнули — и пошагала, пригибаясь под ношей.

За ней, неуверенно переставляя ноги, потянулись ее товарки.

Ананий Егорович в нерешительности закусил нижнюю губу. Догнать, опрокинуть эти проклятые коробья, а самих баб за шиворот и прямо на поле?

Да, лет восемь назад он бы, наверно, так и сделал. Образцы для подражания были и в жизни и в литературе. В одной из книг, например, рассказывалось, как председатель колхоза ловит строптивых колхозников за деревней, а другой председатель действует еще круче: врывается утром в избу и заливает печь водой. Книги эти в районе взяты были на вооружение. «Вот как надо работать,— наставлял председателей колхозов секретарь райкома, при всяком случае ссылаясь на литературные примеры.— А вы, растяпы, с бабами справиться не можете».

Да, лет восемь назад Ананий Егорович нагнал бы страха на этих грибниц. А сейчас...

Он взялся рукой за мокрый козырек кепки, резко надернул его на глаза и пошел — в обход воронницынской усадьбы — на переднюю улицу.

5

● ВИРУСНЫЙ ГРИПП

Слева, через дорогу от Вороницыных, на горочках,— так называют полевину — пустырь вдоль косогора,— живет Петр Гаврилович Худяков.

Лет тридцать назад этого пустыря не было и в помине. Тут был околок — штук десять домов, плотно, почти впритык стоявших друг к другу. Теперь от околка осталось два дома: дом Петра Гавриловича да слева от него, метрах в двухстах, высокий громадина-пятистенок — без крыши, без окон, с черными стропилами, как старческие руки, воздетыми к небу.

Ананий Егорович, проходя мимо пустыря, часто задумывался над судьбой одичалого дома. Он помнит этот дом еще молодым. Стены из отборного сосняка, со звоном, как говорят, углы просмолены (навечно!) — вставляй только рамы да справляй новоселье. Но дом так и состарился, не дождавшись новоселья. Кто его хозяева? Где они теперь? Живы ли еще? И что их обидело так, что они бросили новый дом да так ни разу и не проведали его?

Торчит старый дом на взгорье, день и ночь ждет своих хозяев. А хозяев все нет и нет...

Ананию Егоровичу не пришлось заходить на усадьбу. Петр Гаврилович — ему недавно перевалило за шестой десяток — сидел в крытом дровнике и что-то постукивал топором. Завидев председателя, он встал, подошел к калитке. Петр Гаврилович был в валенках с красными галошами, в ватных штанах, в фуфайке, в старой опрелой ушанке без завязок — в общем, одет был тепло, по погоде. А во рту у него, обметанном редким желтым пушком, торчал неизменный окурок.

— Далеко правишь? — осведомился он и подал руку. Петр Гаврилович с начальством разговаривал свободно, на «ты», хотя и без оскорбительной фамильярности.

— Да вот насчет силоса хлопочу. Видишь, что делается?

— Надо, надо,— поощряющим тоном сказал Петр Гаврилович.— Влипли мы с этим силосом, товарищ Мысовский.— Он поднял голову кверху.— Подвел старик.

— Не говори.

— Ничего, парень. Погода-то кабыть на ясень поворачивает. Этим ветром уже разнесет сырость.

Ананий Егорович посмотрел вслед за Петром Гавриловичем на небо. Там и в самом деле кое-где прорвало серый облажник. И дождь как будто пошел на убыль.

— Разнесет, разнесет,— с еще большей определенностью подтвердил свой прогноз Петр Гаврилович.

— Как здоровье?

— Здоровье-то? — Петр Гаврилович вздохнул, пожевал губами. Лицо его вдруг стало страдальческим.— Худо, парень. Тут на погоду было всего скололо, а нонче опять грипп замучил.

— Температура есть?

— Кабы оно, температура-то, все бы полегче. Какой-то грипп-то ныне пошел проклятущий. С вирусом. Сидит в тебе, а наружу себя не показывает.

— Ладно,— сказал не сразу Ананий Егорович.— Поправляйся.

Можно было, конечно, показать этому Худякову, где у него выступил наружу вирусный грипп. Он, Ананий Егорович, заметил и подновленную изгородь на усадьбе со стороны улицы, и новый венец в крыльце — ничего этого не было с неделю назад, да и сидеть с топором в сарае в такую погоду — не лучший способ лечения гриппа. Но Худяков — старик. И живи он в городе, какие к нему претензии? А вот то, что под вирусный грипп здоровые мужики работают, это уже посерьезнее. Тут надо принимать меры.

«А какие меры? — думал Ананий Егорович, шагая обочиной раскисшей улицы.— Одной Фаине-фельдшерице порядка не навести — это ясно. Она и так и сяк крутит «больного» — по всем приметам здоров. А тот ей свое: «Ну, значит, вирусный грипп. Дай справку». А попробуй докажи, что он симулирует».

— Да,— вздохнул Ананий Егорович.— Ох уж этот вирусный грипп! Что-то больно часто ломает он нынешнего мужика...

6

● ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА

— Здорово-те, Ананий Егорович.

— Чем уж так расстроен, на людей не глядишь?

Мысовский повернул голову на голоса.

По ту сторону улицы гуськом, одна за другой, вышагивало целое отделение старух. Все нарядные, празднично одетые — так, бывало, отправлялись в церковь.

Ананий Егорович пересек улицу:

— Куда это строем?

— Что ты, ведь день-то сегодня наш,— сказала, улыбаясь, высокая старуха, еще довольно крепкая, прямая, с гладкими румяными щеками.— Вспомни число-то.

— За пенсией, значит?

— За ей, за ей,— закивала в ответ маленькая старушонка в светлых резиновых сапогах.

— Спасибо нонешним властям,— сказала толстая низкорослая старуха и вдруг чинно поклонилась Ананию Егоровичу.— Кабы я была грамотна, в саму бы Москву написала. Не забыли нашу старость.

Ананий Егорович, провожая глазами ходко шагающих пенсионерок, невесело подумал: «Эх, старухи, старухи! К вашим бы пенсиям да немного сознательности. Ну не все из вас, но ведь некоторые вполне могли бы еще держать в руках грабли. Глядишь, и дела бы в колхозе пошли повеселее».

7

● «А РАСТЕТ ЛИ ЗЕМЛЯ!»

Поздеевы — отец и сын — трудились у нового дома. Старик Игнат в старом кожане, в теплом полинялом платке, по-бабьи повязанном под бородой — он давно маялся ушами,— что-то мастерил под навесом, а Кирька, широкоплечий мужичина, брусил топором бревно. Брусил умело, со сноровкой. Раз заруб, два заруб, потом скол с отворотом — и белобокая щепина, как плаха, отваливается от бревна.

Ананий Егорович решил не приворачивать к Поздеевым. Что с них взять? Кирька — инвалид, припадает

на ногу: с детства костный туберкулез; сам Игнат в преклонных годах, а кроме того, надо отдать им должное: в страду не сидели дома, оба мытарили на дальнем сенокосе.

Однако миновать Поздеевых не удалось. Старик как назло поднял голову и закричал высоким петушиным голосом:

— Чего нос воротишь? Не воры.

Разогнулся Кирька, сказал, оголяя в улыбке белые крепкие зубы:

— Уважь старика, товарищ председатель.

Делать нечего — пришлось «уважить». Потому как с этими Поздеевыми шутки плохи: и отец и сын с начинкой — редкие мастера устраивать публичные балаганы. Скажем, идет в клубе лекция о международном положении. Ну, лекция как лекция. Кто слушает, кто дремлет, кто у выхода смолит самосад. И вдруг в первом ряду вскакивает старичонко в бабьем платке:

— А скажи, растет ли земля?

Лектор из района только руками разводит. Какое же отношение имеет этот вопрос к очередным проискам империалистов!

Но затем, не желая обижать любознательного старика, начинает популярно разъяснять закон о сохранении вещества.

— Не растет, говоришь? — опять вскакивает Игнат.— А в наших навинах бывал? Раньше камня на поле не увидишь, а сичас плуг отскакивает. Откуда же камень взялся, раз земля не растет?

В зале шум, хохот, визг.

Но вот люди успокоились, лекция продолжается. Проходит еще какое-то время, и снова голос Игната:

— Не чую! Чего бубнит, как дьячок.

На этот раз, отогнув платок от уха, он обращается к своему сыну, который всегда сидит при нем.

Кирька, с удовольствием исполняя обязанности переводчика (его так и зовут в деревне — переводчик), изрекает:

— Про урожай говорит.

— Про урожай? А, про урожай!..— горячится Игнат.— Тогда ответь,— снова наскакивает он на лектора,— что выгоднее сеять: березу или жито?

Переводчик, как бы желая помочь лектору, кричит на ухо старику:

— Вопрос не ясен.

— Не ясен? — Тут уж Игнат доподлинно выходит из себя.— Мать твою так... не ясен! Сходи в те же навины. Раньше мы с полей хлеб возили, а теперь дрова.

Кирьку вызывали в сельсовет: «Уйми старика. За такие речи раньше, знаешь бы, что было?»

— Правильно, товарищи... Это вы верно подметили,— соглашался Кирька.— Старика зашибает. Ну тольки я перечить отцу не могу. Не так воспитан. Это вы тоже поимейте в виду, товарищи...

О доме Поздеевых много говорят в деревне. И не только говорят, а каждый пеший и конный останавливается возле него.

Дом строили по-новому, на городской манер: кухня, спальня для Кирьки с женой, комната для стариков и детская — Кирька, по его словам, запланировал на семилетку семь сыновей и, надо сказать, с планом справляется (жена его постоянно ходит с брюхом).

И еще была одна диковинка в доме Поздеевых — мезонинчик, или чердак по-здешнему, да не просто какой-то там курятничек дощатый под крышей (такие теперь не редкость в новых домах), а настоящая комната с бревенчатыми стенами, с двумя окнами и балконом.

По поводу этого мезонинчика (Кирька отделал его в первую очередь и даже перильца балкона успел покрасить голубой краской) старик Игнат рвал и метал: шутка сказать, такой домину схлопать, а тут еще всякие хреновины выводить. Он и сейчас, едва вошел Ананий Егорович в заулок, закричал, указывая рукой на чердак:

— Вишь что выдумал! Мизинчик ему надо. А лес-то кто заготовлял? — Старик, вздернув бороденку, круто обернулся к сыну.— Ты?

Кирька, снисходительно улыбаясь, слегка пожал широченными плечищами, втюкнул топор в чурбан.

Сели под навесом на сухое бревно.

— Нарубил лесу? — как всегда неожиданный задал вопрос Игнат.

Ананий Егорович не понял, переспросил.

— Какого-какого... Деревянного! — вскипел старик.— Что, так и будешь шлендрать по чужим избам?

Понятно. Старик намекает на то, что пора, дескать, свое гнездо вить, ежели хочешь, чтобы с тобой как с председателем считались.

Однако Игнат, не ожидая ответа — все глухие на один манер,— уже снова закричал:

— А за щеку чего держишься? Зубы болят? Еще бы не болеть! Это ты с кем надумал людей с сенокоса снимать? А?

— Давай дак не ори,— сказал Кирька и туманно добавил: — Партия знает...

— Ты вот что, Поздеев, насчет партии оставь.

— Да ведь я что, товарищ председатель.— Кирька всегда называл Анания Егоровича официально.— Я в смысле Программы... На днях, слышно, семинар будет.

— Будет. Но я тебе советую — попридержи язык. Не вздумай балаган устраивать.

— Чего? — закричал Игнат.

— Дом, говорит, у тебя хороший,— не моргнув глазом, сказал Кирька.

— Так, так,— старик довольно закивал головой.— Хороший. Осенью новоселье справлять будем. Придешь?

Ананий Егорович кивнул головой и встал: приличие соблюдено, а точить лясы ему сейчас некогда.

8

ДЕРЕВНЯ СТРОИТСЯ

Как-то вечером, засидевшись допоздна в правлении, они с секретарем парткома Исаковым подсчитали: тридцать два новых дома в деревне. Тридцать два! И все эти дома построены за каких-нибудь последних восемь лет.

— Соображаешь, что это? — со значительностью в голосе сказал Исаков.— А загляни к нему в дом! Тут тебе и никелированная кровать, и швейная машина, и радио. И велосипеды кое у кого есть.— Исаков подумал, усмехнулся: — Я вот недавно в заречье был. Знаешь там дом Прохорова? Большущий, двухэтажный домина в верхнем конце? В тридцатом году его еще раскулачили. Правда, потом восстановили. Зазря сгноили мужика на Соловках. Горбом своим все нажил. Ну а по тем временам Прохоров действительно был богач. Все завидовали ему. «Ну, что вы,— скажут,— разве с Прохоровым тягаться? У них

и под рукомойником-то не лоханка, а медный таз». И вот тут на днях я заглянул к его сыну. Один живет. Братья на войне побиты. Ну, говорю, показывай, Андрей, свое кулацкое житье. Какое тебе наследие отец оставил? Смеется. «Смотри»,— говорит. Ну, посмотрел. Таз медный под рукомойником — это верно — стоит. Ну а еще что? Шкафчик черный для посуды — тоже, бывало, насчет этого шкафчика говорили: «Вот как Прохоровы живут. Для посуды шкап под стеклом завели». Ну, посмотрел я этот шкафчик. Да теперь его бесплатно давай, никто не возьмет. Ну а еще что? — И Исаков заключил: — Значит, не так уж плохо живем. Есть сдвиги и у нас на севере.

Да, все это так. И он, Ананий Егорович, обратись к нему историк, мог бы порассказать на эту тему немало — на его глазах обновлялась деревня.

А все началось с райцентра, со служилого люда. Уйма скопилась всяких служащих после войны в райцентре. Бесконечные, чуть ли не в каждом доме «раи», по поводу которых так умильно писалось в одной книге, все маломальски грамотное выкачивали из деревни. И вот этот мелкий чиновный люд, томясь от безделья в послеслужебное время (шутка ли, здоровому мужику с шести часов вечера ничего не делать!), начал поигрывать топориком. Деревня пустеет, разламывается, а в райцентре как грибы растут новые дома. Вот как это было. И только потом уже, после пятьдесят третьего года, забелели новые крыши по деревням.

И все-таки, как ни крути, говорил себе Ананий Егорович, а от одного вопроса не уйдешь. На какие достатки строится деревня? За счет доходов, полученных в колхозе? В том-то и беда, что нет. Кто построился за эти годы? Те, у кого есть денежная подмога со стороны. У одних это пенсия, у других сын работает в лесной промышленности, а у третьих, опять, в семье служащий. Взять хотя бы тех же Поздеевых. Да разве Кирьке видать бы такой дом, не будь у него жена бухгалтером сельпо?

В деревне сейчас принято: если ты в колхозе работаешь, то жену подыскивай из служащих, так, чтобы в доме всегда была копейка. После войны, когда произошла денежная реформа, это получило даже свое название: «жениться на буханке». Одним словом, если хорошенько вдуматься, складывается особый тип семьи, где экономический фактор играет далеко не последнюю роль.

Среди новых домов нередко попадаются и такие, у которых заколочены окна. Все, казалось бы, готово — только отдери на окнах доски и живи. А не живут в этих домах.

Эти новые дома с заколоченными окошками в печенках сидят у каждого председателя колхоза. Хозяевами их, как правило, являются рабочие лесной промышленности — вчерашние колхозники, правдами и неправдами удравшие в свое время из колхоза. Ну, удрали — и удрали. Живите с богом — лесные поселки теперь благоустроены, ни в какое сравнение не идут с деревней. Так нет, подходит лето, смотришь, один расхаживает с топором вокруг старого отцовского пепелища, другой по весне плавит сруб, третий...

Что это? Извечная приверженность человека к своей родине, к тому гнезду, где родился? Или мужик еще в нем не выветрился? Дали отпуск, а что с ним делать, с этим отпуском? Надо же как-то время убить. Но не проще ли тогда поставить свой дом там, где работаешь — в лесном поселке? Или ждут эти вчерашние колхознички перемен в деревне?

Худяков оказался синоптиком никудышным. Правда, дождь понемногу стихает, но когда же наконец выглянет солнце?

Еще к двум-трем домам привернул Ананий Егорович. В воротах приставка. Всего скорее, что и тут ушли в лес...

Стукнул топор неподалеку. Смолк — и снова застучал, теперь уже без остановки.

Обогнув старую избу, Ананий Егорович увидел привычную картину: в поле, за изгородью, новый сруб, а на углу сруба человек. Иван Яковлев — один из тех вчерашних колхозников, которые после войны пополнили армию рабочих местного леспромхоза.

— Размокнуть не боишься? — заговорил, подойдя к строению, Ананий Егорович.

— Ничего, не сахарный.

— Так, так. Значит, домой надумал?

— Хм,— сказал Иван.— Можно и домой.

— Давай. Мы хоть сегодня примем.

— Принять-то вы примете. Знаю. А как насчет этого? — Иван посучил сложенными в щепоть пальцами.— Я ведь худо-бедно сто — сто пятьдесят рублей в лесу выколачиваю.

— Ну, это от нас зависит. Вот колхоз подымем, и с рублем повеселее будет.

— Тогда подождем, товарищ Мысовский. Нам не к спеху.

Все тот же сказ. Прямо какой-то заколдованный круг! Чтобы сделать полновесным трудодень, надо, чтобы работали люди,— какой же другой источник у колхоза? А чтобы работали люди, надо, чтобы был полновесный трудодень.

Где выход?

В райкоме говорят: плохо руководишь. Ослабил агитационно-воспитательную работу. А как агитировать нынешнего колхозника? Без рубля до него агитация не доходит. Ты ему доказываешь: два трактора купили? Купили. На грузовики деньги надо? Надо. А новые скотные дворы? А радио провели? Подождите. Дойдет дело и до трудодня. А он не ждет. Не хочет больше ждать. Вот в чем дело.

9

● «ПЕРЕЖИТОК»

Сначала он подумал: подсолнух. Так и светится, так и играет среди зелени!

Но он ошибся. Светлое пятно в огороде перед избой — это вовсе не подсолнух, а повойник, вернее, парчовый кружок повойника. И вынарядилась в этот повойник не молодка (молодые сейчас вообще не носят повойников), а старушонка — маленькая, сухонькая. Нагнувшись над грядкой и легонько покачивая светлой головой, она истово щипала лук — по всему видать, для обеда, потому что была в одном синем старушечьем сарафане, босиком.

— Здорово, Тихоновна,— сказал Ананий Егорович, подходя к огороду.

Старуха живо разогнулась, хитровато прищурила один глаз:

— Признал. А я гляжу споднизу да думаю: возгордился — мимо пройдет али окликнет?

— Ну, тебя нетрудно признать. Вот ведь как сияешь!

— Молчи ты, бога ради. Не стыди. Сама знаю, что неладно. В этом повойнике-то я еще молодицей хаживала.

Все Маруське берегла. А раз Маруська не носит — не пропадать же добру. Кто осудит, а кто и поймет.

Агафью Тихоновну, или Оганю Палею́ (так звали ее в деревне за редкую бойкость), знал чуть ли не весь служилый люд района. Старуха приветливая, общительная — пока пьешь чай, она тебе обскажет все: и каков новый председатель, и как люди работают, и что, по ее мнению, не так делается в колхозе, и как надо бы делать, да обскажет все картинно, со смешком, с прибаутками. Теперь командированные останавливаются у нее от случая к случаю, и то только летом, так как зимой старуха живет в городе у дочери.

— Пойдем в избу,— со свойственной ей гостеприимностью предложила Тихоновна, выходя из огородика с горсткой лука.— У меня самовар шумит.

А в самом деле, почему бы ему не перехватить чего-нибудь? Когда еще он доберется до своего дома? Да, может, от горячего и зубам полегче станет?

В низкой, заметно осевшей избе тепло, даже жарко. Пол намыт с дресвой, выпуклые сучья в старых широких половицах блестят, как луковицы,— Тихоновна всегда славилась опрятностью.

Ананий Егорович по-домашнему — все тут было знакомо — снял намокший плащ, разостлал на печном брусе — пусть и плащ погреется.

— Ноги-то сухие? Дать валенки?

Нет, это, пожалуй, лишне. Он ненадолго. Ему некогда засиживаться.

Тихоновна, шелестя босыми ногами, живехонько собрала на стол. Треска, баранки городские — это уж всегда, когда человек из города приезжает,— морошка моченая с сахарным песком, грузди с луком. И в довершение ко всему кипящий самовар.

— Ешь-пей, гостенек,— сказала Тихоновна и на старинный манер, хотя и не без игривости, поклонилась гостю в пояс.

Потом, просияв парчовым верхом повойника, села сбоку самовара сама на хозяйкино место.

— Надо бы тебя не чаем угощать-то. Дорогой гость! А светлого у бабушки нет. Была тут маленькая, да внук выманил. Позавчера вкатывается пьяный: «Бабка, давай вина, а то подожгу».— «Что ты, говорю, пьяная харя, не стыдно бабке-то так говорить?» А потом отдала,— все от греха подальше.

За чаем Тихоновна разогрелась. На темном морщинистом лбу бисером выступил пот, а маленькое аккуратное ухо порозовело, как у молодицы.

«Сколько же ей? За восемьдесят?— подумал Ананий Егорович.— Крепкий орешек!» И глаз у Тихоновны голубой, с хитринкой, все еще острый, с твердым, не расплывшимся зрачком.

Разламывая баранку, он спросил:

— Ну как в городе? Понравилось?

— Не пон-дра-ви-лось.— Тихоновна, видимо, не без желания щегольнуть своими приобретениями в городе, произнесла это слово старательно, по складам.

— Что так?

— Молодежь не пондравилась,— опять нажимая на «д», ответила старуха.

— Молодежь?

— Молодежь,— утвердительно кивнула Тихоновна. Она отерла лицо сухой ладошкой.— Идем мы тут как-то с моей Маруськой по городу. О праздниках майских дело было. Народушку — как воды льет. Я глаза-ти расшиперила, про все забыла. Потом хвать: где у меня Маруська-то? Туда, сюда — нету Маруськи. Того, другого спрошу — смеются: заблудилась бабка. А тут в садочке, вижу, девочка стоит. Высоконько стоит. На приступочке. Сама из себя беленькая, головушку склонила, в галстучке и книжечку читает. «Ну-ко,— говорю,— девочка, посмотри. Не увидишь ли где мою Маруську?» Молчит девочка. Я опять про свое: «На приступочке стоишь,— говорю,— тебе все видно. Посмотри». А девочка опять молчит. Тут я не стерпела: «Бесстыдница,— говорю,— еще грамотная, книжечку читаешь. Трудно тебе сказать — отвалится у тебя язык-от?» А тут у меня и Марья подоспела. Зубы оскалила: «Ты с кем это, бабка, разговариваешь?» — «Как с кем? С этой,— говорю,— срамницей».— «Что ты, бабка, глупая, ведь эта девушка неживая».

Ананий Егорович расхохотался. Как же он сразу-то не догадался, что Тихоновна морочит ему голову? Ведь она и раньше была мастерица на всякие выдумки.

А Тихоновна, дав ему просмеяться, закончила:

— «Не живая,— говорю? — Как же,— говорю, — не живая? Книжечку читает, в галстучке...» — «Это статуй»,— говорит Маруська. «Статуй? А зачем,— гово-

рю,— статуев-то выставили? Разве,— говорю,— живых людей в городе не хватает?»

— Так-так,— рассмеялся снова Ананий Егорович.— Не понравилось, говоришь, в городе? У нас лучше?

— И у нас не ндравится.

— Вот тебе на!

— Хозяева не ндравятся. Ты не ндравишься.— Тихоновна вдруг выпрямилась и строго поджала свой беззубый ввалившийся рот.— Да разве это дело? Сено сгноили. Самолучшее сено. Сегодня утрось иду с губами из лесу. На-ко, вся деревня в дыму. Ой, тошнехонько, пожар, думаю. Нет, не пожар. Это наши лежебоки просыпаются, печи затопили. Суседка моя, молодица, на крыльцо вывалилась, поперек себя шире, чешет задницу толстую.— Тут Тихоновна живехонько вскочила с табуретки и показала, как это делает соседка.

Ананий Егорович, стараясь припомнить, кто же из молодых живет по соседству с Тихоновной, спросил:

— Чья же это молодица?

— Чья? Разве забыл? Дунька Афанасьевых. Тут рядом живет.

— Ну, эта молодуха из годов вышла.

— Из каких-таких годов? — не на шутку рассердилась Тихоновна.— Не крась, не крась, Онаний Егорович. Знаем. Из годов вышла? Сколько ей? Шестьдесят-то есть ли? Ну уж хоть шестьдесят два — не больше. Меня взамуж выдавали, она еще в брюхе у матери жила. Да по-старому, дак это перва работница. Вот що я тебе скажу.— Тихоновна с раздумьем ширнула носом.— Тут как-то иду, у правленья бабы сидят. Солнышко на полдник поворачивает, а за рекой-то журавель надрывается, истошным голосом кричит: «Что вы, суки бессовестные, вставайте. Страда». А жито-то в поле плачет, сено-то высохло... А они, лупетки, расселись — колом не своротишь. Сидят, пыхтят — за версту слышно. Думаю, болесь какая — все только на болесь и жалуются. Нет, не болесь. Машину ждут. Три версты пройти надо. Срамницы! А как бывало-то мы без машины? У меня Олександрушко рос — на войне убит, сам — на Юрове страдает, за пятнадцать верст от дому. Дак я парня на руки, котомку с хлебами на спину да бегом бежу. Как настеганная бежу. А день-то отробишь, опять домой попадешь. Парня комары раскусают — глаз не знатко. И в войну тоже совесть знали. Не загорали,— по-новому

выразилась Тихоновна.— Пройди-ко по навинам-то — еще теперь мозоли с полей не сошли. Колхозили — рубахи от пота не просыхали. А теперь все заросло. Лес вымахал — хоть полозья гни.

Тихоновна протерла глаза, высморкалась в подол.

— Нет, по нонешним временам,— убежденно сказала она,— житья не жди. Больно болярынь много развелось. Вишь ведь — солнышку стыдно на землю смотреть. Отвернулось — две недели не показывается.

Помолчала, вздохнула:

— Я и свою дочерь не крашу. Насмотрелась в городе. «Машка, ты чего лежишь? Люди на работу прошли». Болесь — мы всю жизнь прожили, а такой не слыхали,— опертия.

— Гипертония,— поправил Ананий Егорович.

— Ну-ну, не выговорить. Не наша, видно, болесь-та, заграничная... Проходит время, опертия кончилась, а Марья у меня снова на лежку. «Чего опять, девка?» Дихрет. Плати осударсьво денежки — бесплатно не рожаем...

Ананий Егорович взглянул на часы. Шестой час. Тихоновна разговорится — не кончит.

— Ладно, пойду,— сказал он, вставая.

— Иди, иди. Я все в глаза высказала. Любо, не любо — слушай. Ну да с меня спрос не велик: пережиток.

Ананий Егорович вопросительно посмотрел на старуху.

— Пережиток, пережиток,— закивала она.— Так. Нас, старух, всю жизнь так звали. Чуть маленько вашему брату — начальству не угодишь — и давай пережитками корить. Да меня и дочь родная так величает: «Молчи ты, старой пережиток...»

На улице, пока он сидел в избе, посветлело. Дождь кончился. Может быть, и прав Худяков — переломится погода?

От нагретого, разопревшего на печи плаща шел пар.

— Не простудись,— наказывала Тихоновна.— Вишь ведь закурился — как после бани.

Заулок густо, будто озимью, зарос сочной травой. Узенькая тропка еле-еле обозначена на отаве,— видно, редко кто заходит к старухе.

Выходя на дорогу, Ананий Егорович еще раз обернулся. Тихоновна босиком стояла на крылечке и легонь-

ко, как подсолнухом, кивала ему головой в повойнике со светлым донышком.

Памятник поставить бы этим пережиткам!

10

СТАРЫЙ КОММУНИСТ

Дом служащего, или, как говорят в деревне, человека на деньгах, отличишь сразу. Он и понаряднее, этот дом: наличники у окошек и двери непременно покрашены, вместо жердяной изгороди оградка из рейки или плетень из сосновых или еловых колышков. И, конечно, радиоантенна над крышей (радио провели в колхозе только в прошлом году).

У дома Серафима Ивановича Яковлева, председателя местной лесхимартели, была еще одна примета — обшитые тесом передние углы, солидно окрашенные в темно-зеленый цвет.

Серафим Иванович был дома. Он выбежал на крыльцо в белой нательной рубахе с расстегнутым воротом, в галошах на босу ногу:

— Зайди-ко на минутку. Дельце есть.

— И у меня к тебе дельце,— сказал Ананий Егорович.

В светлых сенях, заставленных вдоль стен ушатами и кадушками, три двери: прямо — на кухню, слева — в хлев, к корове, а справа, обитая черным дерматином, как в солидном, по меньшей мере районного масштаба учреждении,— в одну из передних комнат.

Серафим Иванович открыл именно эту, обитую дерматином дверь. Комната — это сразу видно — была предназначена для особо важных гостей. Высокая никелированная кровать с горкой белых подушек под кисейной накидкой и лакированным ковриком на стене — дебелая красавица в обнимку с лебедем,— тюлевые занавески во все окно, фикусы, разросшиеся до потолка, в красном углу этажерка с несколькими книжками из партийной литературы.

В комнату бесшумно вошла хозяйка, худая, болезненная, с кротким печальным ликом богородицы, поставила на стол бутылку с водкой и тарелку с огурцами и так же бесшумно вышла.

Сам Серафим Иванович, несмотря на то что ему было уже далеко за пятьдесят (он был года на четыре старше Анания Егоровича), выглядел еще молодцом. Лицо гладкое, розовое, чисто выбрито. В рыжих ершистых волосах, не просохших еще после бани, ни единой сединки. А в зубах, плотных, косо поставленных, как у лошади, тоже сила. Видно, не зря говорят, что он еще бегает по молодым.

— Ты это зря, Яковлев,— сказал Ананий Егорович, кивая на бутылку.— Я не за этим.

— Кто же говорит, что за этим. А раз привелось, стопочка не повредит. А может, в баню желаешь? Банька у меня сладкая. И воды и жару — сколько хочешь.

Ананий Егорович, сославшись на занятость, приступил к делу:

— Я вот к тебе зачем. Ты, говорят, в отпуск идешь?

— Иду. С завтрашнего дня. Ну-ко давай, держи.— Серафим Иванович, по-компанейски подмигнув рыжим глазом, придвинул ему стопочку.

Зубы у Анания Егоровича все еще побаливали. И стопочка ему сейчас ох как бы не помешала. Но он сказал себе: нет. Не время. Люди на него и так косо посматривают (председатель во всем виноват), а тут еще учуют — духами пахнет: «А, скажут, хорош гусь. Нас наставляешь, а сам с утра под парами».

— Дак не будешь? — удивился Серафим Иванович.

— Не буду.

— Ну как хошь, а я выпью.— И Серафим Иванович, заметно мрачнея, опрокинул в рот стопку.

— Завтра как планируешь день? Мы с силосом горим. Воскресник решили объявить.

Серафим Иванович выпил еще стопку.

— Можно,— сказал он, хрустя огурцом.

У Анания Егоровича отлегло на сердце. Он встал:

— Тогда с утречка. Прямо под гору.

— Можно, можно,— снова повторил Серафим Иванович.— А у меня к тебе тоже просьбишка. Парню-то моему черкни справку.

— Насчет справки в правленье обращаться надо,— сухо сказал Ананий Егорович.— Оно решает.

— Ну, это, положим, другим сказывай. У меня тоже правленье.

— Интересно ты рассуждаешь. Парню твоему справку, другому справку, а кто в колхозе работать будет?

— Я думаю,— сказал Серафим Иванович, очень четко выговаривая каждое слово,— я думаю, меня бы можно уважить. С двадцать девятого член партии— много таких в деревне? Имею право одного сына выучить? Сам знаешь, по нонешним временам ученье — основа жизни.

Стоит ли дальше разговаривать? Нет, такого, как Яковлев, словом не прошибешь. У него, видите ли, особые заслуги... Он, видите ли, старый член партии. И уже не он Советской власти, а Советская власть должна ему служить.

На всякий случай, берясь за дверную скобу, Ананий Егорович еще раз напомнил:

— Значит, договорились? Завтра выйдешь.

— Выйду.

«Не выйдет»,— решил про себя Ананий Егорович.

Все кипело в нем. Там, в райкоме, считают: двадцать пять коммунистов в «Новой жизни». Могучее ядро. Да, на бумаге могучее. А на деле? Восемь-девять пенсионеров, семь учителей, председатель сельсовета, секретарь, лесничий, председатель сельпо с бухгалтером, председатель лесхимартели... А кто непосредственно работает в колхозном производстве? Кто живет, кормится от него? Да ведь это видимость одна, все та же показуха. Ну вынесет парторганизация решение. Правильное решение. А кто выполняет? Все тот же председатель да два-три бригадира. А остальные в стороне. У них свои объекты. Вот и получается — они в партийной организации вроде советчиков, вроде консультантов. Нет, приедет Исаков из райцентра (того вызвали на райком с отчетом о наглядной агитации — самое подходящее время!), и он, Ананий Егорович, поставит вопрос ребром. Так дальше нельзя.

11

ПЕТУНЯ-БУЛЬДОЗЕР

Ходить ли к Петуне Девятому?

Усадьба Девятого на отшибе, за деревней, у поскотины, и, чтобы попасть туда, надо спуститься под гору, перейти ручей.

Ананий Егорович посмотрел на дорогу, разбитую, разъезженную, залитую красной глиной, прислушался к шуму ручья под горой. А может, не стоит ему шлепать по этой грязище?

Петуня, согласно колхозной документации,— нетрудоспособный. Ему этой зимой пошел шестьдесят седьмой — помнится, был такой разговор в правлении. Но, с другой стороны, кому не известно, что в деревне нет другого человека, равного ему по силе,— не зря же его прозвали Петуня-бульдозер! Прошлой осенью, например, на выгрузке баржи Петуня таскал сразу по два мешка муки (чтобы побольше заработать) — это Ананий Егорович видел собственными глазами. Видел он и то, как Петуня управлялся на пожне с меткой сена. Напарник его, молодой мужик, так и сяк вертится возле стога — весь мокрый, дышит как загнанная лошадь, а этот не торопится: то на солнышко глянет, то к сену принюхается, то опять к копне с вилами примеряется — и с той и с другой стороны подойдет. Только вдруг заметишь: оторвалась копна от земли и полезла на стог.

Ананий Егорович как-то спросил:

— Откуда у тебя сила такая, Петр Никитич?

— Сила-то? А, надо быть, порода такая. Опять же мы, Девятые, чаю не пьем.

— А чай, что же, вредит силе?

— Размывает. С водой сила из человека уходит.

Была еще одна причуда у Девятого: раз в неделю он отдыхал. И тут хоть лопни — Петуня ни с места! Правда, в колхозе считались с этим — ведь в обычные дни Петуня ломит за четверых. А вот вскоре после войны, когда он попал на лесозаготовки, с ним обошлись круто: за невыход на работу в ударный месячник Петуню судили. Но и вернувшись из далека, Петуня остался верен себе.

— А не боишься, Никитич, что снова закатают? — подтрунивали над ним мужики.

— Нет, ребята, не боюсь. Рабочий класс отдыхает, и правильно делает. Производительность выше.

Вот какой был этот Петуня-бульдозер!

В позапрошлом году поздней осенью — это был первый год хозяйствования Анания Егоровича — Петуня заявился в правление колхоза и сказал:

— Так что все, товарищи. Наробился. Пусть брига-

дир зря сапоги не топчет.— И вслед за тем предъявил справку от районного врача:

«Гр-н Девятый П. Н. страдает хроническим суставным ревматизмом нижних конечностей. Нуждается в систематическом лечении...»

Все как полагается.

И вот сейчас, приближаясь к усадьбе Девятого, Ананий Егорович только головой покачивал: бог ты мой, что наворочал с больными ногами старик. И все это за каких-нибудь полтора года!

Дом перекрыт заново; позади дома новая баня с погребом; изгородь, которой обнесена усадьба, тоже новая, со столбовыми воротами, окрашенными коричневой краской.

Откуда у Петуни взялись достатки? Пенсии он не получает, со стороны копейка тоже не поступает: век живет без детей, вдвоем со старухой. Неужто все это за счет приусадебного участка? Да, Ананию Егоровичу приводилось слышать, что Девятый торгует на лесопунктах и выручает немалые деньги, но раньше он как-то не придавал значения этим разговорам. Мало ли что болтают в деревне. А вот сейчас, разглядывая усадьбу, он понял: люди говорили не зря.

Все у Петуни было подчинено рынку. Вместо маленькой грядки с луком, какие водятся при каждом доме, тут была целая луковая плантация. И уж лук так лук — не чета колхозному: перо синее, сочное, разметалось по грядкам точно жирная осока, а луковицы до того крепкие да ядреные — будто репа. За грядами лука парники с огурцами — овощью, тоже пользующейся большим спросом и все еще как следует не освоенной здешними колхозами,— а затем шла длинная гряда с картошкой. И все; никакой тебе полоски с рожью или ячменем, ни лоскутка с вико-овсяной смесью, как это заведено у других колхозников.

И еще вот на что обратил внимание Ананий Егорович. У Петуни был возделан буквально каждый вершок. Заулка, как у других домов, нет. Дровник и баня вынесены за изгородь, позади дома. И даже дорожка от крыльца к воротам, надвое рассекающая гряды с луком, настолько урезана, что по ней не проехать на телеге.

«Да,— невесело подумал Ананий Егорович,— вот что начертоломил старик. Горбом. За каких-то полтора-два

года. И живет — помощи не просит. А мы... Пятнадцать лет мы поднимаем колхоз...»

Он резко дернул на себя сырую, еще не просохшую от дождя калитку и в то же время услышал, как в доме заскрипели ворота. На крыльцо вышел хозяин — матерый старичище, без шапки, нагладко остриженный, в овчинном полушубке внакидку, в низких валенках.

— Не встречаю гостя. Шарниры в ногах рассохлись,— объявил он прямо с высоты.

Из открытых сеней с лаем выскочила пестрая мохнатая собачонка и бросилась под ноги поднимающемуся на крыльцо Ананию Егоровичу.

— Жулька, пропасть,— вяло прикрикнул Петуня.— Брысь.

Собачонка тотчас же смолкла, завиляла хвостом, потом принялась обнюхивать ноги Анания Егоровича.

— Так, пустое место. Для веселья держим,— сказал Петуня, снисходительно кивая на собачонку.— В избу зайдешь аль спешишь?

— Спешу.

— Ну, сам знаешь. А я сяду.— И Петуня, держась руками за косяк ворот, тяжело опустился на порог.— Нынче в сырость эту только мурашами и спасаюсь. Баба где-то опять пошла зорить муравейники.

— А лук не помогает?

— Чего? Лук? Нет, не помогает. Да я и не люблю его, лук-то. У меня и баба худо ест. Трава,— скептически добавил старик.

— А я думал, ты большой любитель до зелени. Вон ведь у тебя какие плантации!

— Не, это не для себя. Для продажи ростим,— опять с простодушной откровенностью ответил Петуня.

Ананий Егорович начал терять терпение:

— А совесть как — ничего? Не трудно на старости лет торговлишкой заниматься?

— Трудно. С лошадями трудно. Видишь, сколько пера-то навалило? А бригадира сколько ни проси — без бутылки не чует.

— И поишь?

— Пою. Попервости было с хвоста отоваривал, а ноне с копыта. Дороговато,— вздохнул Петуня.

— Ну, вот что, товарищ Девятый! Ты эту лавочку прикрывай скорее, а нет — мы сами прикроем.

— Не прикроете,— по-прежнему спокойно возразил Петуня.

— Прикроем. Да еще как! Что ж ты думаешь, смотреть будем, как частник под крышей колхозной орудует? Раз совести нету, найдем меры.

Петуня помолчал.

— Ты вот все на совесть напираешь...— Петуня опять помолчал, порастирал колени, согнутые под прямым углом, потом вдруг улыбнулся.— А с совестью, надо быть, так, председатель. Тут в одном колхозе старик со старухой живут. Одни, бездетные. Ну и случись со стариком авария — заболел, значит. Старуха, известно дело, в слезы: «Как жить будем? В доме ни копейки».— «Ничего,— говорит старик,— проживем. Денег у нас нету, да зато совести много. Сколько, говорит, мы с тобой этой совести-то за двадцать девять лет заробили? Пойди, говорит, нагреби мешок в амбаре да ступай в магазин...»

— Может, отложим сказку? — перебил Ананий Егорович, хотя и без прежнего запала.

— Нет уж, дослушай,— сказал Петуня.— Сказка невыдуманная... Ну, взвалила старуха мешок с совестью на спину, пошла в магазин. А через час возвращается. Плачет: «Не берут,— говорит,— нашу совесть. Деньги требуют».— «Тогда,— говорит старик,— иди в колхоз. Там совесть выдавали. Там и отоварят». И там не отоварили...

Ананию Егоровичу ничего не оставалось, как молча проглотить Петунину притчу. А что он мог возразить? Что бы он сам делал на месте этого старика? И если уж говорить откровенно, то этот старик даже нравился ему. Нравился своей откровенностью и прямотой.

Петуня и по поводу завтрашнего воскресника не стал юлить.

— Нет уж, не рассчитывай,— сказал он.— Кабы коровенка была, я бы, может, еще поднатужился, а коровенки нету — кому охота жилы рвать?

Опять коровья проблема! И это в колхозе, который буквально утопает в траве. Каждый год десятки, сотни гектаров, а если подсчитать все ручьи, и тысячи уходят под снег, а добрая половина колхозников не имеет коровы. Ну не дико ли? А разгадка простая. Десять процентов на трудодень от общей массы собранного колхозом сена — вот оплата труда. А что это значит? А это значит,

что колхозник, чтобы заработать на свою корову, должен поставить сена по меньшей мере на восемь-девять коров (из расчета две тонны на голову) — вещь пока совершенно немыслимая даже при наличии достаточной техники.

Понимают ли это в колхозах? Понимают. И каждый председатель так или иначе пытается обойти этот порядок. Но тут раздается грозный окрик районного прокурора или секретаря райкома: «Не сметь! Антигосударственная практика! Поощрение частного сектора...»

И вот «государственная» практика торжествует: осенью еще часть колхозников лишается своей кормилицы (какая же жизнь в деревне без коровы!), весной в колхозе наступает падеж скота от бескормицы, и с каждым годом все труднее и труднее становится посылать людей на сенокос...

Вечерело... Наконец-то ветер разогнал сырой облажник, и за деревней, по-над лесом, красной рекой разлился закат. Впервые за многие дни.

Ананий Егорович устало шагал обочиной улицы, и думы у него были невеселые. Вот он обошел почти треть деревни, побывал чуть ли не в каждом доме, уговаривал, убеждал, стыдил... А чего добился? Выйдут ли завтра люди на силос?

На деревне шла обычная для этого часа жизнь. По заулкам, мелькая белыми икрами, сновали хозяйки — кто с ведрами, кто с травой,— промыкивали изредка коровы, стучали топоры на новых строениях — долго теперь, до самой темени не смолкнет эта вечерняя перекличка топоров, а по лужам, до краев налитым краснинои, шлепают босоногие ребятишки — бледные, выцветшие от долгих дождей, как от немочи.

И те же запахи — как пять и тридцать лет назад: парное молоко да щекочущий банный дымок вперемешку с березовым веником...

12

И ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС

Нет ничего хуже попасть в дом, когда там семейный ералаш, или, как принято сейчас говорить (культурный стал народ), воспитательная десятиминутка. А именно

эту самую воспитательную десятиминутку застал Ананий Егорович у Вороницыных. «Пьяная рожа», «затычка винная», «дармоед» — все эти знакомые приложения и еще другие — похлестче, которыми сыпала Полина, он услыхал еще в сенях.

Ананию Егоровичу, однако, некогда было вникать в семейную драму (да в общем-то и понятно, за что калит Полина своего муженька), и он сразу начал о деле — о строительстве.

Павел Вороницын молчал. Он сидел у стола, сгорбившись, выложив на колени тяжелые короткопалые руки, в фуфайке, в грязных сапогах, и с мрачной отрешенностью смотрел в заплеванный, забросанный окурками пол. Свет лампешки, еще не разгоревшейся, поставленной на опрокинутую крынку, наискось перерезал его красное мясистое лицо.

— Кой черт молчишь? Кому говорят? Стенам?

Павел медленно поднял голову, поглядел молча на жену и снова опустил.

Глаза Полины сухо, по-кошачьи сверкнули в тени у занавески.

— Завсегда вот так. Напьется, дьявол, до бесчувствия и сидит — слова не добьешься.

Ананий Егорович подсел к столу:

— Вот что, Вороницын. Кончай эту волынку. Добром прошу. Ты понимаешь, что будет с коровами, ежели твоя бригада сорвет строительство?

— С коровами? Эх, ты...— Вороницын вдруг выпрямился, сивушным перегаром дыхнул в лицо председателю.— А ежели я человеком себя не чувствую, это ты понимаешь?

— Поменьше водки жрать надо, тогда и человеком почувствуешь.

— Подожди, Полина Архиповна. Как это — себя человеком не чувствуешь?

— А так. У тебя паспорт есть?

— Ну, есть.

— А у меня нету. Я как баран колхозный, без паспорта хожу.

— Я что-то тебя не пойму,— помолчав, сказал Ананий Егорович.

— Не поймешь? — Вороницын криво усмехнулся.— Еще бы!.. А помнишь, я нынешней весной в город ездил? Помнишь? За запчастями?

— Ну, помню.

— И ты еще мне колхозную справку выписал? На, мол, получи деньги по аккредитиву. Липовая это справка! Пришел я в сберкассу, сую эту самую справку в окошечко. А там кассирша крашеная, вся с головы до ног завита. Фыркнула: «Это не документ личности». Я туда-сюда, в облисполком, с этажа на этаж, из кабинета в кабинет — два дня доказывал, что я не жулик, а человек.— Вороницын, опять дыхнув сивушным перегаром, резко придвинулся к Ананию Егоровичу.— Почему у меня нет паспорта? Не личность я, значит, да?

— Ну, знаешь, Павел Иванович, не ты один. Все колхозники паспортов не имеют.

— А почему не имеют?

— Потому что паспортизация в сельской местности не проведена.

— А почему не проведена?

— Почему? Почему? Заладил как маленький. Зачем тебе паспорт?

— Ах вот как... Ясно.

Ананий Егорович уже официальным тоном разъяснил:

— Паспорт мы выдаем, товарищ Вороницын, когда человек из колхоза уезжает. А ты, надеюсь, не хочешь уезжать?

— А если захочу?

Тут на помощь Ананию Егоровичу опять пришла Полина:

— Куда ты, рожа, поедешь? Везде работать надо. Даром-то нигде ничего не дают.

— Полина, не мешай! — Лицо у Вороницына передернулось, но он сразу овладел собою.— А если захочу?

Ананий Егорович пошел напролом:

— Хорошо. Подавай заявление. Ежели правление колхоза даст справку, пожалуйста,— мотай на все четыре.

— А ежели не даст? — с пьяным упорством допытывался Вороницын.

— Да за каким лешаком тебе паспорт-то? — взвилась Полина.— Заладил: паспорт, паспорт. Пьяным еще напьешься, потеряешь. Десять рублей штрафу платить. Разве мало теряешь?

— Полина, помолчи!

— Не плети чего не надо, тогда и помолчу. Погоди

вот — язык-то прищемят длинный. Больно распустил. Нальет шары и начинает высказываться. Ребят полна изба— не высказываться надо, а робить.

Вороницын больше не «высказывался». Он только долгим взглядом посмотрел на жену и со вздохом сказал:

— Эх ты! Животноводство..!

13

Была суббота, и дома его ждала привычная картина: спящие после бани дети и бодрствующая, сидящая у стола с лампой Лидия.

Лидия, конечно, вышивала. Вышивала очередного кота или оленя, которыми и без того были завешаны все стены.

Ананий Егорович снял плащ, переобулся в теплые валенки. Лидия — хоть бы слово, даже не посмотрела в его сторону. Что ж, она по-своему права: баня и для него топлена. И, стараясь как-то загладить свою вину, он подошел к ней сбоку и примирительно положил свою руку на ее теплое полное плечо.

Лидия все так же молча встала, собрала на стол.

Он потыкал вилкой сухую картошку, потыкал грибы — и со вздохом отодвинул тарелку.

— А, опять нос воротишь! Не нравится? А ребята-то как?

И пошла и пошла: да какой же ты председатель, когда молока в колхозе не можешь взять? Да где это слыхано, чтобы молока в колхозе не было! По тридцать копеек за литр колхозникам платим. Да кто тебя после этого уважать будет?

И ему в который раз пришлось объяснять: да, нету молока в колхозе, нету! План не выполнен, детсад на голодном пайке держим, учителям не даем — как она этого не может понять?

Но Лидии что в лоб, что по лбу. И раз закусила удила, не остановишь.

— Так за каким же чертом ты нас-то сюда привез? — как всегда, пустила она в ход свой последний козырь.— Сколько раз я тебе говорила: Ананий, не поедем, Ананий, не пори горячку! Люди на шестом десятке думают, как до пенсии дослужить, а он — на-ко, молодец какой выискался! — колхоз подымать поехал.

— Хватит! — вдруг, сорвавшись, закричал Ананий

Егорович.— Привыкла барыней жить. Жена заместителя председателя рика! Районная аристократия... Нет, ты вместе с бабами навоз поворочай...

Проснулся младший сын Петька, хмуро посмотрел на родителей с кровати.

Ананий Егорович махнул рукой — а что еще оставалось делать? — и вышел в другую комнату. Вот и поговорили с женушкой. Нечего сказать, встретила мужа, успокоила. Мало ему сегодня нервов истрепали, так нет — получай еще дополнительную порцию дома.

Не раздеваясь, в пиджаке, он лег на кровать, вытянул ноги. Ох, если бы ему сейчас немного соснуть! Хотя бы на десять минут забыться...

На другой половине все еще тяжелые шаги, грохот посуды. Потом все стихло, и в звонкой сухой тишине послышалось знакомое потрескивание иглы.

Он посмотрел на открытую дверь. Так и есть. Лидия снова сидела за пяльцами. Холодная и неприступная. С гладкой тяжелой головой, распаханной белым пробором.

Он сжал зубы. Да Лидия ли это? Неужели же это та самая Лидочка, молоденькая секретарша сельсовета, которая в огонь и в воду готова была пойти за ним?

В тридцатом году Анания Мысовского, только что демобилизованного красноармейца, направили на коллективизацию в Р-ий район. Сельсовет ему достался дальний, глухой. Пока добирались на розвальнях, он едва не закоченел — такая лютая стужа стояла в том году. Но все равно в сельсовет он влетел орлом — в длинной кавалерийской шинели, в краснозвездном шлеме.

— Ты насчет колхозов, товарищ? — встретила его в дверях черноглазая румянощекая девушка.

— Нет, насчет женитьбы,— рассмеялся Ананий (у него тогда были белые красивые зубы, и он любил смеяться).

— А кто же твоя невеста? — в свою очередь рассмеялась девушка.

— Кто? Да хоть ты. Согласна?

Девушка не отступила.

— Согласна,— сказала она и с вызовом посмотрела на него.

И ведь шутка обернулась всерьез. Через три дня они были уже мужем и женой. Вот какая была тогда Лидия.

А теперь... А теперь вот сидит перед тобой грузная, тупая баба, уткнулась носом в свои проклятые пяльцы, как лошадь в торбу с овсом, и ни черта ей не надо — хоть пожар кругом...

Он прикрыл рукой глаза. Что произошло? Как все это случилось? Годы берут свое? Эх, годы, годы... Да, в том, тридцатом, году и он умел не только с ходу жениться. Ну-ко попробуй перевернуть деревню за два дня! А они перевернули. Перевернули вдвоем. Он — двадцатитрехлетний парень, мальчишка по-теперешнему, и председатель сельсовета, малограмотный красный партизан. Перевернули. Потому что установка райкома — либо за два дня сплошную, либо партбилет на стол...

Ананий Егорович закурил. Рядом на табуретке, как всегда, стояла лампа и белела газета (Лидия все-таки считается еще с его привычками). Он зажег лампу и, по-прежнему лежа на спине, развернул газету.

«Областной чемпионат по футболу». «Отдых трудящихся под угрозой срыва»...

Он перевернул страницу. Это не то, это не для нас... А вот и наше:

«Вести с передового фронта». «Первая заповедь колхозников...»

Да, подумал Ананий Егорович, семнадцать лет как кончилась война, а в сельском хозяйстве мы все еще воюем. Каждый пуд хлеба с бою берем...

Вести с передового фронта были неутешительны. Дожди, простои машин, невыход колхозников на работу...

Он отложил газету в сторону и опять задумался. Нет, в тридцатом было легче. За два дня перевернуть деревню. За два дня!.. А может, потому и тяжело сейчас, что тогда все давалось легко? — вдруг пришло ему в голову. Ведь как они, например, с председателем сельсовета создавали колхоз? «Почему не записываешься? Советская власть не нравится? Воду на мельницу классового врага льешь?..» Да, так они брали в работу мужиков...

Ананий Егорович резко поднялся. У него с силосом кавардак, сено гниет, а он черт знает о чем думает!

Лидия, когда он вышел в переднюю комнату и стал переобуваться, хмуро посмотрела на него, но ничего не сказала. Она привыкла к вечерним отлучкам мужа.

14

В правлении, конечно, никого. Августовская темень, безлюдье кругом — и только наверху, на столбах, наяривают репродукторы, подобно пулеметам простреливая деревню.

Возле магазина, на пригорке, мелькнул огонек. Наверно, продавщица или сторож. Да, хорошо бы сейчас взять маленькую, вернуться домой в теплую избу и выпить с чаем. Хорошо бы, тем более что зубы у него опять заныли.

Шлепая в темноте по лужам, Ананий Егорович направился в клуб. Если там сегодня кино, то он наверняка увидит кого-нибудь из бригадиров.

Клуб — это тоже больной зуб в колхозе. Когда-то проблема клуба решалась просто: сдернули веревками «на ура» кресты с церкви, приспособили алтарь под сцену — вот и клуб. И, надо сказать, здешний колхоз лет двадцать пять не знал заботы с клубом. А вот теперь старой церкви приходит конец — уже два раза подводили балки под потолок. Надо строить, строить новое здание. И придется, говорил себе Ананий Егорович, потому что молодежь иначе не удержишь в колхозе. Молодежи мало полновесного трудодня. Ей подай еще веселье.

В клубе шли танцы. Вокруг толстых, наскоро отесанных бревен, подпирающих высокие темные своды, как в лесу, толкалась мошкара, а девушки повзрослее — школьницы старших классов, студентки-отпускницы, доярки — кружились посреди зала.

Ананий Егорович встал в полумраке у открытых дверей. Мужчин не видно. Нынешний кавалер — это в основном желторотые подростки-школьники, а если заявится случайно в деревню какой-нибудь демобилизованный солдат, то его буквально атакуют со всех сторон: невест в колхозе перепроизводство.

Кончился один танец, начался другой.

К Нюре Яковлевой, заметно выделявшейся своим ярким красным платьем с белым модным ремешком, подскочили сразу три парня, и все три солидные — студенты. Нюра кокетливо пожала плечиком — «что же мне делать с вами?» — улыбнулась одному, улыбнулась другому и руку подала высокому белоголовому — сыну учительницы.

«Ну, эта в девках не засидится,— подумал Ананий

Егорович.— Пожалуй, и в самом деле придется скоро подыскивать новую доярку». Потом, оглядывая топчущийся на месте молодняк — иначе, порезвее танцевали в его время,— он увидел Эльзу, бригадира доярок. Эльза сидела одна в углу у печки — там, где обычно отсиживаются на вечерах уже не молодые, выходящие в тираж девушки. Свет настенной лампы падал на нее сверху, и что-то жалкое, унылое и обреченное было в ее сгорбленной фигуре...

Внезапно в дверях выросла Клавдия Нехорошкова. Высокая, прямая, как жердь, сапоги заляпаны грязью, подол платья мокрый — надо полагать, только что из заречья. Клавдия была под хмельком. Лицо у нее было красное, как у мужика, светлые глаза лихорадочно блестели. Некоторое время, стоя неподвижно в дверях, она разглядывала танцующих, потом вдруг бухнула на весь клуб:

— Шурка! Чего эту м... развел? Русского!

Танцующие, поглядывая на нее, заулыбались.

— Шурка! Кому говорят? — Клавдия топнула ногой, шумно ширнула простуженным носом.

Шурка, щупленький гармонист-семиклассник, покосился на избача Данилу, который, постукивая окольцованной деревягой, уже подходил к Клавдии:

— Ты плясать пляши, а выражаться да сморкаться — на улицу.

— Чего? Ты еще мне указывать! Пошел ты...

Ананий Егорович с силой сдавил локоть Клавдии:

— Перестань, Нехорошкова!

— А-а, председатель!.. Тебя-то мне и надо. Дашь на маленькую?

В зале захохотали.

— Тебе не маленькую, а мозги вправлять надо. Пьянствуешь, а люди?

— Люди-то? — Клавдия перестала улыбаться.— Люди сегодня все в лес удрали. Ну, они у меня попляшут. Меня? Клавку обманывать? — вдруг выкрикнула она и мрачным взглядом обвела сразу притихший зал.— Завтра всех вытащу. Вот те бог. За шиворот!

— Так, так, вытащишь,— вступила в разговор невесть откуда взявшаяся Анисья Ермолина, мать двух дочек-близнецов.— Только ты не мешай молодым-то,— стала она уговаривать Клавдию.— Смотри-ко, они, гулюшки,

притихли, глаз со стыда поднять не могут. Разве можно так выражаться при девушках?

— А я сама девушка! — сказала громко, улыбаясь, Клавдия и вдруг под хохот и выкрики сграбастала в охапку толстую, неповоротливую Анисью и потащила на середку зала.

Шурка заиграл русского.

Анисья начала вырываться, кричать, потом обе они упали.

— Не лезь ко мне! — закричала, поднимаясь, Анисья.— Ты по себе, и я по себе. Я девья матерь! Мне кверху задницей нельзя.

Новый взрыв хохота, визг. Теперь представление не скоро кончится.

Ананий Егорович вышел. С Клавдией сейчас бесполезно говорить. Пока дурь пьяную не вытрясет, хоть кол на голове теши.

Удивительно все ж таки, подумал он, как меняется человек. Клавдию он знает давно, очень давно, еще с военных лет. Помнится, приехал он однажды на пожню — тогда уполномоченные райкома из колхозов не вылезали: время было тяжелое, наши отступали на всех фронтах. И вот бабы — сидят, митингуют на весь луг, так и эдак отводят свою душеньку. А в сторонке, в кустах, стоит высокая тоненькая девушка с опущенной головой.

— Бригадир наш,— сказали, посмеиваясь, женки.— Это мы ее в кусты послали. Иди, говорим, Клавка, мы хоть по-русски поговорим — все легче станет.

Да, именно так Ананий Егорович первый раз увидел Клавдию.

И еще ему вспоминается вот какой случай. В сорок седьмом году он как заместитель председателя райисполкома приехал в колхоз на отчетное собрание. Приехал с радостной вестью: райпотребсоюз выделил для колхозников тридцать пять метров ситца и пять женских платков. Доклад, конечно, сразу же в сторону, а первым вопросом — распределение мануфактуры. Люди обносились страшно — ведь за все годы войны деревне не перепало ни единого метра мануфактуры.

Ситец не без скандала поделили между вдовами и сиротами, а платки — дешевенькие белые платки с цветочками — председатель колхоза предложил отдать девчатам.

Опять стали выкрикивать имена.

— Клавдии Нехорошковой,— сказал кто-то.

— Потерпит! — раздались голоса.— Этой не к спеху. Надо сперва тем, которые молодые.

Так и не дали Клавдии платка.

Ананий Егорович вспомнил этот давнишний случай, и ему как-то сразу стала понятна вся несуразная, изломанная жизнь Клавдии. Перестарок — посторонись! А что же этому перестарку-то делать! И разве виновата та же самая Клавдия, что молодость ее пала на войну? Вот и почала она по вечерам свои походы в деревню делать — авось и ей перепадет какая-нибудь кроха бабьего счастья, а чтобы не так стыдно было, залей глаза вином...

Погода поворачивала на ясень. В небе сверкали крупные августовские звезды, и уже можно было различать на дороге лужи.

«Что же это я сегодня всех жалею? — вдруг разозлился на себя Ананий Егорович.— Председатель ты колхоза или заведующий богадельней? Нет, к черту! Одного пожалеешь, другого пожалеешь, а кто работать будет?»

Было еще одно место, куда по субботам заглядывали мужики,— чайная. И он отправился в чайную.

15

В комнате светло. И солнце. Много солнца.

Да не приснилось ли ему это? Он провел ладонью по лицу. Ладонь была мокрая от пота.

— Лидия!

Ни звука в ответ.

Он вскочил с постели, в одном белье выбежал на другую половину.

Никого. На столе записка: «Пошла с ребятами в лес».

Он взглянул на стенные часы, и у него глаза буквально полезли на лоб. Двадцать минут двенадцатого! Не может быть! Он кинулся в спальню. Его ручные часы показывали двадцать пять двенадцатого.

Он схватился за голову, застонал. Вот тебе и воскресник, вот тебе и силос...

Выбежав из дома, Ананий Егорович хотел было идти задами, но тут же отбросил эту мысль. Чего уж финтить. Кто не знает теперь, что председатель отлеживался с похмелья?

Блестят залитые солнцем лужи. Собственные шаги,

как набат, отдаются в его ушах. А деревня будто вымерла. Даже мальчонок не перебежит улицу...

Все ясно. Все укатили в лес. Вот теперь-то его песенка спета.

«Посмотрите, товарищи, на этого горе-председателя,— скажет секретарь райкома на бюро.— Партия доверила ему передовой участок, дело, которое является общенародным в данный момент. А он что сделал? Пьянство развел...»

И чем будешь оправдываться? Зубы, дескать, лечил?

Внезапно до его слуха долетел натужный вой машины. Он остановился, прислушался. Машина выла внизу, где-то у колхозной конторы.

Он выбежал на пригорок и вот что увидел: от полевых ворот с огромным возом сена ползет машина, а там, на лугу, за озериной, люди. Сплошь люди. С граблями, с вилами. Бегают, загребают сено, укладывают на телеги.

Он ни черта не понимал. Неужели все это сделал Исаков? Да, только он. Больше некому. Приехал, наверно, вчера поздно вечером из райкома и давай рвать и метать. И все это в то время, как он пьянствовал в чайной...

Из кабины подъехавшей машины выскочил Васька Уледев — рожа в испарине, белозубый рот до ушей:

— Ну и дела, председатель. Осатанел народ! Меня бабешки прямо из постели выволокли. Вот что значит тридцать процентов!

— Тридцать процентов? — глухо спросил Ананий Егорович.

— Ну как же! Сами же вчера сказали.

Васька поставил ногу на подножку:

— Поеду. А то сегодня живо схлопочешь по шее. Бабье ошалело. Я говорю: подождите маленько, сено еще мокрое, пусть хоть подсохнет немного. «Вози, говорят, ирод. Не твоя забота». Ну и верно, понавтыкали разных рогаток да вешал, мужики там сарай у конюшни ставят — все придумали.

— Держитесь! — уже из кабины крикнул Васька.— Исаков с каким-то начальством недавно проехал.

Так вот в чем дело. Тридцать процентов... Но как же он мог брякнуть такое? Да ведь за это голову снимут. «Развязал собственническую стихию... Пошел на поводу

у отсталых элементов...» Ананий Егорович пошел к Исакову. Надо по крайней мере предупредить, поставить в известность. Так и так, мол, осудить успеете, а сейчас давай вместе расхлебывать.

...Нет, убей бог — он не помнит этого. Все помнит. Помнит, как зашел в чайную, помнит, кто там был: бригадиры Чугаев, Обросов, Вороницын, Васька Уледев, Кирька-переводчик... Целое заседание! Помнит разговор о бородатых коровках, то есть о козах, которые после войны вытеснили в деревне коров, помнит споры и крики о сене... Все было. Но чтобы он так вот и бухнул: кончайте волынить. Тридцать процентов даю... Да что он, с ума сошел? Не посоветовавшись ни с правлением, ни с райкомом?

Ананий Егорович замедлил шаг. «А может, подстроили, сукины дети? — вдруг пришло ему в голову.— Председатель пьяный. Пускай потом доказывает, что не говорил...»

И как ни нелепа была эта мысль, он сейчас готов был поверить и ей. Здешние колхозники все могут. От них всего ожидать можно. Ведь вот же сыграли они злую шутку с Мартемьяном Зыковым, его предшественником. Тот приехал в колхоз и на первом же собрании заявил: «Трепаться не люблю. Или колхоз подниму, или меня на кладбище отвезете». И что же — через год отвезли. Как-то наткнулись мужики на пьяного Мартемьяна — лежит на улице,— взвалили на тележку и отвезли на кладбище. На весь район опозорили мужика...

Мимо, громыхая, порожняком пронеслась машина. За рулем сидел Яков. Значит, и у этого машина заработала... Потом за машиной он увидел Петуню. Петуня, прихрамывая, как леший, топал посередке дороги, весь запаренный, запотевший, с граблями и вилами на плече.

— Неладно у нас, председатель,— сказал он, тяжело дыша.— Бригадир дорогу ко мне забыл.

Старик порысил было к колхозной конторе — оттуда дорога на луг,— но потом, решив, видно, сэкономить время, повернул прямо.

А на лугу... Что делалось на лугу! Белые платки — ромашек столько сейчас не найдешь,— разномастные головы мужиков и парней, ребятишки, как жеребята, носятся по зеленой отаве убранной пожни... Было что-то от первых колхозных дней, когда деревня еще кипела от избытка сил.

«Да,— вздохнул Ананий Егорович.— И все это сделали тридцать процентов. Тридцать процентов. Никаких тебе заседаний, ни крику, ни рыку».

Мало-помалу он начал успокаиваться. Он шел пустынной улицей и думал: ну чего он перепугался? Чего? Ну, будут колхозники с коровой, ну, съедят лишнюю ложку масла. Ну и что? Кому это надо, чтобы сено пропадало? А оно бы пропало, обязательно пропало. Еще день-два — и хоть навоз с луга вози. И тогда все к чертовой матери: и план по мясу, и план по молоку. И урожай — тоже под снег уйдет. Полная катастрофа!

«И ты ведь знаешь,— говорил себе Ананий Егорович,— давно знаешь, что пока здешний колхозник имеет корову, до тех пор он и колхозный воз тянет. А нет коровы — и пошел брыкаться во все стороны. Да, откровенно говоря, такая ли уж это и диковинка — эти тридцать процентов? В некоторых районах еще в прошлом году давали до сорока — правда, в газетах за это не хвалили... Ну и что! Ну и тебе намылят голову. Может, даже с работы снимут. Может, застучишь на весь район. Все может быть. Но черт побери, разве ты для себя стараешься? Ну-ко, вспомни, сколько глупостей — да что глупостей! — преступлений творилось на твоем веку. Может, ты забыл перегибы тридцатого? Легко сказать, перегибы... А продразверстка после войны, когда из года в год начисто, до зернышка выгребали колхозные амбары? А то, что чуть ли не под самым Полярным кругом из года в год сеют кукурузу, а потом перепахивают под рожь? И ты все это понимал, да, да, понимал и делал, заставлял других. Так будь же мужествен! Хоть раз. Хоть один раз, на пятьдесят пятом году!»

Исаков жил за клубом, на песчаном пустыре. Дом у Исакова приметный — с высоким тополем, и Ананий Егорович еще издали увидел под тополем райкомовский «газик». На этом «газике» — новехонькой машинке с парусиновым верхом — обычно ездил «сам», то есть первый секретарь, а остальные работники райкома пользовались старым, изрядно потрепанным драндулетом.

«Да,— подумал Ананий Егорович,— табак дело. Уж ежели сам прикатил, да еще без предупреждения, значит, не зря. Значит, кто-то уже стукнул».

Солнце прямо било ему в глаза. По небритому лицу его ручьями тек пот. И он дышал тяжело, со свистом — как будто шел не знакомым, вдоль и поперек истоптан-

ным песчаным пустырем, а пропахивал своими ногами целину.

И чем ближе он подходил к дому Исакова, тем все меньше и меньше оставалось у него мужества. Проклятый безотчетный страх, старые сомнения в своей правоте, тревога за свое будущее, за будущее семьи — все это удушьем навалилось на него.

Окна в доме раскрыты настежь. Ветерок колышет белые занавески. Гремит радио — празднично, ликующе, как положено в воскресный день (у Исакова свой приемник)...

— Ананий Егорович! Ананий Егорович!..

Мысовский оглянулся. Сзади, догоняя его, бежали Чугаев и Обросов. Бригадиры.

— Фу, черт, мы бежим, бежим. Тебя не догонишь.— Чугаев, вытирая рукавом клетчатой ковбойки лицо, заговорил с ходу: — Как будем с дальними сенами? Бабы ревут: ехать надо.

— Ждать нечего,— мрачно буркнул Обросов.

Ананий Егорович стиснул зубы. Вот они, его вчерашние дружки! Сели за стол как люди, а чем кончили? Это они, они подвели его под монастырь! И будто в подтверждение его догадки стеснительный Чугаев, наткнувшись на тяжелый взгляд председателя, воровато повел глазами в сторону. Вдруг он замахал руками:

— Смотрите, смотрите! Вон-то что! Союзники!

Все трое подняли кверху головы. Над деревней низко-низко летели журавли. Вот они пролетели деревню, закачались парами над лугом.

Там их тоже заметили. Радостные крики, взмахи белых платков, граблей. По местным приметам, журавли начинают парить к хорошей погоде — потому-то их и окрестили союзниками.

— Ну как, председатель? — заговорил снова Чугаев. Счастливая улыбка не сходила с его круглого румяного лица.

Обросов не мигая выжидающе уставился на председателя. Этот говорил больше глазами. Ананий Егорович облизал вдруг пересохшие губы, посмотрел на дом Исакова. В окнах — никого. Радио смолкло. Словно и там, за занавесками, затаив дыхание, сидят и ждут, на что он решится сейчас.

— Ладно,— сказал он медленно и твердо.— Отправляйте людей на дальние сенокосы.

Мохнатые черные брови на скуластом лице Обросова дрогнули, а Чугаев, как ему показалось, виновато заморгал голубыми глазами.

— Ступайте,— сказал Ананий Егорович.

Чугаев побежал вслед за Обросовым, но вдруг обернулся и, словно стараясь подбодрить его, закричал:

— А насчет силоса ты не беспокойся. Все будет. Теперь знаешь как люди рванут!

Ананий Егорович остался один. Лицо его было мокро, но сам он был спокоен. Да, он принял решение. Принял. И как бы там ни было, что бы его ни ожидало, но никто теперь по крайней мере не может сказать, что он сболтнул это спьяна. В заулке у Исакова залаял пес. С голубого крылечка, залитого солнцем, спускались секретарь райкома и Исаков.

Ананий Егорович выпрямился и, твердо ступая по песчаной земле, пошел им навстречу.

1963

ЖИЛА-БЫЛА СЕМУЖКА

(История одной жизни)

1

Ее звали Красавкой.

Это была маленькая пестрая рыбка, очень похожая своей золотисто-палевой, в красных пятнышках, расцветкой на гольянов — самую нарядную рыбешку северных рек. Вот только голова у Красавки была большая, непомерно толстая, и, наверно, поэтому те же самые гольяны — их семейка жила рядом, в тихой заводи у берега,— никогда не заглядывали к ней на быстринку.

Быстринка — маленькая веточка-протока, оторвавшаяся от пенистого порога. От главной речной дороги, по которой гуляют большие рыбы, ее отделяет серый ноздреватый валун. Сверху валун густо забрызган белыми пятнами — на нем постоянно вертятся трясогузки, а под валуном — промоины, спасительные промоины с холодной ключевой водой. Жарко — ныряй в промоины, разразилась буря-непогодь — и опять выручают промоины. А главное — где бы она укрывалась от врагов?

Врагов много. Враги со всех сторон. Зубастые щуки, рыскающие в прибрежной осоке, огнеперые разбойники-окуни, налимы-притворщики, наподобие серых палок залегшие у камней, и даже ерши. Ужасные нахалы! Подойдут скопом к быстринке, развернутся, как для нападения, и стоят — неприступные, ощетинившиеся, выпучив большие синие глазищи.

Поэтому Красавка — ни на шаг от своей быстринки.

С утра она ловила букашек и пауков, которых приносило течением, а затем, если было солнечно, играла: то подталкивала носиком искрометные камешки на дне, то прыгала за изумрудными стрекозами, снующими над самой водой, а иногда, ради забавы, даже кидалась на какого-нибудь зазевавшегося малька.

Но особенно она любила наблюдать за большими рыбами. Она часами могла смотреть на пляску проворных хариусов в шумном пороге, на стремительный бег красавцев сигов, которые, подобно серебряной молнии, прорезали темные глубины плеса — огромной ямины, начинающейся сразу за валуном.

В общем, ей нравилось житье на веселой быстринке.

Но вот наступили темные, хмурые дни, с дождями, туманами, и Красавка затосковала.

Солнце теперь показывалось редко, сверху все время сыпались листья, лохматые, разбухшие, и на быстринке было неуютно и сиротливо. А по ночам к валуну стал наведываться обжора-налим. Скользкий, безобразно голый, морда с усищами, он подолгу шарил под валуном, принюхивался, тяжело сопел. Красавка еще глубже забивалась в промоины и до самого рассвета дрожала от страха. И так ночь за ночью.

Что делать? Куда податься!

Однажды утром, в который раз размышляя над своей судьбой, она вдруг увидела слева от валуна, на плесе, там, где пролегала главная дорога в реке, огромную, незнакомую ей рыбу. Рыба неторопливо плыла вниз по течению, и, когда она изредка взмахивала хвостом, от нее расходились волны. А как она красива была, эта рыба! Тело длинное, сильное, в розовых и золотистых пятнах, могучие темные плавники с оранжевой каймой...

Едва проплыла эта удивительная рыба, как вслед за нею показалась стайка пестряток — таких же цветастых рыбок, как сама Красавка, но только побольше ростом. И что поразительно: пестрятки бежали весело и беззаботно, словно по меньшей мере они находились под покровительством этой рыбы.

Недолго раздумывая, Красавка поплыла им наперерез.

— Скажите, пожалуйста,— очень вежливо обратилась она к ним,— что это за рыба прошла мимо?

— Как? — удивились пестрятки.— Ты не знаешь свою родственницу семгу?

— Родственницу? — пролепетала изумленная Красавка.— Значит, и я буду такой же сильной рыбой?

— Ну а как же... Вот еще дуреха! — расхохотались пестрятки.— Да откуда ты взялась?

— Я... я тут, с быстринки...

— Да она сеголеток,— разочарованно сказали пестрятки,— и ни черта еще в жизни не видала. Хочешь с нами на порог?

— А что вы там собираетесь делать?

— Спрашиваешь! Когда семга икру мечет, что́ делают?

Грубость и высокомерная развязность пестряток покоробили Красавку. Но почему бы ей не присоединиться к ним?

На дресвяном приплаве у грохочущего порога творились странные вещи. Большая семга, работая плавниками, разрывала мелкую гальку, а рядом с ней хлопалась еще одна семга, поменьше,— розоватая, с длинной костлявой головой и уродливым хрящеватым отростком на кончике нижней челюсти. Это, как сказали Красавке, был самец, которого называли Крюком.

— А что они делают? — тихо спросила Красавка, с любопытством присматриваясь к семгам.

— Они роют коп — яму, куда откладывается икра.

Пестрятки обошли стороной большую семгу и начали спускаться в шумный, пенистый порог.

— Ой, я боюсь, меня унесет! — закричала Красавка, отчаянно работая хвостиком.

— Да не бойся ты, глупая. Разве такие бывают пороги!

Впрочем, Красавку напугал не столько сам порог, сколько то, что она увидела за горловиной порога. Там, под густыми шапками пены, толпилась крупная рыба: темноспинные хариусы с оранжевыми плавниками, крутолобые, поблескивающие слизью налимы. Зачем же она полезет к ним в пасть?

Красавка прибилась к стайке пестряток, задержавшихся у небольшого валуна, сбоку стремнины, и стала ждать, что будет дальше.

Тускло мерцало оловянное солнце. В горловину порога со стуком скатывались камешки, выворачиваемые плавниками.

Вдруг вода вокруг — семги уже наполовину зарылись в яму — забурлила, закипела ключом. Семги неистово

били хвостами, извивались, с яростью терлись брюхом о дресву.

Пестрятки насторожились.

— Что они делают? — шепотом спросила Красавка, кивая на коп.

— Ну и бестолочь! Милуются...

— А зачем?

— Зачем, зачем...

Из-под хвоста большой семги выскользнули веселые оранжевые горошинки — и тотчас же от брюха самца отделилось белое мутное облачко...

Пестрятки стремительно бросились на эти горошины. Красавке тоже удалось схватить несколько штук.

— Ну как, хороша семужья икра? — спросила ее одна из пестряток.

— Вкусна. Очень вкусна.— Красавка от удовольствия даже помахала хвостиком.— Я еще ничего подобного не ела.

— То-то же!

Между тем икринки все выкатывались и выкатывались из-под хвоста семги, янтарной цепочкой растекались по течению. Их хватали пестрятки, заглатывали налимы, за ними охотились хариусы. И так продолжалось день и ночь.

Красавка наелась до отвала.

Она была очень благодарна большой семге и решила хоть на словах выразить ей свою признательность.

— У вас очень вкусная икра,— сказала она, осторожно приближаясь к ней сбоку.

— Ты пожирательница своего рода,— прохрипела семга. Глаза у нее были мутные, осовелые, она с трудом ворочала плавниками, и по всему чувствовалось, что она страшно устала.

— Что это значит?

— Я мечу икру — и из каждой икринки должна вырасти семужка. А ты пожираешь своих сестер и братьев.

— Боже мой! Неужели? Простите, пожалуйста. Я не знала.

Несколько секунд Красавка растерянно смотрела по сторонам, затем бросилась усовещевать пестряток:

— Стойте! Остановитесь! Знаете ли вы, что делаете? Вы поедаете своих сестер и братьев.

Пестрятки рассмеялись:

— Чистоплюйка! Вздумала мораль читать. Сама нажралась...

Красавка, опечаленная, вернулась к семге:

— Они меня не послушали.

Семга ничего не ответила. Она выбиралась из ямы.

Крюка уже не было.

Красавка, влекомая любопытством, подплыла к кромке ямы, заглянула в нее. Там, на дресвяном дне, кое-где посеребренном чешуей, лежала горка веселых оранжевых икринок. И казалось, они улыбались, точно радуясь своему появлению на свет. Неужели это правда, что из этаких вот крохотулек вылупятся рыбки?

Вдруг в яму посыпались камешки, песок. Красавка с испугом отпрянула в сторону. Большая семга, работая хвостом и плавниками, засыпала коп.

— Послушайте,— вне себя закричала Красавка,— что вы делаете? Ведь икринки погибнут под дресвой.

— Не погибнут,— ответила семга.— Вот если бы я их не засыпала, тогда бы они погибли. Их пожрали бы рыбы. А так икринки будут лежать до весны. Большой водой размоет яму, и из них к тому времени вылупятся маленькие рыбки. Поняла?

— Но почему,— допытывалась Красавка,— вы позволили рыбам поедать икру? Почему вы не отогнали их? Ведь вы такая большая и сильная.

— Ах, ты еще ребенок и ничего не понимаешь. Вот когда ты станешь матерью, ты узнаешь, каково рожать детей. Я измучена, у меня нет сил. Я с трудом двигаю плавниками. А мне еще надо идти в море.

— В море? А это что такое?

— Море...— У семги на мгновение блеснули глаза.— Море — это далеко, очень далеко. И ты еще узнаешь его в свое время.

Выгибая хвост, семга начала разворачиваться. На нее было больно смотреть. Тело ее похудело, высохло и стало плоским как доска. На брюхе появились кровоточащие ссадины.

Быстрая стремнина подхватила семгу и понесла в пенистую горловину порога.

— Счастливого пути! — крикнула вдогонку Красавка.

Ей никто не ответил. Ревел порог. На месте недавней ямы, где лежала семга, бугрился маленький холмик, омываемый струйками воды. Пестрятки, отяжелевшие от еды, медленно поднимались вверх по течению.

«Как странно и непонятно устроена жизнь...— думала Красавка.— Зачем пошла семга в море? И что такое море?»

2

С этим вопросом Красавка обращалась ко многим рыбам. Но никто из них: ни ельцы, ни сиги, ни хариусы, ни тем более такая глупая и нахальная рыбешка, как ерши,— никто из них ничего не слыхал про море. Может быть, о нем знают щуки и окуни? Но как подступиться к этим живоглотам? Ни одна рыба не может без страха пройти мимо их урочищ, а тут добровольно плыть на верную гибель...

Ночи стали еще длиннее и тоскливее. Сверху целыми днями сыпались белые хлопья. На реке выросла мохнатая ледяная шуга. Куда девалось солнце?

Вокруг поговаривали, что так бывает каждый раз, когда от них уходит семга.

Неужели она унесла с собой солнце? О, это было бы жестоко, слишком жестоко!

Рыбы присмирели, притихли, стали вялыми и неподвижными. Многие из них перекочевали к порогу — там еще играла вода и было легче дышать.

Но вот и порог заковало льдом. В реке воцарилась сплошная ночь.

— Что же это такое? — со страхом спрашивала у рыб Красавка.

— Это пришла пора большой духоты — самое тяжелое для нас время.

На яме — зимней стоянке рыб — великая теснота. Сюда перебрались все обитатели реки, большие и малые. Душно. Темно. В нижних слоях день и ночь разбойничает налим, и оттуда часто доносятся вскрики очередной жертвы.

Красавка, стоявшая у какого-то камня на выходе к порогу, была ни жива ни мертва. Она задыхалась. Ей не хотелось ни есть, ни двигаться! Только бы глоток свежей воды. Один-единственный глоток! А потом ей стало все безразлично. На нее напала спячка, длинная и тягучая.

Избавление, как это ни странно, пришло от щуки, так по крайней мере говорили в реке. Будто разозлилась однажды щука, ударила хвостом по ледяному панцирю, и тот распался.

Ах, какое это счастье — снова вволю дышать, двигаться, ловить личинок, вдоволь есть!

По всему плесу, празднуя свое освобождение, рыбы водили брачные игры. Целыми днями в берегах клокотали щуки, бесновались в курьях окуни, распуская серую кисею икры, весело рассекали мутную воду косяки хариусов, и даже голубоглазые ерши, воинственно ощетинив перья, без передышки пировали в тихих заводях. Потом заговорили, запенились пороги, зазеленели подводные луга — излюбленные пастбища рыб летом, а потом... потом в реку спустилось солнце и золотыми искрами рассыпалось по каменистому дну.

Ура, к нам идет семга!

Красавка лишилась сна и покоя. Она постоянно прислушивалась ко всем звукам и всплескам, выплывала на плес и часто, хотя и украдкой, смотрелась в блестящие камешки — очень уж ей хотелось быть посолиднее да покрасивее. Что ж, кажется, она подросла немножко, а платье ее стало еще цветастее. Наконец, не выдержав, она перебралась поближе к порогу. Ведь оттуда, из этой кипящей пучины, должна прийти семга. И кто же, как не она, Красавка, должна встретить ее?

Был ранний час. Рыбы еще только-только просыпались. И вдруг по всему плесу прокатился невероятной силы грохот. Пошли волны. Это царь-рыба извещала плес о своем возвращении.

...Вот она, вот! Серебряным клином прорезает темную яму. Яростный взмах хвостом — и тело ее в брызгах и пене взлетает над водой...

Тихо и жутко стало в реке, когда она кончила свою пляску. Рыбы, и малые и большие, затаились в своих тайниках.

Красавка смело поплыла к семге. Чего ей бояться? Ведь это ее старая знакомая.

— Здравствуйте. Вы узнаете меня?

Семга хмуро посмотрела на пеструю пигалицу.

— Ну как же? — с живостью подсказала Красавка.— Прошлой осенью на копе. Помните, я еще провожала вас в море?

— Ты путаешь, девочка. Я не была в прошлом году здесь.

— Вот удивительно! Ну точь-в-точь такая же была семга — только платье на ней было другое. Розоватое,

с желтыми блестками. И она еще хотела рассказать мне о море.

— Море? — У семги зажглись глаза.— Море — это хорошо. Там сейчас много солнца. А какие штормы, волны...

— Ах, как бы я хотела в море!

— Тебе еще рано. Но через год,— семга оглянула ее более приветливо,— ты увидишь море. А теперь посторонись. Я хочу пройтись по плесу.

Короткий взмах хвостом — и в темную глубь реки побежала веселая, сверкающая белыми и желтыми камешками дорожка.

Жить стало очень интересно. Щуки теперь не решались высунуть носа из травы, налимы, разморенные жарой, отлеживались под корягами. А как завидовала Красавке всякая мелкота! Еще бы — дружить с самой семгой! Ни одна рыба не смеет гулять по семужьим тропам, а Красавка гуляет каждый день. А кто осмелится запросто подплыть к семге, когда та отдыхает солнечным днем в травнике, и завести с ней разговор о море?

Но больше всего Красавка любила те минуты, когда семга водила свои утренние и вечерние пляски. Бух-бух — гулко разносится по плесу, и где-то в сторонке, у бережка, беззвучно, как от дождинки, расходятся маленькие кружки. Это Красавка учится семужьим пляскам.

Да, многому научилась она у семги. И все-таки сколько еще было в жизни старой семги такого, что казалось совершенно непостижимо для Красавки! Красавка, например, ни разу не видела, чтобы семга ела.

— Мы, семги,— был ответ,— совсем не едим в речной воде. И ты в свое время будешь обходиться без пищи.

Или вот еще диковина. Семужье серебряное платье вдруг ни с того ни с сего потускнело, стало приобретать мутный, розовый отлив.

— А вы здорово загорели,— сказала однажды Красавка, стараясь доставить удовольствие семге.

Та в ответ слабо улыбнулась:

— Нет, это не загар. Это пришло время моего лошания [1].

---

[1] Лошание, или облошание,— резкие перемены в теле лосося, наступающие перед нерестом. Самки утрачивают серебристый цвет, на боках и брюхе у них появляются многочисленные красные и желтые пятна, плавники темнеют, а у самцов вдобавок на кончике нижней челюсти вырастает хрящеватый отросток (крюк).

— Лошания? — еле выговорила Красавка.— А это еще что такое?

— Ты еще маленькая. И тебе рано об этом знать.

Какие противные взрослые! Никогда не ответят прямо. Впрочем, с некоторых пор семга вообще стала замкнутой и молчаливой. Ее теперь все больше тянуло на лежку, бросало в дрему, и плясала она редко и неохотно.

— Вам невесело со мной, да? Или я что-нибудь не так сделала? — с горечью допытывалась Красавка.

Семга обычно отмалчивалась, но однажды она вдруг рассердилась:

— Отстань! Надоела ты мне со своими расспросами.

Как знать, может быть, на этом и кончилась бы ее дружба с семгой — насилу мил не будешь, но тут неожиданно свалилась беда, которая круто перевернула всю рыбью жизнь.

На реке появились люди — самые опасные враги, как сказали о них рыбы. Они, эти люди, походили на деревья, что росли возле речки. Но только деревья эти двигались, издавали страшный шум и грохот. Они толкли воду длинными кольями, распускали коварную паутину по реке.

Рыбы как оглашенные носились по взбаламученному плесу.

Вечером, когда все затихло, Красавка отправилась разыскивать свою родственницу. Боже, что творилось на плесе! Не плещутся больше веселые хариусы в порогах за серым валуном, на стоянке у жирных ельцов пусто. Пусто и в доме приветливых сигов.

Семгу, великую семгу, Красавка нашла в невероятном месте — в темной яме у берега под обомшелой корягой!

— Они ушли? — спросила семга.

— Да, их нету.

— Но они придут, придут,— сказала с мрачной убежденностью семга.— Они не оставят меня в покое.

И точно, в последующие дни опять приходили люди и опять гремели кольями, опутывали плес своей паутиной.

Семга теперь по целым дням не выходила из своего укрытия.

Ерши злорадствовали при встрече с Красавкой:

— Ну что твоя тетка? Струсила? А нам хоть бы что! Нам сам черт нипочем.

Обнаглели щуки, пользуясь безнаказанностью.

Красавка умоляла семгу:

— Уходите, уходите. Мне очень, очень скучно будет без вас. Но вам нельзя здесь оставаться. Вас могут поймать.

— Нет, мне нельзя уйти отсюда,— отвечала семга.— Ты еще маленькая и ничего не понимаешь.

Дни потекли серые и однообразные. Дожди. Ненастье. Мутные, затяжные рассветы по утрам. Красавка «сбилась с ног»: ей надо было и добывать для себя еду, и остерегаться речных хищников, и навещать семгу.

И вот случилось так, что однажды пришла Красавка к убежищу семги и там ее не оказалось.

День и два бегала Красавка по плесу, искала свою родственницу. Шел дождь. Качались валы. Рыбы сиротливо жались к корягам и камням. И никто из них не знал, куда девалась семга.

В конце концов Красавка отыскала ее на приплаве у нижнего порога. И все тут было точь-в-точь как в прошлом году: в дресвяной яме, тяжко ворочаясь, лежала семга, над ней, самозабвенно извиваясь, колдовал розовый крюк, распуская белый шлейф, а внизу, в пороге, с разинутыми пастями толклись налимы, юркие хариусы, пестрятки.

— Ах, как я рада, что снова вижу вас! — сказала Красавка, подплывая к семге.— А я так волновалась, так волновалась. Почему вы ушли, ничего не сказав мне?

Семга молчала. Красавка из деликатности отошла в сторонку. А потом, когда семга вылезла из ямы и стала зарывать ее дресвой, она снова подплыла к ней:

— Вы сейчас в море? Возьмите меня с собой.

— Тебе еще рано. У тебя не хватит сил. О, это далекий-далекий путь. И я сама боюсь его.

— Ну так оставайтесь здесь. Я бы все-все стала делать для вас.

— Не говори глупостей. Я задохлась бы в этой речонке.

Развернувшись, семга устало сказала: «Прощай» —

и, подхваченная стремниной, стукаясь головой и телом о камни, покатилась в порог.

Глухая тоска сдавила сердце Красавки. Она смотрела туда, в пенистую горловину порога, в котором только что исчезла семга, и с ужасом думала о том, что ее ждет впереди. Духота, темень, вечный страх перед щукой и налимом... А там где-то море, простор. И солнце, много солнца.

Нет, она не может больше оставаться в реке. Будь что будет!

Красавка напружинила мускулы и очертя голову кинулась в клокочущую пасть буруна.

3

Шумные, рокочущие пороги, широченные плесы, бездонные ямы... И нет им ни конца, ни края.

Старая семга, израненная, изможденная, с растрепанными, измочаленными плавниками, казалось, совсем обессилела. В бурных порогах ее вертело, как щепу, било о камни. Но она все плыла и плыла...

Самое трудное для Красавки было добывать еду. Впрочем, пока они плыли маленькой речкой, она еще кое-как справлялась с этим: там схватит букашку, тут подцепит какого-нибудь червяка.

Но вот они вошли в большую реку, и Красавка приуныла. Голод терзал ее. Правда, она ухитрялась иногда свернуть на отмель и схватить какого-нибудь жучка. Но разве это еда?

Однажды, когда они шли угрюмым, глубоким плесом, старая семга вдруг обернулась:

— Идешь все-таки?

Красавка смутилась — она ведь думала, что старая семга до сих пор не заметила ее.

— Ты храбрая девочка,— сказала семга.— Но я советую тебе вернуться домой. Скоро начнется новая река, и там ты совсем не найдешь еды. Вернись. Ты еще успеешь добраться домой до наступления большой духоты.

Красавка, пригорюнившись, молчала.

— Слушай же ты, глупая! — повысила голос старая семга.— Знаешь ли ты, сколько нас гибнет на этом великом пути? Твое время еще не пришло. Семужья молодь скатывается в море весной. Поняла?

Слова старой семги совсем пришибли Красавку. Она-то теперь понимала, как безрассудно поступила, отправившись в это путешествие. Но что ей делать?

Скоро они вошли в новую реку. Боже, какая черная вода! Темень, глубь. И хоть бы одна отмель на пути. От постоянного недоедания у нее кружилась голова, плавнички стали вялыми и непослушными. Она плакала, завидовала старой семге, которая так долго может не есть.

Как-то раз, когда ей совсем стало невмоготу, она не выдержала, взмолилась:

— Остановитесь же немножко. Я не могу больше без еды. Постойте здесь, я сплаваю к берегу.

— Мне нельзя останавливаться,— прохрипела старая семга.— Я хочу есть. Я вся высохла. От меня остались одни кожа да кости.

— Так давайте поплывем вместе к берегу.

— Ты забыла, что я не могу есть в пресной воде. Для меня здесь нет пищи.

— Ну можете же вы минутку обождать? — И Красавка, полагаясь на доброту старой семги, поплыла к берегу.

У берега был лед. Но ей все-таки удалось разыскать несколько червяков. Повеселевшая, воспрянувшая духом, она поспешила назад. Семги на старом месте не оказалось. Красавка кричала, бегала вокруг, потом, сообразив, что семга могла уйти вперед, кинулась догонять ее. Она плыла-плыла, долго плыла, а семги все не было. Ужас и отчаяние охватили ее. Что же с ней будет теперь?

На ее счастье, в это время показалось несколько семог, плывущих одна за другой сверху. Красавка несказанно обрадовалась:

— Вы куда? Не в море?

— Да, мы идем в море.

— Вот хорошо-то! Мне тоже в море.

— Тебе в море? — устало рассмеялись семги.— Да как ты вообще попала сюда?

— О, я издалека. Сначала мы со старой семгой плыли маленькой речкой, потом большой, а потом заплыли в эту...

— А-а,— семги переглянулись,— она, верно, из того рода, что каждое лето уходит в верховье Юлы.

— Да, я слыхала, наша речка впадает в Юлу.

А вы откуда? — Красавка рада была отвести душу с этими разговорчивыми и еще довольно сильными рыбами.

— Мы? Мы не такие глупые, как в вашем роду. У нас дом ближе. И мы меньше устаем. Но все-таки,— снова спросили семги,— как ты оказалась здесь? Это неслыханно! Ты еще совсем глупая девчонка!

— Да, наверно, глупая,— с печалью в голосе согласилась Красавка.— Так мне и старая семга говорила.

— И она глупая. Еще глупее тебя. Разве можно было брать с собой сопливую девчонку? Посмотри, ты ведь даже из детского платьишка не вылезла. А тоже в море собралась...

Что ж, пускай смеются. Только бы не гнали ее. И снова путь. И снова голод. Снова бесконечная угрюмая река — без берегов, без дна...

Наконец однажды на рассвете семужья стая вышла на песчаную отмель. Впереди что-то грохотало, ухало. Мутно-зеленая вода, накатывавшаяся волнами, отдавала соленой горечью.

Красавка, прислушиваясь к грохоту, робко спросила:

— Что это такое?

— Это море, глупая. Море! Как хорошо!

Семги лежали на песчаной отмели, как на перине, страшно усталые, изможденные, тихо покачиваясь на зыбкой волне. Зубастые пасти их были широко раскрыты, и они с наслаждением вбирали в себя соленую, горьковатую воду, от которой у Красавки кружилась голова.

— Что, мутит? — спросила ее ближняя семга.— Это морская болезнь. Но она скоро пройдет. Тебе повезло, малютка. Ты первая в этом возрасте достигла моря.

Семги еще полежали немного и вдруг с неожиданной силой взмахнули хвостами. Красавка кинулась вслед за ними, но внезапно налетевшая волна отбросила ее назад.

— Постойте, постойте! — закричала она.— Подождите меня.

— Не робей, детка! — донесся поощряющий голос из глубины.— Тебе только перескочить вал, а здесь тихо, спокойно.

Море бурлило, ревело, выворачивало со дна песок. И долго еще, как щепку, кидало Красавку из стороны

в сторону, пока она наконец не достигла глубины, где стояли семги.

Темно, мрачно. Наверху качаются громадные белые льдины...

И это море, море, о котором она так мечтала! Нет, не таким она представляла себе море. Оно казалось ей большой светлой рекой, вечно залитой солнцем. Или ей наврали про солнце, которое уносят из реки семги? Где оно, это солнце? Она ни разу не видела его за всю дорогу.

Но еще больше разочаровали ее сами семги. Когда сбоку в зеленой толще воды показалась стайка серебристых рыбок, похожих на уклеек, семги с криком «Сельдь, сельдь!» набросились на них. Началась дикая отвратительная бойня. Трепещущие рыбки одна за другой стали исчезать в зубастых пастях.

Красавка с ужасом смотрела на это пиршество. Так вот зачем они ходят в море!

Когда было покончено с сельдью, семги, отрыгивая, с довольным видом поглядывая друг на дружку, сказали:

— Ну, кончился наш великий пост. Теперь-то мы поедим вдоволь.

— А ты чего глаза таращила? Не проголодалась? — кивнула Красавке одна семга.

— Но я ем только червяков и рачков.

— Э-э, нет,— сказала семга,— червяки и рачки — это не семужья еда...

— Но я не понимаю, как можно глотать живых рыб. Ведь им же больно.

Семги расхохотались:

— Запомни, детка. Море — это вот что: либо ты съешь, либо тебя съедят. И с червяком в брюхе не много нагуляешь по морю. Море любит сильных.

— И еще запомни,— сказала другая семга: — Держись подальше от нас. Мы ведь не всегда разбираем, кто попадает нам на зубы. Поняла?

И семги, дугой выгибая хвосты, лихо побежали вперед.

4

Ушли... Одна в целом море... Что же будет теперь с нею? Бежать, догонять их? Но она вспомнила предупреждение семги, и сердце у нее сжалось от

страха. Все — враги. Даже на семог нельзя положиться...

По сторонам мелькали какие-то загадочные, пугающие тени, внизу — черная непроглядная пучина. Голод выворачивал ей внутренности.

Она поплыла к берегу. Там есть дно — и должна же она найти хоть какого-нибудь червяка.

Но в тот день ей не суждено было раздобыть еды. Едва она начала различать иловато-песчаную желтую россыпь дна, как оттуда стремительно вынырнула большая красноперая рыба. Красавка из последних сил кинулась в сторону...

И скоро все стало так, как было в реке. Она лежит у большого валуна, прижимаясь своим вздрагивающим тельцем к песку. Голодная, одинокая. Так зачем же она пошла в это море?

Ночь была длинная, темная. Вокруг ползали какие-то красные и голубые огоньки. Камень вздрагивал от ударов льдин, ворочался. В черные прогалины воды заглядывали далекие, но такие колючие звезды. И всю ночь, не смея отойти от камня, «не смыкала глаз» голодная Красавка.

К утру камень оброс льдом. Сквозь него начал слабо пробиваться розовый рассвет. Потом постепенно выжелтилось песчаное дно, голое, неуютное. Где же червяки? Где рачки? Неужели ей помирать голодной смертью?

Вдруг она увидела, как неподалеку от нее зашевелился крохотный песчаный холмик. Из холмика проклюнулся сначала остренький носик, а затем, извиваясь, выскользнула узенькая полосатая рыбка. Это была песчанка, которая на ночь зарывается в песок. Красавка, не помня себя, бросилась на рыбку... А потом она заглатывала эту рыбку и плакала. Плакала оттого, что она оказалась такой же хищницей, как все остальные семги.

Но теперь она знала, что не умрет.

5

Ранней весной у берегов Северной Норвегии скопляются громадные косяки сельди. Тут ее нерестилища. Бухты и отмели, забитые сельдью, похожи на гигантские котлы. Воздух рвется, раскалывается от крика ненасыт-

ных чаек. Трещат лебедки рыбачьих траулеров. А со стороны моря на беззащитную сельдь вихрем обрушивается семга.

В одной из таких бухт жировала и наша Красавка. Но кто бы теперь узнал ее! Прошло всего полтора года, а маленькая пестрая рыбка, едва достигавшая размеров среднего пескаря, превратилась в полуметровую рыбину со сверкающей серебряной чешуей. Правда, по сравнению с другими семгами она все еще была недоростком, но зато выносливости и проворности ее могла позавидовать любая старая семга.

Она не знала расслабляющей усталости. Ее не страшили ни бури, ни штормы. Она могла целыми днями гнаться за крылатыми тенями, скользящими по поверхности воды, потому что чайки — главные поводыри семги в море. И они рано или поздно наведут ее на новый косяк сельди.

И еще одно отличало Красавку — необыкновенная прожорливость. Соленая вода вызывала у нее бешеный аппетит, а кроме того, у Красавки были еще другие причины «нажимать» на еду. «Море любит сильных!» О, она хорошо запомнила этот урок.

У нее не было времени, чтобы месяцами приспосабливаться к новым условиям, как это делает семужья молодь, скатывающаяся в море весной. Она должна была пройти этот курс в спешном порядке. Да еще глубокой осенью. И она прошла его.

Почти месяц Красавка провела у берегов Северной Двины. И весь этот месяц она беспрерывно ела и ела. Скорее вырасти! Скорее стать такой же сильной, как семги!

И вот настал день, когда она почувствовала себя достаточно окрепшей, чтобы присоединиться к последней семужьей стае, уходящей в открытое море.

У нее дух захватывало от новизны. Необыкновенные подводные луга из красных и бурых водорослей, новые неведомые рыбы, медузы, гигантские чудища — акулы, тюлени, которые, подобно бревнам, выскакивают из черной морской пучины...

Много врагов в море. Каждую секунду будь начеку. Но какой простор! Какая ошеломляющая ширь и свобода!

Сотни, тысячи километров проходит беломорская семга, чтобы попасть к берегам Норвежья — своим извечным

морским пастбищам. И тут начинается для нее настоящий праздник — сплошное непрерывное пиршество.

Красавка с быстротой молнии налетала на беззащитную рыбу. Еще плывут где-то сзади старые семги, прицеливаясь к своим жертвам, а она уже яростно вонзает свои молодые зубы в добычу. Хруст рвущейся рыбы — и она снова летит вперед. Нельзя задерживаться! Старые семги не будут разбирать, кто ты — их родственница или селедка.

Шли недели и месяцы. Над буйным Баренцем встало немеркнущее солнце. Начиналось любимое рыбами время года. Но что это происходит с семгами? Они всё медленнее и медленнее продвигаются вперед, часто принюхиваются к воде, наконец однажды семги собрались в стаю и повернули назад.

Красавка немало была удивлена этим.

— Послушайте,— сказала она, догнав хвостовую семгу,— почему вы повернули обратно? Разве вам мало здесь пищи?

— Как? Ты забыла, что мы в эту пору возвращаемся на родину?

— На родину? Это что? Новое море?

Семга удивленно выпучила глаза, затем громко расхохоталась, так что остановились другие семьги.

— Нет, вы слышите? Она не знает, что такое родина. Она называет родину морем.

Семги окружили со всех сторон Красавку и с возмущением заговорили:

— Какой позор! Какой стыд! Она забыла родину.

— И тебя не тянет, несчастная, домой?

— Ты забыла, откуда пришла в море?

Красавка искренне пыталась припомнить, что такое родина, откуда она пришла в море, но в памяти ее смутно всплывала какая-то духота, тяжкий и мучительный путь.

— Ты самая несчастная из всех семог,— устрашающе заговорила самая большая семга.— Ты забыла родину, ты забыла великий закон наших предков.

— Простите, пожалуйста,— сказала Красавка.— Но почему вы так враждебно разговариваете со мной? Может быть, я виновата. Но я действительно плохо помню то, что вы называете родиной,— ведь я совсем маленькой пришла в море, и я совершенно не слыхала о великом законе предков.

— Нет, это бог знает что! — с негодованием воскликнула одна семга.— Какая молодежь пошла нынче! Она не слыхала про великий закон предков! А про что же ты слыхала?

Красавка вспылила:

— Вы бы лучше объяснили мне, чем орать. Что же в том плохого — ведь я честно признаю, что не слыхала про великий закон предков. Не хотите же вы, чтобы я лгала?

Нашлась, однако, одна рассудительная семга, которая заговорила с ней спокойно и деловито:

— Так ты говоришь, не слыхала про великий закон предков? Но разве ты уже не исполняла его? Разве ты еще не возвращалась на родину?

— Нет, я приплыла в море откуда-то совсем маленькой.

— Это поразительно,— заговорили семги, переглядываясь друг с дружкой.— Ей надо объяснить великий закон наших предков.

— Ну, так слушай же,— торжественно начала рассудительная семга,— и постарайся запомнить навсегда.

Давно, давно это было. Наши предки тогда постоянно жили в реках и мало чем отличались от других рыб, тем более от таких, как наши родственники сиги и хариусы. Как сиги и хариусы, они довольствовались лишь тем, что ходили от устья до вершины реки и собирали пищу. Пищи было мало. Наши предки часто голодали, росли хилыми и вялыми, и мясо у них было белое, как у других речных рыб. А потом наступала зима, и им совсем становилось худо. Они задыхались под ледяным панцирем, гибли. Их притесняли щуки, налимы... И так было до тех пор, пока в семужьем племени не родился один юноша, по имени Лох. Это был необыкновенный юноша. Сама природа отметила его. На нижней челюсти у него вырос крюк — потому-то с тех пор всех мужчин в нашем роду зовут еще крюками. О смелости Лоха слагали легенды. Он не кланялся ни налиму, ни окуню и даже злой щуке не уступал дороги.

И вот однажды, когда стало приближаться время большой духоты, Лох начал подбивать самых молодых и отважных:

«Нам нельзя больше жить по-старому. Наш род вы-

мирает, гибнет от злых щук, гибнет от тесноты и духоты. Пойдемте искать новые вóды».

Услыхали эти слова старики и призвали Лоха к ответу. Много было споров на том сборище, дело не раз доходило до драки. Но в конце концов умные старики рассудили.

«Что ж,— сказали они Лоху,— в твоих словах много правды. Наш род действительно хиреет с каждым годом. Бери самых сильных и иди — ищи новые реки. Но прежде чем отправиться в поход, ты должен поклясться, Лох: ты не забудешь родину отцов — ты будешь носить ее в своем сердце. И ты вернешься домой. Иначе тебе не будет удачи».

Лох со своими смельчаками дал клятву и ушел.

Долго Лох и его товарищи не подавали о себе вестей. И все думали, что они погибли. Над семгами смеялись налимы и окуни, а злые щуки совсем обнаглели, в любое время нападали на семужьи стаи. Но вот однажды, когда миновало время большой духоты и в реку вернулось солнце, в нашей реке появились необыкновенные рыбы. Их было немного — всего несколько, но зато какие это были рыбы! Большие, сильные! И тело их было словно отлито из серебра. Они шли серединой реки, и тогда все разбегались по сторонам, а когда они начинали резвиться, подпрыгивать кверху, даже щуки замирали от страха.

Наши предки, убоявшись их, кинулись бежать вместе с другими рыбами. И вдруг громовой голос прокатился по реке:

«Куда же вы бежите от нас? Ведь мы же ваши сыновья и братья. Разве вы забыли своего Лоха?»

Да, это был Лох, наш великий Лох... Он говорил на нашем семужьем языке. И тогда наши предки повернули навстречу этим молодцам. И была радость великая и ликование в семужьем племени.

«Где ты пропадал, Лох? Откуда явился? Как ты стал таким великаном, в то время как мы едва не умерли от духоты?»

И Лох рассказывал, рассказывал, какой путь он проделал со своими товарищами, как много их погибло на этом пути, а потом он стал петь гимны морю, морю, где рождаются богатыри. Там необыкновенные просторы, говорил Лох, там много еды, так много, что он, Лох, и его товарищи могут ничего не есть все лето. Подойдите ко

мне поближе, говорил Лох, потрогайте мои мускулы, мой хвост. И это все мне дало море. Я на всю жизнь просолел морской солью, и мясо у меня стало красное, как закат.

И тогда наши предки, воспламененные его речами, воскликнули:

«Веди нас в море, Лох! Мы хотим стать такими же крепкими и могучими, как ты и твои товарищи».

«Хорошо,— сказал Лох,— я отведу вас в море. Но отведу не раньше, чем настанет время большой духоты. А пока я хочу насладиться вдоволь пресной водой, порезвиться в родной реке, ибо только мысль о ней давала нам силы в борьбе с морской стихией».

— С тех пор,— заключила семга,— мы и стали жить по закону великого Лоха. Когда наступает время большой духоты, мы идем в море, а когда оно проходит, мы возвращаемся на родину предков.

Красавка слушала как зачарованная. Так вот какой тайной окружен ее род! Так вот зачем семги ходят в море! А она-то, глупая, думала только о жратве, о своих собственных удовольствиях. И ей стало нестерпимо стыдно за свою мелочную, эгоистичную жизнь.

— Скажите,— спросила она,— а что же сталось с великим Лохом?

— Великому Лоху за его подвиг природа даровала бессмертие.

— И он жив сейчас? — воскликнула Красавка.

— Да, он живет среди нас.

— Боже мой! — совершенно забывшись, опять воскликнула Красавка.— И я увижу великого Лоха?!

— Нет,— сказала семга.— Ты никогда не увидишь его. В твоем сердце не живет закон великого Лоха. Ты забыла родину. А великий Лох выбирает себе в подруги только ту из нас...

— Вот как,— перебила Красавка,— с великим Лохом можно даже дружить! Ах, как бы мне хотелось стать его подругой!

— Нет,— сказала семга.— Ты никогда не станешь его подругой. Он выбирает из нас самую достойную и самую смелую, ту, что превыше всего чтит его закон.

Красавка, опечаленная, задумалась. Как жаль, что она никогда не увидит великого Лоха, не станет его подругой! Но разве она не смелая? Разве старые семги не говорили ей когда-то, что еще не было в их роду такой

безрассудной девчонки, которая бы рискнула в ее возрасте отправиться в море?

Красавка сразу повеселела. Ей хотелось спросить, где и когда великий Лох выбирает себе подругу,— должна же она попытать своего счастья — но стая семог, словно забыв про нее, была уже далеко.

Красавка кинулась догонять их. Да, она выполнит закон великого Лоха. Она пойдет в родную реку, и, может быть, однажды великий Лох, прослышав о ней, сам придет к ней.

Долго шли семги бурным морем. Шли мимо каменных гряд, шли бездонными глубинами, шли песчаными отмелями.

Красавка часто вырывалась вперед. Как знать, может быть, откуда-нибудь со стороны на них смотрит сам великий Лох, и она должна быть на виду.

Как-то раз у песчаной косы они наткнулись на большой косяк крупных семог. У Красавки сладко забилось сердце. Ей подумалось, что, наверно, это и есть то место, куда со всего моря стекаются семги и где им устраивает смотр великий Лох. Но семга, к которой она обратилась за разъяснением, презрительно скривила губы:

— Это морянки. Их не уважает великий Лох.

— Почему?

— Потому что они плохо соблюдают его закон. Они начинают свой ход в родные реки только осенью и осенью же скатываются в море.

Красавка решительно отвернулась от этих негодниц. Она ничего общего не желает иметь с ними, раз они наполовину изменили великому Лоху. Она легко бежала вперед и первой бросалась навстречу грохочущей волне: великий Лох любит смелых!

Потом был незабываемый момент, когда она вкусила пресной воды. Старые семги, расслабленно покачиваясь на мелкой волне, не стесняясь, плакали.

— Здравствуй, родина,— тихо и молитвенно шептали они.

— Я чую запах своей реки,— раздался радостный возглас.

— И я! И я!..— закричали семги.

У Красавки трепетало сердце от счастья. Ей тоже казалось, что в рот ее бьет какая-то томительная, волнующая струйка воды. И тут случилось невероятное: в памя-

ти ее начала оживать далекая-далекая речка с певучими порогами.

«О, как хорошо, как хорошо!» — шептала про себя Красавка. Нет, нет, неправы те, кто говорил, что в ее сердце не живет закон великого Лоха. Он живет. Она знает теперь путь на родину своих предков. Тоненькая струйка родной воды, как нитка, поведет ее вперед.

Путь был нелегок. Бешеное течение, ледяные заторы, какая-то преграда из бревен во всю реку. Но что ей теперь эти трудности, эти препятствия, если жизнь ее наполнена великим смыслом!

— Вот мы и дома,— сказали однажды семги, останавливаясь на широком плесе.— Слышите, как приветствует нас родная река?

Издали доносился глухой шум воды.

— Это гремят наши пороги,— пояснила одна из рыб, с которой часто плыла рядом Красавка.— Ах, какие у нас пороги! А вода — чистая, ключевая. Пойдем с нами,— вдруг предложила она Красавке.— Ты хорошая товарка. Мы славно повеселимся в нашей реке. Мы тебя научим нашим танцам. А какие у нас молодцы лохи!

— Нет, нет,— сказала Красавка.— Я должна идти в свою реку. Разве ты не знаешь закон великого Лоха?

Немного спустя от семужьего косяка отделилась еще одна семья, затем отделилась другая и третья, а Красавка с поредевшей стаей все продолжала двигаться вперед. Плохо, конечно, что у нее так далеко родина, но родину не выбирают.

Их было всего лишь несколько рыб, когда однажды на утренней заре они вошли в родную реку. Но боже, как они радовались, вступая в нее! В горловине устья звонко журчала вода, прыгая с камня на камень. Наверху ходили туманы, и молодое, розовое солнце с любопытством подглядывало за большими серебряными рыбами, плескавшимися в пороге.

— Вот это водичка,— говорили семги, блаженно замирая под щекочущей струей.— Такой реки, как наша, на целом свете не сыскать.

Омывши дорожную грязь, они вышли на ближайший плес и начали свою первую пляску в реке — так приветствовали родину еще их предки, возвращаясь домой из далекого странствия.

Красавка, по общему признанию, прыгала выше всех. И ей очень приятна была похвала опытных подруг.

Затем наступило ни с чем не сравнимое путешествие по родной реке. Целыми днями искрится галька и песок, поют пороги. И тишина, ласковая тишина малиновых зорь... Мечется в панике речная мелочь. Ельцы, ершишки, хариусы — все разбегаются по сторонам. Глупые! Ну чего же вам-то бояться? А вот злодеек-щук — тех следовало бы проучить. Хватит, поразбойничали на своем веку. Но где они? Неужели те колючие огоньки, время от времени зло вспыхивающие в зеленой прибрежной осоке,— их глаза? Ага, струсили, проклятые!

Постепенно вода в речке начала падать. Семги одна за другой стали вставать на плесы — места, где они выросли. И каждая из них предлагала Красавке свой дом, но Красавка наотрез отказывалась. Разве можно нарушать закон великого Лоха? Нет, нет, она пойдет в свой плес.

И вот, оставшись одна, она еще долго плыла вверх по речке. Порой ее охватывало отчаяние. Речка от порога к порогу становилась все у́же и мельче. Ей часто приходилось прыгать через кипящие буруны, со всего маху падать на острые камни, и когда она наконец вошла в свой плес, то не знала радоваться ей или плакать. Такое вокруг все было маленькое, невзрачное. Сонный плес по краям зарос лопухом. Пороги — как она боялась их в детстве! — шепелявили, как беззубые старики. А ее быстринка, светлая быстринка, на которой она провела столько радостных и тревожных дней! Вялая, жиденькая струйка воды, сиротливо жмущаяся к серому валуну. Какая-то пестрая рыбка, завидев ее, с испугом юркнула в водоросли. Неужели и она когда-то была такой же крохотулей?

Да, ни одна рыба не вышла ей навстречу. Море навсегда отделило ее от речных обитателей. Она здесь гостья, недолгая гостья.

И все-таки она сейчас была рада, что снова у себя на родине. Семги живут по закону великого Лоха — и она исполнит его.

6

Лето стояло жаркое, знойное. Белые ночи, короткие и легкие, как вздох, не освежали воды, проросшей зеленой тиной. Дышать было трудно. Вдобавок Красавку точил морской клоп, и она не могла смыть его в обмелевших порогах.

Тем не менее она мужественно переносила все испытания. По утрам она плясала, кидалась на щук, если те осмеливались выйти на плес. Пусть дохнут с голоду в своей поганой траве. Ведь защита слабых — это тоже исполнение закона великого Лоха. Он, великий Лох, не может быть несправедливым...

...Помутнели, погасли белые ночи. Над рекой заклубились густые туманы. Потом разразился дружный и благостный ливень. Река моментально вздулась. Зарокотали пороги. Это хорошо. Это река расчищает путь великому Лоху.

Красавка во сне и наяву грезила о нем. В черные осенние ночи она почти не спала. Вот сверху падает звезда, и ей уже чудится, что это сам великий Лох в звездном сиянии идет к ней. А что там за шум на пороге?

Плывут, кружатся листья по реке. Вот и солнце уже редко стало заглядывать на плес. А Лоха все нет и нет...

Как-то рано утром на плес заявился темно-розоватый запыхавшийся крючок.

— Пойдем на коп. Я уже который день ищу себе подругу.

— С тобой на коп? — Красавка едва не рассмеялась, так смешон и самонадеян был этот маленький нахал.— А что я там не видела?

— Как? Неужели тебя не тянет на коп? Все семги гуляют в это время на копах.

— Мне нечего там делать. Я жду великого Лоха.

— Великий Лох, великий Лох... — обиделся крючок.— Подумаешь, зафорсила. Я тоже когда-нибудь вырасту большой.

Бедный карапуз! Он даже не понимает, о каком Лохе идет речь.

В следующие дни еще приходили крюки — маленькие, уродливые заморыши с длинными костлявыми головами. И все они звали, умоляли ее пойти с ними на коп.

— О, какая ты бессердечная! — в один голос стонали они.— Зачем ты мучаешь нас?

Нет, она не хотела мучить их. Но что ей поделать с собой, если ее не тянет на коп? И потом, разве затем она пришла сюда, чтобы поиграть с этими молокососами на дресве?

Сыплет белой крупой сверху. По утрам ледяная корка вырастает у берегов. А великий Лох все еще не подает вестей о себе. Может быть, он забыл о ней? А может, она слишком самонадеянна? Кто сказал, что именно к ней, а не к другой семге придет царственный Лох?

Однажды, лежа на дне плеса и прислушиваясь к речным звукам, она вдруг почувствовала странное, незнакомое томление во всем теле. Ее неудержимо потянуло на дресву, на мелкий рассыпчатый галечник.

Она взмолилась:

— О великий Лох! Я старалась жить по твоему закону. Я долго ждала тебя. Почему же ты не идешь?

Немо и пусто вокруг. Ни звука не услышала она в ответ. «А может быть, я провинилась в чем-нибудь? — пришло ей вдруг в голову.— Может, я прогневила великого Лоха тем, что отказалась пойти на коп с его сыновьями? И он наказывает меня за гордыню? Но где, где они, эти крюки? Куда подевались?»

Она бегала взад и вперед по плесу, спускалась за пороги. Крюков не было.

Наконец, совершенно измученная, вся охваченная нестерпимым желанием, она приткнулась к дресве на приплаве у порога.

Была кромешная ночь. Плыли, сшибаясь в темноте друг с дружкой, мохнатые льдины. Хрустела дресва, скатываясь в порог.

Красавка рыла коп. Рыла неистово, безрассудно, повинуясь всесильному инстинкту продолжения рода. А потом, когда яма была готова, она обессиленно свалилась в нее и снова — в который раз! — зашептала горячо и призывно:

— О великий Лох! За что ты караешь меня? Ну пусть я недостойна тебя. Пускай забыл ты обо мне. Но ведь у тебя много сыновей. И что тебе стоит прислать одного из них. Ну хоть самого-самого захудалого крючка...

И только произнесла она эти слова, как в горловине порога послышался звон и грохот, а затем все вокруг задрожало от яркого, ослепительного света, точно само солнце заполыхало в ночи.

Ничего подобного не видела она в своей жизни. Это Лох, сам великий Лох идет к ней. Кто же еще может ходить в таком громе и лучезарном сиянии? Вот оно, счастье, вот награда за все страдания и муки, которые она претерпела в реке.

Сладостная истома волнами заливала ее тело. Она лежала на своем ложе притихшая, завороженная необыкновенным, сказочным сиянием, и ждала...

Удар был меток и беспощаден. Стальные зубья остроги попали ей в затылок. Она еще билась, хлестала хвостом, когда ее втащили в лодку...

— Семга! — ошалело и радостно закричал с кормы молодой здоровый парень, который шестом удерживал лодку.

— Тише ты, сука! — прохрипел бородатый мужик, с испугом озираясь по сторонам.— По казенным харчам заскучал... Живо к берегу!

Лодка качалась. Пламя козы — железной решетки с горящим смольем, укрепленной на носу,— шарахалось из стороны в сторону. В черное небо летели искры...

Вот и вся невыдуманная история одной семужьей жизни.

1962

рассказы

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА

1

Ну, слава богу, он дома... Матвей Лысцев кое-как высвободил ноги из оледенелых, поскрипывающих на морозе ремней, поставил к стене лыжи и медленно, с передышкой, опираясь руками на перила, поднялся на крыльцо.

Ворота из сеней ему открыла Марья — под стать мужу, такая же крупная и широкая в кости.

— Пришел, горе мое. Зачем же вот было ходить?

Матвей молча прошел в избу. Идол — черный, с желтыми кустистыми надглазницами пес, развалившийся посреди избы, поднял было голову и снова опустил.

Марья приняла от мужа ружье, обила голиком низкие валенки с суконными голяшками, натянутыми до пахов, помогла снять промерзший ватник. Она не спрашивала, как прошел день. Ей достаточно было взглянуть на его лицо — темное, угрюмое, с редкими, словно картечины, отсвечивающими оспинами.

— Давно он пришел? — кивнул Матвей на пса.

Марья посмотрела на стенные ходики.

— Да уж боле часу — я баню закрывала.

Что ж, пес не виноват. Какая же собака будет мерзнуть весь день в лесу, ежели хозяин, как улита, ползет по лыжне!

Матвей тяжело опустился на прилавок возле печи, вытянул длинные и прямые ноги, мохнатые от инея. Ноги ныли и гудели, как провода на погоду.

Что делать с этими ногами? Давно ли он еще целыми днями без устали гонялся за зверем, а теперь чуть пройдет на лыжах — и хоть посреди леса ложись: бастуют окаянные! А вечером, когда начнет разуваться, страшно взглянуть: распухли, жилы нарвало, как у беременной бабы. И вот уже два года он не выходит на свою охотничью тропу. Пустуют где-то по ручьям и лесам занесенные снегом избушки, срубленные его руками, ржавеют капканы и волчьи петли, а он в ожидании, когда окрепнут ноги, бродит с ружьишком по мелколесью да по старым вырубкам. Бесполезно, по привычке бродит, можно сказать, тешит себя, как малый ребенок, потому что какой же зверь вокруг деревни?

Осенью прошлого года райзаготконтора премировала его мотоциклом.

«Давай-ко механизируйся,— сказал завконторой Сысоев.— А то срам — скоро в космос полетим, а в нашем деле все ни тпру ни ну».

Матвей без радости принял нарядную, сверкающую черным лаком машину. За что же его награждать? За то, что за год семь куничек да две лиски добыл? Правда, было время — гремел Лысцев, на всю область гремел. По четыре-пять медведей в сезон убивал. А волки? «Матвей,— накажут, бывало, люди,— на Пюлу волк вышел». А Пюла, где она, эта Пюла? На краю света. На лошади скакать — и то пять дней надо. И Матвей на лыжи и напрямик — через суземы, через болото. Передохнет, обсушится у костра и снова мнет снег, пробирается сквозь чащобу ельника, ныряет в котловины ручьев и речушек... Нет, никакая машина не заменит охотнику ноги. Да и легче, пожалуй, на Луну слетать, чем придумать такой вездеход, чтобы по нашим суземам колесить...

— Исть будешь или в баню сперва? — спросила Марья.

— Погоди, надо еще разуться.

Ноги в тепле немного успокоились,— на полу натаяли лужи. Мокрые суконные голяшки, перехваченные ремешками под коленкой, искрились мелкими льдинками. Матвей положил руки — большие, обветренные руки рабочего человека — на колени и начал легонько растирать их, словно задабривая.

Марья покачала головой:

— И зачем же вот каждый день бродить? Ведь уж раз ног нету, какой из тебя охотник!

— Опять за свое? — Матвей исподлобья взглянул на жену.

— Да как? Самим исть-пить надо, и Саньке который месяц не посылаем. Стипендия-то у девки невелика.

Матвей поморщился. Да, Саньке, старшей дочери, своей любимке (она учится в техникуме в Архангельске), он за три месяца не послал ни копейки. Но где у него деньги? Выпил ли он хоть раз за этот месяц?

— Матюша,— вдруг ласково заговорила Марья и дотронулась рукой до его круглой, коротко остриженной головы,— а может, мотоцикл-то продать? Вот бы и заткнули дыры. Спрашивал у меня опять кладовщик. Хорошие, говорит, деньги дам.

— Скажи ему, что премиями Матвей Лысцев не торгует.

— Матвей Лысцев, Матвей Лысцев! — неожиданно взорвалась Марья.— Форсу-то сколько! Ну, пусть Санюшка с голоду мрет. Отец премиями не торгует, «сторожем на скотный двор не хочу»...

— Да ты что, рехнулась? В сорок-то лет хвосты коровьи сторожить!

— А ты на что надеешься? — У Марьи угрожающе выпятился живот, она ходила на сносях.— С твоей-то грамотой не больно разойдешься. В контору не сядешь...

Матвей судорожно, до хруста сжал пальцы.

— Венька где? — спросил он немного погодя усталым и примирительным голосом.

— Я ему про Фому, а он про Ерему!

Марья, тяжело шлепая валеными опорками, заковыляла к занавеске. Поравнявшись с Идолом, она на ходу ткнула его ногой в бок. Пес зарычал, оскалил морду.

— Потише ты — развоевалась.

За занавеской грохнул ухват, со звоном покатилась кастрюля.

Матвей вздрагивающей рукой нашарил на припечном брусе банку с махоркой, свернул цигарку.

Да, надо на что-то решаться. Хватит с него этой музыки. Каждый день одно и то же. Конечно, она права. Хуже, чем они живут сейчас, некуда. Но, боже ты мой, у него вся жизнь вразлом, а она хоть бы посочувствовала!

На крыльце гулко затопали ноги. Завизжали ворота — давно надо смазать медвежьим жиром,— и в избу ввалился Венька, весь в снегу, как березовый.

— Папа, мы волка видели!

— Волка? — Матвей вяло усмехнулся: Венька, истый сын охотника, любил заправлять арапа.— Может, хоть собаку?

— Ну вот еще, что я, не знаю! Хвостину тянет... Такой дедко— как жеребенок, качается...

Идол насторожил уши, шумно потянул воздух. Матвей в бессильной ярости скрипнул зубами. Вот времена настали! Зверь под боком ходит, а он ни с места.

— Мы это катаемся с ребятами с горы,— продолжал рассказывать, размахивая красными руками, Венька,— а он как выскочит из кустов да по дороге на реку... Ружья у меня не было, а то бы я...

— Будет вам! — оборвала сына Марья.— Вечно они со своим зверьем. Ешьте, да в баню пора.

Матвей встал — все-таки отпустили немного ноги, шагнул к столу и вдруг, прихрамывая, кинулся к ружью.

— Венька, живо заправляй мотоцикл!

— Матвей, Матвей, не сходи с ума! — закричала Марья.— Куда же ты на вечер глядя? И не ел весь день...

Матвей круто повернул голову к жене — и этого было довольно: Марья поспешила на помощь мужу.

2

Матвею ни разу не доводилось ездить на мотоцикле зимой, но дело пошло на лад. Он вихрем пронесся по деревенской улице, затем вылетел на открытый луг, по которому наискось пролегал вывешенный зимник. Скосив слезящиеся, в заиндевелых ресницах глаза — ветер резал лицо,— он зорко всматривался в желтую, хорошо накатанную дорогу. Следов не было. Не было их и на реке. Неужели Венька подшутил?

За рекой зимник двоился. Одна росстань — берегом — вела в райцентр, другая — направо, вдоль ручья с низкорослым кустарником в начесах сена — в верхнюю часть района.

Матвей свернул направо. Зверю — не на заседание. Зачем же он попрется в райцентр?

Росстань — несчастные женки, которые возят по ней сено! — приворачивала к каждому кусту. Мотоцикл качало, подбрасывало, заносило в ухабах — и он взмок, пока выбрался на большак. Но и тут никаких следов. Дорога заледенела — хоть целая стая пройди по ней, не заметишь.

Он поглядел в одну сторону, поглядел в другую. Хмурые сосны, навьюченные снегом. Телеграфные столбы с провисшими мохнатыми проводами. И дорога, пустынная дорога, тускло поблескивающая санной колеей.

Нет, надо, видно, поворачивать назад. По крайней мере в бане успеет вымыться, а после бани всегда ногам лучше. Ну а вдруг, пока он тут рассусоливает, волк преспокойно чешет себе большаком? Куда же еще ему податься? Зверь, как и человек, зимой держится дороги.

Приглушенный мотор снова взревел. И снова терзающая ноги тряска. Снова полощет его ледяным ветром.

Он проехал пять, проехал семь километров. Волк как сквозь землю провалился.

Когда за поворотом показалась Матушкина ручьевина, густо заросшая березняком, Матвей сказал себе: хватит. Напротив матерой лиственницы (прошлой осенью, еще по чернотропу, он свалил тут глухаря) он остановился, заглушил мотор. У него стучали зубы, закоченевшие руки, когда он снял суконные рукавицы и попытался содрать ледяную коросту с небритых щек, плохо слушались.

Вечерело. В морозной прозелени неба уже проклюнулись звезды.

Он потоптался, помахал руками, чтобы согреться, затем, на ходу доставая охотничий нож, болтавшийся на ремне сбоку, направился к спуску. Продавщица сельпо давно просила его сделать пару метел. Все-таки деньги,— хоть на табак не придется клянчить у женки.

Он подошел к спуску и остолбенел. По ту сторону ручья в гору подымался волк.

Ружье, где ружье? Какой дьявол надоумил снять его! Ну и конечно, пока он бегал за ружьем к мотоциклу, зверь ушел. Матвей едва не заревел от горя. Шестьсот рублей упустил!

Спуск в ручьевину заледенел еще больше, чем дорога. Мотоцикл накатывался на него, как воз на лошадь. Матвей упирался больными ногами, падал. Потом с остервенением пихал машину в гору. Наконец он вылез из чертовой ручьевины.

Мохнатые сосны, ели. Звезды сыплются колючей крупой. Еще газу, еще! Мотоцикл с бешеным воем и треском вынес его на поляну — и тут он увидел волка. Матвей резко затормозил. В морозной тишине громом прогрохотал выстрел. Волк исчез за поворотом дороги.

Через минуту он снова выстрелил и снова промазал. Что за чертовщина? Руки у него трясутся или мушка сливается в сумерках с дулом?

Матвей включил фару. Ослепить, сбить зверя мотоциклом! Давят же шоферы лисиц и зайцев колесами, а почему не попытать счастья ему?

Зимняя дорога заполыхала заревом. Косматый лес, как стадо мамонтов, с оглушительным ревом полетел ему навстречу...

Это был большой, на редкость большой зверина,— прав Венька! — пожалуй, ни один из убитых им волков не шел в сравнение с этим. В желтой слепящей полосе долго, наверно с минуту, качался обвислый зад с прямым, как полено, сверкающим изморозью хвостом, потом свет скользнул по вздыбленному загривку, по морде, окутанной паром...

Матвей сжался пружиной. Сейчас, сейчас он собьет серого дьявола...

Внезапно дорога выгнулась дугой. Лучи фары веером рассыпались по верхушкам пушистого березняка. Постой, постой, да ведь тут где-то взвоз — крутой спуск к реке... Матвей изо всех сил нажал на тормоза, но было уже поздно. Машина подпрыгнула и неудержимо полетела вниз...

Мотоцикл еще чихал, бешено крутились колеса, взбивая снежную пыль, а он лежал в придорожном сугробе, с головой зарывшись в снег, и на все лады клял себя. Так все шло хорошо. Волк был уже в руках — и надо же было, олуху, забыть про взвоз! Сотни, тысячи раз он ходил и ездил по этой дороге, а тут забыл...

В затылке болело — наверно, стукнуло ружьем, когда падал.

Выбравшись из сугроба, Матвей стряхнул с себя снег, пнул с горя заглохший мотоцикл и безнадежно, с тоской посмотрел на зимник, уходящий вверх по реке. На километр, на два просматривалась прямая, светлая, как слюда, дорога — и хоть бы одна тень пятнила ее. Где же волк? Не мог же он за каких-то пять минут проскочить два километра?

Матвей повернул голову направо: там от спуска на реку есть росстань — по ней иногда ездят за сеном на тот берег. Но все же то, что он увидел, походило на чудо. По снежной равнине, залитой лунным светом, шел волк, вернее не шел, а плыл, как темный челнок, толчками

двигаясь к тому берегу. И он был всего в каких-нибудь ста метрах от него!

Матвей скинул из-за спины ружье, выстрелил. Туча снежной пыли взметнулась на реке...

Он выстрелил еще раз и побежал по дороге, к росстани. Ох, ноги, ноги! Вот когда окончательно сдали. Он брел по волчьим следам, глубоко, до пахов проваливаясь в рыхлый снег,— давно не ездили по росстани,— и ему казалось, что к ногам его привязаны колодки.

Ничего, ничего, утешал он себя, самое трудное позади, а на дорогу он как-нибудь вытащит зверя... И вдруг — он уже чуял запах псины — черная туша на снегу зашевелилась.

Ах, сволочь! Хитрить, притворяться? Плохо тебе попало?

Одеревеневший палец (наверно, отморозил) долго не мог зацепить спусковой крючок. Осечка. Он снова взвел курок — и снова щелчок. Вот уж не повезет так не повезет. Матвей отчаянно дергал затвор, тер суконной рукавицей — все напрасно.

Пятнадцать-двадцать шагов отделяло его от волка! На том месте, где только что отлеживался раненый зверь, снег был в черных пятнах. Это кровь. И, словно собака, подхлестнутая запахом свежей крови, Матвей двинулся вперед.

Он спотыкался, падал, зарывался лицом в снег,— но как упустить такую добычу! Зверь тяжело ранен — это ясно, и стоит только дотянуться прикладом до его башки, как все будет кончено.

На подъеме в берег — росстань тут начисто замело — он выронил ружье. Черт с ним и с ружьем — все равно не стреляет. Ему хватит и дубины, а возле стога всегда найдется жердь. На худой конец у него еще есть нож, большой охотничий нож. Главное сейчас — выбраться из этой проклятой трясины. Он месил, загребал руками снег, цеплялся за кусты, подтягивался и долго, как лошадь, бился в рыхлом сумете.

Наконец из-за пригорка показалась зеленоватая, высветленная луной шапка стога. Матвей, опираясь на руки, поднял голову, поискал глазами волка.

Так, все идет так, как он задумал. Волк подползал к стогу сена. Вот уж он в проломе низкой мохнатой изгороди, вот уж черная шкура зверя слилась с темным приземистым стогом.

А-а, сволочь, попался! Тут тебе и капут. Дальше ты не уйдешь. Кончилась росстань...

Темное крыло тени, отбрасываемое стогом, почти касалось кустов, в которых лежал Матвей. Наступала решающая минута. На мгновенье в мыслях его всплыла теплая изба, Марья и Венька, измученные ожиданием... Ничего, потерпите еще немного. Дайте отцу собраться с силами.

Матвей жадно, по-собачьи хватил губами снега, встал.

Мысленно, шаря глазами по изгороди, он уже прикидывал, как выхватит сейчас жердь, а затем со всей яростью обрушит ее на волка. А пока что рука его судорожно сжимала рукоятку ножа — на тот случай, если зверь бросится на него из засады. И вдруг — или это померещилось ему — на светлой полосе за стогом он увидел темное пятно. Пятно ползло, двигалось к лесу...

Одним рывком Матвей достиг изгороди. Волка у стога не было... Все ясно: обхитрила подлая тварь, отлежалась и ушла...

Навалившись грудью на изгородь,— ноги, как подкошенные, тянули вниз,— он обвел глазами голую бережину, холодную, безжизненную, отливающую зеленым блеском, потом посмотрел на реку. Нечего и думать о возвращении обратно — ему не дойти до большой дороги, не выбраться из этих снегов. Он в капкане.

Холодная дрожь прошибла его. Ему вдруг вспомнилось то, что случилось прошлой зимой в Пихтеме. Борька Шумилов, молодой мужик, силища — двухпудовкой крестился и справа и слева,— вот так же, как он, вскочил под вечер на лыжи и налегке побежал на деревенский луг — там бабы видели лису-огневку. Разыгралась метель. Дома ждут Борьку весь вечер, ждут всю ночь. Назавтра вышли искать всей деревней. Ни одного следа на лугу — все загладило снегом. И только весной, когда начало таять, ребятишки откопали беднягу под Пихтемской горой. Замерз у самой деревни.

Матвей стиснул зубы, навалился на жердь— надо наломать дров, скорее развести огонь, пока еще не поздно. Жердь выгнулась, но не треснула. Тогда он принялся за колья. Левая рука, как мертвая, скользнула по колу. Он стащил зубами заледеневшую рукавицу и начал оттирать кисть сухим снегом. Пальцы не двигались. Правая

рука тоже немела. Задубелый ватник звенел, как железный.

Матвей взглядом обреченного человека посмотрел вокруг. Блестит, каленой искрой переливается снег. В небе луна — ушастая, в дымном угаре. На холод... Неужели здесь, в этом проклятом снегу подыхать ему? На войне не подох, а тут, в трех шагах от жилья... Нет, черта с два!

Он нащупал на груди коробок со спичками и, вдруг резко оттолкнувшись от изгороди, заковылял, качаясь к стогу.

3

Столб пламени, неожиданно, среди ночи вырвавшийся у взвоза, заметили в ближайшей деревне. На пожар кинулись на лошадях — всем было ясно, что горит сено. Разъяренные колхозники бросились было на человека, лежавшего на заледенелом снегу у теплого, еще дымившегося пепелища, но человек не пошевелился. Он был без сознания, еле живой. И тогда всем стало понятно, что́ тут произошло. Матвея взвалили в сани, прикрыли всем, что привелось под рукой, и отвезли в районную больницу.

Прошло больше полугода. В колхозах уже отсеялись, посадили картошку. На северную землю спустилось лето — зеленое, теплое, с прохладными белыми ночами.

Матвей, никогда раньше не любивший лета,— мертвая пора для охотника,— на этот раз радовался, как ребенок. Вольный душистый воздух, ласковая синева неба, молодая трава на лугах, уже расшитая пестрыми узорами цветов, река с играющей серебряной мелочью — все это на время отодвинуло тягостные мысли о будущем. Но когда стали подъезжать к своей деревне — был праздник по случаю окончания сева, и улица была забита нарядным, гуляющим народом,— лицо его помрачнело. Марья, догадавшись, что делается на душе у мужа, свернула на задворки.

К дому подъехали тихо, крадучись, как воры.

В заулке у крыльца, на белом разогретом песке,— давно привезли песок от реки, еще тогда, когда была ползунком Санька,— лежал Идол. Потревоженный скрипом телеги, пес нехотя встал, сонно зевнул, потягиваясь, и поплелся к хлеву — грязный, неряшливый, со всклоченной шерстью на боках.

— Идол, Идол,— с укором позвала Марья.— Что ты, дурак, ведь хозяин домой вернулся.

Идол даже ухом не повел.

Пропала собака, подумал Матвей. Ну и пусть. Отдавать пса в чужие руки — мясо живое от себя отдирать, а с него, Матвея, хватит. За то время, что он лежал в больнице, его посвежевали немало. Сначала отхватили пальцы на правой ноге, потом оттяпали левую ступню, а потом принялись за стрижку почерневших пальцев на руках. И осталось у него два пальца — большой да ука-

зательный на правой руке. Ровно столько, чтобы самому подносить ложку ко рту да застегивать штаны...

Марья хотела было взять мужа на руки — она раздобрела после родов, налилась румяным здоровьем, да и тяжел ли он был теперь, кругом укороченный, наполовину высохший? — но Матвей воспротивился. Нет, в свою избу он войдет сам.

Глухо хрустнула, зарывшись в песок, новехонькая, вытесанная из березы, окольцованная по низу деревяшка. Матвей, поддерживаемый женой, поднялся на вымы-

тое, застланное половиком крыльцо, передохнул, глядя на солнечную реку в зеленых берегах.

В избе было тоже намыто. Сладко пахло молодой березой, раскиданной по углам, по матице. На глазах у Матвея показались слезы.

Марья, обняв его, помогла ему сесть на прилавок у печи — так он всегда делал, когда возвращался с охоты. И все тут было по-прежнему: на печном брусе раскрытая банка с желтой махоркой, стопка нарезанной газеты, спички. Хорошая у него баба. Другая бы на ее месте слезами изошла: и как теперь жить будем, и что мы за разнесчастные с тобой... А эта хоть бы вид подала. И все эти долгие месяцы, пока он лежал в больнице, через день, через два приходила к нему. А ведь — легко сказать — семь километров туда да семь обратно. Да зимой, в стужу, после работы...

С другой половины — из летней избы — Марья вынесла ребенка, заспанного, с мокрыми от жары волосенками.

— А это Олена Матвеевна. Отца пришла встречать. Не видали таких?

У Матвея перехватило в горле. Комкая цигарку, он протянул обрубки рук к дочери.

Девочка заплакала.

— Ну еще,— рассердилась Марья.— Как отца-то встречаешь?

Она села рядом с ним, горячая, сильная, с обветренным лицом и белой напотевшей шеей. На одной руке ребенок, жадно прильнувший к полной груди, а другой рукой она обнимала мужа. Обнимала и уговаривала:

— Ничего, Матюша, проживем. Санька кончает ученье, и Венька исть не просит (Венька за неделю до выхода отца из больницы уехал в ремесленное),— и у тебя пензия.

Под вечер с бутылкой водки заскочил Ванька-шофер. И тоже утешения. А по поводу двух Матвеевых пальцев, цепко закрючивших граненый стакан, сострил:

— Ну, дядя Мотя, считай, что одну профессию ты уже освоил. С такими крюками, как твои, на нашем фронте,— он кивнул на бутылку,— воевать можно.

Нет, черта лысого! Воевать — так уж воевать по-другому.

Перво-наперво он принялся за дровяной сарай. Гладкие сосновые поленья на растопку — это не трудно. Крю-

ки, оказывается, могут держать не только стакан, а и нож. Затем, поразмыслив, он прибил к топорищу темляки из парусины и попробовал колоть дрова. Неважно, с мозолями, но и это получалось. А что, если и тесать попробовать? Два березовых полоза с позапрошлой осени валялись у него в сарае. Ведь если дело пойдет на лад, его завалят работой. Топор, сблинтив по затвердевшему дереву, распорол опорок.

Марья, увидав кровь, перепугалась до смерти и, сколько он ни доказывал, что это простая оплошность, не унялась, пока он совсем не забросил топор.

Подошла страда. Раньше он мог хоть сбродить к соседям (с тем посмолит за компанию самосада, с другим раздавит маленькую — все дело) или соседи заглянут к нему. А теперь караул кричи — не докричишься. Глушь. Безлюдье. И кажется, один-единственный звук на всю дере́вню — это Матвей, отлежав бока, скрипит своей деревягой, ковыляя по заулку. И каждый день одно и то же: грязный ребенок, ползающий в песке, да пес, обалдевший от жары. А по вечерам возвращалась с луга Марья и, присев на крыльцо, красная, разгоряченная, с налитыми молоком грудями, начинала жаловаться:

— Ох, уже я передохну. Вся-то я устала, мужик. Когда и страда эта кончится?

Он стискивал зубы, чтобы не раскричаться, не ударить жену. И в эти минуты он люто ненавидел ее. Как она не понимает, что именно этой у́стали, дела не хватает ему!

Но страда — это еще ничего, терпеть можно. А вот когда пали первые утренники, он взвыл, как подраненный зверь. По утрам на озимях, за деревней, трубили журавли, воздух стонал от утиного крыла. А что творилось в лесу! Пальба с утра до ночи — стрелял и старый и малый. Ванька-шофер, сваливший двух глухарей, потерял голову: «Все! Последнюю осень баранку кручу».

Заехал Сысоев — в черной скрипучей кожанке, перекрещенной ремнями, пухлая полевая сумка, бинокль и совершенно трезвый,— одним словом, по всей форме. Сысоев открывал охотничий сезон. Повздыхал, поразводил руками, косо посматривая на Матвееву деревягу, и укатил ключить договора в верховье Пинеги.

И еще был удар: однажды утром исчез Идол. День-два не было пса, а на третий день пришел искусанный, отощавший, снова похожий на собаку. Пришел, поглядел

на своего хозяина, понюхал деревяшку и отвернулся...

Матвей запил.

Марья, опять беременная, проклинала свою судьбу, и Матвей, опухший, с налитыми кровью глазами, подпрыгивая на деревянной ноге, коршуном налетал на нее,— вот где пригодились мослаковатые, стянутые розовыми рубцами культи!

В двадцатых числах сентября у Лысцевых на одной неделе зверь задрал корову и овцу. Черт с ними! Пропади все пропадом. Ежели он, Матвей, подыхает заживо, то что такое коровешка и овца!

По деревне — всех удивило, как это зверь и в тот и в другой раз выбрал из всего стада Матвееву скотину,— пошли разговоры: «Лесовик это на Матюгу рассердился. Припомнил, сколько он кровушки на своем веку пролил».

Потом газу подбавила набожная старуха Феоктистовна, которая клятвенно уверяла всех: «Видела. Своими глазоньками видела. И страхи чистые! О трех ногах. Как есть оборотень».

Матвею хотелось кричать: «Врешь, старая рухлядь! Никакой не оборотень. Волк — по повадке вижу. И ничего тут особенного нет. Просто попалась зверю моя корова, а второй раз — моя овца. Погодите! Дойдет очередь и до вас».

Очередь снова пала на него. Как-то вышел он рано утром до ветру и вдруг видит: у крыльца с распоротым брюхом лежит Идол.

Суеверный страх напал на Матвея. Что, если и в самом деле зверье мстит ему? У кого еще такое бывало?

Два дня не пил, не ел. Сидел истуканом. Глаза в землю. Черная ощетиненная голова, как солью, осыпана сединой...

Марья телеграммой вызвала дочь и сына: с отцом худо. Те приехали на последнем пароходе, на всякий случай прихватив валенки: может, обратно придется возвращаться пешком. И тут их ожидала новая беда: отца нет. Отец пропал.

4

Охотничьи угодья — глухие урочища по суземным речкам, ягодные места вокруг лесных озер и болотин, богатые шишкой ельники — с незапамятных времен — закрепились за отдельными семьями. Там, где промышлял отец, промышляет его сын. И упаси бог ступить на

чужую тропу! Знахари нашлют нечистую силу — так закружит в лесу, что не выберешься, а то еще хуже — поймают провинившегося, посадят на муравейник.

Последняя война поломала этот неписаный закон. Многие угодья остались без хозяев. А кроме того, в военное лихолетье на Пинеге появились волки — они пришли из тундры вслед за стадами диких оленей.

Матвей Лысцев едва ли не первый из охотников начал петлять по всему району. На триста, на четыреста километров делал заходы. И вся верхняя Пинега знала его, в каждой деревне у него друзья-приятели. К ним-то и махнул Матвей, воспользовавшись подвернувшейся подводой. А что было делать? Пропадать — так уж пропадать с треском!

И задымилась хмельным угаром Матвеева жизнь. Сегодня с одним, завтра с другим. Охотничьи разговоры, воспоминания — есть чем дышать.

Но вот что скоро стали замечать люди: едва только заявится в деревню Матвей, как вокруг начинает лютовать зверье. Тут зарежет жеребенка, там залезет в овечий хлев, там прикончит собаку... Опять поползли слухи о каком-то трехногом страшилище-волке, причем добро бы звонили бабы. Некоторые мужики поддакивали им. А в Заозерье нашлись олухи, которые будто бы даже стреляли в него.

Матвей выходил из себя. Трусы! Сволочи! Распустили кругом волков и выдумывают черт те что. Ну-ко, кто убил хоть одного серяка за последний год?

Однажды вечером он допоздна засиделся в чайной. Трещала с похмелья голова. В карманах хоть шаром покати — медяк не звякнет. Зотька Постников не приходил.

Заведующая чайной, молоденькая девчонка, ретиво исполняющая свои обязанности, уже раза три дотрагивалась пустой стопкой до графина: пора, мол, и совесть знать, торговая точка работает по плану. Но Матвей делал вид, что не слышит этих коммерческих призывов, и продолжал сидеть за столом в темном углу.

Вошли два древних старика, Фотей и Мина. Матвей с надеждой посмотрел на них. Может, от них перепадет какая капля! Было время — кто в Заозерье не пил за его счет!..

Нет, старые хрычи начали отогреваться чаем.

Слово за слово — и у них разговор про волков.

— Надо быть, к войне,— глубокомысленно прошамкал плешивый Фотей.— Мы с татей-покойничком, бывало, месяц на Усть-Юрове живем. И скажи, маета одна. Ходим, ходим, а нет зверя. А зверь-то это весь к домам выполз. На ерманскую войну...

— Матю́ги Лысцова не стало — вот что,— возразил Мина.

— Ну, это так,— согласился Фотей.— Был бы Матюшка — он бы, зверь-то, чувствовал...

Так, похоронили, значит. Был Матюга и нет Матюги. А то, что он тут, в двух шагах от них... это не он. Это так, видимость одна. Ветошка. Черт побери, а что же такое он?

Матвей хмуро посмотрел на свои обрубки. Неужели он, Матвей, это только руки? Те восемь пальцев, которые отхватили ему в больнице? Да, все остальное — голова, глаза, сердце — все это чепуха. Так, придача к пальцам... Вот оно как обернулось. Были руки-ноги целы — человек. А теперь каждый сопляк свысока на него смотрит. А женка своя? Черт бы побрал ее со своими жалостями да заботами!

Он с силой стукнул культями по столу и встал.

Ночь была морозная, месячная. Только что выпавший снег — сразу на четверть — по-зимнему заскрипел под сапогами.

Куда идти? К прохвосту Зотьке — дом его тут, рядом? Или к Никону Мерзлому? Никон — мужик непьющий и, хоть сдохни, вина не даст. Но и Зотькину рожу видеть сейчас... Матвей пошел к Никону.

Деревяга месила мягкий снег, вязла, скользила по льду на взъемах. Он шел ночной деревней и клял все на свете. Клял подлеца Зотьку, который так бессовестно надул его, клял местные власти, которые ничего лучше не могли придумать, как открыть чайную на краю деревни, и заодно клял Никона — надо же дураку забраться на самое болото!

Наконец он доплелся до ручьевины. У Мерзлых еще не спали — в боковой избе мигал огонек.

Спустившись в ручей, Матвей уже начал было сворачивать с большой дороги на тропинку, ведущую к дому Никона, как вдруг ему почудился какой-то шорох сзади. Он оглянулся. Шагах в десяти от него стоял волк, громадный, с поднятой кверху мордой...

Только на секунду, даже меньше, задержался его взгляд на звере, но он сразу узнал его. Тот самый...

Матвей закричал что есть силы, бросился с палкой на волка. Окольцованная деревяга со звоном скользнула по наледи... А когда он поднялся, вокруг было пусто...

Холодный пот прошиб его. Что за чертовщина! Привиделось ему! Неужто хмелевик начался?

Он прохромыкал на дорогу. Следы, волчьи следы... Широкие петли, залитые синевой, резко выделялись на белой, еще не езженной дороге. Они уходили туда, к старой, заброшенной конюшне, которая громоздко чернела в полях у леса.

На усадьбе Никона с отчаянным воплем металась собака. Сам хозяин раза два кричал с крыльца: «Эй, кто там? Проходи. Чего торчишь?»

Матвей не двигался. Он стоял как обугленный пень на светлой дороге и не сводил суженных глаз с конюшни. Да, бабы не врали. Волк ходит. Тот самый волк... Но чего он хочет от него, проклятый? Волчья месть? Но разве мало того, что он сожрал у него корову, овцу, пса? Хочет с ним самим разделаться? Так какого лешего медлит? Вот он тут, безоружный калека, рядом с ним был...

И вдруг Матвей понял: он или волк. Жить так дальше нельзя.

5

На другой день утром, незадолго до рассвета, Никон Мерзлый подогнал к своему дому косматую, заиндевевшую кобыленку, запряженную в розвальни.

У крыльца его уже поджидал Матвей — в полушубке, в ушанке из мохнатой собачины, на здоровой ноге валенок. Поскрипывая деревягой, он залез в розвальни, лег. Никон положил рядом с ним двустволку, тулуп, берестяную коробку с едой, затем принес связанного по ногам барана, теплого, пахнущего овечьим хлевом, и тоже положил в розвальни. Потом он прикрыл Матвея и барана соломой и выехал со двора.

Старая конюшня, как все конюшни первых колхозных лет, размещалась в гумне. Лошадей много — безлошадники в северной деревне были наперечет,— где же и сгуртовать их, как не в гумнах? Теперь от былой конюш-

ни остались стены да несколько тесниц сверху. Все остальное: стойла, настил, двое дощатых ворот — одни на дорогу, другие на поле — давно уже растащили на дрова или приспособили для других надобностей. Пробовали сокрушать и стены — то тут, то там вгрызался в бревна топор, но, видимо, налетчики, действуя по собственной инициативе, опасались поднимать большой шум, а у колхозных властей тоже руки не дошли прибрать гумно.

Стоя в конюшне чуть ли не по колено в снегу, Матвей минут пять молча и сосредоточенно оглядывал стены, вдоль которых, колеблемые предрассветным ветерком, тихо и сонно шуршали черные будылья чертополоха, смотрел в белесый проем боковых ворот, к которым вплотную подступал запорошенный снегом мелкий кустарник, буйно разросшийся на здешних полях за послевоенные годы. За кустарником темной стеной вырастало чернолесье — и там где-то сейчас отлеживался зверь...

Матвей обернулся к стоявшему сзади Никону, кивнул на старые подсанки, приставленные к придорожной стене:

— Поставь сюда.

Никон поставил подсанки так, как велел Матвей,— вдоль стены, напротив ворот в поле. К среднему вязу подсанок прикрепил веревкой ружье так, чтобы, повернув его, под обстрелом оказались и те ворота, которые выходят на дорогу, и те, что обращены к чернолесью.

— Н-да,— покачал головой Никон,— охота...

— Давай животину.

Барана привязали на веревку в углу за подсанками,— снег разгребли, настлали соломы. Бедный баран с перепугу заметался, заблеял, но, получив сено, успокоился.

«Кажется, все как надо,— подумал Матвей.— Въехали в конюшню незаметно. А ежели зверь и следил откуда из кустов — обыкновенная подвода с соломой».

Глухо стукнув деревянной ногой, он лег на солому к прикладу ружья.

Светало. На бледной замяти снега, присыпанной махорчатыми семенами чертополоха, отчетливо выступила голубая цепочка горностаевых следов. Заснеженные ветки кустарника торчат, как оленьи рога, и кажется, там,

за воротами, сгрудилось оробелое стадо и чутко и настороженно прислушивается к предрассветной тишине.

Никон сказал полушепотом, зябко прикрывая рукой рот:

— Барана смотри не заморозь. А то моя баба... Знаешь...

Ни звука в ответ. Хрустит сено на зубах у барана, да на дороге позвякивает удилами кобыла.

Никон с какой-то непонятной робостью поднял голову к зимнему небу, перекрытому мохнатыми, в белой кухте тесницами, посмотрел еще раз на Матвея, неподвижно лежащего у ружья, нацеленного в холодную хмарь чернолесья, и пошел к лошади.

6

Никон Мерзлый жил как медведь: в будни колхозная работа с утра до вечера, в редкие праздники лежка на своем болоте: либо в избе, либо на сеновале — смотря по погоде. И никаких мужичьих развлечений: ни выпивки, ни курева. А все потому, уверяли люди, что жену его звали Улей-ягодкой. Маленькая, худущая, вечно жалующаяся на болезни, она как оса кружилась вокруг своего мужа-великана: и то не так и это не так.

Мужики советовали:

— Задай ты ей хоть раз сабантуй — небось сразу придет в чувство.

— А-а, ладно,— отмахивался Никон.— И без того шуму на земле хватает.

И самое большое, на что отваживался он, когда уж совсем невтерпеж становился зуд жены, это ронял два-три слова:

— А-а, отстань, ржавчина...

В тот самый час, когда Никон выезжал с Матвеем со двора, Ульяна доила корову. Барана она хватилась днем.

— Никон, Никон! — ворвалась она с криком в избу.— Барана волк унес.

Никон по случаю воскресенья законно лежал на кровати: босые разлапистые ноги на спинке (мала была старая отцовская кровать для его саженного тела), руки за курчавой головой, а маленькие зеленые глазки в младенческой опуши светлых ресниц нацелены на сук в потолке — верный признак того, что Никон думает.

— Чего лежишь, боров? Кому говорю? — взбеленилась Ульяна.— Барана, говорю, волк унес.

Никон нехотя сел на кровать, почесал за воротом.

— Ты того... может, в углу где недосмотрела...

— Что ты, лешак глупый? Хлев-то не лес, баран не иголка. Я уж знала, не к добру пришел вчера тот пьяница...

В конце концов Никон признался, где баран.

Ульяна, наверно, с минуту, а то и больше таращила на него острые, округлившиеся глаза, а потом ее прорвало, как худую плотину:

— Дурак! Безмозглая образина! Да где это слыхано, чтобы на волка с бараном ходили! Да тот босяк выманил его, чтобы пропить со своими пьянчугами!

Никон сидел перед женой как провинившийся школьник, не подымая головы. В том, что Матвей не надул его, он не сомневался. Но, с другой стороны, слова жены подняли в его душе сомнения...

К вечеру даванул мороз. Никон сходил за дровами, затопил маленькую печку.

— Вот как, тепла захотелось! — съязвила Ульяна.— А там-то как? Смотри, лешак, замерзнет тот пьяница — засудят тебя!

Назавтра утром, придя с надворья, Ульяна стала приготовлять пойло.

— Неси,— сказала она мужу.— Баран-то ревом ревет — пить хочет.

— Эка ты, баба...— развел руками Никон.— Да молчаливый-то баран зачем ему? Надо, чтобы зверь чуял.

— Чуял, чуял! Согнал бы со всей деревни собак — еще бы лучше учуял.

Никону нечего было сказать. И в самом деле, почему Матвею не взять было собаку вместо барана? Или на такую приманку, как овца, скорее зверь попадается?

Ульяна взялась за шайку сама — разве сдвинешь с места этого дьявола? — но Никон вдруг с такой силой пнул шайку, что Ульяна вплоть до ужина — первый раз в жизни! — не раскрыла рта.

В тот день Никон не пошел на работу. Лег на кровать — глаза в потолок — и не пошевелился до вечера.

— Может, и жрать разучился? — спросила Ульяна за ужином.

Никон встал, снова затопил печку и сел к огню.

На печи заливалась сонным свистом Ульяна; собака, впущенная на ночь в избу, ворочалась, урчала, выщелкивая зубами блох.

Когда погасли в печке угли, Никон накинул полушубок, вышел на улицу.

Мороз все густел. Звездное небо волчьими глазами сторожило закоченевшую землю.

Никон прошел по тропинке на дорогу и долго смотрел на черные — в мглистом сиянии — развалины конюшни. Что там сейчас делается? Жив ли Матвей? Может, замерз уже?

Весь день его неотступно преследовали эти мысли. Ему хотелось броситься в конюшню, разом оборвать эту несуразную затею — ведь нельзя же погибать человеку из-за какого-то волка! Но он хорошо запомнил слова Матвея: «Не приходи, пока не услышишь выстрелов». И еще он запомнил его глаза в ту самую ночь — глаза человека, приговорившего себя к смерти...

Томясь от неизвестности, от сознания собственного бессилия, Никон медленно бродил вокруг своего дома, то и дело поглядывая в сторону конюшни.

Под утро он замерз, зашел обогреться в избу.

Выстрелы один за другим прозвучали на рассвете. Но их не слышали ни сам Никон, спавший сидя на скамейке у печки, ни сладко похрапывающая на печи Ульяна. Только пес вскочил на ноги и громко-громко залаял на всю избу.

7

Утром к дому Никона Мерзлого сбежалась чуть ли не вся деревня: ребятишки, мужики, женки, старики.

Волк лежал посреди заулка на плотно умятом снегу. Он был страшен и сейчас, этот серый разбойник. Клыкастая морда оскалена, седая шерсть торчком стояла на короткой толстой шее. И слухи о хромоногом страшилище тоже имели под собой почву: одна передняя лапа была без подушки.

Но волк был мертв, и его сейчас никто не боялся.

Мальчишки, ухватившись за толстый негнущийся хвост, переворачивали его с боку на бок, тянули за ноги, тыкали пальцами в оскаленную пасть, при этом визгливо вскрикивая и пятясь от страха назад. Но особенно люто-

вали женки. Они пинали волка ногами, плевали в него, били палками.

— У-у, душегуб проклятый! Задрал у меня овцу...

— А где моя телушечка? Где?

— А у нас-то, у нас в позапрошлом году...

— Давай, давай! — подзадоривали женок мужики.— Забыли еще: до войны корова была задрана.

И мертвому волку снова и снова предъявляли счет. Все припомнили: и те злодеяния, которые совершил он, и те жертвы, в которых были повинны его родичи.

Потом, досыта натешившись мертвым зверем, толпа вдруг вспомнила о Матвее.

Матвей тяжелым, мертвым сном спал на печи, укрытый шубами. Но все же голоса, загудевшие под порогом, разбудили его.

— Проснулся?

— Ну, Матюша, крепко ты его подкосил! Эдакий дьявол — страсть!

— Как ты и додумался-то? Герой, герой!

— Талан. От бога,— философски заключил Фотей.— Мы на днях с Миной сидим в чайной. Вся надежда, говорим, на Матвея...

— Ульяна, что ты ему подушки-то хорошей под голову не дашь?

От кровати по рукам пошла красная в сером пуху подушка, за ней другая.

Матвей, угрюмо прищурив темный глаз, сверху вниз смотрел на разношерстный вал, запрудивший избу. Радостные, сияющие лица, улыбки... Что за народ? Еще вчера все воротили от него нос, шарахались как от чумы. Переночевать не выпросишься... А сегодня... Что переменилось? Ну, убил он волка... Да разве мало он убивал их раньше? А если бы не убил?

Странные, самому еще не вполне понятные мысли ворочались у него в мозгу. И он сейчас вдруг каким-то новым, обостренным взглядом, взглядом человека, пережившего те две страшные ночи, присматривался к этим, казалось бы, знакомым и в то же время незнакомым лицам.

Из-за порога, расталкивая людей, к печи пробрался Зотька Постников, улыбающийся, с красными, разогретыми морозом щеками. Вдруг он выхватил из-за пазухи бутылку и высоко помахал ею над головами людей.

— Эй, хозяева! Посудину!

— Надо, надо,— раздались одобрительные голоса.— Угости Матвея. Заслужил.

Радужно сверкая, забулькала водка.

Зотька, улыбаясь, подмигивая, протянул полный, с краями налитый стакан.

— Уйди, червяк! — вдруг резко, опаленный ненавистью, сказал Матвей и перевернулся на другой бок.

Зотька остолбенело разинул рот, посмотрел с недоумением на примолкшую толпу и, безнадежно махнув рукой, сказал:

— Э-эх! Пропал человек...

1962

ОДНАЖДЫ ОСЕНЬЮ

Не знаю, то ли потому, что я вырос в деревне, то ли натура у меня такая, но, когда в унылом осеннем небе вдруг проглянет призывная голубизна, меня охватывает тоска и беспокойство перелетной птицы. И тогда единственное спасенье — немедленно отправиться в лес.

В тот день я проклинал свое безрассудство. Едва я вышел из теплого вагона на полустанок, как на меня обрушилось все худшее, что таит в себе поздняя ленинградская осень: сырость, ветер, пронизывающий до самых костей, непролазная грязь...

Я надеялся, легче станет в лесу. Но там было еще хуже. Глинистая дорога разбухла — приходилось жаться к мокрым кустам, сворачивать в сторону... Словом, когда я под вечер вышел в поля, окружавшие хутор, я едва держался на ногах.

Больше всего я боялся, что не застану дома Зину. Девушка молодая, на выданье, а сегодня была суббота. Что, если ушла в поселок? (Родители ее еще неделю назад уехали в Калининград к своим родственникам.)

К счастью, мои опасения скоро рассеялись.

Хутор — два старых финских домика с примыкавшими к ним полуразвалившимися постройками — стоял на широком холме, и я еще издали увидел знакомую кар-

тину: на зеленых лужайках серыми валунами рассыпались овцы, бродит свинья, внушительная, хорошо откормленная, и тут же — домашние гуси.

Потом, когда я подошел поближе, я увидел маленького человечка в черном, неподвижно сидевшего на верхней ступеньке крыльца. В сгущавшихся сумерках отчетливо выделялось его белое крохотное личико. Этим человечком, к моему изумлению, оказался ребенок, которому едва ли было больше пяти лет.

При моем приближении он не выказал ни страха, ни удивления и даже не пошевелился. Маленький, худенький, в низко нахлобученной на глаза ушанке, он сидел, по-воробьиному нахохлившись, и с равнодушием и стойкостью деревенского старика переносил промозглое ненастье. Впрочем, одет он был неплохо: черное ватное пальтецо с теплым отогнутым воротником, на ногах валенки, тоже черные, с новыми поблескивающими калошками.

— Ты что тут делаешь, малыш?

— Мамку жду,— тихо, не поднимая головы, ответил ребенок.

— А где твоя мамка?

— В поселок ушла.

Я уже догадывался, что мать мальчика, видимо, та самая гулена — новая жительница хутора, о которой мне недавно рассказывали мои знакомые.

— А где Зина?

— К телятам ушла.

За стеной, в помещении, услыхав наши голоса, залаяла собака.

— Это Динка,— сказал мальчик.— У ней морду псы раскусали.

Грохоча в сенцах ведрами, я отыскал ключ, открыл двери. На грудь ко мне тотчас же кинулась большая теплая собака. Узнала! Она лизала мое мокрое лицо, закоченевшие руки, виляла от удовольствия хвостом и, пока я ставил ружье, снимал рюкзак и зажигал маленькую лампешку, неотступно кружилась возле меня.

В кухне был образцовый порядок. Пол вымыт и застлан пестрыми домашними половиками, на плите очага поблескивала хорошо начищенная кухонная посуда, а из сумрака горницы, сверкая никелированными шарами,

как ладья, выплывала высокая двуспальная кровать, накрытая белоснежным покрывалом.

Маленький Сережа — так звали мальчика — не подавал ни звука. Он сидел недалеко от порога на низенькой, будто специально для него сделанной скамеечке и, казалось, никак не реагировал на то, что попал в тепло. Только немного позже, когда собака, израсходовав на меня всю свою ласку, задела его хвостом, он негромко сказал:

— Динка, не балуй.

И опять все та же недетская оцепенелость и погруженность в себя.

— Сережа, хочешь сахару?

— Нет,— машинально, безразличным голосом ответил мальчик.

Но, когда я, нагнувшись, протянул ему два белых куска, он вдруг приподнял голову, посмотрел на меня внимательно своими большими черными немигающими глазами и, тихо прошептав: «Спасибо»,— принял.

Меж тем явилась Зина. Деловито и неторопливо вытерев ноги, она привычным взглядом хозяйки окинула кухню и только тогда сказала:

— Здравствуйте.

Ее тяжелая, нахолодавшая рука, на секунду задержавшись в моей руке, не ответила на пожатие. Зина здоровалась по всем правилам учтивости, обязательной для самостоятельных, уважающих себя девиц.

— Что ж ты, Зинаида,— начал я с укором,— ребенка на такой сырости оставила?

— А ну его. Звала на телятник — не пошел. «Мамку ждать буду». Ну и жди. Ее дождешься. Она — как кукушка. В одном гнезде обогреется — в другое летит. Все чего-то ищет, как потеряла. А нынче моду взяла: каждую субботу — в поселок. Мало ей здешних мужиков...

Мальчик вдруг поднялся со скамеечки и молча, опустив голову, постукивая калошками, пошел к двери.

— Сережа, Сережа, куда ты?

Я хотел остановить его, но мальчик с неожиданной силой оттолкнул мою руку и упрямо, не оглядываясь, продолжал двигаться к порогу.

— Это ему не понравилось, что я о матери заговорила. Иди, иди, да больше не приходи. Вишь какой!

Я его кормлю, пою, а ему слова не скажи... Ладно, не задерживайте,— кивнула мне Зина.— Пришла та, выжига.

— Ну зачем ты так, Зинаида? — заговорил я, как только за мальчиком захлопнулась дверь.— Разве можно так о матери при ребенке?

— Она еще не того заслуживает,— сердито заметила Зина.— Муж весной помер — деревом замяло, без памяти ее, тварь, любил. А она, говорят, и при нем гуляла... Сережка-то неизвестно еще чей. Мужики как с ума посходили. Нашли тоже ягодку... Она живет, как птица небесная. Уж вот не вру: спроси у нее, что завтра исть будет,— не скажет. В том месяце пенсию за мужа получила. Триста рублей — деньги! А она как распорядилась? Сережке коня с хвостом купила — двести рубликов выкинула. А у самой платья переменить нету. Ох, да что о ней говорить,— Зина махнула рукой,— увидите. Прибежит. Она свежего-то мужика, как собака зверя, за версту чует.

Все это говорила Зина, ни на секунду не забывая о деле. Через каких-нибудь пять минут в кухне уже, весело завывая и распространяя малиновое тепло, горела плита.

На Зину приятно было смотреть. Крепкая, румянощекая, она легко ворочала чугуны, сливала пахучую, настоявшуюся на сене воду, давила вареную картошку, глубоко запустив голые руки в ведра, потом, слегка пружиня широкой спиной, несла их скотине. Сырость и холод для нее не существовали. Она выходила на двор разогретая, в одной ситцевой кофточке, и возвращалась оттуда неторопливо, удовлетворенная, с мокрыми розовыми руками.

Перед ужином она переоделась.

В кухню вышла нарядная, с гладко зачесанными, напомаженными волосами, в черных лакированных лодочках со скрипом.

— Зинаида, да что с тобой сегодня? — пошутил я.— Ты как жениха встречаешь.

— А может, и жениха,— спокойно, без всякого смущения, с рассудительностью двадцатипятилетней девушки ответила Зина.— Есть тут один на примете. Ничего бы парень — с профессией. Тракторист. Да только еще ветреница не прошла. Столько зарабатывает, а кроме мотоцикла да приемника — шаром покати. Пальта себе

завести не может. Ну да ничего. Отец у нас такой же был, а мама прибрала к рукам. Нынче рюмки без спроса не возьмет...

— И ты приберешь, Зиночка,— поспешил я заверить ее.

На лице Зины проглянула улыбка.

— Надо. Вашего брата не прибрать — всю жизнь маяться.

Так, полушутя-полусерьезно переговариваясь, мы собрали на стол, но, поскольку вот-вот должен был появиться жених, я предложил подождать его.

Жених действительно скоро пришел, но пришел не один, и Зина, еще в сенцах заслышав топот и смех, недовольно заметила:

— Опять с дружками. Каждый раз веселье надо.

Из трех парней, шумно ввалившихся в кухню, я сразу же узнал жениха.

Товарищи его — два двоюродных брата, оба кряжистые, краснолицые, в одинаковых ватных пиджаках до колена, в резиновых сапогах с прямыми голенищами — мне были знакомы раньше.

В доме Зины их звали Иванами-пастухами (они и на самом деле работали в колхозе пастухами). Не знаю, понимали ли они всю безнадежность своего ухаживанья за Зиной, но вот уже в течение двух лет регулярно каждую субботу по вечерам давили скамейку в этой кухне, а затем, словно отбыв холостяцкую повинность, исчезали на целую неделю.

Аркадий — жених Зины — выгодно отличался от своих товарищей. Это был высокий белокурый парень, явно смахивающий на того красавца тракториста, каким нередко изображают его в кино: светлый взлохмаченный чуб во весь лоб, коротенький засаленный ватник нараспашку и щеголеватые хромовые сапоги. У него и характер был под стать озорноватому киногерою. Еще переступая порог, он неожиданно навел на Зину карманный фонарик, и когда та, жмурясь и отмахиваясь руками, что-то недовольно заворчала, Аркадий весело рассмеялся, показывая белые крепкие зубы.

Вид бутылки «столичной», которую я достал из рюкзака, сразу же вызвал у ребят повышенное настроение. Но только я налил в рюмки и открыл рот, чтобы сказать что-нибудь по случаю нашего знакомства, в сенцах снова зашуршал веник.

— Идет, без нее уж не обойдется,— сказала Зина и строго поглядела на жениха, живо обернувшегося на стук.

Два Ивана, не расставаясь с рюмками, хмуро глянули на порог.

В кухню вошла женщина:

— Не помешала?

Никто не отвечал ей. Зина демонстративно уткнулась в вязанье, которое предусмотрительно захватила, садясь за стол. Два Ивана, очень недовольные оттяжкой начатого дела, тяжело вздохнули.

Откровенно говоря, я тоже не обрадовался непрошенной гостье. В памяти моей все еще свежа была встреча с заброшенным ребенком. Но надо же было как-то разрядить возникшую неловкость. Поздороваться по крайней мере.

И женщина, словно угадав мои намерения, первой протянула мне руку, когда я подошел к ней.

— Шура,— сказала она робко.

Помню, меня покоробила тогда эта «Шура», отдающая каким-то скороспелым, уличным знакомством. Я даже подумал, что у нее, наверно, и на руке-то наколота эта самая «Шура»,— видал я таких. Да и вообще весь ее облик никак не вязался с тем, что говорила о ней Зина. Маленькая, худенькая, невзрачная. На голове пестрая шерстяная косынка, как повязка, стягивающая щеки при зубной боли. (Слава богу, такие косынки, еще несколько лет назад захламлявшие многочисленные ларьки промысловых артелей, теперь стали исчезать.) Ну чем тут соблазниться?

— Зиночка, я на минутку. Стирального порошка у тебя нету? Я со стиркой разобралась.

Зина подозрительно покосилась на гостью.

Я ради приличия пригласил ее к столу.

— Не знаю, разве что за компанию,— неуверенно сказала она и бросила выжидательный взгляд на хозяйку.

В руках Зины с треском заходили вязальные спицы.

— Давай, давай — подождет твоя стирка,— сказал Аркадий.

— А и правда, успею. Ночь-то длинная.

Шура живехонько скинула резиновые сапоги, сняла косынку, пальто. В коротеньком бордовом платьице

(Зина, пожалуй, была права насчет ее гардероба), в простых нитяных чулках в резинку, вероятно приобретенных в детском отделе, она показалась мне еще меньше и невзрачнее, а когда села за стол напротив величественной, полногрудой Зины, то и вовсе потерялась.

Мне так и не пришлось произнести тост.

Два Ивана стремительно, точно боясь, что может возникнуть еще какая-нибудь заминка, чокнулись. Вслед за ними выпили и остальные, за исключением Зины, которая только пригубила. Потом так же поспешно выпили по другой: всех, по-видимому, угнетало угрюмое молчание хозяйки.

Аркадий раза два наклонялся к ней, что-то шептал на ухо, но складка над переносьем у Зины даже не дрогнула. Тогда Аркадий, тряхнув светлым чубом, решительно схватил Зинину рюмку и опрокинул себе в рот.

Все было рассмеялись, но, встретившись с помрачневшим взглядом хозяйки, опять примолкли.

Шура первой нарушила молчание, обращаясь ко мне:

— Вы, наверно, к нам на охоту?

— Да, на охоту.

Я сказал это таким тоном, что у всякого другого пропало бы желание вести дальнейший разговор (ведь надо же было как-то успокоить Зину!), но Шура как ни в чем не бывало продолжала:

— Ох, и лис у нас развелось? Красные, как собачонки бегают. Ко мне повадились — два гуся унесли...

— Так будешь смотреть — и последнего унесут,— вдруг вставила свое слово Зина.

— А что мне делать с этими гусями, Зиночка? На веревочке водить? Я и так каждый день пуляю...

Я с нескрываемым любопытством смотрел на Шуру.

И как я раньше не обратил внимания на эти большие, простодушные, по-летнему ласковые глаза? Пышные с рыжеватым отливом волосы хорошо промыты, и на них все еще отсвечивает дождевая пыль... Странно, меня не раздражала даже дешевенькая красная ленточка, кокетливо проглядывавшая в волосах,— единственное украшение, которое было на ней.

Я сразу повеселел.

— Ну и как? Много вы «напуляли»? — Мне очень понравилось это слово!

— Лис-то? Ни одной! — Шура беззаботно тряхнула головой.— Сережка утром с улицы прибежит: «Мама, опять лиса подбирается». Где, какая лиса? Страсть ведь интересно, как она по земле-то ползет. Ну, а лиса, наверно, не любит, когда на нее полыми глазами смотрят. Хвостом махнет — только и видали. Я уж потом, когда она за угорышек скроется, выстрелю. У вас не богато порохом? — запросто обратилась ко мне Шура.— У меня один патрон остался.

— Это она чернобурку завести хочет,— опять подала голос Зина.

— Почто, Зиночка, чернобурку? На нашем телятнике и без чернобурки утонешь.

— Не утонешь. По субботам-то немного бываешь на телятнике.

Шура медленно покачала головой:

— Ох, Зиночка, Зиночка... Ты всегда вот так обо мне. По субботам-то я...

Она вдруг охнула и, схватившись руками за голову, громко разрыдалась.

— Ну еще,— фыркнула Зина,— то песни, то слезы. Надо одно что-нибудь.

Лицо Аркадия стало белым как полотно. Наверно, с минуту не дыша он смотрел на Зину, потом устало махнул рукой:

— Дура. По субботам-то она знаешь какие песни поет? На могиле у мужа... Еду я сегодня с дровами...

Шура резко подняла голову:

— Не надо, не надо...

Под порогом спросонья заворочалась собака, щелкнула зубами, видно, роясь в своей шубе, и снова затихла.

— Вот ведь я какая,— с виноватым видом сказала Шура.— Нагнала на всех тоску.

Губы у нее все еще подергивались, но мокрые глаза уже лучились.

— Ладно, давайте лучше про охоту. У меня Сережка страсть любит, когда про зверей рассказывают. Охотником, наверно, будет.

— Шурочка! Вот за это люблю...— воскликнул, загораясь, Аркадий.— Терпеть не могу плаксивых! Хочешь, я тебе дам пороху? — предложил он и с каким-то восторженным выжиданием уставился на Шуру.

Два Ивана тоже расщедрились:

— Порох и у нас имеется. Можем!

Затем все трое, наперебой, начали давать Шуре советы, как лучше изловить коварную лису. Потом советы сменились охотничьими историями, и тут неожиданно выяснилось, что каждый из них охотник, да и притом не последний охотник. Впрочем, пока они расправлялись с зайцами, лисами, енотами и другой подобной мелочью, можно было еще слушать, но когда они переключились на медведей...

Зина, не расставаясь с вязаньем, откровенно зевала, я тоже заметно скучал — слишком уж смело обращались охотники с хозяином леса. Зато Шура слушала с величайшим удовольствием. Ее большие доверчивые глаза были широко раскрыты. Она переводила их с одного рассказчика на другого, иногда по-детски простодушно вскрикивала: «Ох!», «Правда?» — и Аркадий, и два Ивана, поощряемые ее вниманием, забирали все выше и выше. Было даже неловко, что Аркадий совсем забыл о своей невесте и сидел, повернувшись к ней спиной.

Не знаю, как долго продолжалась бы эта потеха, если бы Зина трезво не заметила:

— Вы хоть бы врали, да поменьше дымили. А то сидим, как в овине...

...Бутылка «столичной» давно уже была допита. Да и что такое пол-литра на четырех мужиков?

Кто-то (кажется, Аркадий) неуверенно предложил:

— Зинаида, ты теперь раскошеливайся.

— Вот еще! Вы хоть ведро выхлещете!

Мы с Аркадием переглянулись. Нет, у обоих пусто в кармане. На достатки Иванов тем более рассчитывать не приходилось.

— А знаете что? — вдруг сказала Шура.— У меня соседка гуся торговала — тут близко... Все равно лиса утащит.

— Не выдумывай! Сережке жрать нечего.

Да, конечно, Зина права. Черт знает, куда может завести эта водка!

Все как-то сразу почувствовали, что пора расходиться.

Шура поднялась первой.

— Ох, батюшки, время-то... А у меня еще белье замочено.

— И есть же такие дуры на свете! — сказала Зина, едва замолкли шаги в сенцах.— Уши развесила — сидит, а вы, бесстыдники, наворачиваете.

Ей никто не ответил.

Аркадий смотрел в темное окно. Два Ивана, кисло морщась, сосредоточенно докуривали папироски, а затем, не сговариваясь, потянулись к кепкам.

— Ну вот, ушли! — с облегчением сказала Зина и вдруг вся совершенно преобразилась: ни холодной степенности, ни раздражительности, которые не покидали ее весь вечер.

А впрочем, что же удивительного? Ведь девушка, наверно, весь день только и думала о том, чтобы вечером остаться с женихом. А тут нелегкая принесла меня, потом — Иваны, потом — Шура, потеснившая ее в собственном доме.

В кухне стало светлее — Зина подвернула фитиль в лампе. Дым, разгоняемый платком, как в трубу, устремился в раскрытые двери.

— Хотите, чаем напою? — предложила Зина.

Раскрасневшаяся, улыбающаяся, поскрипывая лакироваными лодочками, туго обжимавшими ее полные ступни, она подошла к Аркадию, который все так же задумчиво сидел у стола, подперев голову рукой, потрепала его по светлому чубу:

— Ну чего пригорюнился? Хочешь, подвеселю? У отца где-то в бутылке оставалось.

Аркадий вяло отвел ее руку, посмотрел на нее потухшими, отнюдь не жениховскими глазами.

— Нет, не хочется.— Он встал.— Пойду, что ли. Завтра рано на работу. Председатель торф затеял возить на поля.

— В выходной-то день? — Зина обернулась ко мне за помощью.

Аркадий вышел, не попрощавшись. Мы долго молчали.

— Ничего,— сказала, крепясь, Зина,— одумается. Завтра прибежит как миленький. Еще каяться будет.

Первым делом она сняла лакированные лодочки, тщательно протерла их ватой, а потом, переодевшись, стала убирать со стола.

Работа ее всегда успокаивала, но все же размолвка с женихом взволновала ее не на шутку, потому что она несколько раз заговаривала:

— Это все та бесстыжая... Куда ни зайдет — все вверх дном.

— Зина,— спросил я,— а откуда эта Шура взялась?

— Калининская. Тут на Карельском все разные. Брат после смерти мужа приезжал, звал. Не поехала. Еще бы! Тут в лесу-то ей самое раздолье. Блуди — никто не видит...

И все мои попытки хоть сколько-нибудь побольше разузнать о Шуре кончались одним и тем же: ожесточенными нападками Зины на соседку.

Что это? Откуда у нее такая неприязнь к Шуре? Ревность? Или ее, такую хозяйственную и самостоятельную девицу, оскорбляло само существование Шуры?

Дело было к ночи, Зина босиком, полураздетая (меня она не стеснялась) пошла закрывать наружные двери. Я тоже решил подышать свежим воздухом перед сном.

Сырости не было и в помине. Подмораживало. В небе играла луна. На мгновение она скрывалась в темном облаке, потом неожиданно разрывала его, и тогда все кругом покрывалось дрожащими лунными бликами. С крыши на обледенелые ступеньки крыльца со звоном срывались сосульки.

Зина косо посмотрела на крохотный огонек, светившийся в окне соседнего дома:

— Зажгла свою лампаду.

— Зиночка, да она стирает.

— Стирает... Пусть кому другому морочит голову...— И вдруг Зина, не договорив, с несвойственной ей живостью схватила меня за рукав.— Смотрите-ка, смотрите,— зашептала она, вытягивая вперед руку.— Кто идет-то там?

Далеко внизу на дороге, залитой лунным светом, неторопливо двигалась одинокая черная фигура. И кругом было так тихо, что мне казалось, будто я даже слышу хруст шагов. Или это сосульки шелестят, срываясь с крыши сарая?

Но вот и черная фигура растаяла в темном перелеске. Зина облегченно вздохнула.

— Аркаша это. А я-то подумала, он у той шельмы... Чуете, чуете,— вдруг горячо зашептала она,— сосульки на ночь играют.— Зина тихо и радостно засмеялась: — Это, говорят, к счастью.

Мне от всей души хотелось верить в Зинино счастье, но я вспомнил весь этот нынешний вечер и ничего не сказал.

1961

В ПИТЕР ЗА САРАФАНОМ

Жарко, душно было в избе. В открытое окно с улицы несло дымом, торфяным чадом — где-то опять горели леса...

Павел Антонович, тяжело дыша, то и дело утирался полотенцем. Он был еще крепкий старик. Сидел прямо, умные глаза из-под густых, все еще черных бровей глядели твердо.

Но странно бывает устроена человеческая память! Павел Антонович хорошо помнил седые предания о «белоглазой чуди», некогда жившей у нас, на Пинеге, до прихода новгородцев и москвитян, живо мог рассказать о причудах кеврольского воеводы, которому возили питьевую воду за пятнадцать верст из одного холодного ручья, знал о пустынях в глухих чащобах, где скрывались раскольники и беглые солдаты, а вот когда заходила речь о гражданской войне на Севере — он сам был участником ее,— память ему частенько изменяла.

Поэтому нам нет-нет да и приходилось обращаться за помощью к его жене Марье Петровне, полной смуглой старухе с удивительно молодыми карими глазами.

— Пишите, пишите, нынче вся жизнь на бумаге,— с легкой усмешкой говорила она, когда я наклонялся над записной книжкой.

Потом, сочувственно поглядывая на меня и мужа, Марья Петровна сказала:

— Все вы упарились. Не знаю, разве к Филиппьевне сходить. У ней завсегда квас на погребе. Старинного покроя старушка...— И тут же воскликнула: — Вот она, легка на помине! Бредет.

Я почувствовал, как легкая тень прошла по моему лицу.

У крыльца зашуршал веник, скрипнула наружная дверь. В избу вошла старушонка. Чинно перекрестилась, разогнулась и прошамкала какое-то приветствие вроде «Все здорово-те».

До чего же это была маленькая и ветхозаветная старушка!

Одета она была тепло, не по-летнему. Стеганая коричневая кацавейка без рукавов, какую редко нынче увидишь в деревне, серый матерчатый передник, из-под которого выглядывал подол темного сарафана с кистями домотканого пояса, на голове синий платок, повязанный концами наперед, и, конечно, повойник. В общем, одежда ее, если не считать свитера с вытянутыми рукавами и кирзовых сапожек на ногах, была выдержана в духе благочестивой старины. И все это — и передник, и кацавейка, и сарафан — по-детски крохотное, игрушечное, так что при всей своей серьезности и чинности старушка до смешного походила на кукольную матрешку.

— Что, Филиппьевна, в гости? — спросила хозяйка, подавая ей табуретку.

— Како в гости? Середь бела дня в гости,— проворчала старушка.— Филиппьевне-то пензии не платят. Это вам, молодым, по гостям ходить. Пришла про рожденье свое узнать.

— Ох ты господи! — всплеснула руками Марья Петровна.— Забыла тебе сказать. Завтра у тебя день рожденья.

— Завтра? То-то мне не сидится сегодня. Куделю пряду ноне,— пояснила, вздохнув, старушка.— Председатель просит: «Выручи, Филиппьевна, без веревок сидим, никто не хочет прясть». А как Филиппьевны-то не будет, к кому, говорю, пойдешь?

— Бабушка,— подал я голос,— а сколько вам лет?

— Кто у вас в гостях-то? Худо вижу — весь свет в дыму.— Филиппьевна поднесла сухонькую руку ко лбу и, подслеповато щурясь, посмотрела в мою сторону.— Молодец кабыть? Откуда?

— Дальний, бабушка.— Я нарочно повысил голос, сообразуясь с ее возрастом.

— Чую, что дальний. У нас говóря-то кабыть потише.

Марья Петровна живо подмигнула мне: видал, дескать, какая у нас Филиппьевна?

— Из Ленинграда, бабушка,— сказал я.— Слыхала такой город?

— Она не только слыхала. Она бывала там,— не без удовольствия ответила Марья Петровна.

— Почто бывала-то? — с притворной сердитостью возразила Филиппьевна.— Я в Питере бывала-то.

— Так ведь это одно и то же, бабушка,— рассмеялся я.

— Одно, да не одно. В Ленинград-то на машинах ездят да по воздуху летают, а в Питер-то я пешком хаживала.

— Пешком?

— Пешком.

— Отсюда, из Ваймуши? — Это деревня километрах в четырех от Пинежского райцентра.

— Подальше маленько. Верст десять еще прибавь. Из Шардомени.

Я перевел взгляд на Марью Петровну, затем снова посмотрел на старушку. Да не морочат ли они меня? Ведь это же сколько? С Пинеги до Двины, с Двины до Вологды... Свыше полутора тысяч километров! И вот такая крохотуля промеряла этакое расстояние своими ногами...

Но еще больше удивился я, когда услышал, что старушка ходила в Питер — за чем бы вы думали? — за сарафаном...

— Правда, правда,— горячо заверила меня Марья Петровна и с гордостью посмотрела на старушку.— Ходила наша бабушка. За сарафаном ходила. Расскажи, Филиппьевна, не забыла еще?

— Как забыть-то,— раздумчиво сказала старушка.— Мне еще тогда говаривали: ну, девушка, всю жизнь будешь вспоминать Питер. И верно: как вечер-то подой-

дет, так и почнет из меня жилочки вытягивать. Всю-то ноченьку как на вытяжке лежу.

— Это, Филиппьевна, годы выходят,— посочувствовала Марья Петровна.

— Да ведь мои годы еще что. Восемьдесят четвертый пойдет, а ма̀тенка у меня в девяносто лет за морошкой хаживала.

Павел Антонович, который с приходом Филиппьевны завалился на кровать и до сих пор хранил молчание, поднял крупную облысевшую голову:

— Про ма̀тенку-то ему неинтересно. Ты про то, как в Питер ходила. Раньше, бывало, только об этом и трещала. Питербуркой звали.

— Звали. И рассказывать любила. А сейчас вся дорога в дыму. А раньше-то что. Как начну вспоминать, каждый кустик, каждую ямочку вижу.

Но наконец Филиппьевна поддалась уговорам.

— Вишь, родитель-то у меня из солдатов был, бедный,— неторопливо начала она,— а нас у него пять девок. А мне уж тогда пятнадцатый год пошел, а все в домашнем конопляном синяке хожу. Вот раз зашла к суседям, а у них посылка от сына пришла — в Питере живет. И такой баско́й сарафан прислал сестре — я дыхнуть не могу. Алый, с цветами лазоревыми — как теперь вижу... Ну, скоро праздник престольный подошел — богородица. Вышли мы с Марьюшкой — это дочь-то суседей, которым посылка из Питера пришла. Вышли впервой на взрослое игрище. Она в новом сарафане, а я в своем синяке, только пояском новым — сама соткала — подпоясалась. Смотрю, и робята толк в сарафанах понимают. Я хоть и маленькая росточком была, можно сказать, век недоростком выжила, а на лицо ничего, приглядная была. А Марьюшка, прости господи, тюрятюрей — губы распустит, на ходу спит. А тут в новом-то сарафане нарасхват пошла. Бедно мне стало. Вот и думаю: мне бы такой сарафан! — боюсь в девках засидеться. А откуда такой сарафан возьмешь? Житье-то у родителей не богато. Братьев нет. Вижу, самой смекать надо. А где? Куда девку-малолетку возьмут? Ни в лес, ни в работницы. Да и сарафан-то питерский мутит голову. У иных девок тоже сарафаны, да не питерские — дак робята-то не так кидаются. Ну и порешила: пойду в Питер за сарафаном. Сходила...

— Эка ты,— подосадовала Марья Петровна,— да как ходила-то, рассказывай!

Филиппьевна вытерла темной рукой глаза.

— Мама, как услыхала, что я в Питер надумала, заплакала. «Что ты, говорит, Олюшка, умом пошатилась?» А тата-покойничек из солдатов был, крутой на руку. Икону с божницы снял: «Моя, говорит, девка! Иди, Олька. Люди же, говорит, ходят». Ну, матенка непривычна была перечить — не нонешнее время. Назавтра рано встала, хлебцы испекла, а тата уж воронуху запряг. Мама в голос, суседи прибежали: куда да куда девку собираете? А тата молчит, подхватил меня как перышко — в сани и давай кобылу вожжами нахаживать. Тоже и ему не сладко было... Верст тридцать, до Марьиной горы, родитель подвез. Дал мне на прощанье рубль медью.

— На-ко, девка, иди с рублем до Питера,— всхлипнула Марья Петровна.

— Дак ведь деньги-то не трава — в лесу не растут. А дома-то у нас еще четверо по лавкам... Ну, дал мне родитель денег, перекрестил: «Иди, говорит, Олька, ищи свое счастье». А я, как увидела, что он в сани садится, заревела: «О та̀тонька, та́тонька, говорю, не уезжай. Не надо мне и сарафана».— «Нет, говорит, Олька, иди. Проходу тебе в деревне не будет, питербуркой звать станут».

Филиппьевна опять вытерла глаза.

— А все равно — и сходила в Питер, а прозвище приросло. Питербуркой и помирать стану.

— Ты скажи, как в лесу-то одна зимой осталась.— Марья Петровна прослезилась.

У меня тоже что-то защекотало в горле.

— Так и осталась. Кругом ели, как медведицы на задних лапах выстали, а я одна посередь дороги. И вперед ступить боюсь, и назад ходу нету. Татонька-то у нас два раза говорить не любил... Спасибо людям. Меня как за руку до самого Питера вели. Выпрошусь у кого на ночлег, скажу, куда иду, только головами машут да охают. «Полезай ты, говорят, скорее, дитятко, на печь». А иной раз и подвезут, а когда подводы идут, и за подводами подбежу. Только один раз мужичок подшутил, не на ту дорогу направил. Дак уж его в деревне ругали. «Вот какой, говорят, бесстыдник, над кем смываться вздумал. Отольются ему эти слезы». А так что́ — грех обижаться. Приветили в каждой деревне. И молоком

накормят, и картошки на дорогу сунут. Хлебцом-то, правда, бедновато было — голодный тогда год был...

— Давай дак, не все приветили,— поправила Филиппьевну Марья Петровна.— Забыла, как у мужика-то заплатки отрабатывала?

— Дак ведь то уж где было-то. К Вологде подходила.

— Верно, верно, до заплаток-то ты еще к лету шла.

— Хошь не к лету. К весне. За зимой-то что бывает?

— Ну-ну,— с готовностью согласилась Марья Петровна.— Рассказывай. Про журавлей-то не забудь.

— Вишь вот, она и про журавлей помнит,— кивнула мне Филиппьевна, и темное морщинистое лицо ее осветилось улыбкой. Видно, очень уж дорого было ей это воспоминание.— Были, были журавли,— вздохнула она.— Я из дому-то зимой отправилась, а на Двину-то вышла — щука лед хвостом разломала. «Иди, говорят, прямо на весну». Вот и иду на солнышко. Тепло. Травка стала проглядывать, а потом и журавли полетели. И так мне стало тоскливо. К нам ведь журавли-то летят. Встану, голову кверху задеру: «Журавушки, журавушки, кричу, скажите нашим, что девку на дороге видели. Жива». Тата уж помирать собрался, вспомнил: «Я, говорит, сам, Олька, всю весну журавлей выспрашивал: не видали ли где мою девку?»

— Пишите, пишите,— наваливаясь на стол грудью, говорила мне Марья Петровна, вся взволнованная, мокрая от жары и переживаний.

— Чего сказки-то писать? Ему про гражданскую войну да про революцию надо,— вдруг подал голос с кровати Павел Антонович. Он, оказывается, не спал, а тоже слушал.

— Чего писать...— рассердилась Марья Петровна.— Про это тоже знать надо. В прошлом году из Ленинграда приезжали, сказки да старинные песни записывали. А я говорю, у нас бабушка есть — почище всякой сказки будет. Ну-ко, Филиппьевна, как тебе мужик заплатки-то ставил? — И Марья Петровна, предвосхищая дальнейший рассказ, весело подмигнула мне.

— Это уж, девка, близко к Вологде. Обносилась я, обтрепалась. Дорога сопрела, лужи выступили, а я все в катанцах бреду. Вот в одной деревне и выйди мне на-

встречу мужик. «Что, говорит, глупая, лето пугаешь? Есть, говорит, у меня сапожонки некорыстные — только заплаты поставить надо». Ну, я без памяти рада. «Ладно, говорит, дам я тебе сапоги, только уговор — за каждую заплату ты мне день с робятами повозишься».

Филиппьевна пожевала губами, криво усмехнулась:

— Много он заплаток поставил. Недели три я у него жила.

После этого старушка не без помощи Марьи Петровны припомнила еще несколько забавных случаев из своего многотрудного хождения, а затем, направляемая все той же Марьей Петровной, вошла наконец в Питер.

— Дома большие, каменные, и столько окошек в каждом доме — у нас во всей деревне столько-то не будет, сколько в одном тамошнем доме. А людей-то, господи, как воды льет. Лошадей-то скачет... А я с белым мешочком за спиной, батожок в руках, босиком, на само Невсько — главный пришпект — выкатила. Вот тут-то у меня ноженьки и отказали. Всю дорогу хорошо бежали, а на Невсько вышли — и отказали. Стою, с места двинуться не могу. Боюсь нырнуть-то в эдакой муравейник. Думаю, нырнуть-то нырну, а как вынырну? А мне суседа, Марьюшкина брата, разыскать надо. Дале догадалась: постой, ведь у меня бумажка есть, там все написано. Ну, бумажечку достала, держу в руках. А тата мне наказывал: «Ты, говорит, Олька, у бедных больше спрашивай — скорее скажут». А поди разберись, который тут бедный, который богатый. На кого ни погляди — все господа да барыни. Ну, нашелся один кавалер, сам прочитал. «Тебе, говорит, девушка, на Васильевский остров надо. Иди, говорит, все по Невському пришпекту, там цярьский дворец будет».— Филиппьевна подняла голову.— Видела. И цярьский дворец видела, и столб каменный. Стоит ли столб-то ноне? — спросила она у меня, и маленькие полинялые глазки ее на мгновение зажглись любопытством.— Вишь ты, все еще стоит,— покачала она головой.— Да и как не стоит. Каменной — чего ему деется.

Морщась, Филиппьевна попробовала разогнуться, потерла рукой поясницу.

— Вишь, вот где у бабушки Питер-то сидит. Так не-

доростком и осталась. Люди всю жизнь смеялись: «Стопталась, говорят, за дорогу».

— Ты про Питер-то расскажи,— опять начала подсказывать Марья Петровна.

Старушка поджала губы и строго посмотрела на нее.

— Чего про Питер-то рассказывать? Я ведь в Питер-то не на гулянку шла. Робятки что в Питере, что у нас в деревне одинаково пеленки марают.

— В няньках бабушка жила,— пояснила Марья Петровна.— Год у немца выжила.

Меж тем Филиппьевна уже поднялась на ноги. Марья Петровна засуетилась, открыла старинный буфет, зашуршала бумагой.

— Это гостинцы тебе. Ко дню рожденья,— говорила она, засовывая небольшой сверток в газете за пазуху Филиппьевне.

— А про главное-то и не сказала,— вдруг пробасил с кровати Павел Антонович.— Сарафан-то как?

— Купила,— с досадой ответила старушка.— Все Невсько обошла, а такой же, как у Марьюшки, купила.

— Ну, и подействовал сарафан на ребят? — Павел Антонович, видимо заранее зная ответ, захохотал.

— Подействовал. До пятидесяти годов в девках сидела.

Марья Петровна с непритворной сердитостью замахала на мужа руками — не растравляй ты, мол, старую рану, но Павел Антонович снова громыхнул:

— Не тот сарафан, наверно, купила.

Филиппьевна не сразу ответила, и бог знает, чего больше было в ее словах — неизбывной горечи или запоздалой насмешки над собой:

— Меня уж после люди надоумили. Не сарафаном, говорят, взяла Машка, а коровами. У отца-то ейного пять голов было, а у моего-то родителя в то лето ни одной.

Выйдя на крыльцо, Филиппьевна подняла голову и, поднеся к глазам сухую коричневую ладошку, поглядела на небо.

— Это на солнышко смотрит,— сказала со вздохом Марья Петровна.— Сколько, думает, зря просидела. Старорежимная старушка!

Припав к окну, я долго провожал глазами ковыляющую по песчаной дороге маленькую, одинокую в этот час на деревенской улице старушку. Шла она мелкими шажками, широко расставляя короткие негнущиеся ноги в кирзовых сапогах и важно, как на молитве, размахивая руками. Потом, дойдя до старого дома, она завернула за угол.

Пусто, совсем пусто стало на улице. Пахло лесным дымом, от песчаной дороги несло зноем пустыни, и только еле приметная цепочка следов, проложенная от крыльца к соседнему дому и все еще дымящаяся пылью, указывала на то, что тут недавно прошел человек.

Вот так же когда-то, думал я, проложила свой след на Питер безвестная пинежская девчушка. Давно смыт тот след дождями и временем. Скоро смоет время и самое Филиппьевну. Но хождение ее, как сказка, останется в памяти людей.

Да, хорошо это — оставить по себе хоть крохотную сказку, помогающую жить людям.

1961

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Ни одного не осталось, все там... А какой лес был! Петя, Ваня, Павел, Егор, Степа... Пять мужиков! Я, бывало, время рожать подходит, не про то думаю, как их всех прокормить да одеть, а про то, как за столом рассадить. Стол-то, вишь, у свекра был небольшой, на себя с хозяйкой да на сына делан, а меня в дом взяли — засыпало ребятами.

Ну, о старших я уж не говорю — тех война съела. На одном году три похоронки получила — вот как по мне война-то проехалась. И Егор тоже через войну нарушился — в плену у германца был. А Степа-то! Мизинец-то мой желанный! Тот уж на моей совести, того я сама упустила... Вот и не просыхаю. Какой уж — двадцать семой пошел, а я все точу себя, все думаю: ох, кабы спохватилась ты тогда пораньше, Офимья, не куковала бы теперь одна на старости. Ложусь и встаю с тем.

Ты когда из дому-то уехал? До войны еще? В тридцать восьмом? Ну, дак Степу-то ты и не помнишь. Я его в тридцать четвертом на беду родила. Все дети у меня хорошие были — ни на одного не пообижусь, а такого не было. Чистое золото! Сколько ему — девяти годков не было — помер, а мы с девкой не знали дров да воды. Все он. За скамейку станет — самого не видно, только пила зыкает. И за грибами там, за ягодами — не надо посылать сам бежит...

Вот это-то его старанье и сбило меня с толку. Я уж тогда на него глаза раскрыла, когда он кровью заходил. Как-то раз вышла утром за хлев — не знаю, из-за чего дома до бела света задержалась, так-то все и на работу и с работы в потемках, ребят в лицо по неделям не видишь — вот как мы в войну-то робили, а тут не знаю чего — задержалась. Смотрю — на, господи, снег-то в отхожем месте за хлевом весь в крови, и на бревнах тоже кровь намерзла.

Я в избу:

— Ребята, кто сичас за хлев бегал?

Молчат. И девка молчит, и парень.

— Признавайтесь, говорю, неладно ведь у вас. К дохтуру надо.

Тут Степанушко у меня и повинился: «Я, мама».

А я уж и сама догадалась, что он. Парень уж когда, с самой осени, небаской с лица. И день в школу сходит да три лежит. А раз прихожу домой — по сено ездила:

— Мама, говорит, ко мне сегодня птичка прилетала. Я лежу на лавке, а она села на стволочек рамы, да клювиком в стекло тук-тук и все смотрит, смотрит мне в глаза. Чего ей от меня надо?

— То, говорю, замерзла она, в тепло просится. Вишь ведь, говорю, стужа-то какая — бревна рвет.

А птичка-то, оказывается, не простая — смертная. С предупрежденьем прилетала: готовься, мол, скоро по твою душеньку прилечу.

В те поры, когда он, Степа-то, про эту птичку рассказывал, я и в ум не взяла: вся устала, примерзла — до птички ли мне? А вот когда я кровь-то за хлевом при белом свете увидела, тут я и про птичку вспомнила.

Побежала к бригадиру.

— Так и так, говорю, Павел Егорович, у меня парень порато болен — дай лошади в район к дохтурам съездить.

А бригадир, царство ему небесное — помнишь, наверно, Паху-рожу,— нехороший человечишко был, через каждое слово матюк:

— В лес, в лес, мать-перемать!.. Чтобы через час духу твоего здесь не было!

— Нет, говорю, Павел Егорович, кричи — не кричи, а повезу парня в больницу. Ты, говорю, и правов таких не имеешь, чтобы меня задерживать.

Павел Егорович стоптал ногами, войной меня гнуть:

«Я, что ли, войну выдумал?», а потом видит, война не помогает — бух мне в ноги:

— Что ты, говорит, Офимья, опомнись! Парень твой как-нибудь недельку промается, а мне ведь, говорит, за то, что лошадь в простое,— решка...

Я пришла домой, плачу.

— Ребята, говорю, что мне делать-то? Бригадир в лес гонит...

А ребята — что! Разве можно в таком деле ребят спрашивать?

— Поезжай, мама! Надо помогать братьям.

В ту пору у нас еще все живы были: и Петя, и Ваня, и Паша, и Егор.

Ну, поехала. Как не поедешь. Тогда ведь не просто робили — деньгу в лесу зашибали, а лесную битву с врагом вели. Так у нас про лесозаготовки внушали — и взрослым, и школьникам. Терпите! Поможем нашим сыновьям и братьям на фронте...

Ох, что пережито! Теперь начнешь вспоминать, не всяк и верит. Как, говорят, можно целую зиму прожить, и чтобы без хлеба? А мы не видали в ту зиму хлебного — все, до зернышка, на войну загребли. Да и картошки-то было не досыта. Одного капустного листа было вволю. Вот Степа-то у меня через этот капустный лист и простудился, на нем здоровье потерял.

В покров прибегает из школы — как раз в ту пору затайка исделалась, на полях снег водой взялся:

— Мама, говорит, люди на колхозном капустнике лист собирают. Нам бы, говорит, тоже надо.

— Надо бы, говорю, парень, да матерь-то у тебя из упряжки не вылезает.

А вечером-то с работы прихожу — на, изба-то у меня полнехонька листу. Анка сидит с лучиной, в корыте моет. А кто наносил, не надо спрашивать,— Степа. Лежит на печи — только стукоток стоит, зуб на зуб не попадает, начисто промерз. Сам знаешь, каково на осеннем капустнике по воде да по грязи бродить. Да в нашей-то обутке.

И вот сколько у меня тогда ума было. В лесу два сухаря на день давали — радуюсь. Ладно, думаю, нет худа без добра. Я хоть Степу немножко поддержу. Может, он у меня оттого и чахнет, что хлебного не видит... А вернулась из лесу — Степа-то у меня уж совсем худ. Я сухари на стол высыпала: Степа, Степонька родимый!

Ешь ты, бога ради, сколько хочешь. Хоть все зараз съешь...

А Степа за сухарь обеими руками ухватился, ко рту поднес, а разгрызть и силы нету.

— Я, говорит, мама, в другой раз.

Ну, я и лошадь не отводила на конюшню. Судите, хоть расстреляйте на месте — повезу парня в больницу!

Не довезла... Одну версту не довезла... Спуск-то перед районом помнишь? Большущая лиственница стоит, комель обгорелый. Ну дак у этой вот лиственницы Степина жизнь кончилась.

Стужа была, мороз, я все одежки, какие дома были, на него свалила, а тут, у листвы, немного приоткрыла.

— Степа, говорю, к району подъезжаем. Можешь ли, говорю, посмотреть-то?

А он сам меня просил: «Мама, скажи, когда к району подъезжать будем». Ребенок ведь! Нигде не бывал дальше своей деревни — охота на белый свет посмотреть.

И вот Степанушко у меня голову приподнял:

— Мама, говорит, как светло-то. Какой район-от у у нас красивый...

Да и все — кончился. Так на руках у матери дух и испустил.

Не знаю, не знаю, что бы тогда со мной было, наверно, заревелась бы тут, у лиственницы, а не то замерзла — страсть какой холодина был. Да хорошо, на мое счастье или несчастье, Таисья Тихоновна попалась, председатель сельсовета. Из района домой попадает. Пешочком. Так председатели-то тогда ездили. На своих. Лошадей-то на весь колхоз три-четыре оставляли, а остальных в лес, на всю зиму.

Хорошая у нас была председательница. Бывало, поблажки от ей не жди — в лес там, на другую какую работу сама гонит, а у кого горе в доме, похоронка, чего другое — там уж она завсегда. Первая причитальщица. Бывало, так и говорила: «Нечем мне вам, бабы, пособить, ничего сейчас у Советской власти нету, кроме слез да жалости». Ну и плакала, не жалела себя. А в другой раз, видит, слезой да жалостью человека не пронять, и поругает, побранит. Меня тогда не один день жучила.

— Сколько, говорит, еще реветь будешь? Сыновья на фронте, голодные, холодные, может,— рев им твой надо? Не забывай, говорит: ты матерь, да и над тобой мать есть. Всем матерям мати...

Ох, Таисья, Таисья Тихоновна... Сколько годов минуло! Самой уж, наверно, лет двадцать в живых нету. Скоро после войны свернуло, надорвала, видно, на нашем горе сердце, а я все с ней разговариваю — вслух, по ночам. Разговариваю да спорю.

Анна, дочи, проснется:

— Что ты, старуха дикая! Сказано тебе: война Степу съела.

— Да, может, и не война, говорю. Над старшими, говорю, мати не вольна, а малой-от возле меня был. Я недосмотрела.

— Да когда тебе было досматривать-то? Ты в лесу была.

— А что бы, говорю, случилось, кабы я на день, на два позже в лес выехала?..

Анне сказать нечего, да и утром вставать рано (скотницей робит), заорет:

— Да дашь ли ты мне спокоя? Когда у нас это кончится?

Я замолчу — беда, нервенный народ стал, все в крик, все в горло, а про себя думаю: никогда не кончится. До скончания века не кончится. До той поры, покуда материнское сердце живо...

1969

ПРОЛЕТАЛИ ЛЕБЕДИ

1

Когда у Авдотьи Малаховой заметили брюхо, пересудам, казалось, не будет конца. Как! Это на сорок-то третьем забеременеть? Да что она — с ума сошла? Без зубов, руки и ноги ревматизмом разворочены — да ей в пору об инвалидном доме думать, а не рожать. А главное — каким ветром надуло? Неужто это Василий памятку о себе оставил, перед тем как отправиться на тот свет?

Сама Авдотья, по правде говоря, не очень-то прислушивалась к этим пересудам. Пускай стрекочут — на то бабам и язык дан. А вот сумеет ли она благополучно разродиться? Не слишком ли поздно пришло к ней это счастье, о котором она мечтала всю жизнь?

Местная фельдшерица Дина, осмотрев ее, замахала руками:

— Не выдумывай. Поезжай в райбольницу. Может, еще не поздно...

И вот в это время нашелся в деревне человек, который ободрил ее,— Манефа, одинокая гулящая Манефа, года на три моложе ее.

— Рожай, Дуня. Не слушай никого. Им — что? — Она имела в виду баб.— У них лавки ломятся от ребят. А я бы вот хоть какую муку вытерпела, смерть бы приняла...— И, не договорив, расплакалась.

Вскоре Манефа опять заявилась к Авдотье, на этот

раз с подарком, который купила в райцентре на базаре.

— Вот, наглядное пособие тебе привезла,— весело сказала она и развернула блестящий лакированный коврик.

На коврике была щедро выписана полная румяная красавица с рыжими распущенными волосами и большими холмообразными грудями, с которых была приспущена нижняя сорочка. Красавица сидела, облокотясь, у раскрытого окна какого-то островерхого терема, похожего на старую заброшенную силосную башню, и томно смотрела вниз. А внизу, на озере, целовались два желтоклювых лебедя.

— Хороша картинка? Есть на что поглядеть? — прищелкнула языком Манефа.

— Да что и говорить. Баско,— согласилась Авдотья.

— Ну раз баско, владей.

И Манефа сама прибила коврик к стене над кроватью — и в сумрачной низкой избе вроде посветлело.

Прощаясь, она сказала:

— Вот, поглядывай почаще на эту картинку — таких же лебедушек родишь.

— Двух? — поперхнулась Авдотья.— Господь с тобой! Да мне лучше и картинки не надо.

Но картинка осталась на своем месте. И позже, когда Авдотья уже не могла ходить и часами лежала на кровати, она подолгу смотрела на двух желтоклювых целующихся лебедей.

А что ей еще оставалось делать? Шитье в руках у нее не держалось, ее замучили головные боли, бабы все на работе, Манефа тоже из виду пропала — опять, говорят, утянулась в город за каким-то хахалем, а разглядывать картинку все-таки было развлечением.

И в конце концов все вышло так, как предсказала беспутная Манефа: Авдотья, к всеобщему удивлению, родила двойню — девочку и мальчика.

Девочку назвали многообещающим именем Надежда. Хорошая подмога будет матери: крепкая, голосистая — с улицы слышно, как орет. Ну, а над именем мальчика и раздумывать было нечего: синюшный, как ни назови, все равно помрет. Это был общий приговор всех соседок, собравшихся на крестины. И поэтому, когда под окошком закачался знакомый облезлый заячий треух Паньки-пастуха, здорового придурковатого мужчины, кто-то, спо-

хватившись, сказал (надо же было все-таки назвать как-то ребенка, хотя бы для того, чтобы записать в сельсоветской книге):

— А вот Паисий идет. Чем не имя?

Так и назвали мальчика по имени придурковатого пастуха Паньки.

2

За четыре года Авдотья извелась начисто — совсем старухой стала. И все, конечно, из-за Паньки, потому что сил не было смотреть на ребенка. Голова большущая, лопоухая, а тельце хилое-хилое, каждое ребрышко наперечет. И все лежит — никак не может оторвать свою голову от подушки.

— Панюшка, скажи-ко, родимый, что у тебя болит?

Вздрогнет Панюшка, откроет беззубый рот, а через минуту, смотришь, опять глаза закатил — как будто он все время к чему-то прислушивается. Только уши одни и живут. Торчком стоят.

— Умрет, видно, у нас Панька-то,— сказала однажды Авдотья дочери.

Надька в слезы, в крик и до того зашлась — насилу успокоила мать.

— Не умрет, не умрет твой Панька — водись только хорошенько.

И верно, с того дня не отгонишь Надьку от брата. Кличет, часами разговаривает, тормошит так и эдак: вставай, вставай, Панька. А спать ложиться — горе: надо непременно с Панькой, да еще в обнимку — не потерялось бы это золото во сне.

И что бы вы думали? Была ли, нет какая польза от Надькиных стараний, а ребенок-то ведь начал оживать: и ручками, и ножками задвигал, и голову от подушки оторвал, а потом настал такой день — и на ноги встал.

Ох, уж этот-то день запомнила Авдотья!

Было это в троицу, как раз в ту пору, когда в деревне начинают первые веники резать. Ну и Авдотья не захотела отставать от людей. Утром сходила в лес за прутьем, а днем, управившись на скотном дворе, села вязать веники.

Тепло. Солнышко так славно припекает, ласточки разыгрались — под самым носом шныряют. А на озере-то шуму и гаму! (Дом Авдотьи стоял возле небольшого

озерка, и ребятишки с ранней весны до поздней осени не вылезали из воды.)

Да, сидела вот так Авдотья на крыльце — бездумно, с коленями зарывшись в пахучий березовый лист, сидела, вязала веники — и вдруг крики:

— Смотрите, смотрите! Бегемотик идет!

Она живехонько обернулась и — боже ты мой! Панька-то, Панька-то у нее — на ногах! Головенка белая качается, сам весь качается — как одуванчик выгибается под ветром, а ухватики свои все заносит, заносит — ковыляет к зеленому бережку.

Ребятишки повыскакивали из воды — и для них чудо немалое (все любили Паньку):

— Давай, давай, Бегемотик!

Но тут вырвалась вперед Надька — и она купалась в озере, схватила брата в охапку и кошкой на ребят:

— Не дам! Не дам Паньку! Мой Панька! Мой!

— Надеха, Надеха, глупая! — закричала Авдотья.— Не съедят твоего Паньку. Дай ты ему с ребятами-то поиграть.

Куда там. Надеха распалилась — близко никто не подходи. «Мой! Мой!» — да и только.

«Ну и характер у девки! — подивилась Авдотья.— И в кого она такая единоличница? Отец, бывало, последнюю рубаху готов отдать, сама она тоже завсегда всем делилась с бабами...» Но затем, поразмыслив, она успокоилась. Может, это и к лучшему, что Надька так привязана к своему брату. А что? Случись с ней, с матерью, что-нибудь,— на кого он обопрется в жизни?

3

К шести годам Надька выросла на загляденье. Краснощекая, зубы во весь рот, и вся как на пружинах — ни минутки не посидит на месте.

А уж сметливая, работящая! И все-то она знает, все примечает: и кто у кого родился, и кто куда пошел, и что в магазине дают. И дома пол подметет, и посуду вымоет, и самовар в грозу закутает — взрослый не всяк догадается.

И часто-часто, любуясь дочерью, Авдотья со вздохом переводила взгляд на сына. Нет, не то тревожило ее, что мальчик рос хилым да слабым. В конце концов, рассуж-

дала она, нынче не старое время. Хлеб рукам не дается — головой добывают. А вот что за голова у этого ребенка? Почему у него все навыворот?

Купила как-то Авдотья коробку цветных карандашей да бумаги.

— Нате, ребята, рисуйте. Привыкайте к ученью смала.

Надька — глаза загорелись — сразу за стол.

— Чего, мама, нарисовать?

— Чего-чего. Чего увидите, то и рисуйте. Вон хоть корову Матренину — видите, хвост задрала, по огороду бегает.

Надька взглянула в окошко, раз-раз — и нарисовала: дом с трубой, из трубы дым валит, а у дома корова — как полагается, с рогами, с хвостом.

— Так, мама?

— Так, наверно,— сказала Авдотья уклончиво.— Не больно-то много понимает твоя мама. Три зимы в школу ходила.

Затем она подошла к сыну: ну-ко, Панька, старанья много — сидишь, сопишь, карандаш слюнявишь — что у тебя?

Взглянула — и хоть плачь, хоть смейся: корова не корова, жук не жук, шесть ног торчит.

— Что ты, глупой! Сколько у коровы-то ног? Разве шесть?

— Так ведь она это бежит,— сказал Панька.

— Бежит, бежит,— передразнила Надька брата.— Ноги-то на бегу не растут, да, мама?

В другой раз послала Авдотья сына за травой. Надька в ту пору как на грех ногу гвоздем рассадила, а овца ревмя ревет в хлеву — только что объягнилась. И самой некогда — с мытьем разобралась.

— Давай-ко, Панька, выручай мать да сестру. Надо и тебе к работе привыкать.

Вот ушел Паисий за травой. Час ходит, два ходит — куда девался парень? Авдотья все бросила, побежала разыскивать. А Паисий, оказывается, дошел до первого куста, птичку какую-то увидел, да и все — и трава, и дом — из головы вылетело. Забыл, зачем и пошел.

И таких случаев Авдотья могла бы порассказать немало. Но она, конечно, помалкивала. Какая же мать будет выставлять свое детище на позор? Придет время — люди еще насмеются.

4

Весна в том году пала ранняя, дружная — снег сошел за одну неделю, и в озере вода стала прибывать не по дням, а по часам. Правда, само по себе это мало кого беспокоило: озеро не река. Ну, а вдруг на помощь к озеру да река придет? Что тогда? Ведь за озером, в низине, все богатство колхозное: скотные дворы. И поэтому, не ожидая, когда начнет показывать свой норов река, решили с заречной стороны соорудить заплот.

Народу собралось людно. Весело работать всем миром. Телеги, тачки. Детвора, как мураши, разбрелись по свежему песку. И вот под вечер, когда уже кончали насыпь, вдруг кто-то закричал:

— Лебеди, лебеди летят!

Где, какие лебеди? Это ведь в старину лебеди запросто летали, а сейчас разве только на картинках увидишь. Может, оттого и развелись эти коврики с лебедями чуть не в каждом доме?

А в вечернем небе и в самом деле пролетали лебеди. Высоко-высоко забрались лебедушки. Как две лодочки белые качаются в синем раздолье. А как стали к лесу приближаться, клич дали: принимай, земля. Целый день крыльями машем, пора и нам отдохнуть. И потянули, потянули к дремучему ельнику, туда, к Лебяжьим озерам, где кумачом разливалась заря.

— Ну, редкие гости прибыли. Что-то они принесли,— заговорили люди, когда лебеди скрылись за лесом.

— Надо быть, к холодам,— сказал старик Зосима.— Раньше так бывало: снег с лебединых крыльев сыпался.

К старому человеку как не прислушаться — и пока шли домой, только и думали-гадали: надолго ли зазимок? Сколько еще скотину взаперти держать?

За этим невеселым разговором (у кого весной с кормом не поджимает?) Авдотья и позабыла про Паньку. Все время парня держала на глазах, а тут стали к крыльцу подходить — одна Надеха за руку держится. Эту хлебом не корми, а дай послушать, что говорят взрослые.

— Тетеря глупая, где парень-то?

— Панька, Панька! — закричала Надька.

Она ревела, плакала навзрыд: никогда в жизни еще такого не было, чтобы Панька от нее хоть на шаг отстал,— все вместе. Но тогда, в первые минуты, Авдотье было не до жалости, и она готова была прибить эту ра-

зиню. А ну что с парнем случилось? Кругом вода — вешница,— долго ли до беды?

Авдотья сломя голову кинулась к насыпи.

— Паня, Паня...

И слава тебе господи, беду на этот раз пронесло! Стоит Панька на насыпи, как Иванушко-дурачок стоит. Кругом темень собирается, солнце уже село, вода внизу ярится (вышла река из берегов!) — взрослому не по себе. А он стоит, как к земле прилип. Ушанка на макушку съехала, сам как пенек маленький на ровном месте, и только личико белеет в потемках.

На что же это он так засмотрелся? Чем заворожил его этот красный лоскут зари над черным ельником, что он и глаз оторвать от него не может? Разве не видал он зари?

Боже ж ты мой, вдруг догадалась Авдотья, да ведь это он по лебедям сохнет. Их высматривает. И как она сразу не догадалась! Парень и раньше-то был помешан на птичках («Надя, постой, птичка села»; «Мама, подожди, птичка вон»),— а тут — подумать только! — лебедей живых увидел.

— Панюшка, Панюшка,— стала уговаривать Авдотья,— пойдем, родимый. Лебеди давно пролетели, а ты все стоишь. Разве можно так?

Ручонки холодные, штаны мокрые, под носом светит, а сколько бы еще стоял вот так на насыпи, ежели б не мать?

5

Вечером в тот день поужинали, попили чаю — все честь по чести, потом легли спать. Спали на полу. Кровать всех троих не умещала, а спать по отдельности дети не хотели, да и самой Авдотье как-то поспокойнее было, когда они были под боком.

Вот легли спать. Надька за день убегалась — как в воду нырнула. Хоть за ноги на улицу вытаскивай — не проснется. А Панька не спит. Лежит, затаился, как мышонок, меж сестрой и матерью, а не спит — Авдотья по дыханию чует.

— Панька, ты не замерз? Залез бы на печь.

Молчит.

— Ну раз не замерз, спи. Завтра рано вставать, на скотный двор пойдем.

— Мама,— вдруг услыхала она под самым ухом,— а куда они полетели?

— О господи, все-то на уме у него эти лебеди! — Авдотья широко зевнула (она уже засыпала), повернулась к сыну.

Лежит — и глаза настежь. Может, луна ему заснуть не дает?

Она встала, занавесила окошко шалью.

— Спи. Ночью-то спать надо, а не разговоры разговаривать. Глаза-то закрой, и я закрою — скорее заснем.

— Мама, а где они делают гнезда?

Нет, видно, не отступится, пока не расскажешь.

— На озерах. Раньше-то они тут, говорят, на Лебяжьих озерах гнездовали. А сейчас, наверно, передохнут за ночь да дальше полетят.

— Да-льше? А почему?

— Полетят-то почему? Да они, может, и рады бы остаться — крылья-то у них не железные, намахаешься целыми-то днями махать, да житье-то для них больно худое стало. Лес вырублен, люди кругом.

— А они людей не любят?

— Чудной ты, Панька! Воробей-дурак, и тот — фыр-фыр, а то ведь лебеди. Ладно, спи теперь.

— Мама, а ты видала их на озерах?

— Лебедей-то? — Авдотья задумалась, вздохнула.— Раз видела. Я еще девчушкой тогда была. Отец — твой-то дедушко — за клюквой повел меня. Рано вышли из дому. Я иду, глаза слипаются, как в потемках бреду. А дедушко вдруг остановился, за рукав тянет: «Дуня, Дуня, смотри-ко, вон-то что». Я попервости со сна-то думаю — льдина белая по озеру плывет. Примелькалось белое-то еще дорогой. Во́дяно было. Там снег под елью, тут снег. А они, лебеди-то, как увидали нас, всполошились, закричали, крыльями по воде забили, а потом как поднялись да прямо к солнышку. А солнышко об ту пору, как я же, только еще просыпалось, из-за елей выглядывало. Баско, красиво было,— закончила нараспев Авдотья и опять зевнула.

Панька вздохнул.

— Ладно, давай не вздыхай. Вырастешь большой — увидишь. Никифор-охотник говорит: каждую весну видаю.

— Мама,— опять спросил немного погодя Панька,— а эти озера, где ты была с дедушкой, далеко?

— Да нет, недалеко. Гумно-то старое за скотным двором знаешь? Ну так от того гумна три версты считается. Дорога все лесом-лесом, по холмикам да по веретейкам. Грибные, ягодные места. Вот уже лета дождемся — пойдем. И Надьку и тебя возьму.

Авдотья подтянула к груди одеяло, поправила бумазейный плат на голове — худая, застуженная у нее была голова, и она всегда спала в платке.

— Спишь, Панька?.. Ну и ладно, спи,— сказала она, не дождавшись ответа.

Затем осторожно, чтобы не потревожить сына, расправила ноющие в коленях ноги — на погоду, видно, разболелись.

Ну, слава богу, утихомирился.

И это было последнее, что она могла припомнить потом, вспоминая этот вечер.

6

Паньки хватились утром, а нашли только вечером. А между утром и вечером был день, длинный угарный день, насквозь прореванный и проплаканный Авдотьей и Надькой.

Они звали Паньку в два голоса.

— Паня, Паня, иди домой,— голосила со своего крыльца Надька.

А в это время с тем же истошным призывом металась по лесным дорогам Авдотья.

За ночь резко похолодало, задул сиверко, ельник расшумелся-разохался. Она кричит: «Паня, Па-а-ню-ушка». А ей в ответ: «У-у... а-а-а...»

И ни единого следочка на дорогах. Земля затвердела, как камень.

Авдотья сбегала до Лебяжьих озер — нету, проколесила наполовину Болотницу (не одна дорога зачинается за старым гумном) — тоже не видать. И снова, в который раз, вышла к старому гумну.

«Нет, видно, надо подымать народ, одной не найти»,— подумала она и вдруг увидела пастуха Паисия.

Паисий, громыхая топором, разбирал на дрова развалины старого гумна.

Авдотья горько расплакалась. Этот немтун-горемыка был страшно привязан к Паньке. Он, как дитя малое, об-

радовался, когда узнал, что в деревне появился второй Панька, и уж не жалел для него ни рук, ни ног. И зайца живого в лесу поймает, и ягоду первую принесет, и игрушки разные мастерит... Кажется, не было такого дня, чтобы Паисий, возвращаясь с поскотины, не принес бы для ребенка какую-нибудь дудочку, берестяной шаркунок или коробочку.

— Что же ты, Паисьюшко, топором-то машешь? — заговорила, захлебываясь слезами, Авдотья.— Где у тебя тёзка-то?

Паисий выкатил свои светлые кругляши, заулыбался, дурак.

— Пень бестолковый! — рассердилась Авдотья.— Разве улыбаться надо? Панька-то, говорю, где? Пропал Панька-то, ночью в лес ушел. Может, где сидит сейчас под деревом, замерзает, а ты зубы скалишь.

И спасибо Паисию. Нашел-таки немтун Паньку. Сколько раз пробегала она мимо озерины, разлившейся между Болотницей и Озерной, и не догадалась туда свернуть, а ребенок-то, оказывается, сидел там, под елью, в какой-нибудь версте от гумна.

Панька был в бреду. Его раздели, растерли спиртом, укрыли всеми одеялами, какие были в доме. И он лежал под одеялами, тяжело, открытым ртом дыша, весь горячечно-красный.

— Паня, Паня, не умирай,— охрипшим голосом умоляла его Надька.

И один раз, казалось, Панька приходит в себя.

— Надя, Надя, я их видел...

А потом снова удушье. Мутные, налитые жаром глаза его стали закатываться под лоб.

Авдотья пала на колени, протянула руки к скорбному лицу богородицы, тускло мерцающему в переднем углу.

— Царица небесная, яви чудо. Это я, я завела ребенка в лес. Сама ему дорогу указала.

Но чуда не произошло. Под утро, на рассвете, Панька умер.

7

Жизнь маленького Паньки, как весенний ручеек, прошелестела по деревенской улице. А велик ли след оставляет весенний ручеек? У кого удержится он в памяти? И Паньку забыли, забыли чуть ли не на другой же день после похорон.

Снова вспомнили о Паньке через три месяца, когда умерла Надька...

Нет, не то поразило всех, что за малое время смерть второй раз заглянула в Авдотьину избу — для этой старухи дороги не заказаны. Поразило всех другое — непонятная, загадочная болезнь ребенка. Девка здоровущая, краснощекая, язык, как колокол, подвешен — кому и жить, как не ей! А она, как схоронили братца (будь он не к вечеру помянут, заморыш), начала сохнуть-сохнуть, и ни врачи (из района привозили), ни старухи знаю-

щие — никто не мог помочь. Так и засохла, как травинка при дороге.

Вот об этом-то больше всего и было разговоров в день похорон. Что за болезнь у ребенка? Какая-такая немочь источила девку? Тоска по брату? Верно, замечали, и Авдотья жаловалась: тоскует девочка. Кажинный день сидит у окна и все смотрит-смотрит на улицу, а потом и заговариваться стала: «Паня, Паня, иди домой».

Да, может быть, и тоска — знакома людям эта сухотка. А все-таки плохо верилось, чтобы в ее-то годы да умирали от тоски.

1963—1964

МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА

1

Ох, уж эта медвежья охота! Ведь, кажется, заранее знаешь: опять ни черта не выйдет, опять только зря ноги намнешь... А все равно: услыхал про медведя — и где твои зароки?

На этот раз получилось так. Познакомили меня с Капшиным, директором районного Дома культуры, а в кабинете у него, перед столом,— косматая шкура, хвастливо выставленная напоказ. Где, кто убил? Сам. На овсах.

На овсах? В поле? Я знал, как обкладывают медведя в берлоге, знал, как ставят на него капканы и петли из железного троса, темными осенними ночами мне раза два приходилось подстерегать этого хищника в поскотине у задранной коровы, но охота на овсах... Нет, такой вид охоты для меня, выросшего под Полярным кругом, был внове.

Из райцентра мы выехали вдвоем на попутной машине, но скоро нас было уже трое. По дороге к нам присоединился Захар Воденников, председатель промартели. Много их, служилых людей, пылит по субботам от райцентра. Кто на велосипеде, кто на мотоцикле, кто на грузовике. С коробьями, с пестерями, с ведрами. И все катят в колхозные леса, с тем, чтобы подзаправиться даровым провиантом на зиму. Потом, когда мы приехали в Ширяево (дальше надо было топать «на своих»), к нам в компанию стал напрашиваться еще один человек — старый учитель-пенсионер Евлампий Егорович, у которого мы остановились. Капшин — добрая душа — принял и его: «Шире фронт».

Короче говоря, на Корнеевский починок мы отправились целой бригадой, а точнее сказать — инвалидной командой. Евлампий Егорович по-стариковски с палкой; у Захара Воденникова одышка, и мясистый затылок до того раскалился — хоть спичку зажигай; а у меня своя беда — раненая нога подвертывается в грязи. Один Капшин из нас был здоровяк, да и тот, как я вскоре убедился, не охотник. Идет, горланит на весь лес — демонстрирует нам свои таланты: и зайцем гукнет, и лисой проверещит, и филином расхохочется, а если вспорхнет где рябчик или прошмыгнет под елями красноперая кукша — сразу за ружье. И бух-бух из двух стволов.

Но еще больше я приуныл, когда мы вышли к самому починку. Я-то себе представлял этот починок так: маленькое полько с овсом, этакий желтый лоскуток, сдавленный со всех сторон дремучим ельником,— словом, починок так починок. А тут, гляжу — поля, поля... Изгородь со столбовыми воротами... Коршуны плавают в небе... А там что сереет вдали, за кустами? Похоже на крышу дома. Неужели дом?

— Дом,— спокойно подтвердил Капшин.— Тут их раньше девятнадцать было.

У меня буквально глаза на лоб полезли. Как? В деревне на медведя охотиться?

— Да, может, вы не верите, что и медведи тут есть?

Капшин, решительно шагая, повел нас вдоль кромки овсяного поля, густо обросшего молодым березняком.

— Ну? Что это, по-вашему?

Овес по краю смят, выброжен — это верно. Но почему именно медведем? Сколько-нибудь четкого следа на песчаном поле не было.

— Ладно. Пойдем дальше.

Мы прошли еще немного в сторону леса, и вдруг Капшин остановился, молча ткнул пальцем в землю.

Огромная куча черного помета!

Да, тут был медведь — сомнений у меня больше не оставалось. И был недавно, не раньше как дня два-три назад: помет еще «живой», густо мошкарой облеплен.

Сразу все приумолкли, посерьезнели. Тут же, не отходя от медвежьей кучи, устроили короткий совет. Лучше всего, конечно, было бы залечь в том, дальнем, углу, где овсяное поле скатывается в еловое сыролесье. Самое подходящее место для выхода зверя. А в нашей стороне сухо, березы на опушке. Но времени у нас было в об-

рез — солнце вот-вот начнет хвататься за вершины. А кроме того, там, в сыром углу, сегодня, по мнению Капшина, наверняка будут охотники — в прошлую субботу, как он выяснил в Ширяеве, были. Короче говоря, решено было остаться здесь.

Не теряя времени, мы перезарядили ружья «жаканом» и стали намазываться жидкостью от комаров — избави боже шевельнуть рукой, когда ты будешь на ла́базе!

2

Охотник без веры — не охотник. И, может быть, поэтому все охотники опьяняют себя разными небылицами. И мне тоже хотелось верить в удачу.

Вот сижу я на березе, на ерундовой дощечке, прикрученной ржавой проволокой к сучьям, это и есть ла́баз, сооруженный каким-то легкомысленным охотником до меня,— сижу окаменело, с двустволкой на коленях (курки взведены), и под ногами у меня вызолоченный вечерним солнцем овес, до которого так охоч медведь, и кругом тишь первобытная — с комарами, с дымкой тумана, которым уже закурилась березовая опушка над полем. И почему бы, думается, вместе с этим туманом — хорошее прикрытие — не выйти из лесу медведю? Ведь вышел же он в прошлом году к Капшину. И вот я приеду в Ленинград, и в кабинете у меня будет лежать такая же косматая шкура, что и у Капшина.

Но вслед за тем я смотрю на дальние кусты, на тесовую крышу дома — она розовая от заката,— и мне становится не по себе. И все опять неправдоподобно, все как во сне: и эти овсяные поля, дымящиеся красным туманом, и этот Евлампий Егорович, вон, как старый филин, затаившийся в черной разлапистой ели, и я сам, окутанный комариным облаком, похож на лесную нечисть...

Проверещала сорока где-то неподалеку слева, веером брызнула от меня, осыпая сухие листья, пернатая мелочь, и опять все замолкло.

А туман все гуще и гуще. Погасла крыша в кустах — и там теперь тоже туман, густой, белый: так и кажется, что в деревне по случаю субботы затопили бани.

И еще приходит на мысль: вот увидит оттуда меня мужик, крикнет зычным голосом на все поле: «Слезай, дурак! Будя, посмешил людей-то».

Но никто не кричит оттуда. Глухо. Мертво. Виснет туман над озябшим полем, да первая звезда одичало смотрит на меня с вечернего неба...

3

Не знаю, выходил ли в тот вечер и в ту ночь медведь на овсы, но все равно мы бы не смогли его взять. Туман был такой плотный и так высоко поднялся над землей, что мы едва не заблудились в полях, отыскивая дом. Спасибо Евлампию Егоровичу. Здешние места знакомы ему с детства, и он каким-то собачьим нюхом угадал жилье. У предусмотрительного Захара Воденникова оказалась сухая береста (каждый по-своему пригодился), в темноте на ощупь отыскали дрова.

Когда разгорелся огонь, я сперва увидел мокрую рябину с обломанными нижними ветвями и красными кисточками ягод, потом пламя стало ярче, и за рябиной проступили бревенчатые стены. Рам нет — черные провалы вместо окон.

А слева от нас, за травянистым проулком, был тоже дом и тоже без окон, и такой же густой туман окутывал его.

Капшин, задумчиво похрустывая сухарем, посмотрел в черноту августовского неба.

— Да, два доходяги остались. А раньше тут целая деревня была, девятнадцать домиков... Скоро и этих не будет. Прошлой весной охотники спалили один дом. Додумались, суки, у огонька в избе погреться.

— Ну, а хозяева?

— Что — хозяева? Разбрелись. Кто на лесопункт — тут недалеко, километров шесть, кто подальше тягу дал, а кто в Ширяево. Евлампий Егорович, сколько к вам переехало?

Старый учитель подумал:

— Пятеро.

— Ну, вот видишь. Не захотели в большое село переезжать. А почему? Чего они здесь видели? Ни кина, ни клуба. И детям в школу за девять верст...— Капшин, держа над огнем отсыревший ватник (мы все сушились), покачал головой.— А между прочим, в лесу, в лесу жили, а народишко ничего был — сознательный. Я в райкоме работал. Заем, скажем, или хлебопоставки,— у нас с этим починком никакой волокиты. Раз надо, так надо.

Жили, правда, они подходяще. Можно сказать, в масле купались.

— Так ведь их сметанниками и звали,— уточнил Евлампий Егорович.— Бывало, дегтя нету — на сметане едут. Все меньше ось горит. Дед Корней мастак был на такие штуки. У него и первая изба тут была на свой манер. Околенки маленькие, под самой крышей...

— Вот как! — удивился Капшин.— Вы, Евлампий Егорович, и первую избу помните? А я-то думал — этому починку лет сто, не меньше.

— Нет, меньше,— ответил старый учитель.— На моей памяти дело было. Помню, хорошо помню первую корнеевскую избу. Раз пошли мы с мамой по ягоды. А мама у меня ходок в лесу была неважный — заблудились. И вот кружим, кружим по лесу. Я, ребенок, плачу, мама плачет,— далеко зашли. И вдруг видим — в лесу изба. Новая. И дым из трубы. «Ну, слава богу,— говорит мама,— теперь-то, Евлашка, не пропадем, к Корнеевой избе вышли...» Я как теперь вижу эту избу...— Евлампий Егорович поводил вокруг стариковскими глазами, словно отыскивая то место, где стояли Корнеевы хоромы, помолчал.— Да, занятная была изба. Бревна толстые-толстые, в обхват, а окошечки малюсенькие, ну, прямо как в бане. И я еще, помню, спросил тогда у мамы: зачем, говорю, такие маленькие окошечки? «А затем,— говорит,— что стекла меньше надо. Корней заново строится, каждая копейка вперед рассчитана. А еще,— говорит,— комар не так поползет в избу». Страсть тут комара было. Лешье царство... А потом недалече от избы мы и Корнея увидели. Лес с сыновьями корчует...

— Крепкий старик был?

— Крепкий. Росту — не скажу чтобы большого. Среднего. Даже чуть поменьше. А медвежья сила была у человека. Ведь это все его руками разворочено.— Евлампий Егорович для наглядности сделал рукой полукружье.— Бульдозеров тогда не было. Правда, семейка у него была соответственная. Семеро детей, и все семеро — мужики. Сам Корней на волос был темный, а сыновья не в него, в мать. Все, как один, светловолосые и росляки парни.

— А это точно,— с улыбкой кивнул мне Капшин,— весь починок тут был светловолосый. Помню, бывал.

— Нет, не весь,— деловито поправил его Евлампий Егорович.— После Корней сманил к себе двух мужиков

из соседней деревни — те другой породы были... Совсем другой...

— Ладно, ладно,— живо перебил старика Капшин, видимо, как и я, боясь, что он со свойственной ему обстоятельностью переключится сейчас на этих мужиков.— Давай про Корнея. Как вас принял Корней?

— А чего принимать? На расчистке пни с сыновьями корчует — до нас ли ему? Подошел, поздоровался с мамой и прямо к делу: «Вот что,— говорит,— Аграфена. Отдай,— говорит,— за моего Петруху Тоньку». А Тонька — это моя сестра, на пятнадцатом году. Какая еще невеста? «Ничего,— говорит,— годик подождать можно».— «Нет уж,— отвечает мама,— тебе, Корней Иванович, работницу надо, а Тонька у меня слабая. Не отдам свою дочь вам на муки. Одна она у меня».— «А это,— говорит,— верно ты сказала, Аграфена. Не на сладкую жизнь возьмем твою Тоньку. Видишь,— говорит,— сколько у меня дела. Мне,— говорит,— девка нужна такая, чтобы спереди была баба, а со спины — лошадь». Запомнил я эти слова: «Да чтобы каждый год по мужику рожала. А Тоньку твою,— говорит,— я видел в работе. Подойдет. Готовься,— говорит.— Осенью приедем».

— Вот черт! — с чисто детским восхищением воскликнул Капшин.— Так и сказал?

— Да, так и сказал. Но Антонину, мою сестру, в то лето дядя в Вологду увез, в прислуги определил — тем и спаслась. А если бы не дядя — быть бы мне сродником Корнея Ивановича. Корней Иванович от своего слова не отступался. Раз определил, что девка для его семьи подходяща,— все. Приедет в деревню, посватается, честь соблюдет. Идет девка своей волей — хорошо. А нет — и так возьмет. Нагрянет это своей лесной ордой, девку в сани, в телегу — только и видели. Главное ему было высмотреть. Чтобы девка подходяща была. Ежели надо, и за тридцать, и за сорок верст скачет. Один раз мужики его за эти выходки едва не убили.

— Да ну?! — воскликнул Капшин.

— Точно. В петров день дело было. Мы с ребятами бегали на улице, и вдруг крик на всю деревню: лесовики Маньку Прохора Кузьмича увезли. А народ о празднике, сами знаете, шальной, пьяный. Топоры, колья похватали да на починок. А на починке тоже не спят. Коренята-бородачи стеной стоят. И тоже с топорами. Ну, Корней Иванович нашелся. Из ружья выстрелил и с медалью к на-

роду вышел. Медаль ему за расчистки была пожалована. «Что вы,— говорит,— дураки,— это мужикам-то.— Опомнитесь! Я,— говорит,— российское дело делаю, землю из-под леса добываю. А вы на меня войной. Уйдите,— говорит,— ради бога, от смертоубийства...» Ну, Прохор Кузьмич, отец Маньки, видит такое дело,— на попятный: девка все равно ославлена. Поздновато кулаками махать. Раньше надо было меры принимать. Корней подавал ему сигналы. Предупреждал насчет Маньки...

— Да,— задумчиво сказал Капшин,— характер. «Российское дело делаю...» А что, пожалуй, что и так. Не сама же Россия распахивалась. Кто-то ее расчищал от лесов, от дебрей. В старину, сказывают, не то что у нас, на Севере, под Киевом леса непроходимые были. Илья-то Муромец там Соловья-разбойника словил. Так ведь, Евлампий Егорович?

Евлампий Егорович молча кивнул, с сухим шелестом потер свои стариковские руки над огнем. Захар Воденников, все время слушавший его с полуоткрытым ртом (он был туговат на ухо), глубоко вздохнул и достал пачку «Севера». Но закуривать раздумал.

Капшин положил на огонь новую валежину — косяк от дверей с железным пробоем. Возле пробоя в косяке небольшие ямки. Это от рук, от их многолетнего касания к дереву...

Я посмотрел на дом с рябиной. Крыльца нет. Наружных дверей в сени нет. К порогу приставлена плаха, и по ней теперь поднимаются в избу.

И вдруг я услышал:

— А я этого Корнея в тридцатом году раскулачивал.

Капшин, сидевший со мной рядом на бревне, вздрогнул и дико уставился на Захара Воденникова.

— Да, повозились мы тогда с этим починком,— сказал Захар Воденников.— Главная загвоздка у нас в том вышла, под какую статью подвести. Старик на законы все напирал. «Вы,— говорит,— сперва докажите, что я эксплуатировал...» Дошлый старик...

Евлампий Егорович начал подыматься.

— А что, ребятушки, не пора ли нам на покой?

Мы встали.

Захар Воденников, прежде чем расстаться с огнем, вытащил из-за пазухи две заранее приготовленные ватные затычки и заткнул уши.

— От командировок у меня это,— пояснил он, встре-

тившись со мной взглядом.— В командировках здоровье растряс. Считай, с тридцатого, с того самого, на руководящей...

4

В ту ночь мы долго не спали. Дело в том, что едва наша компания разместилась в избе, на полу, у порога, как снаружи, под окошками, раздались голоса.

— Охотники,— сказал Капшин.— Это те самые, которые в том сыром углу сидели. Помните, я говорил?

Гулко, с топотом забухали сапожищи в сенях, снова завизжала неподатливая дверь, которую мы едва открыли.

— А, так вот кто нам охоту испортил! — сказал весело один из охотников, освещая нас спичкой.

— Подходил медведь? — спросил Капшин.

— Подходил. Ко мне подошел вплотную. Ну, извернуться не́как было. С тыла, сволочь, вылез.

— Будет тебе заливать-то, Пашка. Все равно никто не поверит.

— Не верь. А я возьму. Измором возьму. Сегодня овса не поел, вчера не поел, а завтра выйдет.

— Балда ты, Пашка. Пропадет медведь в лесу без овса.

— А вот посмотрим.

Шурша в темноте сеном, охотники поставили ружья в угол к печи, начали устраиваться на полу рядом с нами.

— Окна-то бы, ребятки, не мешало чем прикрыть. Хоть бы в головах. К утру продует,— рассудительно заметил один из охотников, по голосу тот, который осаживал Пашку.

— Ну уж это пускай Иван,— огрызнулся Пашка.— А я на ощупь не могу.

Вышел какой-то человек, наверно, тот самый, которого звали Иваном. За дверью скрипнули половицы, и там все смолкло.

— Ловко ему в своем доме,— сказал Пашка.— Не надо фонаря. Вишь ведь, как летучая мышь в темноте.

Капшин, толкнув меня, привстал.

— Это что у вас за Иван? Не хозяин здешний?

— Он. Корнеев внук.

— Вот как! Иван Мартемьянович?

— Да вроде бы. А ты кто? Откуда его знаешь?

— Ну как же,— взволновался Капшин.— Я к ним сю-

да по займу приезжал. И он еще моему коню подкову поправил.

— Он и сейчас кузнечит.

— Где? На лесопункте?

— На лесопункте. Вот переночуем — и на работу.

— Так, так,— с философским глубокомыслием заключил Капшин.— На лесозаготовках, значит. А брательники его Мирон да Михей живы?

— Померли.

Тем временем в избу вернулся Иван. Два боковых окошка прикрыл ставнями. Мне очень хотелось взглянуть на этого человека, но я не решился зажечь спичку. В темном углу зашуршало сено. Глухо стукнули сапоги о пол. Потом вздох. И все стихло. Иван улегся.

— Ну как, Иван, на родительских-то пуховиках? Мягко?

— Брось, Пашка! Ты опять за свое? Опять начинаешь травить человека. Вот бы я посмотрел, как ты на его месте. Ежели бы это твой дом...

— Хэ,— беззаботно рассмеялся Пашка.— У меня сроду своего дома не было. И не будет. Что я — дурак? Руки, ноги есть, а казенная фатера найдется.

— Дурак ты, Пашка! Ох, дурак! В тридцать лет пора бы и шариками шевелить.

— А я что — не шевелю? Лежит тут, сопит под боком. Развздыхался. А кто ему велел на лесопункт драпать? Я, скажи? Небось в Ширяево не переехал. Ну? Какого хрена, говорю, не переехал?

— А расчет? — отозвался глухой голос. И я понял: Иван.— Девять верст туда да девять верст сюда. Поля-то с собой не захватишь.

— Расчет, расчет... Все у вас расчет. А без расчета не можешь?

Тут в избе поднялся спор. Спор чисто по-русски — без начала, без конца. Про Ивана, конечно, сразу же забыли. Крупно, российскими масштабами заворочали.

Капшин с неожиданной для меня яростью стал доказывать, что такие глухие деревушки, как этот Корнеевский починок, обречены самой историей. И при этом, как и давеча, упор делал на культуру. Чем тут дышать человеку в век космоса? А молодежь? Будет нынешняя молодежь жить той первобытностью, которой жил дед Корней со своими сыновьями?

Ему стал возражать рассудительный товарищ Ивана.

Без культуры нельзя. Культура нужна. А как же с землей? Сколько таких деревушек заброшено по всей России?..

Спорили еще долго. И так и эдак прикидывали — не развязали узла.

Пашка, тяготясь затянувшимся разговором, опять стал приставать к Ивану. Иван не ответил. Тогда Пашка накинулся на Захара Воденникова, который давно уже изводил нас своим храпом, похожим на бульканье и клокотанье нерестующих весной лягушек. Но разве пробьешься к нему сквозь ватные затычки?

Вскоре Пашка запосвистывал и сам. Капшин, дрыгнув ногой, тоже начал поддувать мне в затылок. А мне не спалось. У меня сна не было.

На улице за стеной потрескивает, дотлевая, костер. Красные отсветы дрожат в щелях боковых окошек. А что там, в переднем углу? Кто все время шуршит и скребется? Мыши развозились? Или это Иван не спит?

5

Я проснулся от холода.

Светало. Зевластая печь смотрит на меня. Но не гремит, не возится возле печи хозяйка. Не подает голоса со двора скотина. И мужики не торопятся в поле. Лежат, храпят, раскидавшись по всей избе...

Я тихонько поднялся и вышел на улицу. Боже, какой туман! Все заволокло — ни земли, ни неба.

По мокрой седой траве я срезал заулок и вышел напередки соседнего дома.

Углы дома обшиты тесом, на тесе следы давнишней краски, фундамент из толстых просмоленных стояков — основательно, надолго строили...

Потом, подняв голову кверху, я увидел грудастый конек-охлупень. Глядит, смотрит на меня из тумана деревянный конь. С конька свешивается веревочка с остатками засохшей и почерневшей рябины — такие связки, или садки, как их еще называют, по всему Северу раньше вывешивали на домах. Вкусна, сладка примороженная рябина, и от угара — первое средство...

Вдруг мне показалось, что в глубине дома кто-то ходит. Что за чертовщина? Не домовой же бродит по пустому дому? А шаги все отчетливее, все ближе — тяжелые,

с шарканьем. Вот скрипнула половица, вот что-то упало, по звуку — в сенях.

Я завернул за угол и выжидающе уставился на крыльцо.

Вышел человек — высокий, светловолосый. В ватнике. Голенища резиновых сапог отогнуты.

«Наверно, это Иван»,— подумал я и, когда человек подошел ко мне, спросил:

— Что, не спится?

— Привычка. Раньше мы, бывало, рано вставали.

Так вот она какая, корнеевская поросль!

Я вспомнил ночной разговор в избе.

— Который же все-таки ваш дом?

— Мой? А оба мои. Тот вот, в котором ночевали, моего отца, а этот — отца Марьи, моей жены.

— Интересно...

— Что — интересно? Что оба дома пустуют?

— Да нет,— смешался я под пристальным взглядом Ивана.— Редко все-таки сосед на соседке женится.

— А у нас так. Нас окрутили с Марьей, когда еще дома эти строили. Ребятами, считай. Давай, говорят, счастье к счастью.

— Давно это было?

— А-а, что про это вспоминать,— отмахнулся Иван и опять пристально посмотрел на меня.

Затем прошел к своему дому, снял со стены ведерко из белой жести.

— Ежели умываться, то за мной.

Туман все еще плотно висел над землей, но кое-где уже всплыли верхушки кустов. Идти неприятно, мокро. Старая раскисшая трава бьет в колени, а сапоги у меня с короткими голенищами.

— Что же здесь? Не косят теперь?

— Не успевают,— ответил, не оборачиваясь, Иван.— Вот только с некоторых полей убирают. Да и то разве это хлеб? У нас, бывало, тут рожь такая — поляжет, бабы стоном стонут.

Неожиданно, так, что я едва не натолкнулся на него, Иван остановился. Посмотрел на ольшанинку, вынырнувшую из тумана перед самым носом, посмотрел вокруг.

— Вот как она, сука, уже на пожню вылезла.

Скулы у него побелели. Он потянулся рукой к ремню, видимо, по крестьянской привычке за топором — нету, ударил ногой. Ольшанинка хрупнула. Иван рванул ее на

себя, отбросил в сторону, затем отвернулся от меня, стал вытирать о ватник руки.

Стало слышно, как внизу, в тумане, рокочет ручеек.

Я направился было прямо, но Иван окликнул:

— Вода на питье повыше. А там раньше коней поили.

Спуск к ручейку выложен булыжником, с боков перильца березовые, еще довольно крепкие. А внизу, в зарослях ивняка и смородины, как бы чаша: по краям крупные темные камни с зелеными косами, а серединка чистая, прозрачная, с песчаным донышком, с похрустывающей дресвой — бьют ключи.

Иван зачерпнул пригоршней воды, отпил.

— Зуболом вода. В войну где ни был, а такой воды не встречал.

— Тянет, значит, домой?

— Меня-то? Сам-то бы я ничего. Обжился. А вот женка у меня...

Он наполнил водой ведерко, плотно закрыл его крышкой.

— Это вот для нее, для Марьи. Лежит пластом, ноги отнялись. А как попьет своей воды — вроде полегче, вроде оживет немного...

Уже на обратном пути, раздумывая о судьбе этого человека и его жены, я спросил, почему же он не сделает, как другие,— не перевезет дом на лесопункт. Ведь так же пропадет. Да и Марья, должно быть, в своем доме не так будет скучать.

На это Иван ответил:

— Хотел было. Жена не хочет. Думает все как-нибудь тут, на починке, умереть.

Помолчал и добавил глухо, провожая прищуренным глазом ворону, неуклюже слетевшую со старого прясла:

— Вот и у ней, видно, такая же думка. Человек жилье бросает, и ворона бросает. А эта не улетела...

Туман заметно опал. За домами красным пятном вставало солнце.

Когда мы вышли в заулок, там уже снова потрескивал огонь, и все были на ногах. Товарищи Ивана стояли с ружьями. Один из них — постарше — подал Ивану ружье, а другой, Пашка, прощаясь с нами за руку, бесшабашно острил:

— Чур, только нашего медведя не убивать. Наш-то приметный — у него два уха на голове...

Булькнула вода в жестяном ведерке. Иван, по-крестьянски сгорбив плечи, зашагал на задворки.

Пашка крикнул:

— Фу, полоумный! Опять повел новой дорогой! — И кинулся догонять товарищей.

И вот зашлепали, зашаркали резиновые сапоги в тумане. А людей не видно. Людей нет. Только раз на каком-то пригорке вспыхнула светлая, вся в солнечных искрах, голова Ивана и погасла.

А мы все стояли-стояли и глядели туда, в ту сторону, куда ушли охотники. И все мне казалось, что я слышу какой-то странный щемящий звук, похожий на бульканье воды в жестяном ведерке.

С крыш, кустов капает? А может, это оттуда, снизу,— родничок взывает к нам?

1963—1964

МОГИЛА НА КРУТОЯРЕ

1

Помню деревенское кладбище в жарком сосняке за болотом. Помню мать, судорожно обхватившую песчаный холмик с зеленой щетиной ячменя. Помню покосившийся деревянный столбик с позеленевшим медным распятием и тремя косыми крестами вместо букв...

И, однако, не эта, не отцовская могила видится мне, когда я оглядываюсь назад.

Та могила совсем другая.

Красный деревянный столб, красная деревянная звезда, черные буквы по красному:

БЕЛОУСОВ АРХИП МАРТЫНОВИЧ,
ТЫ ОДНА ИЗ ЖЕРТВ КАПИТАЛА!
СПИ СПОКОЙНО,
НАШ ДРУГ И ТОВАРИЩ.

Сколько лет прошло с тех пор, как я впервые прочел эти слова, а они и сейчас торжественным гулом отзываются в моем сердце. И перед глазами встают праздники, те незабываемые красные дни, когда вся деревня — и стар и мал — единой сбитой колонной устремлялись к братской могиле на крутояре за церковью. По мокрому снегу, по лужам, спотыкаясь и падая на узкой тропе. И во главе этой колонны — мы, пионерия, полураздетая, полуразутая, вскормленная на тощих харчах первых пятилеток.

Но кто из нас посмел бы застонать, захныкать! Замри, стисни зубы! Ты ведь держишь экзамен. Экзамен на мужество и бесстрашие. Самый важный экзамен в твоей маленькой жизни...

Речь на могиле держал старый партизан.

Коряво, нескладно говорил он. И я ничего не помню сейчас, кроме выкриков: «Смерть буржуазной гидре!», «Да здравствует мировой пожар Октября!» Но тогда... Как будоражили тогда эти выкрики ребячью душу!

Не было солнца, валил мокрый снег или хлестал дождь — в наших местах редко бывает тепло в октябрьские и майские праздники,— а мы стояли не шелохнувшись. Мы стояли обнажив головы. Как взрослые. И мы не замечали ни мокрого снега, ни дождя. Нам сияло свое солнце — красная могила, осененная приспущенными знаменами. Не нынешними пышными бархатными полотнищами, расшитыми сверкающим золотом, а теми забытыми — узенькими полосками дешевого красного ситца, прикрепленными к некрашеному древку.

Митинг завершался пением Интернационала. А после Интернационала самое восхитительное для нас, ребят,— салют. Салют из дробовиков и наганов.

И, вздрагивая от грохота, всматриваясь восторженными глазами в распластавшийся дым над головой, мы, казалось, воочию переносились в те далекие вихревые годы, вместе с Архипом Белоусовым скакали в атаку...

Дома, едва переступив порог, я залезал на печь.

В щелях потрескивали тараканы. Ругалась мать, укрывая меня овчинным полушубком и растирая мои заледеневшие ноги. Но я был счастлив. Во мне звучала музыка революции. И мысленно я видел Архипа Белоусова, не живого и не мертвого, а эдакого былинного богатыря, на время заснувшего в своей могиле. И весь он с головы до пят покрыт знаменами, и красное сияние исходит от тех знамен, бьет мне в глаза...

2

Долго, годы и годы не был я в родных местах. И позади у меня пол-Европы, исхоженной в солдатских сапогах. И, казалось бы, что могло уцелеть во мне от того наивного и восторженного юнца, каким я отправлялся когда-то в большую жизнь из нашей лесной глухомани!

А помню, когда стал подходить к могиле на крутояре,

я, как прежде, замедлил шаг. И, как прежде, сухая и горячая волна перехватила мне горло...

Сосны на крутояре разрослись. Деревянная оградка почернела. Но где же звезда? Почему я не вижу красной звезды?

Я подошел поближе к могиле, и сердце у меня упало.

Торчит порыжелый столбик над плоским холмиком, похожий на обрубок соснового ствола, а звезды нет. Звезда приставлена к подножию столбика, и черные буквы уже не прочитать.

Я обошел оградку. Деревянные рейки кое-где сорваны с гвоздей, изрезаны буквами, а в одном месте была даже надпись, вычерченная гвоздем: «Володя + Надя»...

Из-за сосен слева, там, где виднелась начальная школа, шумно выскочили два босоногих мальчугана с деревянными автоматами у живота, бросили подозрительный взгляд на меня и построчили дальше. А на могилу Архипа Белоусова даже и не взглянули...

Вечером я пошел в сельсовет — днем он по случаю страды был закрыт.

Председательница, уже немолодая, целый день проработавшая на лугу баба — от нее так и несло жаром,— сперва не поняла меня. О чем это я так разоряюсь? О могиле? Да до покойников ли сейчас, когда чуть ли не из каждого окошка война зубы скалит?

Потом помолчала и, вздохнув, сказала:

— Да и не больно-то нынче ходим на крутояр. Это, бывало, как праздник, дак всем скопом к Архипу Белоусову, а нынче — нет, не ходим.

— Почему?

— А дорога-то туда забыл какая? Снегом да водой брести надо. Половина деревни гриппом переболеет. А народишко-то нынче и без гриппа качает. Да если правду говорить,— высказала еще одно соображение председательница,— и ораторов-то подходящих у нас нету. Много ли у нас политически-то подкованных красных партизан? Тут который год доверили Егору Ивановичу — слезой изошел. Всех расстроил. А настоящий момент не осветил. И правильно указал нам райком,— вдруг самокритично и в то же время назидательно, как бы цитируя решение райкома, закончила председательница,— нельзя революционные праздники превращать в панихиду...

Мне очень хотелось заново водрузить красную звезду на нашем крутояре, но где взять плотника? Шла третья

послевоенная страда. На весь колхоз, как горько шутили, было три с половиной мужика. И единственно, что я тогда сделал, это кое-как приладил старую звезду к столбу да очистил холмик от хлама и камней.

Года через два после этого, когда я второй раз приехал на родину, могила была приведена в порядок. Но как?

Звезды не было вовсе. Стоял синий приземистый столб, а на столбе доска, тоже синяя, и надпись белилами:

НА СЕМ МЕСТЕ ПОГРЕБЕН
КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
БЕЛОУСОВ АРХИП МАРТЫНОВИЧ.
СПИ СПОКОЙНО, ДЯДЯ,
МЫ ТЕБЯ НЕ ЗАБУДЕМ.

Мне не надо было спрашивать, кто это сделал. Феоктист, племянник Архипа Белоусова, которому когда-то отчаянно завидовала вся наша школа. Ведь в праздники этот самый Феоктист имел право стоять в оградке, в святая святых, держа в руках приспущенное над могилой школьное знамя, в то время как мы, его товарищи, за счастье почитали, если нам удавалось пробиться к оградке.

«Да что с ним произошло? — спрашивал я себя.— Да как он, сукин сын, мог так надругаться над дорогой могилой?»

За звезду я его не винил — не у всякого держится в руках топор. Но почему он заменил старую крылатую надпись? Неужели он мог забыть ее? А этот синий мертвящий цвет... Красной краски не оказалось под рукой?

В деревне Феоктиста не было, он жил и работал на лесопункте, и кого же я мог «взять за жабры», как не председательницу сельсовета, все ту же старую знакомую, усталую, вконец заезженную бабу, которая и на этот раз принимала вечером, после работы на поле.

По въевшейся за эти годы привычке она начала было с самокритических признаний, едва я раскрыл рот.

— Есть, есть у нас недостатки... Имеются...— закивала она головой, придавая своему лицу очень серьезное выражение. Потом вдруг взглянула на меня быстрым проницательным взглядом и, верно признав наконец, кто сидит перед ней, улыбнулась просто, по-бабьи.— Да что же это я, батюшко, все недостатки да недостатки... У нас

ведь нынче с этими партизанскими могилами слава богу. Каменные памятники скоро будут. Да, да, как в городе. Объявляли весной на районной сессии: в области заведенье такое открывают. Чтобы для всех районов наделать...

Это было в сорок девятом году, в июле месяце. А каменный памятник на нашем крутояре появился в июне шестидесятого. Через одиннадцать лет. И председательницы сельсовета к тому времени уже не было в живых...

3

Первый каменный памятник, который я увидел в нашем лесном краю, меня не очень обрадовал. Уж больно неказист и невзрачен. Пирамидка низенькая, меньше чем в человеческий рост, и — главное — из какого материала? Из серого цемента с мраморной крошкой. В общем, из того самого материала, из которого в ту пору начали отливать для новых городских домов лестничные марши и площадки.

Но председатель райисполкома, с которым я ехал в машине, решительно не согласился со мной.

— Материал крепкий. На века! — сказал он уверенно.

Настроение у председателя было отличное. Дела в районе шли неплохо, сам он был здоров и на хорошем счету у областного начальства, и ежели и раздражало что его в эти минуты, так это разве шляпа, теплая велюровая шляпа, которую он постоянно снимал со своей крепкой, гладко выбритой головы. Шляпы в то время еще только входили в моду у районного начальства, и председатель, всю жизнь проносивший полувоенную фуражку цвета хаки, не без труда осваивал новый головной убор.

— Прошлое надо уважать,— говорил мне председатель.— Вот от этих самых героев ведем родословную.— И при этом не преминул подчеркнуть, что кампания по упорядочению партизанских могил — он так и выразился — в его районе завершена раньше, чем у соседей.

Я молчал. Я слушал председателя, смотрел на его оживленное вспотевшее лицо и со страхом думал: неужели и на других могилах увижу то же?

Увы, мои опасения оправдались.

Мы проезжали одну деревню за другой — большие, средние, маленькие — и везде, решительно везде стояли одинаковые пирамидки из серого цемента с белой кра-

пиной. Низенькие, безликие и унылые. Как верстовые столбы на благоустроенной шоссейной дороге.

Наш крутояр, конечно, тоже не был исключением. Его будто обезглавили.

Бывало, с какой стороны ни подходишь к деревне, откуда на нее ни глядишь, а уж красную звезду заметишь. Ее не минуешь глазом. А сейчас — пусто, голо на крутояре, и серую верхушку каменной пирамидки, чуть-чуть возвышающуюся над деревянной оградкой, я начал различать только тогда, когда поднялся на крутояр.

Целое кладбище выросло за эти годы на нашем крутояре. Антон Аншуков, Тихон Аверин, Павел Быстряев, Ефим Мерзлый, Кузьма Федоров...

Всех этих партизан я знал с детства. И были они, как мне казалось, не лучше и не хуже других мужиков. Такие же земные и грешные: работать так работать, гулять так гулять. И не потому ли сейчас, оглядывая их могилы, простые песчаные бугорки, густо засеянные рыжей нападавшей с сосен хвоей, я не испытывал того восторга и трепета, который всякий раз охватывал меня, когда я стоял перед могилой Архипа Белоусова?

Медленно и бесшумно ступая по выстланной дерном дорожке, я подошел к ограде, открыл калитку.

Что такое? Где могила Архипа Белоусова?

Шесть фамилий выбито на лицевой стороне пирамидки, и только третьей среди них, совсем затерявшись в этом списке,— фамилия Белоусова...

Все так же, как в далеком-далеком детстве, за соснами полыхал багряный закат — казалось, сама вселенная склонила свои знамена над нашим крутояром, а могилы Архипа Белоусова не было. На месте ее торчал серый, унылый столбик, точь-в-точь такой же, как на десятках других могил.

И я смотрел на багровый закат, смотрел на этот столбик, густо исписанный ровными подслеповатыми буквами, и чувствовал себя так, будто меня обокрали.

4

В деревне оставался последний красный партизан — Лазарь Павлович Подшивалов. Человек по нашим местам знаменитый: в гражданскую войну был уездным комиссаром.

Я на всю жизнь запомнил тот день, когда Лазарь Павлович приезжал к нам в деревню. Был какой-то праздник — не то богородица, не то петров день — и мы, мальчишки, с утра дежурили у дома его брата.

— Тише, тише! Сейчас выйдет!

И вот он вышел, молодцеватый, сверкающий, весь в кожаных поскрипывающих ремнях. А на груди у него — за бои с Юденичем — орден Красного Знамени с красным бантом.

И мы, мальчишки, первый раз видевшие орден, завороженными глазами смотрели на него.

А потом Лазарь Павлович играл с мужиками в рюхи. Палки были огромные, с хороший чурак, и вся деревня, собравшись поглядеть на редкого гостя, дивилась его силе и ловкости.

И еще я запомнил, как провожали Лазаря Павловича. По улице мчалась, словно выкованная из красной меди, пара рослых лошадей, а мы, мальчишки, неслись в пыли, падали, вскакивали и снова бежали.

С тех пор я больше не видел Подшивалова. Он жил в краевом центре, занимал видную должность, потом работал в Москве, на новостройках, потом долгие годы о нем ничего не было слышно...

И вот сидит сейчас передо мной одинокий старик, приехавший умирать на родину. Последний красный партизан в нашей деревне.

Меня поразила скромность и даже убогость его жилья. Стол накрыт газетой, деревянная койка застлана серым солдатским одеялом. Как будто тут были все еще двадцатые годы. И портрет Ленина на передней стене — известная фотография вождя, читающего газету,— был украшен тоже в духе того времени — двумя еловыми ветками, перевитыми красной ленточкой.

Ветки были зеленые, свежие, от них хорошо пахло смолой, и передо мною сразу же воскресли наши далекие красные праздники, и я без всяких предисловий заговорил о том, что меня мучило. Я так и сказал:

— Лазарь Павлович, что же это с могилой-то Архипа Белоусова сделали?

— А что? По-моему, неплохо. Был я недавно.

— Неплохо? Ну, знаете, свалить в одну общую кучу со всеми!..— И тут я стал запальчиво говорить о том, что значила для меня, для моего поколения могила Архипа Белоусова.

Лазарь Павлович спокойно выслушал меня, сказал:

— Зря вы так. Зря. Ведь и те пятеро, которые нынче с ним, тоже проливали свою кровь за Советскую власть.

Я был согласен: историческую справедливость восстановить надо, тут я, что называется, обеими руками «за». Но разве это дело, что список красных партизан, выбитый на пирамидке, возглавляет нынче Антон Аншуков? Неужели Лазарь Павлович не знает, в каких отношениях с зеленым змием был этот человек?

— Ну, насчет того, что Антон Аншуков правофланговым на памятнике оказался, я думаю, это правильно,— сказал Лазарь Павлович.— Он в те годы тоже на правом фланге был. Помню, раз послали его за языком в тыл к белякам, в родную деревню, так он что сделал? Отца своего, старика, привел, потому что ни одного мужчины в деревне не было, кроме отца,— все в лес убежали. Да, вот такой был этот Аншуков. А это он уже после на других поворотах забуксовал...

— Но при чем же здесь Архип Белоусов?

Лазарь Павлович снисходительно посмотрел на меня, улыбнулся:

— А при том, что Архип тоже человек был. И человек не шибко грамотный. Помню, за винтовку в ведомости расписаться надо, что, думаешь, поставил Архип? Крест. Вот и толкуй после этого, как бы он повел себя дальше в жизни — на крутых подъемах и перевалах. Подростком, мальчиком, можно сказать, погиб...

Я во все глаза смотрел на старика. Архип Белоусов — мальчик? Да еще неграмотный?

Лазарь Павлович смахнул с глаза слезу и стал рассказывать, как он, тогдашний военком, отправлял Архипа на войну.

— Зима была, стужа лютая, а он, гляжу, в старом полушубчонке, в валенках стоптанных, с чужой ноги. Своих-то парень еще и не нашивал — худо жили, вечно в нужде. И только всего и нового на нем, что красный лоскут на папахе. Партизан. Доброволец. Вот, думаю, за Советскую власть парень идет помирать, а нам и обуть и одеть его не во что... Ну, у меня перчатки теплые были, кожаные, снял с руки, отдал. Так уж он радовался! Рукава у полушубка длинные — нарочно закатал, чтобы все видели военные перчатки... Да только мало поносил. Через неделю привезли обратно. Мертвого. Лежит на санях

в том же полушубчонке, в тех же валенках с заплатами. Смерзся, посинел, маленький, как ребенок. Только по волосам и признаешь — светлые, хмелиной вились. И тоже обмерзли, заиндевели. Как будто поседел он...

Лазарь Павлович после этого долго и старательно откашливался.

В окна глухо постукивал косой дождь. Темные дорожки бежали по верхним незавешенным стеклам, и лицо у старика тоже было мокрое.

Я тихонько встал и вышел на улицу.

На деревне было темно, как в глухую осеннюю ночь. Ни одного огонька не было в окнах: видимо, всех сегодняшнее ненастье застало врасплох.

Я брел в темноте по мокрой дороге, оступался, залезал в лужи и все пытался представить себе Архипа Белоусова таким, каким он был в жизни.

Дождь не утихал. На открытых местах выл и свистел ветер.

В такую непогодь я любил, бывало, стоять под соснами у партизанской могилы. Сосны шумели, охали и стонали. А мне все казалось, что это стонет и охает Архип Белоусов, у которого разболелись в ненастье старые раны.

И когда впереди, в бледных вспышках молний, верблюжьим силуэтом обозначилась старая церковь, я машинально, по давней привычке, свернул с дороги и зашагал к крутояру...

1963—1968

СОСНОВЫЕ ДЕТИ

1

Мы ехали молча. Шофер, сцепив зубы, со злостью выворачивал баранку. Дорога, вдрызг разбитая, размятая бульдозером, шла свежей гарью. Черный пал с обгорелыми соснами еще дымился, и в кабине лесовоза было жарко и душно.

В то лето, необыкновенно засушливое, полыхавшее сухими грозами, Пинегу замучили пожары. На лесопунктах срывались планы. Люди, грязные, изможденные, не спавшие по суткам, валились с ног. Мой шофер тоже только что вернулся с пожара. И уж он не церемонился со мной. «Ах, тебе захотелось в Шушу! Не мог подождать, пока я отосплюсь. Ну так получай!»

Я качался, как на качелях, подскакивал, бился о дверцу. Но вот кончилась дымная гарь. Машина выехала к Шуше — веселой порожистой речке в красных крутых берегах с зелеными лиственницами, и шофер, то ли сжалившись надо мною, то ли сам устав от тряски, сказал:

— До-ро-жка...

Я охотно поддержал его: где-где, а уж у себя под боком лесопункт мог бы иметь дорогу получше.

Не тут-то было! Шофер неожиданно повернул на сто восемьдесят градусов:

— А за каким она лядом! В Шуше лес-то когда заготовляли? А у нас и рабочие-то дороги... матом выстланы. Понял?

Пожарище осталось позади. Дышать стало легче. Высокие сосны с курчавыми макушками заслонили солнце. А потом снова пекло. Ни лесинки, ни кустика. Только пни. Бесконечная россыпь свежих лобастых пней. Злое солнце плясало на их желтых заплывающих смолой срезах, и казалось, тысячи прожекторов бьют тебе в глаза.

Все было так дико, так чудовищно,— вырубить лес возле самой реки! — что я невольно посмотрел на шофера, ища у него сочувствия.

Шофер даже бровью не повел.

— Да кто это догадался? — не выдержал я.

— Кто? — Шофер усмехнулся, сверкнув металлическим зубом.— Кто... А план-то выполнять надо? Зима в нынешнем году, считай, до января к нам попасть не могла — одна слякоть, а потом как зарядили метели... Ну-ко попробуй лес возить за двадцать километров! А люди? Им исть-пить надо? А кубиков нема — и грошей нема. Так у нас... Ясно дело, без штрафа не обошлось. Дробышеву, начальнику лесопункта, дали прикурить. Ну, а потом, как лесопункт план перевыполнил, другое запели. Тот же самый леспромхоз премию отвалил. Получай — раз план перевыполнил...

Под колесами запрыгали, прогибаясь, мостовины-кругляши, перекинутые через пересохший ручей. Машина с воем поползла в пригорок.

На пригорке стоял столб с вывеской: «Шушольское лесничество», а еще подальше, почти у самого леса, вдоль дороги было выложено белым известняком: «Миру мир!»

— Гошка Чарнасов забавляется,— скривил запекшиеся губы шофер.— В газетах хоть нас, грешных, агитируют, а тут кого? Сосны. А все от дурости. Потому что у лесника какая работа? Зимой лежка, и летом тоже пот не прошибет. Пройтись там раз в неделю по лесу да у речки покимарить...

Он помолчал немного и вдруг неожиданно заключил:

— Сука человек.

— Это почему же? — спросил я не сразу.

— Почему? А наверно, потому, что практику в лагерях прошел. Он, гад, лося зверю скормит, а человека не выручит.

— Но ведь лося бить нельзя. Есть закон.

Под красными, обожженными скулами у шофера заходили желваки.

— Закон, говоришь... А в магазинах ни хрена — это

тоже закон? Какие-то там очковтиратели наврали, а наш брат рабочий расплачивайся своим брюхом. Попробуй поишачь каждый день без смазки. Закон... А сколько этого лося волк давит, подсчитали? По лесу идешь, как по кладбищу. Нет, мы лучше волку скормим, а человек не смей. Закон это?

Я промолчал. И тогда шофер, окинув меня быстрым и подозрительным взглядом, спросил:

— Да вы сами-то кто? Начальство Гошкино? А может, родня?

Ну что я мог сказать... Признаться, что мы с Игорем старые друзья и что я еду к нему в гости? Но друзья ли мы? Двадцать пять лет мы не виделись друг с дружкой. Четверть века... Не зря ли я затеял эту поездку? Сумеем ли мы преодолеть разделяющий нас поток времени?

Игорю шел шестнадцатый год, когда он выкрал револьвер у отца и бежал из дому. Рассказывали, что в какой-то деревне он ограбил сберкассу, потом будто видели его в Архангельске, потом прошел слух, что он уже на Кавказе,— в общем, загулял мальчик...

О самом Игоре у нас не горевали — с малых лет бандюгой рос, туда ему и дорога! — а вот отца его жалели.

Это был удивительный человек. Увидишь, бывало, его зимой на улице, высокого, худого как жердь, крупно вышагивающего в длинной кавалерийской шинели и черной косматой папахе, которая чуть ли не вровень с крышами, и замрешь от страха и восхищения. Скрипят сапоги на морозе (Антон Исаакович в самые лютые морозы ходил в сапогах), вот уж он рядом, и ты по-пионерски вздрагивающей рукой салютуешь красному партизану. Но Антон Исаакович не замечает тебя. Глаза его, какие-то неземные, полыхающие, устремлены вдаль...

Самой большой страстью Антона Исааковича были революционные праздники. Ни одно здание в деревне — ни сельсовет, ни школа, ни нардом — не украшалось так красочно, как его почта. Тут ему не было равных. Антон Исаакович еще задолго до Первого мая и Октябрьской годовщины начинал закупать керосин (тогда давали его по спискам), красить белые лоскутья и простыни, обтягивать красной материей фанерные ящики. Бабы в эти дни лишались сна и покоя: «Спалит! Всю деревню спалит. Только один пожар и на уме».

И вот наступал долгожданный вечер. На здании почты — бывшем поповском доме — вспыхивали огненные

транспаранты. Их отсветы, как северное сияние, рассыпались по небу. И мы, мальчишки, загипнотизированные страстными, хватающими за сердце призывами: «Да здравствует мировой пожар Октября!», «Смерть буржуазной гидре!»,— часами простаивали около почты...

...Машина резко остановилась. Я и не заметил, как мы выехали из леса.

— Вот что, друг,— сказал шофер, избегая встречаться со мной глазами,— тут до Чарнасова рукой подать. Видишь вон домину под красной щельей, с садом, как у помещика? К нему и правь. А мне еще дровишек на обратном пути пособирать надо.

Громоздкий, мохнатый от пыли МАЗ развернулся и с грохотом стал удаляться.

Я остался один.

2

Шуша — старый заброшенный поселок, каких немало встречается в северных лесах. Пять-шесть бараков, осевших, скособочившихся, с черными провалами окон, из которых торчит трава, уныло доживают свои дни на солнцепеке у речки. За речкой — красная щелья с дрожащими в мареве березками, а по эту сторону — вырубки. На километр, на два тянутся розовые заросли иван-чая и шиповника. И ни единого сто́ящего дерева!

Тем отрадней в этой лесной пустыне видеть жилой дом с зеленой гривой молодых топольков, задорно искрящихся на солнце. Дом стоял несколько в стороне от бараков, такой же приземистый, неуклюжий, грубой, на скорую руку, кладки, но выгодно отличающийся от них своей молодцеватостью: стены тут и там подновлены свежими лесинами, окна покрашены белилами, а маленькое светлое крылечко сбоку, под навесом, еще пахло смолой.

Двери в сени и в комнату были раскрыты настежь. Я поднялся на крыльцо, миновал просторные сени и... Что за чудеса? Куда я попал? Огромное помещение — не то сарай, не то зал — и всюду березовые кусты. Кусты вдоль стен, от пола до потолка, кусты в простенках между окнами и даже самые окна наполовину заставлены кустами. Из окон тянуло сквознячком, и листья на кустах шевелились, как на воле.

Однако, осмотревшись, я стал замечать признаки человеческого жилья. Направо от двери, у окна, единственного на этой стене, стоял стол с тремя некрашеными та-

буретками. Напротив стола, прикрытая кустами, белела массивная печь. Потом у дальней стены, погруженной в зеленый сумрак, я разглядел ситцевую занавеску — там, очевидно, спали...

С улицы, запыхавшись, вбежала босоногая, светловолосая женщина в белом платье. Это была Наташа, жена Игоря.

— Вот как гостя встречаем! Пришел, и дома никого. Ну, сами виноваты — не надо было обманывать. Мы ждем-ждем, целую неделю ждали, а сегодня я не выдержала — с утра Игоря в лес прогнала. Сколько же, говорю, ждать? Кругом пожары...

Все это Наташа выпалила единым духом, как будто мы с ней были старые-старые знакомые, а затем, шурша босыми ногами по веткам березы, разбросанным по полу, прошла к окнам, раздвинула кусты. В комнату хлынуло солнце.

— Это зверюшник-то мы от жары устроили. Все лето в кустах живем. Окна-то вон какие. Как ворота. Тут раньше пекарня была.

Вдруг из березок, которыми была прикрыта ситцевая занавеска, что-то прыгнуло и шлепнуло на пол — я даже вздрогнул от неожиданности. Заяц! Серый лопоухий заяц с подергивающимися губами.

Наташа с притворной сердитостью затопала ногой:

— Васька-дурак! Опять на постели валялся.

Заяц юркнул в кусты.

Наташа рассмеялась, повернула ко мне круглое, очень милое и простодушное лицо с большими темными глазами.

— Это заяц-то у нас с прошлого лета,— сказала она, внимательно приглядываясь ко мне.— Игорь в лесу нашел. Маленький, хромыкает, говорит, по полянке,— лиса или кто другой хватил. Да он, дурак, прижился — не прогонишь. А зимой белый-белый, как снег...

Наташа предложила мне на выбор — чай пить или в бане сначала помыться с дороги — «баня у нас светлая, чистая», но я сказал, что лучше подождать Игоря, тем более что, по ее словам, он вот-вот должен быть.

Мы сели к столу. Наташа, заслонив рукой лицо от солнца и по-прежнему присматриваясь ко мне, спросила:

— Как же это вы подъехали, я даже не слыхала? Стираю у реки белье и вдруг вижу, какой-то дяденька

стоит у крыльца. Я-то, правда, сразу догадалась, что за человек.

Я рассказал, как добирался до Шуши.

— Вот оно что,— сказала Наташа и нахмурила брови.— Это с Пронькой Силиным вы ехали. Бесстыжая рожа, небось побоялся сюда подъехать. Я бы ему сказала... Первый браконьерщик он тут в лесопункте. Нынче зимой такого быка свалил, вон рога-то — от того лося,— она указала рукой на стену.— Вот и злится теперь. Как напьется, так и кричит на весь лесопункт: «Я, говорит, из-за Гошки штраф заплатил, а Гошка жизнью мне заплатит...»

Наташа поглядела в окно.

— Не знаю, где он запропал. Ушел с утра, и без хлеба... Вам, может, отдохнуть с дороги? А то хотите ягод? У нас малина в садике ранняя, на некоторых кустах уже поспела.

Жара все еще не спала. Тугой знойный воздух переливался над огородиком, в котором, зарывшись в картофельную ботву, дремала белая коза. От речки тянуло смородиной, и там, в кустах, как глаз совы, полыхало низенькое оконце бани.

Садик, сонно лепетавший тополиной листвой, примыкал к глухой стене дома с летней стороны. В отличие от огородика, он был обнесен частой плетеной изгородью, калитка сбита из мелкой, гладко выструганной доски — словом, садик был в почете у хозяев.

Но вот я перешагнул за калитку и прямо-таки ахнул. Маленькие подрумяненные клены, желтая акация, сирень нескольких сортов, жасмин, барбарис, боярышник, бузина... А это что? Яблоньки... Вишенки... У нас, на Пинеге, чуть ли не под самым Полярным кругом!

Наташу, казалось, не тронули мои восторги.

— Подумаешь,— сказала она с некоторым вызовом.— Кусты-то каждый посадить может. А вот я сейчас что вам покажу...

Осторожно раздвигая руками малинник, густо осыпанный крупной, кое-где уже покрасневшей ягодой, она повела меня в дальний угол садика.

— Узнаете?

Я сперва ничего не заметил, кроме тоненьких играющих на солнце топольков, а потом, вдруг почувствовав нежный смолистый аромат, повернул голову налево к

плетню. Кедрачи! Иссиня-черные, длинноиглые, по-медвежьи угрюмые и неприветливые.

Наташа потрепала ближайшего крепыша.

— Ох и капризное дерево! Ну повозились же мы с ним. Туго растет — даром что, как сосна, ершистое.

Она на секунду задумалась, а потом вдруг застенчиво — даже краска выступила на ее бледных щеках — улыбнулась:

— Он меня этими-то кедрачами и взял.

— Кто? — не понял я.

— Кто? Игорь. Разве бы я за такого гопника пошла? Из лагеря вернулся, никто глядеть-то на него не хотел — старый да страшный. А я что — против него совсем девчонка была. Мне еще восемнадцати не было. Да тут вот эти дьяволята под руку подвернулись...— Наташа, улыбаясь, опять потрепала верхушку кедрача.— Ей-богу. Еду как-то осенью на пароходе. Народу много. И он, суженый-то мой, едет. Я, конечно, и не гляжу на него. У меня и думушки о нем нет. Мало ли гопников на свете ездит. А потом смотрю: чего он все в корзину заглядывает? Корзина большущая, у ног стоит, пологом прикрыта. Думаю, может, зверят каких везет — лесник. Интересно. Ну и когда он куда-то вышел, я раз к этой корзине. Тьфу ты господи! Сосны маленькие. Вот, думаю, совсем мужик спятил. Мало у нас сосен в лесу, так он еще откуда-то со стороны везет. А Нюра Канашева, учительница, со мной ехала. «Нет, говорит, Наташа, это не сосны, это кедры». Да эти кедры мне по ночам стали сниться. Ей-богу! Всю зиму снились. Ну а весной, когда снег стаял, я и побежала с лесопункта в Шушу. Кедры смотреть. За тридцать километров! Вот какая глупая была.— Наташа, закусив губу, покачала головой.— Было у нас делов-то! Мама узнала, что я с гопником старым связалась,— в слезы. Брат приезжал за мной сюда. А на лесопункте-то сколько разговоров было!.. Ладно,— сказала она, резко обрывая себя,— клюйте ягоды. А мне еще надо белье развесить да козу прибрать.

3

Наташа давно уже развесила белье, подоила козу и даже переоделась в новое платье. Я сходил на речку, выкупался. А Игоря все не было.

— Не знаю, разве из ружья выстрелить,— уже не

первый раз заговаривала Наташа, с тревогой поглядывая на меня.

Мы сидели на крыльце и смотрели за речку, на тропу в косогоре. Тропа, карабкаясь по красным, теперь потемневшим рухлякам, переваливала за вершину горы и терялась в мелком березняке. Оттуда, из этого березняка, и должен появиться, по словам Наташи, Игорь.

Солнце уже садилось. Мягкий золотистый свет заливал крыльцо. Наконец-то немного посвежело. Онемевшая, измученная за день природа начала оживать на глазах. В лощине у речки запосвистывали зуйки, выпорхнула откуда-то стайка резвых ласточек и, конечно уж, не заставил себя ждать гроза севера — комар...

Чуткое ухо Наташи раньше моего уловило далекое похрустывание сушняка за рекой. Однако прошло еще немало времени, прежде чем на горе вырос человек в белой, подкрашенной вечерним солнцем рубахе. Завидев нас, он что-то крикнул, потом взмахнул руками и вдруг прямо с обрыва ринулся вниз. Посыпались камни, красное облако взметнулось на тропе.

— Черт сумасшедший! — вздохнула Наташа и встала.— Убьется когда-нибудь. Все вот так. Не может ходить по земле, как нормальные люди.

За баней, окутанной розовым облаком мошкары, дрогнули, затрещали кусты: Игорь, срезая тропинку, напролом ломился к дому. И вот уж он грабастает, обнимает меня — весь горячечно-красный, насквозь пропахший смолой...

Нет, я представлял его иначе. Крупнее, шире в кости и, пожалуй, помоложе — без этих неправдоподобно белых бровей на худом, словно иссушенном жаром лице, без этих залысин в мягких, как бы сопревших волосах... Вот разве только глаза не изменились: пронзительно-светлые, по-чарнасовски шальные и диковатые...

— Где тебя лешаки носят? Мы ждем-ждем — все глаза проглядели...

Игорь, смущенно улыбаясь, выпустил из своих рук мои, кивнул на жену, с ведром воды спускавшуюся с крыльца:

— Вот как у меня домашняя НКВД! Сразу в работу...— Он провел рукавом рубахи по запотевшей голове.— Технорука лесопункта в лесу встретил. Опять высматривает, где бы поближе к реке делянку отхватить.— Игорь страдальчески наморщил лоб, повернулся ко

мне: — Беда, Алексей. Все только и норовят в запретную зону. Видал, что с нашей Пинегой сделали? Раньше, бывало, все лето пароходы ходят. А теперь реку раздели — как сирота, голая стоит...

— Ладно давай, Алексея-то можно не агитировать! Грамотный. Снимай рубаху.

Игорь послушно начал стягивать с себя потную, испачканную смолой рубаху. Все тело его, сухое, медно-красное, под цвет сосны, было размалевано синей тушью: на груди орел с устрашающе распластанными крыльями, на коричневых руках в светлом волосе — якоря, грудастые русалки.

Явно сконфузившись передо мною, он тем не менее лихо ткнул себя в грудь:

— Этапы большого пути...

Наташа со всего маху окатила его водой.

Когда мы сели за стол, солнце уже лежало на горе. Лежало, как на перине, усталое, обессиленное — немало потрудилось за день, и лучи его, кроткие, ласковые, тихо догорали на подоконнике.

Наташа едва успевала подавать нам. Мы с Игорем, оба голодные, ели молча, по-мужицки. Но вот где-то неподалеку прокричали журавли, и Игорь, прислушиваясь, сказал:

— На работу собираются. Нынче жара такая,— вся жизнь у птицы по ночам. По лесу идешь — птички не услышишь.

Помолчал и добавил:

— Вот так и живем, Алексей: под журавлей ложимся, с журавлями встаем.

— Что уж наше житье,— сказала Наташа.— Век в лесу. Кина́ не видим.

— Ничего,— возразил Игорь,— у нас свое кино. Вот зимой встанешь, снега навалило по самые окна. А там, у речки, лоси. Стоят как вкопанные, и зорька на шерстке играет... Я даже сено для них, Алексей, ставлю. Видишь, вон стог у речки? В долгу мы у этого зверя. Сколько его, бедного, перебили...

Наташа покачала головой:

— Ты как ребенок. А вечера-то зимние забыл? Ей-богу! Сидит-сидит иной раз да вдруг скажет: «Хоть бы леший в гости зашел...»

Игорь смущенно крякнул.

— Ты раньше рисовал,— сказал я.— Забросил?

— Забросил? — Игорь загадочно усмехнулся, и вдруг глаза его вспыхнули.— Да я землю хочу разрисовать. Питомник мой видел? А кедрачи? Вот погоди — революцию зеленую сделаю. По всей Пинеге пущу...

— Ну, понес Антон Исаакович,— снисходительно улыбнулась Наташа.

Да, в эту минуту Игорь поразительно напоминал своего отца!

— А что, Алексей,— воскликнул он, снова загораясь,— посмотри, какая у нас дикость! Почему бы, к примеру, кедр не развести? Разве худо орешки? А видал ты у наших домов ягодники? Какая-то ненáвисть у нашего мужика к лесу. Живет, черт худой, на хлебе да на картошке, а чтобы под окном малину, другую ягоду заиметь... Как нечистой силы куста боится. А поселки на лесопунктах? Сперва лес под корень вырубят, а потом уж за стройку примутся. Ну и чихают все лето пылью. Вот Шуйга, например, повыше Суры. На весь поселок один кустик у школы. Нет, я на опыте хочу доказать, что у нас на Пинеге все ягоды растут. И даже яблони и вишни. Вот только в стороне я. Поближе бы к людям выбраться. Чтобы питомник мой в глазах у них стоял...

Наташа хмыкнула:

— Выберешься! Со всем начальством переругался...

Игорь с виноватой улыбкой поднял глаза на жену, покрутил головой.

— Да, Алексей, есть такое дело. Маленько не того... Заметил по дороге свежую вырубку? Это нынешней зимой нашествие было. В мои леса тоже ломились, уж за ручей было перешли. Да я на дыбы. Ружье схватил. Стой, говорю, ребята, порешу! Целую неделю в шалаше жил, а лес отстоял. Райком, спасибо, помог. С этого у меня и пошли нелады с Дробышевым. Крутой мужик. «Я, говорит, тебя к месту приставил, а ты мне палки в колеса...» А тут еще с директором леспромхоза конфузия вышла. Это уж по другой части. Из-за семги...

— Вот тут-то бы тебе нисколько не надо встревать,— сказала Наташа и строго посмотрела на мужа.

Игорь замолчал, и меня немало удивила эта не свойственная Чарнасовым покорность.

— Да как же! — возмущенным голосом заговорила Наташа, обращаясь за поддержкой ко мне.— Осенью тут целая война из-за этой семги. В него уж раз стреляли.

Лыска отравили — теперь без собаки живем. Нет, ему все неймется.

— Ничего,— сказал Игорь.— Собаку я заведу. Без собаки в лесу нельзя.

В комнату заглядывала белая ночь. Над головой попискивали комары, и было слышно, как за печью грызет ветку заяц.

Наташа закрыла окна, потом открыла двери и, размахивая платком, стала выгонять комаров.

Мы с Игорем, прихватив подушку и простыню, отправились за сеном: меня решили устроить на ночлег в бане — там и комар не пищит, и зайчишко, как выразился Игорь, не будет беспокоить.

Сено хранилось под старым навесом за баней. Я еще днем, когда ходил купаться, обратил внимание на странные железяки, лежавшие под навесом. Одна из них — тракторная гусеница метра четыре в длину с наваренными шипами, другая — массивный стержень с кронштейнами, похожий на ежа. И вот сейчас, снова увидев эти железяки, я спросил об их назначении.

— Не догадываешься? — Игорь усмехнулся, бросил на сено подушку и простыню.— Это моя техника. Лес которой сажаем. Это вот,— он указал на тракторную гусеницу,— бороной-змейкой называется — легкий моховой покров сдираем, а то опять еж. Для зеленомошника. Не густо?

Я вспомнил, с какой техникой выходят на лес в лесопунктах. Трелевочные тракторы, бульдозеры, могучие лесовозы, лебедки. А нынешняя бензопила «Дружба»? Ими, словно косами, выкашивают леса!

— Да, не много навосстанавливаешь лес такой техникой,— сказал я, с грустью разглядывая эти неуклюжие, примитивные орудия, сделанные в местной кузнице из железного лома.

Игорь, однако, не согласился со мной.

— Можно, Алексей, можно! И с такой техникой можно. Была бы только охота. Да и мотыгой дедовской можно. Я вот тебе завтра на примере покажу: тут недалеко, за Шушей, сосняк мотыгой сделан.

Он опасливо посмотрел на крыльцо: там светлело платье Наташи.

— А то хочешь сейчас? — зашептал горячо Игорь.— Какого лешего! Разве ты спать сюда приехал?

Откровенно говоря, за день я намотался немало.

С раннего утра толкотня на аэродроме в ожидании самолета, потом сам полет до лесопункта на вертлявом допотопном «кукурузнике», который все еще в ходу на периферии, потом эта дорога на Шушу, да и сосняк, слава богу, не новость для меня, выросшего в лесном краю. Но, с другой стороны, мне не хотелось и обижать Игоря. Я только сказал:

— А Наташа не заругается?

— Наташа? — Игорь улыбнулся широкой, во все лицо улыбкой.— Женка у меня хорошая. Это она при тебе меня песочит, психику свою показывает. А так мы душа в душу...— Игорь перешел на шепот: — Я даже боюсь, Алексей... Не приснилось ли мне? За что мне такое счастье? Она ведь молодая еще. На четырнадцать лет меня моложе. Ну-ко в такой глуши? Я сам иной раз на лесопункт посылаю — там у нее мать с братом. Пойди, говорю, Наташа, погости у матери. Кино хоть посмотришь. Нет, смотришь, на другой день явилась...

Тишина. Бормочет, плещется вода в Шуше. Легкие пряди тумана висят над кустарником в лощине. Сильно пахнет смородиной...

На крыльце скрипнула дверь. Это Наташа, управившись по хозяйству, ушла в комнату.

Игорь, казалось только и ожидавший этого звука, моментально преобразился:

— Поехали! Теперь мы вольные казаки, Алексей.

4

Ну не глупо ли, черт побери, ночью — пускай она белая, пускай светлая как день — переходить вброд по колено речку, снимать и натягивать сапоги, карабкаться в гору — и все это ради того, чтобы взглянуть на сосны, на сосны, которые с детства намозолили тебе глаза!

На горе, в пахучем березняке, Игорь выломал пару веток, протянул мне: отмахивайся от комара.

Вечерняя заря еще не погасла. Далеко на горизонте чернела зубчатая гряда леса. И над этой грядой то тут, то там поднимались багряные сосны — косматые, похожие на вздыбленных сказочных медведей.

Под ногами похрустывают сухие сучки. Лопочут, шлепая прохладной листвой по разгоряченному лицу, беспокойные, не знающие и ночью отдыха осинки. Игорь в белой рубахе, окутанный серым облаком гнуса, как олень,

качается в кустах. Матерый опытный олень, безошибочно прокладывающий свою тропу.

Ле́са еще не видно, но в воздухе уже знойно и остро пахнет сосновой смолой.

А вот и сам лес.

Мы стояли на опушке осинника, и перед нами простиралась громадная равнина, ощетинившаяся молодым сосняком. Вдали, на западе, равнина вползала на пологий холм, и казалось, что оттуда на нас накатывается широкая морская волна. И самые сосенки, то иссиня-черные, то сизые до седины, то золотисто-багряные со светлыми каплями смолы, напоминали нарядную, пятнистую шкуру моря.

Игорь сказал:

— Ну, не жалеешь, что пошел?

А потом вдруг обхватил руками ближайший садик сосенок — они росли купами,— ткнулся в них лицом:

— Вот мои ребятишки!

— И ты говоришь, все это сотворил одной мотыгой? — спросил я, снова и снова оглядывая равнину.

— Да, Алексей. Мотыгой — нашим пинежским копачом и вот этими руками! — Игорь выбросил кверху небольшие темные руки, сжатые в кулаки.— Я приехал сюда зимой. Тогда и в помине еще не было, чтобы лес восстанавливать. А я думаю — шалишь! Не на лежку сюда приехал. Раз ты к лесу приставлен — оправдай себя. Самая загвоздка, конечно, была в семенах. Ну я смикитил. Мальчишек на лесопункте кликнул — целый шишкофронт открыл. Им это в забаву по соснам лазать, а мне польза...

Вдруг Игорь задумался, тяжело вздохнул.

— Ну и Наташе, конечно, досталось. Это уж после, когда эти сопляки на цыпочки поднялись. Жара была, Алексей, они у меня начали сохнуть — как котята без молока. Ну, я копач в руки и давай махать с утра до ночи. И вот, понимаешь, Наташа тогда в положении была. Зачем же вот ей-то было за копач браться? Недоглядел, Алексей. Нескладно у нас получилось. Врачи говорят: конец вашим детям...

Белая ночь проплывала над нами. Над ухом жалобно попискивали комары. Игорь с опущенной головой, белый, как привидение, стоял до пояса погруженный в колючий потемневший сосняк.

— Ничего,— заговорил он сдавленным шепотом.—

Ничего! — И вдруг опять уже знакомым мне, каким-то по-отцовски широким и щедрым объятием обхватил сосенки.— Вот мои дети!.. Наташа плачет, убивается, а я говорю: не плачь; кто чего родит — одни ребятишек с руками да ногами, а мы, говорю, с тобой сосновых народим. Сосновые-то еще крепче. На века. Согласен, Алексей? — И вдруг Игорь, не дождавшись моего ответа,— решенное дело! — громко и раскатисто, да так, что эхо взметнулось над притихшим сосняком, рассмеялся.

Надо было возвращаться домой. Но как же не хотелось расставаться с этим сосняком! Или это потому, что теперь уж эти сосенки-подростки для меня не просто молодой сосняк, а Игоревы дети?

— А ты видал, Алексей, как сосна всходит? — неожиданно спросил Игорь.

Я улыбнулся: наивно все-таки спрашивать о таких вещах человека, который вырос в лесу.

— Ни черта ты не видал! Все мы так. Бродим, бродим по лесу, топчем все с краю, ну, еще черемуху, когда в цвету, обломаем, а вот как рабочее дерево из земли поднимается, не знаем. Хочешь посмотреть? — В голосе Игоря зазвучала соблазнительная, так хорошо знакомая мне с детства загадочность.— Интересно! Сосны двух недель от роду. А?

5

И вот опять мы, два полуночника, идем в белую ночь. Над головой таинственное, притушенное серенькой дымкой небо, а в ногах сосны. От сосен веет дневным жаром. Сосны цепляются смолистыми иглами за одежду, кусают голые руки.

Игорь довольно замечает:

— Смотри, какие зубастые. Как щенята, огрызаются. Крепкие дерева будут!

Белая ночь творит чудеса. Исчезло время. Мы снова мальчишки. И снова, как в те далекие годы, Игорь ведет меня...

Темный, заросший молодым ельником ручей, словно корабль, плывет нам навстречу.

Послышался свист, тоненький, похожий на хрупкий лучик вечернего солнца, и погас.

— А ведь это рябишко, Алексей,— сказал Игорь и остановился.— Забавно. С чего бы ему об эту пору?

Он еще некоторое время удивляется странному поведению рябчика, а потом говорит:

— У меня тут, Алексей, полно всякой птицы. Любит она здешние места. На Сысольских озерах даже орлы живут, во как! А вообще-то *нервная* пошла нынче птица... Да и как ей не нервной быть, ежели по всему северу железный гром стоит! Скажем, журавль, к примеру. Весной это летит с юга, день и ночь крыльями машет. Ладно, думает, вот прилечу на родину — отдохну. А прилетел — негде сесть. На гнездовьях-то уж люди.

Придерживаясь за ветки березы, мы стали спускаться в ручей. Густые, по пояс, папоротники, трава, слегка отпотевшая за ночь, и даже сырой холодок понизу. Но засуха добралась и сюда. Воды в ручье не было. Каменистое, из мелкого галечника дно проросло пышными подушками зеленого мха. Мох мягко пружинит под ногами. Вдруг справа от нас — это всегда бывает вдруг — вспорхнул рябчик и низом-низом, фурча, как пропеллер, крылышками, потянул в еловую глушь. Было слышно, как он сел на сучок.

Игорь улыбнулся.

— Сейчас мы вступим с ним в переговоры.— И, раздвинув губы, сухие, в трещинах, свистнул.

Рябчик отозвался, но как-то вяло, неохотно.

Игорь опять улыбнулся:

— А знаешь, что он мне ответил? «Не пойду, говорит, хочешь — иди сам».

— Ну уж так-таки и «не пойду»?

— Вот те бог, Алексей. У них, у этих рябишек, три зова для своих товарищей: «лечу», «иду на ногах», «лети сам». Не веришь? Ну а как же бы они в лесу-то разыскивали друг дружку, в особенности во время токов? Охотники хорошие знают их наречье, так и мано́к настраивают. Если «лечу» — не двигайся, сам прилетит. И по сигналу «иду пешком» тоже дождаться можно. Не скоро — велик ли у ряба шаг,— а приковыляет. А вот ежели «лети сам», тут уж не жди. Хоть как его ни зазывай, не прилетит. С характером птица, даром что маленькая.

За ручьем опять вырубка — трухлявые пни в кустиках сморщенной, подгоревшей на солнце земляники, редкие елки иван-чая с сонно ворочающимися на метелках пузатыми шмелями, потом опять ручей — горький ольшаник вперемешку с березой, и вот мы поднимаемся на холм.

Под ногами тундра — чистейшая, белее снега курча-

вый ягель, а там вверху — я задираю голову — макушки сосен...

Я смотрю на этих неохватных, в седых космах великанов, смотрю на их темные вершины, потрепанные вековечными ветрами, и то они мне кажутся былинными богатырями, чудом забредшими в наши дни, то опять начинает казаться — чего не делает белая ночь,— что ты сам попал в заколдованное царство и бродишь меж задремавших богатырей. Уж не белые ли ночи и сосны навеяли эту сказку нашим предкам?

Вздох Игоря — он рядом — возвращает меня к яви.

— Эти сосны еще Петра помнят. Вот какая краса тут была! А теперь один островок остался. И то потому, что лошадями лес заготовляли. Взять нельзя было. А если бы нынче — сокрушили. Трактор хоть черта своротит...

Игорь опять вздыхает:

— Раньше, бывало, в лес-то зайдешь — оторопь берет. Под каждой елью леший сидит. А теперь этих леших в сырые суземы загнали — чахнут, бедные, нос высунуть боятся... Ладно, пошли. Тут близко. Версты не будет.

Но Игорева верста, видно, меряна еще той древней дедовской клюкой, о которой говорится в присказке. Мы бредем вырубками, то совершенно сухими, то заглушенными жирной травой с пышными белопенными зонтами тмина,— они похожи на легкие облачка, опустившиеся на землю, огибаем маленькое, с черной, как чай, водой озерко, курящееся паром,— «черти баню топят»,— шутливо замечает Игорь, пересекаем просеки — лесные коридоры, топчем похрустывающий олений беломошник, путаемся в упругих зарослях можжевельника.

И Игорь рассказывает — рассказывает, рассказывает обо всем, что попадается на глаза,— то приглушенным шепотом (и тогда он, в белой распущенной рубахе, с темным, прокопченным солнцем лицом, на котором шевелятся неестественно белые брови, напоминает старого лесного ведуна), то голос его переливается, как ручей.

Он рассказывает о елях, о их необыкновенной чувствительности — «десятиметровую ель можно убить одним ударом обуха», о хвойной скользящей под ногами подстилке — «мудро устроен, Алексей, лес: сначала кормом себя обеспечит, а потом уж на отдых уходит», жалуется на нахальную березу — и это странно мне слышать, но у него свой счет к березе — «сорняк дерево, она да осина на вырубках первые гостьи», плетет какой-то доморо-

щенный сказ о древней птице глухаре, которого мы подняли в травниках...

Я присматриваюсь к Игорю, вспоминаю его «лагерные университеты», и мне все чаще приходит в голову, что я совершенно не знаю этого человека.

Он был силен, по-прежнему силен и неутомим, как все Чарнасовы, и так же размашисто мечтателен и одержим, как его отец,— «зеленую революцию пущу», но откуда у него эта удивительная любовь и жалость, русская жалость ко всему живому? Нет, отец его, беспощадно прямой, мысливший мировыми категориями, не страдал этим. Профессия лесника наложила на него свою печать?

По вершинам сосен красной лисицей крадется утренняя заря. Что-то вроде ветерка, похожего на легкий вздох, пронеслось по лесу. Или это белая ночь, прижимаясь к земле, уползает в глухие чащобы?

6

— Вот, пришли,— говорит Игорь.

Я смотрю перед собой и ничего не вижу, кроме черной бескрайней гари с хаотическим нагромождением коряг и сучьев. На их обугленной, потрескавшейся коре — алые отсветы зари, и кажется, пожар еще дышит, живет.

Опять загадка?

Игорь, довольный, смеется. Сухое, загоревшее лицо его с белыми бровями пылает, как сосна.

— Да ты не туда смотришь. В борозды смотри.

В самом деле, гарь прорезана песчаными бугристыми бороздами. Их много. Они, как желтые змеи, расползлись по гари.

Я наклоняюсь к первой борозде. Рваные, обгоревшие корни по краям, следы тракторной гусеницы, потом замечаю крохотный, сантиметра в два, пучок темно-дымчатой травки, за ним другой, третий... И вот уже пучки сливаются в жиденький, кое-где искрящийся ручеек, робко крадущийся по песчаному дну борозды.

Ручеек необычный. От ручейка пахнет смолой.

Неужели так вот и начинается сосновый бор?

Игорь советует мне вырвать отросток: все равно им всем не жить, придется прореживать.

Ого! Травка колется, липнет к пальцам, а глубинный корень вдруг выказывает цепкость и упорство сосны.

Странно это — держать на ладони дерево с корнем...

Я стою, склонившись над этим младенческим лесом, вдыхаю его первозданный запах, и мне кажется, что я присутствую при рождении мира, подымающегося на утренней заре...

Игорь мягко кладет мне на плечо руку.

— Это тракторная работа. Ровно месяц назад с Санькой Ряхиным сеяли. На совесть мужик работал. А нынче как-то встретил на днях, спрашиваю: «Будем еще, Саня, старые грехи замаливать?» — «Нет, говорит, Игорь. Хорошо лес сеять, нравится мне эта работа, а больше не жди». Понимаешь, Алексей, копейка мужика затирает. У него семья, ребятишки, а тут хоть лопни — тарифная ставка. Не перепрыгнешь. Почему так? Кто лес валит — тому прогрессивка и премиальные и еще там всякая всячина. А кто лес сажает — на сознательность перевели. Почему так?

Мы идем узенькой, хорошо утоптанной тропинкой. В лесу полно птах. Пищат, посвистывают, тенькают — все спешат управиться со своими делами до жары. А вот и дробный перестук дятлов.

— Это мои помощники,— говорит Игорь.— Мало только их нынче. Надо бы их как-то увеличить. В книжках ничего не читал об этом?

А потом он снова возвращается к своим обидам лесника. Нет, он не о себе. Ему с Наташей немного и надо. Да его хоть золотом осыпь, от леса не оторвешь. А как же на их зарплатишку жить тому, у кого семья? Вот и идут в лесники инвалиды да всякий сброд. А если какой подходящий мужик заведется, так от него все равно толку мало. Он все лето для коровы своей сено ставит. А сколько у лесника работы! Охрана леса, лесокультурные работы, расчистка просек... А семена заготовлять? Египетский труд! Каждую шишку надо ладонями обмять. А противопожарные канавы возле дорог прорыть?..

Игорь качает головой:

— Ни черта я тут не пойму. Каждый год пожары. А нынче весь север горит. В Архангельске от дыма, говорят, не продохнешь. Космос, что ли, решили отапливать? Во что это государству влетает? А люди на лесопунктах по неделям не работают? А колхозников с пожара на пожар гоняем? И никто почему-то не хочет одну штуковину сделать — лесную охрану увеличить. Знаешь, у меня какое лесничество? Двести сорок тысяч га! Мне за год не

обойти это царство. Да что там за год! Я так и помру, а в каждом квартале не побываю. Мы, лесники, кричим: добавьте охраны! Меньше пожаров будет. И все без толку. Миллиарды в огонь бросаем — не жалеем, а вот лишнего лесника нанять — экономия... Почему так, Алексей? Я и в райком писал, и в область писал, и в Москву писал... Куда еще писать?

7

Обратная дорога оказалась прямой и короткой. И я понял, что Игорь не без умысла водил меня по лесу. Да он и сам не скрывал этого.

— Ну, теперь ты получил сосновое образование,— сказал он с ухмылкой, когда мы вышли в окрестности поселка.

Я поражался, глядя на него. Человек целый день выходил на ногах, потом эта бессонная ночь с кружением по ручьям и вырубкам, а ему хоть бы что. Он был свеж и бодр, как утренний лес. Может, только морщины резче обозначились на его сухом узком лице да на жилистой, дочерна загорелой шее.

Восход солнца мы встретили, сидя под суковатой развесистой сосной — могучим чудищем, вымахавшем на приволье. Старые шишки, ворохом лежавшие на росохах закаменевших корней, окрасились алым светом.

— А я, Алексей, можно сказать, тоже от сосны начал жить,— заговорил Игорь.— Лес меня человеком сделал. Ну, про то, как я в тюрягу попал, рассказывать нечего. По молодости, по глупости... Вот ты ученый, Алексей, книжки пишешь. А можешь объяснить, что тогда произошло со мной, какой заворот в моих мозгах образовался? Почему мне дома не сиделось? Все мои ровесники при деле: ты учишься, те работают. А меня так и тянет, так и тянет куда-то. Как журавля в небо. Почему так? И ведь героем себя считал — во как. Ну а война началась, тут меня прошибло. Кровавыми слезьми умылся. Братья на фронте, отец от рака умирает, а я за колючей проволокой. Работаю, конечно, всему гопью в лагере войну объявил, а все равно в лагере. Да разве мне, сыну Антона Чарнасова, та́к воевать надо!

Игорь хрустнул сцепленными в замок пальцами.

— Сейчас из заключения выходят, у ворот его встречают. Все для него, на работу устраивают — будь только человеком. Упрашивают. А я после войны вышел — хлеб-

нул горюшка. Я с чистым сердцем, я жить хочу, работать хочу — я ведь еще не жил, семнадцати лет за решетку попал,— а от меня как от прокаженного шарахаются. Я вкалываю, вкалываю, по тридцать кубиков земли лопатой вынимаю — это когда еще дорогу строили,— рубаха на мне от пота не просыхает, сам седой от соли. А чуть что случилось в поселке — воровство какое, пропажа — Игорь-бандит. На него косо смотрят. Как это переносить, Алексей?

И вот только в лесу себя человеком чувствуешь. Никто тебя не спрашивает, кто ты. Пташка сядет рядом. Сосна-трудяга... Стоит — день и ночь смолу качает. Ей некогда пустяками заниматься. На ней вся планета держится...

Это было неуместно, нехорошо, но я не мог сдержать улыбку: так неожиданно и широко было обобщение Игоря.

— Ей-богу, Алексей! Ну, а как же? Поживи-ко здесь до зимы — сам на практике все поймешь. Ветры студеные задуют — из Арктики, аж от самого полюса,— кто им заслоном служит? Сосна. Да ежели бы не сосна, так эти ветрищи до Черного моря добрались, сквозняк на всю Россию устроили. А летом, когда засуха, все кругом выгорело? Березы и те от жары сомлели. А эта — черт те что. Пыхтит, обливается смоляным потом, а дело свое делает. И вот ведь какая несправедливость! Про березу в песнях поем, черемуху на каждом шагу вспоминаем. А что они против сосны? Иждивенцы! Только и живут потому, что сосна на свете есть...

— Ну ты уж слишком,— возразил я, обидевшись за другие деревья.

— Да я их всех люблю, Алексей. Я после лагерей какой-то жалостливый стал. Ну, а все-таки им против сосны... Не то. Характер не тот! — решительно сказал Игорь.— Вот, к примеру, ель. Нужное дерево — ничего не скажешь. А хитрить-то зачем? Ох, хитрое дерево! Я эту ель насквозь вижу. Вся ушла в суземы. Ну-ко, доберись до нее. Надо железную дорогу тянуть, болота мостами выстилать. «Сама на корню сгнию, а человеку не дамся». Вот какое дерево! А в сырость я прямо глядеть на нее не могу. И так-то жить тошно, а тут еще она слезу точит... Вот осина еще на нервы действует. И все-то она дрожит, все-то дрожит. Больно о себе много думает...

Сверху к нашим ногам упала прошлогодняя шишка.

Мы оба подняли головы. Могучие, узловатые, переплетенные друг с другом сучья, и в них, как в колодце, маленькое оконце голубого неба, осиянного солнцем.

— Вот какая сила, Алексей! Не согнешь! — зашептал восхищенно Игорь.— Люблю, когда сосна шумит. Она не то что ель. Та в непогодь как по покойнику воет. А эта... Ноги в земле, голова в космосе, да как затянет свою «дубинушку» — аж землю в дрожь бросает. Вот какое это дерево сосна, Алексей! Да мы ей в ноги должны поклониться. За службу верную. За то, что на переднем крае всегда. Не хитрит. Не ждет никакой награды!..

8

Солнце уже припекало, когда мы вернулись в поселок. В утреннем воздухе попахивало горьковатым дымком — значит, опять пожары...

Игорь не захотел тревожить Наташу. Он лег вместе со мной в бане и тотчас же заснул. Заснул крепким сном рабочего человека. А я еще долго лежал с открытыми глазами и думал о своем товарище, о его отце, о соснах...

1962

СОБАЧЬЯ ГОРДОСТЬ

Лет двадцать назад кто не клял районную глубинку, когда надо было выбраться в большой мир!

Северянин клял вдвойне.

Зимой — недельная мука на санях, в стужу, через кромешные ельники, чут-чуть озаренные далекими мерцающими звездами. В засушливое лето — тоже не лучше. Мелководные, порожистые речонки, перепаханные весенним половодьем, пересыхают. Пароходик, отмахивающий три-четыре километра в час, постоянно садится на мель: дрожит, трется деревянным днищем о песок, до хрипоты кричит на весь район, взывая о помощи. И хорошо, если поблизости деревня,— тогда мужики, сжалившись, рано или поздно сдернут веревками, а если кругом безлюдье... Потому-то северяне больше полагались на собственную тягу. Батог в руки, котомку за плечи — и бредут, стар и млад, лесным бездорожьем, благо и ночлег под каждым кустом, и даровая ягода в приправу к сухарю.

Не то сейчас...

Я люблю наши сельские аэродромы. Людно — пассажир валит валом; иной раз торчишь день и два, с бессильной завистью наблюдая за вольным ястребом над пустынной площадкой летного поля: крутит себе, не связанный никакими причудами местного расписания...

А все-таки хорошо! Пахнет лугом и лесом, бормочет река, оживляя в памяти полузабытые сказки детства...

Так-то раз, в ожидании самолета, бродил я по травянистому берегу Пинеги, к которой приткнулся деревенский аэродром. День был теплый, солнечный. Пассажиры, великие в своем терпении, как истые северяне, коротали время по старинке. Кто, растянувшись, дремал в тени под кустом, кто резался в «дурака», кто, расположившись табором, нажимал на анекдоты.

Вдруг меня окликнули. Я повернул голову и увидел человека в белой рубахе с расстегнутым воротом. Он лежал, облокотившись, в траве, под маленьким кустиком ивы, и смотрел на меня какими-то тоскливыми, измученными глазами.

— Не узнаешь?

Человек поднялся, смущенно оправил помятую рубаху. Бледное, не тронутое загаром лицо его было страшно изуродовано: нос раздавлен, свернут в сторону, худые, впалые щеки, кое-где поросшие рыжеватой щетиной, стянуты рубцами...

— Ну как же? Егора Тыркасова забыл...

Бог ты мой! Егор Тыркасов... Да, мне приходилось слышать, что его помяла медведица, но... Просто не верилось, что этот вот худой, облысевший, как-то весь пришибленный человек — тот самый весельчак Егор, первый охотник в районе, которому я отчаянно завидовал в школьные годы.

Жил тогда Егор по одной речке, на глухом выселке, километров за девяносто от ближайшей деревни. Леса по этой речке, пока еще не были вырублены, кишмя кишели зверем и птицей, а сама речка была забита рыбой. Каждую зиму, обычно под новый год, Егор выезжал из своего логова, как он любил выражаться, в большой свет, то есть в райцентр. Никогда, бывало, не знаешь, когда он нагрянет. Вечер, ночь ли — вдруг грохот под окном: «Ставьте самовар!» — и вслед за тем в белом облаке заиндевевший, но неизменно улыбающийся Егор. И уезжал он так же неожиданно: загуляет, пропьется в пух и в прах — и поминай как звали. Только уж потом кто-нибудь скажет: «Егора вашего видели, домой попадает».

— Да, брат,— сказал Егор, когда мы уселись под кустом,— с войны вернулся как стеклышко. Хоть бы царапнуло где. А тут медведица — будь она неладна...

А все из-за себя, по своей дурости. Подранил — хлопнуть бы еще вторым выстрелом, а мне на ум шалости... Та́к вот, не играй со зверем! — коротко подытожил Егор, как бы исключая тем самым дальнейшие расспросы.

Я понял, что ему до смерти надоело рассказывать каждому встречному все одно и то же, и перевел разговор на нейтральную, но всегда близкую для северянина тему:

— Как со зверем нынче? Есть?

— Есть. Куда девался. Люди бьют.— Егор натянуто усмехнулся: — Для меня-то лес заказан. На замке.

Я понимающе закивал головой.

— Думаешь, из-за медведицы? Нет, после того я еще десяток медведей свалил. Руки-ноги целы, а рожа... Что рожа? На медведя идти — не с девкой целоваться. Нет, парень.— Егор глубоко вздохнул.— Утопыш меня сразил. Так сразил... Хуже медведицы размял... Пес у меня был,— добавил он.— Утопышем назывался.

— Да ну?!

— Лучше бы об этом не вспоминать. Беда моей жизни...

Но в конце концов, повздыхав и поморщившись, он уступил моей настойчивости.

— Ты на нашем-то выселке не бывал? Речку не знаешь? Рыбная река — даром что с камня на камень прыгает. Утром встанешь, пока баба то да се, ты уж с рыбой. Ну вот, лет, наверно, семь тому назад иду я как-то вечером вдоль реки — сетки ставил. А осень — темень, ничего не видно, дождь сверху сыплет. Ну иду — и ладно, в угор надо подыматься, дом рядом... Что за чемор,— Егор, как человек, выросший в лесу, очень деликатно обращался в разговоре с водяным и прочей нечистью,— что за чемор? Плеск какой-то слышу у берега. Щучонок разыгрался или выдра за рыбой гоняется? Ну, для смеха и полоснул дробью. Нет, слышу опять: тяп-тяп. Ладно. Подошел, чиркнул спичкой. На, у самого берега щенок болтается, никак на сушу выбраться не может. А загадка-то, оказывается, простая. У соседа сука щенилась — пятерых принесла. Ну, известно дело: одного, который побойчее, для себя, а остальных в воду. Я уж после это узнал, а тогда сжалился — больно эта коротыга за жизнь цеплялась! Дома, конечно, ноль внимания. Какой же из него пес? Я даже клички-то собачьей ему

не дал. Митька-сынишка: «Утопыш», и мы с женой: «Утопыш». Иной раз даже пнешь, когда под ногами путается. И вот так-то — не помню, на охоту, кажись, торопился — занес на него ногу. А он — что бы ты думал? — цоп меня за валенок. Утопыш — и такой норов! Тут я, пожалуй, и разглядел его впервые. Сам маленький — соплей перешибешь, а весь ощетинился, морда оскалена — чистый зверь. И опять же лапа широкая — подушкой, и грудь не по росту.

«Дарья,— говорю, это женке-то,— да ведь он настоящий медвежатник будет. Корми ты его хорошенько».

Ну, Дарья свое дело знает. К весне пес вымахал — загляденье! Только ухо одно опало — дробиной тогда хватило. А у меня в ту пору медвежонок приведись — для забавы парню оставил. Сам знаешь, на выселке пять домов — ребенку только и радость, когда отец с охоты придет. Ну вот, вижу как-то, Митька медвежонка дразнит, палкой тычет. У меня голова-то и заработала. Давай псу живую науку на звере показывать. У самого сердце заходится — зверь беззащитный, на привязи, а раз надо — так надо. И до того я натаскал пса — лютее зверя стал, люди не подходи... Да, этот пес меня озолотил. Десять медведей с ним добыл. Пойду, бывало, в лес — уж если есть зверь, не уйдет. Башкой к тебе или грудиной поставит — вот до чего умный пес был! И еще бы сколько зверя с ним добыл, да сам, дурак, пса загубил...

— Эх, винище все!..— вдруг яростно выругался Егор.— Баба иной раз скажет: — «Что уж, говорит, Егор, ученые люди до всего додумались, к звездам лететь собираются, а такого не придумают, чтобы мужика на водку не тянуло». Понимаешь, поставил я зимой капкан на медведя. Из берлоги пестун вышел, а может, шатун какой. Бывают такие медведи. Жиру летом из-за глиста, верно, не наберут и всю зиму шатаются. Да в том году все не так было: считай, и медведь-то по-настоящему не ложился. Ну, поставил, и ладно. Утром, думаю, пока баба обряжается, сбегаю, проверю капкан. Куда там. Еще с вечера на другую тропу наладился. Вишь ты, вечером соседка с лесопункта приехала. На лесопункте, говорит, вино дают. А лесопункт от нас рукой подать — километров двенадцать. Как услыхал я про вино — шабаш. Места себе не найду. Месяца три, наверно, во рту не было. Баба глаз с меня не спускает — при ней сосед-

ка говорила. Знает своего благоверного. Слава богу, четвертый десяток заламываем. Как бы, думаю, сделать так, чтобы без ругани? И бабу обидеть тоже не хочется. А бес, он голову мутит, всякие хитрости подсказывает: «Что, говорю, женка, брюхо у меня разболелось. Эк урчит — хоть бы до двора добежать». Ну, вышел на крыльцо. Мороз, небо вызвездило. Да я без шапки в одной рубахе и почесал. А баба дома в переживаньях: «С надворья долго нету, заболел видно». Это она уж после мне рассказывала. Вышла, говорит, на крыльцо: «Егор, Егор!..» А Егор чешет по лесу — только елки мелькают. Ладно, думаю, двенадцать верст не дорога, часа за три обернусь. Ноги-то по морозцу сами несут. Ну, а обратно привезли... Дорвался до винища, нашлись дружки-приятели, день и ночь гулял. Баба на санях приехала, суд навела. Я как выпью — смирнее ягненка делаюсь. Ну, баба в то время и наживается, славно счета предъявляет. А когда тверезый — тут по моим законам. Языком вхолостую поработает, а чтобы до рук дойти — нет. «Я, говорит, пьяного-то, Егор, не тебя бью, а тело твое поганое». Ну а тогда обработала, я назавтра встал — себя не узнаю. Инó, может, и дружки-приятели подсобили. Ладно, встал — смотрю, и в избе как пусто. Все на месте, а пусто... Дале вспомнил: где у меня Утопыш-то? А так пес завсегда при мне.

«Дарья, говорю, где пес-то?»

«За тобой, наверно, ушел. Как сбежал ты со двора, он тут повыл-повыл ночью, а утром пропал».

Тут меня как громом стукнуло. Вспомнил: ведь у меня капкан поставлен! Бегу, сколько есть мочи, а у самого все в глазах мутится. Следов не видать — пороша выпала. Ну, а дальше плохо и помню... Подбежал к капкану, а в капкане заместо зверя мой Утопыш сидит... Вишь ты, ночью-то он хватился меня: нету. Повыл-повыл и побежал разыскивать. А где разыскивать? Собака хýда о хозяине не подумает. Разве ей может прийти такая подлость, чтобы хозяина у водки искать? Она труженица вечная и о хозяине так же думает. Ну, а след-то у меня к капкану свежий. Она, конечно, туда... Увидел я пса в капкане, зашатался, упал на снег, завыл. Ползу к нему навстречу...

«Ешь, говорю меня, сукина сына, Утопыш...»

А он лежит у капкана — нога передняя переломана, промеж зубьев зажата и вся в крови оледенела. А я тебе

говорил: пес у меня зверее зверя был, на людей кидался. Баба и та боялась еду давать. Зимой и летом на веревке держал и забыл тебе сказать: я ведь в тот вечер, когда гули-то подкатили, тоже на веревку его посадил. Так он веревку ту перегрыз, ушел, а капкан, конечно, не перегрыз...

Ну, приполз я к нему.

«Загрызай, пес! Сам погубил тебя».

А он знаешь что сделал? Руку стал мне лизать... Заплакал я тут. Вижу — и у него из глаз слезы.

«Что, говорю, я наделал-то, друг, с тобой?»

А он и в самом деле первый друг мне был. Сколько раз из беды выручал, от верной смерти спасал! А уж работящий-то! Иной раз расхлебенишься, на охоту не выйдешь — сам за тебя план выполняет. То зайца загонит, то лису ущемит. А то как-то у нас волк овцу утащил. Три дня пропадал. Пришел — вся шкура в клочьях — и меня за штаны: пойдем, обидчик наказан. Вот какой пес у меня был, и такого-то пса я сам загубил. Кабы он на меня тогда зарычал, бросился — все бы не так обидно. Стерпел бы какую угодно боль. А тут собака — и еще слезы надо мной проливает... Видно, она меня умнее, дурака, была — даром что речь не дадена. Уж он бы меня сохранил, до такой беды не допустил. Ну, вынул я его из капкана, поднял на руки, понес... Что́ — нога зажила, а не собака. Раньше на людей кидался, а тут сидит у крыльца, морду задерет кверху и все о чем-то думает. Я уж и привязывать не стал...

Ну, а у меня заданье — план выполнить надо. Охотник — не по своей воле живу. Что делать? Купил я на стороне заместителя. Ладный песик попался, хоть и не медвежатник. Но белку и боровую дичь брал хорошо,— это я знал. И вот тут-то и вышла история... Привел я нового пса домой, стал собираться в лес. Вышел на крыльцо.

«Ну, старина, говорю, это Утопышу-то, отдыхай. Больше ты находился на охоту».

Молчит, как всегда. Морда кверху задрана. И только я стал уходить с новым псом со двора, он как кинется вслед за мной. У меня все в глазах завертелось. Гляжу, а новый-то песик уж хрипит — горло перекушено... Знаешь, не вынес он — гордый пес был. Как это чужая собака с его хозяином на охоту пойдет? Не знаю, денег мне жалко стало — пятьсот рублей за песика уплатил — или

обида взяла, только я ударил Утопыша ногой. Ударил, да и теперь себе простить не могу. Опрокинулся пес, потом встал на ноги, похромыкал от меня прочь. А через две недели подох. Жрать перестал...

Не знаю, может, я жилу какую ему повредил, когда пнул, да не должно быть. Здоровенный пес был — что ему какой-то пинок? Бывало, сколько раз под медведем лежал, а тут от пинка. Нет. Это, я так думаю, через гордость он свою подох. Не перенес! Видно, он так рассуждал: «Что же ты, сукин сын, меня в капкан словил, да меня же и бьешь? Сам кругом виноватый, а на мне злобу вымещаешь. Ну, так ты меня попомнишь! Попомнишь мою собачью гордость! Навек накажу». И наказал...

Как умер, так я уже больше собаки не заводил. И с охотой распрощался. Без собаки какая охота, а завести другую не могу. Не могу, да и только. Баба ругается: «С ума ты, мужик, сошел. Без охоты чем жить будем?» А я не могу. Да дело дошло до того, что я дома лишился. Выйду на крыльцо, а мне все пес видится. По ночам вой его слышу. Проснусь: воет.

«Дарья,— тычу ее в бок-то,— чуешь ли?» — «Нет», — говорит.

А у меня в ушах до утра вой, и до утра глаза не закрываются. Стал сохнуть, с лица почернел. Ну, баба видит такое дело — надо мужика спасать. Дом на выселках продали, в деревню большую переехали. А я вот,— Егор развел руками,— рыбок у рыбзавода караулить подрядился.

Он снова закурил.

— Напрасно только баба старалась. Тоска одна с этими рыбками. Рыбки... Разве рыбки заменят охотнику лес? А в лес ступить не могу. Утопыш перед глазами стоит. Так вот и мучаюсь. В прошлом году в Архангельск к профессору ездил. Куда там! Все проверил, ринген наводил, анализы все снял. «Здоров»,— говорит. По-ихнему здоров, а я жизни лишился... Вот теперь к старичку одному — под Пинегой живет — собрался. Слово, говорят, такое знает — от всего лечит...

Егор замолчал, отвел глаза в сторону.

— Как думаешь, поможет? — спросил он меня.

Я пожал плечами. Да и что я мог ответить ему, жаждущему немедленного исцеления?

1961

ИЗ РАССКАЗОВ ОЛЕНЫ ДАНИЛОВНЫ

В дачку Туркиных я влюбился сразу. Домик, правда, неказистый, щитовой, под цвет густой зелени, так что издали не скоро и разглядишь, зато все остальное — благодать.

Я в жизни не видел столько пернатой мелочи.

Воробьи, синички, зяблики, малиновки, скворцы — этих не пересчитать. Эти носились стаями. Да там жил и такой закоренелый индивидуалист, как дятел. Утром откроешь окошко, рано — еще туман не осел на землю, а он уж за работой — трясет сухую ольшанину за дровяным сараем, только розовая труха летит. А дрозды-рябинники, любители сырого густолесья? Разве они вьют гнезда чуть ли не на песке — на пружинистой лозе пахучего жасмина? А у Туркиных вили.

Поначалу я думал: причиной тому лес, который на задах подступает к самому забору, но Вовка, ласковый шестилетний мальчуган с крутым завитком льняных волос спереди, забраковал мое объяснение.

— Не,— замотал он головой.— У нас бабушка колдунья. Она их приманивает.

— Ай-яй-яй, Владимир! — Олена Даниловна как раз в это время спускалась с крылечка.— И не стыдно тебе понапраслину на бабушку возводить. Наслушался всяких глупостей от соседей, вот и повторяешь, а разве не знаешь, чем твоя бабушка божью тварь к себе завлекает?

Олена Даниловна, высокая тучная старуха с черными веселыми глазами, в чистейшем белом платке, повязанном по-деревенски, концами наперед, повела меня по усадьбе.

Батюшки! Черепки с подсолнечником, с гречей, с пшеном,. с льняным и конопляным семенем, баночки с водой, тарелочки... Повсюду, чуть ли не под каждым кустом.

— Вот ведь каким колдовством твоя бабушка птичек приманивает,— мягко выговаривала Олена Даниловна своему внуку.— Тем, которым в магазинах торгуют...

Потом, сидя на скамейке напротив дома, Олена Даниловна стала рассказывать, как она еще смолоду, живя послушницей в монастыре, полюбила птах и всякую живность.

— Строго было в монастыре, молодых нету, одни старухи монахини, а мне тринадцать лет. Меня отец по обету отдал. Лошадь у нас, вишь, подыхать стала — Гнедко. Исправный конь был. И вот по-теперешнему бы к ветеринару побежали, а в старое время какой ветеринар? Отец Николу-чудотворца на помощь призвал: дескать, яви, святой угодник, чудо, а уж я тебе отплачу — Оленку на пять лет отдам.

Ну, Гнедко, к нашей радости, выздоровел, а меня в монастырь — надо держать обет, раз дан. Ох! Ну, света белого я невзвидела, хуже темницы всякой. Правда, работой меня попервости не томили. Я при матери-казначейше состояла, ей засыпать помогала. Тяжелая, сырая старуха была, такая же, как я. Работящая, а сон туго давался — часами ворочается, бывало. И вот позовет меня: «Оленушка, почитай-ко, пощебечи на ухо». Ну, я и почитаю. Много всяких стишков знала. И Пушкина, и Некрасова, и Кольцова. Смотришь, у меня мать-казначейша и захрапела.

А я-то как? На меня кто сон нагонит? Меня кто из темницы вызволит? И вот только тем и спасалась, что выбегу в сад да с птичками поговорю. Птички, птички! Слетайте к нам на подворье да разузнайте, как там наши. А на другой день опять спрашиваю у птичек, какие новости принесли, с чем прилетели. Так вот и жила со старухами за каменной стеной. А потом, когда на волю вышла да свой угол завела, я уж этих птичек да зверюшек отовсюду домой несла.

— Бабушка у нас доктор Айболит,— восторженно сказал Вовка.

— Да уж, бессловесная тварь на меня не пообидится,— не без гордости сказала Олена Даниловна.— Грача — лапка была сломана — выходила, больше месяца костылик носил, скворчишек, тех за свою жизнь без счета спасала, может, десятка два или три, журка — хромой был — тоже на ноги поставила...

— А зверюшек-то, бабушка, забыла? — напомнил Вовка.

— Ну, про тех что и говорить. Тех и вспоминать не вспомнить. У меня дома всегда свой зоопарк был. Да и здесь не одни с Владимиром живем...

Тут Вовка, не дожидаясь, пока кончит бабушка, нетерпеливо потянул меня к колодцу в кустах смородины — там жила Василиса Прекрасная, большая пучеглазая лягушка с забинтованной задней лапкой.

— Это на нее ворона напала, когда она через дорогу переходила,— объяснил Вовка.— Мы как раз с бабушкой из магазина шли...

Потом Вовка показал мне черепаху по имени Марья-торопыга, которая грелась на теплом песочке под окошком, потом минут десять мы ползали по колючему малиннику у дровяного сарая, в надежде, что наткнемся на Ежа Ежовича, и наконец, вечером, за ужином, Вовка познакомил меня с Борькой-бурундуком, который выскочил к нам на веранду на стук грецких орехов.

Я прожил на даче у Туркиных четыре дня, и за это время каких только рассказов и историй не наслушался от Олены Даниловны.

Некоторые из них я записал.

● КАК ОЛЕНА ДАНИЛОВНА В НЯНЬКАХ ЖИЛА И ПОПА УЧИЛА

— Я рано в работу пошла. У отца нас шестеро было, а землицы одна душа — как тут жить? И вот не знаю, было мне шесть-то полных, когда меня в няньки отдали. Сперва в родную деревню — ничего, а через год и на чужбину, за четыре деревни от своей. Вот тут я взвыла. Всю дорогу плачу, угорела от слез да рёву, и в каждом ручье тоску с меня смывали. Вода холодная, весной дело было. А все равно не смыли. Я попервости как елушечка в сы-

рую погоду — сижу у окошка вся в слезах. Сижу да поджидаю: скоро ли карюха Егорушкина покажется.

А карюха — соседская кобыла, уголь барину каждый день возила. Старая, костлявая, страшная, с бельмом на глазу, а Егорушка — тоже не заглядишься — с головы до пят черный да грязный. А мне они всех дороже да всех милее. И долго так сижу да провожаю их глазами. До тех пор провожаю, покамест в полях оба не растают...

Ну, хозяева попались мне нехудые. Оба еще молодые — и сам и сама. А уж работящие-то! А на мне двое: зыбочный ребеночек да Федя, трех лет мальчик. Меня няней называет, а няня такая, что не сразу и поймешь, кто кого нянчит. После до чего дело дошло — ой! Этот-то самый Федя да пришел меня сватать.

— Да ну?

— Вот те и ну! Крест святой. Рослой, красивой парень вырос. Ну, пришел: «Отдайте за меня няню».

— Так и сказал?

— Вот то-то и оно, что так. Может, скажи он как по-другому: отдайте Лену или Олену Даниловну — я бы еще подумала, На три-четыре года старше — ничего. Бывает и больше — живут. И дом хороший, родители хорошие. А уж он-то сам золото. С рюмкой на голове пройдет — вина не расплещет. Вот какой был Федя!

Ну, а как сказал он — няня-то — ой! Как же, думаю, я за воспитанника-то своего пойду. Нет, ни за что! Заплакала, упросила маму. А Феденька, бедный, так у меня и не женился. Может, двадцать лет холостяком жил. А потом на войну взяли — и не вернулся. Вот ведь как бывает...

— А как же вы, Олена Даниловна, в шесть-то лет с двумя ребенками управлялись?

— Нет, не в шесть ведь. Семь мне было. Год уж стажу у меня нянишного было, когда меня в чужую-то деревню отдали. Да вот, управлялась. Бывало, сам и сама уйдут в поле затемно, да в потемках и придут. А я с ребятками. Да еще что-нибудь приготовлю им поисть — самой-то не до разносолов в страду. Ну, да это все ничего. Привычка. Не я одна, и другие в няньках жили. А вот как я штаны-то Феденьке сшила — ой! Такого ни у кого не было. И смех и горе.

Феденька, скажу вам, запущенный был ребенок. Родители работают — света белого не видят. Дом хороший, все хорошее, а Феденька без штанов бегает. Бывало, бед-

ный, прибежит с улицы — весь задок выколет, на камешках да деревах сидючи. А тут как раз я в сарай пошла за чем-то да на подволоку и залезла. Смотрю, а там грязные брюки лежат. Хозяина. Ну, я и смекнула: сошью-ка я из этих брюк Феденьке штанки. Куда это годится — ребенок весь задок исколол.

Вот взяла я эти брюки, сходила на речку, выстирала, высушила, каталкой выкатала да давай шить. Сшила. С карманами, с помочами. У меня Феденька оделся — картинка. Хозяева вернулись с поля и ребенка своего не узнали. Чей это у нас франт? А франт и есть. Я отмыла его, в божеский вид привела, причесала. Да еще штанки сшила. Нет, говорю, этот франт не чужой, а Феденька. А брючки, говорю, я сшила сама.

Ой! Я думала, хозяин обрадуется, а хозяин-то у меня побелел. «Ты, говорит, из чего их сшила?» Это брючки-то. А я говорю — из твоих. Из тех грязных, что на подволоке лежали. Ой! «Что ты, говорит, ведь это мои выходные, праздничные брюки. Я, говорит, от женки их спрятал».

Я тут так и присела.

А дело-то было так. Хозяину незадолго до моего прихода справили праздничные брюки. Хорошие, дорогие. Вот он и пошел в церковь. Все ладно было. В церкви побывал, богу помолился, нет ли, а отъявился, показался на глаза попу — строгий батюшка был. Ну а обратно — мужики, известно: зашел в кабак да выпил, да домой-то уж на четвереньках приполз. А жена у него строгая — как в таком виде показаться? Вот он и переоделся в сарае да новые-то грязные брюки и забросил на подволоку, чтобы жене на глаза не попали. Да и забыл за работой-то. А мне они попадись на глаза...

— Строго взыскал хозяин?

— За брюки-то? Нет. Ничего, обошлось. Меня не притеснял. Поплакал только. Жалко брюк-то было. Новые, дорого заплатил. Да и жены боялся — строгая жена была.

Вот так я жила в нянькax-то. В школу на десятом году пошла, две зимы ходила, а у меня, по-нонешнему взять, уж рабочий стаж был три-четыре года. А двенадцать-то лет мне стукнуло, я уж попа учила.

— Попа?

— Ой, порассказать — дак ухохочешься. Далеко, за пятнадцать верст, к попу отдали. Хозяйство большое, пять коров. Попадья больна, после родов в постели ле-

жит. Дети. И сам поп такой неприспособленный — ничего не умеет. Коровы недоены, ревом ревут — вымя от молока рвет. Сено не кошено, и исть нечего: всего в доме полно, а поп ничего не умеет.

— А что же он работниц не догадался нанять?

— Говорю, попишко непутевый был. Да и страда у людей. Работницы которые уже подрядились, которые нейдут — дома полно работы. А я с коровами сама не могу, я худющая — подойник не удержать. Вот я и говорю батюшке: «Батюшка, говорю, надо тебе самому доить».— «Да как, говорит? Я сроду не умею».— «А научу, говорю. Тут, говорю, хитрости нету, только бы сила была в руках». А коровы-то... Милые! Как баржи, стоят во дворе. Большие, высокие.

Ну, батюшка вошел во двор — ошалели. На рога готовы поднять. Я и смекнула. «Батюшка, говорю, надень платок. Они к бабам привыкли, потому и кидаются на тебя».

Батюшка сделал по-моему, подоил коров.

Потом позвал работников: страда, косить надо. И опять у меня батюшка за голову: чем кормить? А дом у самого полон всякой всячины. Ну, я говорю: «Все будет хорошо, батюшка. Ты только делай, что я скажу».

Ну, наварила я каши, супу, ватрушку спекла, масла сбила. Да у меня работники едят — не нахвалятся: ну уж, ну уж, батюшка! Кто у тебя такая мастерица? А батюшка и указывает на меня: «А вот моя, говорит, мастерица. Ей, говорит, всем обязан». Да я у батюшки приделала все дела и попадью на ноги поставила. И хлеб, кабы не я, начисто сгнил. Сырое лето было. Жито пьяное — из поля, как из бочки, несет. Батюшка у меня пригорюнился: «Оставаться мне в этом году без хлеба».— «Не тужи, говорю, батюшка, можно этому горю пособить. Надо, говорю, только мужику хорошую еду положить да денег не жалеть — тогда он сам прибежит». Вот когда еще бабка Олена насчет материальной заинтересованности понимала. В одиннадцать-двенадцать годов. А у нас после войны до чего мужика довели — из деревни побежал...

А все-таки я у батюшки только одно лето прожила. Выгодное бы место и хорошо кормили, да крыс боялась.

— Крыс?

— Крыс. По всему дому бегали. Ну, летом-то я с

лампой спала да на сеновале. А осень подошла, я и взревела. Что же, я ведь по-нонешнему совсем ребенок была — двенадцать лет...

● НЕСМЫШЛЕНЫШИ

В это утро мы с Вовкой славно поработали. Выкосили траву под окошками, засыпали семена и крупу в многочисленные тарелочки и черепушки для птиц, сменили воду в баночках и, сверх того, еще пропололи грядку клубники.

Олена Даниловна, как истая крестьянка, была довольнехонька.

— Ну уж, ну уж какие у меня работники! — говорила она.— Чем только мне с этими работниками и расплачиваться. Разве что пирог со свежей капустой закатать...

— Не надо, бабушка, пирога,— сказал Вовка.— Ты лучше чего-нибудь расскажи.

— Да чего же я вам расскажу?

— А про бельчат, бабушка.

— На-ка, выдумал — про бельчат. А почему не ты? Ты ведь тоже знаешь.— Олена Даниловна хитровато подмигнула мне.— Давай не стесняйся. В школу пойдешь, что будешь делать-то, когда учительница спросит? Бабушки рядом не будет. Ну как? Жили-были...

Вовка застенчиво прижался ко мне. Его маленькое сердечко воробьем запрыгало под моей рукой.

— Ох ты зайчишка, зайчишка... Ну, жили-были две белки, у них родились деточки... Так?

— Не так, бабушка. Неинтересно так.

— Давай как интересно.

— А ты сама знаешь как.

— Вот не любит сказок,— со значением заметила Олена Даниловна.— Все надо, чтобы по жизни было. А по жизни рассказывать, полдня надо положить. Все в строку лезет: и птичка, и сучок, и каждый чих. Люди-то увидят, что скажут... Бабка Олена с утра, скажут, языком мелет.

— А ты поближе к кустикам сядь, тогда и не увидят,— посоветовал Вовка.

— Да уж разве что к кустикам... Ну тогда так, Владимир, вместе будем.— Тут Олена Даниловна опять многозначительно подмигнула мне: дескать, ты уж из-

вини меня, старуху, пожалуйста, а мне нельзя иначе, мне надо внука подучивать.

Вовка, однако, подучиваться при мне не захотел, и Олене Даниловне пришлось скоро от этой затеи отказаться.

— Ох, Владимир, Владимир,— для порядка пожурила она внука,— ведь знаешь, с чего все началось. Когда мы первый-то раз белок увидели?

— Весной.

— Вот видишь, все помнишь. Весной, весной мы первое знакомство свели с белками. Отец у нас в командировке, мати в больнице, а кто участок вскапывать? Земля-то не ждет. Ну, я на все запреты докторские махнула — поедем, Вова. И вот им, белкам-то, видно, интересно стало, чего это старый да малый все земле кланяются,— пойдем-ка, посмотрим. Ну, из лесу выскочили да вон на ту елушку.— Олена Даниловна указала рукой на пушистое, густо усыпанное розовой шишкой дерево рядом с дровяным сараем.— Вылезли, смотрят на нас, и, видно, уж понравились мы им с Владимиром — они и обгнездились на той елушке.

— Бабушка! — воскликнул Вовка.— А кто первый их увидел?

— Бельчат-то? Ты, ты, Вова. Ох, что было! — Олена Даниловна всплеснула руками.— Утром вбегает ко мне на кухню — я как раз крапиву чистила, крапивник надумала варить: «Бабушка, бабушка, там котятки на елушке!» Где, какие котятки? Почто на елушке? А то, что это бельчата, у нас с Владимиром и в мыслях ни у которого нету. И вот ведь как тайно белки жили — мы даже и не знали, что у них там гнездо. Две недели, а то и три уж на даче жительствуем, а их и в глаза не видели. Ну, я бегу за Вовкой, да ох же! — бельчата. Три сразу, четвертый-то больной был, уж после на глаза попал... Нет,— вдруг тяжело вздохнула Олена Даниловна и нахмурилась,— не приведи господь, чтобы они еще раз к нам заявились. Я за прошлое лето извелась. И мои спокоя не знали.

— А что так? — Меня удивил этот крутой переход от детской радости и воодушевления к суровой озабоченности.

— А то, что горе с ними, маета одна. Я с ребятами со своими столько не переживала, сколько с этими бельчатами. Вот те бог.

— У них мать была нехорошая,— сказал Вовка.— Сбежала.

— Да, сбежала,— не очень уверенно подтвердила Олена Даниловна, затем послала внука зачем-то в дом и, когда тот хлопнул дверью, сказала: — Это мы ему говорим, что сбежала, чтобы не расстраивать — очень уж расстроистый, а на самом-то деле съел кто-то ихнюю матерь — собака или кошка. А отец у бельчат нынешней породы, вертихвост,— пошутила Олена Даниловна,— не видали при детях.

Вовка обернулся быстрее ветра, в доме все было в порядке, и Олена Даниловна, похвалив его, повела рассказ дальше:

— Хлебнули, хлебнули мы горюшка в то лето. Перво дело — люди. Весь поселок к нам переходил, каждый день экскурсии — все грядки у нас стоптали. Да грядки ладно — у отца у нашего и не топтать — одна трава, да ведь им охрана, присмотр надо. Ну-ка, мало в поселке собак да кошек, а они глупые, несмышленыши, сами в пасть лезут. И никто не подучит — сироты, нету родителей.

Ну, днем мы с Владимиром начеку. То он, то я — всегда глазами там. А ночью-то как? Ночью-то кто их удозорит?

— А ночью,— нетерпеливо выпалил Вовка,— мы Василия Ивановича заставляли. Да, бабушка?

— Да, да, Василия Ивановича. Как хошь, говорю, Васенька, а придется тебе ночной досмотр на себя взять.

(К этому времени я уже знал, кто такой Василий Иванович, или Васенька. Кот. Большой сибирский кот, который, по словам Олены Даниловны, был самой умной животинкой на свете и которого по старости — отнялись ноги — нынешней весной пришлось усыпить в больнице.)

— Выручал, выручал Василий Иванович. Я ночью проснусь, выйду, а он уж у ели — сидит да на ель смотрит. А то опять вдоль забора похаживает, чтобы кошка чужая на усадьбу не забежала.

Ох, да сколько всего с этими бельчатами было — не пересказать. Хоть про ту же еду вспомнить. Попереживали мы с Владимиром. Матери нету — с голоду помрут. Мы уж и грибков-то сушеных на елушку навешали, и баночку-то с молоком под ель ставили, а потом, когда

увидели — молодые побеги грызут, отлегло от сердца. Ладно, грызите, ребята. Ель у вас большая, пушистая, надолго хватит. А одной ели мало — лес рядом.

— Бабушка, а как они ползать учились, помнишь?

— Как не помню. Не по веткам — по сердцу твоему ползают. Ножишки слабые, расползаются, коготки жиденькие, не багрят,— смотришь, один покатился, другой,— вот-вот на землю шмякнутся...

— А про грозу, бабушка, забыла? — еще про один случай напомнил Вовка.— Ты еще папу уговаривала лестницу поставить.

Олена Даниловна, к этому времени начавшая было заметно остывать, снова воспламенилась.

— Ну, это мертвый номер в цирке,— по-современному выразилась она.— Детсад на качелях. Вон с елью-то рядом видишь клен? Так вот, ель свою оползали — на клен пойдем. А что из этого получится, разве такие дурахи думают? Ну, на клен просто — здоровый сук в ель упирается. А как с клена на ель попасть? Веток у клена много, поди угадай, которая к твоему дому, которая от него, а прыгать еще не можем — не научились. И уж они тычутся! Туда-сюда, по той ветке, по другой, по третьей — заблудились. И вот раз на этом-то самом клену их и застала буря. Страшная. С грозой, с молоньей. Мы с Владимиром на другой день в лес пошли — вот такие ели вповалку лежат. Ну, три-то, которые посильнее да побойчее, быстро домой попали, а четвертый-то, горемычный, и остался. Ой! Уж так его полоскало да мотало, мы думали, живого места не останется. Дождь, по-бывалошному сказать, в вожжу, розы у нас растерзало начисто, а на грядках такие дыры навертело — кротам не навертеть...

— Бабушка, а ему после этого дождя лучше стало, да?

— Бельчонку-то? Лучше. Дождь первый помощник у жизни. У нас, бывало, в деревне всегда ребенка на дождь выставляют. Бежи, скажут, на улицу, подрасти немножко. А эти после дождя просто басурманами стали. Ой, что тут делалось! Ведь они мало того, что с дерева на дерево прыг-скок, на землю спустились. Утром в окошко глянешь — что огоньки из травы выскакивают? А то они возле ели своей играют. А то опять сядешь на скамейку — на, прибежали. Согласны по тебе бегать...

Олена Даниловна посмотрела на небо — там было сине. В воздухе сильно пахло подсохшей травой. Птицы в саду примолкли.

— А ведь к дождю дело-то идет,— сказала она озабоченно и начала вставать.

Мы с Вовкой быстро сносили траву в сарай. Сама Олена Даниловна отправилась в дом, чтобы на случай грозы укрыть на кухне светлую посуду.

Однако грозы на этот раз не было. Дождь тоже пронесло стороной, так что через каких-нибудь полчаса мы снова оседлали скамейку, правда без Вовки. Вовка с плетеной корзинкой пошел рвать заячью капусту для черепахи. Я хотел было тоже пойти с ним — веселее вдвоем ребенку, но Олена Даниловна меня остановила:

— Ничего. Пускай идет один. И так самостоятельности не хватает. Я, бывало, в его годы хлебы уж себе зарабатывала.

Олена Даниловна была чем-то явно недовольна. Я попытался вернуть ее к нашему недавнему разговору о бельчатах — мне все-таки интересно было знать, что с ними стало, заявлялись ли они весной на усадьбу или нет. Но старуха и на это откликнулась без прежней живости.

— Нет, не заявлялись,— сказала она сухо. Потом вдруг черные глаза ее гневно сверкнули, и она добавила: — Мудрено им было заявляться-то, когда их еще осенью загубил Васька Шиш. Есть тут у нас в поселке один горький пьяница — все от него стонут. Уж каждый день, каждый день пьяный. Женка бедная во все газеты писала: заберите от нас пьяницу, погибаем. Не берут. Сам мне признался. Весной встречается на дороге, рот до ушей: «Спасибо, Даниловна, за выручку. Я, говорит, на твою пушнину два дня газовал...»

Олена Даниловна старательно поправила белый платок на голове, поглядела в сторону леса, куда ушел внук.

— На моей совести эти несмышленыши. Я виновата.

— Да почему же, Олена Даниловна?

— А потому что не то воспитанье дала. Ведь они звери, им в лесу жить, а я их к человеку приучала. Вот и приучила. Тот Шиш их без ружья осенью взял. Сам похвалялся...

Нет, не всякое, видно, добро впрок,— философски заключила Олена Даниловна и опять устремила взгляд на зады.— Добро-то, оказывается, тоже надо делать умеючи.

● ПРО ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА

Из всего зверья, перебывавшего у Олены Даниловны за ее долгую жизнь, больше всего она любила, как я уже сказал, Василия Ивановича.

Про него она могла рассказывать часами — живо, с подробностями, и послушать ее, так на свете, честное слово, и среди людей-то не много таких умниц, как этот кот.

— А как же,— говорила Олена Даниловна,— бельчат по ночам кто у нас стерег? Разве кошачье это дело? Я начну кому рассказывать — врешь, бабка. А за грибами — слыхано, чтобы кот ходил? А Василий Иванович ходил. Да, да, да! Мы с Владимиром в лес — и он за нами. В сторонку отбежит: мяу-мяу. Иду, иду, Васенька. И так и знай: белый. Других грибов — козлят ли, моховиков — не признавал.

А пьяниц взять. Отец у нас — Олена Даниловна так называла своего зятя — с мокрым рылом родился. Иной раз домой придет — зашумит, а уж Василий Иванович ему лапой: не смей! А ежели еще пьянчуг-друзей приведет — беда! Готов глаза выцарапать...

— Бабушка, а расскажи, как Василий Иванович клубничку воровал,— подсказал Вовка.

Олена Даниловна затряслась от смеха.

— Было, было такое дело. Проштрафился у меня Василий Иванович...

Так начался один из многих рассказов про мудрого кота.

— С Амиком они этот номер выкинули. Собачка тутошная, песик — вон тех соседей.

Мы тогда приехали на дачу с Васенькой вдвоем — Владимира еще на свете не было. Ну, мне дела не занимать: кирку в руки и хоть весь день маши. А Василий Иванович, вижу, как не в себе, вроде как в растерянность впал. Ходит за мной да все мяу-мяу: где мы? Куда приехали? Городской, не приспособлен к природе.

Ну, я ему мозги вправляю: что же ты, говорю, Василий Иванович, все за мной да за мной? Куда это годится? У каждого в жизни свои интересы должны быть.— Тут Олена Даниловна бросила на внука один из своих воспитательских взглядов.— Самостоятельность, говорю, должна быть,— еще определеннее выразилась она.— А что же это получится, если все будем ходить друг за дружкой? Ты бы, говорю, хоть друзей-товарищей завел себе. Оглянись, говорю, хорошенько, есть тут кошачий народ.

Нет, со своим братом компанию не свел, а с Амиком снюхался. Тут, на углу, у них свиданья-то происходили.— Олена Даниловна указала на травянистую полевину за калиткой, густо расшитую белоголовыми ромашками.— Правда, Амик и к нам на дачу заходил, а Василий Иванович — нет. Гордость не позволяла: к гостям не хожу. Хочешь — ты приходи ко мне, а не хошь — как хошь. Беда, важный был. Покамест Васильем Ивановичем да Васенькой не назовешь, и не откликнется. Ей-богу.

Ну, Амик, тот попроще был, голову высоко не нес. Все, смотришь, прибежит. Наш его встретит у калитки, обнюхает, а то и по травке покатает — тот песик вежливый, лапки кверху и ничего: катай себе на здоровье. А потом и до проказ дело дошло, из-под контроля вышли.— Олена Даниловна кивнула на каменный особняк за крепким высоким забором слева от своей дачи: — Вот у них, у тех куркулей, стали плантации проверять да клубничку выбирать.

— Кот и собака — клубничку?

— Ну. Форменными ворами стали. Потому что не теперь сказано: чужая ягода слаще.— Олена Даниловна сказала это и сразу же спохватилась, видимо вспомнив про свои воспитательские обязанности.— Да, да,— сурово поджала она губы,— бесконтрольность почувствовали. Решили, что все им можно. Я раз гляжу, где Василий Иванович, другой гляжу. Так все на глазах, все с Амиком со своим, а тут никоторого нет. Потом смотрю — чего трава у забора шевелится, а то они выкатывают. С налета. Амик бесхитростный, ничего в себе не держит: гав-гав, там, за забором, были. А мой-то даже не глядит на меня. Старый гусь, хитрющий — только головой водит да усами подергивает.

Ох, думаю, плутяга, погоди у меня, дознаюсь, что там делаешь, выведу тебя на чистую воду. А сама ничего уж не сказала: ни ласки, ни встряски. Как так и надо.

Ладно. На другой день я начеку. Затаилась за кустом, поджидаю ихнюю встречу. А они встретились, обнюхали друг друга да недолго думая — к забору. Впереди Василий Иванович, сзади Амик. Привычное дело! Не первый раз занимаются — в траве у них уж тропка своя протоптана.

Вот к забору-то они подошли, и я за ними. Батюшки! Василий-то Иванович у меня на грядке клубничку кушает, а Амик где? А Амик в дозоре — на дорожке сидит да на дом посматривает.

— Ну уж и посматривает?

— Вот те бог! — со всей серьезностью побожилась Олена Даниловна.— Чистая правда!

— Бабушка, бабушка, дальше! — закричал возбужденно Вовка.

Вовка был уверен, что все дальнейшее сразит меня окончательно. И оно действительно сразило. Ну, если и не сразило, то во всяком случае показалось совершенно неправдоподобным. Ибо дальше было вот что: Василий Иванович, скушав две-три ягодки — так именно выразилась Олена Даниловна,— уступил место Амику, а сам встал в дозор.

— Вот какой у нас ученый кот! — живо прокомментировал Вовка.— Как в «Руслане и Людмиле». Правда?

— Да, да, такой вот проказник,— рассмеялась Олена Даниловна.— Ведь это надо же додуматься.— Амика в дозор, а сам ягодкой сладкой лакомиться! Ну уж я пожурила, посовестила тогда Василия Ивановича. Получил он у меня по заслугам. Это что же, говорю, батюшка мой, получается? Я к тебе с доверием, а ты себя на хулиганство заводишь да еще и Амика с толку сбиваешь. Каково, говорю, мне из-за тебя краснеть придется? Мне, говорю, за всю жизнь люди худого слова не сказали. Где ни работала, что ни делала, всегда хвалили да на почетную доску вешали. Даже в блокаду, говорю, твоя хозяйка рабочей чести не уронила, ни одного дня в простое не была. Так вот на этом и кончилась у них дружба с Амиком...

— Почему?

— А из-за гордости. Не понравилось, что я его при Амике побранила да посовестила. Вот он и заломил хвост. Амик сколько раз подходил к калитке, гав-гав, а наш — нет, не вышел. А тут вскорости и Амика увезли —

из Киева хозяева, там сын соседа проживает. Тем часом и кончилась у них дружба...

Своего любимца, умершего, как я уже говорил, от старости, Олена Даниловна похоронила на усадьбе дачи, возле ели, на которой еще год назад Василий Иванович охранял осиротевших бельчат.

— Я уж не пожалела ничего,— рассказывала она про то, как хоронила кота. Разумеется, рассказывала в то время, когда рядом с нами не было Вовки.— Гроб сделала по нему — ящик из-под конфет в магазине купила, внутри клееночкой выстлала, сверху простынкой белой накрыла... Спи, Васенька, место тут самое красивое. Весной черемуха белая пушится, осенью клен горит, а зимой опять ель зеленая — у Гостиного двора такой не увидишь. Я хоть бы и сама не прочь там лечь...

1969

О ЧЕМ ПЛАЧУТ ЛОШАДИ

Всякий раз, когда я спускался с деревенского угора на луг, я как бы вновь попадал в свое далекое детство — в мир пахучих трав, стрекоз и бабочек и, конечно же, в мир лошадей, которые паслись на привязи, каждая возле своего кола.

Я частенько брал с собой хлеб и подкармливал лошадей, а если не случалось хлеба, я все равно останавливался около них, дружелюбно похлопывал по спине, по шее, подбадривал ласковым словом, трепал по теплым бархатным губам и потом долго, чуть не весь день ощущал на своей ладони ни с чем не сравнимый конский душок.

Самые сложные, самые разноречивые чувства вызывали у меня эти лошади.

Они волновали, радовали мое крестьянское сердце, придавали пустынному лугу с редкими кочками и кустиками ивняка свою особую — лошадиную — красоту, и я мог не минутами, часами смотреть на этих добрых и умных животных, вслушиваться в их однообразное похрустывание, изредка прерываемое то недовольным пофыркиванием, то коротким всхрапом — пыльная или несъедобная травка попалась.

Но чаще всего лошади эти вызывали у меня чувство жалости и даже какой-то непонятной вины перед ними.

Конюх Миколка, вечно пьяный, иногда и день и ночь

не заявлялся к ним, и вокруг кола не то что трава — дернина была изгрызена и выбита дочерна. Они постоянно томились, умирали от жажды, их донимал гнус — в затишные вечера серым облаком, тучей клубились над ними комар и мошкара.

В общем, что говорить — нелегко жилось беднягам. И потому-то я как мог пытался скрасить, облегчить их долю. Да и не только я. Редкая старушонка, редкая баба, оказавшись на лугу, проходила мимо них безучастно.

На этот раз я не шел — бежал к лошадям, ибо кого же я увидел сегодня среди них? Свою любимицу Клару, или Рыжуху, как я называл ее запросто, по-бывалошному, по обычаю тех времен, когда еще не было ни Громов, ни Идей, ни Побед, ни Ударников, ни Звезд, а были Карьки и Карюхи, Воронки и Воронухи, Гнедки и Гнедухи — обычные лошади с обычными лошадиными именами.

Рыжуха была тех же статей и тех же кровей, что и остальные кобылы и мерины. Из породы так называемых мезенок, лошадок некрупных, неказистых, но очень выносливых и неприхотливых, хорошо приспособленных к тяжелым условиям Севера. И доставалось Рыжухе не меньше, чем ее сородичам. В четыре-пять лет у нее уже была сбита спина под сиделкой, заметно отвисло брюхо, и даже вены в пахах начинали пухнуть.

И все-таки Рыжуха выгодно выделялась среди своих сородичей.

На некоторых из них просто мочи не было смотреть. Какие-то неряшливые, опустившиеся, с невылинялой, клочкастой шкурой, с гноящимися глазами, с какой-то тупой покорностью и обреченностью во взгляде, во всей понурой, сгорбленной фигуре.

А Рыжуха — нет. Рыжуха была кобылка чистая, да к тому же еще сохранила свой веселый, неунывающий характер, норовистость молодости.

Обычно, завидев меня, спускающегося с угора, она вся подбиралась, вытягивалась в струнку, подавала свой звонкий голос, а иногда широко, насколько позволяла веревка, обегала вокруг кола, то есть совершала, как я называл это, свой приветственный круг радости.

Сегодня Рыжуха при моем приближении не выказала ни малейшего воодушевления. Стояла возле кола неподвижно, окаменело, истово, как умеют стоять только ло-

шади, и ничем, решительно ничем не отличалась от остальных кобыл и коней.

«Да что с ней? — с тревогой подумал я.— Больна? Забыла меня за это время?» (Рыжуха две недели была на дальнем секоносе.)

Я на ходу стал отламывать от буханки большой кусок — с этого, с подкормки, началась наша дружба, но тут кобыла и вовсе озадачила меня: она отвернула голову в сторону.

— Рыжуха, Рыжуха... Да это же я... я...

Я схватил ее за густую с проседью челку, которую сам же и подстриг недели три назад — напрочь забивало глаза, притянул к себе и что же я увидел? Слезы. Большие, с добрую фасолину, лошадиные слезы.

— Рыжуха, Рыжуха, да что с тобой?

Рыжуха молча продолжала плакать.

— Ну хорошо, у тебя горе, у тебя беда. Но ты можешь сказать, в чем дело?

— У нас тут спор один был...

— У кого — у нас?

— У нас, у лошадей.

— У вас спор? — удивился я.— О чем?

— О лошадиной жизни. Я им сказала, что были времена, когда нас, лошадей, жалели и берегли пуще всего на свете, а они подняли меня на смех, стали издеваться надо мной...— и тут Рыжуха опять расплакалась.

Я насилу успокоил ее. И вот что, в конце концов, рассказала она мне.

На дальнем покосе, с которого только что вернулась Рыжуха, она познакомилась с одной старой кобылой, с которой на пару ходила в конной косилке. И вот эта старая кобыла, когда им становилось совсем невмоготу (а работа там была каторжная, на износ), начинала подбадривать ее своими песнями.

— Я в жизни ничего подобного не слыхала,— говорила Рыжуха.— Из этих песен я узнала, что были времена, когда нас, лошадей, называли кормилицами, когда нас холили и ласкали, украшали лентами. И когда я слушала эти песни, я забывала про жару, про оводов, про удары ременки, которой то и дело лупил нас злой мужик. И мне легче, ей-богу, легче было тащить тяжелую косилку. Я спрашивала Забаву,— так звали старую кобылу,— не утешает ли она меня? Не сама ли она придумала все эти красивые песни про лошадиное беспечальное житье? Но она меня уверяла, что все это сущая правда и что песни эти певала ей еще мать. Певала, когда она была сосунком. А мать их слышала от своей матери. И так эти песни про счастливые лошадиные времена из поколения в поколение передавались в ихнем роду.

И вот,— заключила свой рассказ Рыжуха,— сегодня утром, как только нас вывели на луг, я начала петь песни старой кобылы своим товаркам и товарищам, а они закричали в один голос: «Вранье все это, брехня! Замолчи! Не растравляй нам душу. И так тошно».

Рыжуха с надеждой, с мольбой подняла ко мне свои огромные, все еще мокрые, печальные глаза, в фиолетовой глубине которых я вдруг увидел себя — маленького, крохотного человечка.

— Скажите мне... Вы человек, вы все знаете, вы из тех, кто всю жизнь командует нами... Скажите, были такие времена, когда нам, лошадям, жилось хорошо? Не соврала мне старая кобыла? Не обманула?

Я не выдержал прямого, вопрошающего взгляда Рыжухи. Я отвел глаза в сторону, и тут мне показалось, что отовсюду, со всех сторон, на меня смотрят большие и пытливые лошадиные глаза. Неужели то, о чем спрашивала меня Рыжуха, занимало и других лошадей? Во всяком случае, обычного хруста, который всегда слышится на лугу, я не услышал.

Не знаю, сколько продолжалась для меня эта молчаливая пытка на зеленой луговине под горой,— может, минуту, может, десять минут, может, час,— но я взмок с головы до ног.

Все, все правильно говорила старая кобыла, ничего не соврала. Были, были такие времена и были еще недавно, на моей памяти, когда лошадью дышали и жили, когда ей скармливали самый лакомый кусок, а то и последнюю краюху хлеба — мы-то как-нибудь выдюжим, мы-то и с голодным брюхом промаемся до утра. Нам не привыкать. А что делалось по вечерам, когда наработавшаяся за день лошадка входила в свой заулок! Вся семья, от мала до велика, выбегала встречать ее, и сколько же ласковых, сколько благодарных слов выслушивала она, с какой любовью распрягали ее, выхаживали, водили на водопой, скребли, чистили! А сколько раз за ночь поднимались хозяева, чтобы проведать свое сокровище!

Да, да, сокровище. Главная опора и надежда всей крестьянской жизни, потому как без лошади — никуда: ни в поле выехать, ни в лес. Да и не погулять как следует.

Полвека прожил я на белом свете и чудес, как говорится, повидал немало — и своих, и заморских, а нет — русские гулянья на лошадях о масленице сравнить не с чем.

Все преображалось как в сказке. Преображались мужики и парни — чертом выгибались на легких расписных санках с железными подрезами, преображались лошади.

Эх, гулюшки, эх, родимые! Не подкачайте! Потешьте сердце молодецкое. Раздуйте метель-огонь на всю улицу!

И лошади раздували. Радугами плясали в зимнем воздухе цветастые, узорчатые дуги, июльский жар несло от медных начищенных сбруй и колокольцы, колокольцы — услада русской души...

Первая игрушка крестьянского сына — деревянный конь. Конь смотрел на ребенка с крыши родного, отцовского дома, про коня-богатыря, про сивку-бурку пела и рассказывала мать, конем украшал он, подросши, прялку для своей суженой, коню молился — ни одной божницы не помню я в своей деревне без Егория Победоносца. И конской подковой — знаком долгожданного мужицкого счастья — встречало тебя почти каждое крыльцо.

Все — конь, все — от коня: вся жизнь крестьянская с рождения до смерти...

Ну и что же удивительного, что из-за коня, из-за кобылы вскипали все главные страсти в первые колхозные годы!

У конюшни толклись, митинговали с утра до ночи, там выясняли свои отношения. Сбил у Воронка холку, не напоил Гнедуху вовремя, навалил слишком большой воз, слишком быстро гнал Чалого, и вот уж крик, вот уж кулаком в рыло заехали.

Э-э, да что толковать о хозяевах, о мужиках, которые всю жизнь кормились от лошади!

Я, отрезанный ломоть, студент университета, еще накануне войны не мог спокойно пройти мимо своего Карька, который когда-то, как солнце, освещал всю жизнь нашей многодетной, рано осиротевшей семьи. И даже война, даже война не вытравила во мне память о родном коне.

Помню, в сорок седьмом вернулся в деревню. Голод, разор, запустение, каждый дом рыдает по невернувшимся с войны. А стоило мне увидеть первую лошадь, и на мысли пришел Карько.

— Нету вашего Карька,— ответил мне конюх-старик.— На лесном фронте богу душу отдал. Ты думаешь, только люди в эту войну воевали? Нет, лошади тоже победу ковали, да еще как...

Карько, как я узнал дальше, свой жизненный путь закончил в самый день Победы. Надо было как-то отметить, отпраздновать такой день. А как? Чем? Вот и порешили пожертвовать самой старой доходягой. Короче:

когда Карько притащился из лесу со своим очередным возом, на него сверху, со штабеля, обрушили тяжеленные бревна...

В каждом из нас, должно быть, живет пушкинский вещий Олег, и года три назад, когда мне довелось быть в Росохах, где когда-то в войну шла заготовка леса, я попытался разыскать останки своего коня.

Лесопункта давно уже не было. Старые бараки, кое-как слепленные когда-то стариками да мальчишками, развалились, заросли крапивой, а на месте катища, там, где земля была щедро удобрена перегнившей щепой и корой, вымахали густые заросли розового иван-чая.

Я побродил возле этих зарослей, в двух-трех местах даже проложил через них тропу, но останков никаких не нашел...

...Рыжуха все так же, с надеждой, с мольбой смотрела на меня. И смотрели другие лошади. И казалось, все пространство на лугу, под горой,— сплошь одни лошадиные глаза. Все, и живые, связанные на веревке, и те, которых давно уже не было,— все лошадиное царство, живое и мертвое, вопрошало сейчас меня.

А я вдруг напустил на себя бесшабашную удаль и воскликнул:

— Ну, ну, хватит киснуть! Хватит забивать себе голову всякой ерундой. Давайте лучше грызть хлеб, пока грызется.

И вслед за тем, избегая глядеть в глаза Рыжухи, я торопливо бросил на луг, напротив ее вытянутой морды, давно приготовленный кусок хлеба, потом быстро оделил хлебом других лошадей и с той же разудалой бесшабашностью театрально вскинул руку:

— Покель! В энтом деле без банки нам все равно не разобраться...— И, глубоко сунув руки в карманы модных джинсов, быстрой, развязной походкой двинулся к реке.

А что я мог ответить этим бедолагам? Сказать, что старая кобыла ничего не выдумала, что были у лошадей счастливые времена?

Я пересек пересохшее озеро, вышел на старую, сохранившуюся еще от доколхозных времен межу, которая всегда радовала меня своим буйным разнотравьем.

Но я ничего не видел сейчас.

Все мое существо, весь мой слух были обращены назад, к лошадям. Я ждал, каждым своим нервом ждал,

когда же они начнут грызть хлеб, с обычным лошадиным хрустом и хрумканьем стричь траву на лугу.

Ни малейшего звука не доносилось оттуда.

И тогда я вдруг стал понимать, что я совершил что-то непоправимое, страшное, что я обманул Рыжуху, обманул всех этих несчастных кляч и доходяг и что никогда, никогда уже у меня с Рыжухой не будет той искренности и того доверия, которые были до сих пор.

И тоска, тяжелая лошадиная тоска навалилась на меня, пригнула к земле. И вскоре я уже сам казался себе каким-то нелепым, отжившим существом. Существом из той же лошадиной породы...

1972

МИХЕЙ И ИРИНЬЯ

Опять не застал я Михея Кирьяновича. Заходил вчера, заходил позавчера — утром, днем, вечером,— все нет старика. Да бывает ли он вообще когда дома?

— А редко бывает,— сказала Иринья Матвеевна.— Нас ведь у его сколько? Я жерновом на шее, Марья, Ульяна руку протягивают...

— Да вашей Ульяне и Марье самим, поди, уж за пятьдесят?

По худому, бледному лицу старухи скользнула чуть приметная усмешка.

— Не слыхал разве, как ноне говорят? Что и за отец, что и за мати, коли до смерти детей своих не докормят? Вот он и бьется как рыба об лед. Да ты посиди, скоро уж он будет. Надо быть, к болоту теперь подбирается. Убрел где-то в Росоху вершу смотреть.

Я мысленно прикинул: до Росохи, лесной речонки, ходу туда и обратно часа два с половиной — три, старик вернулся с дежурства (по ночам он караулит сельповские склады) не раньше пяти-шести утра, а сейчас был девятый час...

— Да что же, он так с ходу, не спавши, и покатил за рыбой?

— А привычно ему,— сказала Иринья Матвеевна.— Век ногами кормится. Охотник.

Утреннее солнце, еще мягкое, нежаркое, заливало крыльцо, на котором мы сидели. Крыльцо было старинное, рубленое, некрашеное (чуть ли не единственное во всей деревне, сохранившее свой первозданный вид) и пахучее — целебные травы и травки развешаны в пучках под навесом. Под стать крыльцу была и сама Иринья Матвеевна, маленькая, утоптавшаяся, усохшая, в старинном старушечьем повойнике и сарафане.

Иринья Матвеевна была слепая. По ее словам, глаза она выплакала еще в войну, когда они со стариком получили похоронку на своего единственного сына, и с тех пор она крепко-накрепко оседлала крыльцо. Когда, в какую погоду не идешь мимо, а она уж на своем посту. Сидит, облокотившись на худые руки, поджидает своего вечно занятого старика.

За разговором, за перебором деревенских новостей я и не заметил, как к дому подошел Михей Кирьянович. А старуха угадала приближение мужа сразу. Она вдруг подняла голову, вся насторожилась, затем облегченно вздохнула.

— Идет. На задворье с песком воюет.

Я прислушался. Ревет движок у маслозавода, трещит и чихает мотоцикл, который с утра гоняет по деревне пьяный Валька Яковлев по случаю своего возвращения домой, от тещи, то есть из районной каталажки, куда его на две недели упрятала было собственная жена; железные провода, которыми сплошь опутана нынешняя деревня, поют свою железную песню... Да где же в этом шуме и стрекоте расслышать отдаленные стариковские шаги?

Тем не менее старуха не ошиблась. Не прошло и двух-трех минут, как из-за соседнего дома показался Михей Кирьянович.

Уж, кажется, я привык к нему — чуть ли не каждый день вижу из своего окошка, как он вышагивает по вечерней дороге, отправляясь на ночное дежурство,— в белом, до пят, дождевике, с посохом в руке, не по возрасту прямой и величавый, как библейский патриарх. А нет, я и сейчас без изумления не мог глядеть на этого старика. Восемьдесят пять лет. Ночь не спал, утром рыбачил — ну-ка, поброди десять верст по нашим суземам [1] да лесному бездорожью! — и ведь идет, торит свою дорогу.

Михей Кирьянович был не в духе: плохой улов. С тру-

[1] Сузем — северная тайга.

дом на уху отбил. Да и разве рыба это — васюха да гыч [1]?

В берестяной коробке, которую он сунул в колени старухе, и в самом деле было негусто, но Матвеевна, старательно, с величайшим удовольствием ощупывая каждую рыбешку, стала утешать его:

— Ладно давай, охота да рыба — не теперь сказано: когда мать, а когда мачеха.

— А нет, баушка,— многозначительно покачал головой Михей Кирьянович,— нету больше матери в наших лесах. Одна мачеха осталась, вот што.— И, так и не присев, пошел в избу.

Мы с Ириньей Матвеевной тоже встали.

Давно, больше тридцати лет не был я в этой избе, и мне показалось, будто в далекое детство шагнул я с шумной улицы. Все, все тут было как прежде: и голые щелястые стены с черным мхом в пазах, с широко распластанными хвостами от глухарей и тетеревов, и некрашеный пол с поблескивающими на солнце сучьями-луковицами, и деревянная кровать справа у порога, и толстенные лавки вдоль стен. И так же, как прежде, вкусно пахло сетями, травами, стариной.

Михей Кирьянович, сполоснув руки, без промедления занялся печью — в доме еще было не топлено, не варено, а Иринья Матвеевна стала чистить рыбу: сама налила в сенях холодной воды в миску, сама раздобыла где-то доску, на которую вываливают рыбьи внутренности.

Когда в печи запотрескивали дрова и когда, как мне показалось, старик немного поотмяк, я мало-помалу принялся расспрашивать его про гражданскую войну в наших краях, про то, как по заданию красных он два раза ходил на Северную Двину, или, по-нашему, просто на́ Двину.

— Ходил,— без особого энтузиазма сказал старик.

Иринья Матвеевна рассердилась:

— Ходил!.. Да он и без тебя знает, что ходил. Ты сказывай, как ходил-то.

— А чего, баушка, сказывать. Дали пакет — отнеси. Вот я и отнес, куда надобе.

— Господи! — всплеснула руками Иринья Матвеевна.— Зимой две недели пропадал. Лесами, без дороги, в мороз... А летом опять — комары заели. В болото вхряпался — едва и вылез. Неделю на грибах жил...

[1] Местное название гольяна и пескаря.

Михей Кирьянович все это подтвердил и кое-что от себя добавил, но разговора, живого, непринужденного, не получалось, и я подумал, что мне лучше зайти в другой раз, когда старик не так будет измотан работой. Однако Иринья Матвеевна и слышать не хотела о моем уходе.

— Нет, нет,— сказала она,— пока свежей ýшки с нами не откушаешь, никуда не пойдешь.— И тут же прикрикнула на старика: сколько, мол, будешь еще копаться?

Свежая рыбешка в чугунке разварилась — ни головы, ни хвоста не найдешь, но я такой ухи, кажется, сроду не едал. Душистая, с острым перчиком, с луком зеленым, с домашним сухарем, который так и похрустывает, так и рассыпается на зубах. А какое удовольствие было смотреть на стариков! Тут знали цену хлебу насущному: ели молча, неторопливо, по старинке — в правой руке ложка, а левая ковшиком у подбородка: чтобы ни одна кроха не упала, не пропала даром.

— Ешь, баушка, ешь,— заговорил Михей Кирьянович.— Может, последний раз свежинка в доме. Худо ноги стали ходить да и рвать их не из-за чего.

— Рыбы мало стало? — спросил я.— Реки истощали?

— Да реки-то, может, и не истощали,— вздохнул Михей Кирьянович.— Совесть у людей истощала. Что ноне с этой рыбой творят-делают, дак это и страсть. Толью, взрывами взрывают, сетями реки наскрозь перегораживают, лектричество запускают... А сплавы-то все лето, топляки-то! Дно-то у реки деревянное стало але железное. Всё в воду: и банку консервную, и бутылку...— Старик помолчал немного и безутешно махнул рукой: — А и в лесу не лучше. Я из Росох шел — шесть собак насчитал.

— Беда, беда с этими собаками! — поддержала мужа Иринья Матвеевна.— Ребенок закапризит: папа, собачку хочу. Папа собачку завел: играй, родимо дитятко, тешься. Дитятко поиграло, потешилось, другу игрушку надь, а собачку на улицу. Вот они, бездомные-то, и рыскают, летают, как волки, по лесу, ищут себе пропитание. Птичьи гнезда зорят, птенца давят, зверя беспомощного заедают...

— Строгости ноне нету, баушка, вот где заковыка-то.— Михей Кирьянович не любил празднословия. Он всегда и раньше любил всякому разговору придать хозяйственное направление.

— А раньше больше было строгости?

— Раньше-то? — Старик посмотрел на меня как на неразумного ребенка.— Как не больше! Я, бывало, с Екутина ручья вот в это же самое хлебное время пришел, сено ставил. Татя-покойничек спрашивает: «Как там, Михейко, на бору? Будет, нет нонешней осенью перо?» Будет, говорю. Три гнезда на лету видел да одну тетеру на гнезде. Татя глазами захлопал: «Как на гнезде? В ето время на гнезде?» Да, говорю, на гнезде, на яйцах сидит. «Ну и что ты,— говорит,— сделал с этими яйцами?» А ничего, говорю, не сделал. Разве не понимаю, говорю, что гнездо нельзя зорить? Татя-покойничек вспылил: «Эх,— говорит,— Михейко, Михейко, дурак ты еще, а не охотник. Да ведь из-за этих яйцев, говорит, тетера пропадет. Яйца-ти эти у ей бесплодные, мерзлые, весенним морозом прихватило, бить их, говорит, надо, а то она, бедная, до полного истощения на них сидеть будет, покуда не сдохнет».

— Н-да,— заключил Михей Кирьянович,— вот такой урок мне преподнес родитель. Дак я со стыда сгорел, поел, не поел сколько — опять на Екутин ручей побежал.

— Из-за тетеры?

— Из-за тетеры. С гнездовья снимать. Татя-покойничек смала мне твердил: с лесу бери да и лесу пособляй. А я вон что наделал. А ведь уж женат был.

— Так, так,— подтвердила Иринья Матвеевна.— Женатый был. Я со вторым в боку ходила. А ты бы про то ему рассказал,— надоумила она старика,— как ты охотничать-то начал, с чего пошел.

— А-а,— вдруг развеселился Михей Кирьянович и тут первый раз улыбнулся,— ты вот про чего, про первого ряба вспомнила. Пять годков мне тогдась, что ли, было, штаны еще с дыркой на заду носил. Бегаем с ребятами, попа гоняем по улице и вдруг татя — из лесу идет, с ружьем. Увидел меня покойничек: «Ох, Михей, Михей! Бегаешь, головой трясешь, а там, за болотом, ряб тебя ищет».

— Большой ряб-то ране был,— пошутила Иринья Матвеевна,— с корову. Полетит — дак грому-то!

— «Да, ряб,— говорит татя,— тебя, Михей, ищет. За болотом». В шутку, ясно дело, какие же от пятилетнего ребенка рябы? А мне впалось в голову — думаю, это он меня за безделье ругает. Все, бывало, Михеем зовет, ежели разговор насерьез. Вот я это вечером-то к нему и

подступаю: как да как сило на ряба ставят? Татя показал — рад моему хотенью, да я уж и сам кое-чего смекал: отец охотник, дед охотник — только эти и разговоры в доме. Ладно, на другой день встал ранешенько...

— Это в пять-то лет,— заметила Иринья Матвеевна.

— Н-да, встал, пять силышков у тати на погребу взял и в лес. С коробочкой берестяной, вроде как за голублем в болото за деревню. За голублем-то в болото уж ходил, а дальше в ельник — нет. Там лешаки, нечистая сила живет. Туда ходу малым нету, мама-покоенка только, бывало, и стращает: «Смотри не ходи за болото. К лешакам попадешь». Боялись, знаешь: заблудится ребенок. Ну а тут к лешакам надо прямо в пасть идти. Вот сколько лет прошло — восемьдесят, а я и теперь помню, как шел за болото. Босиком. Глаза от страха зажмурил... Ну, пороху хватило только до первой елушки с муравейником. Одной рукой лоб крещу, другой кое-как сило воткнул да бегом домой. Назавтра надо сило смотреть — страху еще больше за болото идти. Подошел к болоту, а там туман ходит, шлепает чего-то, мычит — коровы, надо быть, бродили — я и насмелиться не могу. Гаврило Александрович, царство ему небесное, помог. Как раз на мое счастье за болото на санях едет — мох на дом возил. Дом новый строил. Ну, я за ним. Свернул за болото-то, где теперь телятник стоит, подхожу к своей елушке — мать честная, да у меня в силу-то ряб! Настоящий! С перьями! Татя-покойничек, уж когда я охотником стал, признался: «Я, говорит, парень, тебе ряба в сило воткнул. Видел твое старанье. Пускай, думаю, смала к охоте привыкает». Ну а тогда у меня радости было! Про всех лешаков, про всю нечисту силу забыл. Бежу по болотнице и думушки о них нету. Встретил Гаврила Александровича, кричу: «Гаврило, я ряба заловил!» А у мамы-то сколько ахов да охов было (тоже не знала про татины проделки)! «Ну, Михейко, ну, хлебы нам от тебя под старость...»

С этого времени в дом вошла сказка, потому что разве не сказка это в наше время — лес, птица, рыба, зверь? И от недавней хмурости и сдержанности Михея Кирьяновича не осталось и следа. Он помолодел. Серый глаз его так и вспыхивал, так и загорался под густым волосяным козырьком бровей. И Иринья Матвеевна, показалось мне, вдруг стала зрячей и всевидящей...

Все вспомнили, обо всем переговорили: и о последних двух лисках, добытых Михеем Кирьяновичем нынешней зимой, и о последнем глухаре, или чухаре, как у нас говорят, которого старик убил прошлой осенью за рекой, и о медведе-шатуне, всю осень безобразничавшем в деревне,— Михей Кирьянович порешил его на пару с Венькой-лесником.

Но чаще всего мы бродили в лесах его молодости, туда его постоянно заносило, да и Иринье Матвеевне сподручней было, как она сама выразилась, шастать по тем тропинкам и тропкам. Весело, шумно было в тех лесах — от зверя красного, от птицы...

— Бывало, идешь угодьем-то своим, ловом-то, где силье стоит,— Михей Кирьянович каждое охотничье понятие терпеливо переводил на понятный мне язык,— бога молишь: о, хоть бы не чухарь, а ряб попал. Угодье-то, путик-то большое — сорок и пятьдесят верст будет да суземом, нéпроходью, а у тебя уж и так лузан-от [1] набит до отказу да еще мешок плечи мозолит... А с бора-то осенью выезжаешь! На лошади. Воз птицы везешь.

— Ладно, давай,— попридержала маленько Иринья Матвеевна не в меру разгулявшуюся фантазию старика,— бывало ведь и бесптичье.

— А редко, баушка. Разве что на ту, на германскую, зеленый год на бору был — я всю осень ни одного чухаря не добыл, да зато тогда засыпало рябом. Я в жизни не видал столько этого питенбура! [2] Как голубят. Стадами летают — до ста штук и боле.

— К войне это он табунился, ряб-от,— пояснила Иринья Матвеевна.— На войну показывал.

— Так, так, баушка,— авторитетно подтвердил Михей Кирьянович.— К войне перемена в природе але к мору, к голоду. Когда гриба в лесу толсто але, скажем, у птицы, у зверя большой ход — жди беды. Татя тогдась, когда я вот этого ряба с Екутина привез, перекрестился: «Не ладно, не ладно это, осподи. К беде». И точно — через год война с германцем пала.

— И с угодьями пришлось распрощаться?

---

[1] Верхняя одежда из сукна, с кожаными оплечьями для защиты от холода и сырости. В больших карманах — спереди и сзади — охотники носят хлеб, птицу, мелкого зверя.

[2] Рябчиков в прошлом с Севера возили в Петербург.

— Я-то распрощался, под ружье поставили, а угодья у нас и в войну маленько дышали. Баушка шевелила.

— Иринья Матвеевна?

— Лесовала, лесовала баушка. Чухаря с рябом не путала.

От похвалы мужа старуха просто зарделась — у нее было тонкое, легко воспламеняющееся лицо, а потом сказала:

— Может, и не очень лесовала, а лесовала. Свекор у меня рано обезножил, а боровинки-то охота. Да и работка всласть. Любила я пройтись по лесу. Идешь холмами, веретейками, беломошником — устали не чуешь. Задор берет, особенно когда птица попадает. Правда, до дальних-то ловов я не дотягивала. Там меня Фиклист Петрович выручал. Старичок-сосед. С ним наши-то ловы пересекались, рядом затеси шли. Честный, совестливый был старичок. Все до последнего пера отдавал. Вынести-то сам не может — дак придет, скажет: «Женка, у тебя там чухарь на той неделе в сило заполз. В клетку я повесил». Клетка у нас была на Екутином ручью, такой маленький анбарчик на высоких ножках, чтобы мышь да зверь не потравили у́лово.

— Раньше ведь как было,— заговорил наставительно Михей Кирьянович.— Насчет всякой пакости да баловства строго. Это чтобы в чужое угодье залезть але в сило — ни-ни, избави боже. Бережешься не знай как, когда у тебя угодье на чужое угодье налезает. Шагу не ступишь к соседу. А ежели у соседа на пересеках тетера в сило попала, на елку повесишь. На самое видное место. Чтобы сразу сосед увидел, еще до того как подойдет к силу. У меня на Вырде пересеки с одним мужиком из Выхтегры были, всю жизнь охотились бок о бок и ни разу не встречались, а в позапрошлом году, в районе, в больнице, встретились. Ну он и покаялся: «Заметил, нет,— говорит,— как я твоим чухарем-то попользовался?» «Заметил»,— говорю. А дело-то было еще до той, до германской, шестьдесят лет назад, когда оба мы молодыми были. Чухарь у меня как раз на пересеке попал и вместе с елкой, с гнетом, значит, к нему на угодье ушел. Вот он и соблазнился, Кузьма-то Кокорин. Приласкал моего чухаря. «Прости,— говорит,— Михей Кирьянович, по молодости, по неразумности вышло». И верно, что по молодости да по неразумности. Мне так и тятя-покойничек сказал, когда я ему об этом рассказал. «Погоди,— гово-

рит,— Михей. Не будем пока ничего делать — долго ли человека погубить. Может, сам одумается». Вот он и одумался. Ни одной потравы больше не было.

— А если бы не одумался?

Михей Кирьянович замысловато усмехнулся.

— Управа ране была. Это ноне ни во что не верят, а в старину — охо-хо! Боялись. Тот же знахарь, скажем. Жизнь твою в кулаке держал. Отворот такой исделают, что и жизни не рад будешь. Особенно нельзя было дразнить зырян с Вашки. Ух, народ! Сами тебя не изобидят, честная нация, но чтобы и ты к ним с чистой душой. Вон тут с суседом дело было — слыхал, как на муравейник посадили?

— Смутно,— признался я.

— Помнил я Луку Самойловича. И старичонко-то вроде ничего был, мозглявый, а тут поехал в Потему и соблазнился — залез на зырянское угодье, начал вымать чухарей из сильев. Так будто се было — никто в глаза не видел. А зыряны-то о ту пору на угодье были. Ах, так! Пакостить? И вот допустили до избы, а за избой-то у Лукаши — так все старичонка звали — большой муравейник. Ну-ко, посиди на этом муравейничке, подумай, как жить надо. Пять дней сидел. Ребята, сыновья, значит, приехали на Потему, а он сидит на муравейнике — штаны спущены и встать не может.

— Да, может, проще все было? С головой что-нибудь случилось?

— Нет, словом посажен,— сказал непоколебимо Михай Кирьянович.— Это бывало запросто. Строго наказывали за всякие такие пакости. Ну, привезли Лукашу домой — всего изъели мураши, яйки на ниточках легаются. Полгода пожил-нет и богу душу отдал.

Я опять высказал сомнение в колдовской силе. А потом вопрос поставил так: если раньше эта колдовская сила на каждом шагу давала себя знать, то сейчас-то куда она девалась? Почему сейчас-то ничего не слышно о ней?

— А это точно,— согласился со мной Михей Кирьянович,— не слышно ноне насчет знахарских проказ. Да и знатких-то людей — где они? А бывало ведь сколько их было! Хоть тех же Моховиков в Солоньге взять. Народу перевели-перепортили, дак это и страхи божии. У нас про Калину-то Ивановича, дядюшку моего, слыхал? Как ему эти Моховики запрет на лес наложили?

У дяди Калины большущая охота была — тысячи полторы сильев. А капканов-то сколько, ловушек-то всяких! И на ружье мастер был. Бывало, таких охотников, которые выстрелом мех зверю дерут, и не признавал. Векшу иначе как в глаз не бил. А медведя-то сколько на своем веку завалил! И вот однежды видим: осень, а дядя дома. «Не могу,— говорит,— ребята, дыху нету». А какое дыху. Разве в дыхе дело? Нечист на руку был дядюшка — вот где заковыка-то. Больно глазами любил по сторонам вертеть, на чужие угодья заглядывать. Вот эти Моховики-то и заперли от него лес. Охотники попросили, с которыми у дядюшки угодья впритык были. Раз ты нечист на руку, нечего тебе и в лесу делать. Лес чистоту любит. Разорили мужика. После того дядя немного и жил. Помер.

— Так, так,— поспешно сказала Иринья Матвеевна. Она словно хотела предупредить мои возражения.— Моховики, знахаря погубили Калину Ивановича.

— Осподи, да кто как не знахаря-то?! Татя-покойничек сколько раз, бывало, говаривал: «Погубил себя Калина. Сам себя погубил нечистыми руками».

И тут уж спорить со стариком было бесполезно. Девятый десяток разменивал Михей Кирьянович, но татя-покойничек, который, кстати сказать, умер сорока пяти лет от роду, для него по-прежнему был высшим авторитетом.

Долго еще бродил я со стариками по благодатным лесам родного Пинежья, долго еще быль и небыль сплетались и путались в наших разговорах, а потом Михей Кирьянович вдруг спохватился: солнышко из избы ушло. Заболтались, мол, про дела забыли.

Наступило всеобщее отрезвление. Мы вернулись к жизни.

1974

ОЛЕШИНА ИЗБА

1

В лес мы выехали рано, в густом белом тумане, и новой дороги-лежневки, по которой гоняют тяжелые лесовозы, не видели.

Зато сейчас, освещенная вечерним солнцем, она была как на ладони. На пять, на десять километров летят вперед деревянные рельсы, сверкающим клином врезаются в голубое небо на горизонте.

А по сторонам... А по сторонам война прошла. Бессчетные пни-надолбы, ежи-коряги, взрытая, вздыбленная земля, искромсанные, измочаленные ели и березы — вповалку, крест-накрест, как, скажи, поверженные в бою солдаты...

Молодой инженер Промойников, то и дело кивая за окошко автобуса, с жаром рассказывал мне про стройку дороги и при этом, как из мешка, сыпал цифрами. Все знал назубок: где сколько уложено плах, сколько кубометров вынуто грунта, сколько забито свай.

— Ну а что касаемо нашей строительной гвардии...— заговорил он уже иначе, с торжественной игривостью в голосе.

Но тут шофер звонко и дробно засигналил, круто остановил автобус и весело крикнул:

— Олешина изба! Перекур десять минут.

Пассажиры с криком, с гиканьем — сплошь молодняк! — сыпанули вон.

— Давай и мы сойдем,— предложил, улыбаясь, Промойников.— Как это быть в наших краях — и на Олешину избу не взглянуть.

Место вокруг было сухое, красивое. Кудрявые, пружинистые заросли пахучего можжевельника, розовый иван-чай в рост человека, сосны, старые, разлапистые, словно стадо разбредшихся мамонтов по беломошнику... А где же изба?

— А изба тута,— опять как-то шутливо, дурачась и подмигивая, сказал Промойников.

— Да, да! Найдите-ка избу! — Нас окружили парни, девушки. Сам Пава Хаймусов, эдакий добродушный голубоглазый медведь, в бригаде которого (знаменитой, гремевшей на всю область!) я провел целый день, подошел к нам. С улыбкой — во всю ряху.

Я подумал, разыгрывают меня, ибо не то что избы, самого захудалого сараишка не было вокруг, но тут Промойников сжалился надо мной:

— Вон она, Олешина изба.— И указал на самую высокую сосну, горделиво маячившую на дальнем бугре.

Я вгляделся. Что-то вроде помоста, похожего на охотничий лабаз, бело отсвечивает в сучьях макушки, от помоста вниз вдоль ствола остатки какой-то веревочной лесенки...

— Изба, изба,— заверил меня Промойников.— Человек жил. Олеша Рязанский.

Пава Хаймусов с восхищением и даже с завистью, как мне показалось, сказал:

— Во какие люди были у нас, товарищ писатель! Вместях с облаком да с птицей парили. Вот бы рòман написать.

— Не, лучше кино,— поправил его чернявый, длинноволосый парень.

— А что, можно и кино,— охотно согласился с ним Пава.— Тут, бывало, два ворона ране жили. Завсегда, когда едешь, по сторонам этой сосны сидят. Как, скажи, все равно на страже.

— Бывало, рабочие это в делянку утром едут,— раздался еще один восторженный голос,— а он, Олеша-то, только просыпается, только облака с себя сгоняет...

— Кто, кто просыпается?

К нам подлетела Капа-повариха. Вмиг всех растолкала, разметала, парню говорившему кляп с ходу:

— Не плети! Просыпается... Да когда люди-то на работу едут, он уж наробился. Пять норм давал але боле — когда ему было спать-то?

— Да уж когда-то спал.

— Помолчи, коли ничего не знаешь. Когда Олеша-то жил? Ты ведь о ту пору у мамы в брюхе играл, нет, а тоже про Олешу речи говорить!

Сконфуженный, поднятый на смех парень рта больше не раскрывал. Да и остальные не перебивали Капу. Зубов нету, всего два клыка спереди, а не переговорить. За обедом в делянке я попытался было вызвать на разговор рабочих — ничего не вышло. Всех под себя подмяла.

— У-у, Олеша-то тут расправлялся с пеньями да с кокорами [1],— затараторила снова Капа.— Как леший! Люди машинкой, бульдозером — нема дураков жилы рвать, а он — ломом, слегой. «Олеша, не надорвись! Олеша, побереги себя!» Похохатывает только: «У меня застой в крови делается на машинке-то! Я чаду карасинного не люблю!» Один, один пять заданий вымахивал. А получка-то придет! Денег-то наполучает! Карманы рвет. В магазин зашел: «Ну-ко мне ящичек вина».

— Ящичек?!

— Вот это аппетит!

— А чего! Што бутылками-то покупать — только ноги наминать. Ему бутылка-то как малому ребенку соска. Видала, как выпивал. Винтом бутылку раскрутит, потом другую, третью, в себя выльет, как в ведро, да и пошел. Рюмку ставь на голову — не всколыбается. Как по струночке ходил.

— А говорят, с вина сгорел...

— Кто сгорел? Олеша-то сгорел? Сам-то ты не сгори! Та, курва черноглазая, сгубила. Ксаночка с Украины...

С лежневки уже в который раз доносились нетерпеливые позывные — кончился перекур, и Промойников, видимо, не без влияния Капиных россказней, закричал не своим голосом:

— По коням!

[1] Коряги, выворотни.

В автобусе нас поджидал уже новый пассажир — плешивый, с рыжей бороденкой старик, сторож склада с горючим, который находился где-то тут поблизости, в старом песчаном карьере.

Едва расселись, как он заговорил:

— Ты, Капа, не курсиводом ноне?

— С чего?— удивленно округлила глаза Капа.

Старик хохотнул:

— А я думал, свистишь про Олешу, должность новую дали.

На старика обрушились со всех сторон: заткнись, мол! Не порти песню.

— У нас так,— сказал мне доверительно Промойников,— Олешу не тронь.— И кивнул эдак небрежно Капе: — Давай, Капитолина, повествуй.

Капа поломалась самую малость. Свыше всяких сил было для нее молчать. А кроме того, с этой Ксаночкой, «курвой черноглазой», о которой она начала рассказывать еще в лесу, у нее наверняка были какие-то личные счеты.

— Помню, как к нам заявилась,— брезгливо сморщила она свое худое, носатое лицо.— Приехала за длинным рублем, думала тут денег-то как щепы — лопатой загребай. А увидела, что надо в лесу мерзнуть да до пояса в снегу бродить, она и запоглядывала по сторонам: кому бы на шею сесть. А тут он, Олеша. Денег мешок и сам простота. Вот она и давай орбиты вокруг его делать.

— Девка исправна была. Одни глаза чего стоят.— Это опять сторож подал голос.

— Чего исправного-то? Глаза... Да глаза-ти эти, я не знаю, как головешки черные! — У самой Капы глаза были пронзительно светлые, с бутылочным отливом.— Да этими глазами-то, ежели хочешь знать, она его и съела. Всё как из погреба темного выглядывает. Уж не скажешь, что у ей на уме. Ну вот, добилась своего: перетащила к себе Олешу. Не надо больше в лес ездить. Сиди у окошечка да пощелкивай орешки. По ей такая работка. А Олеша какой месяц пожил в ейном раю да дай бог ноги. Шагу ведь не ступи — за каждым поворотом глаз. Ни выпить, ни с товарищами пройтись. Вечером она его у машины ждет. Прямо из кузова да под белы руки. Как арестанта под конвоем домой повела. А уж насчет денег и не говори — все до копейки отберет. На курево не оста-

вит. Ну вот, Олеша терпел-терпел да и сбежал. Опять в общежитие ушел. А потом и в лес, на сосны.

— Как на сосны?

— Дак избу-то разве не видел? Чего ему на дереве-то жить, кабы на земле можно? Из-за Ксаночки распрекрасной. Разве от ей в общежитии укроешься? Она в партком, в рабочком, к директору: вернуть! Не имеешь права, раз со мной дело поимел.

Опять встрял старик:

— Ну ты, Капа, и брехать. Да он эту избу-то, знаешь, когда построил? Когда пни корчевал. Чтобы передох от комара иметь.

— Не плети! Кто это от комара на дереве передох ищет? Все бы лазали. Ксаночка, черные очи, его довела. Говорю, все ходы и выходы знала. Может, еще до Олеши не одного вокруг пальца обвела. Вот он пометался-пометался, туды-сюды кинется: в общежитие, на фатеру к товарищу — всё перехват, везде достала. «А ну-ко, достань меня на сосне!»

— Догадался-таки! — Пава Хаймусов радостно забасил.

Капа хмыкнула:

— Догадаешься — жить захочешь. Ну все равно она и в лес тропку проторила. Прибежит это к сосне, заблеет как коза: «Олеша, пусти меня к себе...» А Олеша наверху только хохочет: «На кой ты мне сдалась!» А то опять закричит оттуда как ворон: «Лезь ко мне на небеси, коли жить без меня не можешь!..»

— Прямо как в былине! — сказал Промойников.— Ей-богу!

За окнами, красными от вечернего солнца, закачалась окраина поселка: знакомая кузница с высокой железной трубой, механические мастерские, первые жилые дома... Потом, откуда ни возьмись, огромный порожний тяжеловоз навстречу, и сразу затемнение — пылью, гарью накрыло наш автобус.

Меня не на шутку заинтересовал Олеша, и в тот же вечер я решил поговорить со старожилами. С теми, кто знал его лично.

1

В наше время на глубинке в большом ходу словечко «образцовый». Образцовая квартира, образцовый дом, образцовый поселок.

Так вот, Семена Михайловича Ковригина я назвал бы образцовым пенсионером. Здоровья крепкого, малинового, ни тебе жира лишнего, ни тебе худобы стариковской, вина не пьет, не курит, активист-общественник и труд — основа. Я застал его за уборкой зеленого дворика, который и без того был расчищен и расчесан — травка к травке.

Семен Михайлович, человек в районе известный, привык к вниманию и почестям, и, когда я сказал, что вот я писатель, интересуюсь Олешей Рязанским, он нисколько не удивился, а спокойным и деловым тоном спросил, какой орган я представляю и как собираюсь освещать данный вопрос.

— Да пока еще не знаю, как,— чистосердечно признался я.— Просто по-человечески интересуюсь.

Семен Михайлович явно не ожидал от представителя советской прессы такой несерьезности и дело, как говорится, взял в свои руки с первой минуты.

— Ну, прежде всего,— заговорил он наставительно,— с этим мифом насчет Титкина надо кончать.— Он так и выразился: «с мифом».

— Простите, но меня интересует не Титкин, а Олеша Рязанский.

— А никакого Олеши Рязанского у нас не было. Олег Титкин был.

— Как Титкин?— Я и представить себе не мог, чтобы у человека, о котором я столько наслышался сегодня, была такая дурацкая фамилия.

— А вот Титкин. У меня на участке работал — я прорабом был. А это уж после его под Олешу-то Рязанского раскрасили.— Семен Михайлович нахмурился, махнул рукой.— Все у нас через пень-колоду. Настоящих организаторов производства да стахановцев не помним, а пьяницу да хулигана подняли.— Он помычал и еще более определенно сказал: — Недоработка общественных организаций. Я тут весной ставил вопрос на парткоме, когда меры насчет пьянства вырабатывали. Вырвать, говорю, надо с корнем этот культ Титкина, собрания среди молодежи провести, а то все наши разговоры — пьянству бой — так разговорами и останутся.

Я наконец собрался с мыслями и, защищая Олешу, сказал, что у некоторых старожилов поселка несколько иное мнение об этом человеке.

— У каких это у некоторых?— строго вопросил Семен Михайлович.— А-а, дак это Капочка вас просветила! Когда из лесу ехали. Ну это она может — хлебом не корми, а дай языком почесать. У нее и отец, бывало, сказками кормился. Все в лес с топорами да с пилами, а он налегке. Евонно дело сказки да побаски по вечерам рассказывать. Первый скоморох по нашим местам был. А Капка эта... Черпаком бы своим лучше работала, а то ведь ейна еда поперек горла. Голодная собака и та подумает, прежде чем ейну котлету в рот взять.

Относительно Капиных обедов Семен Михайлович, пожалуй, был прав, я сам убедился в этом, но я снова возразил Ковригину. Я сказал, что об Олеше Рязанском (я упорно называл его так) есть и другие суждения.

— Например? — опять тоном судьи спросил Ковригин.

— Например, главного инженера Промойникова.

— Валерия Логиновича? По части производственной характеристики воздержусь, поскольку сам, хоть и с техникумом, семь лет инженерил. А в кадровом вопросе товарищ Промойников хромает — на это ему и на парткоме указывали, и в положительном плане я бы характеризовать его не советовал.

— Ну хорошо, хорошо,— начал я уже горячиться.— Промойникова мы покамест оставим в покое. А что же такое Олеша? Вот вы знали его, под началом у вас работал... Пять норм, говорят, давал...

— Давал,— подтвердил Семен Михайлович.

— Значит, производственник что надо?

— Производственные показатели у него были, а моральные? Моральные — минус. А раз моральные не на высоте,— заключил Семен Михайлович,— то и на производственных отражается.— И далее с присущей ему обстоятельностью, с загибом пальцев стал перечислять Олешины грехи: пьяные кутежи, в которые нередко втягивалось все общежитие, скандалы в семье, безобразные выходки в отношении как своих товарищей, так и лиц руководящего состава (выражение Ковригина)...

И я не сомневался: все правильно, все это наверняка водилось за Олешей, но почему-то мне больше не хотелось слушать Семена Михайловича, и когда он, извинившись, вдруг засобирался в дом, чтобы принять лекарство, я с радостью распрощался с ним.

2

Сколько за последние двадцать-тридцать лет выросло лесных поселков на Севере! Не пересчитать. Но везде одно и то же: окрест, куда ни глянешь, лес синей стеной, а сам поселок — пустыня песчаная: под корень, до единого деревца сосну и ель вырубают, когда начинают возводить дома.

Ропша, к сожалению, не исключение. И когда я вышел за ворота чуть ли не единственного зеленого благоустроенного дворика, мне показалось, будто я в раскаленное пекло попал — таким жаром дохнула на меня вечерняя улица.

Но я ожил в этом пекле. Я снова задышал полной грудью. И все мне было занятно и любо в этот вечерний час: и яростно наигрывавшая где-то на окраине гармошка, и звучное хлопанье волейбольного мяча, и бездомные, грязные, еще не вылинявшие собаки, валявшиеся возле мостков, по которым я шел. И я шел беспечно, без единой мысли в голове, и так бы, наверно, прошел весь поселок, да меня вдруг окликнули:

— Куда правишь? Приворачивай на перекур!

Я повернул голову на голос, и вот картина: улыбающийся, высветленный вечерним солнцем старик на низеньком крылечке. Нога на ногу, во рту папироска и дым голубыми лентами. Как из пароходной трубы.

Я не стал дожидаться вторичного приглашения — люблю людей, которым жизнь в радость!

Липат Васильевич, как он сам сказал, наблюдал за чудом природы — за солнцем, которое в это время садилось в пылающий сосняк за поселком.

— Спиримент делаю,— уже более конкретно пояснил он.— Быват, нет, у него стыковка с домом Петруши-лапши.— И вслед за тем старик, как бы приобщая меня к своему занятию, вытянул палец: туда, мол, смотри. Там дом.

— Чего опять выдумываешь? Какой еще спиримент?— Из сеней, громыхая ведрами, вышла старуха, высокая, полная, с миловидным лицом.

— Эка ты, баба,— поморщился Липат Васильевич.— Сказано тебе: береги нервные клетки. Не восстанавливаются.

— Не заговаривай, не заговаривай зубы. Лук поливать надо. Небось сам-то кажинный день ешь-пьешь.

Липат Васильевич вздохнул:

— А беда с этим луком. Говорят, у нас наука крепкая. Чего там ученые думают? Взяли да спарили бы этот лук... ну хоть бы с сосной...— Старик захлопал глазами: сам не ожидал такого поворота в своей голове.

— Вот-вот, поливать не надо. А сосну-то грызть будешь?

— Дак, ты думаешь, с какой сосной-то? С деревом? Которое на дрова рубим?

Липат Васильевич глянул туда-сюда, быстрехонько вскочил, вырвал у хлева, напротив, полузасохшую хвощинку — благо там этого добра хватало,— поднес ее к глазам жены:

— Вот с какой сосной-то! Поняла? А ты по своей бабьей дурости хватила... Еще возьми не то телеграфный столб...

Надо полагать, наглядность, с которой разъяснял свою идею Липат Васильевич, сделала свое дело. Во всяком случае, старуха уже без прежней категоричности сказала:

— Плети.

— Да чего плети-то? Люди на луну забрались, а тут эка невидаль... Мичурина нету,— вдруг озабоченно покачал головой Липат Васильевич,— а то бы он, мужик-то, давно уж курс дал. Ведь это что делается в данный вечерний момент, дак и сказать нельзя. Вся Россия бренчит ведрами на огородах. Как, скажи, в бывалошные времена, при царе Горохе... Ну да ничего, справятся. Новую породу скота потруднее выводить было.

Старуха пытливо посмотрела на старика и недоверчиво спросила:

— Это какую еще новую?

— Молочно-медвежью. Медведя с коровой случили. Чтобы, значит, зимой не кормить, а то сама знаешь: все кормов нету...

— Тьфу, лешак старый! — рассердилась старуха.— Я стою, уши развесила... Кабыть от его, враля, когда путное слово услыхаешь! — И она, подхватив ведра, пошла на огород.

Довольнехонький Липат Васильевич проводил ее взглядом до калитки на задах, а потом со вздохом показал на закат, на алую шиферную крышку, за которой скрылось солнце.

— А спirимент у меня опять не вышел. Ну да ничего, в другой раз подкараулим. Рассказывай.— И на меня уставились размытые временем, но такие живые, любознательные глазки.— Говори, что на свете деется. Я все тут приемничек маленький крутил, зять весной в отпуску был, оставил, а теперь батарейки сели — на послушном корму живу, кто чего скажет... Да ты, может, чаю хочешь? — вдруг одумался старик.— У меня моментом это. С чаю надо начинать-то. С угощенья. Так, бывало, гостей на Руси встречали. Сперва напой, накорми, в постель уложи, а потом выспрашивай.

Я от чая отказался и разговор перевел на Олешу.

— Олеша? Был ли у нас Олеша? — Старик оторопело посмотрел на меня.— Да ты спроси еще, Сэсэрэ у нас але Америка.

— По-разному говорят,— уклончиво сказал я.

— Кто говорит? А-а! — вдруг догадался старик и остервенело сплюнул.— Никого-то слушаешь. Ковригина! Да его бы воля, он не то что Олешу, солнышко бы прикрыл. Больно ярко светит.

— А Олеша светил?

— Ну что ты! Вот из того же косья, из того же мяса, да? Естество природы. А радости-то, веселья сколько вокруг его! Бывало, хоть то же пенье корчевать. Да кто оно рад надрываться, в болоте целый день ползать. А ведь с ним-то, с Олешей,— праздник. И чем кокоря страшнее да толще, тем ему лучше. Задора больше. А сосну, ель свалим! Мы втроем да впятером — всем гамозом тащим. А он — один. «Мне бы, ребята, только за дерево взяться да чтобы под ногами твердь была». Как Микула Селянинович...

— Здоровый был?

— Здоровый. Паву Хаймусова знаешь? Ну дак вот, капля в каплю. Только ростику вроде как поменьше был. Да нет,— пренебрежительно махнул рукой Липат Васильевич,— чего я говорю. Нашел что сравнивать — телеграфный столб с мешком картошки! Пава... Чего Пава? Лес-от каждый дурак умеет мять. А ты жизнь проживи с забавой. Людям оставь что вспомнить. А ведь Олеша-то!.. Бывало, дело весной, к Первому маю подходит. Вина нету — все за зиму прикончили. А разве мы не люди — с сухим горлом в праздник? «А давай, ребята, за моря-окияны». И верно, что за моря-окияны. Все разлилось — реки, ручьи, болота. До району 25

верст — лучше и не думай. Все равно проберется. Ничего не удержит. За каку реку на бревне, за каку вплавь...

— Вот из-за вина-то он, говорят, и погиб,— заметил я.

— Кто, Олеша-то из-за вина? Да слушай ты — наговорят. Из-за вина... Ксана Григорьевна его подкузьмила, с ней у парня-то лады не получились.

В эту минуту на задах появилась старуха, и Липат Васильевич, прицокивая, прищелкивая языком, запел, как тетерев на токовище:

— Ну, баба, ты как аленький цветочек у меня, как маргаритка прекрасная! А еще не хотела на вечерний моциён...

— Сиди! — Старуха издали погрозила ему кулаком, но к нам подошла довольная, умиротворенная.— Чего опять заливаешь? Как у него, не знаю, и язык-от не заболит — с утра до ночи молотит.

— А есть, есть, баба, маленькая натуга в языке, это ты верно подметила. Ну тольки не кончено заседанье, не вся истина выяснена...

— Истина от тебя,— рассмеялась старуха.— Истина-то тебя, как чуму, обходит стороной.

— А вот и не угадала, Марья Тихоновна! Об Олеше толкуем.

— Это об том пьянице?— удивилась старуха.— Ну дак вам об нем ночь толковать не перетолковать.

— Да пошто ты так-то, Марья Тихоновна? Ты ведь у меня золото, а люди подумают — ржавчина...

Шутку старуха, однако, не приняла. Встала, подхватила полнехонькие ведра, с которыми вышла с огорода, прошла в сени. Липат Васильевич все в том же скоморошьем духе крикнул ей вдогонку:

— Так-так, баба! Ставь самовар, а то мы с тобой как нехристи — заморили гостя.

Я опять стал было отказываться от чая, но старик меня успокоил:

— Ладно, насилу за стол не посадим. Я сам весь, как летом в засуху ручей, пересох. А насчет Олеши,— заговорил он без всякого напоминанья с моей стороны,— вранье. Когда нам было пить-то? Заданье в те поры — сам знаешь! Одним топором да «лучком» кубиков больше давали, чем теперека всема тракторами да техникой. Раны войны залечивали... Ну, конечное дело, когда доберемся — дадим копоти. А Олеша, он Олеша и

есть: во всем первый. Денег наполучает — охапкой несет. Много зарабатывал — пять норм выгонял. Да и получки-то у нас тогда раз в три месяца были — все денег в банке нету. Ну и куда девать такие деньжища? Теперека, к примеру,— телевизер, машину куплю, так? А тогда что? А, давай вино! Ящики накупит, штабеля в общежитии наставит. Ну и начальству не по шерсти: график срывается. Да! Кабы он, к примеру, один за это вино сел — ладно. А то ведь он конпонейский. Я гуляю, и вся бригада гуляй, все общежитие. Простяга человек. Ничего не жалко. Последнюю рубаху с себя снимет.

Вот его и начали прижимать: «Кончай, Олексей». Раз сказали, два сказали, а на третий с милицией: «Выметайся из общежития!» «Кто выметайся? Я? Да плевать я хотел на ваше общежитие! Да я такое себе общежитие отгрохаю, какого белый свет не видал». Ну вгорячах-то да спьяна-то и махнул в лес — залез на сосну...

— Так все-таки с пьянки все началось?— опять перебил я старика, ибо не сомневался, что вместе с Олешей сейчас же лезет на сосну и он сам, а раз залезет — прощай трезвый разговор.

— Да с чего! — недовольно отмахнулся Липат Васильевич.— С пьянки, с пьянки. Все у них с пьянки. Ясное дело, что не тверезый же полез на дерево, да это так, я думаю, для куражу больше, а главная-то у него несработка с начальством по другой линии вышла. С бензином парень-то общего языка не нашел.

— С бензином?

— Ну! После войны все хребтиной да топором — так? А тут — раз в наши леса — трактор. «За руль, ребята!» — команда. А за рулем больно твоя сила нужна? Видно за рулем твою силу? Вот он, Олеша-то, и зашалил. Обида. Привык во всем первым, на самом юру, а тут какая-то сопля, оттого, что руль в ту, в другую сторону поворачивает,— на доску почета. С этого, с этого Олеша пошел под откос.

— А Ксана Григорьевна?

— Чего Ксана Григорьевна? — искренне удивился старик.— А, это насчет неладов-то у них? Были, были нелады. Да ерунда! С коих это пор курица орла заставила кудахтать? Ты ежели насчет этого бабьего вопроса интересуешься, дак пойди ко Климентьевне. К старухе, у которой она жила. Та все тебе как есть распишет.

— А не поздно сейчас?

— Это, ты думаешь, она спит? Да с чего. У ей давленье в крови, она только ночью-то и жить начинает. Козешку держит — разве ей до спанья? А то скажи, ежели что,— от Липата направленье имею, живо откроет. Сродственница мне. Ну тольки я тебе так скажу: лучше меня тебе никто про Олешу не скажет. Он ведь, бывало, мимо идет, завсегда свист подаст. А в лесу-то, когда на свою сосну заберется! Как соловей-разбойник засвищет... Прямо мурашки по коже, ей-богу...

Хорошо было сидеть с Липатом Васильевичем. Я мог до утра слушать его игривое слово. Но хотелось послушать и других, близко знавших Олешу.

— Ну раз так,— неохотно согласился со мной старик,— иди. Азимут известный, все прямо, прямо по мосткам, до самой закрайки — как раз в хоромы Климентьевны упрешься.

4

Подворье Климентьевны мог назвать хоромами только такой игрун-говорун, как Липат Васильевич.

Все шли дома как дома — одноэтажные, двухэтажные, индивидуальные, коммунальные, щитовые, из бруса,— и вдруг избушка на курьих ножках, лужок зеленый вокруг.

Откуда? Из какой сказки залетела сюда?

Все оказалось просто: избушка уцелела от старой деревни, на месте которой вырос поселок. Жители Ропши без всякого сожаления расстались со своими нескладными, обветшавшими за войну постройками, а Климентьевна, одинокая престарелая старуха,— что могла? Вот и торчит по сей день допотопная лачуга на окраине современного поселка.

Белая ночь, уже подрумяненная утренней зарей, застыла над кособокой избенкой, а во дворе, кое-как прикрытом жердяной изгородью, пощипывала травку белая коза. Колодезный журавль, приподняв старую голову, невесело смотрел на меня из-за ветхой тесовой крыши, густо поросшей зеленым мхом...

Климентьевна — точно сказал Липат Васильевич — не спала. Она сидела на утлом крылечке и вязала осиновые веники. Для козы.

Ко мне старуха поначалу отнеслась недоверчиво, да и не мудрено: кто из путевых людей ходит в гости по

ночам? Я сослался на Липата Васильевича — тоже не очень помогло. Но стоило мне упомянуть имя Ксении Григорьевны — запоры передо мной пали.

— Передохните не то со старухой. В ногах правды нет.— И старой, задеревенелой рукой разгребла для меня место на крыльце, напротив себя.— А откуль вы Ксану-то Григорьевну знаете? — осторожно начала выведывать старуха. И при этом еще и глазами старыми из-под очков, сколько могла, прощупку делала.

Я не стал крутить. Прямо, без всяких обиняков сказал, что собираюсь написать историю здешнего леспромхоза и вот интересуюсь Олешей, о котором тут, в поселке, полно всяких былей и небылиц.

— О, вот вы из каких людей,— сразу потускнела старуха.— В газетах которые пишут. Ну дак тут я вам не помощница.

— Да почему, бабушка?

— А не привыкла, батюшко, нá смех-то людей выставлять. Сроду худого слова ни про кого не сказывливала. А Ксана Григорьевна мне заместо андела земного была. Дочи родная такой заботы о матери не имеет...

— Хороший, значит, человек?

— У других, у других, батюшко, пытайте,— опять отклонила мои домогания старуха.— Кто грамотный да головой крепкий.

— Да другие-то, знаете, что говорят? Ксану Григорьевну во всем винят. Она, говорят, Олешу погубила.

Вот с этой минуты у нас и пошел откровенный разговор. Роднее родни, дороже всех на свете была Ксана Григорьевна для этой горемыки, не имевшей собственных детей, и могла ли она дать ее в обиду?

— Враки, враки все! — обеими руками замахала Климентьевна.— Да у кого только язык повернется такую понапраслину сказать. Уж она-то, бедная, побилась с ним! И лаской, и таской, и не знаю как — всем, чем могла, привораживала. Знаю ведь, на моих глазах было. У меня жили.

— И Олеша у вас жил?

— У меня. По-теперешнему бы сказать: жилье молодым давай — комнату але фатеру. Оба на хорошем счету у начальства: Ксана Григорьевна повар, тот пó лесу первый. А в те поры койке в общежитии были рады, семейные за занавеской жили. Ну вот и стали у меня жить.

Однежды Ксана Григорьевна прибегает, на танцах была: «Тетечка Груня,— все меня тетечкой звала,— ставь самовар, я взамуж выхожу».— «За кого? — говорю.— За Олексея Михайловича?» А Олексей Михайлович из здешних, хороших родителей сын, служащой, в конторе сидел. Все ей провожал. «За Олексея,— говорит,— да за другого. За того, который всех сильнее да всех красивше». «Что ты, что ты,— говорю,— девка!» А я сразу догадалась, о ком она,— видала, тоже подхаживал к моему домику. «Этот Олексей,— говорю,— тебе неровня, у его,— говорю, все вино да товарищи на уме будут...» Головой тряхнула: «Ничего, у меня про все забудет — и про вино, и про товарищей». Да шасть двери на передызье. А там уж он, жених, стоит. Ну что, кричать не будешь. Да и кто я ей, кричать-то. Не родная мати. Вот так у меня Ксана Григорьевна и надела на себя хомут...

К крыльцу подошла коза и, вытянув шею, вопросительно уставилась на меня своими зелеными глазищами.

— Что, Милка,— сказала Климентьевна,— на дядю незнакомого пришла взглянуть? Але про Ксану Григорьевну услыхала — козья душа затомилась? Оченно ндравилась нам Ксана Григорьевна, чуть не за стол нас сажала...

У меня глаза на лоб полезли: да сколько же этой животине лет, ежели ее еще Ксана Григорьевна баловала?

Климентьевна от души рассмеялась:

— Нет, нет, скотинка невековечна. О третьем годе Ксана Григорьевна к нам приезжала, как раз у Милки тогда рожки прорезались, обо всё их вострила... Двадцать лет не бывала. Могилку проведать приехала. Да не одна, а с мужем, с внуком... А у людей язык поворачивается... Вся тут уревелась да уплакалась. «Ой, тетечка Груня, что они, паразиты, с могилой-то сделали?» А чего сделали. Пьют. Всё — и могила, и возле могилы — всё в битом стекле. Я схожу, сколько могу, поразгребаю, а после воскресенья опять воз битых бутылок. Всё поминают того, пьяницу.

— Олешу?

— Кого же больше.— Климентьевна нахмурилась, пожевала беззубым ртом.— Ну я Ксану Григорьевну то-

же не хвалю. Муж уважительный, глаз с ей не спускает, внучек: баба, баба, сама век самостоятельная... А тут нашла о чем горевать. «Хорошо,— говорит,— тетечка Груня, живу, не пообижусь. Муж не пьет, дети большие выучены, а я,—говорит,— оставила в здешних лесах сердце, все Олешу забыть не могу...»

— Любила, стало быть,— заметил я и спросил, нет ли у Климентьевны фотографии с Олешей и Ксаной Григорьевной или хотя бы фотографии одной Ксаны Григорьевны.

Старуха запетляла:

— Была где-то у меня карточка, была. Ну тольки где ей сейчас искать? Может, в анбар вынесла, а может, Поля Васина взяла — все просила, с Ксаной Григорьевной вместе в столовке робили...

В общем, не хотелось старой показывать фотографию,— а вдруг это обернется против ее любимицы?— и я повернул опять к прошлому.

— Жили попервости, ничего жили, худа не скажу. Все до копейки домой приносил. Шафоньер завели, кровать светлую купили, теперь у меня стоит, ему, ей справу справили, матери деньги стали посылать — тоже ведь и он не без матери, с южных краев родиной, а потом раз с товарищами выпил, другой выпил, третий... Да повело, повело, что и домой дорогу забыл.— Климентьевна подумала немного и дала всему этому должную оценку: — Век по общежитиям, воля вольная, вино, товарищи — чего ждать хорошего? Ксана у меня плачет, ночами не спит. Перед людьми стыдно, домой ехать надо — родители молодых ждут. А у него на уме пьянки да гулянки. Все, чего нажили, пропил. В одной парусинке остался, даже, скажи, рубахи нету, голое тело... Да... Потом чего-то сделалось — вот ведь вино-то без просыпу пить — в лес убежал. Спанье из досок сделал, на сосну залез... «Поезжай,— говорю,— девка, домой: сосну не согнуть и тебе Олексея не переделать». Плачет. «Уехала бы,— говорит,— тетечка Груня, да его жалко, с голоду помрет...» И вот наварит, напарит всего да в лес — Олексея кормить. А Олексей еще изгиляется, на весь лес кричит: «Знать тебя не знаю, ведать не ведаю...» Ксана Григорьевна, андельска душа, и тут его оправдывает: «Это,— говорит,— не он кричит, а болезнь...» Помер к осени. Кто говорит, с сосны пьяный свалился, кто — замерз, а кто — друзья-

товарищи пособили. Иван Мартемьянович, охотник здешний, слыхал: всю ночь, говорит, кто-то в той стороне кричал...

Я прожил в Ропше больше недели. По заданию редакции я быстро, за два дня, смастерил очерк о Павле Хаймусове и его бригаде, а все остальное время кружил вокруг Олеши, расспрашивал все новых и новых людей. И люди, самые разные, даже такие, которые вовсе и не знали его, взахлеб, с восторгом говорили о нем. Как о своей самой большой знаменитости.

1975

• СОДЕРЖАНИЕ

Федор Александрович АБРАМОВ

ИЗБРАННОЕ

ТОМ 2

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1976, 704 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Мовчан**

Оформление «Библиотеки» **А. Гаранина**

Редактор **Н. Юшкова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **С. Розенберг**

●

A11668. Сдано в набор 6/I-76 г. Подписано в печать 19/V-76 г.
Формат 84 × 108$^{1}/_{32}$. Бум. печ. № 1. Печ. л. 22,00. Усл. печ. л. 36,96.
Уч.-изд. л. 37,22. Заказ 316. Тираж 200 000 (1—100 000) экз.

Цена 1 руб. 42 коп.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.
Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.

В 1976 году

издается 15 книг

библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Ф. Абрамов — Избранное (в двух томах).

Г. Баширов — Родимый край — зеленая моя колыбель. Повесть. Перевод с татарского.

С. Бородин — Молниеносный Баязет. 3-я книга романа «Звезды над Самаркандом».

В. Бубнис — Жаждущая земля. Три дня в августе. Романы. Перевод с литовского.

Н. Грибачев — Здравствуй, комбат! Повесть. Рассказы.

С. Журахович — Киевские ночи. Роман. Повести. Рассказы. Перевод с украинского.

А. Кешоков — Сломанная подкова. Роман. Перевод с кабардинского.

В. Лацис — Сын рыбака. Роман. Перевод с латышского.

Г. Марков — Сибирь. Роман.

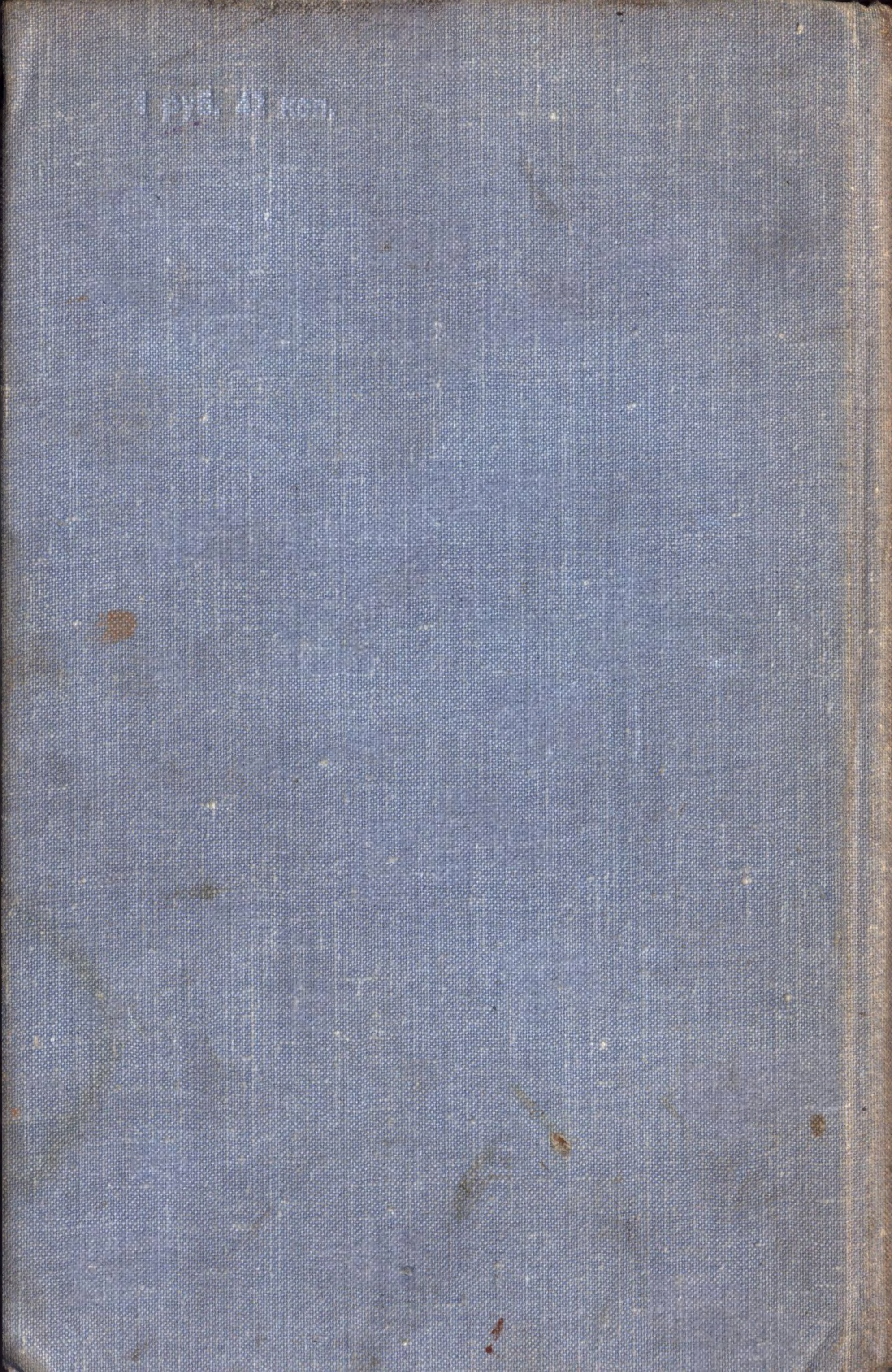
Т. Пулатов — Владения. Повести. Рассказы.

Рассказы.

С. Санбаев — Колодцы знойных долин. Повести. Роман.

Р. Файзи — Его величество Человек. Роман. Перевод с узбекского.

В. Шукшин — До третьих петухов. Повести. Рассказы.


1 руб. 42 коп.

2
ФЕДОР АБРАМОВ
ИЗБРАННОЕ